ДЕНЬ *и* НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 3 2009

Николай Душка
Причина ночи

Галина Кудрявская
Поймать ветер

Александр Цыганков
Perpetuum mobile

Александр Ломтев
Ёжики кричат

ДЕНЬ*
НОЧЬ*

Главный редактор
Марина Саввиных

Заместители главного редактора
Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Иван Клиновой
Елена Тимченко
Михаил Стрельцов

Редакционная коллегия
Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Владимир Балашов
Саяногорск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Михаил Гундарин
Барнаул
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Александр Колесов
Владивосток
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Валентин Курбатов
Псков
Александр Лейфер
Омск
Евгений Мамонтов
Владивосток
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Александр Силаев
Красноярск
Михаил Успенский
Красноярск
Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Секретарь
Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик
Олег Наумов

Издательский совет
П. И. Пимашков
Глава города Красноярска
В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея
М. С. Невмержицкая
директор Красноярского бибколлектора
Т. Л. Савельева
директор Краевой научной библиотеки
В. Н. Манаев
директор издательства «Гротеск»

В создании журнала принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором его с 1993 по 2007 гг. был Роман Солнцев. Впервые журнал был зарегистрирован как частное издание в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации в 1993 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 3 | лето | 2009

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть.»
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН память

Василий Шукшин
2 **Как я понимаю рассказ**
4 **…зная Вас как активного «разинца»…**

Сергей Филатов
6 **Думы о государстве**

Галина Ульянова
9 **Физик Александр Гекман**

Нелли Яшумова
20 **Перекрёсток**

Виталий Царегородцев
127 **Ищу одну, но верную строку**

Геннадий Игнатьев
134 **Беренжакские очерки**

ДиН антология

Владимир Высоцкий
3 **Памяти Василия Шукшина**

Денис Давыдов
5 **И камень вековой…**

Владимир Набоков
15 **Родина**

Анна Ахматова
133 **И не проси у бога ничего…**

ДиН диалог

Юрий Беликов, Наталья Солженицына
11 **Марковна для Аввакума**

Салим Фатыхов, Нина Ягодинцева
207 **Генетический код поэзии**

ДиН стихи

Иван Переверзин
16 **Птицы вечности**

Ольга Григорьева
18 **Летоход**

Ирина Ямайкина
21 **Когда б не крылья за спиной**

Вадим Горбунов
24 **Снимите шляпы, господа**

Марина Чешева
83 **В ангельском рюкзаке**

Виктор Теплицкий
101 **Благодарение**

Надя Делаланд
203 **Между створками книги**

Станислав Бельский
205 **Флореаль**

Ульяна Лазаревская
212 **Антигона**

ДиН дебют

Андрей Козырев
23 **Ожидание весны**

ДиН роман

Николай Душка
25 **Причина ночи**

ДиН перевод

Екатерина Тягло
90 **Ближний и Дальний Восток**

Библиотека современного рассказа

Александр Астраханцев
84 **Не такая, как все**

Виталий Богомолов
91 **Крест на ёлке**

Анна Сафонова
102 **Шумашедший**

Александр Ломтев
104 **Ёжики кричат**

Александр Цыганков
118 **Perpetuum mobile**

Евгений Белодубровский
128 **Блок, Набоков, Бенедикт Лившиц, Маша и филёр**

ДиН ирония

Геннадий Дроздов
147 **О смысле жизни разговор**

ДиН повесть

Галина Кудрявская
148 **Поймать ветер**

ДиН публицистика

Алексей Антонов
170 **Гады**

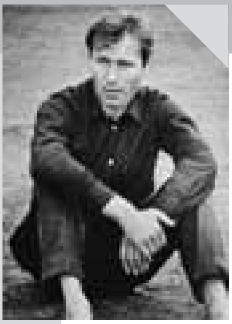
Михель Гофман
174 **Американская Идея**

Сергей Курганов
190 **Перспектива**

Синяя тетрадь

Елена Донская
213 **Свет и отсветы «Очага»**
225 **Чистая купель**

227 ДиН авторы
232 **Подписка**



Василий Шукшин

Как я понимаю рассказ

Написано для еженедельника «Литературная Россия»
и опубликовано в нём 20 ноября 1964 года.

Начну с кино, как ни странно. Всякое зрелище, созданное художником ради эстетического наслаждения, есть гармония красок, линий, света, тени, движения. Главное — движения. Мёртвым искусство не бывает. А движение не бывает кособоким, кривым, ибо это уже не движение, а развал на ходу.

Кино. Зрелище несколько грубоватое, потому что тут налицо психоз в массовости восприятия. Совсем не одно и то же, когда в зрительном зале сидят десять человек или пятьсот. Но никого это не страшит. Человек идёт в кино и с удовольствием отдаётся захватывающей силе этого властного искусства, и чувствует себя соучастником какого-то массового «подсматривания», и ему нисколько не мешает сосед, который плачет рядом или смеётся. Они даже как-то роднее становятся оттого, что вместе переживают одно и то же.

Но вот неумолимый закон. Как только в фильме начинает выбиваться какая-нибудь его составная часть, как только обнаруживается, что зрелище утратило движение, скособочилось и затопталось на месте, так кино сразу теряет свою магическую силу и начинает раздражать. Раздражает ложная значительность, отсутствие характеров у героев, их грустная беспомощность перед лицом всех сидящих в зале, ложь, выдуманная психология, сочинённые в кабинетах ситуации — всё, что не жизнь в её стремительном, необратимом движении. Такое ощущение возникает, будто при тебе избивают кого-то слабого, а ты связан ремнями. И горько, и больно, и стыдно.

В произведении искусства всё на месте, всё в меру, и даже всего как будто чуть-чуть мало. Всякий раз, когда я начинаю смотреть «Чапаева», я как будто начинаю бежать (прямо до галлюцинации). И удивительно хорошо от этого упоительного чувства. И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, радость кончилась, моё движение прекратилось.

Теперь о рассказе. Совсем разные явления — кино и рассказ. А законы, по которым сработаны хорошие фильмы и рассказ, одни.

Мне нравится в хорошем рассказе деловитость, собранность. Ведь что такое, по-моему, рассказ? Шёл человек по улице, увидел знакомого и рассказал, например, о том, как только что за углом брякнулась на мостовой старушка, а какой-то ломовой верзила захохотал. А потом тут же устыдился своего дурацкого смеха, подошёл, поднял старушку. Да ещё оглянулся по улице — не видел ли кто, как он смеялся. Вот и всё. «Иду сейчас по улице, — начинает рассказывать человек, — вижу, идёт старушка. Поскользнулась — бряк! А какой-то верзила кэ-эк захохочет…» Так, наверно, он будет рассказывать. А если бы он начал так: «Я проснулся сегодня в каком-то подавленном состоянии. Ночью кошмары какие-то снились — звери какие-то…» — «Выпил вчера?» — поинтересуется знакомый рассказчика. Что он должен ответить? «Я ему про старушку, а он мне — про «выпил»! При чём тут я? Старушка за углом упала». Так, что ли? Или как? Хуже всего, когда возникает такой вот вопрос: ты о чём? Почему-то, когда иной писатель-рассказчик садится писать про «старушку», он — как пить дать! — расскажет, кем она была до семнадцатого года. А читателю и так ясно — девушкой или молодой женщиной. Или он на двух страницах будет рассказывать, какое в тот день, когда упала старушка, было утро хорошее. А если б он сказал: «Утро было хорошее, тёплое. Стояла осень», читатель, наверно, вспомнил бы в своей жизни такое утро — тёплое, осеннее. Ведь нельзя, наверно, писать, если не иметь в виду, что читатель сам «досочинит» многое.

В данном случае я говорю не о длиннотах, которые могут быть не длиннотами, а всё о том же законе движения. Рассказ тоже должен увлекать читателя, рождать в душе его радостное чувство устремления вослед жизни или с жизнью вместе, как хотите. А ритм жизни нашей (XX века) довольно бодрый. Тут тебя так и спросят: «Ты о чём?» Я не знаю, что такое «телеграфный стиль», знаю, что такое скучный рассказ. А должно быть интересно, вот и всё.

Если в зрительном зале сидят пятьсот человек, они сразу обнаружат, что скучно. С рассказом сложнее. Один человек всегда найдёт минутку усомниться. «Может, я не понял?» Иногда действительно не понимает. Но часто не понимается, по-моему, что писатель (рассказчик) — это обыкновенный человек, тот самый, который встретил на улице знакомого и захотел рассказать тот или иной случай из жизни. (Это другое дело — какой случай его поразил.) Всё просто. Но вот как дело доходит до письменного стола или до пишущей машинки, так всё опрокидывается в яму, которая именуется «творческими муками». Ищутся начала, концы, завязки, развязки, подвязки… Можно сделать так, а можно совсем иначе. Но как же так? Ведь если старуха упала на мостовой, это не значит, что она может в рассказе немножко взлететь вверх. Не фотография, не натурализм, не бытописательство,

не упрощенчество, но житейски правдивое явление: старушка падает вниз, а не вверх. Вверх — это оригинально, такого ещё не было, но придумано. За столом. В «муках творчества». А придумывать рассказ трудно. И, главное, не надо.

Ну а вывод авторский? А отношение? А стиль автора? А никто и не покушается ни на вывод, ни на смысл, ни на стиль. Попробуйте без всякого отношения пересказать любую историю — не выйдет. А выйдет без отношения, так это тоже будет отношение, и этому тоже найдётся какое-нибудь определение, какой-нибудь «равнодушный реализм». Ведь известно, что даже два фотографа не могут запечатлеть один и тот же предмет одинаково, не говоря уже о писателе, у которого в распоряжении все средства живой жизни. Другое дело, что нет и писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте… Это так. Поэтому нельзя, наверно, чтобы писатель-рассказчик отвлекался от своего житейского опыта в сторону «чисто» профессиональную. В стороне «чисто» профессиональной легче запутать следы, скрыть, что тебе, собственно, нечего рассказать. Опять же старушка может взлететь вверх.

Мастерство есть мастерство, и дело это наживное. И если бы писатель-рассказчик не сразу делал (старался делать) это главным в своей работе, а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее и плохое, а мастерство бы потом приложилось к этому, получился бы писатель неповторимый, ни на кого не похожий. Я иногда, читая рассказ, понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать рассказ. И радовался человек, и волновался, и «искал слово», и просил, чтоб в квартире было тихо, а зачем? Старуха упала, а ему наплевать, он уже забыл, что она упала, тут уж пошли — капель тенькающая, солнце в мареве, туманы в разводах. И всё это само для себя. А всё должно бы служить старухе, её «делу», и вовсе не много этого надо. Она ж упала, бедная, а несла, небось, яйца в кошёлке и расколола, а дома сын яичницу ждёт — на работу торопится, скандал будет…

Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман — места мало, времени мало, читают на ходу. Кроме того, дела человеческие за столом не выдумаешь. А уж когда они попадают, наконец, на стол в качестве материала, тут мало, наверно, укрепиться мужеством и изгонять всё, что отвлекало бы внимание читателя от их сущности. Дела же человеческие, когда они не выдуманы, вечно в движении, в неуловимом вечном обновлении. И, стало быть, тот рассказ хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы «пересадил» её, не повредив, в наше читательское сознание.

ДиН антология

Владимир Высоцкий

Памяти Василия Шукшина

Должно быть, он примет не знал, —
Народец праздный суесловит, —
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал.

Коль так, Макарыч, — не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй, — останься живым.

Но, в слёзы мужиков вгоняя,
Он пулю в животе понёс,
Припал к земле, как верный пёс…
А рядом куст калины рос —
Калина красная такая.

Смерть самых лучших намечает —
И дёргает по одному.
Такой наш брат ушёл во тьму! —
Не поздоровилось ему, —
Не буйствует и не скучает.

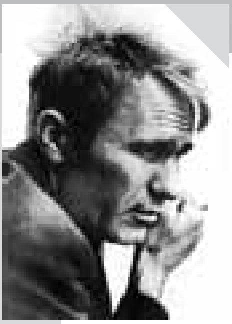
А был бы «Разин» в этот год…
Натура где? Онега? Нарочь?
Всё — печки-лавочки, Макарыч, —
Такой твой парень не живёт!

Вот после временной заминки
Рок процедил через губу:
«Снять со скуластого табу —
За то, что он видал в гробу
Все панихиды и поминки.

Того, с большой душою в теле
И с тяжким грузом на горбу, —
Чтоб не испытывал судьбу, —
Взять утром тёпленьким в постели!»

И после непременной бани,
Чист перед богом и тверез.
Взял да и умер он всерьёз —
Решительней, чем на экране.

1974



Василий Шукшин

…зная Вас как активного «разинца»…

В воспоминаниях Н. М. Зиновьевой встречается описание одного интересного разговора В. М. Шукшина с сестрой: «…он вымеривал хозяйскую комнату со сжатыми кулаками и говорил: «Я — Стенька Разин!» А я ему: «Так Стенька Разин — бунтарь». — «А я и есть бунтарь, я ищу правду на земле»[1] Образ Степана Разина, безусловно, является сквозным не только для творчества, но и для жизни В. М. Шукшина. Он владел писателем с детства, проявляясь в играх, разговорах с родными и товарищами, неотступно следовал за Шукшиным-режиссёром, начиная с 1966 г. (первая заявка на литературный сценарий фильма о Разине) и до самого конца жизни (1 августа 1974 г. В. М. Шукшин из р. п. Клетский отправил телеграмму директору к/с «Мосфильм» Н. Т. Сизову с просьбой о начале работы по фильму о Разине). Шукшин и сам стал в итоге наравне с мятежным атаманом, героем ненаписанной и неснятой «Разиниады» — многолетней борьбы за экранизацию романа о Степане.

К решению образа Разина В. М. Шукшин подходил основательно. Тщательно изучал все доступные документы о восстании, работал в архивах, музейных фондах. Не мог он, конечно, обойти вниманием и родину атамана — Донскую землю. Впервые В. М. Шукшин приехал на Дон весной 1966 г., и главной целью его поездки стали родная для Разина станица Старочеркасская и Новочеркасский музей истории донского казачества. В музее Шукшин подробно изучал вооружение и одежду донских казаков. Здесь он познакомился с Лидией Андреевной Новак, ставшей на многие годы его консультантом по разинской эпохе. Л. А. Новак (р. 1924) — участник Великой Отечественной Войны, в 60–70-е гг. — заведующая отделом досоветского периода, затем — заместитель директора по научной работе Новочеркасского музея истории донского казачества. Л. А. Новак — крупный специалист по донскому казачеству, неоднократно выезжала на археологические раскопки Кагальницкого казачьего городка под Константиновском, где, по предположению историков, Степан Разин находился некоторое время после персидского похода, а позже сюда же вернулся после поражения под Симбирском. В 1971 г., во время следующего приезда Шукшина в Новочеркасск, Л. А. Новак показала режиссёру Кагальницкий городок, объездила с ним несколько аксайских станиц в поисках мест будущих съёмок. А в перерыве между приездами на Дон В. М. Шукшин вёл переписку с Лидией Андреевной: просил уточнить некоторые детали, рассказывал о собственных находках.

В процессе работы над собранием сочинений В. М. Шукшина мне, редактору-составителю тома, содержащего эпистолярное наследие алтайского писателя, удалось связаться с Л. А. Новак: я надеялся на публикацию имеющихся у неё писем Шукшина. Лидия Андреевна пошла навстречу и, вместе с другими материалами, выслала фотокопию одного из писем. Письмо это, правда, уже публиковалось в газете «Комсомолец»[3] (г. Ростов-на-Дону) (затем статья перепечатана в «Молодёжи Алтая» (1975, 26 сентября), но в сокращении. И вот теперь, с разрешения Л. А. Новак, есть возможность ознакомиться с письмом целиком, без купюр. Слова, не законченные В. М. Шукшиным, развёртываются, авторская орфография и выделение отдельных слов в тексте сохраняются. Дата указана со слов Л. А. Новак.

Читая письмо, ещё раз удивляешься, с каким напором, настойчивостью, В. М. Шукшин вёл поиски материала о Степане Разине, как с готовностью шёл по любому следу, могущему привести к новой информации о Разине и, возможно, новому восприятию образа легендарного казачьего атамана. Эта его сверхчувствительность ко всему «разинскому» проявлялась в разных жизненных ситуациях и отмечалась многими. Фотограф А. Ковтун, сопровождавший В. М. Шукшина во время его поездки на Дон на съёмки фильма «Они сражались за Родину» в мае 1974 г., вспоминал об одном довольно характерном случае. «…В Клетском произошёл забавный случай. В киоске я увидел марку, на которой был изображён бородатый крестьянин. Подписи на ней не было, а поскольку он был похож на Степана Разина, я предложил Ванину разыграть Шукшина, который как раз готовился к съёмкам фильма «Степан Разин». Вот, мол, Василий Макарович, фильм ещё не снят, а марку уже выпустили. Розыгрыш сработал на сто процентов — реакция Шукшина была по-детски восторженной, а когда я, не выдержав, признался, что это шутка, Василий Макарович ещё раз взглянул на марку и сказал: «А что, похоже!»[2] Этот случай, как и многие другие, ещё одно свидетельство того, насколько глубоко Шукшин вжился в образ своего героя. Уверен: не забери смерть в октябре 1974 г. В. М. Шукшина, мы бы увидели на экране того Разина, которого он скрывал в самом себе с детства, и в праве на существование которому так долго отказывали столичные «бояре».

Дмитрий Марьин

1. Зиновьева Н. М. Наш дом у горы Пикет // Шукшин В. М. Надеюсь и верую. — М.: Воскресенье, 1999. — с. 420–454.
2. Ковтун А. Время Шукшина [Альбом]. — Б/м, 2004.
3. Немиров Ю. Шукшин на родине Разина // Комсомолец. — 1975. — 12 марта.

Москва, октябрь 1968 г.

Уважаемая Лидия Андреевна!

Получил Ваше письмо. Отвечаю из больницы (воспаление лёгких), поэтому не смогу быть обстоятельным в ответе, как хотелось бы.

Дела наши (зная Вас как активного «разинца») — в общем, хорошие. По весне, должно быть, «поднимемся». Материалы, интересные для Вашего музея, конечно, будут (они уже есть). И, конечно же, всё наиболее ценное мы сможем передать потом в Ваше распоряжение.

Есть возможность заинтересовать кинодокументалистов — снять док.[ументальный] фильм «По местам Разина», «Степан Разин» или как ещё (к юбилею[4]). Как только буду немного свободен, так займусь этим. С Вашего позволения, буду говорить, что работники музея ист.[ории] Донского казачества помогут тем, кто займётся этой работой. Вообще, если бы страна возможно более широко отметила 300-летие восстания, мы бы имели право считать, что внесли в это доброе дело посильный вклад. Давайте будем поддерживать связь.

Об авторе того письма[5].

Разыскивал его работник госбезопасности и нашёл где-то на северном Урале (в лагере) чуть ли не с 15-летним сроком заключения. Рецидивист. Всю историю с находкой, конечно, выдумал. (Но выдумал поразительно точно!) На прямые вопросы об этом вилял («што-то такое помню…»), вразумительного, конечно, сказать ничего не мог. Чёрт!

С уважением В. Шукшин

ДиН антология

225 лет со дня рождения

Денис Давыдов

И камень вековой…

Бородинское поле

Элегия

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый!
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы…
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь гомерический, Багратион великий?
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! я лечу — веди меня, я твой:
О, обречённый быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю… Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

Романс

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолётных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

4. К 300-летию восстания под руководством С. Разина (1670 г.), т. е. к 1970 г.

5. В 1966 г. в Новочеркасский музей истории донского казачества пришло письмо от заключённого одного из исправительно-трудовых учреждений. Автор письма утверждал, что однажды в районе станицы Раздорской им был обнаружен «кованый сундучок», внутри которого находился кувшин, а в кувшине — золотые монеты и какие-то бумаги. Что в них было написано, автор письма не разобрал, но в глаза бросилось слово «Разин». Вспоминает Л. А. Новак: «…Как только Василий Макарович услышал от меня эту историю с письмом, он воскликнул: «Слушайте, я этому человеку верю! Мог он что-то такое чрезвычайное найти». Я сказала: «Вряд ли, у нас таких писем сколько угодно…». «Нет, нет, — горячо возражал Шукшин, — тут что-то есть». И он сказал мне, что, работая в Архиве древних актов над «прелестными» письмами Разина, призывавшими голытьбу в его войско, Шукшин заметил: в тексте этих писем слово «Разин» тоже бросается в глаза. Признаюсь, я не могла не увлечься верой Василия Макаровича в счастливую случайность. Мне удалось добиться разрешения на встречу с автором письма, но когда я к нему приехала, его уже перевели в другое место. Тогда за поиски взялся Василий Макарович…»

Сергей Филатов

Думы о государстве

1. О серьёзности вопроса

Не знаю, с какой ноги пошло, но приклеился прочно к шукшинским героям ярлык «чудики». Кто-то из них выступает сразу в роли и прокурора, и исполнителя наказания собственной тёщи, потому что скупа, ворчлива, да и вообще запилила донельзя; кто-то вечный двигатель изобретает, потому что должен же кто-то, в конце концов, его изобрести; кто-то Разина из дерева вырезает — ну, близок ему Разин по духу, свой он, крестьянин; кто-то церковь талицкую хочет реставрировать, потому что — просто красиво… а кто-то и о государстве серьёзно задумывается: *«Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

Чудно? Да не очень. Ведь все живём, все оглядываемся и видим, — что такое вокруг происходит; сознательно ли, машинально ли видим. И понимаем — нет, «что-то не так в датском королевстве». И даже догадываемся, что именно не так. Да и почему не так догадываемся. Но вопрос встаёт — а стоит ли об этом вслух говорить, стоит ли вообще серьёзно задумываться?

Тут то и натыкаемся: «*…Зря ты всё это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

И это «у тебя образование-то какое?» звучит, подобно вопросу из сказки о стойком оловянном солдатике — «а паспорт у тебя есть?» Имеешь ли ты право о государстве думать? Кто ты такой, в конце концов? Да и ответ готов: «*…родился в бедной крестьянской семье девятым по счёту. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я всё-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства…*

…Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я всё же урывал время и читал. Я читал всё подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).

Пробить пласты… тяга к чтению, тяга к познанию… Похвально? Наверное. К сожалению, так уж наша жизнь устроена, не всегда и не у всех возможность учиться есть. Но если сильно захотеть, да старание к тому приложить… Для сравнения: «*…А мне действительно некогда. Столько дел, что приходишь домой, как после корчёвки пней…*

…Учиться, как там ни говори, а всё-таки трудновато. Пробел-то у меня порядочный в учёбе. Но от других не отстану. Вот скоро экзамены. Думаю, что будут только отличные оценки» (Из письма В. Шукшина матери).

И параллельно: «*…Недавно у нас на курсе был опрос: кто у кого родители, т. е. профессия, образование родителей студентов. У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. п. Доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть?*

Отвечаю: мама.

— Образование у ней какое?

Два класса, отвечаю. Но понимаете, она у меня не меньше министра» (Из письма В. Шукшина матери).

Как-то невольно вспоминается знаменитое — «каждая кухарка…» А почему бы нет?.. Но снова задумываешься — стоит ли, не стоит? А дальше что? А каков итог будет?

«— Пугачёва ведут! — кричал он. — Не видели Пугачёва? Вот он — в шляпе, в галстуке!.. — Князев смеялся. — А сзади несут чявой-то про государство. Удивительно, да? Вот же ещё: мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чявой-то про государство! Какой ещё! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем! Мы те подумаем!.». (В. Шукшин. Штрихи к портрету).

Итог плачевный. Словно сказали Князеву ласково так: «Чудак ты, Коля, на букву «м»?.. Живи, как все, и радуйся, и не суйся со свиным-то рылом в калашный ряд. А о государстве и без тебя есть, кому задуматься да позаботиться».

2. Об очевидности

Но шукшинский герой искренне убеждён в своей правоте, да ведь и взаправду правота эта верна, а потому никак понять не может он, — отчего же все вокруг не видят очевидного. Всё же — так просто и ясно: *«Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живём каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Всё равно ему своё дороже, но он хочет выглядеть передовым и, тем самым, побольше урвать». (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

Ты говоришь о том, о чём думают все. И в то же время все смотрят на тебя, как на идиота, как на князя Мышкина, наконец, зачем?.. Зачем говорить

об очевидном, если не очень-то это нужно, не очень удобно всем, не проще ли сделать вид, что всё происходит, как надо, как задумано.

Однако Князева «клинит», — он прав, а значит, и не успокаивается, а старается докопаться до причин, до истоков существующего положения дел: «*Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своём месте. «И, тем не менее, — думал я, — государство ещё всё же живёт. Чем же оно живёт? — продолжал я размышлять. И пришёл к такому выводу: структурой» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

И что же это за структура такая особенная? Почему бы вместе с Князевым не попробовать в этом разобраться: «*Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаём, оно ещё в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьёт, не лодырничает — каждый на своём месте кладёт свой кирпичик в это грандиозное здание…» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

И вдумаемся, как нас призывает к тому шукшинский герой. И что же мы имеем, какую картину?

«Когда я вдумался во всё это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).

Утрировано, но образно. Результаты — грандиозные! И самое интересное, что ничего нелепого в этих рассуждениях Князева нет, как, впрочем, и нового тоже. Но есть очевидное.

3. О целесообразности

И эта очевидность целесообразна. Скажем, как это государство построено? Точнее, как целесообразно строить его? Вот трактовка Князева: «*Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причём этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления…*

…Представим себе… это огромное здание — в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, всё здание держится на фигурах» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).

Здание, которое держится на «фигурах», то есть на нас с вами. Картина вполне зримая. И, повторюсь, — ничего нелепого. Напротив, всё стройно и продуманно. Более того, далее статичная картина здания-государства в трактовке шукшинского героя обретает свою динамику: «*Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — «х» — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку, закон справедливости нарушен» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

Здесь, пожалуй, следует обратить внимание на один из ключевых моментов: «*Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи… Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже «у» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

То есть Князев определяет самую суть государства, его предназначение. Согласно этому, государство — это инструмент регулирования общественных взаимоотношений во имя общественного же блага и общественного порядка. То есть, государство — для людей.

4. О реалиях

Но каждый мастер, выбирая инструмент, старается максимально подогнать его под себя: чтоб держать было удобно, чтобы мозолей не натереть, чтобы работа в радость была… да и доход приносила. И вряд ли он при этом задумывается над тем, а что, если этот инструмент возьмёт в руки другой мастер, удобно ли ему будет?

То есть, говоря языком шукшинского героя, фигуры, наиболее осознающие, что государство есть инструмент, с помощью которого регулируются общественные взаимоотношения, начинают подгонять его всяк под себя на каждом из этажей «х». Причём, чем выше, чем ближе к «пульту», — тем больше возможностей подгонки, тем удобнее ухватиться за ручку управления и манипулировать ею в своих, большей частью, корыстных интересах. То есть этот общественный инструмент приспосабливается под себя, а значит, под себя приспосабливаются и усилия всех остальных фигур на всех нижних этажах «х», поддерживающих общую структуру. Вот и провисает сразу на многих этажах «у», либо эти фигуры получают дополнительную нагрузку.

Не зря же Князев в своей «модели» говорит о «людях доброй воли» и как бы предупреждает: *«Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

Заметьте, такое понимание должно быть у каждой фигуры, образующей каркас здания-государства, на каждом этаже. Возможно ли это? Скорее, — нет, чем — да.

Потому-то и «современная техника», точнее выверенная чиновничья машина, настроена таким образом, что фиксирует не эти провисания на этажах «у», а скорее, — появление на них таких вот Князевых и других ему подобных, как элементов, по крайней мере, чужеродных и вредных для всей конструкции. То есть, в реальности, в отличие от идеальной «князевской модели», — одни люди посредством государства призваны обслуживать других, находящихся ближе к пульту: люди для «государства».

Происходит не только утрата первоначального смысла, но и вполне осознанная подмена причины следствием: вместо «государство — для людей» — «люди — для государства».

5. О парадоксе

Вся парадоксальность ситуации в том, что говорить серьёзно об очевидном, чревато. И чревато, прежде всего, для самого говорящего. Ибо сколь бы ни прав был он в своих мыслях, всё к одному приходит: *«Даже непонятно: такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие — чем-чем, а робостью Фрол не грешил, — ну? А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль второпях обшаривала всех, кто попадался в памяти… Ну, Иван Черноярец, Фёдор, Ларька, Мишка, Стырь — такие лягут, лягут безропотно многие и многие… А толк-то будет, что ляжем?» (В. Шукшин. Я пришёл дать вам волю).*

Действительно, будет ли толк? — словно говорит с нами Шукшин голосом Князева, Степана Разина, вкладывает все свои тревоги и сомнения в их мысли и думы. Ведь чем дальше, тем ясней, тем виднее становится и другое очевидное: *«Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая тёмная сила — это притом не Иван Прозоровский, не Семён Львов, не старик митрополит — это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться?..*

Но когда днём Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, чёрной тенью во всё небо наползала всеобщая беда.

Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале… Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое?.». (В. Шукшин. Я пришёл дать вам волю).

Нужно слово, чтобы назвать эту силу. Но слова не находится у Степана, только внутреннее чутьё подсказывает: *«…Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил — «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности… Но не они та сила». (В. Шукшин. Я пришёл дать вам волю).*

Если не бояре, не стрельцы, не царь… то кто?..

6. Сказать слово

И вот это-то «кто?» не даёт покоя Князеву, тревожит его: *«И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям» (В. Шукшин. Штрихи к портрету).*

Не даёт покоя и Разину, он тоже прислушивается к себе, пытаясь «понять» это слово, произнести его: *«Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, в нательной рубахе… Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя: не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро…» (В. Шукшин. Я пришёл дать вам волю).*

Хотя он уже действует, неосознанно действует, ибо мочи боле нет, прижало совсем. Да не в этом ли наши беды, что сначала делаем, потом задумываемся, может быть, наоборот стоит, сначала задуматься, да назвать это слово.

Но успеть ли, дадут ли назвать его: *«Разина» закрыли… Но всё же душа не потому ноет. Нет. Это я всё понимаю. Есть что-то, что я не понимаю. Что-то больше и хуже» (Из письма В. Шукшина к В. Белову).*

Почему-то перед глазами последний кадр из «Печек-лавочек», Шукшин сидит на Пикете, босой, напряжённо смотрит в даль. И уже не Князев, не Разин, а сам Шукшин думает: *«Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — **государство**» (В. Шукшин. Я пришёл дать вам волю).* Слово сказано. Оно, как говорится, — не воробей…

Галина Ульянова

Физик Александр Гекман

из рассказа «Упорный»

Из немецкой республики Поволжья в 1941 году и позднее было выслано один миллион двести тысяч немцев. Девяносто пять тысяч — в Алтайский край. В том же году 57 немецких семей, около трёхсот человек, приехали в Сростки. Сначала всех приезжих размещали в школе (сегодня — главное здание музея-заповедника В. М. Шукшина), потом местные жители разбирали их в свои дома. Некоторые семьи жили в бригадных колхозных избушках, которых на территории села было четыре. Словом, перебивались, как могли, ждали и надеялись, что это ненадолго, и весной им разрешат вернуться домой, в Саратовскую область. Но разрешения не последовало, потому приходилось устраиваться на новом месте, привыкать к суровому климату и ещё более суровым условиям труда, к дисциплине военного времени…

Основная часть немецких семей жила в Сростках в районе Низовки. Пять немецких семей в 1944 году заселены, по воспоминаниям Ангелины Ивановны Шефер, на Бикет, в трёх километрах от села. Жили в землянках, вырытых прямо в горе, с одним маленьким окном. В таких тесных помещениях ютилось по нескольку человек.

Этот опасный участок Чуйского тракта требовал постоянного ухода и внимания, особенно зимой. Рабочие, в основном женщины, так как мужчины были «призваны» в трудармию, выходили на дорогу в пять часов утра, расчищали снег, посыпали песком и мелким гравием, чтобы часам к восьми — девяти тракт был в рабочем состоянии. О мытарствах депортированных немцев можно писать много, но… это отдельная история.

Подробнее об одной семье, которая сыграла значительную роль в жизни В. М. Шукшина. «Знаменитый немец» — так можно назвать Александра Ивановича Гекмана, учителя физики Сростинской средней школы. В феврале 1948 года в Сростки приехала учительская семья: Александр Иванович Гекман — физик, его жена Зинаида Ивановна Ковязина — математик. Они прожили в селе до августа 1960 года и оставили о себе добрую память. Многие поколения детей, которым посчастливилось учиться у них, до сих пор, вспоминая родную школу, называют в числе любимых и уважаемых учителей, в первую очередь, Александра Ивановича и Зинаиду Ивановну.

В конце 80-ых годов З. И. Ковязина написала и прислала в музей свои воспоминания.

«…Мой муж, Гекман Александр Иванович, умер в мае 1970 года. Почти с первого дня войны он воевал на Южном фронте связистом, был тяжело контужен, а в 1945 году демобилизовался для продолжения учёбы в пединституте города Новосибирска (начинал учёбу в Саратовском пединституте, оттуда его взяли в армию в феврале 1940 года). Встретилась я с ним в Новосибирском пединституте в 1946 году. Мы поженились…

Начали работу в Сростинской средней школе с февраля 1948 г. Работали в дневной и вечерней школах, но всё это было в одном здании. *(Главное здание музея В. М. Шукшина, авт.)*

…В. Шукшину разрешили посещать уроки математики, физики и химии в дневной школе, по возможности, и вечерней. Эти предметы давались ему, конечно, трудно, но он занимался упорно. Занимались у нас дома и в школе. Это был удивительный человек и ученик. Мы, учителя, поражались его трудолюбию, поэтому, естественно, возникало желание помочь ему. Посещая мои уроки математики в дневной школе, он всегда подходил и спрашивал после урока, где было что-то неясно, и не стеснялся учащихся класса, хотя был старше их на 6–7 лет…

Мой покойный муж очень часто беседовал с Васей Шукшиным, они уважали друг друга, поэтому не случайно Шукшин приходил к нам советоваться о поступлении в институт кинематографии.

Впоследствии мой муж стал одним из персонажей рассказа Шукшина «Упорный». Этот рассказ опубликован впервые в «Литературной России» 2 марта 1973 года.

«Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбуждённого Моню… Смотрел в чертёж. Выслушал.

— Вот! — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. — Видите, как всё продумано! А вы говорите… — И повернулся к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять:

— Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш жёлоб и ваш груз… А к ободу колеса вместо жёлоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот… — Гекман нарисовал своё колесо и к ободу его «прикрепил» стержень. — Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину… Во-от. — Учитель и пружину изобразил.

— А другим концом…

— Я уже такой двигатель видел в книге, — остановил Моня учителя. — Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель. — А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы…

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз… Груз лежит на жёлобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам всё ясно: груз так же одинаково давит на стержень и на жёлоб. Ни на что чуть-чуть меньше, ни на что чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он. — Вы что? По жёлобу он только скользит — жёлоб можно ещё круче поставить, — а на стержень падает. И это одинаково?! Моня свирепо смотрел на учителя. Но того всё не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. — Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство…

— Да горите вы синим огнём с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгрёб чертёж и вышел вон».

Пожалуй, все, кто учился в те годы в Сростинской средней школе, когда физику в старших классах вёл Александр Иванович Гекман, с особой теплотой вспоминают о нём. Урокоы его всегда ждали, а не боялись, как уроков некоторых педагогов, хотя тоже талантливых по-своему. Умный и талантливый учитель умел объяснить труднейшие законы механики, возникновения электрического тока просто и понятно, на всю жизнь.

Вспоминается такой эпизод. Однажды на уроке в седьмом классе проходили тему: «Электричество». У доски стоял слабый ученик Витя Бедарёв. (Кстати сказать, в жизни он потом стал хорошим электриком). На столе приборы, с помощью которых надо объяснить, как электрический ток, образуясь в одном из них, попадает в другой. Задача оказалась непосильной для мальчишки. Гекман начинает нервничать, лицо его краснеет, но он упорно хочет, чтобы парень понял. А когда Александр Иванович сердился, то говорил с сильным немецким акцентом, примерно так: «Опъясни мне, как он (ток) отсюда попадает сюда? Што, понимаешь, он выскакивает бес штаноф из эта катушка и бежит в эта катушка?» Было смешно, но такие ситуации запоминались на всю жизнь, а самое интересное то, что становилось понятно, как электрический ток передаётся на расстоянии.

Может быть, тем, кто связал свою жизнь с математикой и физикой, на пути встречались преподаватели более умные и талантливые. Не знаю. Мне лично не довелось.

В школе постоянно работал кружок под руководством Александра Ивановича. Мальчишки конструировали самолёты, пароходы, летающих змей и многое другое и занимали в районе и крае призовые места.

Вспоминает один из бывших учеников Сростинской средней школы Шефер Вольдемар (в селе его зовут — Володя): «Наверно, он (Гекман) плохо знал русский язык или ещё почему, но часто употреблял слово «присобачить», когда что-то мастерил». *(В значении: приспособить, прикрепить — авт.).* Может быть, ему просто нравилось это ёмкое, интересное слово.

Учащиеся старших классов 1960–1961 учебного года первого сентября испытали огромное разочарование, если не сказать больше. Вместо любимого учителя в класс вошла молодая учительница — физик. К этому долго не могли привыкнуть…

Семья Гекман переехала в рабочий посёлок Павловск Алтайского края, а ещё раньше туда уехали из Сросток три учительские семьи. Именно там, зимой 1963 года, состоялась встреча молодого режиссёра и писателя В. М. Шукшина с любимыми учителями.

В воспоминаниях Зинаиды Ивановны читаем: «…И вот в феврале мы увидели афишу о приезде в РДК группы молодых кинорежиссёров и в том числе — В. М. Шукшин. Мы, все сростинцы, собрались на эту встречу, заранее приобретя билеты. Но приезд этой группы задержался из-за бурана часа на три, все мы ждали, это было в один из воскресных дней. И вот сообщение: приехали. Начали выходить один за другим кинорежиссёры с кинобанками, и, наконец, наш Василий. Мы все со своими детьми сидели на стульях вдоль стены и по команде Степана Мартыновича Чекушкина (бывшего учителя физкультуры Сростинской средней школы) встали и сказали: "Здравствуйте, Василий Макарович!".

Он был так удивлён и растерян, что выронил свои кинобанки, они покатились по залу, а он обнимал и целовал нас, не находя слов от радости.

Поговорив со своим руководителем, (не помню, кто был), стал выступать первым перед зрителями, хотя в плане было не так, это было для того, чтобы осталось время поговорить с нами…

И вот всё его выступление сводилось к тому, что он рассказывал не о своей работе, а о том, что он встретил здесь неожиданно своих учителей, тех, кто учил его, и тех, с кем работал. Рассказал некоторые эпизоды своей учёбы и сдачи экзаменов и говорил о своей благодарности нам, как он уважал и ценил нас, что дали ему дорогу в жизнь… И вот мы собрались после его выступления в одной из комнат РДК и больше часа беседовали. Он интересовался всем: как мы живём, как работаем, что нам мешает, как со здоровьем, был внимателен к каждому слову. Тут и сфотографировали нас… После отъезда он посылал нам весточки иногда».

В. М. Шукшин сказал как-то, что ему «везло на умных и добрых людей». Именно такими были эти замечательные педагоги, которые оставили существенный след в судьбе и жизни будущего писателя. А неожиданная и приятная встреча 1961 года врезалась, видимо, настолько, что десять лет спустя появился рассказ, и любимый учитель назван своим именем, под своей фамилией, выписан почти документально…Жаль только, что сам Александр Иванович не дожил до первой публикации произведения и не высказал своего отношения к творчеству одарённого ученика…

Юрий Беликов
Наталья Солженицына

Марковна для Аввакума

или Что осталось на рабочем столе Солженицына

3 августа исполнился год, как он покинул Россию. На сей раз — физически. Бесповоротно. Ибо духовно он её никогда не покидал — ни тогда, ни, тем более, сейчас. Невольник сталинского Гулага, ещё не написавший того, что ему предстояло написать, мог ли он предвидеть, что 16-го мая 2009-го года на сцене Пермского театра оперы и балета разразится (в данном случае, это единственно верное, очистительное слово) премьера оперы «Один день Ивана Денисовича»? А ведь мог. Солженицына мало знают как поэта. Но в лагере, словно в предчувствии пульсирующих токов будущей повести, с которой в Отечестве нашем начнётся отсчёт попранной Истины, его настигнут строки:

Выходим, клокоча, выходим, проклиная,
До самых звёзд безжалостных всё вымерзло, всё ярко, —
И вдруг из репродуктора, рыдая,
Наплывом нанесёт бетховенское largo…

Опера!.. Её уже «наносило». Из клубящегося Времени, в дымный разрыв которого в том же темпе (largo — это медленно) будет удаляться и удаляться в финале премьеры телогреечная фигурка Ивана Денисовича. Я попытался взглянуть на неё глазами вдовы писателя — Натальи Дмитриевны Солженицыной, сидевшей в зале от меня неподалёку. Вот так же — руки за спину, будто поддерживая поясницу, шёл Александр Исаевич в одном из последних телевизионных репортажей о нём. В разрыв какого Времени он уходил? Одновременно в прошлое и будущее?.. Потому что они часто меняются местами. В каком веке живёт протопоп Аввакум? В XVII-м или во всех последующих? Возможно, в XX-м столетии он перевоплотился в Александра Исаевича Солженицына.

Но у Аввакума была Марковна, спросившая его: «Долго ли нам, Петрович, ещё идти?» И был ответ: «Марковна, до самыя до смерти». Но был и ответ ответа: «Добро, Петрович, ино ещё побредём».

Иногда думается: не прозвучало бы этого ободрения Марковны, не существовало бы и дальнейшего пути Аввакума. Вот такой Марковной и видится мне Наталья Дмитриевна Солженицына (до замужества Светлова).

— Его Бог по жизни ведёт. Через лагерь провёл. От рака спас. Женщину поменял…

Это сказал мне Виктор Петрович Астафьев.

Ю. Б. Наталья Дмитриевна, я понимаю, что касаюсь сейчас тонких материй, но позвольте спросить: «А если бы Бог не поменял женщину?.. Есть ли у вас ощущение, что ваш с Александром Исаевичем союз был неизбежен?»

Н. С. У нас с Александром Исаевичем, действительно, было ощущение, что наш союз благословлён свыше. Говорить об этом, наверное, было бы нескромно, если бы не дети. Вот в детях мы чувствовали благословение Божье. Они выросли в счастливой семье и все, кто их встречает, сразу это по ним видят. Так что нам с Александром Исаевичем друг с другом повезло. Ещё и потому, что мы вместе работали. Работа — его форма жизни. А я была влюблена в эту работу. Для меня ничего лучшего нет и сейчас. По первоначальному образованию мы оба математики. Но оба поменяли профессию. Я стала и редактором, и историком, и критиком. Это произошло по жизни — потому что нас выслали из страны и там, за границей, работать в качестве математика не представлялось возможным. Но не только поэтому. Всё, что я могла и знала, я хотела вложить в работу Александра Исаевича. Так что с моей стороны не было никакой жертвы и самоотверженности. Это просто была счастливая жизнь.

Ю. Б. В своей книге «Александр Солженицын и читающая Россия» Наталья Решетовская, первая жена Александра Исаевича, приводит такой эпизод: «…я не выдержала. — Тебе не нужна жена, тебе не нужна семья! На что Солженицын отвечает: — Да, мне не нужна жена, мне не нужна семья, мне нужно писать роман…» На ваш взгляд, если бы творческий путь Александра Исаевича продолжился с Натальей Решетовской, этот путь был бы другим, во всяком случае, не таким, какой сейчас для нас важен?

Н. С. Трудно судить в сослагательном наклонении. Но исходя из того, что в жизни Солженицына уже назрело на момент нашего знакомства… Ведь этому предшествовали, по крайней мере, шесть лет фактического его разрыва с Натальей Алексеевной. По сути, они мучились друг рядом с другом, реально вместе не живя. Для всех окружающих формально их союз ещё существовал, но сам Александр Исаевич называл ту жизнь «кишкомотательством». Он уезжал из дома, чтобы писать. Он бежал от Натальи Алексеевны, чтобы поработать в каком-нибудь уединённом и спокойном месте. И ясно, что при таком раскладе его сил не хватило бы на долгое время. И потом, всё-таки, это же не рациональный выбор: с этой женщиной мне плохо, а с этой будет хорошо. Когда мы встретились, то вообще никто никаких вопросов не задавал. Это был такой… пожар!

Ю.Б. Расскажите о пожаре… В чём причина «возгорания»?

Н.С. Нас познакомила наша общая подруга Наталья Ивановна Столярова. Замечательная женщина. Она умерла 25 лет назад, но я и по сей день с ней сверяюсь: что бы она подумала или сказала в той или иной ситуации. Она — чуть старше Александра Исаевича, отличалась исключительно живым, динамичным характером, и мы, несмотря на разницу в возрасте, очень дружили. Наталья Ивановна — дочь революционера Столярова и эсерки Наташи Климовой — одной из участников взрыва на Аптекарском острове, когда пытались убрать Столыпина. Столыпина не взорвали, но 26 человек, находившихся в его приёмной, укокошили. Наталья Ивановна родилась за границей — её родители-революционеры вынуждены были туда перебраться — и в 30-х годах прошлого века ещё совсем молодой девушкой она приехала в СССР. Её, конечно, довольно быстро посадили. Она отсидела 10 лет, потом страшно мыкалась, была «в минусе» — ей нигде нельзя было жить, и на работу не брали, а это ещё хуже, чем в лагере, потому что там, по крайней мере, была гарантированная пайка. Но потом, когда началась хрущёвская оттепель, Столярова смогла приехать в Москву и стала секретарём Ильи Эренбурга, вдобавок ко всему она свободно владела французским. Вот так она сделалась заметной и красивой частью московского «ландшафта». Познакомилась я с ней в доме Надежды Яковлевны Мандельштам. Александр же Исаевич был не москвич, литературный быт у него был очень тяжким, потому что ему приходилось возить туда-сюда и прятать то, что он писал, и Наталья Ивановна решила найти ему ещё новых помощников. Александр Исаевич дал мне одно-второе-третье поручение. И довольно скоро, после того, как мы начали вместе работать, и вспыхнул этот пожар. А дальше он уже никогда не потухал.

Ю.Б. Создаётся впечатление, что Солженицын был из тех, кто чётко знал о своём предназначении — не только писательском, но и общественно-историческом. Порой кажется, что он даже провидел свой путь от начала до конца. Иначе не написал бы ещё в 1940-м году на обороте фотографии молодожёнов в день регистрации брака с Натальей Решетовской: «Будешь ли ты при всех обстоятельствах любить человека, с которым однажды соединила жизнь?» Здесь явно делается смысловое ударение на словосочетании «при всех обстоятельствах». Значит, уже тогда внутренняя природа его всё предчувствовала, что должно произойти в дальнейшем?

Н.С. Интересное наблюдение. Мне известна эта надпись, но никогда не приходило в голову обратить внимание на этот поворот, о котором вы сейчас сказали. Возможно, Александр Исаевич уже многое знал из своего пути. Не в деталях, конечно, но, во всяком случае, у него была готовность отдаться целиком своему предназначению. И замеченный вами акцент, действительно, свидетельствует как раз об этом.

Ю.Б. Узнав, что я должен с вами встречаться, вот какое сообщение прислал мне по электронной почте один из красноярских писателей: «Светлова — женщина, безусловно, самоотверженная. Прожить столько лет с диктатором (а в том, что Солженицын — диктатор, я почему-то не сомневаюсь)!» Вы действительно жили с диктатором?

Н.С. Это очень распространённое мнение и даже понятно, откуда оно берётся, но ничего общего с действительностью не имеет. Да, Александр Исаевич — человек целеустремлённого склада, готовый жертвовать многим ради той задачи, которая перед ним стоит, поставлена судьбой. Он был убеждён: то, что он делает, — необходимо. И хотел, чтобы близкие добровольно разделяли его жизненный труд, но никогда и ни к чему не принуждал ни меня, ни детей. Наш союз потому и удался, что всё, что я делала, было совершенно свободным, не под нажимом, а оттого, что я разделяла это стремление как счастье, что мы, пусть медленно и трудно, но движемся к намеченной цели. Вопреки молве, Александр Исаевич был человеком, очень прислушливым к критике. Спросите наших детей: мы спорили с ним бесконечно и даже — до сильного повышения голоса! Я, вообще, большая спорщица. О чём? Относительно художественных ли вещей, публицистических ли, или — тактики поведения, потому что мы оказались на Западе, и в этом другом мире нужно было понять, что делать, а чего не делать? Но прислушлив он был не только ко мне. Если его удавалось убедить, он отступал от своей точки зрения. Солженицын не был диктатором совершенно. Просто обладал сильным характером.

Ю.Б. Однажды я услышал почти комплимент. Я написал повесть «Изба-колесница», которая долго скиталась по разным изданиям, прежде чем с благословения Романа Солнцева увидеть свет в журнале «День и ночь». Один из моих друзей, её прочитавший и даже размноживший, сказал: «Ну, ты прямо как Солженицын — ни тем, ни другим!» Вот это «ни тем, ни другим!» — действительная ли черта Александра Исаевича, когда любые компромиссы, были, в принципе, невозможны и оставалось только одно правило — «жить не по лжи»?

Н.С. Как сказано у Александра Исаевича в главах о Столыпине, всегда самая трудная линия — средняя. Радикализм, любой — и левый, и правый, никогда ни к чему хорошему не приводит. Он только разрушает. А самое трудное — это хоть сколько-нибудь созидать. Тот, кто созидает, не может быть радикалом. Но радикалы любого толка хотят, чтобы все непременно становились под их знамёна. Александр Исаевич вовсе не был «ни тем, ни другим» — всю его жизнь пронизывала одна сердечная и изнуряющая любовь: к России. Он хотел сделать так, чтобы было лучше России, а не той или иной партии. А партии презирал — всякие.

Ю.Б. Когда вы вернулись в Россию, многие представители нашей интеллектуальной элиты возлагали большие надежды, что Александр Исаевич

возглавит патриотическое движение. Временами казалось: так и происходит. Его выступления по телевидению, где он давал советы далеко «не постороннего», вселяли в этом смысле надежду. А потом передачи прервались, и Солженицын ушёл в творческий затвор.

Н.С. Он не ушёл в затвор — у него отняли микрофон. Его просто-напросто выгнали с нашего телевидения! Его даже не предупредили, что следующего эфира не будет. 13-я передача, уже записанная, не пошла в эфир. Её запретили. Что касается его возможной объединительной роли по отношению, как вы сказали, патриотической оппозиции, то, если разобраться, никакой оппозиции-то и не было. На самом деле, все эти ребята, как правые, так и левые, к сожалению, не способны были объединиться. А вот что-то делить — это пожалуйста. Каждый хочет, чтобы было точно по нему. А если чуть-чуть не точно, уже раскалываются. Как Ленин в своё время: раскалываться, раскалываться и ещё раз раскалываться! Но зато потом: «Есть такая партия!» И, если вернуться в наше время, то никакой формообразующей силы мы тут не застали.

Ю.Б. Речь ведь даже шла о том, чтобы Александр Исаевич стал президентом России?

Н.С. Когда мы ехали из Владивостока до Москвы, об этом говорили многие, но это, конечно, утопия. Во-первых, никто никогда такого бы не допустил. Уже тогда это в России решали те, кто воротил деньгами и ставил себе угодных, как и всюду в мире. В этом смысле за Александром Исаевичем никого бы не было. А во-вторых, существовал закон, по которому человек, избирающийся в президенты, должен жить в России подряд в течении десяти лет. И потом вы не учитываете возраст. Солженицын вернулся на Родину далеко не молодым человеком. Интересно другое. Александр Исаевич написал ведь очень серьёзную работу — «Как нам обустроить Россию?».

Ю.Б. Я её читал…

Н.С. Конечно. Но вы наверняка читали тогда, когда она вышла. Однако если бы вы её перечитали сейчас, вы бы увидели, что в ней не только нарёд описано всё то, что произошло со страной на наших глазах. Там есть и вторая часть, где даётся чёткая модель строения государства, как Солженицын его себе представлял. В это и сейчас ещё не поздно вникнуть, но никто этого не делает — я уж не говорю о том, чтобы попытаться взять на вооружение. Так что, скажите: что возглавлять-то, если люди не разделяют твоих взглядов? «Это не важно, главное — политическая борьба, главное — сегодня взять власть!», — вот их фанатичная цель. Ну, возьмёте вы власть. А что будете делать на следующий день? Об этом никто не хочет думать. А Александр Исаевич много потратил на это усилий и времени.

Ю.Б. Ещё находясь в СССР, во время своего 50-летия, Солженицын отвечал всем, поздравлявшим его: «Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России». Я знаю, что он не любил давать интервью. Потому что в «книгах всё написано!» Но парадокс — в другом: достойна ли Россия, читающая ныне донцовых и марининых, произведений Солженицына?

Н.С. То, что сегодня Россия читает донцовых и марининых, вполне закономерно. Весь мир читает донцовых и марининых. Если есть свобода и можно выбирать, большинство, как это, может быть, ни прискорбно, делает свой выбор в их пользу.

Ю.Б. Но, согласитесь, до некоторых пор такого «Жёлтого колеса» в России не было?

Н.С. Да, оно покатилось по стране на наших глазах. Но, во-первых, большевики не давали выбора. С одной стороны, не публиковали ничего «жёлтого». С другой — была неплохая фантастика, наша и зарубежная. Большевики следили, чтобы западную фантастику переводили хорошую. И был сплошной Василий Ажаев с его сочинением «Далеко от Москвы» — невозможной псевдопатриотической жвачкой, читая которую, все понимали, что это полная мура. И поэтому, когда появлялась какая-то правда (не только из-под пера Солженицына), опубликованная или нет, конечно, это был как глоток свежего воздуха, и люди с жадностью его ловили. Но мы ведь с вами не знаем (никто такой статистики не вёл), какой процент населения читал этот самый самиздат? Вот читали Солженицына, но не читали Маринину, потому что её не было как таковой.

Ю.Б. Зато теперь «Жёлтое колесо» прокатилось по мозгам «дорогих россиян» с такой одурью, что своим ободом изрядно выпрямило их извилины. Да так, что стало видно: Солженицын ещё сильно не прочитан.

Н.С. Конечно, не прочитан. И не только он. Даже — Булгаков, за произведениями которого, казалось бы, охотились. Кто в конце 80-х Булгакова прочёл, тот и прочёл. А сейчас уже не читают. Но такая ситуация — почти во всём мире. В Америке тоже поглощают литературу «из супермаркетов». Если усреднённому человеку дать выбор, он не будет себя утруждать. А читать Солженицына не так легко. Это — душевный труд.

Ю.Б. Мне кажется, одна из причин, почему «читающая Россия» не оправдывает надежд Александра Исаевича, — в том, что он говорит с ней тем ярким, старорусским языком, который сам когда-то в себе выработал. Он с этим языком и вернулся в Россию, а Россия уже говорила на другом языке — унифицированном, замусоренном иностранными словами. Вот, предположим, я знаю, что вам, Наталья Дмитриевна, приходится быть не только редактором, но и корректором книг Солженицына, потому что теперешние корректоры начинают «править» его язык. Допустим, в своих лагерных стихах он пишет: «Я обернусь к нему огрубнувшим лицом». Или у него есть глаголы «усовершить», «огоркнуть». Или, скажем, выступая в Госдуме, он употреблял слово «земство». И казался архаиком. Телеоператоры выхватывали физиономии депутатов — как снисходительно-скептически они ухмылялись. Не считаете ли вы, что Александр

Исаевич нёс в себе одну Россию, а она расшиблась о другую — подменённую?

Н.С. Не совсем так. Солженицын вырос в Ростове на Дону, где язык был достаточно плоским и выхолощенным. В средней России, и особенно на севере, язык более сочный. Александр Исаевич очень любил русский язык и много им занимался. Он составил «Словарь языкового расширения». И, кстати, ни одного слова не выдумал, включил туда слова, которые либо были в употреблении ещё совсем недавно, либо те, которые русский язык сам позволяет рождать. Он исключительно гибкий и в нём возможны сочетания корня с очень разными приставками и суффиксами. И с корректорами у меня проблемы совсем иного рода. Они слова-то редко правят. Правят синтаксис. Понятно, почему. Хотят действовать точно по правилам, а Солженицын всегда говорил, что, когда слишком много запятых, этот понаставленный частокол создаёт те паузы и препинания, которых у него нет. Он хотел, чтобы это не мешало ритму прозы. Или наоборот: ставил интонационную запятую — здесь должна быть пауза, но она не предусмотрена правилами. Но это, опять-таки, общемировой процесс. Повсюду языки скукоживаются, как шагреневая кожа. Остаётся ядро, а то, что чуть-чуть вне, всё языковое богатство, — отбрасывается. Не самим языком, а его носителями. Язык превращается в простое средство коммуникации. Очень жаль, что так. Этому следует сопротивляться. И солженицынский «Словарь языкового расширения» к этому и призван. На самом деле, всем понятно, что такое «огоркнуть». Или — «огрубнувшим лицом». В данном случае суффикс «н» передаёт оттенок, которого нет в привычном «огрубевшим».

Ю.Б. Последняя премия Фонда Солженицына присуждена Виктору Астафьеву. У многих возникает вопрос: «Почему не при жизни того и другого, учитывая их человеческую и творческую приязнь?

Н.С. Тут, на мой взгляд, всё достаточно ясно. И Виктор Петрович, и Александр Исаевич — почти ровесники. Астафьев моложе на пять лет. Но фактически не моложе, потому что они оба — участники Великой Отечественной войны. Те, кто не воевал и кто воевал, — это уже разные поколения. Смотрите: два больших русских писателя. Они по отношению к обществу в некотором роде находятся на одном уровне. И возникла бы некая неловкость, как если б, скажем, Тургенев наградил премией Гоголя, потому что у Тургенева деньги были, а у Гоголя нет. Мы обсуждали кандидатуру Астафьева буквально с первого года, как Александр Исаевич учредил премию. Но получилось бы неловко. Такая премия, при жизни учредителя, всё-таки подразумевает, что тебе вручает её некий патриарх. Но по отношению к Астафьеву Солженицын — не патриарх. А после кончины Александра Исаевича мы первую же премию присудили Астафьеву (посмертно). Единогласные решения у нас случаются не всегда, но тут все члены жюри с этим согласились. Потому что это был правильный момент: соединить два эти имени — Солженицына и Астафьева.

Ю.Б. Известно, что Александр Исаевич был одним из тех, кто глубоко сомневался в авторстве «Тихого Дона». Об этом он говорил в предисловии к работе Ирины Медведевой-Томашевской «Стремя „Тихого Дона“», вышедшей в своё время в Цюрихе: «Но то, что не Шолохов написал «Тихий Дон», доступно доказать любому литературоведу, и не очень много положив труда: только сравнить стиль, язык, все художественные приёмы «Тихого Дона» и «Поднятой целины». На самом деле, независимо от Солженицына, когда я читал шолоховские произведения, меня посещали ровно такие же мысли. Но сейчас, я слышал, нашли какие-то рукописи, свидетельствующие, что автор «Тихого Дона» — Шолохов? Это не поколебало убеждение Солженицына, что «Тихий Дон» написан другим человеком? Или он пересмотрел своё отношение к Шолохову?

Н.С. Наоборот. Вообще, надо сразу оговорить, что Александр Исаевич всегда считал «Тихий Дон», особенно первое его издание, до последующих правок, гениальной книгой, и об этом никто не спорит. Солженицын вырос на юге России, где в те годы подавляющим — и нескрываемым — было убеждение, что Шолохов — не автор «Тихого Дона», что он эту рукопись нашёл или она попала к нему какими-то иными путями. Конец слухам положила угроза «судебной ответственности» для сомневающихся, напечатанная в «Правде» в марте 1929-го, — тогда не шутили. Вы спрашиваете о неких недавно найденных рукописях, которые предложено считать черновиками «Тихого Дона» с правкой Шолохова. Публикация этих рукописей подарила текстологам долгожданную возможность анализа, который несомненно приблизит нас к истине. Похоже, публикаторы напечатали рукопись на свою голову! Уже представлена в Интернете текстологическая работа питерского исследователя, поэта и переводчика Андрея Чернова, скрупулёзно анализирующая эту правку. На множестве примеров Чернов убедительно показывает, что Шолохов — не автор, а имитатор, переписчик чужого текста. Но если в конце концов авторство Шолохова и повсеместно будет признано мистификацией — это никак не изменит, а напротив — возведёт на должную высоту величие изначального текста «Тихого Дона».

Ю.Б. Когда-то Михаил Горбачёв назвал Солженицына монархистом, разумеется, вкладывая, в это определение негативный оттенок…

Н.С. Вкладывая, но, главное — без всякого понимания сути дела.

Ю.Б. Действительно ли им был Александр Исаевич? В своё время я общался с живущим ныне в Благовещенске писателем Борисом Черных, бывшим сидельцем политзоны «Пермь-36», которого вы знаете. Черных переписывался с Солженицыным и у них возник вопрос о монархии в современных условиях: «Готова ли к этому Россия?»

Н. С. Не готова…
Ю. Б. … — сказал Александр Исаевич. На что Борис Иванович ответил: «А был ли готов иудейский народ к приходу Христа?»
Н. С. Ну, так и не принял! Не был готов — и не принял. И до сих пор ждёт Мессии. Я вам так скажу: Александр Исаевич в том смысле, в каком сейчас именуют себя монархистами те или иные люди, таковым себя не считал. Но он полагал, что, быть может, монархия — самый лучший способ правления. Однако монархия только тогда реально не профанирует своё назначение и название, когда сам монарх и большинство народа убеждены в его богоизбранности. Тогда есть шанс, что монархия будет благодетельной для людей, которые живут под монаршьим скипетром. Но в сегодняшнем российском обществе такие настроения напрочь отсутствуют. И, я думаю, не реально, чтобы они в обозримом будущем возникли. И Александр Исаевич так думал.
Ю. Б. Известно, как «бодался телёнок с дубом» и отношение Александра Исаевича к идеям коммунизма и советской власти. Но когда мы «отряхнули её прах с наших ног» и полностью погрузились в ту реальность, в которой мы сейчас пребываем, самое время задаться вопросом: «Что же мы, в результате, построили?»
Н. С. Мало что построили. А разрушили много. Александр Исаевич очень тяжело к этому относился. Он, вообще, всю жизнь был оптимистом, а близко к смерти не раз признавался, что это качество подутратил. Солженицын умирал в большой тревоге за страну. Просто в сердечной муке. Он терзался вопросом: «Сохранится ли Россия?» И даже написал об этом.
Ю. Б. Это опубликовано?
Н. С. Нет, эти заметки остались у него на рабочем столе. Александр Исаевич всегда считал, что и в 1917-м году, и теперь, виноваты две стороны: и власть, и общество. Но всегда более виновата власть.

май 2009-го

ДиН антология *110 лет со дня рождения*

Владимир Набоков

Родина

Я занят странными мечтами
в часы рассветной полутьмы:
что, если б Пушкин был меж нами —
простой изгнанник, как и мы?

Так, удалясь в края чужие,
он вправду был бы обречён
«вздыхать о сумрачной России»,
как пожелал однажды он.

Быть может, нежностью и гневом —
как бы широким шумом крыл, —
ещё неслыханным напевом
он мир бы ныне огласил.

А может быть и то: в изгнанье
свершая страннический путь,
на жарком сердце плащ молчанья
он предпочёл бы запахнуть, —

боясь унизить даже песней,
высокой песнею своей,
тоску, которой нет чудесней,
тоску невозвратимых дней…

Но знал бы он: в усадьбе дальней
одна душа ему верна,
одна лампада тлеет в спальне,
старуха вяжет у окна.

Голубка дряхлая дождётся!
Ворота настежь… Шум живой…
Вбежит он, глянет, к ней прижмётся
и всё расскажет — ей одной.

Иван Переверзин

Птицы вечности

Птицы вечности

Птицы вечности реют повсюду
и в небесные трубы трубят.
Молча слушаю, мою посуду,
ты не слышишь, ты моешь ребят.

Мы оглохли от хриплых и разных
свистунов на руинах основ,
от пророков ленивых и праздных,
извращающих истинность слов.

Жить и жить бы спокойно и тихо
в мирозданье, где есть тополя,
где цветёт-доцветает гречиха,
дышат свежестью мёда поля.

Мельник с неба просыплет мучицы —
мы и сыты, и с хлебом живём…
Птицы вечности, вечные птицы,
я не знаю, что в сердце моём.

Только ходики слышатся в доме,
только тени мерцают хитро.
И всю ночь я держу на ладони
прядь волос — золотое перо.

Жизнь или смерть? Конечно, жизнь!
Но только чтобы, братцы,
душой не опускаться в высь,
во тьму не подниматься.

Я видел в смерти столько слёз,
кровь в жилах леденела!
И боль прожгла мой дух насквозь,
и стало пеплом тело.

Октябрьская буря и первый мороз
швыряют остатки листвы под откос:
деревья, как годы, — и годы, как лес,
пронизаны ветром до края небес.
Утраты считаю одну за другой.
За ветку держусь, пережёван пургой.
Держусь и держусь, вспоминая о том,
как птахи звенели над майским кустом,
как лоси трубили два утра подряд
и в ранний восход проливался закат.
Предзимнее время, осенняя Русь…
За мёртвую ветку держусь и держусь.

И даже камнем обрастая,
вовек не стану я другим,
милее мне изба простая —
защита нищим и нагим.

Богаче я, но землю рою
не для того, чтоб всё — моё!
Не для того хозяйство строю
и берегу в лесах зверьё.

Молюсь на ягоду-малину
и в пояс кланяюсь грибам,
и горько думаю, что сыну
любви к земле не передам.

Не в том беда, что путь в тумане,
а в том, что смутно на душе…
И вот стою на поле брани —
на той же вечной на меже.

Через неё прошла дорога
за города и облака…
И не судите слишком строго
ни богача, ни бедняка.

Ударят в ранний час морозы,
и потекут от счастья слёзы,
искрясь в оранжевых лучах…
Зима, зима! С хрустящим снегом,
с неповторимым лыжным бегом
и вьюгой-змейкой на лугах.

И всё-таки мне ближе осень,
когда меж туч сияет просинь,
когда, устав от дел и слов,
шагаю по листве опавшей
с печалью, может, запоздавшей,
но ясной, как сама любовь.

А, впрочем, думаю, с годами,
неважно, штилем иль цунами,
жизнь обернётся для меня —
живу себе, и слава Богу,
торю во тьме свою дорогу,
во тьме средь дыма и огня.

Ну, а если стихи протрубят отбой
и не смогут меня поднять,
дорогая, хоть ты оставайся со мной,
нелегко одному умирать.

И не плачь, и судьбу за меня не кляни,
просто молча и тихо гляди,
как уходят мои беспокойные дни
по секунде в туман и дожди.

А когда и дыханье покинет меня,
осторожной своею рукой,
словно облачком лёгким в сиянии дня
мне навеки глаза закрой.

В моей душе — душе печальной,
где плыли баржами века, —
есть пристань, есть канат причальный,
да только высохла река.

Летают чайки, блещет галька,
сверкает сахаром песок,
и долбит мусорная галка
леща протухшего в висок.

Была река… И вот не стало.
Закрылась пристань, слышен мат.
И лишь душа светлинкой малой
сквозь тьму веков глядит назад.

Разлито в воздухе тепло:
берёза листья распускает,
рассвет озёрное стекло
туманной ватой протирает.

Вовсю токуют глухари,
на солнце отливают перья
то светом утренней зари,
то — голубого завечерья.

И золотисто-синий свет,
струящийся с небес на поле,
как радость уходящих лет,
как ощущенье вечной воли.

Взойдя на шаткое крыльцо,
стою, до пояса раздетый,
ласкают плечи и лицо
луч золотой, весёлый ветер.

Не верю даже, что зимой,
когда мороз гремел, как сабля,
душа, объятая тоской,
до самой сердцевины зябла.

Встречая новую весну,
я понимаю, как впервые,
что всё на свете прокляну,
но не рассветы золотые.

Туман лохматый и седой
над чёрным днём завис…
Ты забрала любовь с собой,
как забирают жизнь.

«Верни! — тебе кричу я вслед. —
Моя любовь — моя!»
Но лишь молчание в ответ,
как сон небытия.

Запрусь в избе — и не зови.
Налью стакан вина
и выпью за помин любви,
как в горе пьют — до дна.

Предзимье… Человек бредёт
через поля, как через годы:
и тащит груз своих забот,
как скот, не знающий свободы.

О, сердце русское, скажи:
когда цепей порвутся звенья,
в какие бросишь мятежи
своё великое терпенье?

Но сердце бедное молчит.
И человек меня не слышит.
Плывёт шуга, мороз трещит,
и ветер оголтелый свищет.

Ничего я вспомнить не успел,
как, простившись с веком, постарел.

И не важно, что в руках пока
столько силы, что свалю быка.

Главное — души высокий свет
потускнел, сошёл, как снег, на нет.

А коптить, как треснутая печь,
ах, постыло… Не об этом речь!

Лютик, вейник, незабудка
Расстилают свой ковёр,
и чирок — шальная утка —
поднимается с озёр.

Дремлет старое крылечко,
тяжелеют небеса,
и над замершим заречьем
ходит, ухает гроза.

И в кругу высоком бора
снова ранит душу грусть:
ох, не скоро, ох, не скоро
я теперь сюда вернусь.

Ольга Григорьева

Летоход

Старые игрушки

Наверное, тех лет не будет лучше —
Мальчишки с нами, молода сама…
Перебираю старые игрушки:
Машинки, куклы, лодочки, дома…
Их оживляли детские ладошки,
Им придавая ценность, вес и смысл.
И ничего, что нет хвоста у кошки,
А старый клоун одноглаз и лыс.
Не знаю, право, что мне с ними делать.
Мне жалко их, но захламляют дом…
Все выбросить? Или отдать соседям?
Или оставить внукам — на потом?
…Теряются наивность, свежесть, резкость,
Пустеет жизни детский уголок.
Когда из мира исчезает детскость,
Становится он скучен и жесток.
Как будто Тот, кто в нас вселяет души,
Дарует разум, сводит ли с ума —
Перебирает старые игрушки:
Людей, машины, лодочки, дома…

Овечкино

Что ты всё про высшее да вечное,
В паузах о трудностях бубня…
Жил бы ты на станции Овечкино,
Я бы посмотрела на тебя!

Утром печь топить, почти остывшую,
А потом — на речку, за водой.
А сугробы, друг мой, вровень с крышами —
Ты сперва калиточку отрой!

Лес шумит вокруг — сосновый, лиственный,
И закаты — чудо хороши!
А вопрос стоит один, единственный:
Как по-человечески прожить.

Если есть на свете что-то вечное,
Было и останется вовек —
Это снег на станции Овечкино,
Тихий, мерно падающий снег.

Ехать-то тут всего… Сущая дребедень:
Перетерпеть ночь да пережить день.
Душу открыть тому, кто посмотрел в глаза.
Ближнему своему главное досказать.
Ехать-то тут всего… Как же, Марин, суметь
Перетерпеть жизнь
И пережить смерть?

Электричка

Разноцветные реют флажки,
Снова празднует что-то столица…
Электричка «Москва-Петушки»
Подмосковьем предутренним мчится.
Пусть дорога знакома вполне,
Убежать на природу так славно!
И мелькают платформы в окне:
«Серп и молот», Кусково, Купавна…
Если где-то сидят больше двух,
То, конечно, сидят с интересом.
И летит Ерофеева дух
Над осенним божественным лесом.
Нет покоя ему никогда,
Всё-то он, горемычный, летает…
Днём и ночью шумят поезда,
Тишину, словно ткань, разрывают.
То не шпалы — бессмертья стежки.
Упокойся, душа, без сомнений.
Электричка Москва-Петушки —
Вечный памятник водке и Вене.

Переводчик

С головой накрывает невидимая волна
И не важен убогий быт или свет тусклый,
Ведь поэзия — перевод с Божественного на
Русский.
Кто впервые сказал об этом — Бог весть.
Может, это умная мысль, может — ересь.
Но пока хоть один переводчик на свете есть,
Человечество не погибнет,
Надеюсь.
Слушай Голос, и не придумывай ничего.
Разбирай слова, учись, доходи до сути.
И не мни себя автором. Все мы только Его
Слуги.
Но когда однажды, рассекая веслом волну,
Увозя меня в никуда, седой перевозчик
Будет требовать плату, я ему протяну
Пару строчек.

А жизнь была — горой крутой
И кружкой пенной браги…
Цепляюсь каждой запятой
За белый лист бумаги.
Крючком, значком — за белый лёд,
За белый свет цепляюсь.
И каждый миг, и каждый год —
Прощаюсь и — рождаюсь!

В автобусе ночном

«О, русская земля…»
(«Слово о полку Игореве»)

«О, русская земля, уже ты за холмом…»
В автобусе ночном не дремлется, не спится.
Здесь, за границей — кров. Здесь, за границей — дом.
Здесь жизнь мою навек пересекла граница.
О, русская земля, ты мне родная мать,
Но горечь и печаль намешаны с любовью…
Как ты легко смогла детей своих отдать
И быстро позабыть оставленных тобою.
Князь Игорь не придёт… О, русская земля!
Удельные князьки вершат дела понине.
Не знаю я теперь, где Родина моя.
Мне всё равно, где жить. Я всюду на чужбине.
И там, где сердцу быть, стоит горячий ком.
Но паспорт погранцу я отдаю послушно.
О, русская земля, уже ты за холмом…
Всё так же велика. И так же равнодушна.

…И если ты в межзвёздной глуши летишь
И смотришь на шарик, который тебе был дорог,
Найди то место, где Омь впадает в Иртыш.
Я здесь стою и смотрю на любимый город.
Всё те же деревья, и скаты зелёных крыш,
И пушка, что молчит со времён Бухгольца…
И если ты действительно там летишь —
Прошу тебя, не обожгись о Солнце.
Что есть Земля? Пристанище наших тел.
А путь души, увы, никому не ведом.
Но если б ты увидеть меня хотел,
То я летела б сейчас за тобой следом.

Летоход

Весноход, летоход, зимоход…
Кто сказал, что таких не бывает?
Каждый месяц, как льдина, плывёт,
В дымке памяти тонет и тает.
Точно так, как весной ледоход —
Неизбежен, стремителен, краток,
Наших лет человеческих ход
Превращается в лёгкий осадок.
Жизни вечный девиз: «Всё пройдёт».
Обижаться на это нелепо.
В тихой глади разлившихся вод
Отразится бездонное небо.

Боже мой, какой смешной расклад:
Мой расцвет пришёлся на распад.
А потом — не стало той страны.
А теперь — кому стихи нужны?
Новый век. Совсем другой народ.
Снова не вписалась в поворот.

Не хочется уходить

Вьюны сердцевину прячут,
На солнце можно смотреть…
Не хочется уходить с дачи.
Всё сделано. Что сидеть?
Но так — почти нереален —
Вечерний этот покой,
Так вечен, велик, зеркален
Закат над большой рекой,
Так тих наш зелёный остров,
Что времени рвётся нить.
Не хочется уходить… Просто —
Не хочется уходить.

Переводные картинки

Детство моё бедное…
Коричневые ботинки,
Противная шапка фетровая,
От которой болит висок.
Но было чудо в прогулках —
Переводные картинки.
Картинки переводные —
По три копейки листок.
На выходной иль в праздники
Мама давала денежку,
И я покупала картинки —
Чаще всего, одну.
И выбирала долго,
И несла её нежно-бережно,
И окунала в воду,
И прижимала к столу.
Она была с виду бледная,
Неясная и невзрачная,
Но я–то знала, что делать,
Чтоб стала она другой.
Сдвигалась бумага верхняя,
Серая, полупрозрачная,
И вспыхивал мир — зелёный,
Красный и золотой!
…Прошу тебя, моё слово,
Любое стихотворение:
Сдвигая серые будни
И обнажая смысл —
Позволь мне справиться с грузом
Отчаянья и неверия,
Картинкой переводною,
Волшебною,
Окажись!

Нелли Яшумова

Перекрёсток

Два стихотворения

1.

Рядом с вагоном едет вагон отражённый,
Там спит мужчина, мучительно
сгорбленный спит.
Здесь он проснулся, и смотрит вокруг
поражённый:
Долго ещё будет с толку он сбит?

Тень сосны, отражённая в нашем вагоне,
Едет, скамейку пушистою лапой накрыв,
У офицера на красно-зелёном погоне
Заночевал рыжеватый обрыв.

Срыв на прогоне.
Срыв.

2.

На кромке отраженья двух вагонов
Сидела я — небесной и лесной.
Как звёзды на полковничьих погонах
С эмалевой тоской
У красной кромки общего погона.
Но я не выходила из вагона.

Два имени пространств, но путь един.
И там, и тут — мужчина в скорбной дрёме:
И в отражённом ехал он вагоне —
И здесь под жёлтой лампою чадил.

Но там, под отражением очей,
Под блеск улыбки тихой белой ночи
Под наплетеньем скомканных лучей,
Когда душа великого захочет —
Он плыл по воздуху… И между этих двух
Я видела, что телом правит дух.

Но в этот день я собрала
Последнее звено.
Я ничего не поняла,
Но это — всё равно.
Всё так же будет литься дождь,
Холодный дождик злой,
И ты, усталая, вздохнёшь
Над бедной головой.

Среди случайностей пустых,
Среди ночных обид,
Мне ничего не прощено;
Поставлено на вид.

Она родилась и всю свою жизнь прожила в Ораниенбауме (дворцово-парковый пригород Петербурга). Работала в музее-заповеднике. Выпускница Литературного института, семинар И. Л. Волгина. Поэт, журналист, критик, редактор DIY-прессы, фотохудожник, коллекционер катастроф, блоггер наконец. Публиковалась в местной и самиздатовской прессе. Прижизненных книг не было. Покинула наш мир 15 августа 2007 года. «Нелли была человеком коммуникабельным и ярким. Острой на язык и небанальной в суждениях, мастером жизненных фабул и заядлым игроком в бисер. Нелли Яшумова была поэтом. Очень питерским. Неуспешным — и состоявшимся. Неровным в воплощении — но настоящим».

Проплешье улицы
И тянет нафталином
На этом
залежалом перекрёстке,
Но город,
Выброшенный на сквозняк,
Весь рыхлый,
пропылённый,
осторожный
Глядит куда-то
поверху голов…

А мы бредём
внизу,
необъяснимы,
в тени своих
особых обстоятельств.

Подземные реки ловили
Грустные автомобили.
Город гадал по ладоням
Вытянутых площадей,

Где, среди линий трамвайных,
На опустелых окраинах,
Двигались тени людей.

В шуме и гаме
Рождались слова.
Им помогали
Губами сперва.

После руками
Лепили тела
И отпускали
Бежать из тепла.

Ирина Ямайкина

Когда б не крылья за спиной

Когда б не крылья за спиной,
Я стала б тем, что всем вам мило:
Готовила, стирала, шила,
Да, да — примернейшей женой.
Не увлекаясь новизной,
Я б постаралась научиться
К чему-то дельному стремиться —
Когда б не крылья за спиной.

А может быть, совсем одной
Весь век с неправдою бороться —
Мне слишком всё легко даётся,
И даже крылья за спиной.
Исколесить весь шар земной,
Или пешком пройти полсвета —
Меня хватило б и на это,
Когда б не крылья за спиной.

В раскаянья порыв хмельной
Даю напрасные обеты.
Услышать мудрые советы
Мешают крылья за спиной.
Удел нелепый и смешной
В жару метаться до рассвета.
Пустой карман — клеймо поэта
И шорох крыльев за спиной…
И камень крыльев за спиной.

Новогоднее

Весёлых снегов кутерьма
Над шпиля звездой безмятежной.
Такой и должна быть зима —
Искристой, ликующей, нежной.

Нисходит ли на землю Бог
По этой погоде парадной —
Такой и должна быть любовь —
Доверчивой и безоглядной.

Морозная свежесть мехов —
Дух радости, ныне и присно.
Источником гордых стихов,
Такой и должна быть отчизна.

Спокойной, как выдох и вдох,
Такой и должна быть свобода…
Срывается бремя годов
Лавиною Нового года.

Две тени от белых слонов,
Две песни, два робких светила,
Мы выпьем за то, что должно,
Чтоб это действительно было!

Кант

Не могу я жить в запарке,
Не хочу я быть борцом,
Чтоб потом маячить в парке
С пыльным бронзовым лицом.

Не на родине, в изгнанье
Не хочу прожить и дня,
Чтоб детишек в назиданье
Поучали про меня,

Чтобы школьник рваным ранцем
Мимо шаркал по траве,
Чтобы голуби, засранцы,
Ползали по голове!

А хочу, тихонько старясь,
Здесь правителей склонять,
Не менять привычный адрес,
И привычек не менять,

Если ж кто по мне скучает,
У кого горит душа, —
Приезжайте, выпьем чаю,
Всё обсудим, не спеша.

А деревня иль столица,
Где я верный старожил,
Пусть потом она гордится,
что я здесь когда-то жил.

Я сам из последних плачу
Б. Окуджава

Как лист опавший по ручью,
Несёт меня по свету.
Я из последних сил шучу,
Примите эстафету.

Когда жестокие года
Всё, чем дышу, похитят,
Я умоляю вас — тогда
Улыбку подхватите.

Когда надежд зелёный лес
В опилки превратится,
В ней будет свежесть, будет блеск
И утренняя птица.

А закачается туман,
Бессмысленный и зыбкий —
и вам не даст сойти с ума
Спасённая улыбка!

Ночной дозор

Когда шагаешь по воде,
Яснее всхлип шагов.
Солдаты, делим мы людей
На наших и врагов.

Эй, кто здесь шляется зазря?
С ним ясен разговор.
Мы тридцать три богатыря
И дядька Черномор.

Меня учили — не дурак! —
Я знаю, где враги…
Над Галилейским морем мрак,
И слышатся шаги.

И звук их камни расшатал,
И больше нет Стены…
И мы увидели, что там
Такие же, как мы.

Стена рассыпалась во прах,
Её уж не сложить.
Солдаты мы, нам нужен враг,
И как нам дальше жить?

Когда шагаешь по воде,
Яснее всхлип шагов.
Привыкли мы делить людей
На наших и врагов.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда
А. Ахматова

Остались за спиною горы
Зубчатой призрачной стеной.
Мне дым в лицо пускает город,
И ненавистный, и родной.

И пожелтевшие аллеи
Вдогонку сумрачно глядят,
И сожаленья, сожаленья
Ночами душу бередят.

Горьки осенние уроки,
Тверды шершавые углы,
Но тихо выплывают строки
Из этой мороси и мглы,

Из одиночества, из лени,
Из не поставленных задач,
Из этих самых сожалений,
Из этих самых неудач.

И вовсе не монументальны,
Зато правдивы до конца,
Мои стихи документальны,
Как слепок с моего лица.

Песня

— Удивительные штуки эти реки и дороги
Т. Янсон «Муми-тролль»

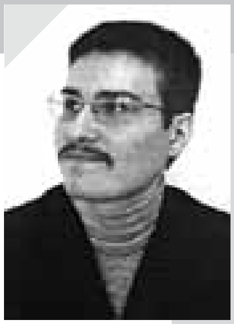
Удивительные штуки эти реки и дороги!
Почему тебе неймётся — тихо жить на берегу?
Словно прежние разлуки зло подстёгивают ноги,
Будто сердце чаще бьётся «Хватит, больше не могу!»

Ну, а ежели наденешь две ежовых рукавицы,
И возьмёшь себя ты в руки, так навалится тоска,
И тогда одна надежда — их приказу подчиниться,
Чтоб не сдохнуть здесь от скуки и верёвку не искать.

Почему они такие: хочешь ты или не хочешь,
Только шаг — и ты во власти непонятных добрых сил.
Помнишь горы золотые? Помнишь песенные ночи?
Ты тогда вверялся страсти и пощады не просил.

Почему вернее счастья их крутые повороты,
Что седою паутинкой оседают на лице?
Разве можно верить страсти, наплевав на все заботы,
Умываясь тонкой льдинкой со щетинкой на торце?

Удивительные штуки эти реки и дороги!
Только шаг — и ты во власти непонятных добрых сил.
Не бери себя ты в руки, уноси скорее ноги
В ту страну, где верил страсти, и пощады не проси!



Андрей Козырев

Ожидание весны

Земляничная поляна

С далёких лет в моей душе жила
Родная Земляничная поляна,
Где много солнца, света и тепла,
Где нет ни зла, ни грусти, ни обмана.

Мне было от рожденья восемь лет,
Когда большими детскими глазами
Я видел яркий, золотистый свет,
Зелёный луг, украшенный цветами,

Шмелей, лесные травы без конца,
Цвет красных ягод, солнечные блики,
Улыбку мамы, ясный взгляд отца
И чувствовал вкус спелой земляники…

Я шёл с отцом по узкой тропке вдаль…
Но незаметно пролетели годы,
И взрослой жизни опыт и печаль
Меня отгородили от природы…

Я вспоминаю золотистый свет,
Вкус земляники — и невольно плачу…
……………………………………
А на поляне светлых детских лет
Какой-то «новый русский» строит дачу.

Я нашёл себе труд — этот город
Изучать, как словарь незнакомый,
Погружаясь в глубокие споры
У дверей мирно спящего дома.

Кто живёт здесь? Не знает сосед…
Отчуждение выжгло до донца
Всем сердца лишь за несколько лет
Здесь, в четвёртой квартире от Солнца…

Алфавита дорожного строй,
Фразы улиц, домов запятые,
Многоточие после России —
И пробел между мной и землёй…

Во дворах, где дорожки грязны,
Где сереет гора снеговая,
Где звериная лимфа весны
Вены времени вдруг разрывает,

В узел связаны крепкий веками
Наша родина, судьбы и дом.
Узел этот завязан на память,
Но давно позабыто, о чём…

Инструкция для яблони

В землю врасти! Стань сама землёй!
Пробейся сквозь толщу дней!
Будь крепкой и сильной, не будь лишь злой
В природной мощи своей!

Будь стойкой! Поверь, ты всегда права!
Расти от лесов вдали!
Я знаю: в тебе до сих пор жива
Вся память моей земли!

Не бойся стоять в летний зной в пыли
И под дождём не грусти!
Топчи виноградную мякоть земли
И корни в неё пусти!

Как чёрные ногти, вонзятся они
В глубины земли во сне,
И к небу ты ветку свою протяни,
Пощёчину дай луне!

Поверь, ты живёшь на земле не зря!
Ты выдержишь с ветром бой,
Чтоб хмелем и радостью пахла заря
Над вечной твоей землёй,

Чтоб солнце дало тебе в жаркий день
На пальце каплю воды,
И чтобы в корзинах простых людей
Алели твои плоды!

Ожидание весны

Весна приходит не по расписанью,
А позже, словно школьник на урок.
Лежит сегодня снег на крышах зданий
И на асфальте городских дорог.

Но всё-таки, следя за снегопадом,
Недолго мне осталось тосковать:
Весна, как воин, спряталась в засаде,
Чтоб зиму на заре атаковать.

И верю я: наступит время скоро,
Когда, устав от войн, тревог, атак,
Зима весне пошлёт парламентёров
И выбросит метели белый флаг.

Вадим Горбунов

Снимите шляпы, господа

Кракозяблы летят, кракозяблы
Тихим криком над стылой рекой
В край, тяжёлый от золота яблок,
Если есть на планете такой…
Видно, есть, ведь недаром, считая
Каждый вздох, каждый взмах в эту дрязь,
Кракозяблов усталая стая
Поднялась, поднялась, поднялась…
И, когда я до смерти озябну
В нашей злой электрической мгле,
Ты мне спой про полёт кракозяблов,
Я усну на руке… на крыле…

По заснеженной дороге — в никуда.
Чтоб уснуть и стать иголочкою льда.
Стать сверкающим кристаллом. И брести
Отражениями прежнего пути.
Ибо вечно повторяется сюжет,
Ибо жизнь — переломляющийся свет,
Что качается меж граней пустоты,
Ослепительной, как снежные цветы…

Поговорим о горении.
Сиянии. Полыхании.
Как некотором прозрении
В дерзании и дыхании.
Как некотором парении
Над кромкою мироздания.
Горении — как творении,
Стремительном созидании
Того, чему нет названия
Пока ещё, очертания —
Лишь пламени трепетание,
Биение и метание.

О том, как огня движение,
Мятущееся и страстное,
Свершает преображение
Неведомого в прекрасное.
О пламени — как о Боге,
Чьё имя светло и чисто.

О том, как болят ожоги.
О том, как сгораем быстро…

Как живу я? Как и все.
Так, старею понемногу.
По печальной полосе
Мчу к какому-то итогу.
Не давлю на тормоза,
Нарываюсь на тараны.
А оглянешься назад —
Только серые туманы.
Всё осталось где-то там,
Поразмётанное ветром
По кюветам, по кустам,
По мелькнувшим километрам…
Иногда хожу в музей,
Душу хламом развлекаю.
Привыкаю без друзей,
Без любимой привыкаю.
Словом, вышло всё не так,
Как когда-то нам мечталось.
Утешаюсь — мол, пустяк.
Ну а что ещё осталось?
Клясть окрестности? К чему?
Клясть себя? Ещё глупее.
Переехать в Кострому?
Не хочу и не успею.
В чём тут дело — разберёт
Лишь грядущая эпоха.
Впрочем, ладно. Жизнь идёт.
Что не так уже и плохо.

Снимите шляпы, господа,
Уходит человек.
Сегодня он войдёт туда,
Откуда сыпет снег.
Набит провизией мешок,
Припасена вода.
И это очень хорошо,
Не правда ль, господа?
Шагать по белым облакам
Предшественникам вслед
И не страдать по пустякам,
Как нам, остаток лет…

Николай Душка

Причина ночи

Часть первая. Потёмки

1. Время душить

Свинью душили всем селом. Облепили её, как муравьи добычу. Возвышение шевелилось. Хвост, который высунулся из-под кучи, был с кисточкой, а то бы и не разобрать, что это там лежит на земле, подвижное, как желе, а сверху на нём куча мала. Хотя догадаться, чем заняты малыши, было нетрудно, каждый в селе знал, что если детвора собирается к кому-нибудь во двор, значит, зарезали свинью. Людей душить никого не приглашали. Делали это в одиночку, по ночам, если удавалось дотерпеть до ночи, или по сараям, чтоб никто не видел, если уж было сильно невтерпёж.

Дети побросали санки, горку бросили, рыть укрытия в снегу перестали и помчались во двор, куда раньше, может, и не ходили. «Душить пойдём».

Щетину уже опалили красивой, золотой соломой, свинью помыли горячей водой, соскоблили грязь с неё, брюшко отмыли, спинку оттёрли и уши вычистили, а то уши у неё были прегрязнючие, а вот теперь стали чистыми.

— А почему ей раньше уши не мыли?

— Да всё было некогда.

Тушку накрыли старыми фуфайками, одеялами, шерстяными кофтами бабушки, сверху прикрыли чем-то чистым, и вот пора. Пришло время душить. Детей зовут отовсюду, и занятых, и праздношатающихся.

Со свиньёй начинают играть, лезут на неё, как на пригорок, подпрыгивают сверху, мнут бока. А ей всё нипочём.

— Шало будет шладким, — говорит старик с единственным зубом.

Зуб у него, как кончик потухшей папиросы. Кто же не любит мягкого, свежего сала с запахом соломки?

Из-под покровов идёт тепло, и вместе с ним в души детей проникает радость. Свинья большая, и радости от неё много. Она проходит вовнутрь через не застёгнутые воротники, лезет в рукава.

Дети облепили свинью, прижались к ней сердцами и впитывали, впитывали в себя радость, причину которой они не знали.

В куче малой перемешались и девочки, и мальчики, и среди девочек была принцесса, а другие были просто. У других были глаза и рот, а у неё были глазки и ротик. Дети душили свинью, упивались, им хотелось, чтобы этому не было конца. Они почувствовали счастье и хотели его долго. Детские сердца трепетали, организмы касались друг друга, радость росла…

Мимо двора проходил фотограф, которого так и звали — «Фотограф», в селе его знали все, а Леонардо да Винчи никто не знал, потому что он не умел фотографировать, да и жил давно.

— Сфотографируй детишек, — попросил отец мастера.

— Не могу, — ответил тот, — объектив запотеет.

— Мы тебе сердце отдадим, — пообещал отец.

— Да плёнка кончилась, — признался фотограф.

Может, и правда плёнка кончилась, а, может, мастеру показалось мало сердца, сами-то мясцом будут лакомиться, но детскую радость он так и не увековечил, не заснял детишек верхом на свинье, не щёлкнул затвором, и не вылетела птичка с горбинкой на клюве.

Пока взрослые вели беседу, пока было можно, дети насыщались и напитывались. Но вот всё. Их согнали мигом. С туши сняли покровы, и свинья лежала посреди двора голая, очищенная, как яйцо. Малыши, чтоб хоть как-то удержать уже уходящую радость, прижались друг к другу и стояли смирно, в одну шеренгу, рядышком. Не расходились, не шевелились, сдерживали внутри исчезающее нечто…

2. Дорога

Автобус мчался по пыльной грунтовой дороге из одной деревни в другую, из одного села в другое, из одного города в другой. Из города К. в город Икс. В град Икс. Городок, куда мчался, пыхтя и загаживая воздух, автобус, так и назывался на самом деле — Градикс. Участок возле автостанции, в самом сердце городка, был вымощен булыжником — тридцать метров радости. Дальше, в обе стороны, а также во все остальные стороны света, вела грунтовая дорога, грунтовка, пыльная, когда тепло, местами непроходимая в осенние дожди. Пассажиры автобусов и грузовиков часто помогали двигателям внутреннего сгорания преодолеть причуды природы, капризы погоды. Легковые автомобили в такую погоду не ездили. Это было неразумно. Да и зачем ехать, к чему торопиться, куда спешить? Подсохнет, тогда. Не шуршали шины легковых автомашин в такое время, дождливое время, время сидеть дома. Зимой тоже лучше было не трогаться в путь, дороги часто заносило снегом, выбираешь одну и едешь по ней, едешь час, едешь два, и она заканчивается, спасибо есть, где развернуться. Теперь — назад.

Автобус мчался по дороге, оставляя за собой пыль веков. Значит, была не зима. Ранняя осень, поздняя весна, или, может, лето. Пыль проникала в автобус легко, потому что её было слишком много, и она не исчезала ни через час, ни через два, не садилась и не вдыхалась, хотя все дышали аккуратно, без остановок. Автобус кряхтел и пыжился, бухтел

и покашливал, спрыгивал с кочек и перескакивал ямки, и счастливые люди добирались туда, где они становились ещё счастливее.

Автобус ехал с севера на юг, он ещё только подъезжал к Градиксу. А потом он уедет отсюда. И как только он уедет из городка, как только он выедет из Градикса на широкую столбовую дорогу, так — неизвестность, никто не вспомнит, что было дальше, как только водитель скажет эти слова, так и всё, конец всему тому, что могло бы быть. Дорога не потерялась, она растворилась в бесконечном нет. Вместе с автобусом, людьми и их добром.

Может, и не было пыли в автобусе, может, была ранняя весна, когда лужам несть числа, а, может, пронзительная осень. Только зимы не было. Её не могло быть. Потому что не было вокруг светло, бело, восторженно и чисто, и радостно… от тишины полей… и воробей не спал в безмолвии ночей.

Света зимы не было нигде, ни до городка, ни после, ни в самом городишке, когда все вышли походить, а часть людей снова сели, сели те, кто с билетами, а остальные побежали за угол, воровато побежали, воровато озирались… воровато жили, воровато умирали. Была не зима. Не зимой вокруг — сумерки, на душе — темно. Автобус шагал по деревням, переваливаясь с боку на бок, подбирая людей, всех, кто поднимал руку, и всех, кто руку не поднимал, стеснялся, но тоже хотел ехать. Водитель подбирал и тех, кто хотел прокатиться, или погреться, или у кого на лице было сомнение. После того, как автобус проходил деревни и сёла, в этих поселениях уже никого и не оставалось. Только глубокие старики, ветхие старухи да ведьмы. Домашних животных старались забрать с собой. Гусей, уток, кур и даже поросят. Но были и неберущиеся животные. Коровы, кони и слоны.

Автобус наполнялся на каждом привале. Никто не выходил насовсем, выходили только покурить, и снова прибавлялись свежие люди. Они заходили, входили, вползали, ввинчивались и вкручивались. Новые люди вносили и новые запахи: местных сортов чеснока, лука, самогонки, гнать которую запрещалось, сладкие запахи коровников и острые запахи конюшен. В автобус привносились и экзотические запахи, упоминать которые стыдно, но без них картина получилась бы неполной, ненасыщенной. Люди держались более-менее тихо. Свиньи же, у которых обоняние превосходит человеческое, да ещё как, не выдерживали надругательств, запахи их сводили с ума, и они визжали, как резаные.

Водитель, царство ему небесное, брал всех. Может быть, он ещё и жив, но лучше бы — нет, и, если исходить из лучшего, то надо помянуть его, по-человечески поступить надо… Брал водитель всех, но билеты всем не давал. Вообще никому не давал. Деньги он себе забирал, все до копейки, копейка тогда берегла рубль, а рублей надо было много. Бесконечно много. С деньгами, что тогда, что сейчас — ничего не изменилось. А вот с билетами… Водитель их не давал. Да их и не брал никто, боже упаси. Может, кто и хотел, да неудобно. И другие не берут. Неправильно и нехорошо отбирать у шофёра. Он так крепко руль держит. А пока будет билет отрывать, руль и загуляет… Он так вцепился в этот руль, как утопающий за соломинку. Ну, как у него билет попросить? Да он зарежет за копейку… Лицо у водителя было не красное, как восходящее солнце, оно у него было нормальное, приветливое лицо, лицо трудяги, а не купца, Балды-работника, а не попа, доброе, слегка запылённое лицо, и нужные всем глаза, которые пристально смотрели за дорогой, следили за другими автобусами, автомобилями, которые тоже куда-то спешили, рвались, летели навстречу; глаза шофёра следили и за тем, чтобы гуся какого не задавить, чтобы курицу не придушить колесом, чтоб и уточку не покалечить. Они посматривали и за котами, чтоб те не попали в переделку; и собаку, чтоб не зацепить, следили. Хорошие глаза, хороший водитель. Деньги брал да в карман прятал. Всех подбирал, да всех вёз. Золотой водитель. Его лысина отливала золотом.

Автобус путь держал в городишко Градикс. Вот и приехали. Детей и свиней шофёр трепал за уши, с пассажирами шушукался, и все выходили, все вышли, все мы вышли в красоту июльского или апрельского дня или утра, чтобы подышать воздухом родины.

3. Время душить

Свинью душили всем миром. Её почему-то не зарезали, как положено, не отмыли, а душили ещё живую, незарезанную, прыткую и резвую. Она сопротивлялась насилию, она визжала, как очень нервная женщина, как жена алкоголика. Она хотела жить, хотела дышать, но существа, что окружили её, не чувствовали её желания. Они леденили её взглядами или взирали плотоядно, а один из них зажал горло, мешал поступать кислороду. Нехороший какой. То был Пабло Пикассо. Да и другие, кто наступал, были всё известные люди: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Сальвадор Дали. И все, надо же, были против. Борьба была неравной и, наверно, бесполезной, борьба не за интеллектуальное пространство и не за право есть, борьба за глоток воздуха. Может, это и не свинья была. А кабан. Зверь был похож на чёрта, который никому не вредил, с чёрной шерстью и выразительным, преданным взглядом. Шея у него была толстой, затылок — могучим, но горло сжимали с неослабевающей силой. То был неистовый андалузец. На ногах висели, на спину навалились. Какой-то шутник щекотал подмышкой. Несметное число существ облепило беднягу. «Эх, старость, старость», — подумал поверженный. Но то была не старость. Сила одолела силу.

Микеланджело, видя, что Пикассо не справляется, тоже взялся за шею; он, чувствовалось, анатомию изучил в совершенстве, потому что схватил за самую глотку. Бугры мышц у Буонарроти вздулись, и кислород почти перестал поступать. «Задушат, гады». Все предчувствовали шашлык. Леонардо уже приготовил кружку и штык-нож. Пол-литровую эмалированную кружку он пока отставил в сторону и принялся очищать луковицу. «Закусывать

меня». Сальвадор тоже делал больно: ухо крутил. Встал на колени, упёрся в землю, ухо горело. И костюм не побоялся испачкать.

Леонардо всем мешал, ходил вокруг, рассуждал о форме, критиковал кабана за обжорство, за потерю совершенства, которое есть у диких животных, путался под ногами, и время от времени бил кружкой по голове. «Да быстрее вы, — говорил он, — невтерпёж уже».

— Отойди, — серчал Микель. — Стань к забору. Немного терпенья, братья по разуму.

Сальвадор тоже мешал. Открутить ухо, как было задумано, у него не получилось, но он вошёл в раж, и откусывал его.

Задушить никак не выходило. «Какие мы слабаки», — подумал Микель.

— Человек по природе своей — титан, — вещал Леонардо от забора.

Он раззадорил Микеланджело, и тот взялся за дело по-настоящему. Леонардо уже не мешал, на очереди был Сальвадор. Усы у того стояли торчком, он слился с животным в единое и неделимое, а надо было разделить. Микель кликнул подмастерьев, и несколько человек потащили Дали за ноги, в сторону от искушения, подальше от соблазна. Рука художника вцепилась в ухо мёртвой хваткой. Движение прекратилось. «Не откушу, так оторву», — думал Дали. А до этого он думал наоборот: «Не оторву, так откушу». Самым слабым местом, звеном в цепи, казалось сцепление уха и руки, но как ни тащили подмастерья, это звено держало. Микеланджело заметил, что какой-то шутник щекочет кабана.

— Пощекочи ты лучше Сальвадора, — догадался он.

Цепь разорвалась.

— Разойдись! — крикнул Буонарроти по-командирски, и все разбежались в стороны.

Могучий Микеланджело поднял тушу над головой, кабан болтал ногами, но, оторванный от земли, он был, конечно, бессилен. Как Антей против Геракла. Классик держал животину над головой, давая время ей попрощаться с жизнью, с этим светом, помянуть незлым, тихим словом родственников и друзей, просто знакомых, встретившихся на длинном жизненном пути, у одного корыта.

Вот он уже решил покончить с нею одним махом, вдохнул, и, вдруг, на тебе, заметил, что верхом на свинье Пикассо сидит. Ослушался, видите ли.

— Слезь, ради Христа, — попросил его мэтр, — ты всё же вес, — по-доброму получилось у Микеланджело.

«Убил бы, — подумал, — взял бы грех на душу».

— Я — Пабло Пикассо, а не вес, — гордо отвечал андалузец.

Тогда Микеланджело смахнул его с кабана, как пушинку. Туда — сюда качнул тушку, и Пабло смахнулся — упал на соломку. Соломку успел кто-то из подручных подкинуть.

— Ну что ты тянешь, сколько можно? — спросил Леонардо, старший по званию. — Я уже заждался. Все уже насмотрелись и на силу твою небывалую, и на красоту мышц. Давай, пора. Час пробил и труба зовёт.

И Микеланджело крикнул:

— Проща-а-а-ай!

— А-а-а-й! — выстрелило из его горла, и кабан погиб.

Микеланджело разорвал его на две половинки. Прямёхонько у себя над головой. Леонардо подбежал под само действо. «Молодчина, — хвалил он брата по разуму, брата по искусству, хлопал его по плечу, — что значит мы, великие», — радовался, как ребёнок.

А Сальвадор, который уже маленько поостыл, толковал Пабло:

— Видишь, каковы титаны, не то, что мы с тобой. Смахнули нас, как пушинку.

— Это меня смахнули, — гордо ответил Пикассо.

Леонардо с наслаждением пил из кружки, зажмурив глаза.

4. Дорога

Все вышли из автобуса, чтобы подышать воздухом отечества. Пассажиры дышали и глубоко, и мелко, мужчины затягивались сигаретным дымом, папиросным дымом, махорочным дымом, курили самосад, вдыхали в себя всевозможную дрянь, чтобы достичь гармонии. Женщины стояли просто так. Курить им не хотелось, они и не пробовали никогда, но им был приятен сладкий дым.

Тут же, возле дороги, в алюминиевом бачке, продавалось мороженое, мечта детства, мечта всех. Бачок с мороженым стоял в более широком баке со льдом. Лёд испарялся, и вдыхать даже этот пар уже было счастьем. Лакомства никто не покупал, было стыдно тратить деньги, детство кончилось, а вместе с ним кончились и радости. Очень хотелось, но купить мороженое было нельзя, это было против морали, это был вызов. И если женщина позволяет себе такое на людях, то что она может сотворить, когда за нею не следят. Одна молодушка купила себе лакомство, ей нагребли его ложкой в картонный стаканчик; и все от неё отвернулись. И женщины, и мужчины.

— Да она городская, — угадал кто-то.

А если — городская, какой с неё спрос, что же с неё взять, что требовать. Её пожалели и простили. Некоторые мамы купили своим чадам по сто граммов, по полстаканчика и отвели их в сторонку, в кусты, чтоб не соблазняли других. Мороженое кончалось, и дети долго сосали деревянные палочки.

Но вот пора. Пора садится. Водитель призывно взмахнул крылом, и пассажиры с билетами сели на свои места, стали на свои места, легли, у кого были лежачие, и повисли, у кого висячие. Диспетчер, толстая, могучая, краснолицая, кустодиевская — культуристка — лёгким ветерком влетела в салон, честнее было бы сказать в шевелящуюся пещеру, и проверила билеты. Всё соответствовало. Триста тридцать три пассажира имели ровно столько же билетов, девяносто малолетних детей имели право ехать так и использовали это право на полную катушку. Диспетчер, худая, тощая, бледная до желтизны, в школьной

форме, которая ей служила уже пятнадцать полных лет, вставила два пальца в рот, два — в нос, большими, оставшимися пальцами, дала понять пассажирам, что мир чудный пока, и свистнула, пронзительно, душераздирающе, долго и внятно. Люди прижались друг к другу, к сидениям, к ножкам сидений, к водителю, к оконным стёклам, и стало так просторно, что диспетчер, которая снова стала толстой, — наверно, она была ведьма — спокойненько так походила по проходу — все даже удивились. Дети высовывали отовсюду головы в лишаях, улыбались, показывая не только гнилые, но и здоровые зубы; улыбки почему-то у них были идиотскими. И вот пора, поехали. Водитель повернул ключ в замке, нажал на газ, отпустил сцепление, отцепил от себя кого-то, кто совсем уж закрывал ему глаза — дорогу ж не видно — и дёрнул за поводья. Конь тронулся. Он помчал, пофыркал, завернул за угол, проехал ещё метров десять и снова остановился. О, матерь пресвятая богородица! Он снова остановился. Двери автобуса открылись, а, может, у него была только передняя дверь, — значит, она открылась, и в автобус начали вваливать — хлынули — безбилетники. Они были скромные и вели себя тихо. Они не видели, как водитель пытался поцеловать диспетчера, а диспетчер ловко увернулась, щёку увернула от ловеласа, а вот улыбку спрятать так и не смогла. Выдала себя с ног до головы. Перебежчики-безбилетники тихо так зашли все, за углом опустело. Втолкались. Как только очередной гражданин появлялся в дверях, другие его подбирали и засовывали куда-нибудь. Как чемодан. Возле кресла водителя сидело четверо, но рычаг, который он то и дело двигал, был свободен, он ходил взад и вперёд, и даже немного в сторону. Этим рычагом водитель переключал скорости, но как он ни упражнялся, прыти у автобуса не прибавлялось, он только покашливал, когда хозяин лез во внутренности.

Автобус повилял по граду Икс, по Градиксу, ещё повилял, покрутился, вправо, влево поездил, — казалось, что это уже не городок Икс, а какой-нибудь громадный городище, вроде Купянска или Жмеринки, — и после долгих и утомительных скитаний — умаял — наконец-то вышел на прямую дорогу. Он выпрыгнул на ровное место, и отсюда уже стало видно, как остаётся позади город Икс, как убегают люди, и дома, и козы. Все вздохнули и радостно, и с облегчением: выбрались-таки. Это было сейчас. А в другое время, и днём, и ночью они строили чудную, очень красивую жизнь для всех: и старых, и малых, и больных. И жили этой стройкой, и думали о ней. Это было не просто будущее, это было светлое будущее. Оно так и называлось — «светлое будущее», и жило в людях, у кого — в сердце, а у кого — в душе. Это было самое лучшее, что может находиться внутри человека.

Эти слова говорились нечасто, по большим праздникам, когда по длинной улице — это была главная улица — несли красные флаги…

По длинной, главной улице несли красные флаги до небес, а потом, когда подошли к стадиону, в конце которого стоял памятник, кто-то невидимый счастливо крикнул с деревянного помоста:

— Да здравствует светлое будущее! Ура!

И стая ворон вспорхнула с забора, а стая людей крикнула — закричала, — захлёбываясь:

— Ура-а-а-а-а-а-а!

У людей были такие широкие улыбки, что не запомнить их было нельзя. Вороны сели на забор, но невидимый голос — на помосте была теснотища, кто кричит, не разберёшь, — снова вспугнул птиц:

— Да здравствует наше светлое будущее! — торжествовал он, и все внизу тоже торжествовали. — Ура! — подал он пример, и все снова закричали:

— Ура-а-а-а-а-а-а-а!

И вороны рявкнули:

— Ра-а-а-а-а-а-а

Маленький, оборванный, грязный и шумный автобус покинул Градикс. Выхлопные газы он выбрасывал вовнутрь. Поплохело уже многим. Водителю только не могло стать нехорошо, он не замечал этих сине-фиолетовых разводов перед глазами, его серое лицо, вытянутое вперёд, было покойным, шерсть, которая росла из ушей, не пожухла, а наоборот, топорщилась, жёлтые зубы уверенно выглядывали изо рта. Водитель мурлыкал какой-то мотивчик, и хвост его шевелился в такт музыке. Хвосту было неудобно между ведром и кастрюлей, но он исправно отслеживал мелодию.

И вот случилось что. Хвост вырвался на свободу, встал торчком, у водителя глаза вдруг налились ненавистью, он со свистом всосал в себя воздух, руки, которые держали руль, удлинились и почернели — точно у паука, — и он сказал кому-то невидимому, кого не было здесь, и кто не мог услышать его, он сказал с таким презрением, что в эту минуту лучше было не видеть его глаз, он сказал:

— Мы на прямой дороге к светлому будущему!

И люди, все люди, кого он вёз, с билетом и без билета, заулыбались и захихикали, все до одного, и свиньи радостно захрюкали, и петух закукарекал, красный, с красными серёжками, глаза некоторых людей засияли, заблестели понимающе и зло.

Ему не хотелось этих людей, он ненавидел их, почему-то именно этих, что ехали в автобусе, и больше всего водителя. О других людях, которые были не здесь, а где-то ещё, он не думал. Они тоже такие, точно такие же, мальчик. Почему ты не придумал этого тогда?

5. Погоня

Сосед по прозвищу Цыган резал свинью. В одиночку свинью не режут, надо хотя бы вдвоём: завалить на бок, придержать, чтобы она немного полежала, чтобы не побежала, не вскочила бездумно и не вырвалась. Пока один держит, удерживает изо всех сил, другой творит ужас. Свинью ни в коем случае нельзя держать за уши или ещё хуже — за голову. За живот тоже никак нельзя, ей щекотно. Перед тем, как резать, можно прочитать наставление Академии наук «Как с приятностью заколоть свинью в домашних условиях», год

издания — 34, а если Вы — сноб, то лучше начать с классического труда Шпенглера и Сарториса, но самое верное — позвать соседей.

Цыган резал свинью один. Он подумал, что если пригласить кого-то, это ж всё равно надо делиться, он не мог отдать своё, это было выше его сил. И он пошёл в библиотеку, в центр села. Это был позор, но жадность победила. В селе взрослые не ходили в библиотеку, дети только читали, что на уроках зададут, а взрослые кормили скотину, убирали во дворах, чистили в хлевах, пили самогон; некоторые из них тоже читали иногда, то, что приносили дети, может даже, просили детей принести им какую-нибудь книгу, но в библиотеку ходить не отваживались. Поэтому, когда Цыган появился на пороге культурного заведения, библиотекарь, пожилая женщина, с остатками впечатлительности, которые достались ей в наследство, встревожилась.

— Что ты, Толя, хотел взять у нас? — спросила она осторожно. Кроме книг, в её заведении ничего не было, а Цыган ни читать, ни писать не умел. Был не очень грамотным.

— Книжку, — ответил он, перешагивая через свою робость, наступая на горло собственной песне.

— С дочкой что случилось?

— Нет, себе.

«Нельзя говорить, что он неграмотный, что же говорить?» — волновалась женщина. И пошла по — накатанному.

— Какую ж ты книгу хочешь? Про войну или про любовь? — спросила ласково.

— Хочу узнать, как по-учёному разделывать свинью, — начал он издалека. — Заколоть её, как все, или, может, убить?

— Боже тебя упаси, — остановила его библиотекарь.

— Может, шею перерезать, — рассуждал Цыган.

Он не мог сказать прямо: «Нужна книга о том, как заколоть свинью в одиночку», стыдился жадности.

— Развитие мясо-молочной промышленности в прошлой пятилетке, — прочла библиотекарь.

— Нет, — отмахнулся Цыган от жутких слов.

— Разведение кроликов, разведение свиней.

— Уже выросла. Резать пора, — поправлял Цыган.

— Приготовление колбас. Как сделать тушёнку, — прочитала библиотекарь чуть ли не по слогам. — Вот и всё. Дальше идёт другая рубрика, — сказала она. — Уничтожение насекомых.

— А уничтожения свиней там нету?

— Да вот почему-то не пишут об этом, — как-то понимающе сказала женщина. — А ты пригласи резника, и делу конец, — догадалась.

— Не могу против себя пойти, — признался Цыган.

— А как бы ты читал?

— Дочка почитала б. Она хорошо читает.

— Извини, Толя, что нету, не могу выручить тебя.

Цыган ушёл. «Зарежу и без помощников и без книг».

Ранним утром, когда в темноте уже начали появляться супрематические щели, намёки на день, Цыган вошёл в загон, открыл дверь в сарайчик и скомандовал:

— Подъём!

Свинья колебалась, идти или нет. Ладно, пойду. Что в такую рань-то?

Цыган скрутил её верёвкой — знал как — и они пошли к жертвеннику. Свинья упиралась, и Цыган осознал, какую силищу набрала она на его харчах. Продвигались медленно: шаг вперёд, два шага назад. В силе она почти не уступала человеку, о выносливости её было ничего не известно. «Может, кликнуть соседа», — подумал Цыган, но, воззлившись на себя, потащил животное со всей мочи. Свинья упиралась, ноги у неё не шагали, они стояли ровно, не сгибались, и позади оставалась борозда, как после плуга. Трудная дорога к месту казни. «За что?»

Мягкая соломка, которая лежала на предполагаемом месте, распалила уже свинью, силы её удвоились, и они — жертва и палач — остановились в нескольких шагах от лобного места. Передышка. Нрав своей воспитанницы Цыган знал отлично, он угадывал её малейшие капризы, причуды и прихоти; она не любила, когда щекотали соломинкой в ухе, и млела, когда её почёсывали. И тут вдруг Цыган почесал ей животик, мышцы сами собой расслабились; и вот они у цели. Хитростью взял Цыган, обманом. Вот как бывает.

Времени прошло много, ещё не вечерело, и солнце ещё не взошло, но уже рассвело, и было видно всё, весь ужас происходящего открывался пред очами беспечного путника, вечного странника в поисках милостыни. Надо было идти и просить, просить. По темноте не видно, вот рассвело, значит, пора в дорогу.

Свинью надо было завалить и придержать за ноги, чтоб она не вскочила за чем-нибудь и не побежала. Чтоб не помчалась, не умчалась, сломя голову. Если бы она сама вздумала прилечь набок, передохнуть, но это положение не было её любимым, и она, к тому же, почему-то не слушалась, хотела удрать. Цыган заваливал задние ноги, но передние гребли, тащили вперёд. Он пробовал завалить передние, тогда задними она вытворяла немыслимое. Как бык на родео. Волосы Цыгана цвета вороного крыла разметались, свинья вся была — пружина, а он — маньяк-насильник.

Цыган стоял посреди двора с ножом в руке. Такое бывало часто. Как выпьет, так хватает нож, становится с ним на видном месте и кричит: «Убью!» Тут и жена его, Настя, выходит. И он за нею… Ненавидел. А дочку любил люто.

В этот раз Цыган стоял посреди двора с ножом в руке и не кричал. Когда отец подошёл к нему, то увидел, что лезвие ножа в крови, по самую рукоятку. «Кричал, кричал — убью, и вот, наверно, убил».

— Не убил, — сказал Цыган.

— А кровь?

— В сердце, наверно, не попал.

— Где же она? — спросил отец.

— Там, — махнул рукой на огород. — Надо дорезать, — успокоил он отца.

— А Настя где? — вырвалось у отца.

— Посуду готовит.

— Фу, — отец перекрестился, хоть и был неверующим.

На пороге появилась Настя, внимательно посмотрела по сторонам и сладким голосочком спросила:

— А где это наша девочка?

Говорилось, понятно, о свинье. Дочку так ласково она не называла.

«Скрылась в просторах галактики», — Цыган не мог так ответить. «Затерялась в межзвёздном пространстве», — и так не мог сказать он.

— Убежала, — ответил бесхитростно, — показывая окровавленный нож. Потом пошёл в сарай, взял там вилы и сказал ещё слово. — Заколю.

«Неужели с вилами на свинью?» — недоумевал отец.

Не мог поверить.

Свинья гоняла по огороду, унавоживая землю. Назад, в сарайчик, путь ей был заказан. А другой дороги она не знала. Так и нарезала круги по огороду в полгектара, обречённая на гибель, без светлого будущего, и настоящего у неё уже оставалось чуть-чуть, потому что друг её стал врагом. Вскоре он появился на голубом горизонте. Свинья повернулась к нему хвостом и помчала прочь. Комья земли вылетали у неё из-под копыт. Цыган тоже бегал быстро. Но не так быстро, как свинья. Это он знал наверняка. Когда свинья была ещё маленькой, крошкой, они, бывало, играли взапуски, и тогда уже он не догонял её — она ставила рекорды, — что уж говорить о теперь? Он залёг в лопухах, на меже. Свинья потеряла из виду своего обидчика и никак не могла обнаружить его. Куда это он запропастился? Нервы её не выдержали, и она зарычала. Ноздри у неё раздулись, пасть открылась, а зубы приготовились кромсать кормильца и друга. Цыган испугался несколько, но потом вспомнил про копьё. И смело пошёл в атаку. Но ошибся в направлении.

Свинья, получив передышку, залегла в зарослях кукурузы. Она старалась получше спрятать гриву, чтобы подольше остаться незамеченной. Кисточка хвоста нервно подрагивала. Подрагивало и левое веко — застарелая болячка… Но зверь готовился к прыжку… Ныл ещё зуб, да и на душе было хуже некуда…

Всё расплывчатей становились предметы, всё хуже думалось. Нет, уже не прыгнуть. Потеряно слишком много крови. Она завалилась на бок. И мысли её утекли.

6. Дорога

Под ногами был снег, а под снегом — мёрзлая земля. Снег был белый, как луна, которая светила. Светало. Мы втроём, два старших двоюродных брата и я, шли по снегу, по бездорожью. Из одной деревни в другую. Кроме нас, ничего не шло. Автомобилей и тракторов не было видно. Ни вблизи, ни вдали. Замело. Мы шли домой, в свою деревню, до неё оставалось уже совсем чуть-чуть, один переход.

Мы давно уже были в пути, с полгода… Ехали на грузовике с открытым верхом, братья краснели, когда долго сидели в кузове, меня кутали в тулуп, который был тёплым, как живой баран, и запах от него был, как от разгорячённого барана. Если уж совсем замерзали, танцевали. Кузов у автомобиля был крепким, танцуй, сколько хочешь. Я не танцевал — не умел. А братья умели. Первый раз они стали друг перед другом, и давай двигать ногами. Колени ходили, как шарниры. Но веселье длилось недолго. Водитель остановил грузовик в поле, которому не было конца.

— Ребята, не танцуйте шейк, — сказал он.

— Нам холодно на крыше.

— Шейк запрещён, — слово «шейк» он произнёс с ужасом.

— Мороз допекает.

— Так прыгайте с ноги на ногу.

— Мы любим шейк танцевать.

— Он запрещён.

— Вокруг живой души нет.

— За это меня могут посадить, — обречённо сказал он, и полез в кабину. Снаружи было очень уж холодно. В кабине сидела большая женщина. Она была живая, водила глазами, всматривалась в горетанцоров. Сплясали б гопака — другое дело.

Машина сердито рванула с места. Потом уже побежала поспокойнее. В кузове холодало с каждой минутой. Казалось, приближаемся к северному полюсу. Меня замотали верёвкой поверх тулупа, чтоб не выдыхалось тепло. А братья прыгали с ноги на ногу. Но так им было не согреться. И они вдарили твист — стильный танец. Автомобиль тут же остановился. Бескрайние поля и не думали кончаться. Поле от поля отделяли посадки, в которых прятались от мороза зайцы, зарывшись в снегу, дыша на уши, согревая душу мыслями о лете. Водитель вылез из кабины.

— Ребята, не танцуйте твист, — попросил он. — Меня снова могут посадить, — добавил и скрылся в кабине.

— Не будем танцевать запрещённых танцев, — сказал старший брат.

— А других мы не умеем.

— Вспомним упражнения физкультуры.

Физкультминутка длилась долго. Но когда приехали окончательно, — дальше грузовик не шёл — оказалось, что никто не окочурился, а только закоченели все. Братья выпили согревающего из ледяной бутылки, а меня развязали, чтобы побегал по земле.

— Спасибо, — сказал младший брат водителю и дал ему деньги.

— Не надо денег, — отказался от денег шофёр, — за деньги-то меня уж точно…

Тогда старший брат дал ему кусок сала. Сало он взял.

Летели на вертолёте с крыльями. Внутри было не жарко, но так оглушительно шумело, что холода не чувствовалось. Братья не танцевали, сидели, если проломить дно, высоко падать, да танцы и не получились бы, вертолёт то и дело входил в пике, внутри всё переворачивалось, падало, потом выходил из пике, всё сжималось; вертолётчики закрылись в кабине, и что они там делали, неизвестно. Стало

известно только тогда, когда один из них высунулся, и спросил:
— Водочки не хотите согреться?
— Хотим, — ответил младший брат. Может, боялся обидеть воздухоплавателя.
— Спирт есть! — кричал пилот.
— Из пике не выйдем! — шутил брат.
— Из пике всегда выйдем, прилетим не туда.
С такими весёлыми лётчиками страшно не было. И они нас высадили на земле.
— То, что нужно, — сказал младший брат. Но по его интонации чувствовалось, что залетели мы куда-то в сторону или туда, куда он и сам не знает. — Зато хорошо полетали, — добавил он.

К нам подошёл, тут же, на площадке, где приземлился вертолёт, отчаянный человек.
— Не хотите полетать? — спросил он.
— Да мы только с неба.
— Неужели налетались?
— Немного в сторону нам бы не помешало.
— Куда? — крикнул неизвестный. Как «ура» крикнул.
— В Градикс надо.
— Так я ж туда лечу, — сказал ас.
Он подвёл нас к своему самолёту. Младший брат хотел обойти вокруг самолёта, но ас остановил его:
— Не надо, не для слабых.
— Хочу посмотреть.
— Ну, иди.
Брат мигом вернулся.
— А где же крыло? — спросил он у летуна.
— Другое крыло, — поправил ас… — Срезал при посадке. Так теперь и летаю, на одном. Боюсь доложить, отберут машину.
— На нём и полетим? — спросил уже старший брат.
— На нём, на родном.
— А взлетит?
— Чё болтать, по местам, — скомандовал предводитель.
Мы сели.
— Пересядьте на другую сторону, туда, где крыло.
Мы пересели.
Самолёт побежал, подскочил и взлетел.
— Внимание, — сказал авиатор, — лучше не шевелитесь, можем опрокинуться. Я держу равновесие своим телом, и нашажизньвнашихруках, — почти напел он.
— Летим! — закричал лётчик, как будто летел впервые в жизни.
Мы пролетали деревни и хутора, сёла и селения в несколько дворов, и все, кто был внизу, поднимали головы к небу, открывали душу холоду. Верующие крестились, а неверующие не верили.
В Градикс прилетели ночью. Или днём. Или на закате. Но, может, и на восходе.
— Сели! — сказал лётчик, и в его словах чувствовалась такая сила, что он мог, казалось, летать и так, без самолёта, а, только расправив руки, и нас на себе мог так нести.
Но с тех пор прошло так много времени, столько километров пути, столько приключений, что про лётчика и его боевую машину вспоминалось смутно. Хотелось к родному очагу. И туда оставался всего один переход.
Светало.

Последнюю ночь перед переходом провели в хлеву. В яслях лежало много сена, было мягко, и тулуп грел со всех сторон. Люди, которые пустили на ночлег, были добрыми, хлев прилепился к дому, и чтоб мы не замёрзли, дверь, которая соединяла дворец и сарайчик, открыли, и тепло шло и в дом, и в хлев поровну, печка стояла возле самой двери. Места в избе на курьих ножках не было, на печи лежал старик с жёлто-белой головой, за ним тоже шевелилось, на лежанке и на лавках копошились дети — их было не сосчитать так сразу, — и хозяйка должна была где-то спать, да и хозяину надо было вздремнуть — ночь; только и оставалось места, что в хлеву — в сарае. В яслях было чудно, а братьям пришлось похуже — они разместились под куриными насестами, но куры, которые захлопали крыльями, когда братья потревожили их, были тёплыми; старший брат схватил какую-то толстенькую — она была горячей — и грел об неё руки. Птица сначала закричала, каркнула и пикнула, испугалась, да и руки, которые цапнули, были вначале холодными, а потом успокоилась, согрелась. Младший заловил петуха, руки у него не замёрзли, но он не мог спать без подушки, поэтому вместо неё и приспособил петуха. Даже лучше подушки — наполовину пух, наполовину перо. Петух долго стонал под тяжестью головы, он не привык служить ещё и ночью, но потом и его сморил сон.
Перед этим нас накормили: хозяйка в фуфайке, которая была вся в ромбиках, и они блестели, как зеркальца, принесла хлеба и три куска сала, и мы съели всё, и воды нам дали запить.

В путь тронулись по темноте. Братья стеснялись спать допоздна у чужих людей, хотя хотелось ещё немного подремать, понежиться. Разбудил всех зверь петух, на котором спали. Грудную клетку ему сдавливало, но служба требовала звука, и он закричал через не могу, звук вылетел мрачный: хриплое завыванье. Заквохтали обескураженные куры — испугался брат, — замычала корова, залаяли деревенские собаки, забрехали лисицы в полях.
— Спасибо добрым людям, — сказал старший брат.
— И их курам, — добавил младший.
Когда хотел заплатить хозяйке за ночёвку, она только и сказала: «Упаси бог». В то далёкое время, когда и солнце спешило, чтобы раньше взойти и согреть людские души, все были добрыми. Злых и нехороших не было. Только по глухим лесам прятались бандиты, которые напакостили когда-то давно, и им было стыдно за то, что они наделали, и они мёрзли, страдали от холода и от того, что натворили.

Светало. Под ногами был снег, а под снегом мёрзлая земля. Снег был белый, как луна, которая светила. Светало…
Путь был неблизким — километров десять. Деревня скрылась из виду, и с неба снова повалило.

Луна исчезла, и солнца не было. Но идти было легко, хоть и не видно, куда.

И вдруг появился свет. Солнца не было видно нигде. Но чувствовалось, что оно где-то рядом. Снег падал и падал, лёгкий, как пух, легче пуха, медленно-медленно, и чем больше его падало, тем светлее становилось вокруг, тем торжественнее светило солнце, и тем легче было идти. Мы брели в этом снегу уже по шею, но он был невесом, и мы шли и шли по дороге или по тому, что было под ногами, оставался последний переход, и он был светлым, мы знали, что ждёт нас там, в конце пути, и мы шли и шли, и снег шёл, и всё вокруг трепетало от радости.

Мы так долго шли, что уже не вспомнить, когда же закончился этот путь домой. Но пришли, и кончилась зима, потому что наступило лето. Вода в реке была тёплой и прозрачной. Ступеньки мостка опускались до самого дна. Их было приятно нюхать. Вода в реке была такой чистой, что её можно было пить. Ею можно было и дышать. Дышишь, дышишь и не можешь надышаться.

7. Вознесение

Для того чтобы подняться над землёй (над водой — труднее), не надо изучать поля и их взаимодействие, гравитацию и гравитоны, дифференциальное исчисление и методы математической физики. Даже арифметику не нужно зубрить. Для первого вознесения хватит чашечки дымящегося напитка из трав. Как приготовить заварку, расскажет знакомый колдун. Набор трав можно купить и в аптеке, но у колдуна надёжней. Для любого аптекаря средство вознесения — сопутствующий товар, лишняя копейка, для колдунов же в таких делах мелочей не бывает, и если тебе обещано взлететь, то обязательно взлетишь. Тут замешаны и честь, и достоинство колдовского рода, и имя, и идея бытия. Если поблизости нет колдуна, можно обратиться и к колдунье. Но не к молодой. Вдруг она душу попросит за пучок жухлой травы, или намешает такое — бывали случаи, — что вознесёшься навсегда, навеки улетишь. Молодая колдунья — рискованно. То же, что старый аптекарь. Но если вознестись с нею вместе, и крепко схватить её за руки, остаётся надежда вернуться. Тело вернётся.

Травка в кувшине мало-помалу заваривается, запах заполонил кухоньку, и, хотя не выпито ни одного глотка, уже приподнимаешься над табуреткой, приходится придерживаться за край стола, чтоб не улететь раньше времени. Запах из кувшинчика входит в грудную клетку, и она становится невесомой, ноги ещё имеют вес, и голова весит, но ты легчаешь, ты уже почти готов воспарить.

Пригублено зелье, и голова, ноги, руки — всё лишилось веса, только уши чувствуются; с последним глотком и уши стали невесомы, путь вверх открыт, милости просим на небеса.

Во второй раз подниматься можно без всяких трав, без чашечки дымящегося волшебства, не только не пробуя его, но и не нюхая. Если удалось почуять пустоту под собой, то можно взлетать просто так: три-четыре глубоких вдоха, мысли отпущены, первым летит сердце, и всё остальное — за ним.

Выучиться летать не сложно. Но как скрыть это от людей? Вряд ли выйдет скрыть. И начнётся.

— Сдать анализы.
— Анализы в норме.
— Осмотреть.
— Покажите ушки.

И начинают мять ушки. Молоточком крутят перед глазами, крутят, крутят, уже и голова закружилась, потом этим молоточком не больно постукивают по лбу, потом больно, потом очень больно.

— Хотел улизнуть от нас?
— Упорхнуть?
— Бежать?
— Кажется, мы ему лишку выдали?
— Да ничего, снаружи не видно.

Если хочешь летать, выбери тёмную безлунную ночь, когда и собаки не лают, и почивают волки, не мяукают совы, и люди, люди — чтоб спали без задних ног. Тогда и лети, лети, куда летится, расправь руки, вдохни свежий воздух полной грудью, и почувствуй, как много вас, душ, в бездонном небе, тут и там, сколько обольстительных ведьм, и мохнатых ведьмаков, и другой всякой нечисти вдохновенно несётся рядом с тобою. Знайся с нечистью, лети вместе с ней по чёрному беззвёздному небу, возьми за руку ведьму, или ведьмака возьми за хвост, дружи с ними, делай всё, что хочешь, не бойся их, с ними можно всё, здесь всё можно, нельзя только одного: чтоб люди догадались.

— Летаешь? — спросил капитан.
— Да.
— Почему не служил? Пригодился бы в разведке. Для опасных заданий.
— Для особо опасных, — поправил майор.
— Не служил, и не ранен, — сожалел капитан.
— И не убит, — сожалел майор.
— Меня били стальным молоточком.
— Будешь летать, получишь ещё, — сказал старший по званию.

Он не боялся брать ответственность на себя.

Рвался в генералы.

Легче всего возноситься детям, у них — лёгкие души. И вознесение, и полёт над вечерней, дурманящей землёй, надолго или навсегда останутся в памяти…

Пахли травы и роса, испарялась речка, которая протекала рядом. Дети сидели на пригорке, на тёплой земле, майским, июньским или июльским вечером. Темнело медленно. Или быстро. До темноты было сумеречно, а до сумерек — светло. На просторном розовом небе два сиреневых барашка лениво уходили к закату — ночевать. Друг дружку они ласково тёрли розовой шерстью. Запахи цветов, травы, кустов, деревьев и реки пьянили и кружили голову. Мыслей не было. Оставались лишь чувства. К дурманящему запаху добавлялся запах неба. В воздухе не было ни пылинки. Этот чистый,

неправдоподобный аромат, который проникал не только в рёбра, но и в ноготки, дети вдыхали с радостью — и она прибавлялась, — вдыхали бездумно, не подозревая, к чему это приведёт. Так юное создание пьёт первую рюмку сладкого вина, не догадываясь, зачем ему добавляют ещё. Дети вдыхали и внюхивали вечерний воздух, не заботясь о потом. Барашки слились воедино и исчезли с горизонта. Дети сдвинулись, собрались в кучку. Они сидели, касаясь друг друга телами и душами. Они ожидали чуда. Оно приближалось… Детей никто не собирал, не организовывал, не было массовика-затейника, их не сажали в кружок и не заставляли пересаживаться, то ли для порядку, то ли для веселья, — ничего этого не было. Дети собрались сами, но могло показаться, что ими кто-то двигал, кто-то повелевал… Медленно темнела трава под ними. Темнота наступала снизу вверх. Сверху ещё было розово-тёмно, а снизу уже чернело. Это чёрное приближалось от речки, ползло по траве, от травы. Оно наполняло всех силой и энергией, верой в свою избранность, которую не убить. Дети сидели в тишине долго-долго, не болтали — трудно поверить, глубоко дышали, было слышно, как дышат дети; небо уже почти совсем потемнело, и темнота заполнила их по самую шею. Все ждали. Оставалось совсем немного. Небо исчезало, кончалось на глазах. И когда оно скрылось, и их окутала темнота, они взлетели.

Дети поднялись над землёй, и над травой, и над всем миром, и долго сидели в вышине, не проронив ни слова: боялись упасть. И когда в беззвёздной ночи появилась прохлада, и свежесть, они медленно опустились на влажную траву.

8. Полёт

Давным-давно, когда горы были выше, снег белее, а вода прозрачней, высоко-высоко, на самой вершине холма без названия, который казался скалой, стоял гордый лыжник. Гордился он многим: лыжами, умением и вообще собою. Гора вся была в снегу, снежинки брызгали светом до боли в глазах.

Лыжник выпрямился — казалось, гора стала ещё выше, — ударил палками о землю и полетел. Все замерли, авось обойдётся. Некоторые закрыли глаза. Те, кто держал их открытыми, верили, что не разобьётся. А если бы он разбился, то и сердца малышей не выдержали б. Полопались бы, как мыльные пузыри. Склон горы был усеян детьми, мал мала меньше, как горохом.

Лыжник слетел с горы и покатил по замёрзшей речке, тоже покрытой снегом, щедро, как кусок хлеба сахаром. Потом он поднялся на гору и снова съехал с неё, слетел, как птица.

Те, кто держал глаза закрытыми, открыли их и уже с надеждой следили за лыжником, смотрели на него и не могли насмотреться. Каждый раз, когда лыжник взлетал с вершины, у зрителей внутри тоже всё взлетало. Как он может?!

В доме у бабушки на стенах висели картины с вышитыми птицами. Это были голуби. Крылья, грудки, клювы и ноги у них были, как у живых. А одна птица была красоты просто необыкновенной; на неё можно было смотреть до тех пор, пока не проголодаешься. Часть перьев на крыле отливали сиреневым, маленькое сиреневое пятно приковывало к себе и уже не отпускало.

Так мы смотрели и на лыжника, который каждый раз спускался с горы быстрее ветра.

И вдруг… Все заметили… Лыжник стоял на вершине не один. Позади него, на его лыжи, встала неизвестная она. Гора снова подросла. Неизвестная обхватила его. Он снова ударил палками о землю. И они полетели. Кое-кто опять закрыл глаза. Потемнело.

Сначала это были сумерки. Но они кончились враз. Темнота сгущалась. Наступила ночь. В сараях кричали куры, те, что не успели спрятаться, горланили во дворах, орали гуси, мычали коровы. Земля гудела — то трубили слоны. Припадочные забились в припадках. Верующие били поклоны. «Отведи от нас, господи, конец света». Подходящей молитвы не было, и люди просили своими словами, по-своему, как могли. Хотелось ещё немножко пожить.

Лыжник и его спутница скрылись в темноте. Земля ухала: то слоны били её со всей дури.

Но темнота стала исчезать. Она быстро разбавлялась светом. Появились сумерки. Первыми затихли люди. Потом — слоны. Перестали мычать коровы. Снова миру явился день. Люди умилились и плакали. Только курица во дворе продолжала своё бесконечное «карр». Наверное, у неё помутилось в голове. Ёе зарезали, и стало тихо.

Лыжник и его спутница стояли посреди речки, на льду, покрытом снегом, и обнимались. А потом лёд растаял. И наступило лето.

Вода в речке потеплела, нагрелась, на дне лежали подводные лодки, оставленные гусями. Подлодки покрывались илом и становились почти незаметными. Гуси прохлаждались, окуная голову в воду, утки тоже остужались, ныряли, хотя это им не всегда удавалось: жирные тела вода тут же выталкивала наверх. Прохлаждались и коровы, они забредали в воду, становились то рядом, то поодиночке, и самозабвенно мыкали. Вода им не доставала даже до брюха, но поджать ноги, и окунуться, как следует, у них не хватало ума. Здесь было мелковато, настоящая речка была дальше, туда надо было идти, сначала абрикосовой посадкой, потом вдоль берега, где по утрам удил рыбу страшный старик.… У него была страшная борода, но ещё страшнее было то, что он был чужой. Мы боялись его. Когда над речкой лежала утренняя дымка, он ловил карасиков, а в самую жару рисовал кисточками на щите абрикосы, подсолнухи и речку. Солнце пекло ему голову, но он её ничем не накрывал. Хотелось подойти поближе, чтобы рассмотреть нарисованное, но нам было страшно. Рисунки были яркими, как солнце, но разве можно рассмотреть их издали? Ещё мы боялись бешеных собак, которые то тут, то там могли появиться из-за кустов с высунутыми языками.

— Давай убьём его, — сказал мне друг Манайчик. Он был маленьким и бесстрашным. В таких делах он всегда был первым. О самопалах и обрезах мы ещё не знали — были слишком малы, и убить могли только камнем.

— А кто будет убивать?

— Я, если ты боишься, — сказал Манайчик. Он был почти голым: его родители экономили на одежде.

Убийство было намечено на утро. Манайчик зашёл за мной, два огромных камня были приготовлены заранее, замотаны в тряпки, мы взяли их и пошли. Сначала по улице, а потом по верхней тропинке посадки, чтоб старик не заметил нас раньше времени. В посадке уже стояла на привязи чья-то коза. Ей было скучно одной, и, увидев нас, она радостно замекала. Манайчик показал ей камень, завёрнутый в тряпку, и она обнюхала его старательно.

Старик сидел на своём месте. На речке не было ни птиц, ни коров, только редкий карась морщил воду, когда выскакивал на поверхность, чтобы проверить, не взошло ли солнце. Манайчик шёл первым, и его полушария — левое и правое — напряжённо двигались. Мы подошли уже совсем близко.

— Ловись, пацаны, большие и маленькие, — сказал старик.

Когда он выпрямился, стало ясно, что нам не убить его. Его голова была выше наших рук. Мы могли побежать назад, но он бы запросто догнал нас. Камни, которые были у нас, мы быстро положили на землю, и он не стал присматриваться, что это было.

— Идите сюда, деточки, — сказал он нам, и мы пошли, как зачумлённые. И хорошо, чтоб от камней подальше отойти. — Вот возьмите рыбку, пожарите, — дал он нам всю связку. Манайчик сразу схватил рыбу. Она была большая и средняя. Маленькой совсем не было. Мы забыли про убийство, теперь мы думали про рыбу.

А старик с тех пор исчез. Мы его везде искали, но не могли найти. Ни на речке, ни возле подсолнухов, нигде. Как будто мы убили его.

9. Пионеры

Собирались возле памятника. То был неизвестный солдат. Он стоял с карабином, на высоком постаменте, в стороне от жилья. Солдат стоял один и, казалось, никого не ждал. Но когда мы пришли, он как-то изменился. Его душа как будто оттаяла, взгляд потеплел, он наблюдал, как мы топтались вокруг него, а потом построились. Мы не сами пришли сюда, нас собрали. По несколько человек от каждой школы. Самых лучших пионеров. Каждый из нас понесёт флаг, был праздник, может, 1 Мая, и мы должны перенести эти флаги из одного места в другое, это было очень важно, и мы верили этому.

Без доверия не бывает жизни. Сначала маленький человек доверяет себя взрослым, потому что у него нет выбора. Он никуда не годится сам, даже штаны не может снять, и пачкает в них, пачкает… Потом он доверяет другим, потому что всё вокруг — дело их рук. Поверит, например, что в искусстве скрыто нечто необъяснимое, и начинает искать его. И может найти. А не поверит, так и не постигнет ни Малера, ни Мунка. Так и вырастет на частушках.

Мы верили людям, которые были где-то там, несмотря на то, что они находились бесконечно далеко от нас, и мы не знали где и как их найти, да нам и в голову такое не приходило, мы верили им, как самим себе, потому что они жили для того, чтобы думать за нас, они взяли на себя эту самую трудную часть бытия, самую непосильную, они взвалили на себя гигантский груз, и мы не могли не верить им.

Сапоги у солдата были тяжёлыми, он стоял, застёгнутый на все пуговицы, терпел холод и жару; обувь его потрескалась, каска тоже потрескалась, и лицо потрескалось. Оно было в глубоких морщинах.

Ещё раньше, возле другого памятника, нас принимали в октябрята — разве такое забывается, — тогда нам выдали красные флажки и красные звёздочки с белокурым мальчиком на ней. И нас приняли в октябрята, и мы тогда уже стали другими людьми, нас пометили звёздочками и особой любовью — её было так мало тогда, казалось, что совсем не было.

Мы стояли возле солдата и отсюда, до какого-то другого места нам надо было нести флаги, тяжёлые и неудобные для рук, верхушка норовила завалиться, но донести — святое, не удержать и уронить — ни в коем случае нельзя.

Солдат был для нас почти как живой, мы знали, что отцы каких-то других детей не вернулись с войны, и этот солдат был и для нас как будто и отец, и даже для некоторых, для многих, может, лучше отца, потому что он воевал, чтоб нам было хорошо. Многие наши отцы хоть и воевали, но для нас они мало чего делали, были почти как чужие, они пили самогонку и, редко, водку. А этот солдат был хороший и не пил самогонку.

Нас построили. Мы стояли молча и слушали речь. Слова человека, который говорил, надо было чувствовать душой. Кто не чувствовал — тот не пионер. Солдат помогал нам. Человек, наверно, говорил долго, потому что мы устали. А, может, он коротко говорил, а мы устали потому, что не привыкли так много чувствовать подряд, утомились.

Сомкнули ряды и двинулись по дороге. Надо было идти в ногу, но по асфальту и так было хорошо. Да и не умели в ногу. Бегать — бегали, а ходить не учились. Флаги уводило то в сторону, то вперёд. Отставать было нельзя, постепенно приноровились. Если брать повыше за древко, то не раскачивает. Со временем флаги стали ещё тяжелее. Мы зажали их в руках. Где-то недалеко зашагали в ногу. Звуки нарастали. Это шеренга за шеренгой давала шаг. Мы приблизились друг к другу. Прижались. Никому не было стыдно. Мы стали, как один человек. Флаги затрепетали. Они превратились в знамёна. Нас наполнило что-то великое.

— Ура! — закричало сбоку.

— Ура! — крикнули и мы. Часть чувств схлынула.

Мы были одним целым, мы чеканили шаг, и трепетно и сладко было внутри…

10. Живая душа

Возле дома, и за домом, и на огороде, там и сям, почти круглый год, с весны до поздней осени, почти до зимы, до снега, цвели и пахли какие-нибудь цветы. Самыми красивыми были вьюнки, сине-фиолетово-пурпурные, один другого краше. Их хотелось и потрогать, и понюхать. Но запах у них такой слабенький, начинаешь нюхать, лезешь носом в цветок, яко пчёлка, есть запах, уловил, но от цветка уже почти ничего не осталось, чернильные разводы на свёрнутом листике. Папиросная бумага и то крепче. По вечерам благоухали маттиолы. Учуешь их и блаженствуешь. Но недолго. Их легко забыть. Летом поражали георгины, они были как серьёзные девочки богатых родителей, с пышными бантами, пухлыми щёчками и надутыми губами — неприступные с виду. Но водяные лилии на болоте, нежно-розово-белые, как невесты, были красивее, и только розы, воспетые поэтами, а вслед за ними, как и положено, графоманами, были первыми во всём. Розовый куст поднимался сразу же возле веранды, а чуть дальше к забору, как декабристы на картинке, выстроились другие цветы.

Куст появился после, а сначала были ромашки, хризантемы, пионы, они держались вместе, как македонские фаланги, и только лишь некоторые стояли поодиночке на тоненьких ножках. Место от веранды до забора было их местом, лук или чеснок здесь не садили.

Зачем так много цветов высаживала мать перед домом? Может, чтобы научить детей красоте, а, может, для того, чтобы отпугивать болотных комаров. Комары, как и цветы, не переводились почти круглый год. Морозостойкий сорт.

Роза росла так близко к тропинке, что тех, кто спешил, она жалила, не желая зла; цепляла шипами, царапала до крови. Может, из-за этого её и срубили, а может, она замёрзла зимой, а может, да, ведь и такое бывает, время её прошло.

И розы нет теперь там, и других цветов тоже. От розы остался пенёк — дулька, которая торчит из земли. Возле дома сидит собака на цепи. И днём, и ночью ходит она, бестолковая, вокруг будки. Грунт окрест вытоптан её лапами и выбит цепью. Ни травинки нет рядом. Земля вокруг, куда только достаёт цепь, гладкая и противная, как лишай на теле животного. Она сыроватая, и даже как будто немного отражает солнце.

А тогда, когда всё цвело, и каждый цветок был и бодр и свеж, и, конечно, хорош собою, и все они стояли по стойке смирно в ожидании чуда, да и время было такое — многие ждали чуда, хоть и не знали, что оно, — мальчик вышел из веранды, и тоже почувствовал что-то. То ли цветы были тому виной, их запахи ударили в голову, то ли нет, но он — мальчуган — остановился на полпути от веранды к калитке, и внутри у него что-то раскрылось. Какой-то дремавший, а может, и спавший доселе бутон. О нём мальчик и не подозревал.

И внутри него — человека — что-то разверзлось, огромные пространства открылись там. И заполнить их хотелось чем-то таким, чем-то настоящим. Но где оно, это настоящее? Как его отыскать? Где найти того, кто поможет? Этот тот был вроде и человек, а, может, и не совсем человек. Но кто бы он ни был, это была живая душа. И мальчик, не задумываясь, отдал бы всего себя этой душе. Только бы разыскать её, его, того… Но где он, и кто он?! Учитель, наставник, герой? А, может быть, бог?

И он начал искать его в потёмках, а, может, и в полной темноте. Телесного или без, он разыщет его. Ему откроется…

11. Можно или нельзя

Радости всегда не хватает. Её всегда мало. Ещё недавно стоять за нею приходилось в очереди, людей в которой было видимо-невидимо, если из очереди исчезал один, то выбрасывали целый десяток, а если исчезал десяток — выталкивали всю сотню. Особо пристально следили за первыми ста — их называли чёрной сотней.

Сначала исчезло монголо-татарское иго, спустя ещё какое-то время закончились и очереди. Это было большим облегчением. Радость стала доступной. И пусть некоторые называют её покупной, а некоторые даже продажной. Жалкие людишки. Легче всего испоганить то, что открыто, как душа. Доступно в понятиях, и дано им в ощущениях. Форма, в которую облекают радость, может быть самой разной, и она, к сожалению, ещё не всегда соответствует содержанию, не везде и всюду выступает, как единое и неделимое с ним, в выражении образном, ибо в прямом, примитивном смысле, они всегда разделяются, именно в ту минуту, когда содержимое выливается из содержащего. Хотя в массе произведений, сокращённо масскульте, о единстве формы и содержания не может быть и речи: они, как пара закадычных друзей, зюзей, которые только что вышли из бара, один опирается на другого, а другой — на первого, и, хотя друг без друга им никак, едины они только с виду. Минутку терпенья, это мнимое единство, вот уже один потащил другого за руки, за руки неудобно, потащил за ноги, а другой, бесконечно счастлив от движенья, пускает пузыри, плывёт в пучине, раскинулся, распростёр руки, как крылья. Вот и перекос. В сторону формотворчества, или в противоположную — изложения на заданную тему — пока не изучено. Но гипотезы есть.

В бутылке с горлышком лебедя — а, может это — лебёдушка, которая стыдливо повернула головку куда-то в сторону, отвернулась — чувствуется не только рука мастера, но и рука подмастерья, в сём творении видны следы позднего маньеризма и вездесущей эклектики, знатоком коей и выступил подмастер. Глаза лебедя художественно безумствуют, и о назначении розовой жидкости, которая плещется ниже горлышка, догадываешься сразу. Это не жидкая радость, ни-ни-ни, это — нечаянная радость: для первого причастия. С колером гармонирует и название — кулер, и вкус, и послевкусие, о котором пока не задумываешься.

А каково единство формы и содержания той радости, что продаётся в обыкновенной трёхлитровой банке! И хотя изобретателя банки все уже давно забыли, но чего он желал, чем именно хотел наполнить эту бессмертную тару, ни у кого не вызовет сомнений, ни у академика от науки, ни у крестьянина от сохи. «Крепкое» — это не мимолётный поцелуй, который коснётся края души, чтоб оставить желание, перенести его на потом, или сублимировать — нет, нет, и ещё раз нет, это отрада, которая сразу наполняет всю душу, всего тебя, от носа до хвоста, крепкая, как поцелуй того, в ком можешь не сомневаться, и захлёстывающая всё естество без остатка — это уже потом, — а вот ещё до того, до того как, просто ещё в начале, когда появляется она у тебя в руках, ты обхватываешь её, и прижимаешь к груди: боже, как хорошо…

Нельзя не сказать, ибо молчание почти преступно, о самой распространённой, самой ходовой радости, которая так и называется — трёхходовка, термин, позаимствованный из шахматной науки, что лишний раз подтверждает близость этой науки, да и других наук, к искусству. Не поймёшь просто, где начинается одно, и кончается другое.

О трёхходовке можно и говорить, и писать, и петь — всё будет мало. Это именно она развеселит любого, именно её обожают преподаватели колледжей — любимый напиток, — она годится и для слабых умом, и для повреждённых…

Совсем недавно группа педагогов, тогда они ещё назывались группой товарищей, преподаватели колледжа, тогда он назывался ещё училищем, сидели вместе и размышляли о будущем. О судьбах родины, о жизни на Марсе. И когда они порадовались и раз, и два, а, может, и три, — сколько раз они наливали, никто не считал, — им пришла в голову коллективная мысль: переименовать. Дела в их училище, да и вообще во всех училищах отечества, шли из рук вон плохо, хуже уже и некуда, потому что хуже не бывает, хотя, если б могло быть, то, наверняка, было б. Мысль поймали не сразу. Вначале, после второй, вылетело: «Переиначить». Но это было расплывчато, ещё не сложившийся образ. А потом просветлело: «Переименовать». И как только училища переименовали, так дела сразу пошли в гору. Группа товарищей очень быстро, в течение прямо-таки одной жизни, стала группой господ, получили и звания, и портфели, и в портфели. А философы тут же и концепцию сотворили. Мысли, мнимые до того, стали подлинными. Но педагоги, люди с добрым сердцем, а теперь и с толстыми кошельками, не стали оспаривать у проныр своё первородство. Вместо того чтоб тратить силы на тяжбы, не лучше ли отдать их детям?.. А песни и баллады им не нужны. Нисколечко.

Так почему же по утрам… Так почему же, по утрам, когда туман ещё стелется над городами и полями, а солнечный ветер шевелит уже шторы, потому что солнце показалось, появилось, чтоб удивить мир — чтоб удивить хоть кого-нибудь, почему же в эти восхитительные и лучезарные часы лучше не смотреть на сограждан, собратьев по разуму, по перу или по цеху, лучше не всматриваться в их лица — не искушать дьявола? Ибо взглянешь, и искусишь. И загложет тебя червь сомнения, заточит шашель, засомневаешься в незыблемом. «Купить нельзя!» «Нельзя купить!» Или: «не купить!» А ведь как хорошо было бы, если б можно. Но ты уже в искусе, уже смотришь на лица таких же, как ты, гомо-пациентов, и видишь смесь красоты и жути, где красоты пожалели, сильно не доложили, а жути отвалено щедро, с избытком, от души, чьей-то чёрной души. Куда девалась вчерашняя радость, барышня на один вечерок, девица гулящая, пришла и скрылась, будто сгинула? Ау-ау, вернись-вернись, красотка-милочка!

Но вот ты не увидел того, что искал в лицах братьев по разуму, и уже всматриваешься в лица сестёр, в сестринские лица, а вдруг? А вдруг да? Холодная суровость, усиленная кистью и карандашом, естественно дополняет ужас маски. Как жаль…

Так может поискать во взгляде? И смотришь, всматриваешься, вглядываешься в глаза, почему-то, отчего-то тоскливые глаза и сестёр, и братьев по оставшемуся разуму. И там, в недавно ещё бездонных пространствах, ничего не видно, глаза затянуты, подёрнуты ледяной корочкой, они — как колодцы с закрытыми крышками, как задраенные люки. Так просто туда не попасть. Хода нет. «Нет хода — ходи с бубей», — гласит пословица. Её здесь тоже не применишь. И поехало.

— Нельзя купить, — начинают самые нетерпеливые — те, что по другую сторону баррикад.

— Чтоб духовное, да за деньги, — вторят им сочувствующие, сторонники идеи: «душа обязана трудиться».

— Накось выкусь, — кричат воинствующие.

— Бесплатно давай! — шумят не определившиеся.

А имя им: бомжи.

Никто из двух противоборствующих сторон не принял их в свою партию, в своё лоно, они оставались изгоями. И поэтому их голос был гласом вопиющего, хотя, справедливости ради, надо сказать, вопили они здорово. Что певцы Матисса. Вначале на свою сторону бомжей хотели принять сторонники покупной радости, но от этой идеи пришлось отказаться, не потому, что она дурно пахла, дурно пахли сами бомжи, и, хотя их было всего двое, но, так как спор вёлся в стенах мэрии, и стены не давали запаху развеяться, то и от идеи пришлось откреститься.

Так есть ли она, вечная радость? Или только вечерняя, прикупленная? И стоит ли покупать? Или лучше не тратиться?

— Постоянного, имея в виду вечное, быть не может, — сказал физик от науки. — Всё в мире дискретно, значит, и радость, — дедуктировал он. — То есть, то нет. То нет, то есть. Понятно я говорю?

— Вот она есть, вот её нет, — продемонстрировал его слова наёмный фокусник, сняв с зевак пару часов.

— Чувства дискретны, — закончил квантовый физик.

— Но не до такой же степени, — робко возразил кто-то из сторонников вечного.

Нашёлся-таки хоть один. Возражать квантовому было очень опасно… Он жил в огромном коттедже, только сверху пылились три этажа, и этот коттедж охраняли по углам четыре кавказских собаки — однополые овчарки, а стоило незнакомцу попасть в глаз одной из кинокамер, следивших за окружающим пространством, как он тут же попадал под колпак Интерпола.

Обратились к древним. Выяснилось, что у них тоже не было единства: кто в лес, а кто по дрова. А что думали герои?

— Если внимательно читать текст, из подтекста следует очевидное: перед каждым подвигом Геракл пропускал рюмочку-другую, для храбрости, и только перед поединком с Гидрой он хватил лишку, поэтому в анналах она так и осталась с девятью головами: Гераклу троилось. В другом месте, уже после свершения очередного подвига, сказано: Геракл употребил в пищу мясо свиньи и обильно запил его вином.

Что тут началось. Книги, которыми до этого размахивал докладчик, «Мифы, как они есть» и «Мифы как мифы», разорвали на клочки, страсти пылали, только бомжи сидели тихо, попахивая и сглатывая обильную слюну. Неизвестно, чем бы это закончилось, если б не ночь. Сначала она накрыла мэрию, а потом, не спеша, уже остальной город.

Все споры решались одним ударом. Надо было только отыскать трактат Данилы Косого. «О радости» — называлась монография, манускрипт, в котором хранилась истина. Но труд автора был забыт, а сам он — зарыт, поелику умер.

До старости он служил младшим научным сотрудником в Академии философии, не скользил по поверхности, не прыгал по верхам, а глядел в глубь всего сущего, за что и получил, как это всегда бывает, не звания и должности, ведь он был круглый сирота, а прозвище — Косой, и соотечественники с радостью и вдохновением приняли это унижение ближнего, ибо он стал — Косой, а они — нет, они остались такими же и возвысились сразу же в душах своих. «Завещаю труды отечеству», — написал Данила в завещании. Кому они достанутся, он знал из опыта. Но выхода не было.

— Он в вечность метил, — сказал один учёный, академик.

— А попал в могилу, — второй закончил, улыбаясь.

Они, академики, любили читать Вильяма Шекспира и про Эммануэль.

Труд Данилы в местной, академической, библиотеке найти не смогли.

— Унёс с собой в могилу, — предположил профессор, один из тех, которому Данила сочинил и сверстал докторскую. Он знал, что мыслитель унёс свой труд с собой, тот ему говорил: «Надо будет, откопаете». Если дословно, то: «Понадобится, откопаете».

Двинулись отрывать. Впереди шли бомжи, что-нибудь откопать им было привычно, в радость. Хотя ветер дул попутный, за ними не спешили. Замыкал шествие квантовый физик, он же по совместительству и квантовый механик, и просто механик, до того, как стать богатым, собственноручно починял свой автомобиль; такие достижения человеческой мысли, как коленчатые валы или же валы распределительные покорялись и его мысли, и его рукам. Другие механизмы тоже подчинялись беспрекословно: на том самом месте, где были застигнуты.

Между первыми — бомжами, и последним — квантовым, шли другие светила: академики-философы из того самого заведения, где раньше работал покойный, ещё учёные, за ними какие-то яркие представители общественной мысли, общественных движений, носитель всевозможных веяний в развевающемся плаще, корреспондент-самоучка, ещё какой-то заинтересованный люд: всего набралось человек двадцать шесть. Хотя дорога пешком, от места, где высадился десант, к предполагаемому месту, была недлинной, за разговорами успели выяснить, что впереди шагающие, те самые двое, никакие не бомжи. Это были тоже академики! Академии поэзии. И если основной состав был доставлен на волгах, то эта парочка прибыла в тонированном, а, может, и бронированном мессершмите, и, так как запах от лидеров перестал исходить, попросту говоря, исчез — они оторвались от группы, — всем ступающим стало немного стыдно за то, что они так подумали о людях искусства. Но вот вдруг ветер подул в нашу сторону, и стыд идущих тут же улетучился.

Пришли и стали полукругом.

— Копай! — приказал старший по мероприятию, главный ответственный за возвращение исторических и культурных ценностей их законному владельцу. Лицо его настолько изменилось, что было не узнать, какой это из академиков, кто он есть. Как после пластической операции.

Экскаваторщик, который должен был копать, стоял, как вкопанный.

— Копай, каналья! Это — приказ! — Академик действующей академии рек, как генерал.

На самом деле заведение было якобы действующим: после смерти Данилы всё в нём стало болото и тина.

— А сколько вы мне заплатите? — допытывался бездушный работник ковша.

— Пол-литра и понюшку табаку, — пошутил главный по делу.

— Лучше б деньгами.

— Молчать! Государственное дело! А государство — это Я-Я-Я-Я-Я! — учёный почувствовал себя государством, и пролетарий сник. Он готов был и за так потрудиться.

— Понял, ваша учёность, — сказал почтительно.

— Как ты сказал?

— Ваше высочество.

— Правильно. А теперь за работу, товарищ!..

— Бутылку и закуску ему из академпайка! — приказал кому-то из подчинённых.

Пролетел тихий ангел. Ещё один. Ещё дюжина.

— Кого мы потеряли?! — сказал главный и пустил слезу.

Не сговариваясь, все, кто был тут, тоже пустили слезу. Все вместе и каждый в отдельности. Она сама вышла. Её смахнули платочками, рукавами, тыльными сторонами ладоней, а также двумя перстами — указующим и средним.

— Господа, — продолжил он, «дамы» он не сказал, дам не было, — учёный с мировым именем, учёный, которого мы выпестовали в стенах нашего заведения, наш Данила, которого мы имеем полное право назвать всевидящим («а кто его Косым прозвал», — подумал один из слушателей, профессор, но тут же покраснел, как ребёнок, вспомнив, что он — всего лишь профессор), открыл нам нас самих, и сотворил теорию (чуть не сказал «сварганил»), без которой ни шагу, великую теорию радости… Его труд не пропадёт, нет, то, что было выстрадано бессонными ночами, голодными вечерами, при свете свечей, за чашкой слишком жёсткого — дешёвого — чая, (казалось, говорящий рассказывает о себе), всё это мы возьмём, заберём отеческой рукой. Ибо он трудился для того, чтобы отдать. Чтобы отдать нам. И теперь мы, сыны отечества, его верные дети, возвращаем ему то, что и должны вернуть, мы отдаём ему, — тут оратор несколько сбился. («Ага, забыл», — радовался кто-то в шеренге, кто-то из тех, кто не достиг вершин ни в науке, ни в работе над собой, кто-то незначительный и мелкотравчатый, завистливый и злорадчивый). — Отдаём ему *дань!* — рявкнул неистово. Он, академик, действительный член действующей академии, которая не работала только по слухам, мог не только найти подходящее слово, не задумываясь, он мог говорить часами, не извлекая ничего из головы, ни единой мысли, он мог черпать и черпать, как бы из ниоткуда, как будто ему нашёптывал сам дьявол. Поэтому он и стоял на вершине этой чуткой пирамиды, и взирал с неё на происходящее…

— Вот то, что мы искали, — почтительно преподнёс ему труд Данилы один из приближённых.

Труд был толстой тетрадью, многократно завёрнутой в полиэтилен. Сохранилась она просто безупречно. Главный открыл тетрадь.

«Светлой памяти учителей своих, Фре и Фро, и себя, горемыки, посвящаю».

«Авангардно», — подумал шеф.

«Чувства вторичны», — начиналась первая глава.

Но тут академик заметил, как кто-то заглядывает ему через плечо. «Нет уж, дудки», — подумал он и закрыл фолиант.

— Закапывай, — распорядился.

И Данилу похоронили ещё раз, вторично, и, наверно, окончательно, потому что не успели ещё живые покинуть скорбное место, как уже стали забывать о нём.

— А теперь в академию, — сухо приказал ответственный.

Фолиант он закрыл в сейфе, и никто не мог извлечь его оттуда. Он лежит там по сию пору.

12. Исцеление

К сотворению мира Бог не подпускал никого. Хорошо ли, плохо ли вышло у него, не нам судить. Что сотворено, тому быть. И Адама он любовно слепил, и Еву ему из ребра тоже слепил любовно, чтоб не скучал один, не думал о том о сём, о постороннем, чтоб смотрел на Еву свою и радовался ей; и вместе с нею радовался чтоб. Но вот случилось… Многие уже знают об этом, а кто ещё не знает, то, рано или поздно, а если точно, то именно тогда, когда захотят, тоже узнают.

Ева сговорилась со змием и соблазнила Адама. И Творец, скрепя сердце, изгнал их из рая. Даже он не мог предусмотреть того, что произошло. Он очень расстроился. Ева была наказана на все сто, досталось и Адаму. Теперь ему мало было одной Евы, он хотел, чтоб вокруг него были и другие, более красивые женщины, а, так как их в ближайшей округе не было, потому что вообще не было, то он их представлял в воображении своём. И уже не счастлив был, а желал невозможного. Подружке его тоже всё время чего-то хотелось, каких-то перемен, чего-то новенького. Иногда они вместе жалели о том, что случилось, винили змия, а себя — нет, «змий, именно змий во всём виноват», — говаривали они.

Но былого не воротишь. А потом у них стали появляться дети, и бытие постепенно наладилось, конечно, оно было не райским, но по-своему увлекательным и забавным, детки были похожи то на маму, то на папу, а то и на обоих сразу. А потом они заговорили, сначала неожиданное «ням», а вслед и долгожданное «мама». То был их первенец… Не успели оглянуться, как дети выросли, у детей стали появляться ещё дети, и ещё и ещё. Уже давно забыли Адам и Ева и про змия, и про изгнание из рая — может, им это всё приснилось, — Адам уже стал прадедушкой, а его Ева — прабабушкой, соответственно.

Пока счёт шёл на десятки, Бог сам вдыхал душу каждому новорождённому. Но потом, когда уже несколько раз на дню его стали отвлекать от более важных дел, призадумался. О том, чтобы не давать души, не могло быть и речи. И созвал он ангелов. Слетелись.

— Говорю, — сказал Отец. Всё затихло. — Там, — показал он перстом на Землю, — каждый день рождаются тела. По образу и подобию нашему. — Примолк. — Приказываю вдыхать души… Поняли, щучьи дети, — сказал ласково. — Старшим назначаю тебя, — приказал он ангелу, который так и вертелся рядом, блестя сине-чёрными глазами, так и вился.

— Не извольте беспокоиться, — отрапортовал подчинённый. — Бу-уть сделано! По Вашей мысли, по Вашему чувству, по Вашему воображению. Как видите, как представляете, как осязаете.

— Скажи ещё, как обоняете, — пошутил Творец.

— Прожект уже в сердце моём, — воздух за спиной ангела так и свистел.

— Хорошо, — похвалил Творец, — очень хорошо, а теперь ступай… Все ступайте.

Через некоторое время спустился Господь-Бог на Землю с инспекцией. Людей посмотреть, их тягу к нему, веру в него, да заодно и работу подопечных своих, ангелов, проверить. Справляются ли? Не утомились ли от трудов праведных? И что увидел он?!

У посланников его, прямых исполнителей воли, обнаружилось прямо-таки небрежение к этому делу, редко кто созидал терпеливо, вдыхая в новое тело благородную или нежную душу. Слуги его, отпущенные на Землю, в большинстве своём творили, как ни попадя, выделывали, что вздумается. Для смеху или для веселья, вдыхали в людей жадность. Надоело жадность — давай злобу. Надоело злобу — давай страх. А не страх — так тоску. И ещё всякую дрянь. Часть ангелов находились в каком-то творческом угаре, их захватил нездоровый азарт, казалось, они стремились перещеголять друг друга, переплюнуть…

«Сколько мороки из-за одного ребра, — сокрушался Творец, — только и заботы, что люди, — жаловался сам себе. — Но я ведь пастырь их, и другого пастыря у них нету… Как же исправить промахи ангелов моих», — рассуждал, а не думал, ибо в рассуждении своём уже нашёл истину. И послал на Землю целителей, для лечения душ, и знахарей, и шептунов, и колдунов. И дал им силу небывалую: от себя.

«Пусть верят не только в меня, но и в них», — подумал. И стало так.

Чародей, к которому спешило всё живое, что не могло больше носить в себе ужасы, боль, от которой было не скрыться, в здоровом с виду теле, жил за тридевять земель, в тридесятом царстве. Адрес целителя-волшебника был точным, но путь — не близок, и трудна дорога. Пешком — не дойти, железнодорожной ветки туда не было, а билеты на автобус уже давно проданы. Добирались, кто как мог.

Билетов не было, а надо было ехать. Отрок чахнул, как растение без влаги. Смотреть на него было жалко. Совсем чамрашный, доходяга.

Правдами и неправдами, а, скорее всего, неправдами, было куплено два стоячих билета в тридесятое царство, на ребёнка, и на мать его, и уже предстояла дальняя дорога, только бы осилить её.

— От этого не умирают, — сказал двоюродный брат. Наверное, он знал.

«Поживу ещё», — надеялся больной, когда его пускало, а когда снова становилось ужасно, «быстрей бы», — думал.

В то, что кто-то поможет, верилось с трудом, почти совсем не верилось, а, когда начиналось мученье, не верилось совсем.

Но вот они уже в автобусе. Дорога ещё не началась, а силы уже на исходе. Колени подкашивались, из рук тянуло жилы, а сердце ныло; ныло, отбирая остатки жизни… Но недаром Бог создал человека по образу и подобию своему, бесконечное терпение было дано человеку.

Если б можно было присесть. Но кто же уступит? Место здесь — что в раю. Этого не будет.

Автобус рычал, как раненый зверь. Но вдруг затих: поехали. И место, откуда выехали, стало постепенно забываться. Стало так, как будто всё время они были в пути.

Поначалу автобус пробовал взлететь. Он приостанавливался, разбегался, урча — так разгоняется домашняя утка, выпячивает недоразвитые крылья, готовится к полёту, — отталкивался от земли. Нет, не взлететь. Сердце автобуса билось, колотилось, он передыхал, набирался сил, опять пробовал взлететь, и снова — вниз, бухался всей массой, всем туловищем. Сотрясались внутренности. Подняться в воздух так и не удалось, но спокойного движения не было и в помине.

Деревня, где они жили раньше, стала ничто. Очень хотелось сесть. Передохнуть бы хоть чуть-чуть.

В иллюминаторы были видны деревни и сёла, деревеньки и хутора. Проносились мимо поля, леса и болота. В лесах голосили лешие, а в болотах — водяные: у них тоже были больные души.

Автобус то ли скакал, то ли шёл, то ли прыгал. Казалось, люди сидят на большой инвалидной тележке, и сильные, невидимые руки толкают её вперёд. Рукам нет дела до того, что там внизу, брусчатка или пашня.

Проехали Марьино, Митино, Мухино. Потом — Неведомо, Незнамово, Нелюдово. Остановились в Низине. Сколько ещё оставалось?!

Автобус, наверно, перенапрягся от утомительной дороги и повредил что-то внутри. Теперь он кашлял, как больной бронхитом, кашлял и кашлял, и не мог откашляться. Но полз, не сдавался.

В тридесятое царство приехали ночью. Или днём. Мальчик долго не мог идти, сидел на земле. А потом пошёл. Сделает несколько медленных шажков и остановится. Сделает и остановится. Ровно так, перед смертью, ходил его дед. Пройдёт несколько шажочков, обопрётся об забор и стоит, думает.

Целитель-знахарь жил в хоромах: так казалось, потому что отовсюду смотрели боги. Они успокаивали взглядами. Легко дышалось.

— Крещёный? — спросил целитель у матери.

Она, наверно, сказала «да».

Знахарь — дед с большой белой бородой и глазами, которые не проникали вовнутрь, они и так знали обо всём, — подошёл к отроку, усадил его не в кресло, и не на стул, а на табуретку, положил руку на голову больного и стал что-то рассказывать, как бы шёпотом. Его было едва слышно, и слов было не разобрать, но говорил он долго-долго, и хотелось, чтоб говорил ещё. А потом вдруг приподнял больному голову и подул на грудь. И всю нечисть сдуло. Мучения кончились. Только сильно хотелось спать.

За дверью дома тёплое солнце освещало прозрачный воздух тридесятого царства.

13. Трудная роль

Часто гонял Цыган свою жену, Настю, может, и не святую, но мученицу, по двору, по огороду, по имению. Слишком часто. Вот летит она на крыльях страха, парит над землёй, над дынями и арбузами, над огурцами и помидорами, над тыквами и патиссонами. Летит за ней и её коса, или развеваются волосы на ветру, или полы фуфайки развеваются под натиском снежной бури, а она, несчастная, несётся над огородом, где уже нет ни капусты, ни огурцов, ни тыкв, только редкие сорняки безнадёжно смотрят в ледяное небо. Куда ж летишь ты, Настя, куда мчишься ты, дай ответ? Не даёт ответа…

И летом, и зимой преследовал Цыган её, и она убегала, гонялся он за нею и осенью, в проливные дожди, и тогда Настя мчалась по лужам и грязи, по воде неслась под хлябями небесными. Преследовал её тот, частью которого она была сама. Плоть от плоти его. Она ненавидела его, а он и не думал затушить этот костёр, а разжигал его. Брал в руки нож, нелюдь. Но трезвым боялся. А чтоб не было страшно, напивался пьяным. Самогонных точек в селе было много, и главная из них находилась у него дома. Для смелости ему хватало одной бутылки, закрытой пробкой из туго скрученной газеты. Никто не знает, как он пил, но пил всегда один. А потом начиналось…

— Убью, — искренне начинал он после того, как в руке появлялся нож. Об убийстве говорил сильно, но без надрыва, легко верилось, что сказанное сбудется.

У Насти была трудная роль. Каждый раз, после этого «убью», ей надо было спастись, сохранить свою жизнь, быстро-быстро-очень-быстро надо было бегать ей, и, может, не надо было перечить мужу, может, вообще не надо было говорить, а тихо скрываться, но нет, как только Цыган останавливался, чтобы передохнуть, а, может, чтобы снова собрать воедино то зло, которое несколько растряслось на бегу, Настя тут же вставляла свою реплику в открывшемся промежутке времени, в образовавшейся временной щели:

— Нализался, свинья! — говорила она так правдиво, что нельзя не поверить. Эти слова простые, наверно, брали за душу Цыгана, потому что глаза его наливались кровью, а голос — металлом. Зрителей, если вдруг они появлялись — это были дети, которые смотрели в заборные щели, а самые смелые садились и на забор, — слова не могли взять за душу, тронуть, задеть за живое, и перевернуть всё внутри: у них не было ни зрительского опыта, ни своей эстетики, да и вообще, что они смыслили в настоящем искусстве, в настоящей игре актёров, где нужно чувствовать правильно, а не извращённо, где нечего делать без воспитания чувств…

— Сейчас убью её! — рычал Цыган.

— Не надо, — не выдержал кто-то из детей.

— Помилуй!

— Кто возражает мне! Кто тут посмел! Тут я решаю! Я — вершитель судеб! — Слов этих не было. Но милости — не будет. — Где жаба? Где она, короста? — вопрошал он, пугая детей.

И дети ждали, что она появится, а потом убежит, дети хотели, чтоб всё хорошо кончилось и на этот раз, и чтоб заснуть спокойно.

— На горизонте я заметил шевеленье! — глаза Цыгана горели.

Настя появилась босая, в платочке. Она вот кроликов кормила.

— Убью! — завыл убийца, и зрители зажмурились, закрыли уши ладонями.

Убьёт ведь, глазом не моргнёт.

Давным-давно, когда Настя была моложе, и ходила по земле одна, у неё не было принца, не было жениха, не было суженого, встретила она Цыгана, и кровь у неё закипела. Он разбудил в ней страсти, растормошил какого-то спящего зверя, и она пошла с ним под венец.

Долго-долго бродил по земле в одиночестве Цыган, и когда он наконец-то встретил Настю, а так всегда почти бывает, что встретишь какую-нибудь бестию, рано или поздно, — человека всегда поджидает кто-нибудь там, за углом, чтоб встретить, — он был потрясён тем, что до сих пор мог жить один: без этой новости. И он тоже пошёл под венец.

У Насти было два пути для отступления: уходить туда, откуда она пришла, или же как-нибудь хитростью пробраться в дом и спрятаться там — двери в доме были надёжными, а окон Цыган не бил.

— В дом не пущу, — предупредил Цыган.

— И что ж мне делать?

— Сделать так, чтоб я тебя не видел.

— И как же?

— В сарае спрячься.

— Какая ж сволочь ты, какая сволота.

— Я — сволочь?

— Да! Сволочь, изверг и свинья!

— Замолкни, я тебя прошу.

— Мне замолчать, в своём дворе. Ты хочешь рот заткнуть мне, пьяная скотина?

И вот в руках Цыгана появился нож. Зрителей как ветром сдуло. Все, кто сидел на заборе, оказались за ним. С забора вспорхнули, как воробьи, только приземлились не так мягко.

За топор Цыган не хватался никогда, и косой не размахивал, вилы из сарая не вытаскивал. Любил нож. И он у него всегда появлялся в нужную минуту. Где только брался.

В селе, царство им небесное, пили все. И после выпивки пьянели, добрели, просветлялись. У Цыгана же внутри не просветлялось, а пробуждалось. Дьявол подбивал его покончить с Настей. Но его жену до поры до времени охраняла другая сила: по вечерам она молилась для порядку.

Как он ненавидел её! И пил один не из-за жадности, а чтоб сильнее взыграло это чувство, чтоб укрепилось, чтоб помогло ему решиться. Чтоб сердце вдруг не размягчилось. За руку он спокоен был.

Она, Настя, портила ему кровь. Внутри него ещё оставалось что-то неиспорченным, оно заявляло о себе, и вот она уничтожала, истребляла эти живые ещё остатки. Куда девалась бывшая её покорность?! Уже давно она несла ему одни разрушения и боль. Казалось, хочет сжить его со свету. А вот кроликов кормит каждый день, каждый час ходит к ним.

Да, было… Было, по молодости, гонял он её радостно, вокруг дома, по зелени огорода, под прозрачно-голубым небом, надеялся выгонять из неё ту дурь, что мешала им обоим — и радостно возбуждающе сверкали её пятки, — но дурь не выгонялась, а жена его, Настя, становилась всё непроницаемее. С каждым забегом. И временами ожесточалась. Что было делать?

Цыган стоял посередине двора с ножом в руке. Было видно, что нож ему уже не нужен.

Когда прибежали соседи, было уже поздно: Настю было не спасти. Он настиг её в малине, в малиннике. Там и свершилось. Он больше не кричал и даже не говорил. Наступали новые времена.

14. Побег

Камыш уже пожелтел. На берегу речки сидеть было приятно, не холодно. Ласточки улетели в тёплые, добрые края. Они долго собирались, и в один из дней их не стало. Хотелось тоже в другие края, подальше отсюда, от родителей, от этих людей — к другим людям. Они где-то были, жили себе, поживали. Легко верилось, что они есть. Где-то совсем недалеко. В той стороне, где садится солнце. Они кормят коров и вычищают из-под них в сараях, из-под свиней вычищают в хлевах. Они добрые, и они ждут. Туда можно и дойти. Дня за три. Днём идти, а ночь пересидеть возле какой-нибудь другой речки, затаиться. Оставалось собраться. Хлеба надо взять и пальто: по ночам холодно.

Если идти за солнцем, попадёшь на большую дорогу. На ней не потеряешься. Она начинается в Песчаном. За полдня можно добраться. В Песчаном много песка, растут сосны; везде земля под ногами, а у них — песок, значит они немного другие. Уже в Песчаном люди лучше. Но это совсем близко, вдоль речки, а потом — по каналу, и там уже скоро покажется Песчаное, это недалеко, а значит там тоже не всё как нужно, надо идти дальше. Тяжело было решиться. Но надо же когда-то бежать отсюда. Бежать, чтоб не вернуться.

Вот он на большой дороге. Теперь направо. Это дорога на Градикс. Слева, далеко слева, останется город К.

Для кого-то город К., может, и был городом, с булочными и сосисочными, с рюмочными и закусочными, с ресторанами и столовыми. Может быть, кому-то город К. казался пригодным для жизни, для того, чтобы находиться там всё время, и, хотя в нём вряд ли были рюмочные, потому что они, скорее всего, были запрещены на веки вечные, и ресторан, может, был всего один-единственный, в который ходили какие-то совершенно особенные люди — и там они вроде бы что-то кушали, — и булочных тоже не было, а были магазины с плакатом «Хлеб», и сосисочных тоже не было, но иногда случались длинные вереницы людей, которые стояли друг за другом, и если пройти от последнего человека, за которым становились ещё и ещё, то в начале этой живой массы можно было увидеть и сосиски, которые люди хватали руками, как хватают клювами куры земляных червей. Нет, города К. не держал в голове задумавший побег. Но его сознание не было зыбким и расплывчатым, где нет ничего, за что бы можно зацепиться. На карте этого сознания был и град Икс, и деревни с этой стороны городка, и с той стороны, была на этой карте и дорога, с началом и с концом, и вдоль неё жили люди, а в стороны расходились и расползались наезженные колеи. Эти, последние, вели в деревеньки и хутора, туда, куда и стремился уже бежавший в мыслях человек, маленький человек, ещё не взрослый, далеко не взрослый, потому что там, а не где-то, находились люди, которые не умели обижать, не делали больно, они были почти такими, как он, только большими, это были и люди, и святые сразу.

Он знал о городе К. Это было место, где можно купить билет на автобус. Но для билета нужны деньги, а где их взять? Если б были деньги, на автобусе можно подъехать и так, остановить по дороге. Но денег не было, а красть он не станет.

По большой дороге, на полпути к Градиксу есть тихое село Недогорелое. Это даже ближе, чем на полпути. Наверно, оно когда-то, в какие-то времена сильно пострадало, люди пострадали, хлебнули горя, потому что село их горело. Кто-то зажёг, поджёг этих добрых людей, может быть только за одно то, что они были добрыми и никому не мешали — кто-то ненавидел их за это, может даже в селе ни одного плохого человечка не было, и поэтому их подожгли. Всё, что они построили своими руками, горело. Они видели, как всё вокруг горит. И они плакали, как дети. Но пожар закончился. И люди остались. Сначала они построили землянки, а потом маленькие домики. И всё время заботились друг о дружке. А тому, кто больной, борщ в горшочке приносили, чтобы выздоравливал.

Но путь туда не близок, и идти очень долго: три дня. Идти до тех пор, пока и сил уже никаких не будет.

Внутри светлело, свет пробивался сквозь тяжесть слёз, которые лились и наружу, и вовнутрь. Наконец-то нашлись люди, которые ему рады. Пришла тишина. Он не шевелился. Шелохнулся камыш, и снова стало тихо.

Он сидел на высоком берегу речки, лягушки не квакали, они спали и смотрели сладкие сны, и комары не кусались, они тоже сладко спали, хоть и не смотрели никаких снов, и ласковое время текло медленно, оно было, как речное течение, куда он смотрел, наблюдая, как вода огибает камыши.

Может, и не надо искать того хутора, где никогда не был? Может, Недогорелое и есть то самое место? Он сможет добраться туда. Вот деревянный указатель, чёрные буквы на белом фоне.

Он пришёл. Солнце опустилось, и его лучи ярко осветили заборы на одной стороне улицы; а на другой их накрыла тень. И крыши домиков очень хорошо видны. Значит, сюда. Только в какой двор зайти, куда постучать? Людей на улице нет, и спросить не у кого. Заборы невысокие, но сам он — ещё ниже. Надо постучать в калитку, чтоб пустили во двор. Он долго выбирал — куда, а когда выбрал, затрепетало сердце. Сейчас он постучит, и ему откроют, ему откроет человек, и этому человеку надо что-то сказать. «Я ищу новых папу и маму», — нет, этого он не сможет.

На него смотрели добрые, сочувствующие глаза, им можно было довериться, надо только найти какие-то слова, надо что-то сказать, ведь можно подумать, что он — глухой, или не умеет говорить, отстал в развитии, может, это всего лишь одно слово, в котором он выскажет всего себя. Оно уже готово было выскользнуть, вылететь в пространство, но его не было, оно потерялось, пропало, улетучилось незаметно.

— Я, — сказал мальчик, и какой-то невнятный звук вылетел в ночь. В камышах зашуршало и затихло. Там была полная темень.

Солнце давно скрылось, но какие-то предметы ещё можно было различить: траву под ногами и ноги было видно. Он сидел на берегу. Было очень тихо.

Под глазами скопилась влага, и он стёр её оттуда двумя руками сразу.

Часть вторая. Просветление

1. Красные штаны

Необыкновенный, непревзойдённый, несравненный Прима, сын своей матери и отца, а не своего народа для красного словца, духом равен Леонардо да Винчи, красотою — Рафаэлю, летел на всех парах, парил по улице Сумской города Харькова. Он широко шагал, взлетая над тротуаром, как будто под ногами его была не Земля, но Луна. Прима умел взлетать, и он любил вышагивать так, как никто не умел. Он задерживался в воздухе на миг-другой, на вечность дольше, чем другие граждане и гражданки, выгуливающие самое себя. Он любил парить, и, хотя его тело время от времени касалось земли, душа летела, она не чувствовала касаний. И стар, и млад засматривались на Приму, оборачивались, когда он миновывал их, а те, кто шёл параллельно его курсу, вверх по Сумской, не отрывали глаз, тянули шеи, как будто выглядывали из-за забора. Невоспитанные, так те тыкали пальцами, толстыми жирными пальцами, или тоненькими жирными пальчиками, и сухими, иногда. Вдоль Сумской, по обе стороны, продавались беляши — для богатых, пирожки с ливером — для бедных, и мороженое — без различия сословий. И пирожки, и беляши были жирными, особенно беляши, лоскутка бумаги, который придавался к пиршеству, не хватало для того, чтобы руки оставались чистыми: подушечки пальцев у всех блестели. У многих в масле были и ладони, а у некоторых — так и подбородки. Жирное пятно на подбородке — трогательно и мило.

— Ты ба!

— Ты дывысь!

— Жахлыво!

— Що робыться на свити!

Удивлялись, возмущались, восхищались. Но не летящей походкой и не красотой лица. О внутреннем мире речь тут тоже, конечно, не идёт. Будоражили всех штаны Примы, брюки его. Они были красными! Невиданно и неслыханно, возмутительно и непозволительно. Невозможно! Откуда он вышел и куда направляет стопы свои? И куда смотрит милиция?!

Прима летел с высоко поднятой головой, для порядку касаясь ногами асфальта. Он приехал в город Харьков, чтобы завоевать его — покорить собою, и раз уж здесь есть такое правило, почему б и не следовать ему, коль уж здесь установлен такой порядок, почему б и не придерживаться его. Приму придержал кто-то за плечо.

— Постойте, гражданин!

— Стою, — ответил Прима, и остановился.

Перед ним гарцевал во всей своей красе, в до блеска начищенной сбруе, которая слепила, великолепный, породистый сержант милиции образца 1972 года. Когда Прима посмотрел на него, он перестал гарцевать, пятки вместе, носки врозь, пятка к пятке, носки порознь, и предложил естественное:

— Пройдёмте в отделение, гражданин.

В армии Прима был товарищем, товарищем сержантом, точно таким же сержантом, как этот случайный человек, который остановил его. Но в этом совпадении Прима не углядел намёка судьбы. И правильно сделал. (Потому что его и не было).

— По какому праву? — вежливо спросил Прима.

— Красные брюки, — доложил милиционер. На лицо он был совсем юноша, а в душе… Кто знает, кем он был в душе.

— Рубиновые, — уточнил Прима.

— Уточним, сверим, удостоверим личность, — несколько запутался сержант милиции. — Гражданин, — последнее слово уравновесило его мысли.

Они шли в отделение, Прима немного спереди, а страж порядка немного сзади, Прима в красных, насыщенно красных, донельзя красных штанах, а милиционер в фуражке с красным околышем. С красным околышем, видите ли, можно, а в красных штанах — нельзя. Отделение проглотило и подозрительного Приму, и его охранника. Но не навсегда. Время, когда эти двери проглатывали насовсем, прошло безвозвратно. Минуло с тех пор больше двух недель, так казалось майору, к которому привёл Приму уличный страж.

— Садись.

Сел.

— Кто такой? Откуда? Место жительства? Куда шёл?

— Прима. Из Миргорода. Поступаю в университет. Живу в общежитии.

— В армии служил?

— Часть 222 333 777.

— Куба?! — не сдержался майор. — Или я не прав?

— Не знаю, — ответил задержанный. — Под ногами — земля, сверху — небо, вокруг — забор. За забор нельзя.

— Тяжело было? — майору чего-то хотелось, может, поговорить, а может, ещё чего.

— Стойко сносил тяготы и лишения, — ответил Прима. «Как только выдержал», — подумал.

— В обморок падал? В самую жару.

— Служба — почётная обязанность каждого гражданина, — отчеканил Прима. «Чего ему надо?» — подумал.

— А остаться служить не хотел? — спросил майор.

— Хотел, но в другом месте.

— В каком?

— В заявлении всё написано.

— А почему не взяли?

— Там наши не служат, поэтому и не взяли.

— Вьетнам?! — Майор поднял всё своё из кресла, и стоял перед Примой любящий, поощряющий и нежный, как государство. — Какой же ты вьетнамец? Ты ж совсем не похож на них. Как же тебя возьмёшь?.. Ну, молодец! Так говоришь, наши там не служат?

— Так точно.

— Молодец, солдат. Молодец! Служат, ещё как служат. — «И жертвуют собой», — хотел восторженно добавить, но спохватился.

— Никак нет, товарищ майор, — стоял на своём Прима. Служба его научила не верить людям.

Майор ещё что-то говорил, тёплое, настоящее, от своего сердца и от сердца родины, и отпустил Приму, пожелав ему всего того, что другого человека могло размягчить и расслабить, но Прима постарался не слышать пожеланий. Ему это удалось.

Как только он высунул нос свой из темноты, полумрака, который был ближе к мраку, чем к свету, так тут же его встретил человек. Было видно, что он ждёт давно, с тех самых пор, как отделение поглотило Приму. А вот теперь оно выплюнуло его. Человек нагло рассматривал Приму через линзы очков, и, когда Прима привык к яркому солнцу и заметил, что на него пялятся, он спросил очкарика:

— Ты кто?

— Я — это я, — сказал тот, обрадованный, потому что Прима к нему обратился.

— А как тебя зовут?

— Кто как хочет, так и зовёт. А тебя?

— Я — Прима, — представился несравненный и непревзойдённый. — А ты?

— Шах и мат, — сказал новый знакомый.

Он давно преследовал Приму, шёл по пятам, пёр, как мог, но отставал, и если б не милиционер, наверно, упустил бы его из виду. Когда он гнался за Примой, каблуки его туфель цокали, как подковы коня. После покупки туфель Шахимат ставил подковки на каблуки: чтоб обувь дольше служила. Он приехал поступать в университет из города К., школу закончил с золотой медалью, и у него был нюх на необычных людей. Благодаря нюху он и заметил Приму.

Первым, что бросилось ему в глаза, были красные штаны. А, может, походка Примы, больше похожая на прыжки кузнечика, чем на шаги человека. Как бы там ни было, Шахимат познакомился с Примой, и они вместе зашагали вверх по Сумской, сначала — обед в «Пулемёте», а потом — в университет. Надо им туда было сегодня или — нет, неизвестно, но их туда тянуло. Оба были абитуриенты, и оба поступали на физфак. Прима хотел быть физикомлириком, или физиколириком, да и вообще надо же было где-то остановиться для начала, а Шахимат бредил астрономией, звездочётом мнил себя, вот он считает звёзды: и раз, и два, и три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, вот планеты считает: один. Увидел колдобину на Марсе, в колдобине зашевелилось, внутри затрепетало… Вот он сидит в ночной темноте, возле телескопа, рядом с ним девушка сидит, дышит волнительно, падают метеориты, падают их сердца, он ловит её дыхание, загадывает желание… Нет, учёный не станет загадывать желание: предрассудок.

В «Пулемёте» перекусили. Здесь был печёночный паштет, какого зверя-животного не играло ни существенной, ни вообще никакой роли, само слово *паштет* завораживало. Прима взял его со стойки, и Шахимат взял. Для того чтобы узнать, чем питается необыкновенный человек. Прима взял ещё чашечку чёрного кофе, этот напиток был знаком Шахимату, и, хотя он не пил его раньше, пил компот да молоко, но знал, что кофе — нечто невкусное и возбуждающее, а разница между ним и самогоном была в том, что в кофе можно набросать сахару, а вот в самогон — нет. Шахимат взял лимонный напиток. Паштет им понравился, и Шахимат подумал, что в следующий раз он попробует и кофе. Прима отпивал по глоточку, размахивал головой. Крутанёт ею в одну сторону и застынет. А потом мотнёт в другую, и снова замрёт. Глаза скосит куда-нибудь. Как богомол. А глаза тоже прыгают. То туда, то сюда. То вдруг побегут. То ли он на тротуаре что высматривает, то ли внутри. Поели. Условно, конечно. Обедозавтрак был скромным. Это у Примы. А Шахимат уже завтракал. Как и положено. А недавно он ещё пару беляшиков смолотил. Здесь у него был скромный полдник.

Вышли на тротуар, пересекли улицу наискосок от «Пирожковой» и тут же оказались возле памятника Тарасу Григорьевичу. Рядом с ним стояло ещё с дюжину людей, но уже без отчеств. И даже без имён. Хорошо, хоть в одежде.

Памятник оставили слева, и по аллее, которую не забыть им никогда, с лёгкостью в груди, с душами, полными чем-то тем, чего, казалось, всегда будет до краёв, походкой, которой ходят навстречу счастью, а не вдогонку за ним, зашагали к университету.

2. Бурьяны родины

Это был не я. От того человека, что ходил в школу, с сумкой или с портфелем — не вспомнить, — ничего не осталось, ни лица, ни мыслей, ни души. Из кокона выпорхнула бабочка, из бабочки сотворилась гусеница. А с вами разве не так было, не так случилось? Душа опустела, не как бочка с вином, а как бутылка с пивом, теперь можно заглянуть в неё или подуть в горлышко, ду-ду, брум-брум, па-па.

— Нужна бутылочка?

— Нет, заберите.

— Спасибо, молодой человек.

— Спасибо, мужчина.

— Спасибо, дедушка.

Я, нет-нет, — он, вышел из школы, которая не утопала в зелени, жалкие кусты бузины или сирени обессилено тянули тонкие ветки к небу, прося у него, или у самого бога, дождя, чтобы частично смыть с себя городскую пыль, пыль города К., которая до конца не смывалась, но дышалось всё же легче. Он вышел из школы и почувствовал, — прояснилось, — что он один, один среди всех: и девушек, и ребят, и взрослых. Несмотря на то, что в школе было полно всякой всячины, и вечера, и кружки, и соревнования, и интересных лиц было больше, чем неинтересных, он оставался в стороне от всего этого, потому что надо было учиться, учиться и учиться, как велел учитель… как он жил один до сих пор? Ведь человек не может один. Или всё же может какое-то время?

Их класс, 9-й Б, был собран не только из городских, но и из сельских, город наступал на село нагло, с высоты взирая на жалкие домишки, которые

ощетинивались острыми заборами и густыми бурьянами; кроме сельских пришли в класс и поселковые, и хотя посёлку-то точно наступал конец — городские дома с каждым днём затаптывали в землю поселковые лачуги, — ученики из посёлка были всегда весёлыми. Может, они повзрослели раньше остальных. И лица их были уже тогда просветлёнными, а мы, остальные, думали, что светлыми.

Шахимат приходил в школу с востока, это была единственная сторона света, в которой не было построек. Там тянулась, лениво тянулась железная дорога, отец Шахимата был мастер этой дороги, он присматривал за ней, и где-то в том краю, возле рельсов и шпал, стоял домик, в котором и жила семья Шахимата. Сто лет назад в этом домебудке проживал станционный смотритель. От него и остался ухоженный клочок пространства среди полей, и дворик, и сарай; и домишко, и даже смотровые щели в его стенах.

Теперь здесь, на станции, останавливались грузовые составы и рабочие поезда. Шахимат жил в романтическом месте и, может, поэтому, был романтиком. Его душу беспрестанно наполнял стук колёс поездов, уходящих в никуда и приходящих из ниоткуда. Из рабочих поездов выходили люди, или люди, может, просто выглядывали в окна, и Шахимат видел лица — они выдавали измотанные души, и этого было не скрыть; у некоторых людей души были вынуты уже полностью, у некоторых — нет, часть души ещё оставалась, хотя было видно, что её не удержать ни стиснутыми зубами, ни сжатыми кулаками. Если не выпорхнет через рот, то вылезет из шкуры, но внутри не останется. Душам, видимо, было не место в этих телах, и они правдами и неправдами покидали их. А жизнь в организмах поддерживали сердца. Они по инерции качали кровь.

Тогда было иначе. То было время, когда с другим, с кем-либо, с кем угодно можно было познакомиться просто так. То было время бескорыстия. Оно пришло ещё до нас, ещё раньше, и мы… нам повезло, посчастливилось жить тогда. Ни до того, ни никогда после не будет такого времени, потому что бескорыстие — большая помеха в жизни, за ним, как тать, следует отречение от себя, и конец — делу венец.

Для другого ничего не жалко, если он такой же, как ты. «Все люди — одинаковы», — твердили нам отовсюду, «все — равны», — висело в воздухе и никогда не исчезало насовсем, носилось по школьному двору, порхало на уроках, переменах, жило во снах, мутью осаждалось в душах. Но равны все не были, в классе он и Шахимат были способнее других или, может, просто старательнее, кто-то ездил на своём автомобиле, а кто-то только на велосипеде, кто мог, воровал, чтоб жить лучше, надо было воровать, и почти все воровали, а они двое не могли, трудно было идти против совести, да и зачем, но все — равны, было ли действительно так и могло ли быть вообще, может, в чём-то главном и равны, надо только найти это главное, общее. И они искали. Они всё больше времени проводили вдвоём, и это время было заполнено словами, как поле боя пороховым дымом. Как сырое небо пухлыми тучами.

— Все равны.
— Должны быть одинаковыми.
— Они не понимают, как это хорошо.
— Но как их сделать равными?
— Не силой же.
— Они могли бы захотеть.
— Люди, которых мы знаем, не захотят.
— Чтобы все, как один.
— Но ведь этого нет.
— Но будет, должно же это когда-нибудь случиться.
— Только не с этими людьми.
— А с какими?
— И когда?

Всё время, когда они были вдвоём, заполнялось словами, как пустой мешок початками кукурузы; два не совсем взрослых человека, затерянных в ноосфере, два не созревших, недозревших ума, у которых не было своих мыслей, откуда им было взяться, своим размышлениям, и слов у них тоже было немного…

Им очень хотелось таких мыслей, чтобы убедить каждого, сильных и понятных, и ещё чего-то: непостижимого и неведомого. Это было важнее, чем модный прикид. Хотя принарядиться, конечно, тоже иногда тянуло.

Надо было понять, почему нет равенства. Всё кричит и вопит о нём, но его нет, и не предвидится. Неужели этому не бывать никогда? Так чего же ждать? На что надеяться?

Что вокруг, и кто вокруг, они не знали, можно было только гадать, но гадать вдвоём — это не так бессмысленно, как в одиночку. В книгах, которые случайно попадались под руку, всё — туман и тайна, и они искали истину: искали в себе, составляли её из лоскутов знаний, где-то подобранных случайно, из плакатов, висевших там и сям; осторожно выведывали думы одноклассников, хотя чаще всего те и не скрывали своих-чужих мыслей, откуда им было знать о придуманном двумя друзьями мирезагадке. А свой, ближний, они знали хорошо, и порой прекрасно, и плавали в нём, как рыба в воде.

Они — двое — витали в несуществующем пространстве, бродили по бурьянам родины, родина была щедра бурьянами, рядом шуршали высоковольтные линии электропередачи, потому что в городе К. стоит гидроэлектростанция, и вся земля вокруг опутана проводами, которые тихо шуршат, помогая думать. Незаметно, плавно, не торопясь, их накрывала украинская ночь, о которой всё сказано, она заполняла землю тишиной, звёзды Ван Гога выползали на небо, тишина менялась покоем, мысли просветлялись, но они были тоненькими, едва заметными, тоньше паутины, и хрупкими, или, может, ломкими. Они не держались в их головах, а улетучивались, исчезали, и когда появлялось огромное красное солнце, ночные истины блекли, а, может, отправлялись спать, набираться сил, чтобы

когда-нибудь окрепнуть и осветить жизнь, существование или бытие этим двум заброшенным существам, и чтобы ни восходящее солнце, ни ночь, ни даже конец света не остановили это пока ещё несуществующее сияние мысли. Хотя с концом света, конечно, не поспоришь. Если он наступит, то никакая мысль уже никому не пригодится, так что с ним надо поосторожней, почтительней надобно.

Их споры не прекращались до вечера, до темноты. Снова последние лучи золотили бурьяны родины, снова наступала ночь, и друзья расставались и шли по домам.

В школе было радостно: учиться, наблюдать, чувствовать. Первое время пришлось тяжело, но это быстро забылось. А потом, после, когда окончил школу, радость прошлого испарялась, почему-то, день за днём, год за годом, и вот всё это, всё то, что было в школе, два года, 9 и 10 класс, забылось само собой, исчезло, и школа стоит на месте, три когда-то родных этажа, а, может, четыре, кто знает, сколько, все они на месте, и ступеньки, по которым спускались и поднимались интересные созданья, с которыми так и не удалось… чего-то не удалось… А могло ли что-нибудь получиться, вечное, или хотя бы незабываемое? Может быть, да, а, может быть, нет. Скорее всего, нет. *Нет.*

У школы было крыльцо. Потому что вспоминается одна колонна, к которой когда-то прислонился. Была колонна, значит, было и крыльцо. Быстрее вспоминается пивная бочка, жёлтая бочка, которую облепили люди, движение вокруг неё, как возле осиного гнезда: шуршание, возня, наполненные банки, радость одних, недовольство других, что-то живое, люди чего-то хотят, копошатся. Может, это место больше напоминает пчелиный улей — они всегда проходят мимо, они не знают вкуса пива, этот запретный плод им не нужен, пивом их не искусить; вот когда появляется бочка с квасом неподалёку…

Дождь лил и лил на мостовую, на асфальт тротуаров, очищал воздух, мыл асфальт, мыл до тех пор, пока он не стал чистым, пока не вымыл. Они вышли из школы, в этот вымытый воздух, на этот чистый асфальт, и души их, их души тоже очистились. И вдруг стало так хорошо, чисто внутри стало, так чисто, что чище не бывает, внутри раскрылась вечность, и они, может, перестали говорить, может, и так стало всё понятно, без слов. То, о чём они спорили, вдруг стало несущественным, неважным, ненужным, лишним; главнее стали улыбки встречных девушек, а не девиц, как кто-то хочет подумать, как кому-то может показаться, и в этих улыбках было всё, вся полнота бытия, непознанное, которое и не нужно познавать, вселенная с её загадками, чудо, и, наверно, счастье. В этих улыбках была та же самая чистота, которая грянула сюда, на улицы и тротуары города К., когда всё лишнее смыл дождь. На чистых лицах она светилась, пороки оставили и души людей, и пространство вокруг школы, и город, они испарились, переместились в другие пространства или в другие времена, они никогда не вернутся; пороки, и то, что два не совсем ещё взрослых человека открыли в людях, хотя до конца и не знали, что же это такое — это было что-то нехорошее, оно жило во всех и каждом, и за него люди держались, как за соломинку; и именно этим нехорошим люди были похожи друг на друга, — оно исчезло, его смыл всеочищающий дождь, и все бывшие мысли стали фантазиями, люди оказались другими, понимающими, глубокими, вечными, каждый встречный стал чудом природы… Возле бочки с пивом не было ни возни, ни драки, все стояли в очереди, признавая за другими, такими же, как они, равное право… Близилось лето.

И они, два друга, двое, шли в никуда, шли просто так, чтобы встретить ещё кого-нибудь, кто улыбнётся. А, может, он один шёл. Он шёл, и встречные всё улыбались, открывая души, не скрывая ничего: скрывать было нечего. Сталкиваясь, соприкасаясь друг с дружкой, души расцветали.

И не было тех, кто хотел бы завладеть ими, измазать и испачкать, а потом выбросить на помойку… То было другое время.

С тех пор, как дождь очистил природу, он как-то сразу перестал стесняться девушек, перестал бояться подходить к ним, — они уже не были из другого теста, — а из того самого, они, хоть и были из плоти, она для них была не главной, так же, как и для него, а их чистые лица отражали чистые души, которым надо же было где-то жить.

А потом всё это куда-то исчезло. Или ушло. Они уехали учиться в Харьков, в университет, на поезде, по железной дороге. Шли годы, и город К. вместе со школой с тремя, а, может, четырьмя этажами, исчез. Осталась только железная дорога и железнодорожный вокзал.

Со временем он тоже, наверно, исчезнет.

3. Время воровать

Хорошо воровать капусту в полнолуние. Два старших двоюродных брата и я собрались за капустой. Колхозное поле начиналось сразу за огородами, в том числе за нашим огородом. Братья взяли мешки, несколько мешков, ножи, чтобы срезать кочаны, верёвки, чтобы завязывать мешки. Может, ещё что взяли, нужное для воровства. Но зачем они взяли меня? До сих пор загадка. Мне было восемь лет, и мешок с капустой я поднять не мог. Если бы кто захотел поймать нас, то меня поймали бы первым. Завязывать мешки мне тоже не доверили. Так зачем же братья взяли меня? Может, они хотели поделиться радостью? Или приучить не бояться воровства? Или дать первые уроки воровского ремесла, обучить сначала ремеслу, а потом, глядишь, и искусству воровать, ибо никакое другое искусство не может по своему доходу сравниться с этим: отбирать у ближнего, у дальнего, и у народа в целом? От малого — к большому, от низкого — к высокому. Отбирать у народа — искусство гениев, и вряд ли об этом мечтали братья, обучая меня простейшему: вовремя открывать мешок, чтобы опустить в него срубленные кочаны. Да и с этим я справлялся с трудом, особенно первое время, когда оцепенел.

Собирались выступить с темнотой, с наступлением ночи. Сидели в кухне, курили «Север» и «Прибой». «Беломорканал» и «Шахтёрских» не курили — то были слишком дорогие папиросы. Говорили о папиросах «Казбек», их курил самый заслуженный человек, когда-то, когда был жив, а кто курит сейчас, вот интересно.

— Большие начальники курят, — сказал один брат.

— Меня раз угощали, — соврал второй. Он видел, когда угощали кого-то другого. — Вдыхаешь, как нектар пьёшь, — рассказывал он. — Выдыхать не хочется.

Он так рассказывал, что мне тоже захотелось «Казбека». В кухне было накурено, хоть вешай топор, но дышалось легко, дым никому не мешал, даже мне, с дымом было приятней ждать темноту.

За кухонным окном, оно было одно, посинело, потом почернело. Но чернота была чем-то сильно разбавлена. Во дворе появились лунные тени. Чтоб не выделяться, они то и дело смешивались с бледным светом.

С мешками и с ножами, с верёвками вышли во двор. Братья жадно докуривали папиросы.

— Пора! — сказал кто-то за них.

Вышли за огород, на открытое пространство, и увидели луну. Она была огромной, как глаз господа, пристально рассматривающий своих жалких созданий. Перелезли через проволоку, якобы заборчик, своего огорода, несколько метров нейтральной полосы, на которой росла всегда зелёная трава, и вот уже ступили на колхозное поле — чужую территорию.

Пригнулись и зашагали воровскими шагами. Под ногами путалась капуста, некоторые кочаны были такими большими, что мы их обходили: если переступать, надо разгибаться, а мы шли согнувшись.

— Пришли, — сказал один из братьев. Поле вокруг было совершенно одинаковым, и почему здесь надо было стать, не объяснить. Наверно, брату был какой-то знак.

— Присядь, — приказали мне, я сел на корточки, а братья разошлись в разные стороны. Я сжался, но луна пронзала, пробуждая остатки совести. Тени братьев были видны, не узнать только, кто из них кто. Первым вернулся младший с несколькими кочанами.

— Открывай мешок! — сказал он.

Я приподнялся и оцепенел. Я не мог открыть мешок. Холодный пот опускался от затылка вниз по спине, руки меня не слушались. Брат задвигал своими, открыл мешок, мои руки тоже как-то механически задвигались, так, наверно, бывает у животных, и я стал держать мешок.

— Молодец, — похвалил брат.

Не успел я перехватить воздуха, как подошёл второй брат, старший, и вот уже один мешок полон. И это всё наше. Ура!

Только вот где-то тут должен быть сторож с ружьём, человек с ружьём, сторож с винтовкой, которая стреляет всех без разбору, и закоренелых ворюг, и тех, кто впервые, по неопытности, ступил на воровскую дорожку, ненатоптанную тропинку счастья. Винтовка, ружьё, они стреляют без разбору, в тех, кто воровал, ворует и будет воровать, как говорил один учитель, перевирая великого учителя, и в тех, кто, может, хотел бы исправиться, бах-бах — и в точку, без различия, наповал, в голову или в сердце, средоточие благородства, а не коварных замыслов… Одно грело душу: капусты в мешках прибавлялось.

А где же собака, злая немецкая овчарка, которая и днём наводила ужас, не говоря уже о ночи? Вот выскочит вдруг и закусит, придут другие люди, и потом уже не оправдаться, не очиститься. Где же собачка? Да издохла она, наверно. Уже давно приготовлен ей свежий кусок мяса, именно такой кусочек, чтобы понравился ей, и уже давно обломан кончик иголки, который воткнут в середину этого куска, и хвалёная колхозная собачка уже ухватила, жадно ухватила лакомый кус, и кончик иглы сделал своё дело, он дошёл до сердца, попал туда, куда было задумано, и собачка лежит возле куреня, вроде спит, но она не проснётся к утру, потому что никогда не проснётся.

А ружьё? Может, отсырел порох в патронах, которыми заряжена двустволка, двустволка — это верное дело, если с одного ствола ещё можно мазануть, промазать вдруг, то с двух — тут никуда не денешься, два ствола — это две смерти, идущие друг за другом, если одна не успеет прибрать тебя к рукам, случайно не заметит, что сидишь ты за двумя мешками капусты, ловко спрятавшись, то вторая обязательно подберёт.

— Что ты, заснул? Открывай мешок.

Я открыл ещё один мешок, и он тоже стал наполняться.

— А сторож где? — спросил я. Мы наполняли уже четвёртый мешок, и хотелось жить.

— В курене, вместе с собакой.

— Значит, и сторож погиб?

Но брат уже ушёл в поле. Что со сторожем-то?

— Что со сторожем? — спросил я у другого брата, у младшего, когда он подошёл с кочанами.

— Пьяный спит, — признался брат, — мы его самогонкой угостили.

— Живой! — вырвалось у меня.

— И счастлив, — добавил брат редкое слово.

— А собака?

— И собака спит.

— И не проснётся уже?

— Не волнуйся, протрезвеет и проснётся.

— Она тоже пьёт?

— Угощают же. Кто откажется?

И сторож был жив, и собачка жива, и мы были счастливы, братья несли по два мешка капусты, а мне доверили ножи. В конце поля остановились отдохнуть. Я посмотрел на поле. То там, то сям шевелились неясные тени.

— Урожай хороший, всем хватит, — сказал младший брат.

4. Вознесение

— Как бы возвыситься? — спросил я Приму. С ним меня познакомил Шахимат. — Возвыситься над толпой?

— Надо подняться на 11 этаж, — предложил Прима.

— Ты неправильно понял. Возвыситься над всеми: харьковскими обывателями, слепой массой, жителями города и пригородов, Мерефы, Новосёловки, и даже Люботина, стать выше народа.

— Выше студентов, наших, и других, выше всех живых, ходячих?

— Да.

— Надо влезть на крышу.

— Университета?

— Конечно. На Госпром не полезем.

— О чём ты говоришь, Прима? — открыл рот и Шахимат. До этого он молчал. — Надо оторваться от массы, как протуберанцы от солнца.

— Оторвёмся, — пообещал Прима.

— И для этого лезть на крышу?

— Да, оттуда легче воспарить. Меньше гравитация. По лорду Ньютону. Слабее притяжение.

— И мы вознесёмся?!

— Я покажу, как надо.

— Не верю, — заявил Шахимат.

— Косный ум, — похвалил его Прима.

— Ты не сможешь взлететь, — настаивал на своей косности Шахимат.

— Не будем спорить, — заключил Прима, — с кем спорить? Ты — продукт, порождение среды, такой же, как любой таксист, — Приме показалось уместным именно это сравнение, — не сам по себе, а составляющая другой субстанции, ноосферы… Будешь отныне ты — Ноо, — сказал он с той интонацией, которую все помнят по фразе: «Отныне будешь Савлом», — Ноо, которого заела среда.

Шахимат, который вдруг стал Ноо, потерял дар речи. А что он мог? Что можно сделать, если человек говорит: «Ты не веришь, что я умею летать? Пойдём, выйдем, так сказать. Папироски не найдётся? Сигаретой не угостишь?»

Я тоже молчал. Тоже не верил… Мы с Шахиматом, или теперь уже с Ноо, мы знали точно, что мы-мы-мы — выше всех остальных, и догадывались, в чём выше, вот насколько — определить было трудно. То, что мы поступили в университет, уверенности в нашей исключительности нам не добавило, такими необыкновенными мы себе казались. А Прима издевался над нами. Или нет?

На крышу полезли ночью. Но не на университетскую. Она была покатой, с неё можно было запросто свалиться; ровной площадки, такой, чтобы удобно присесть для начала, мы не нашли, да и попасть туда было непросто, если через кабинет черчения, то — где-то прятаться, пока уйдут преподаватели, а потом ждать следующего утра, пока они появятся. За такое могли и отчислить, выгнать без права восстановления, без всех остальных прав, которых и так, наверно, было немного. Кроме того, внизу, рядом с университетом, в зоопарке, по ночам кричал жираф. Он пугал кого-то, потому что кричал только по ночам, днём не кричал, не так-то легко испугать днём; а, может, жираф сам боялся темноты, и кричал, потому что было темно; а, может, он просто тренировал голос, упражнялся. Днём как-то неловко, люди кругом, смотрят на тебя, ещё что подумают нехорошее, а вот ночью никто не видит, кричи себе, что есть мочи… Но, вероятнее всего, жираф кричал, потому что был голодным, с голодухи вопил. Днём ему всё же давали немного пищи, что это было, сказать трудно, наверное, всё же какие-то полезные вещества, потому что он был жив и даже надеялся пожить ещё. Днём, к тому же, детишки что-нибудь подбрасывали, прямо-таки вкусненькое, а ночью он оставался один на один с голодом. Смотритель, который должен был наполнять его кормушку, на ночь не оставлял в ней ничегошеньки, всё увозил с собой, может, своим свиньям, а, может, детям: у смотрителя была большая семья. Крики жирафу помогали редко, но иногда сторож, чтобы хоть немного поспать, приносил ему какую-то пищу, то, что предназначалось другим животным, тем, кто кричал не так громко, а, может, кричал, да его не слышали, потому что в клетке сидел, а клетка очень хорошо гасила неприятные звуки.

В университете оставаться на ночь не стоило. Начинал свою ночную серенаду жираф, ему вторил павлин, тявкали собаки, дворняги, они не числились в штате зоопарка, но шумели тоже; вот рявкнул лев, и всё на время затихло, но вдруг звонким колокольчиком зазвучало, рассыпалось где-то рядом: то мартышке приснился дурной сон.

На университетскую крышу решили не лезть, что-то удерживало, слишком много было препятствий. А вот люк на крышу общежития всегда был открыт. После полуночи в общежитии гасили свет, чтобы студенты ложились спать, студент без света не живёт, шибко умные спускались вниз, в читальный зал, и продолжали учиться, до тех пор, пока не засыпали тут же в читальном зале, другие играли в карты при свечах — отсюда и выражение пошло «игра не стоит свеч», — или разговаривали в темноте, шушукались, но масса, основная масса, вынуждена была смириться с темнотой и ложилась спать. Утро вечера мудренее.

Крыша общежития была не холодной, приятной на ощупь, не липла к босоножкам и брюкам. Мы сели. Ноо и я просто сели, а Прима — в позу лотоса: скрутил ноги корягой. Позже он и меня так выучил садиться, но мало кто удивлялся этому. Мы сидели на крыше, и было очень хорошо. Над нами светили звёзды, и при взгляде на них перехватывало дух: так были они далеки.

— Наверно, скоро взлечу, — ни с того ни с сего сказал Прима.

Мы уже и забыли, зачем вылезли на крышу. Ясно, чтоб звёзды посмотреть. Здесь было намного лучше, чем в комнате, внизу.

— Может, не надо, — я поверил, что он взлетит, не подготовился не верить, и вот поверил.

— А где ты приземляться будешь? — ехидно спросил Ноо.

— Да тут же и приземлюсь. Я — невысоко, — Прима как будто просил разрешения. Так маленький мальчик просится на улицу погулять немножко.

— Может, верёвку какую принести, привяжем тебя. Мало ли что, — не унимался Ноо.

— Ничего не надо, — «не мешайте мне» — сказал Прима. И мы почувствовали, как от Примы

исходит какая-то не энергия, но сила. Казалось, нас толкает мальчик лет пяти двумя ручонками сразу. После этого Ноо тоже почтительно затих. А мне уже давно было легко, так легко, что я бы даже удивился, если б Прима не взлетел.

Первое, что я услышал, было тяжёлое дыхание Ноо. Левой щекой он припал к крыше, наблюдая, когда появится щель. Мне тоже показалось, что Прима стал выше, как будто бы сильно выпрямил спину. Потом мне показалось, что он стал ещё выше.

— Он поднимается, — повернул ко мне голову Ноо, — он левитирует, — его голос стал таинственным.

Я тоже заметил щель. Она увеличивалась. Здесь не могло быть никакого подвоха. Прима сидел в позе лотоса, над крышей, и между его посадочным местом и крышей можно было поместить десятилитровое ведро.

Как нам быть, мы не знали. Прима вроде и был с нами, а вроде его и не было, потому что это уже был не он, это был тот, который воспарил.

— Что будем делать? — спросил я.

— Будем смотреть, — ответил Ноо. Было видно, что теперь поверил и он. Что-то, видимо, произошло внутри. И мы смотрели… С нами сидел Прима, которого, казалось, мы хорошо знаем, он сидел рядом, на крыше, только немного не на крыше, и мы смотрели на это, смотрели и не могли насмотреться.

5. Кровососы

Давным-давно, когда людей, живущих в разных краях, соединяла всего одна дорога, когда ещё не изобрели асфальт, но по грунтовке уже побежали первые автомобили, жалкие, похожие на игрушечные, грузовички, и иногда чёрные дутые легковушки, первые из той бесконечной армады, которая двинет во все концы света, уничтожая всё на своём пути, леса, в которых жили лешие, добрые и днём, и ночью, с нечёсаными бородами и проникновенным взглядом, болота и озёра, где ютились водяные и русалки, которые спасали тех, кто тонул, а если им и не удавалось спасти человека, то уж тело они всегда вытаскивали на берег, чтоб родственники могли поплакать над утопленником, помянуть его душу грешную, а не гадать, куда запропастился сынок или братишка; давным-давно, когда баба Яга ещё была молодой и красивой, а, может, просто симпатичной, а ведьмы запросто уживались с людьми, обитали в таких же домах, так же одевались, и только по ночам приворовывали молочко у чужих коров; когда их застигали, они превращались то в колесо от телеги, то в лопату; пакостили помаленьку, большого вреда от них не было, уже тогда появились первые страшные-ужасные существа, вместе с единственной дорогой, они ездили в легковых автомобилях по четверо и возили с собой помпу. Дорога проходила мимо деревни бабушки, по дороге неспешно катил автомобиль, из окон которого люди в потёртых костюмчиках жадно высматривали малышей. Только по потёртостям и можно было догадаться, что это именно они; детишки, которых они ловили, сопротивлялись, били ножками и махали ручками, тёрли их костюмы. Чем быстрее связывали ребёнка, тем меньше потёртостей оставалось на одежде. Нормальные с виду, это были кровососы. Они включали помпу — аппарат для выкачивания крови, — и уже ничто не могло помочь дитяти. После того, как кровь откачивали — так паук выпивает содержимое мухи, — пустую, лёгкую оболочку кровососы выбрасывали на обочину. Вдоль дорог, по деревням и сёлам, где промышляли искатели детей, валялись никому не нужные тушки, лёгкие, пустые, уже не годные к употреблению…

Хотелось бы посмотреть на них, взглянуть издали, хоть одним глазком, а потом убежать. Но было страшно. Вдруг они тоже быстро бегают. Или кто-нибудь один, который любого сцапает. Так и не удалось увидеть их тогда. Но они остались.

Первыми исчезли ведьмы: неуютно стало в обычных домах, не жилось больше. Потом разбежались лешие, разбрелись, кто куда, некоторые, самые смирные, не способные на чудеса, потерявшие былую силу, доживали свой век на хуторах. Водяные опустились на дно озёр, болот и больше не поднимались, русалки, уставшие по ночам ждать ласку, высохли, хвосты у них отвалились; от тоски повесилась и баба Яга, на суку большого дерева, в дремучем когда-то лесу, а теперь разрезанном дорогами на клочки, где деревья всё ещё размахивают гривами. Добрые души исчезли. А кровососы остались. Они заполонили землю.

6. Памятник нам

На этом же месте стоял памятник основателю университета. Постамент остался точно таким же, но на нём вместо одного человека, достопочтеннейшего господина Каразина, восставали трое: Прима, Ноо и я. Выше всех воспарил, конечно, Прима, он был, как эскимо на палочке, но палочки под ним не было, под ногами его было пусто, но они не болтались в беспорядке, а были сомкнуты и загнуты назад, а опирался Прима о нас, края его громаднейшего плаща-реглана накрывали наши плечи, моё — правое, а Ноо — левое, на эти точки и опирался взметнувшийся в вышину Прима, оторвавшийся от массы, в чём не было ни малейшего сомнения. Мы с Ноо не просто стояли рядом, Ноо, конечно, в своих очках, знакомых всем по стихотворению «Пароходу и человеку», а я — без всяких признаков различия, лицом похож — и только; мы шагали в пустоту, он — правой ногой, а я — левой, ноги наши покинули площадку постамента, и зависли: ступаем в никуда, да и только. У Примы огромная грива, волосы до плеч, и классическая улыбка — Моны Лизы, — только жизнерадостней, потому что рот приоткрыт, а не замкнут в презрении к проходящим мимо. Ещё Сартр догадывался о презрении, заключённом в классической улыбке, но так как он от природы был человеком мягким, застенчивым, то назвал это «чем-то нехорошим», и распускать язык себе не позволил, для Примы же на первом месте стояла даже не правда, а сама истина, поэтому улыбался он, как и положено, классически. Мы с Ноо тоже были как будто бы наделены каким-то знанием, наши лица излучали,

в них просматривалась некоторая жажда не страсти или похоти, упаси бог, но просветлённости, она сквозила в наших лицах, но и безнадёжность маячила, тем более, что каждый из нас одной ногой был уже не на пьедестале, а в пропасти. Пририсовал нам Прима и гривы, и загривки, которых в жизни мы себе позволить не могли: военная кафедра состригала всё. А Прима своё отслужил, и в жизни его причёска была точно такой же, как на картине, которую он заканчивал пастелью, хотя больше любил рисовать маслом. Его мастерская находилась рядом с его койко-местом, возле окна, свет на холст падал слева, как и положено по теории чистописания, хотя Прима развернул холст под углом к окну, чтобы на картину падало света побольше: отступил от теории по чистописьму, ну и ладно.

Картина называлась «Навстречу знаниям», хотя к университету мы стояли спиной, и уходили от него, шагали в другую сторону, в противоположную, в город, туда, где «Пулемёт», пирожковые и закусочные, и, да, рюмочные. Плащ Примы, несомненно, из настоящей кожи, видавший виды, был потёрт не в тех местах, где обычно трётся одежда, а на плечах и особенно на груди, вытерт до белизны: казалось, многие припадали к этой груди, к этому плащу, вытерли даже настоящую кожу; что случилось бы с недорогим заменителем, страшно помыслить.

Прима учился неплохо, но в основном он рисовал, в его взгляде чувствовалась мощь, казалось, что покорение Харькова не за горами, а борода у него давно стала матёрой, сезанистой.

— Мона Лиза! — воскликнули мы с Ноо в один голос.

Она совсем была не похожа на Лизу, и почему мы ляпнули такое, ни я, ни Ноо сказать бы не могли. Наверно, были поражены красотой девушки. А Прима рисовал её, как горшок.

— Это Лиза, — сказал он нам имя девушки.

— Надо же, — не сдержался Ноо.

— А это — Ноо, — показал он в нашу сторону.

Она улыбнулась открыто.

— И это — Ноо, — представил он меня.

— Как же? — удивилась Лиза.

Я тоже удивился. Раньше он называл меня по имени.

— Да вот так.

— А как их различать?

— Это не обязательно, — механически произнёс Прима. — Они пока ничем себя не проявили. Никаких талантов не обнаружили. Как их ни называй, всё равно не перепутаешь. Путать там нечего, — добавил так же механически.

— Так обидно ж.

— Проявят себя, переименуем немедленно, — пообещал Прима. Кистью он водил размашисто, неспешно. Что тебе Веласкес. — Не ёрзай, — повелительно сказал девушке, — получится не резко.

— Ты меня словно фотографируешь.

— Ладно, вертись, только не вставай, — снизошёл Прима.

Он что-то обнаружил в лице девушки, или ему мысль какая пришла в голову, залётная, но степенность его исчезла, он закружил вокруг стула, на котором сидела Лиза, замурлыкал, приплясывая и пританцовывая, подходил к девушке, а потом отходил от неё, и кисточкой, осторожно, делал один-два мазка на холсте, а потом снова приближался. Таким Приму она, вероятно, тоже не видела, потому что удивление застыло на её лице, и его можно было срисовывать. А Прима подлетел к холсту и, забывшись, взлетел над полом, ему зачем-то понадобилось посмотреть на модель с высоты, а потом, на этой высоте, он быстро-быстро что-то стал зарисовывать. Его ноги в шерстяных носках смешно висели в воздухе, надо было бы что-нибудь под них подставить, но Лиза уже заметила, в какие лапы она попала и, чтоб не случилось худшего, она преданно смотрела в глаза судьбе. Шерстяные носки сползали, и когда коснулись пола, нам с Ноо стало смешно, а Прима, наверно, почувствовал, что он висит, и, застыдившись, опустился. Но, судя по его знаменитой улыбке, всё, что надо, он уже увековечил.

— Извини, — сказал он девушке. — Вдохновенье подвело.

Он был так честен в своём раскаянии, что она простила его. Но сколько ещё ей придётся прощать? И на что ещё способен этот человек-художник, или художник-человек, или художник, и всего лишь малую толику человек. Какую?

— Хочешь, я полетаю для тебя? — предложил он.

— Ну полетай немножко.

И Прима стал летать вокруг неё, и когда подлетал к окну, у нас с Ноо был страх, что он вылетит из комнаты; что тогда? Но Прима был таким ручным, и мы догадались, что он влюбился.

— Ну хватит уже, Примушка, голова совсем закружилась, — сказала Лиза, и Прима опустился на пол. Хотя полёт его был грациозным, как полёт мухи, но на челе выпала первая роса. Я подбежал к нему с общежитским полотенцем и смахнул влагу. Прима сидел на полу и взирал на всех уже снизу. Я тоже присел рядом с ним, для симметрии. Ноо расположился на кровати, на другую кровать присела и Лиза. Ещё одна Лиза была на холсте, она смотрела внутрь себя, и тысячи взглядов не ощупывали её лицо, не оценивали её красоту ни в твёрдой валюте, ни в неотмытых рублях. Было хорошо.

7. Красные артисты

Там всегда райский свет осени, весело журчат ручьи и пахнет земля, снег — бел и чист, как душа, там святой идёт босиком по льду, и ему не холодно, идёт он и под жарким солнцем по раскалённой земле, и ему не жарко, потому что земля ласкает его ноги, а не печёт, как может показаться со стороны. Там нету врагов и нету страха, в воздухе, в пространстве — радость, блаженство и восторг, там весна с потрёпанным узелком не стучит в дверь, «подайте милостыню», там осень не хлещет колючими дождями, не рассыпает, как сеятель, болезни тела, чтоб ныли души, и зима не выглядывает из-за каждого куста, чтоб схватить зазевавшегося путника,

и заморозить его, «ещё один мой», и лето, соревнуясь с зимой, не целится самыми опасными лучами в непокрытые головы, чтоб свалить в обморок, а то и насовсем, лето не соревнуется с зимой, кто сильнее, кто чью руку завалит. Они не стоят в очереди друг за дружкой, друг за другом, «сколько можно, хватит высматривать, моя очередь, уходи давай, сам уходи», не толкаются животами, не прижимаются потными организмами, чтоб вытеснить другого, а мирно сидят в кругу, в кружке, на поляне сказок, и смеются, рассказывая по очереди истории о бестолковости людей, которым нравится кто-нибудь из них, а ведь все они — одинаковы, с одинаковыми душами, которых не постичь, с душами, полными добра, бесконечно добрыми, просто бесконечными… Люди уж так устроены, чтоб выбирать, кого-нибудь из них или спутника жизни… Боже мой… Они сидят на поляне, поджав под себя ноги и, любуясь всем, что вокруг, все красивые, ничего не ждут, всё, что им нужно, это — быть вместе, да иногда творить чудеса. Как же без этого…

Пришёл вечер. Было ещё светло, но мазки тёмного уже появились на небе, а потом и на землю приспустилась загадочная чернота.

Отец взял его за руку и повёл туда, куда они раньше не ходили, за село, через лес. Прохлада леса дунула в душу. Из-за дерева выглянул леший, «ух», — обрадовался он людям, но тут же спрятался на всякий случай.

— Там леший, — сказал мальчик.

— Тут их целая дюжина, — подтвердил отец.

— А сколько это?

— Это — двенадцать, если леших, то — душ, потому что они — живые. Живое считается на души, а неживое — на штуки.

— А как их считали?

— По одному, как коров в стаде. Так и пересчитали.

— А они добрые?

— Да, только очень пугливые. Людей боятся. Люди-то — не лешие, бывают всякие, и добрые, и злые.

Мы вышли к озеру, и два водяных, друг за другом, булькнули неподалёку.

— Водяные тоже нас боятся?

— Прячутся под водой, тоже на всякий случай.

— А русалок тут много?

— Их трудно пересчитать, они живут под водой, и только, когда совсем темно, в тёмные-тёмные ночи выплывают на берег.

— А какие они?

— Они прекрасны, совсем не такие, как грубые деревенские девушки.

— А на них можно жениться?

— Они не приспособлены для семейной жизни, у них вместо ног — хвосты, любить их можно, а жениться — нельзя.

Жалко было. «Жалко», — подумал мальчик. Темнело всё сильнее, и тишина становилась всё глубже. Так было до тех пор, пока не появился овраг. На одном его склоне уже сидели и стояли люди. Они ждали. Скоро должны были приехать артисты. Они должны были появиться вон там, на той стороне оврага.

— А кто такие артисты?

— Это такие люди, которые ничего не делают, а только пляшут и поют, чтоб другим веселей было.

— А едят они что?

— Что попало. Кто что даст, то и едят. Но больше всего любят парное молоко и свежий хлеб.

— Как ведьмы?

— Да, аппетит у них точно такой же.

Вокруг сидело много людей. Мы тоже сели.

— Приехали! — кто-то крикнул.

На другом склоне оврага зашевелилось, задвигалось, чёрные клубки плавали. Вдруг там стало светло, как днём.

— Здравствуйте!!! — закричали артисты красиво.

Они были красные все. Красивые, как в сказке. И много их было, не сосчитать. Сначала они плясали. Били землю красными сапогами, взлетали над землёй и зависали так, что останавливалось сердце, потом ещё плясали по-всякому, мы старались не дышать, чтоб не помешать чародейству. Те, кто смотрел, не отрывали глаз от артистов, может, они были — люди, а, может, и не люди, как узнать точно? Они были такими красивыми, красными, на зелёном склоне оврага, среди изумруда зелени артисты уже могли бы ничего не делать. Мы полюбили их и смотрели туда, не отрываясь. Потом они пели, и песня их, ничем не останавливаемая, летела над оврагом, парила над озером, неслась над лесом, помавая крыльями чар. Водяные высунули уши из озера и слушали, раскрыв рты, лешие вылезли на самые высокие деревья, чтоб не пропустить ни звука, не вытерпели и русалки, они тихонечко сели на плакучие ивы, и тихонечко плакали от такой красоты… Артисты пели и пели, они уже не могли остановиться, потому, что если бы они остановились, то остановилось бы всё, прекратилась бы радость леших и водяных, перестали бы плакать русалки, и люди снова заговорили бы о пустом, о коровах, козах и свиньях. Песня неслась и неслась над лесом, оврагом и озером, и не было бы ей конца, но хлынул дождь. За чернотой ночи никто не заметил черноты сгустившихся туч. Свет потух, и артистов не стало. Всё вокруг заволокло темнотой. Люди стали расходиться.

Отец накрыл ребёнка брезентовым плащом. Дождь, который до этого был мокрым, стал сухим, но тяжёлым. Он стучал по плащу часто, промежутков между каплями было не различить.

Темнота накрыла и овраг, и лес, и озеро. Разверзлись хляби небесные. Отец взял ребёнка на плечо и понёс. Они плыли в темноте, темно было везде и вокруг, по сторонам и сверху. Снизу тоже было темно, там тоже ничего не было. Вокруг была — бездна, и тьма над бездною, и дух, неведомый дух носился над ними. В пространстве они перемещались. Но во времени — нет. Время исчезло.

8. На островах Леты

Кто видел Лету, кого несли её недвижные воды, Лету без волн, её чёрно-чёрно-синий цвет, кто слышал тишину, где не бывает ветра, не колышется воздух, разве тот расскажет? Нет. Там — отдых, там

успокаиваются души, и оттуда не возвращаются. Вечная песнь покоя там заменяет и рвущуюся нить любви, и трепыхающуюся жажду быть понятым, желание раствориться в другом, все остальные хочу; покой — вот пристань, к которой тянутся все дороги, стремится всё живое. Оттуда не возвращаются. Желающих, увы, нет.

Река и вправду была, река без берегов, без начала и без конца. В неподвижном чёрном зеркале, едва отдающем синевой угадывалась глубина, которую не хотелось мерить. Или это — океан, где всегда безветрие и тишь, а на его островах успокаиваются заблудшие души? Острова смахивали на кувшинки, без камней, пальм или платанов, то бишь чинар — подстилочки для сиденья, и только. И вот Прима начал рисовать на этих островах людей, острова было три, на самом дальнем из них появился он, художник, угадывалась его фигура, хотя это мог быть и Иисус Христос, мы с Ноо облегчённо вздохнули, когда под человеком, или богом, остров-лист не прогнулся, выдержал тяжесть; на другом кружке Прима поместил двоих, и это были мы с Ноо, как двое пьянчуг, придерживали мы друг друга и удерживались на ногах едва, а на самой ближней кувшинке разместилась Лиза, и её руки, прижатые к груди, согнутая спина давали ясно понять, что она всё потеряла, а когда Прима пририсовал всем по очереди глаза, глазки, которые светились слабым жёлтым светом, картина стала завораживать, посмотришь на неё, и тут же ложишься на кровать, глядишь в потолок, до тех пор, пока не заснёшь, а если спать не хочется, то лежишь, очумелый, то ли покой свалился на тебя, то ли в организме замедлилось движение молекул и атомов.

Картина висела на стене, под ней лежал Ноо, он и не спал, потому что глаза его были открыты, и не думал, — лицо было, как икона; и глаза, когда я присмотрелся к ним, отливали бледной желтизной. Он был точно тот, на картине. Вылитый.

Но постепенно мы изучили действие полотна, и старались не смотреть на него, не приглядываться, кто там сидит, и что он там себе чувствует. Старался не смотреть на картину и Рафаэль Санти — ручной таракан, на него она влияла так же, как и на нас, обездвиживала.

Санти у нас появился недавно, незадолго до Лизы. Он забежал в открытую дверь, как к себе домой. Я хотел убить его правым ботинком.

— Не бей! — закричал Прима. — Это кафкианский таракан. Он ниспослан нам.

— Кем ниспослан?

— Может, и Всевышним.

Со временем он стал ручным, выучился есть в отведённом месте, спать на постельке, которую для него по вечерам перетряхивал дежурный, а в последнее время даже спал лапами вверх — доверял. Вёл себя прилично, и, только когда долго не кормили, мог залезть с ногами на стол и сердито пошевелить усами. «Дайте что-нибудь Рафаэлю», — вспоминали про него, и он бежал столоваться в свою харчевню. Очень любил жёваное яблочко — жевать ему надо было, — маленьким был ещё.

За то время, что Санти жил с нами, повидать ему пришлось многое: и пожар, и наводнение. Кроме того, на его глазах прошла история одной любви — история одного чувства — её начало, расцвет и закат. Когда Прима знакомил нас с Лизой, мы заметили, что Санти тоже высунул голову из своей конуры и пялится на девушку. Ему, Рафаэлю, тоже не удалось сдержаться, удержать себя в лапах, и он восторженно пролепетал: «Кряк». Хорошо, что его голосочек не дошёл до ушей девушки, а то, может, ей бы стало плохо. Потом Рафаэль приподнялся на задних, встал на задние, глазки его блестели, они увеличились по сравнению с нормой в несколько раз, стали огромными — буркала, а не глазки, — не видал бедолага раньше такой красоты. Он так и подумал: «Красотища»; и подполз к ногам Лизы. Большего он не мог себе позволить, говорить складно — не получалось, и вот таким нехитрым способом — это было проявлением не только его разума, но и чувственной стороны — хотел показать свою преданность, готовность служить, и, если потребуется, отдать всё, даже живот свой, за красавицу. Но когда девушка отвлеклась, Рафаэль Санти получил холодный душ на свою душу. Прима так выразительно посмотрел на него, что надо было догадаться, но очарование застит глаза, и Санти не догадался, тогда хозяин-кормилец лёгким движением ноги, известного всем шерстяного носка, откинул Рафаэля в его родной угол, за кроватку. Было не больно, но очень обидно. Пару раз его смахивали со стола за нарушение правил общежития, а вот так, как сейчас, носком, никогда. И ни за что. Или он чего не понимает? Может, негоже лезть к ногам девушки? Да, трудны человеческие правила. И как с ними жить, чтоб не тужить?

Про её красоту быстро забыли, мы с Ноо забыли, так легко было разговаривать с Лизой, мы стали с ней почти друзьями, только почему-то младшими, хотя она была с нами одного возраста. Забыл ли Прима о её красоте? Ой, нет! Он помнил о ней и днём, и ночью, и в сумерки, в сумерки особенно отчётливо он представлял её, и по утрам, когда все ещё спали, досматривали именно сладкие сны о богатстве, о деньгах, студенты доедали вкусные обеды, а студентки дослушивали признания принцев, Прима вскакивал, и бодрый, как никогда, рисовал её лицо в воображении своём, оно появлялось махом, выплывало перед ним без всякого напряжения. Неподалёку от общежития, из-за леса, выплывал утренний туман. Он долго не исчезал.

Пропала ядовитая улыбка, улыбка Моны, исчезла загадочность в уголках губ — всё загадочное, конечно, находится в тени, в закоулках, в углах, — Прима изменился. Улыбка его стала безумной, глаза бессмысленно поглощали пространство, а одна из кофт, у которой не было пуговиц, время от времени сидела на нём шиворот-навыворот, бесстыдно показывая швы. Летать он тоже разучился, даже не пробовал подниматься над полом, чтобы взглянуть на холст с высоты, а всё чаще припадал на колени, язык высовывал иногда, но, спохватившись, прятал его обратно. Рисовал Прима маленького Принца, в его бессменном плаще, который художник щедро позолотил, и пацанёнок, увы, не был похож ни на меня, ни на Ноо, ни на самого Приму. Голубое небо

было очень ярким, наверно где-то сбоку находилось и светило, просто почему-то оно не попало в кадр. Принц смотрел вниз, на Приму, их обоих переполняло одно и то же, или одни и те же чувства.

— Почему ты нарисовал его маленьким? — спросил Ноо. — Нарисовал бы нормальным парнем, спортивным, с шевелюрой, мог бы даже в носках его изобразить, если в шузах затруднительно. Чтоб с белыми зубами, пластины пресса просматриваются, сквозят, так сказать, через прозрачную майку, бицепсы играют, может, и лоснятся на солнце, и преданные глаза готовы встретить счастье. А ты его замотал в плащ, как куклу.

— Молчать прошу тупых и толстокожих! Иначе я не знаю, будет что.

— Он вовсе мне не кажется ребёнком, — продолжил Ноо, — и умный очень. Мысль так и светится в глазах. Ещё я вижу там любовь.

— Что можешь видеть ты, — он обратился к Ноо, — и ты, — ко мне он тоже обратился сгоряча, — вы все, весь этот мир тупой, как валенок, что прадед мой носил?

— А на другую ногу что он надевал?

— А ничего. Он обувь экономил. Чтоб не стиралась зря, понятно?

— Чего ж тут не понять, он с кем-то в складчину два валенка купил; потом они по-братски поделились.

— Всё, поболтали, и не мешать мне, не мешайте, а принесите лучше пирожков. Сейчас я съел бы пирожок.

— Так кто б его не съел?

— Тогда хоть хлебушка купите, бездельники и болтуны, и я скажу спасибо вам, хоть вы того и не достойны.

— А почему мы не достойны?

— Несите хлеба, чёрт возьми, тогда я передумаю.

И побежали мы за хлебом. И хлеба принесли, и пирожков с повидлом. Прима ел и улыбался, но бесхитростно, не так, как прежде. Чувствовалось, что им движет какая-то новая сила, о которой раньше мы не знали.

9. Разоблачение Эль Греко

Сеньор Тициан гулял по острову и запылил башмаки. Как теперь заходить в храм с пыльными сапожищами? И он остановился в раздумье. Хотелось посмотреть стены, иконы, алтарь. Может, что и западёт в душу. Он любил находить таланты, особенно юные, молодую поросль. Брал их в ученики. Вдруг вырастет что-нибудь путное. И хотя ничего не росло, и радости не было, надеялся, что когда-нибудь это произойдёт. У него появится последователь, носитель огня, он продолжит бессмертное дело. Художник присматривался к росписям, и если они волновали, узнавал, кто создал сие, и приглашал автора в свою мастерскую. Как бы на правах ученика, на самом же деле — накормить, дать кров… отправить дальше, после себя, по пути истины, иди, ищи, вот она, широкая столбовая дорога, только не сворачивай, всё, что есть у нас тут, забирай; вдыхай, всасывай, впитывай, и иди… Туда, где не ступала ни нога дикаря, ни нога человека, но нет дороги сладостней и лучше; в путь; на нём ты очистишься от скверны, которая есть, и которая могла бы быть, забудешь навеки, что такое нечисть; это — дорога, на которой не умирают…

— Заходите, сеньор, — пригласил его войти красивый молодой человек, юноша с живым лицом и греческим носом.

— Тогда дайте мне тапочки.

— Зачем?

— Башмаки препыльные, или не видно, прости господи?

— Прекрасно углядел, но внутри не так уж чисто. Там ещё и бетономешалка стоит, не успели вынести.

— Да ну?

— Ну да. Мы с парнями расписываем купол. Заходите, посмотрите святых. Мы их с себя пишем, никакого подвоха. Вам, надеюсь, понравится. Святые молодые, красивые.

— А как у них с благочестием?

— Пренормальненько. Так и светится в глазах. Можно души читать. Святость — её не спрячешь.

— Так поспешим же.

— Прошу, прошу.

— А как звать тебя?

— Доменико я.

Тициана пронзили взгляды ангелов и святых. Давно не перехватывало дух у него от работ незнакомцев. От своих да от Джорджоне — да, и к этому он был готов, а тут — на тебе…

— Кто это? — вырвалось у него.

— Это — Пётр, а то — Павел, — ответил экскурсовод.

— Сам вижу, — сказал мэтр. — Художник где?

— Все мы тут художники.

— Автора?! — восторгался пришелец.

— Да здеся я, — ответил Доменико, — тутачки.

— И как ты себя величаешь, творец душ?

— Эль Греко я, — гордо ответил Доменико, — но можно и по-простому, Доменико, как я уже и представился. А вас я знаю.

— Да меня любая собака знает, а вот тебя ещё нет. А тоже должны знать.

— Рано ещё. Мне учиться и учиться.

— То пустое. Учиться надо всем. Пойдёшь поработать у меня в студии?

— Вроде учеником?

— Чисто формально — да.

— Никого нельзя научить, — сказал Доменико.

— Неужели?! Откуда ты знаешь?

— Мне открылось. Можно выучить водить рукой, но огонь? Он не передаётся.

— Я этого не знал, — признался мэтр. — Похоже на правду.

— Если приглашаете, поработаю у вас с радостью, — согласился Доменико. — Работать я люблю.

10. Забыть

Прима пришёл тихий, вошёл без слов. Взгляд блуждающий, вроде связку ключей потерял. Кошелька он не мог потерять, его у него не было, как и денег, на что только жил, чем питался? Он мог потерять славу, но её пока тоже не было. Временно. Он сам не мог бы сказать, что исчезло, ушло навсегда, ушло

что-то такое, чего ни потрогать, ни понюхать, а вот же на тебе, вроде было. Внутри вот стало пустовато чересчур, даже слишком пусто, сквозняки гуляют там, разгуливают, пронзительная пустота заполонила нутро. Там, в груди его, в лёгких, которыми он дышал, жило ещё что-то, размещалось всепоглощающее нечто, наполняло всего его какой-то замораживающей субстанцией, немели и кончики пальцев, и кончики ушей. Начало всему этому, всей этой несуразице, было, однако же, где-то в голове, и Прима это как будто бы осознавал.

Он посмотрел рисунки, которые делал под влиянием этой дури, что заполняла его всего, и кончики ушей, и твёрдые пятки, и даже волосы на макушке. И ногти, изящные ногти на красивых пальцах. Вот её профиль, вот прядь волос, вот рука. Последний рисунок, — три пальца, которыми можно сделать «на», схватили за горло; дёрнулись какие-то нежные струны, снова по организму пошли аккорды, зазвучала старая песня. Нет, так не пойдёт. Это нагрянуло только для того, чтобы нарисовал я мадонну, — так думал Прима. Картина готова, и всё остальное тоже уходит быстро. Даже чересчур быстро. Это случилось для того, чтобы поднять бурю, накалить страсть, зажечь… О! Зажечь. Всё уже не нужно. Ни к чему. Наброски, рисунки, эскизы.

Первым в огонь попал рисунок, который встревожил больше всего. Он горел хорошо. Его как-то вдруг стало жалко, и Прима сорвал со стены плакат «Забыть Герострата», под руку Герострат попался. На нём было много голубой краски, и пламя стало голубым. Огонь очищал, дыму вот только особенно некуда было выходить, форточки не хватало для нормального костра, и в комнате получилась дымовая пелена, которая ела глаза, но не оставлять же то, чему суждено сгореть. Дым повалил в коридор, кто-то прибежал с ведром воды, кто-то с чайником, стучали в дверь, Приме уже и дышать стало нечем, он открыл окно, высунул как можно дальше туда голову и заглатывал воздух, обильно насыщенный кислородом, и, только когда понял, что прошлое сгорело, открыл дверь в коридор. Любители тушить пожар вылили и чайник, и ведро на то место, где ещё недавно пылало, а сейчас уже тлело, но не получилось даже шипа, сгорело всё аккуратно.

— Может пописать надо? — спросил ещё один враг огня, — то я могу очень мощную струю направить на костёр.

— Не надо писать, — сказал Прима, и после этих слов как будто снова вернулся к прежней жизни. «Зачем я сжёг Герострата? — подумал он. — Зря, конечно. Теперь его будет не хватать».

Рафаэль Санти сидел в углу промокший, продрогший, еле живой. Его било мелкой дрожью. Он думал, что наступил конец света. Сначала всё заволокло дымом, а потом разверзлось небо, и его люля закачалась на волнах… Вспомнили о нём в последнюю очередь, сначала высматривали, не тлеет ли что, не пострадало ли общежитское имущество, одеяла, простыни, матрасы, думали о материальном, а о живой душе вспомнили в конце, когда стали собирать воду половой тряпкой… «Никогда не прощу», — стояло в глазах Санти.

— Прости, Рафаэлюшка, — каялся Ноо.

Душа у Рафаэля Санти была отходчива.

Вечером к нам пришла Лиза с каким-то толстеньким красавцем. Он вообще-то был не то, чтобы толстеньким, но питался не так, как мы: это было видно невооружённым глазом. Кожа на его лице, скорее, даже личике, почти светилась, она была полупрозрачной, как наливное яблочко, которое надкусила царевна. Зачем она это сделала? Мы с Ноо ничего не поняли, то ли по своей бестолковости, то ли под влиянием Лизы, она была уверенна в себе и красива, как раньше, ни на каплю не уменьшилась красота её. И вот она уезжала с этим красивым Димой или Митей, мы даже не запомнили толком, как его зовут, на юг, в Крым, отдыхать, и мы с Ноо подумали, зря, конечно, подумали, что так и должно быть, а подумали мы так, наверно, потому, что Прима очень давно не стирал свои носки.

11. Разоблачение Эль Греко

Доменико, как и всякому, хотелось найти друзей. Родственных душ. Душ, которые витают в облаках. Он уже почуял, совсем недавно ощутил, что не бывает так, чтобы ни с того ни с сего появился человек, нашёлся вдруг тот, кто понял тебя, узрел желания, приметил замыслы, предугадал поползновения. Самые лучшие. Он догадывался, что не бывает родственных душ, хотя и считается, что все они вышли из одного и того же места; не бывает второй половины яблочка, лимона и апельсина, которую можно приложить к первой половине, чтобы составить целое, якобы единое и неделимое, хотя чисто механически соединить, конечно, можно.

У Тициана ему нравилось, с каждым месяцем он получал всё больше свободы, и свободы писать, и свободы думать, он уже почти всё своё время мог распределять сам, какое на гулянку, а какое, конечно, самое лучшее, для работы. Обязанности — подготовка холстов да красок — не угнетали, скорее даже помогали думать о новых картинах. Другое не давало покоя. Он не верил, что из школы, которую основал учитель, много проку. Может, и сам Тициан догадывался об этом, недаром он же её переименовывал, то в кружок, то в студию, то в объединение, то в союз; переиначивание ничего не давало, и, хотя работать рядом с самим маэстро, который мог оценить тебя, похвалить, а, главное, понять, уже было вершиной, о которой многие могли только мечтать, хотя стоп, нет, если бы они мечтали об этом, то и рисовали бы иначе, не копировали мастеров, которые шли впереди них с красным флагом, несли это пурпурное знамя с дубовым древком, а вот нет же, рисовали студийцы так, чтоб не отступить от тех канонов и законов, и правил, которые мастера придумали для себя, а не для них, вечных учеников, сборища нищих духом. Нет, подумал Доменико, — я слишком строг к своим товарищам по кисти, по метле и по швабре, надо быть добрее, отзывчивее, мягче. Ведь человек, люди, созданы для радости и, в конце концов,

кто разрешил мне вмешиваться в естественный ход, движение событий, жизнь да смерть, смерть да жизнь, в добрый путь…

Что-то часто на меня находит, не в меру стал я возбудимый. Люди меня окружают милые, люди как люди, а парни как парни, девы как девы, и если не разговаривать с ними, а смотреть, то можно найти много распрекрасного и расчудесного в лицах, в форме, непревзойдённой форме человеческого тела, парней, которые играют мускулами, или дев, лица которых так хорошо подходят к рюмочкам-фигуркам, губы скрывают иногда тайну, или мелькнёт, проскочит улыбка, происхождение которой не определить, а есть улыбка, значит, есть и душа, значит, где-то там, в глубинах естества, куда пути заказаны не только постороннему, но и тому, в ком содержится эта глубина, есть что-то непреходящее, понять которое, может, и является смыслом… Не о том я, наверно, думаю, свернул на кривую дорожку, тропку, по которой никуда не попасть. Во напасть. Но почему господь всё устроил так, что его подданные стараются повторять пройденное, идти в колонну по одному, вышагивать бесконечной вереницей, шаг влево, шаг вправо — и сразу в ад, а если не в ад, так куда же, то-то же, вот же… И только отщепенцы, единицы, которых ничтожно мало, несколько песчинок на берегу моря, не идут туда, куда топают все, куда, может быть, и надо идти… Только он, да, наверно, учитель, да, наверно, и всё, больше никого и нет, непохожи на других, а остальные… и ученики школы, и городская знать, и уличные девчата, у всех у них одна и та же душа, души так похожи, как будто бог их отрывал от какого-то куска ветоши, и рвал небрежно, клочьями, разбрасывая налево и направо, лишь бы всем досталось.

И тут Эль Греко увидел небо. Он — творец, и я — творец, — подумал, и уже не рассуждал о повторениях, а стал витать, воспарил в небеса, где узрел, увидел тех, с кем он хотел бы быть и сию минуту, и завтра поутру, и потом. Всё это были вымышленные лица, несуществующие телесно.

Он упал на землю, когда стемнело. За окном ещё оставалось много синего, но голубое уже исчезло. Отодвинул холст, на котором ангелы, полулёжа на облацех, отдыхали после трудного рабочего дня. Он тоже прилёг. Но потом, через время, снова поднялся: помыть кисти, соскоблить случайные пятна с пола, перенести всё в угол. Он сделал это по привычке, подмёл мастерскую, протёр шваброй пол и снова прилёг. Но не лежалось: под окнами зазывно хохотали. Хотелось похохотать вместе с ними. Недолго думая, он расчесался и сиганул в окно. Его, казалось, уже ждали. Горожане собирались на карнавал. Доменико нацепил фальшивый нос и был готов праздновать вместе со всеми. Есть конфекты, запеканки, пирожные; танцевать и целоваться. Художник остался в мастерской, исчез где-то там.

— Как вам известно, — начал сеньор Тициан, — генералы воюют в предыдущие войны. Все это помнят?

— Все, все, — зажужжали ученики, — генералы — они такие, генералы и адмиралы, полковники и майоры, капитаны и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы… воюют не в ту войну, что надо, а в ту, что не надо.

— Правильно, — похвалил мэтр, — всё так. А критики, искусствоведы, обозреватели, знатоки техник, ценители прекрасного разбирают стили, которые есть. И по достоинству оценивают то, что создано давно, а ещё лучше — давным-давно. А сейчас я скажу то, чего ещё не говорил. — Тициан обвёл взглядом всех. — Стили, которые появляются у них на глазах, понять они не могут. Им не с чем сравнивать, и в этом они похожи на генералов. Ясно?

— Яснее некуда.

— Ясно, как божий день.

— Дело ясное, что дело тёмное.

— Нельзя подойти к новому со старыми мерками.

— А также впрячь в одну тележку коня и трепетную лань.

— Новый стиль — это рождение новой звезды.

— Суперзвёзды.

— Это тьма поклонниц.

— Тьмы и тьмы…

— Стоп машина, — прервал галдёж учитель. — Сегодня мы обсуждаем новую работу Доменико, «Кающаяся Мария Магдалина». Историю Марии, надеюсь, знают все. Будь добр, Доменико, представь картину пред светлы очи наши.

Эль Греко бережно снял льняную накидку с холста, сложил её вчетверо и положил на пол. Зрители, все, кто был в мастерской, сразу же оказались на небесах. Учитель, сеньор Тициан, тоже очутился на небе. Надо же. Смотрели на грешницу, на её прозрачные слёзы, на её прозрачные одежды, глаз оторвать не могли, ей, грешнице, завидовали. Можно ли?! Первым перевёл дух учитель.

— Кто хочет высказаться? — спросил он.

— Я, — сказал один из учеников.

Тициан заметил, как в лице того появилось что-то порченое. Из души выплыло на лицо.

— Нет, — ты подожди, — остановил он желающего говорить. Может, даже сказал своё любимое «стоп машина». Теперь нелегко вспомнить каждое слово учителя, а записи в мастерской вести было не принято.

— Давайте, я начну, — предложил другой ученик. Это был Роберто. А, может, и нет, может, Роберто рядом сидел.

Тициан поглядел на ученика. Лицо как лицо.

— Ладно, начинай.

— Я думаю, что кающаяся Мария Магдалина, которую представил нам Доменико на суд, не может быть образцом раскаяния, потому что, во-первых, слишком неубедителен взгляд, он скорее гордый, чем смиренный, («с себя писал» — хмыкнул кто-то), а, во-вторых, покаянию, сдаётся мне, не помогает прозрачная одежда, которую для такого случая можно было бы заменить на более скромную.

— Кто ещё что заметил? — спросил мэтр.

— Мне показалось, что на картине слишком много голубого, Мария находится как будто на небесах, где и так хорошо, и незачем ей каяться,

а взгляд скорее выражает желание поговорить, а не раскаяться. Но мы-то знаем, кто её собеседник.
— Ещё кто что думает?
— Я тоже думаю, что Доменико не удалось показать покаяние, вы только посмотрите на её левую руку.
— Рот нарисован — не придерёшься, но никакого раскаяния там тоже нет.
— Смотрит слишком холодно, — ляпнул ещё один подмастерье.
— Кто ещё что-нибудь заметил? — ученики, скорее, это всё же были студенты, молчали. — Тогда скажу я. Когда Доменико открыл холст, все мы, и вы, и я, оказались на небесах. Мы почуяли воздух. Потому что он его нарисовал. Если б воздуха на картине не было, никто его бы не почувствовал. Всем понятно сие? — Мэтр был не совсем доволен, студенты помалкивали. — Мария Магдалина — само совершенство, мы полюбили её, так неужели господь её не простит?! Как думаете?..
У мэтра выступила слеза, она медленно появилась из-под века, и он её смахнул тыльной стороной ладони.
У некоторых студентов тоже навернулись слёзы на глаза, кто-то заплакал, а кое-кто и зарыдал.
— Дети мои, — не сдержался Тициан. — Среди вас появился мастер. Как я рад. Сегодня вечером устроим пир на весь мир.
— Ура-а-а-а-а-а! — закричали студийцы.
— До вечера все свободны. Разойди-и-сь!
Мэтр подошёл к Доменико, потряс его руку, пожал и подавил её; ему так хотелось спросить «скажи, почему же она не кается?», так хотелось спросить, но язык так и не повернулся.

12. Проходной двор

Боги были запрещены. Кто частично, а кто и полностью. Эроса так запретили полностью. Удалось изгнать в другие края, в другие страны. И кому он мешал? Венеру сослали в края попрохладней, чтоб она там оделась, а не разгуливала нагишом, поговаривают даже, что для неё предложили лучшее, что могли, одежду из индпошива, и она вроде согласилась, а Афродита Чайлд, так та отказалась, не хочу инд, предпочту ин, что значило «не наше», за это она и поплатилась, и её вычеркнули из списков в очередь на квартиру, и из списков на получение служебного жилья, под тем предлогом, что она-де, нигде не служит, исчезло имя Чайлд и из получающих спецпаёк, перестали ей выдавать и мясные, молочные талоны а также талоны на сахар, и талоны на мыло не получала она — то-то, красотка, попробуй-ка не мыться, останешься ты такой смазливой или нет; и только хлеб могла она купить свободно, были бы деньги. Но так как денег не было, то и хлеб купить она не могла. Что ей оставалось делать? И кем надо было обернуться, чтоб не помереть голодной смертью? Так что же с нею сталось? Что случилось-то? Да ничего… Что может случиться с такой красивой женщиной?! Так стряслось же.
— Работу пусть ищет.
— Все должны работать.
— Должны быть как мы.
— Равенство и братство.
— Подумаешь, красота. Пустой звук, — говорил человек, показывая гнилые, прокуренные зубы.
— Не нужно это нам.

Нашли Афродиту мёртвой, возле железнодорожной насыпи, даже заметили, как не по-нашему она красива, нездешней красотой, бывает же, везёт, такую красоту, такое лицо заполучить; в кармане нашли отказ в работе на железной дороге, отказать Афродите Чай в работе, так как физически слаба. Так и закончила свои дни одна из богинь, под насыпью, то ли голод её победил, то ли удар монтировки был слишком сильным, на голове остался след, кровь запеклась и свернулась… И тогда пустили слух по всему миру, что никакой Афродиты и не было никогда, и в помине не было, а была всего лишь одна Венера Милосская, и, кто хотел, называл её Венерой, а кто хотел, то называл Афродитой, а на самом деле не было никакой Афродиты Чай. Да, правда, не было.
— А Венеру куда девали?
— Не девали никуда. Она в Сибири живёт, там чистый воздух, работает на лесоповале, природу любит, одевается лучше всех, в индпошиве. Вот её фотография, улыбка во весь рот, счастьем светится она… А вот её адрес. Напишите ей, и она обязательно ответит.
Бог Эрос и до всего этого, до всех этих запретов был скрытным, поэтому он перекинулся простым мужичком, путником с большой дороги, рабочим по найму, огородик вскопать, баньку срубить, анекдотик рассказать. Выжил он… и вернулся из дальних стран, из пыльных мест. Под другим именем, другой фамилией вернулся.
Иисуса Христа полностью запретить не смогли, но тем, кто верил в него, ох как доставалось. И люди, простые смертные, не знали, что делать со своими душами, куда-то их надо же было приткнуть.

Мы с Ноо тоже не знали, что с ними делать. Знал ли об этом Прима? Неизвестно. Мы, наверно, думали, что лучшее место для наших душ — это чужие организмы, точь-в-точь наши, юные организмы красавиц, в которых мы влюбимся. Ничего другого придумать мы не могли.
Невооружённым глазом видно, какая это была ошибка. А им, трепетным созданиям, куда девать свои душечки? С запретом богов путаница получалась страшная. Даже заложить душу и то было некому…

И до того, как Прима нарисовал маленького принца, наша комната была проходным двором, а теперь дверь почти не закрывалась. Очереди в коридоре не было, но внутри то и дело мелькали перед глазами незнакомые лица, всё новые и новые, богемные девушки или девицы, парни с безумными или с ехидно умными взглядами, парочка штатных осведомителей, их легко было узнать: ни пылинки на одежде, один — в костюмчике, другой — в кожаной куртке.
— Кто эти двое, такие чистые? — спросил я у Примы.

— Снаружи чистые, — поправил он. — Снаружи чистые, а внутри — нечистые. — Это сильно веселило его. Но с ними он был вежлив, как ни с кем.

Они, осведомители-доносчики, знали, что Прима их вычислил, и уже не скрывались от него, а хотели запугать. Могли или нет они, двое сытых, нагнать страху на Приму, который не боялся самих янки? В другие времена, возможно. Если загнать человеку что-то под ногти, пропустить через него электрический ток, посадить на одноимённый с током стул, то можно и припугнуть человека, а так, внушение, крушение, отречение — чушь, сам Прима выражался более прозаически, «лажа», — говорил он. А происхождение этого слова мы не знали, где его истоки, где корни… И Приму эта парочка всё больше называла человеком без корней. Эта парочка… Откуда они взялись, откуда берутся? Ни тогда, ни теперь, их, таких как они, не стереть с лица земли, они были, есть и будут, они вечны или непреходящи, служки государства, считающие себя Слугами, люди, в которых из-за оплошности, или, может, в спешке, забыли вложить хоть какие-нибудь души. И бог просмотрел, и ангелы недоглядели. Так они и живут.

— Если в толчее, в толпе, или просто на улице замечаешь человека и думаешь ни с того ни с сего: «Как надоели мне лица людей», значит перед тобой — он, тот, в кого забыли вложить душу, — так говорил Прима, и мы внимали ему.

— Как тебе этот рисунок? — спрашивал один осведомитель другого доносчика.

— Доволен всем малыш, и против нас не выступает. Рад пацан, что жизнь такая, а не другая.

— Так что, рисунок без изъяна? И всё на нём прекрасно?

Почему-то они оба называли картину рисунком. Унизить Приму чтоб, наверно.

— Идейно выдержана, — думаю себе я.

— Так он же не боится нас?!

— И правда! Должен ведь бояться. Так и доложим.

Осведомители-доносчики ушли, и было бы чудесно, если б явился перед нашими глазами необычайный кто-то. И он вошёл. Оно явилось. Оно вошло. Кто это был?!

То было время джинсов. Оно могло бы стать и временем джинсовых костюмов, но на костюмы не хватало денег, поэтому в истории — науке о том, что было, а не о том, что могло бы быть, оно осталось — так и записано — как время джинсов. Мода на них не проходила, и чем потёртей, старее были штаны, тем больше восторга они вызывали. Костюмы тоже кое-кто носил, это были в некотором роде золотые мальчики, реже — золотые девочки; может, папы и папаны боялись наряжать своих красавиц в дорогие курточки: могло случиться, что какие-нибудь редкие бандюки, может даже и не харьковские, а из Мерефы или Люботина, именно в этих городках выращивали и пестовали такую породу людей, там их вскармливали, проводили селекцию — не дай бог попасть в руки этих натасканных на чужое добро ловкачей, — снимут курточку, а заодно и всё остальное, что удастся снять с чужого организма, поэтому, может, поэтому боялись одевать девочек в костюмы, а одевали только в джинсы, они сидели на теле так, что снять их было можно, зачастую только разрезав по шву; чем сильнее они впивались в организм, тем красивее было зрелище. Редко кто надевал джинсы сам, были, конечно, и такие таланты, обычно два-три помощника натягивали поочерёдно одну, потом другую штанину, и потом, на выдохе, дотягивали всё до пояса, застёгивали, и, наконец-то: «Вдыхай», отпускали счастливца, который, ура, пошёл. Сможет ли он сесть в этих штанах, всегда оставалось загадкой… Редкие мальчики носили костюмы из благороднейшей коттоновой ткани, и мальчики эти были не огромной силы, они не играли мускулами, не проглядывали бицепсы сквозь рукава, не вздувались бугры и на ногах, даже, случалось, самые фирменные изделия висели на парнях, ибо те были такими худенькими… худенькими были и ножки, и ручки, но у этих ребят были деньги, деньжищи, и уже тогда, в эпоху мнимого равенства, можно было сделать далеко идущий вывод, что не грубая сила — главное в жизни, но нечто другое. Золотые мальчики встречались редко, в городе их можно было пересчитать по пальцам. Ещё в костюмах ходили фарцовщики, так как они продавали эти костюмы золотым мальчуганам. Ну а джинсы, их носили все, и даже самые отсталые студенты, которые приехали из заброшенных хуторов, где уже и жизнь еле теплилась, один, Петя, из хутора близ Диканьки, так даже он носил подобие джинсов, в просторечии эти штанцы называли техасами. Мода!

Время моды на джинсы совпало со временем моды на души. И, главное, почти на любые души. Почему так вышло, не сказать, в историю моды души не вошли, ладно уж там купальники, это всё ж материал, а вот душа… Кто ею должен заниматься, кто — изучать? Мода на души — наука ничья, не было умов, кто в пыльной кабинетной тиши постигал бы день и ночь, не выходя на солнце, на свежий воздух, эту моду, поэтому для потомков так ничего и не останется, тем более что оно им и не нужно.

— Можно посмотреть картины? — спросил необыкновенно милый, милейший кто-то, заглянув в дверь нашей комнаты.

К нам заходили все, не спрашивая, да и во всём общежитии в любую комнату все заходили, не спрашивая, почти в любую, была пара комнат, куда так просто и кого попало не пускали…

— Конечно, можно, — сказал кто-то из нас. Как выяснилось потом, никто из нас не говорил; а звуки были.

Пришелец шествовал по комнате, громко стуча сабо, которые он тащил за собой. Так стучат конские копыта. Причёска у вошедшего была высокой, волосы всклокочены, и там, в волосах, могла уместиться пара рогов среднего размера. Оно — то, что вошло, — мы не знали, кто это был, — улыбнулось, улыбка на лице выплывала медленно, как бы подозревая, что её вот-вот могут утопить, поправило зелёные шортики, и мы, а, может, только я, увидели, что ноги гостя покрыты густой, непролазной, непроходимой шерстью. Или это были такие штаны,

под человеческую природу?! Оно село на стульчик тихо, как птичка в незнакомом лесу. Ручки прижало к туловищу. Только хвоста не хватало. А, может, он и был там, сзади, под шортиками.

— Я — Прима, — представился художник. — Это — мои картины. Вот — последняя работа, — показал он на «Маленького принца». И уже после того, как показал незнакомцу нарисованного ребёнка, перешёл к нам, живым.

— Это — Ноу, — показал он рукой на Ноо.

— А это — Нуо, — показал на меня одним пальцем, указательным. Мы удивились переименованию. Ну ладно, теперь хоть будем различать, кто есть кто. Только б не попутать. — А тебя как зовут? — спросил хитрый Прима.

— Саша, — сказало оно.

Могло б сказать и Женя, или Пуша.

Оно сказало так невыразительно, что и поверить было трудно, Саша или не Саша. А, кроме того, нам так хотелось узнать, мальчик оно или девочка. Больше всего этого хотел Ноу. Ему было невтерпёж. Потому что…

Шахимат всё время был влюблённым. Иначе он себя и не мыслил. Влюблялся он быстро, загорался, как сухая газета от сухой спички. Последней его пассией была Наталья из Полтавы, где проходили в старину, не так давно, шведы. Скорее всего, шведская кровь и славянская смешались неправильно, была страшна девушка, как смертный грех. Если допустить, что её лепили, то скульптору, ничтоже сумняшеся, было некогда. Он так ужасно спешил, бешено торопился, что, кое-как закончив с организмом — когда он оформлял тело, то ещё следовал каким-то канонам, — не оставил времени на лицо, и он слепил его несколькими судорожными движениями. Вышло на раз-два-три. Сойдёт. Лицо пугало. Ну что ж теперь?

Пугающее лицо Натальи страшило недолго. Стоило послушать её речи, прислушаться к словам, которые проливали свет на её же душу, может, это была лишь часть света, может, речь её только частично высвечивала душу, но, слушая пассию Ноу, о её лице уже не думалось. Слова приоткрывали картину ада. И мы с Примой вздохнули, нам полегчало, сильно полегчало, когда Наташа из Полтавы, она родилась там, а училась, конечно же, где-то тут, мы так и не узнали, где, в каком институте, что не делается, всё к лучшему, мы повеселели разом, когда Наташа бросила Ноу, наконец-то, — она была не первой, кто бросил его — ушла она, и не будет с ним видеться, а до этого они встречались; нам с Примой было так весело, так легко, Прима был прямо-таки рад чужому горю, да и я был рад, мы Ноу так и говорили: «Как мы рады!», «Знал бы ты, как мы рады»… Почему они все от него уходили? Пугались, когда он начинал вдувать потихонечку в них свою душу? Или когда начинал делиться самой лучшей частью своего «я»? Самой трогательной. Лучше б угостил пирожком. Или мороженым. Почему? Да можно было и винца бутылочку купить. Чтоб открылись шлюзы чувств.

Как бы там ни было, сотворилось то редкое затишье, были те случайные часы, когда Ноу ходил сам по себе, когда ему некого было обожать. И он искал, в кого бы влюбиться. Навечно, по возможности, а там — как выйдет. И ему очень хотелось, чтобы это, оно, гостье, оказалось девочкой. А то, что ноги мохнатые, так это — ничего. Он был астрономом, и любовь к пришельцам в его сердце клокотала так же неистово, как любовь к землянам. Подумаешь, шерстяные ноги.

Хотя… Когда он-оно вошло в комнату, мы заметили, все сразу, как в комнате стало светлее, как будто по углам зажгли свечи, комната чем-то наполнилась, что-то явилось новое, такое, чего здесь ещё не случалось, почувствовали это все, а Прима так улыбнулся, что стало понятно, не было такого ещё в его биографии, биографии гения, самого непризнанного человека мироздания, вселенной. Улыбка Примы была его всем, он мог бы и не говорить, за него всё выражало лицо — губы и, конечно, глаза. Мы не поняли, что это было. Только лёгкий холодок промелькнул у всех внутри, мы разобрали приключившееся позже, впоследствии; чтобы докопаться до правды, найти истину…

Мы нашли её очень нескоро.

Лёгкий холодок пробежал внутри у нас всех, понятно стало, что этого человека ждали мы давно, я и Ноу, ждал ли Прима, так и осталось загадкой, всё-таки он был гений, гений, а не просто художник, из тех, кто малюет для царей и королей, президентов и их помощников… И мы доверились Саше, потому что таким гостям доверяешься сразу. Ноу очень надеялся, что оно окажется всё-таки девочкой, и мне почему-то хотелось, чтоб девочкой.

Саша собирало души.

13. Возвращение к людям

Так всё устроено, что рано или поздно, поздно или рано надо возвращаться к людям, какими бы они ни были, с сучковатыми дубинками, или с атомными бомбами, убивающими наповал, в просторечье — оружием массового уничтожения, нарочно придуманным, чтоб живые не мучились и не стонали, ради всего святого.

Кем бы ни были эти люди, где бы они ни жили, и если они даже без определённого места жительства, надо к ним, других-то нету, значит, к этим. Даже если они думают о тебе хуже, гораздо хуже, чем ты есть на самом деле.

Как вернуться к людям, мог подсказать знахарь-кудесник, который жил за тридевять земель. Когда-то жил. Где он пребывал сейчас, никто не знал. Его земляки из тридесятого царства отворачивались, когда их об этом спрашивали, они как будто чувствовали себя виноватыми, в их глазах читалась вина за то, что целитель больше не проживает тут, оставил их ради кого-то другого, значит, не достойны они были, чтобы он пребывал с ними всегда, а, может, и вечно, и он покинул их; а чтоб его не смогли упросить остаться, он заснул, сел на удобный стул, со спинкой, хотя в его возрасте ещё удобнее сидеть было бы в кресле, ему стукнуло ровно сто лет, как раз повод, он сел на стул и заснул. Его пробовали разбудить, не сразу, сначала подумали, что он отдыхает после обеда,

как полагается, только дольше положенного, потом решили, что старик устал больше обычного, подольше нужно и отдохнуть ему, подремать, потом уже пора было ложиться на лавку, спать, потому что ночь пришла, но старик и не думал подниматься со стула, ему и так хорошо было, и на стуле хорошо спалось… Потом его пытались разбудить, кто-то с восприимчивой душой не удержался и вскрикнул, закричал, а потом и запричитал, но и эти громкие звуки не потревожили кудесника, он не захотел просыпаться… И когда его перестали будить, он исчез из тридесятого царства; где он обитал, не знал никто, и посоветоваться с чудодеем было невозможно, а ведь надо было спросить, иначе как же… Хотя бы приснился и посоветовал. Но так не бывает. Так что же теперь? Некоторые, из тридесятого, поговаривали, что он, колдун-волшебник, в другом месте, там, где нужней. А кому нужней, не знал никто.

Ещё недавно возвращаться к людям и не надо было. Было не до того. Он выходил из дома, шёл к речке, берега её в то время ещё не заросли камышами, кое-где только стояли они кучками, робко прижавшись друг к дружке; он шёл к речке, и через несколько шагов останавливался, не мог идти, куда, зачем, хотел вернуться домой, но и дома то же самое, то же, то же оно внутри, оно не успокоится дома, у него нету никакого дома, он шёл дальше, сделает несколько шагов и остановится, но как-то вдруг и до речки дошёл, смог-таки. Присел на бережок, не сиделось, встал, и не стоялось, прилёг, и не лежалось, и земля была не сырой, она была тёплой, как лежанка, которая уже стала прогреваться, но не лежалось, не сиделось, не стоялось. Какие уж там люди?! Тогда ему до них не было дела. Он ходил немножко туда и немного сюда, снова приседал на землю и прилегал на бок, но не моглось.

— А ты походи, — предложил ему школьный его приятель, вместе они в восьмилетку ходили, — палкой лягушек побей. Или попугай их, посмотри как они прыгают. Помнишь, как мы их убивали?

— Не могу ходить, тяжело ходить.

— Ну посиди, отдохни, если ходить не можешь. Посмотри на какого-нибудь трудягу муравья, как он тяжесть волочит, или за жуком каким последи.

Присел. Посидел немножко, чуточку посидел и всё.

— Не могу сидеть, тяжело.

— Ну полежи на травке. Глаза закрой и ни о чём не думай. Отдохни, как будто набегался совсем, как в футбол наигрался. Как раньше, когда мы играли дотемна, без обеда.

— Не могу, не лежится.

— А ты попробуй.

Он прилёг, на всякий случай, чтоб не обижать бывшего друга, и земля как-то случайно успокоила его. *Лежалось.* Совсем немного, но полегчало. Можно было лежать. И ещё, ещё. Это миг растянулся на секунды. Казалось, они века.

И вот теперь уже полегчало, и время пришло, пришла пора. Но как вернуться к людям? Школьный товарищ вряд ли это знал.

Он пошёл в город. Туда было далеко, намного дальше, чем к речке, он давно не ходил далеко, и что потом? Забредёшь в такую даль, а потом что? Что потом делать? Но он пошёл, случилось, и дошёл до города. Большие дома стояли спокойно, заходи, не бойся, все свои… На окраине города было свободно, много пустого пространства, деревья, часть оставшегося поля, которое заросло ровной травой, и на краю этого поля, на краю и города тоже стояла бочка с квасом. Продуктом торговала девушка, у неё были и свои особые приметы, может, красивое лицо, а, может, ещё что красивое, или всё подряд красивое, но, главное, она была живым человеком.

Он походил между деревьями, никто не подсматривал, потом приготовил монету, как раз на стаканчик кваса, и пошёл к бочке. Он старался подольше быть незамеченным, шёл поближе к деревьям и так, чтобы продавец не заметила его сразу. Она могла бы его увидеть, если б сильно повернула голову. Подходить было трудно, но так вышло, что перед бочкой он оказался очень скоро. До этого он думал: «Если не получится, пройду мимо». И вот он оказался перед девушкой. Её руки двигались, и скоро она подала ему стакан с квасом. Ему осталось разжать кулак и отдать деньги. Он раскрыл ладонь и протянул её продавцу. Она ловко сгребла монетку. Он пил квас, и каждый глоток добавлял ему каких-то новых сил, сил, которых раньше у него не было. Казалось, что не было никогда.

14. Проходной двор

— Как у Дали, — похвалил один из гостей работы Примы, все чохом, гамузом, не влезая в жалкие мелочи.

— Почему это, как у Дали? — придрался Ноу. — Может, как у Босха. Или как у Михеля Ангеля, по прозвищу Агнц?

Посетитель, а это он и был, гость — всё-таки нечто другое, гость — он и ближе и роднее, да и ждут его, а этого, да, не ждали.

— Нет, нет, — на Боска не похоже, скорее Дали.

Сальвадор в это время пил кофе на веранде. Он признавался в любви жене своей, Гале. Когда она была ещё женой Элюара, а не его подружкой, он любил посидеть за чашечкой с Элюаром. Без кофе ему была и жизнь не в жизнь. Ещё он обожал козу кому-нибудь состроить, но это уже после того, как кофию напьётся. И рассказывал поэту о любви к женщине, о любви вообще.

— Если ты отобьёшь у меня Галу, я умру, — пугал поэт.

— А ты не умирай, — говорил Дали. — Потом ты у меня её отобьёшь.

— А потом?

— А потом я!

— Зачем же разбивать себе сердца?

— Свои сердца.

— Не вижу смысла.

— Это и есть истинный сюрреализм. Это наша идея! Наш манифест! Наше знамя! Наше ничто! Сюрреалист — это я!

— А я? — спросил Элюар.

— Ладно, ты тоже.

— Может, хватит заказывать, тебя уже понесло.

— Согласен. Пойдём к Гале, признаваться в любви.
И Элюар шёл. А потом он умер. И теперь Дали пил кофе на веранде с Галой.
Вдруг с ним случилась икота.
— Что с тобой? — спросила Гала. — Кофеём поперхнулся?
— Не — ие — и, — ответил Дали. — Снова кто-и-то в России меня вспоминает.
— Превозносят выше всех живых?
— Не — ие, — всуе.
— И поэтому ты не любишь русских?
— Ну да. А от рожденья русофил я!
— Мне ль не знать.

Но икота вдруг прошла.

— О, перешли к другим темам. Слава тебе, господи, — сказал он господу, глядя в небо, и для верности перекрестился.

Посетитель проходного двора притих, внимательно рассматривая каждую картину в отдельности. На самом деле он просто делал вид. А что ему оставалось, если в такой, с позволения сказать, живописи он ничего не смыслил. Он не понимал и в других искусствах, был не силён, но кто же признается себе в этом?

Знал ли входивший, подозревал ли? Нет. Догадывался ли, предвидел ли? Тоже нет. Он раскрывал свою душу, и она почти всегда оказывалась маленькой, шершавой, сморщенной, как бы БУ, почти всегда похожей, очень похожей на другие души, как фуфайка, что висит среди других фуфаек на вешалке, для дежурных, если кому надо выйти в цех, возьми и надень.

Заходили, конечно, в комнату и люди с настоящей душой, крепкой, как сталь, сильной, как вулкан, и неустрашимой, как Полкан. Но редко.

Приме важно было услышать, что скажет новый человек о его картинах, по тем словам, что говорил вошедший, Прима определял способности человека и его будущее. Мы с Ноу тоже старались не отстать, угадывали прошлое, предсказывали будущее, выведав желания вошедшего, которые он, как правило, и не скрывал, и по этим желаниям (да и по словам тоже) уже пророчили на всю катушку. Но если мы числились как бы помощниками, подручными в деле предсказания, то Прима был главным товароведом, если считать души товаром. Он делал непогрешимые выводы и улыбался дьявольски, хотя главным для него было не это, нет. Он изучал вошедших в дом его.

Картины висели по трём стенам, было от чего впечатлиться, и скрыть волнение было трудно. Можно было и соврать о своём впечатлении. Но это-то уж мы выучились распознавать. Боялись, как бы Прима не поддался искушению и не поплыл по сладкому течению. А и не догадывались мы, что не мог он поплыть.

— Как у Дали, — уже неуверенно произнёс посетитель.

В это время мэтр икнул в последний раз. Он это понял, потому что ичок был жалким и слабым. Отлично.

— Нет — скорее, Поль Сезанн, — вмешался и я.

Прима очень не любил, когда его с кем-то сравнивали. Я как бы взял сторону вошедшего, который не сообразил уйти вовремя.

— Сюзан? — переспросил посетитель.

— Да, Сюзи, — поддержал меня и Прима неожиданно; он только что вернулся в дискуссионный зал, а до этого находился в спальне, возлежал прямо на кровати, прямо на общежитском одеяле, сверху. «Лежать на одеялах запрещается!» — висела надпись над кроватью.

Но вот Прима уже не лежит, не нарушает запрета общества, он вышел из спальни, прошёл мастерскую и попал в дискуссионный зал. Все эти помещения, холлы и комнаты отдыха были условными. Много лет спустя продвинутые люди театра использовали это изобретение для упрощения декораций на всех подмостках мира.

— А кто такой Поль Сюзи? — поинтересовался посторонний.

— Сюзи Кватро, — сказал Прима, — Полем уже никто не называет Сюзи.

— Сюзи Квадро?

— Да, квадратный Сюзи, он жрёт за троих, растолстел, как паук, и теперь его называют квадратный Зюзя, потому что он спился почти вконец.

— А как же он картины рисует, если спился?

— Да так и рисует, напьётся, как свинья, нос красный, он рисует те места на картине, которые нужно рисовать красным; когда нос у него лиловый, рисует лиловое — рисовальщик он хоть куда, Зюзя Бардо.

— А когда нужно лимонный, или жёлтый?

— Да его нос лучше радуги. Все цвета и оттенки можно найти.

— Так Квадро он или Бардо?

— И так, и так зовут. Кто зовёт Квадро, а кто — Бардо. Он очень хорошо бардовские песни поёт, чужие так даже лучше, чем свои, а как запоёт, так все плачут. Зюзя Бард — легенда, как он рисует, как поёт, а рыбу когда жарит, так всегда пережарит, и рыбой тянет по всему общежитию.

— Он тоже в общежитии живёт? — случайный посетитель уже хотел бы, может, и уйти.

— Да, в женском пристроился. Как ему удалось, неизвестно. И женщины, если называть их так по общежитию, потому что на самом деле они студентки — вот как надо устраиваться, вот что смог наш Зюзя, — потом кормят его целую неделю, чтоб только рыбу не жарил, но ест он много, иногда так не только за троих, а ещё и за четвёртого, среднего хавца, и когда девушкам это надоедает, кормить алкаша бесплатно, они все разом отказывают ему в святом — в еде, и запить ему не на что, потому что всё пропил, до нитки пропился, потом… — Посетитель уже стоит в дверях, но ему неудобно уйти, Прима обращается к нему лично, как-то неловко уходить… — потом рисует что-нибудь, а потом на заработанные деньги покупает этого самого минтая с головой и жарит его, жарит самозабвенно, неистово, жарит и жарит, да он не рисует так, как жарит. Великий художник, величайший из Зюзь. — Посетитель уже откланялся, догадался не помешать рассуждениям Примы и уйти. А, какой

догадливый?! — Держи его! — кричит вдогонку Прима, — держи Пикассо! — кричит он…

Прима не любил Пикассо. Почему, не признавался. Но кричал «Пикассо», как будто кричал «Укусю».

Она зашла как-то неожиданно, в зелёных шортиках, улыбнулась всем, это мы так подумали, на самом деле она Приме улыбнулась, а за нею в комнату вошёл человек, о котором ходила дурная слава. Он жил в комнате на нашем этаже, и, может, ещё на каком этаже, ещё в какой комнате; хотя в общежитии на каждого приходилось всего лишь одно койко-место, у этого человека могло быть несколько койко-мест, в разных комнатах на разных этажах.

Прима в это время бродил по всему выставочному залу, так разгорячился. Но когда пришла Саша, он одним скачком подлетел к ней из противоположного угла: выказать радость. А как мы с Ноу обрадовались! За Сашей бежал человек, о котором ходила дурная слава, и за его спиной вьюжилась общежитская пыль.

Ноу махал руками, как петух крыльями, гонял воздух, почти хлопал в ладоши. «Ура, ура, она — девочка!»

Человек, о котором ходила слава, сел тихо, на картины не смотрел, он уже был у нас раза два, — и тогда не смотрел на живопись, — по каким-то неотложным делам, за чаем приходил или сахар просил, и вообще картины, надо же, почему-то его не тревожили, не влекли, не пробуждали воображение. Он как-то искоса всё посматривал на Сашу, и, кажется, ничего даже не попросил, а зашёл просто так. Прима был щедрым, и, если был чай, угощал чаем, был сахар — и сахаром тоже угощал, мы с Ноу не одобряли это расточительство нищего, а он, к тому же, если у нас был обед на всех, и обедом мог постороннего угостить. Да что там говорить, великий человек — он и в малом велик. Хотя мог бы и сдерживаться.

— У меня теперь своя комната, — сказал человек, о котором ходила дурная слава, без всякой гордости.

Он встал и ушёл. Что-то промигнуло в его глазах. Что? Я не умел читать лица, Ноу тоже не умел, а у Примы мы ничего не спросили: было не до того.

Саша села на кровать, и как-то сразу стало видно, что она нормальная, просто девушка, ноги её были светлыми, не мохнатыми, коленки как коленки, может, она и села так нарочно, чтоб видно было коленки. Страшненького у неё ничего не осталось, щёчки были чистыми, волосы лежали аккуратно, чуть выше плеч, цвета чайной розы, которая только что вынырнула из бутона, а не розана в петлице. Только глаза остались тёмными и поглощающими. Заглядывать в них было нельзя, но и Ноу, и я лишь к этому и стремились. Так и норовили посмотреть туда. И если б Саша захотела, мы превратились бы в соляные столбы. Но её взгляд скользил мимо, не останавливался ни на мне, ни на Ноу. Нам несказанно посчастливилось, но мы об этом не догадывались.

Нам повезло, что этот взгляд не поглотил нас, как удав загулявших цыплят. Быстро уж очень мы забыли и красоту Лизы — и картину, которая висела тут же на стене, без пылких почитателей — мы думали о Саше, о том, как она совершенна, а её зелёные шортики, может, это была юбка, и сабо, и кофточка с короткими рукавами — всё было сама прелесть, и если Лиза — где она сейчас, — Лиза и красота были одним целым, то Саша источала красоту, она изливала восхищение во все уголки комнаты, и в тот угол, где проводил самые счастливые дни свои Рафаэль Санти. Но он спрятался, нос не казал, и о нём не вспоминали. Казалось, что его и нет на белом свете.

15. Проверка

— Есть ли бог?
— Я студент физфака.
— Отвечайте прямо.
— Бога не было, нет, и не будет!

«Молодец, дал им жару, — подумал Бог. — Не зря одарил я его талантом».

Приму обследовала дюжина психиатров, переодетых в людей.

— Чы знаетэ вы ридну мову? — спросила женщина с кавказским акцентом.

— Звычайно, — ответил художник. Но в глазах проверяющих стояло застывшее: «Отвечайте прямо!» — Знаю, — уточнил Прима.

— Подайте картины, — приказал, очевидно, самый старший. Он был самым маленьким и самым некрасивым. Начальник, сомнений быть не могло.

Картины, конечно, были не настоящими, жалкие репродукции, сделанные с похмелья.

— Вам придётся дать правильную оценку.
— Правильно оценить?
— Дать правильную оценку, — уточняли комиссионеры, — этим работам.
— От этого зависит.
— И только от этого?
— Придётся вас лечить или нет.
— К тому же принудительно.
— От неправильного восприятия.
— Окружающей действительности.
— Что влечёт за собой.
— Социальную опасность.

«*Danger*», — подумал Прима.

— Поэтому отнеситесь к тексту как можно серьёзней.
— Без юмора.
— Без шуток и прибауток.
— Не юродствуйте.
— От ваших ответов зависит ваше будущее.
— И ваше настоящее.
— Учёба в университете.
— И всё такое прочее.
— И так далее, и тому подобное, — сказал своё любимое один из членов комиссии, он был невысокого ранга, невысокого полёта, да к тому же и не выспался ещё. Как устал он от этих освидетельствований. Прямо бархатные сталинские времена. Скорей бы на пенсию.

Для начала показали две картины, два пейзажа, оба хороши, неизвестных Приме художников, хороши в том смысле, что похожи на фотографии, цветные фотографии, сделанные рукой мастера, на самом деле мастерски сделанные рукой ремесленника. Думать надо было только так, всё, что ему покажут, должно быть похоже на фотографию, то, что хоть чуть-чуть не похоже, хоть как-то выбивается из этого ряда, очень плохо, потому что непонятно, значит, болезненно, и, значит, *опасно.* Прима вошёл в образ правильного человека, который не может и в мыслях быть социально неблизким, а тем более опасным. Опасным Прима никогда не был, ни до службы в армии, ни в самой армии, ни тем более сейчас, в университете.

— Мне нравятся обе картины, — признался художник прямо-таки бесхитростно.

Комиссии это пришлось по вкусу. Было видно, что им тоже неохота упекать ни за что, ни про что такого милого, обаятельного студента — да прямо к ним, в психушку. Комиссионеры сидели полурасслабившись, только начальник сверкал якобы сурово глазами, вроде проверка была серьёзной, а не понарошку. Если б не армейская закалка, век воли не видать бы.

Картины открывали почему-то парами. Как прикуп в преферансе. А Прима должен был отвечать, какая ему нравится, а какая — нет. После того, как он делал выбор, их отправляли в снос. У комиссии было много репродукций, в другое время можно было бы попросить посмотреть все, несмотря на исполнение. То, что они были низкого качества, роли не играло. До Лувра путь лежал неблизкий, и он был навеки перекрыт, точно так же, как и в другие точки планеты, те, кто мог, довольствовались дубинками, а кто не мог, тоже довольствовались дубинками. Ха-ха-ха.

Прима сдавал экзамен на нормального и чуть не забылся.

Открыли последнюю пару. Два туза в прикупе. На одной картине всё пространство заняли какие-то большие начальники. Они сидели за длинным столом, словно апостолы на тайной вечере, руки спрятали под крышку, может, чтоб не видно было дубинок, их лица были искусно выбелены, очищены от родинок и морщин, от прыщей и угрей, пятен и вмятин. А глаза пугали. Маленьким детям на ночь такую картину показывать было нельзя. Её лучше было бы сжечь, и пепел развеять подальше от жилищ.

На другой открытой картине появились люди Малевича. У них были в руках серпы и косы, и даже грабли, они стояли перед комиссией, перед Примой, перед самим господом Богом и жаждали лиц. Они покорились и готовы были на всё, дайте только лица, хоть какие-нибудь завалящие. Но. Им не обещали лиц, не давали надежду, и пустые овалы вопили в никуда, в неизвестность, вопили о несправедливости, тут, на земле, и там, где нет ничего. Прима дал трещину, в душе появилась слеза, ещё миг, и она выползет на глаза, всё пропало.

— Эти люди мне нравятся, — показал он на прикрашенный выводок.

Член комиссии невысокого ранга облегчённо вздохнул. Он болел за Приму. Было видно невооружённым взглядом, что больны комиссионеры, а не Прима.

— А эти не нравятся, — показал испытуемый на картины Малевича. — Они похожи на работы маленького ребёнка, который не успел дорисовать, — Прима уже поборол своё «я», перешагнул через него, — ротик, носик, оборотик. Его позвали гулять, наверно.

Казимир перевернулся в могиле. «Давно меня не тревожило чёртово племя, не беспокоили мои слабые кости».

Прима вышел из психушки, каким было небо, он не заметил, вокруг бежали, шныряли, передвигались люди и трамваи, и, может, было даже красиво, но… Покорять Харьков ему уже не хотелось.

Прима шёл домой, в общежитие. Что же надо, чтобы тебя признали люди? Придумывать такое, что никто ещё не придумал? Нет. Рисовать лучше всех, лучше всех живых? Нет. Так что же? Надо нравиться, и знать, кому нравиться. Я и раньше догадывался об этом. Но не класть же жизнь на то, чтоб нравиться?! А если так, то грош ему цена, признанию. Одно важно, душа. И её надо сохранить. «Сохраним армию», — подумал когда-то другой великий, а потом уже сказал вслух.

Я встретил Приму на пороге общежития, он шёл с пустыми руками, даже без хлеба. С виду он был спокойным, как в любое другое время, частично погружённым в себя, думал о новой картине, жил выдуманным. Мы открыли дверь в комнату и удивились. Ноу, он же Ноо, он же Шахимат сидел на своей кровати рядом с новой подружкой. Они ворковали. Рядом — вот что нас удивило. И ворковали — небывальщина, да и только. Такого с нашим товарищем и другом ещё не случалось. Обычно ворковал он один, а подружка сидела надутая, как сова, а тут на тебе.

— Я Прима, — представился Прима как-то официально.

— Нуо, — отрекомендовался и я для порядку.

— Ноа — Ноа. Манао — Тупапау, — добавил Прима.

— Валентина Ивановна, — сказала девушка.

Прима не сдержался и расплылся в улыбке. Мне тоже стало весело.

— Валя, это свои, — сказал Шахимат.

— А как же Саша? — строго спросил Прима.

— Саша на тебя глаз положила, — дерзко ответил он, — а мы вот с Валей подружились.

— Ура, ура, — поддержал скороспелую дружбу Прима.

Шахимат был рад, что мы всё поняли, он снова забыл нас и заворковал в сторону подружки.

— Шашечка, — ворковала и она, ничуть нас не стесняясь.

Глаза его застила нежность, и если бы изо рта потекли слюни от радости, мы бы не удивились,

на всякий случай я даже полотенце приготовил. Но обошлось.

Пришла Лиза, посмотреть новые работы Примы, а, может, и соскучилась.

— Принесла тебе покушать, — сказала она Приме. — Некому о тебе позаботиться, — как бы шутила.

— А мы? — перечил я.

— А мы? — возразил и Шахимат.

Но то, что принесла Лиза, было крохами для воробьёв в сравнении с тем, что оказалось в сумке Валентины Ивановны. И когда она выложила богатство на стол, Прима остановился как вкопанный. И мы затаили дыхание. Намечалось пиршество. Прима сделал изо всех подношений натюрморт, и тут появился ещё один долгожданный гость. Это была, конечно же, Саша.

Ужин готовили Прима и Лиза, я помогал, бегал между кухней, где заправлял Прима, и комнатой, где готовила Лиза. Ещё я бегал впустую, сообщая Приме, что делает Лиза, а Лизе, чего требует главный повар.

Остальные, лежебоки, бездельники, дорогие наши гости, слушали Афродиту Чайлд, музыка вливалась в их сердца, а скоро вкуснятина вольётся в их желудки, и только Афродита уже не узнает об этом, закончились лучшие дни её, там, под насыпью, вблизи рельсов. Но о ней не думали, нельзя всегда думать о грустном, да и музыка, которая наполняла сердца, была о счастье. Афродита всё выводила и выводила рулады.

Сколько лет прожили мы вместе с Примой, сколько ночей просидели вместе, мечтали о возвышенном, говорили о высоком, спорили о земном, женили Шахимата, читали вслух, слушали музыку — вспоминается всё. А вот что ели мы — не вспомнить.

Как будто в то далёкое время мы были бестелесны. Выплывут в памяти бутерброды в чьих-то руках, то были руки Лизы, или бутылка шампанского, которую вынимает из сумки Валя, ах, простите Валентина Ивановна.

Сколько дней, часов и минут просидели мы за разговорами, которые не вспомнить. И о чём серьёзном мы могли говорить? За окном проходила осень, за ней, скорее всего, зима, потом, наверное, весна, но когда бы мы ни вышли из общежития, на улице нас встречало лето. Может, потому, что внутри у нас тоже было лето. И мы ничего не ждали, не думали о завтра, и такое слово, как будущее, было для нас редким, если было вообще.

Шахимат ушёл провожать Валю, Прима — Лизу, а Саша осталась. Она не торопилась, как будто жила тут же, в нашем общежитии. Мне хотелось поговорить с ней, а о чём, найти было нетрудно, о Приме, его картинах, о поэтическом и художественном, оригинальном в творчестве и необъяснимом в самом создании картины. Очень хотелось, чтобы Прима ей понравился, она к нему была как-то чересчур требовательна, не говорила с ним, а обращалась, со ступеньки своей недоступности или высоты, и что бы он ни сказал, чаще всего не соглашалась или вставляла шпильки: «Это — не ново», «Старо, как мир», «Затёрто до дыр», и замолкала вдруг. И её молчанием, как и красотой, наполнялось пространство комнаты.

Говорить со мной Саша не стала, слова, вылетающие из меня, она остановила одним леденящим взглядом. Без звуков. Без «да» и «нет». А, может, не было никакого красноречия, может, я и так догадался, что разговору не бывать. Когда в комнату заглянул, а он именно заглянул, голову просунул в дверь, а туловище оставалось в коридоре, человек, о котором ходила слава, получилось, что появился он очень даже кстати. Неловкости моей как не бывало. Он выручил меня. Слава о нём ходила дурная. Он никого не убивал, никому ничего плохого не делал, а вот, надо же, слава ходила. Может, то были наговоры злых языков?

— Почему ты не идёшь? — спросил он Сашу. — Я уже заждался.

— Потерпи, — кинула она. — Никуда не денусь.

Он удалился, и в комнате осталось всё, как было. Только душа Рафаэля готова была вырваться наружу, оставить тело, но, слава создателю, творцу, хитин был крепким.

Появились Шахимат и Прима, Шахимат пьян от счастья, а Прима — от свежего воздуха да от того, что просветлело в голове, он проникся какими-то новыми чувствами к Лизе, казалось, это его родная сестра. Душа Примы теперь была открыта для свежих ветров, как пустой гараж для въезда новенького автомобиля. И несравненная, а, может и сравнённая, какая разница, Саша, ждала его, чтобы стать музой, а, может, и властительницей души, обладательницей сокровища, которым только и мог похвастать Прима.

Славы и денег, как известно, тогда у него ещё не было. «Надо сберечь душу», — подумал как бы кто-то за него, и муравьи, или термиты, поползли у него по спине, снизу вверх, чтоб добраться до затылка, а потом, гляди и за горло схватить. Лапки у муравьёв были холодными, как лёд.

И как только Прима и Шахимат вступили в общий дом, так Саша сразу же засобиралась. Отряхнулась, поправила брови, приготовилась, как птица для полёта.

— Спокойной ночи, — сказала она сухо, рывком, чтоб не было возражений, чтоб никто не перечил.

— Она ушла к нему! — только и смог выдавить из себя я.

— Конечно, к кому-то, куда-то, зачем-то, — веселился Прима. — Человек должен спать.

Шахимат поверил мне, и мы бросились догонять Сашу, или остановить, или проводить, или сдуру, сгоряча. Она скрылась за той самой дверью. Она видела нас, взглянула, как на снежинки, падающие с неба.

— Что ж она так? — спрашивали мы у Примы, всевидящего, всезнающего.

— Человеку надо где-то спать, — повторял он, как попка.

Утром мы с Шахиматом обошли вокруг общежития, проверили, не выбросил ли человек, о котором ходила дурная слава, тушку Саши в окно, не валяется ли она возле общежития, красивая, недоступная с виду, но уже пустая, негодная к употреблению.

16. Изгнание

Прима дарил всё: картины, пластинки и даже одежду. Он уезжал. Лизе достался портрет и «Маленький принц», мне — «Памятник», а Шахимат, с некоторых пор Шашечка, собирал рисунки, эскизы, наброски в большие папки, сортировал, подписывал, как будто готовил для потомков или в дар музею. Мне достался кожаный плащ, его можно было носить на зависть другим студентам, и красные штаны, их носить было нельзя, они изрядно побурели и потрескались в некоторых местах, на коленях и выше, там, где надо закрывать организм. Но я их повесил на стенку, над кроватью, никакой корсарский флаг не сравнился бы с этой красотой.

— Оставайся, Прима, — просили мы его.

— Закончишь университет, получишь диплом.

— Зачем мне он?

— Жить легче будет, — говорил неуверенно Шахимат.

— Ещё что-нибудь узнаешь, выучишься чему-нибудь, — я тоже хотел остановить его. Но это были не те слова. Тех, наверно, не было. — Получишь новые знания.

— Знания я получил, а диплом мне не нужен, — отвечал Прима, чтоб не обижать нас. Это было очень правдоподобно.

— Какая разница, где жить?

— Есть разница.

— Ты победил харьковских психиатров, — вспомнил Шахимат.

— Ещё чуть-чуть и тебя признают, — добавил я. — Раньше, чем женится Шахимат.

— Свадьба очень скоро, через месяц, — уточнил виновник будущего праздника. — Мы записались в очередь.

— До свадьбы не признают, — сожалел Прима. — И после — не признают. Может, никогда не признают. И это от меня не зависит. И от вас — тоже. Пропадёте без меня, — добавил. — Особенно за тебя тревожусь, Шашечка. Зачем ты женишься на ком попало? Пожил бы ещё немного человеком.

— Не надо за меня волноваться, — состроил глазки Шахимат, — женюсь не по расчёту, по любви я, — заговорил стихами.

— Она тебя не любит, — Прима уточнил. — И не нашла себе из местных жениха, пришлось за пришлого идти, за дурня из деревни К.

— Я Шашечка, и счастьем полон, а ты завидуешь вот мне, — мой школьный друг художнику сказал.

— Из-за неё ты разум потерял, тот, что и так был не в избытке. Где чувство там увидел ты? Она о пище думает всё время. О хавке, понимаешь? Да может кое-что о том, о чём и говорить не стану. Но это не любовь. Тебе жениться рано, ты не созрел ещё.

— Созрел, созрел, завидуешь ты мне. И Лиза бросила тебя, и Саша отвернулась.

— Ну, что ж. Мне не под силу прояснить твои мозги. Давайте-ка покормим Рафаэля.

Мы пожевали яблочко, откуда только и взялось, и Рафаэль сладострастно поедал обед, закрыл глаза, шевелил усами. Он не догадывался о том, что Прима уезжает, меняется всё, жизнь круто поворачивается, уходит Шахимат, и, может статься, другим жильцам не по душе придётся он, Санти Рафаэль, не захотят новые жить рядом с ним, и выселят его, иди, родной, откуда пришёл, или, упаси бог, убьют под покровом темноты, загубят живую душу.

— Как быстро разучился я летать, — подумал Прима вслух.

— Разучился, ну и что? Какая польза с этого летанья? — Шахимат успокаивал Приму. — Оно тебе необходимо? Другие и не помышляют оторваться от земли.

— Бывало раньше, совсем недавно, влюблённый взгляд увидишь за стеклом трамвая, и уж взлететь готов. А ныне?

— Зато ты стал мудрее, — добавил я. — А Саша отвернулась от тебя, так может это к лучшему, что меньше разо-чарований, душе поблажка.

— Всё говорите верно вы, поэтому и уезжаю я.

— Куда?

— В Москву, наверно, для начала, а там, как выйдет.

— Может, и в Париж? — сболтнул Шахимат.

Из-за этой Вали он совсем разум потерял. Мы не могли себе представить, как это — уехать за границу, тем более в Париж. Кто выпустит? Да и обидно было за Шахимата, слова у него выскакивали сами по себе, независимо от чувств, ему и Приму не жалко было, не жалко, что он уезжает. И всё из-за этой Вали. Словно ему новый язык прицепили.

Прима уехал. Будто бы на прогулку ушёл.

Шахимат, казалось, не заметил этого. Он готовился к свадьбе. Рафаэль перестал есть. Уткнётся головой в уголок коробочки и сидит с утра до вечера. Потом переползёт в другой угол, и то же самое. К еде не прикасался, ни к яблочку, ни к огурчику. Захандрил. Поставил я ему воды прямо в постель, не притронулся и к воде. Опустился на животик и лапки расставил, как будто умаялся. Без воды и пищи он скоро стал тонюсеньким таким, лёгоньким, почти прозрачным, а потом и шевелиться перестал, дыхание прекратилось, и мучения кончились, тоска покинула его. А совсем недавно в нём жила душа. Тело я зарыл в ямку возле общежития, закопал вместе с постелью.

Шахимат женился и переселился в городскую квартиру, туда, где люди становились обывателями. С ним мы теперь встречались редко, он отлетел ещё дальше, тревожить его было неловко. Но иногда он всё же проявлялся в общежитии, хотя совсем на чуть-чуть, трудно было даже понять, зачем.

Всё переменилось. Учёбу в университете мы закончили безрадостно, такое событие прошло почти незаметно, как будто купили на рынке ведро картошки, Шахимат остался работать в Харькове, а меня изгнали. Направили молодым специалистом в далёкий городишко Старый Пруд. Чтоб выпускники не думали, что их выпроводили, каждому выдавалось направление, фиговый лист для устройства жизни.

Здесь уже не было Примы, но можно было зацепиться за жизнь: остаться на кафедре. Здесь всегда

можно было найти одухотворённые лица в университетском парке, в любом месте — вечером, харьковские вечера всегда одухотворяли лица, можно раствориться среди людей, чтобы рассеять тоску. Но для чужих город был закрыт. Я стал чужим. Как-то слишком быстро. Прощай, Харьков.

Часть третья. Темнота

1. Проездом

В двух часах езды от Харькова раскинулся, разлёгся совершенно другой город — Лежачий Камень. К нему лучше всего добираться было на электричке: тогда постепенно свыкаешься с людьми, которые тоже едут туда, держат путь. Они уже другие, их лица озабочены чем-то другим, это заметно, на лицах этих другая печать, нельзя сказать, что их волнует сиюминутное, или мелкое что-нибудь, нет, эти лица принадлежат людям не отсюда — вот что чувствуется, другие мысли, другие души.

Электричка собирала всех, кому не место в городе Харькове, чтобы увезти, вывезти в другие города и посёлки, рассыпать по деревням и сёлам, раскидать по хуторам, завезти подальше, как завозят шкодливого кота. Так город освобождался, очищался от мрачных и тяжёлых взглядов, от лишнего, наносного. Одеты люди были тоже иначе, не первой носки костюмы были на них, у кого потёртей, если ткань тёрлась, а у кого потрёпанней, если материал только обшарпывался. Что было на уме у этих людей, какие мысли? Чистые? На наружность свою, да, им было то ли наплевать, то ли начихать, а на чувства свои, на души? Кто знает? Никто не знает. Люди в вагонах были как люди, без злобы на лицах, и старики, и девушки, и парни, все почти одинаковые, бабомужики, существа, нужные для какой-нибудь работы, но ни они сами, ни тот, кто придумал эту работу, не догадывались, зачем она нужна. Было заметно, что пассажиры электрички помечены, может сам господь бог положил на них ладонь свою и уравнял по высоте и достоинству. Те, у кого росту было побольше, горбились, чтоб не казаться выше, те же, кому сгибаться в спине было несподручно, стояли с кривыми ногами, у кого-то шея была слишком короткой — ему так было удобней всего, а кто-то оказался приплюснутым целиком, не повезло. Только дети были похожи на обыкновенных детей, бегали по вагону, если было где разогнаться, или толклись между ног взрослых. Но и дети, уже и у них намечалось что-то непропорциональное, организм готовился к будущему однообразию. И взрослые, и они, все ели солёную рыбу, селёдку, кто побогаче, и кильку, хамсу, кто победней. Пальцы облизывали сладострастно. Хвосты и хвостики от рыбы выбрасывали под деревянные скамейки. Были некоторые путешественники, кто не ел рыбу, но им тоже хотелось.

Я сидел в вагоне электрички, ел солёную кильку, облизывал пальцы, и не мог понять, почему эти люди так одеты, почему они грязные, если чистым быть нетрудно. Мне было страшновато, загадочное сообщество, себе на уме, за все годы учёбы не встречал я так много непонятных лиц сразу, откуда они взялись, и что заставило их собраться вместе? Мне не был страшен завтрашний день, но куда я ехал, куда перемещался в пространстве? А я и вправду перемещался, за окном проплывали и люди, и кони, и строения прошлого века, закопчённые склады, вагоны, в которых уже никто никуда не поедет. Так куда собрался я? За новым счастьем? Но, ведь электричка была в пути каких-то полчаса, а, казалось, что десятки лет остались позади. Так оно и было. Но я не знал об этом. Я ещё не знал об этом. И не догадывался о том, что Прима был прав, «есть разница, где жить», для меня пока ещё не было этой разницы, и не один год пройдёт, не один десяток лет, пока прояснится, пока пойму, что уезжал я, перемещался не в пространстве, а во времени, и время это было не минуты и не часы, а века.

Человек, который сидел в вагоне электрички, возле окна, кем он был, кто он был? Конечно, это был не я. Кто-то другой сидел на деревянной лавке, кого-то постороннего, чужого, другого угостили килькой, и он, этот другой, перестал опасаться попутчиков, а вместе с ними двинул навстречу счастью. Куда едешь ты парень?! Вернись, возвратись, останови помыслы свои, не надо туда. Ты направляешься в прошлое, это уже было, это случилось давным-давно, выскакивай на ходу из этого трамвая, он еле ползёт, сломай ногу… Кто сидел в этом вагоне, и в ком стучало моё, вот это вот сердце? Нет, не я сидел. Это был не я. Это был он.

Через два с лишним часа электричка причалила к берегу, остановилась у платформы города Лежачий Камень. Пассажиры покидали насиженные места, растворялись среди горожан, как сахар в горячей воде. Тут, в Камне, все были такими как те, кто приехал.

Небо было бледным, чтоб подчеркнуть серые лица и серые взгляды. Надежды на то, что вот промелькнёт восхищение или удивление, или даже простое любопытство, не было, как не было и солнца. Вместо него на небе маячила луна, здесь она выполняла не только ночную, но и дневную работу, изо дня в день, из года в год. На карте Земли Лежачего Камня не было. Он находился на другой планете, где-то между Марсом и Юпитером. Так казалось или так было. Из закусочной «Повеселей» высыпали мужички, безрадостные, как будто вышли из столовой общепита. Глаза их были сухими, ни один луч радости не сквозил из глубины.

От железнодорожного вокзала вглубь города тянулась чистая, аккуратная, наверно, главная улица.

Он оставил пожитки в сберегательной камере, камере хранения и двинул прямо, нельзя же ехать дальше с таким грузом внутри. Чем дальше от вокзала, тем светлее домики, пятиэтажки, с балкончиками, в бесконечно сером пейзаже проявились оттенки бурого, и иногда даже жёлтого, веселей стало идти, чувствовать. Вот и площадь появилась. Здесь было просторней, чем между домов, только огромное здание тюрьмы мешало вдохнуть полной

грудью. Он подошёл к фасаду, на тюрьме было написано: «Если у вас есть слёзы, приготовьтесь пролить их», а выше огромные каменные, или бетонные буквы возвещали: «Областной драматический театр имени Шекспира». Напротив тюрьмы-театра, метрах в пятидесяти, на пригорке, на каменном возвышении стоял каменный человек и закрывался рукой от солнечных лучей, которых не было. На постаменте тоже была надпись. Ленин. Вблизи стало заметно, что Ленин не закрывался от солнца, а показывал на него, его лицо было одухотворённым, он не сомневался, что рано или поздно это солнце взойдёт на небосклоне, и всё будет необыкновенно. Серый город станет золотым, лица людей просветлеют, появятся улыбки, сначала скрытые, стыдливые, как же, быть счастливым некрасиво, нельзя, все только и ждут войну, люди созданы, чтобы ждать войну, а потом, попозже, конечно не сразу, не сейчас, улыбнётся весь город. Пройдёт ещё какое-то время, и, каждый станет, кем захочет. Редко кто из горожан верил в это, но были ещё такие, которые верили. А когда вера их шаталась, они приходили на площадь и поклонялись камню.

2. Дорога

Автобус «Лежачий Камень — Старый Пруд» отправлялся от автостанции каждые два часа по Цельсию, или несколько раз в день по Фаренгейту, лучше всего же держаться шкалы Кельвина, тогда можно было безошибочно попасть в расписание, а если ещё спросить у водителя «Когда отчаливаем?», и прислушаться к его словам, то, если он не обманет, можно и не задумываться о шкалах, а увязать свои заботы с движением солнца, слева направо, так, как оно движется, по предписываемому маршруту. Маршрутную карту выдавали и водителю, там, в бумаге, были всякие записи, куда и во сколько он должен попасть, и что после этого делать дальше, ехать быстро или подождать какое-то время, остудить двигатель, добрать пассажиров на промежуточной станции или оставить места в автобусе пустыми, позлить тех, кому хочется ехать. Сколько желающих скапливается на станциях! Не хотят ходить, нет, прокати их, подвези, подай транспорт и доставь, куда надо, целыми и невредимыми. Ладно. Добренько. Посмотрим «Путевой лист». Билеты проданы и свободных мест нет.

— Свободы нет. Не возьму.

— А несвобода есть?

— Немерено, невидимо, несчитано.

— А нас возьмёте?

— А сколько вас?

— Шесть человечков.

— Возьму, ладненько. Как не взять шестёрку отважных. Уйдёт контролёр, и заберу вас всех гуртом.

— А нас троих?

— С мешками?

— И с узлами!

— А что в узлах?

— Добро везём домой, мы его на колени себе возьмём, чтоб не мешало.

— Гарненько, узлы я положу в багажник, а вас — в салон.

— Мы — как-нибудь, доехали б пожитки.

— В багажнике им будет хорошо.

— Спасибочки, спасибо. А когда садиться?

— Я скажу.

— И нас возьми.

— А вас багато будет?

— Да где-то дюжина.

— А нельзя точнее?

— Семнадцать человек.

— Так разве это дюжина?

— По-нашему ага.

— Такая дюжина не по душе мне.

— Да мы заплатим за каждую живую душу.

— А что, и неживые есть?

— Нет, нету неживых.

— Так зачем пугаете?

— Не, не пугаем, так сказал я том смысле, что за всех уплотим.

— А ехать далеко?

— До Грязей.

— Могли б пешком дойти.

— Смеётесь вы, чи как?

— Возьму, возьму. Я дам вам знак, когда садиться.

— А меня возьмёте?

— Что, одного?

— Да я ж худой.

— Худого, так и быть, возьму. А жирного не взял бы.

Автобус «Л. Камень — С. Пруд» зарычал, грудью и желудком сразу, разогревая внутренности, готовясь к марафону. Его шум растворился в рёве громкоговорителя, который предупреждал пассажиров об их миссии не бросать бычки, где не надо. Но громче всех гаркнул водитель автобуса:

— Старый Блуд! — прокричал он, как выстрелил, как дал короткую очередь из автомата.

Казалось, взмыла вверх сигнальная ракета. К автобусу, из которого высунулся чудо-водитель, рвануло всё живое. Люди, стоявшие и там, и сям, на всех платформах автостанции, устремились к одному автобусу. Автостанция опустела, обезлюдела. Все спрятались в автобусе. Водитель набрал полные лёгкие воздуха, литров десять, но повторно кричать не стал, все, кому надо, были уже здесь, у него в салоне.

— Желаю всем добрейшего пути. — Спасибо, Гринвич!

— А кто этот Ринвич? — спросил один пассажир другого.

— Наверно, министр автотранспорта.

— Фамилия чтой-то не наша.

— Ну, может это евонный ангел-хранитель.

— Это — да, может, может.

Рейс был последним. За окнами автобуса появились первые, ещё робкие сумерки. Водитель закрыл дверь в салон, отгородился от окружающего мира, потом задёрнул шторку у себя за спиной, отделился и от ближнего пространства, и, оставшись почти наедине со своим большим стальным конём, отдался восторгу движения.

Внутри автобуса, в салоне, просыпалась своя, путешественная жизнь. Старики уступили свои места молодым, жить им оставалось немного, и они

по возможности жертвовали этим остатком. Собрались стоять из последних сил, до победного конца, если силы вдруг и оставят их, то какое-то время можно продержаться на гордости, пустить в ход амбиции, если и амбиции затухнут, тогда уже только чувство долга — оно придёт на выручку видавшим виды организмам, поможет держаться на плаву, стоять по стойке смирно; а страдать, терпеть, сносить — есть для чего, даже не для чего, а во имя, ибо это страдание возвышенно: во имя будущего, завтрашнего дня наших детей, молодого поколения, уверенного в себе и по хорошему нахального, если не сказать, наглого, способного не давать в обиду и себя, и своих близких, и, конечно, Родину. Родина, вот что, в конце концов, главное.

Первыми не выдерживали старики, и в бой они шли первыми, и тут тоже. Они рушились на пол беззвучно, с осознанием выполненной миссии; автобус останавливался, потерявшего чувство бережно выносили на воздух и укладывали вдоль дороги, ногами вперёд, на тот случай, если выполнивший свой долг придёт в себя, чтобы он знал, в какую сторону ему двигаться дальше. Ногами вперёд — это неписаное правило действовало вдоль всей дороги.

Дурной пример заразителен, и один за одним ветераны падали там, где они только что стояли насмерть. Автобус уже опаздывал, правда, куда он опаздывал, и что за спешка намечалась в душах путешествующих, неясно, да, расписание нарушалось, но по случаю потери сознания у пассажиров, а также мора, который неизбежен в таких случаях, (из десяти потерявших сознание пара-тройка так и оставались по ту сторону мысли), можно было и замедлить продвижение автобуса, нарушить букву закона и преступить черту. Водитель, добряк, весельчак, такое явление, как мор, не посчитал чем-то из ряда вон выходящим, падёж в отдельно взятом автобусе — не прополка жителей земли тяпкой, которая называется СПИД, и даже не чума, в конце концов. Слово «холера» тоже таилось в подсознании шофёра, но он его боялся, был суеверным.

— Выходи, не задерживай, — покрикивал он. — Ногами вперёд! И ни шагу назад!

И до того докричался, допёк путешественников лозунгами, что слабых сердцем или даже случайно упавших, ненароком споткнувшихся на вахте службы будущему, уже не выносили бережно, а выкатывали, как брёвна на лесоповале. Совесть у тех, кто трудился, была чистой, пусть водитель за всё отвечает, а он, везущий по маршруту и расписанию, тоже был чист, как стёклышко, пусть страдает совесть, и болит, и ноет, у того, кто составлял и маршрутные карты, и вреднейшее для жизни пассажиров расписание. Сама же совесть, не зная где приткнуться, пошла по миру, не надеясь ни на почитание, ни на восхищение публики. Выжить бы как-нибудь.

А старики всё валились и валились с ног. Как надоело с ними возиться! Мало того, что прокатились бесплатно, не будешь же у бессознательного по карманам шарить, так и маршрут ещё задерживают безбожно. И водитель уже перестал останавливаться, а только притормаживал для виду, и когда добровольцы, спасибо, нашлись помощники работать за так, выбрасывали тела за борт, ещё яростней давил на газ, и так продолжалось путешествие, сухопутный круиз по степям Черноземья, «Ногами вперёд!», — выкрикивал водитель, бухало где-то за окном, хлопала дверь, сказочное магическое путешествие, «Ногами назад!», — прокричал рулевой, и одного дедугана выбросили неправильно, «да я же пошутил», — веселился водитель, «ать вас за ногу».

Он так разогрел помощников, что те на ходу хотели выкинуть старика, который ещё и на ногах стоял и даже мурлыкал что-то себе под нос. Им показалось, что очередник вот-вот упадёт, мотивчик, что он науркивал, всё упрощался, и осталось всего-то «ля-ля, ля-ля», да и борода у него была седой до последнего волоска, но дедок возьми да и свистни по-сатанински. Только борода его заколыхалась на ветру. А шофёра рассмешили молодцы-помощники, он хохотал до коликов в животе. Когда только за дорогой смотрел?!

— Изуверово, выходи, — открыл дверь водитель, и бабушки и бабки, старухи и деды выгружались в ночь, отдавали водителю и купюры, и мелочь, развязывали платочки, где вместе с варёным яйцом или парой яблок на дорогу, ещё в одном узелке, хранились деньги, «на, родимый, спасибо, родимый», и на самом деле, водитель был родимый, как царь, как бог, как президент. А что совесть потерял, так мало ли кто чего потерял. Старичок снял картузик, и там, где-то в недрах его нашлись деньжата за дорогу, а последняя пассажирка, которой за сто перевалило давным-давно, она и не помнила когда, она вообще уже ничего не помнила, может, поэтому и жила так долго, хотела отдать водителю курицу, денег ей не доверяли, она их путала. Водитель заартачился, курицу не хотел.

— Тогда возьми вот яйцо, — предложила старушка, — она его снесла, пока мы ехали, оно ещё тёплое.

Куда было деваться?

Ещё один дедок спрятался, не хотел выходить.

— А тебе куда? — пристал водитель к пассажиру.

— Ещё б немного проехать.

— Это Изуверово, ваших я здесь всех высаживаю.

— Ну что ж, ладно, — согласился старик, — от смерти не убежишь. — Он вынул из-за пазухи бумажку и отдал водителю. Тот долго давал сдачи, всё считал и считал купюры. Аж вспотел. А когда дал сдачи, дедок только и сказал:

— Маловато будет.

Все, кто остался, сели в кресла, кому досталось одно, а кому и два. До Старого Пруда оставался один переход. Водитель затих, может, задремал, а автобус, как верный конь, уже сам потихонечку бежал домой, почуял стойло. Дорога эта ему была известна так же хорошо, как и его хозяину. Всем, кто сидел внутри, уже казалось, что и не было никаких стариков и старух, так же, как не бывает леших и ведьм, не было тех нескольких десятков, которых выбросили за борт; мешал забыть всё это дедуган, который лежал где-то возле дороги головой вперёд, а не

ногами, как надо. Но автобус так приятно шаркал колёсами, как домашними тапочками из войлока, и постепенно исчез из памяти и тот, кто выпал неправильно. Значит, судьба.

Вот только что проехали Песчаное. Можно было остановить автобус и выйти, тут совсем недалеко, вернуться можно. Но в Песчаном у него никого нет, что же выходить. Дальше дорога шла на Градикс, но Градикс был как-то не по пути, а город К., который должен находиться позади, совсем куда-то исчез. Его, города К. никогда и не было. А вот Градикс есть, но автобус рулит на Старый Пруд, вправо, тут развилка, главная развилка, вот конец Песчаного, на Градикс левее, а куда ведёт дорога направо, неизвестно, а вот сюда и полетел автобус, он и правда не касается земли. А зачем ему в Старый Пруд? Там ждут его, кто-то ждёт, кто-то такой, кого он ещё не знает, но родной кто-то, родственник не родственник, добрый человек, тот, кто поможет сохранить душу.

— Выходи, приехали! — рычал командир. — Старая Запруда! Выметайся, вылетай, улепётывай!

— Мне в Старый Пруд, — сказал он.

— Для приезжих — Старый Пруд, а по-нашему — это Запруда.

3. Сквозняк

Было поздно, но его встретили на пороге; здесь, в Старом Пруду, день и ночь были только в графиках работы, в часах сна, в расчётных листах по заработной плате. Как явление природы они стояли на последнем, непочётном месте. Приняли его по правилам, так же, как других работников завода, как запчасти и механизмы, которые приходили круглые сутки. Постель была чистой, может, даже белоснежной, полотенце — накрахмаленным, а мыло — нетронутым, запечатанным. В комнате, где ему предстояло спать, или ночевать, блестел начищенный паркет.

Живи, значит, работай, давай стране продукцию, производи, заставляй других работать, и тебе воздастся. В комнате, пристани уставших путников, кроме него, никого не было. Пусто. Шкаф, тумбочки — он заглянул в них — портрет на стене, кому-то он заменял отца, кому-то собутыльника.

Он сидел в каком-то зальчике. Женщина рядом с ним сказала:

— Сейчас выйдет моя доча!

Женщина была очень полной, занимала много места и сильно давила его.

На сцену, совсем небольшую, возвышение в полметра, выскочили танцовщицы. Цветные лоскуты прикрывали срамные места.

— Какая чудная фигурка у моей девочки! — нахваливала мама своё чадо.

Слова её текли, как мёд.

— Танец главное, а не фигура, — возразил он.

— Какой танец?! Ты не знаешь, что восхищает мужчин?!

Балерины заиграли телами, запрыгали. Что это было? Разгул необузданных страстей или полёт неукротимого духа? Не поймёшь. Почему-то хотелось всплакнуть.

— Смотри, не пропусти! — толкнула его собеседница. На маму она никак не тянула. — Гляди в оба!

Одна из девочек подпрыгнула и зависла в воздухе. На самом ли это деле? Она грациозно повернула голову к маме и подмигнула. Потом сделала ножницы. Или шпагат. Поиграла плечиками и мягко опустилась на сцену. Спланировала, как бумажный самолётик.

— Это у неё от меня, — сказала мама.

— Вы тоже так умеете?

— Нет, не пробовала, боюсь высоты. Побаиваюсь. Немножко, — соблазнительно, не по-матерински водила глазами. — Но для вас…

Неужели взлетит?!

Проснулся он от сквозняка. Солнце сентября сияло всем: сытым и голодным, богатым и бедным, тем, кто только родился, появился на свет божий, и тем, кто собрался в мир иной, но подзадержался, был ещё тут. Лучи пронзили его, прошлись по закоулкам, озарили, очистили, обновили. И только один заблудший лучик, как потерявшаяся овечка, мотался по нутру, не покидал.

Какой ты, Старый Пруд, при свете дня? В чисто поле брошена дюжина домов, аптека, улица, фонарь. Непривычно пусто, и непохоже на город. Фонарь изогнут у основания, наклонён, как Пизанская башня. Архитектурное па или па хулиганов? И тут и там — следы, значит — живут. Чьи следы, собаки, или её друга — человека, принюхиваться не стал. Что-то вроде парка, тротуар. Редкие люди. Шествуют гордо. Старых нет, не видно и пожилых. Молодые, юные лица. Несут достойно. Как новый костюм, которым дорожат. Как новые туфли, о которых ещё не забыто. Вспомнил великого: «Есть разница, где жить». Вино, водка. Гастроном. Метаболизм. Вино и водка, теперь уже отдельно. Игрушки и — о! — кинотеатр «Пыль». И ещё с десяток пятиэтажек. Где-то здесь живёт принцесса.

Он дошёл до трамвайной линии. Весёлый красный трамвайчик бежал на завод, а другой трамвайчик, такой же бодрый, совсем не утомившийся, бежал с завода. Они были красивыми, более живыми, чем люди. Солнечные лучи так старательно очищали пространство, что было видно, страсть как далеко. Только сквозняк не проходил.

4. Повторения

Над Толедо собиралась гроза.

— Можно поговорить с вами? — спросил незнакомый старик, который появился откуда-то сбоку.

— Легко, — ответил Эль Греко. Он сидел на дубовом пеньке и почти растворился в природе. Незнакомец вернул его к себе, оторвал от неба. Приближалось светопреставление. Господь устраивал его для своих подданных. — Присаживайтесь.

— Вы говорите, как мои внуки. И откуда только этот жаргон?

— Не хотят быть похожими на старших, думают, дюжина-другая слов что-то меняет.

— Вы совершенно правы, сеньор. А сколько вам самим-то будет?

— Да я не знаю.

— Вы, наверно, шутите. Вот мне шестьдесят шесть, помирать скоро, а так не хочется. Жил бы и жил без конца. — Старик присел на соседний пенёк. Ещё один, третий, оставался пустым. Над городом, сверху, над холмами, тучи сливались друг с другом, заволакивали небо, закрывали его от света; старик и художник, казалось, сидели в первом ряду театра, не хватало только самого Бога, он мог бы присесть рядом, на свободный пенёк, и спросить: «Ну, каково? Нравится?»

— Вы, правда, не знаете, сколько вам лет?

— Правда, но я всегда могу посчитать, ведь память у меня хорошая и день рождения помню. Да и арифметика — наука нетрудная.

— От печки, значит, пляшете. И свой возраст в себе не носите?

— Наверно, не ношу. Пожалуй, что да. Ловко вы придумали.

— А мне часто кажется, что зажился. Да оно бы и ладно, только вот вроде чего-то главного не сделал, что-то упустил из виду, вроде как жил не так, не ту жизнь прожил. Вот в чём загвоздка. И вины никакой не чувствую, а вот какое-то недовольство осталось.

— Так недовольство можно выбросить из головы, или из души, где оно там застряло.

— Да не выходит.

— Вы построили дом? — спросил художник прямо.

— Ещё какой! Вон тот, — показал пальцем. — На радость друзьям, на зависть врагам. Дворец — не дом.

— И сына вырастили?

— И сына, Мигеля, и дочку в придачу, Санчику, и внуков полно. — Дети на загляденье, слова плохого сказать не могу, и внуки радуют от зари до зари.

— Так, может, вы дерево забыли посадить?

— Да что вы, как можно, не одну какую-нибудь чахлую оливу, рощу целую посадил.

«Может, не тот сорт?» — хотел пошутить художник, но спохватился. То, что говорил этот незнакомый человек, было крайне важно для него, и с шутками надо поосторожней, надо попридержать язычок.

Над Толедо громыхнуло.

— Правду говорите, — подтвердил Эль Греко знак Всевышнего.

— Может, не тот сорт? — спросил старик. Или подумал вслух. — Жил, как песню пел. А вот пришло время, и кажется, что пел с чужого голоса.

— У меня такое тоже бывает. Рисуешь, душа поёт. А закончишь, присмотришься, всё это уже было.

— Повторяется всё. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, — сказал кто-то невидимый, с третьего пенька. Или это показалось.

Брызнули первые капли дождя, крупные, увесистые или меленькие, как песчинки, незнамо, ни старик, ни художник, их не заметили.

— Вы с нами? — осмелился спросить художник.

— Я над вами, — поправил его пенёк.

— Так дайте знак.

Над Толедо загрохотало.

— Кто Вы? — спросил старик.

— Я — вездесущий, бессмертный, почти всё знающий. Хотите ещё знак?

— И хочу, и боюсь, — сказал старик.

— Я — тоже, — подтвердил Эль Греко.

— Как надоели мне эти знаки, — сказал пенёк, — эти чудеса, фокусы-покусы. Отойдите в сторону, подпалю этот пенёк, потешу дурачков.

Не успели собеседники отойти подальше, как сверкнула молния, вонзилась прямёхонько в пенёк, и он обуглился.

— Мокрое место осталось, — сказал старик.

— А пенёк-то другой, — удивился художник.

— Попало в тот, что выше, — ответил голос. — Немного ошибся. Сейчас вы меня разозлите.

— Нет, нет, нет, — запричитали в два голоса старик и художник. — Не надо злиться.

— Но вижу же, что не верите. Меня ж не проведёшь.

— Так первый же раз, — сказал старик.

— К тому же Вас не видно, — добавил художник.

— Но слышно-то меня хорошо. Вот и верьте.

— Трудно верить одному голосу, — сознался старик.

— Трудно, — подтвердил художник. — Хоть и страшно.

— Бог ты мой, кого я сотворил, что я натворил, — сокрушался голос, — везде одно и то же, всё повторяется, и ничего нового под солнцем. Но сделал же всё, как надо, по образу и подобию сотворил, по подобию и образу. Всё, что было в моих силах.

— Зря мы Его расстроили, — сказал Эль Греко.

— Так говорили ж правду.

— Он хотел чего-то услышать от нас.

— Чего-то хотел.

— А мы не сказали.

— Не догадались.

— Он хотел подсказать нам. Что-то важное.

— Направить на путь истинный.

Над Толедо разразилась гроза. Ударила молния. Грянул гром. Затрещало. Заблестело. Загрохотало. Они поверили.

5. Та, которой не было

Человек — это выдумка. Выдумай себя, или тебя придумают другие. И не заметишь. Дай только волю. Их так и тянет на это, так и подмывает.

Она жила в пятиэтажке, на верхнем этаже, выше — только небо. И она была, на самом деле, в жилах её текла кровь, в душе нарождалась страсть, а в голове витали небылицы, которые могли появиться на свет. Им только не хватало немножечко воздуха, всё время не хватало воздуха… Света и тепла не хватало тоже. Она была, только очень недолго.

При рождении ей дали имя, чтоб её не спутали ещё с какой-нибудь малюткой, имён, как и всего остального, не хватало, поэтому дали, какое попало, чтоб хоть как-то отделить ребёнка от остальных таких же крох. Очень ходовым в то время было имя «Дуся» — и назвали ребёнка Дуся. Мальчиков же

нарекали «Вася», мода была такая, и очень хотелось каждому назвать своё чадо хоть Васей, хоть Дусей. А потом мода прошла, но переименовывать детей было уже неинтересно, поэтому оставили, как есть.

Дуся сидела на балконе, а, может, стояла на балконе, полнеба, слева направо, было раскрашено розовым, бирюзовым, пурпурным. Как на заказ. Мечтай, не хочу. Представляй, выдумывай, воображай. Лети, душа. Тело, это — потом, это — если получится, спешка — опасна. Она ждала принца, но, чтобы ждать его, надо сначала выдумать. И хотя звали его, конечно же, Вася, вылеплен он был совсем из другого теста, чем те Васи, которых она знала. Да и не Вася он. Другое имя. Она пока не знает, какое. Он появлялся перед нею в розовом халате, может, потому что принц, и тогда его хотелось потрогать, прикоснуться к нему. А то предстанет в голубом, и тогда она просто восхищалась им. Лицо у него всегда было чистым, как у девочки, без прыщиков и шрамов, которые, по слухам, так украшают мужчину. Он был не крепкий и сильный, не мужик, который должен рубить дрова, держаться за руль автомобиля или менять трубы в ванной. Какой он был на самом деле, она не знала точно, а только догадывалась. А вот школьные подружки знали. Кому-то нравились полные парни — кровь с молоком, а кому-то — даже мужчины, крепкие, здоровые, краснощёкие, или даже лучше — красноморожие, к такому — попробуй, подступись, такой — защитит от всех ветров жизни. А чудачка Люся так хотела себе парня или мужчину, только не дедушку — красноносого, потому что красноносые — самые нежные и ласковые, могут до смерти заласкать. Подружки Дуси точно знали, каких суженых они хотят, видели наречённых, как себя в зеркале, и готовы их были взять, как «языков» в войну. И возьмут, дайте только время. А вот Дусе, видите ли, хотелось, чтоб он был не такой, как все, какой-нибудь особенный, какой-то другой, чтоб ни на кого был не похож и чтоб любил её всегда. Вот чего она возжелала. Того, чего, может, и не бывает.

Иногда ей хотелось быть Евой. Потому что Адам был очень красивым, и если его легко было подбить на это глупое яблоко, то и на другое можно было подтолкнуть бесхитростного влюблённого. Адам был как-то ближе, чем те молодые люди, которых она знала. На уме у них было одно и то же, пусто там было, вот что. Если они и скрывали это, то так неудачно или неумело, что хоть плачь. Не нравились ей эти простачки. И так как Адам иногда появлялся на голубом горизонте, то она представляла себя в раю или в его окрестностях. Вот забор из стальных прутьев, а вот и ворота, тоже железные, с херувимами, живыми, они сидят и на воротах, и на заборе. И ангелы сидят, ножками болтают. Иже херувимы. Тут и сторож ходит, туда-сюда, бородатый, с большой седой, белой бородищей, марширует, как солдат, с винтовкой, чтоб случайная душа не попала в рай, увидел он Дусю и говорит ей:

— Здравствуй, красавица. Заходи. Мы давно тебя ждём.

— Заходись, заходись! — кричат херувимы.

— У нас обалденный сад, — говорит страж ворот.

— И малина, и смородина, и крыжовник.

— А какие у нас яблочки! Пожевал — и красота мира перед тобой. Душа взлетела и запела, и воспарила над котлом, и над болотами земными, — заманивал её страж. Дусю заманивал.

— У нас Адам живёт! Адам! — кричали херувимы. — Он ждёт тебя.

— Да?

— Да, ой, да-да-да. Его душа полна тобою. И через край перетекает лёгкой грустью.

— И без тебя ему не жить.

— Да без тебя — он ноль без палочки.

— Дуй к нам быстрее, Ева! Труба трубит на высочайшей ноте! Ах, Ева, Ева, не робей же!

— Да я не Ева, Дуся я.

А потом закончилась школа, прошло семнадцать зим, миновало семнадцать вёсен, и Дуся двинула учиться, не в славный город Харьков, нет, а двинула она в Москву, да нет, и не в Москву, а в славный город Воронеж, а, может, и не туда, а в какой-нибудь Тамбов, только уехала она просвещаться, развиваться, умнеть, получать образование и специальность, дурацкую, бессмысленную или осмысленную профессию, чтоб работать, не покладая рук, днём, а ночью, чтоб думать об этой работе, о том, как лучше её сделать, и всё это для того, чтобы можно было есть и пить, пить и есть. Уехала Дуся учиться, и стало ей некогда. Было ей в эти годы не до себя.

6. Сквозняк

Зачем здесь жили? Для того, чтобы есть? Нет. Ели и запивали быстро: и в заводской столовой, и в городских точках общепита. Рвали пищу кусками и глотали, не пережёвывая. Потом быстро втягивали или всасывали компот, часто пациент закашливался, поперхнувшись злополучным напитком, но вот всё обошлось, быстрей сигарету в рот и бежать. Куда? Работать. А после работы? Дамы не уступали мужчинам ни в скорости поглощения пищи, ни в громкости отрыжки, отрыжка у них была намного звучнее и мелодичней, тут они держали первенство. Все торопились, а зачем спешили, может не зачем, а по привычке, которую вырабатывал завод. Кроме того, всем поступившим туда работать ставили прививки, может, и в них заключалась эта необъяснимая гонка. Казалось, люди живут последние пять-десять минут, и в это оставшееся время им надо много чего успеть, а чего именно, они пока не знают. Лица у всех были чужими, и как-то все на один манер, по одной мерке. Молодые люди, а только такие и расхаживали по тротуарам, казалось, перемещаются по палубе большого корабля, который плывёт через Атлантику, и чем закончится путешествие, никто не знает. Закончится ли вообще?! Людей постарше, если где они и проживали, в каких-то местах возле Старого Пруда, или, может, даже самом городе, увидеть было крайне трудно, они как бы прятались, чтоб не портить пейзаж своими морщинистыми лицами и шаркающими походками.

Выпить, конечно, любили все. Поголовно. Пили те, кому можно и кому нельзя. Потому что человек не может без духовной жизни. А её не бывает без выпивки. Она умирает без орошения. И живёт ли человек в таком случае? Что от него остаётся? К одухотворяющим напиткам приучали с детства. Начинали лет с трёх, не позже. Смазывали пивной пеной губки, оно слизывало, хоть и кривило ротик, а потом глазки начинали блестеть, и улыбочка проявлялась человеческая, а не глупо-младенческая. Так мало-помалу и приучали. Сбрызгивали, а то и поливали пироги с яблоками десертным вином, прогрессивные мамы открывали чадам мир духа сразу же после появления на свет, смазывали грудь вином, не рано ли, мог кто-то подумать, самое время, не может принести вред ребёнку то, что полезно для его незапятнанной душечки. Пусть летит и воспаряет. Ведь тело уже появилось, значит и душе надо открыть задвижку. Были, конечно, и такие отцы, да и матери тоже, кто говорил: «Вырастет, сам выучится», конечно, выучится, куда же деваться, улица просветит, подворотня наставит, а тюрьма подправит, если что не так. Были и такие, но, спасибо времени, не их философия правила городом, не их мысли внушались старозапрудчанам, и не они несли духовное знамя города. Их даже не допускали к заветному древку. Брысь.

Одно настораживало. Отпугивало. Было непонятно. Неумеренность жизни духа. Пили не почеловечески много, воображение разыгрывалось, редкий индивид мог сдерживать его, редкий безумец. От этого случались и драки, и поножовщина, и насилие. Не со зла, нет — от избытка страсти. И если в вечернем Харькове загорающиеся взгляды незнакомок окутывали город сдержанной негой и туманом радости, то в Старом Пруду девичьи стаи с десятками волчьих глаз отпугивали даже видавших виды. Это там с наступлением сумерек горожане добрели, расцветали, размягчались. Город ещё больше становился их домом, и никуда не хотелось уезжать. Можно зайти в пивную, взять кружку или две, креветок, которые часто продавались, или принести с собой сушёную рыбу, которая почему-то не продавалась, стать за столик или сесть, если есть свободные места, вынуть душу и без боязни положить её тут же, на стол, рядом с креветками или рыбой. А потом, когда цвет пива и воздуха смешаются, когда уже не отличишь, что есть что, подняться, забрать душу и в путь. Если ты забудешь её, кто-нибудь, более свежий, окрикнет:

— Студент, забери душу, пригодится ещё.

Забираешь её весело. Можно и поцеловать доброго человека, что напомнил о потере, но не утрате. И никто не подумает чего-нибудь неприличного. Ты вышел из пивбара «Ветерок» и, куда бы ни направил стопы свои, твой путь будет светел.

Светел был последний день сентября, солнце охотно освещало поля, посадки, дальние леса, согревало открытые участки земли, мышей и птиц, зайцев и бродячих собак, освещало оно и город, с меньшею охотой, но всё же: больше тепла доставалось пятиэтажкам, где жила Дуся, и старому городу, который залёг за речкой, домики там были невысокие, совсем низенькие, они стояли вперемешку с деревьями. В старом городе жили невесты с пухленькими губками. Они ценились на вес золота. Мутно-бессмысленные взгляды ещё выше поднимали цену на сокровища. Хуже всего освещались девятиэтажки, на земле лежали тёмные тени домов, и за каждым углом гуляли сквозняки. Они поднимали шерсть на редких котах одинаковой породы, русских помоечных.

Зачем же здесь живут? Почему нет движения душ, порыва в незнакомое, неизведанное никуда? Всё как будто бы застыло, вокруг ходят люди, красивые и стройные, молодые, правильно обточенные, но почему во взглядах такой неимоверный сквозняк? И по утрам, когда всё, что было вчера, забыто напрочь, и среди дня, среди бела дня, и ближе к вечеру, когда уже и день, целый день прошёл.

Не надо заглядывать в чужие глаза, здесь это опасно, обдаст оттуда таким холодом, что жизни не хватит отогреться. Вовнутрь, в себя надо глядеть, или бежать. Чтобы не возвратиться.

7. Назад

«Приезжай, — писал Шахимат, — тут сколько всего случилось. Нас стало больше». Давно хотелось в Харьков, посидеть возле университета, пройтись по парку, увидеть Лизу, или кого-нибудь ещё, без разницы, кого, а если получится, то и пива попить до лёгкого беспамятства.

В гости его погнало чувство, а не рассудок. Нельзя вернуться в прошлое — известно, но вдруг получится, и на голову снова прольётся слепой дождь детства. Вечного двигателя тоже не бывает, но вот стоит чуть-чуть увеличить одну шестерёнку, и закрутится, завертится, как Земля вокруг Солнца, зашуршит и задребезжит, и заглюкает, заулюлюкают все кругом, до этого было нельзя, а теперь вот уже можно, пожалуйста, только педальку надави, и в путь по звёздным и межзвёздным пространствам безумия и бессмыслицы, надо только довериться чувству, этому глубоко вторичному продукту, и ты уже неуязвим и для живых, и для тех, кто мнит себя живым.

Так быстрее же в Харьков, город счастливых слёз, город, где тебе что-то начало открываться, хоть и не знаешь, что это было. Нечто или кое-что. Но оно было, это так.

С тех пор, как он уехал, прошло время, которое измеряется полураспадом и распадом. Было утро, свежее и чистое, когда тоска сквозит в сердце, как рана, от которой нет лекарств. Безнадёжность обнажена и оголена, раздета и нага. Куда же юркнуть? В «Пулемёт», конечно.

Утро — время очищения, можно забыть и вчера, и позавчера, забыть всего себя и начать с чистого листа. С нуля начать. С ничего. Начать с чистоты. В «Пулемёте» художники и поэт Вишневский уже потягивали кофеёк; будили заспанное воображение,

безуспешно, безнадёжно, вызывали мысли, хотя бы не новые, а те же самые, старые, но по-прежнему фундаментальные, хотя бы не свои, а чужие, хоть какие-нибудь мысли старались разбудить. В такое время здесь можно было встретить и Приму, он первым начинал строить безумные глазки, с первым глотком кофе, а то и раньше глазки строил, до первого глотка, предвкушая. Поэт Вишневский даже знал, чем закусывал Прима, чем лакомился. Но уехал Прима навсегда, и нет таблички на «Пулемёте», нет, да и не будет никогда. Не чтят славяне лучших сынов своих, а завидуют им, и зависть их черна, как смола в аду, которую варят грешники, по очереди выходя на дежурство. Если не получается у славян первейших сынов своих незаметно изничтожит или потихонечку же сгноить где в укромном местечке, если такое не выходит, то они, как сговорившись, всем народом сразу, забывают о том, кто возвысил их в глазах мира. И если найдётся который, кто вспомнит, беда ему. Но не таков был поэт Вишневский. «Увековечу», — подумал. Но как? На ребре крышки стола места было немного, — а именно здесь собирался увековечивать Приму поэт, — требовалась краткость, несвойственная широкой душе поэта, цветистости его фразы, глубокомыслию его словесных наворотов. В коротком послании надо было вместить всё величие художника, и как человека, и как творца, требовалось вскрыть и то, как могли любить его люди, живи он в другое время, а может, в другом месте, в другой стране, как благодарны были бы ему какие-то другие, вымышленные гуманоиды, за то, что он открывает глаза на цвет, на пространство, и из этих глаз самопроизвольно, самотёком текут слёзы. Поэт вспомнил и как они познакомились. Прима попивал кофеёк, а он тоже взял себе чашечку одинарного, на двойной не хватило деньжат. Понятно, не хватило их и на пирожок, которого хотелось. Он стал напротив великого, восхищаясь его мыслями, и надо же, в паузе между восторгом и упоением проскочила мысль о пирожке. И тут Прима разломал снедь строго поровну и угостил ближнего.

— Покушай, — изрёк насущное.

— Из этой половинки пирога родиться может целый стих, — сказал поэт. — Вишневский я, душа моя открыта всем ветрам и, к сожаленью, сквознякам. Её разламывает каждый, кому не лень, как свежую буханку, чтоб понюхать.

«Здесь он бывал, великий Прима», — так я напишу. И даже это тут не вместится, какая жалость, чёрт возьми. Вишневский посмотрел в окно, так мог бы смотреть туда и Прима, отпустить душу в путешествие, сначала недалеко чтоб погуляла, а потом уже — на все четыре. По ту сторону улицы, окутанный лёгким утренним туманом, стоял другой поэт, Шевченко, его окружала толпа, как генерала или правителя, но, чтоб не возомнил он чего о себе, вооружили людей, как попало. Ни лука, ни меча, ни копья. Большой насмешкой или издевательством была экипировка этих людей. В руки им сунули вилы, грабли и тяпки: воюй братва. Глядеть на это без слёз было нельзя. Поэтому никто и не удивлялся, когда возле памятника собирались группки людей и вместе печалились, или, может, сообща выплакивали горе.

«Здесь был Прима, — напишу так, — подумал поэт. — Нет, не годится. Как в Крыму на камнях. Пошловато получается».

Он открыл высокие стеклянные двери «Пулемёта» и окунулся в кофейный аромат. Казалось, что и Прима здесь: ещё не успел отхлебнуть двойной без сахара, а только нюхнул. И вот, на тебе, уже летят на запах те, которых и не ждал. Или ждал. За столиками стояли художники и поэты, рядом с ними ворковали их музы и просто музы, пока ничьи, но уже прекрасны, уже ничьи и ещё прекрасны. Глаза всех были наполнены, и не хотелось копаться и доискиваться, чем. Светом, а не тьмою. Музы были самые разные: на тоненьких ножках, в свитерах, которые в обтяжечку, и юбочках в обтяжечку; в балахонах из брезента или, может парусины, ни ножек тебе, ни ручек, одно лицо да глаза, глазища без дна.

За кассой, или, как говорят, на кассе тоже сидела муза.

— Кофе и паштет, — попросил приезжий.

— Двойной?

— Да.

— А вот паштеты съели. Возьмите заливное из папье-маше.

— А оно вкусное?

— Нет, но красивое.

И, правда, на тарелках лежали языки, залитые прозрачным солнечным желе, и пупырышки на них просвечивали.

— Так возьмёте заливное? — кассир высунула изо рта кончик язычка и поводила им вправо влево, а потом, для верности, и повращала по часовой стрелке.

— Хорошо!

— Телячьи нежности, — сказала раздатчица в белом халате. А может, и не раздатчица, потому что брали всё сами, может, подносчица. Она была сама простота.

— А чьи языки? — спросил голодный.

— У кошечек они маленькие и изящные, — ответила муза кассы, она снова высунула свой и двигала им туда-сюда, может, то была дурная привычка, а может, она подрабатывала в театре, — так что явно они не кошачие.

— Телячьи?

— То нежности телячьи, а языки, наверно, собачьи.

— Да вы что?

— Не надо обморока, может и не собачьи, но чьи они, никто не спрашивает, привозят их ночью, с мясокомбината — путь длинный, и при желании можно подменить. По дороге, как понимаете, всегда найдётся пара-тройка жирненьких бродячих собак.

— Людям всё равно, что есть?

— Люди к нам заходят редко, редко попадают. Здесь поднимают дух поэты и художники. Понимаете??? — она перешла на шёпот и открыла глаза, заслонив ими всё остальное пространство, ставшее вдруг, на миг, бессмысленным и

ненужным. — Кофе — отличный, а заливное — красивое, так и быть, повторюсь.

Он стал за столик, когда-то, давным-давно, справа от него стоял почти незнакомый Прима, а слева — Шахимат. Его школьный товарищ и сейчас может приходить сюда, может постоять в окружении муз, послушать поэтов, даже Вишневского, если повезёт:

«Меня коснулась невзначай,
Своим ты взглядом,
Кровь стала ядом,
Пил я чай.
И кофе пил — сходил с ума.
И даже пил компот —
Но я уже не тот».

Поэт Вишневский читал выразительно, с огромным чувством, бывало, он смотрел на неискушённую незнакомку, глядел ей прямо в глаза, и чувства хлестали из него, как вода из пожарного шланга, и, случалось, девушка не выдерживала и падала в обморок, но не на пол, потому что ловкий поэт грациозно подхватывал её. Зрители и зеваки аплодировали. Трудно сказать, что больше нравилось окружающим, стихи поэта или фокус.

Приезжий из ниоткуда, место, где он обитал, иначе и назвать было нельзя, глотнул кофе и стал своим. Ему так показалось. Своим в доску стал и Тарас, который возвышался за окном, на подставке, в окружении людей, жаждущих свободы. Свободы никто не жаждал, эти люди были сама покорность, само смирение, и если бы вместо кос и граблей им надели на руки цепи, они чувствовали бы себя спокойнее. Хоть притворяться не надо. Люди готовы были к смерти, но не к борьбе, а возвышающийся поэт на самом деле чего-то хотел, желал страстно, но только не возвысится над такими же, как он сам, бесправными и убогими. Бедняга! «Дай-ка, скушаю заливное», — подумал приезжий, взял ножик и вилку, чтобы отрезать кусочек желе. На безукоризненно ровной поверхности появился тоненький шрам. Но кусочек не отделился от целого. Тогда гость взял ножик, зажал его покрепче, чтобы исполнить увертюру. Завязалась неравная борьба между ним и неодушевлённой материей. В таких случаях всегда побеждает человек, если только злой рок не тормознёт его. «Не надо было портить красоту, сказано же — любоваться, а не есть». И вдруг он заметил — прыгнуло сердце — увидел на крышке стола, на ребре, благодарное, увековеченное, незабываемое: «Помню Приму!», и просиял, растаял, полюбил всех. Был среди его земляков тот, кто оценил, был один.

И улыбка Примы озарила «Пулемёт».

8. Тот, который был

К сожалению, как это ни прискорбно, что ни делай, живи не живи, страдай или мучайся, борись или опускай руки, хочешь не хочешь, этот человек, маленький он или большой, ничтожный или возвышенный в мыслях своих, был. Из плоти и соединительных тканей. И был он уже не Юрасик и не Юрец, и да же не Юра, а Юрий Григорьевич. Его так называли все, и ему очень нравилось. Почтение ли сквозило здесь или немножко страха, или нежелание связываться, или ещё что, неизвестно, но вот ему нравилось это. Когда его так называли. А когда Юрец обзывали, то не нравилось. Потому что в свои двадцать семь, можно сказать, лермонтовские двадцать семь, он успел многое: жениться, родить ребёнка, получить квартиру, посадить уйму деревьев, больше на субботниках, чем воскресниках, и ясно, все деревья засохнуть не могли, какие-то принялись и давали населению так нужный кислород. Перед людьми он был чист и свободен. А для себя ему хотелось немногого: принцессу. Он видел её, когда ей было семнадцать, потом она уехала учиться, и вот этим летом она снова возвратилась. Она вернулась в город одна, без принца. Так не бывает, но так было. И мешкать не стоило. Но и спешить тоже. Теперь принцесса была образованная, и торопливость могла истолковать за желание овладеть ею, или, может, другое желание: отобрать у неё свободу. Отдать её она должна была сама, и чем быстрей, тем лучше. Но Юрий Григорьевич знал, что очень быстро не получится. И он запасся терпением. Сроку себе дал он один год.

О принцессах он знал всё. На роду им было написано искать суженого среди избранных: или таких же принцев, мечтательных, жаждущих вечной любви и к ней ещё неугасающей страсти (которые и не водились на земном шаре), или среди графов, виконтов, баронов, князей и прочих титулованных особ, которые, если и обитали где, то, скорее, в романтических головах, чем в жизни. На принцессе мог ещё жениться Иван-дурак. Вот он и был главным конкурентом Ю. Г., соискателя руки принцессы. К тому же это был опасный и незримый противник: он мог встретиться, где угодно, в любое время суток. Дурака надо было опередить.

В этом деле, самом важном деле жизни, важнейшем из дел, не было пустяков, не существовало мелочей. Все части своего организма и то, что надевалось на организм, он начищал до блеска. Ботинки или туфли натирались до зеркального глянца шерстяной тряпочкой, кроссовки намывались с лучшим стиральным порошком, они сверкали белизной, начищалась одежда, но ярче всего сияли зубы, потому что именно лучик, отражённый от белоснежного зуба, мог попасть в душу, в её душу и застрять там. Надо было за что-то зацепиться. Человек не может один, — крепко запомнил это изречение Юрий Григорьевич, спасибо какому-то неизвестному классику, надоумил, подучил, помог расставить силки для неё. И вот пробил час ловить добычу.

Человек не может один — значит, не бывает недоступных, значит, кому-то они доступны. Труднодоступные могут быть, но недоступных — нет. Долго ходил с этой мыслью птицелов (а ведь, кто, как не птичка, ага, в данном случае была принцесса), осознавал её до конца, перегонял из головы в душу, или в кровь, ходил три дня и три ночи, тридцать три дня и тридцать три ночи, а потом, наверно, спать лёг. Но это давно было, не сейчас. Сейчас принцесса, а это была Дуся, находилась

под прицелом безжалостного охотника, а не жалкого птицелова. Бабах!

Он чистил, яростно начищал и так уже белейшие зубы, и пил, уже пил из недоступного, пока ещё недоступного источника, он не мог сказать, точно не мог сказать, что пил, какую влагу, или жижу, но внутренности у него колотились, а язык дрожал. После зубов он чистил какие-то другие части своего эго, до сверкания, до сияния, до блистания, до крови, до озноба, до трепета, до зуда. Знай наших.

И как ни прискорбно сообщать это, как бы ни хотелось, лучше бы прикусить язык, замолчать, уехать из страны, туда, где никто не ждёт, где никому не нужен, но всё же мозолишь глаза, и там, где-нибудь в тёплом краю, где даже не бывает снега, переждать случившееся, забыть его, может, этого и не было вовсе, и потом, когда-нибудь потом вернуться и увидеть, что, правда, не было ж ничего, а показалось… Как бы ни хотелось молчать, но поведать надо. Дуся была повержена. Её сердце было покорено. Там поселился упырь, долго берегла она ему место, и вот оно занято, вот уже всё. Поселился в сердце вурдалак, и захватил он всю власть над душой, а потом уже, что и не важно, и даже можно не говорить, следствие, частный случай, тело покорил. Дуся ещё была, но от неё оставалось всё меньше, с каждым днём, с каждым часом. Прощай, Дуся!

Не воображаемая, но труднодоступная, почти недоступная досталась ему, Юрию Григорьевичу, не Юрасику и не Юрцу, и он спрятал недогоревшие свечи, а огарки так вообще выкинул. Зачем они теперь? Он зажигал пламя, чтобы будить её образ, при свечах она становилась ещё желанней, и хотя языки несколько коптили и, наверно, портили обои и закапчивали потолок, этим можно было пожертвовать, потому что огонь приближал его к ней, на лбу у него выступал пот, влажной становилась и лысеющая голова, он вытирал их платочком, на котором вышитая собака догоняла вышитого же кота. А когда желания затухали, то Ю. Г. гасил и свечи, и они испускали смрад, были словно живые и не хотели тухнуть.

Принцесса досталась ему и отпала надобность зажигать огарки, закапчивать квартиру, идти на риск, жертвовать собой, поступаться принципами, заключать сделку с совестью, с дьяволом, прикидываться и придуриваться, заставлять себя улыбаться, когда внутри кипит зависть, и чистить, чистить, чистить. Ни к чему теперь это. Наши поздравления победителю. А с Дусей мы уже попрощались. Как хочется вернуть её к себе, вырвать из лап вожделенца, но нет, это не в наших силах, снимем фуражки и склоним головы. Кто хочет, может пустить слезу. И вытереть лицо жёсткой перчаткой.

9. Назад

Пора было и к другу. Шахимат встретил его на пороге торжественно, в парчовом костюме, с медалью на груди, величиной с добрую коровью лепёшку. На медали, а это, вероятно, была именно медаль, а не орден, светилась надпись, тиснёная золотом. «Отец», — гласила она.

— Поздравляю, — смутился гость, стушевался от неожиданности.

— Нас стало больше! — изрёк Шахимат, друг детства. Гордости и стали в его словах было поровну. Этой пропорции позавидовал бы сам Робеспьер. — Проходи. Вот она, моя Катя.

В люле лежал махонький ребёнок, пока ещё безразличный к тому, больше нас стало или меньше, девочка пока не знала, что из неё получится. Вот кушать было пора, это да.

— Привет, привет, — появилась из второй или третьей комнаты Валя, — вот наше всё, Катенька-богатенька, пойдём мы с дочей на обед.

Они удалились, Шахимат посадил друга в кресло и сам сел в точно такое же, было необыкновенно удобно, ласка неживой материи не обманывала, а сквозь прозрачные стёкла, неизвестно чем вымытые и как начищенные, лился чистый, первозданный свет. Было ясно, что здесь есть и настоящее, о котором мало кто думает, и будущее. Может, чуть-чуть не хватает вечности. Так показалось, но это не мешало забыть гостю всё: и бессмысленное решение уехать отсюда, и пустоту, которая так часто входила в него, не спрашивая, и свою постылую работу, и то, что никому он не нужен на этом свете, на белом свете, если быть точным. Хорошо было у Шахимата, и ко всему остальному, к этой созданной красоте, намечалась добавка — обед. Он появился раньше, чем через час. Куски тушёного мяса приковали взор, затрепетал желудок, на разломе кусков показались нити, открывая, обнажая структуру шедевра, белый соус был тоже само совершенство, и угадать, как он создавался, было всё равно, что гадать, как это Пушкин написал, что он помнит чудное мгновенье, все мы что-то такое помнили, а сказать не могли; картофель, обжаренный в каком-то масле, дополнял ауру счастливого бытия, и над столом то и дело проносилась тень Гоголя.

После обеда Валя заварила чай. Его запах заполнил комнату, заставил воображение шевелиться, аромат проник вовнутрь, а когда вовнутрь проникла и жидкость, то дух и хозяина, и гостя поднялся до каких-то неизведанных высот, а может, вершин. Шахимат восхищался своею Валей — было за что — восторгался он и своею Катей, за что, не особенно ясно, но гордиться своим семейством он имел полное право. Был бы рядом Прима, мог рисовать святое семейство. И не ошибся б.

Шахимат не стал астрономом, места под куполом харьковской обсерватории было мало, как в курятнике, а уезжать Валя никуда не хотела, и он нашёл работу не секретного физика, а секретного инженера, было что-то приятное, ласкающее самолюбие в этом налёте секретности, на самом же деле он поддерживал кручение и верчение каких-то механизмов, машин, которые несли кому-то смерть и разрушение. Поэтому друзья не говорили много о том, что было вокруг. Говорили о том, чего не было.

О модных веяниях в области духа. А, может, Шахимат поддерживал разговор из вежливости, по привычке, по старой памяти? То и дело во время беседы он вынимал из кармана суконку и тёр ею медаль. «Отец» так и сиял. Маленькое яркое комнатное солнце.

Бывает так, что наскочит мода на что-нибудь вечное, и давай трепать его за загривок. Потреплет какое-то время и отступится на века. Может, мода на вечное бывает в минуты потрясений и революций, когда народы вымирают, как тараканы, которых потравили химией, не знакомой насекомым, и, не умея защититься от напасти, мрут они семьями, выводками и кланами. Было как раз такое время. Приближалась мода на вечные ценности. Но не стоит волноваться, паниковать. Очень скоро она пройдёт, исчезнет, как снег в Ялте, выпавший сдуру. Не надо бояться.

На что же была мода в то время, в те далёкие времена? Может, на Кафку, бывает же и мода на смерть, на конец жизни, разлом времён, предчувствие конца, Александр Блок, не боимся смерти, значит, мы почти нетленны, медленно втекаем из рутины будней в очищенную вечность, вот какие мы тоже. Или, может, на слуху были Николай Васильевич с Михаилом Афанасьевичем, и нехорошая квартира, или, о чудеса, говорили о живых братьях живого ещё отца, они вправляли умы современникам, и им, наверное, было приятно, ох как приятно. А, может, с губ харьковчан не сходил поэт Вишневский, земляк, который родился и вырос тут же, на харьковских задворках? Куда там! Не Вишневскому отдавалось восхищение душ, и не его стихи слушали в прокуренных кухнях харьковские обыватели. Отдавали свои сердца (вместе с сердцами можно было вынуть и остальные потрошки, как у домашней птицы) неизвестным иноземцам. Их, конечно, путали. Всем очень нравился Ван Гог, хотя на самом деле это был Гоген, но было как-то приятно оттого, что человек, которым восхищаешься, покончил с собой. Это возвышало.

О чём могли говорить они, двое бывших школьных друзей, или ещё не бывших, что занимало их мысли, чего они хотели и хотели ли вообще, после такого вкусного обеда, когда надо лечь и заснуть? У Шахимата было всё, мир харьковских обывателей, и мир муз, которым всё же нашлось место в этом городе, они восхищали, вдохновляли, и не требовали ничего для себя. Твори вечное, не заботься о суете. Были у одного из друзей, бывших ли, настоящих ли, кто скажет, чем мерить эту сторону отношений, и свои уже стены, своё гнездо, и свои вечера с теплотой взгляда, греющего душу. Было и будущее: оно пищало по ночам и заделывало пелёнки. Шахимат мог прогуляться, просто пройтись по Сумской, запросто подойти к поэту Тарасу Шевченко, в любое время года, в любое время суток.

Шахимат остался тут, здесь, навсегда, и куда бы ни двинул он, даже в бар «Ветерок», вместе с ним, под ручку шагала вечность, а школьный друг его был выкинут за борт, вышвырнут туда, где вечность и не валялась, да и сама жизнь была сплошная, непрерывная ночная смена, труд его, уничтожающий в человеке сначала незаметно, исподтишка, всё человеческое, потом, очень скоро, выжигал пустыню в душе, не оставлял там ничего, ни большого чувства, ни чахлого чувствечка. Такая работа была нужна для того, чтобы кормить богатых, которых ни по каким документам пока не было, это через какое-то время появятся нужные бумаги, а неимущие, кормившие трутней, трудились самозабвенно, чтоб хозяева благосклонно улыбнулись им хоть раз в жизни, гнули спины, зарабатывали язву, гастриты, артриты и бронхиты, а, если повезёт, то и другое: грыжу, головную боль, болезнь Паркинсона и болезнь Хомякова, а также остальные болезни, неполный список которых можно найти в медицинском энциклопедическом словаре. А когда хозяин или хозяева давали отмашку: «Отдыхать», — то люди летели сломя голову, бежали наперегонки, хватали дурманящее зелье, и пили, пили его до забытья. Ведь им тоже было положено счастье. Одна маленькая вонючая чайная ложечка.

Вечером пошли в гости к Лизе. Она жила на Сумской, недалеко от рынка, где Гоголь покупал цветы своей невесте. Из окна особняка, комнаты в коммунальной квартире, вся улица была как на ладони, движение людей и троллейбусов и, наверно, машин, было таким напряжённым, что казалось, будто и сам живёшь какой-то насыщенной, энергичной, моторной жизнью. Балкончик был маленьким, но милым. Бетонные перильца и пузатые ножки предлагали потрогать себя, но были холодными и неприятными на ощупь. А вот какие автомобильчики бегали по знаменитой улице, трудно вспомнить, потому что жужжали, вероятно, «жигули» и «москвичи», да «волги», а «бугатти», «мозератти» «астон мартины» и «порше» не шуршали под балкончиком, не радовали глаз и «феррари» с «ягуарами». У них не хватило бензина добраться до самого лучшего города на земле, а если бы и хватило, то их бы сюда никто не пустил, ибо въезд в страну был закрыт для всего иностранного, иноземного, чужого, и ввоз всего ненашего тоже не разрешался, одежды, обуви, виниловых дисков (от этой пары слов уже заходится сердце) и книг, в которых попадалось слово «свобода».

Лиза встретила их так, как будто они виделись даже не вчера, а всего несколько часов назад, два или три. Она была рада и махала руками, как птица крыльями. Большая, конечно. Вроде аиста или журавля. И все трое радовались встрече, вот так запросто появилась радость в этой большой, метра четыре в высоту и метров семь в длину, комнате. Болтали обо всём, что имело смысл, и просто так, радость была здесь и никуда не собиралась исчезать.

Шахимат и его друг не спрашивали о том, что могло смутить Лизу, у них и в мыслях не было выяснять или выспрашивать, как получилось, что Лиза живёт в таком красивом месте и в такой просторной комнате, где она работает, трудна ли доля её, как добывает она хлеб насущный. Никогда такие

разговоры не занимали друзей, может, Прима был тому причиной, выучил отличать важное от не имеющего смысла. Была б душа у человека, а хлеб он всегда себе найдёт. Маленький чёрствый кусочек для поддержания духа. Человек — это птичка. Размеры вот только несколько подкачали. Чтобы радоваться, казалось, и говорить не надо. Но о чём-то они же говорили. Наверное. Души их распахнулись, да так и оставались распахнутыми, не надо было бояться, что в открытое место кто-нибудь плеснёт кружку помоев, зачерпнув их из помойного же ведра. Не было ни помоев, ни ведра. Вспомнили о Приме, о том, как ловко он летал, летает ли сейчас, говорили и о поэте Вишневском, добрая, но раненая душа. Где Прима теперь, в каких витает пространствах? Вот Вишневский иногда заходит с новыми стихами, всё страсть, всё надрыв.

Неизвестно, сколько прошло времени, за большим окном, скорее всего, появились большие прозрачные сумерки, и в душах их было большое чувство единения друзей, откуда оно берётся, это чувство, откуда берёшься ты, всепоглощающее и всезахватывающее единение одного человечка с другим, когда уже не принадлежишь себе, уже сам не свой, когда ты становишься составляющей какого-то поля. Может, где-то тут и припрятан сокровенный смысл дружбы? В этом самом спонтанно возникающем поле?!

В дверь позвонили. Потом постучали. Лиза открыла. Он вошёл в комнату, как к себе домой. Человек, о котором ходила дурная слава. И поздоровался с ними за руки. Они покорно протянули их. Даже души не успели притворить.

— Я же просила тебя не приходить, — сказала Лиза.

Она как будто уменьшилась в размере, стала почти как дюймовочка, чуточку, может, больше, и лицо изменилось, побелело, стало как будто никаким, и красота исчезла с лица. Так за долгие годы может выцвести общежитское одеяло.

— Я могу уйти, — сказал он просто, даже не обиделся и обиженный вид не сделал. — Если ты хочешь.

— Не в этом дело, — на переносице Лизы появились две морщины, как будто вырубленные туристским топориком. — Зачем ты пришёл? — не ему, а кому-то, кого и не было здесь, сказала она.

— Чтоб пригласить вас в ресторан. Пойдёмте покушаем? — сказал он примирительно. По интонации, но не по духу. Вот так сказал.

Лиза молчала. Друг молчал. А Шахимат согласился.

— В ресторан! — как-то наигранно сказал он.

— Я не хочу, — что-то в этом роде пролепетал школьный товарищ. — Я не голоден.

— Пойдёмте, посидим. Выпьем, — рассуждал человек, о котором ходила слава.

А потом как-то быстро всё кончилось. Они попрощались, сказали «до свидания» или, может, просто «пока», может, даже пожали руку тому самому человеку, сказали «спасибо» Лизе, за улыбки, за распахнутые души. Как бы там ни было, оказались они в темноте харьковской ночи. О, это та ночь, которая в годы учёбы успокаивала студенческие души, прикрывала их, как мать в минуты разочарований, в мгновения, когда тебя отвергли не чужие люди, нет, а те, кого любил ты. Так тебе казалось. Но в этот раз ночь была не способна успокоить. Не удалось.

— Пойдём в рюмочную.

— А ты уже пьёшь?

— Да нет ещё.

— Так зачем пойдём?

— Да выпьем по маленькой. Говорят, помогает.

Шахимат, удивительно, согласился. Зашли, выпили. Чистые рюмочки, чистая водочка. Горькая, как правильно её и называют.

— Можно было и в ресторан сходить, — сказал Шахимат, — да там бы и выпили.

— С ним, что ли?

— Какая разница? — сказал Шахимат. Голос, по крайней мере, был его.

— Это ты говоришь?

— Я, кто ж ещё.

— Ты хотел бы, чтоб он покормил нас?

— Нас кормил бы не он, а повара.

— Чтоб он поил нас?

— А что тут такого? — Шахимат состроил какую-ту актёрскую гримасу, не первой свежести.

— Человек, о котором ходит дурная слава.

— Ходила, — поправил Шахимат.

— Ты разыгрываешь меня?

— Ничего не разыгрываю, сидели б в ресторане, кушали, как люди (он даже сказал, как белые люди), а то сосём водку в подвальчике, словно записные алкаши.

— Дурак! — вот прямо так и выразился гость.

— Сам дурак. Давай ещё по одной, да подерёмся, тогда будет ещё интересней.

Что случилось с тобой, Шахимат? Ты же был человеком. Ещё вчера. А вот сегодня? Что ты сделало с ним, время? Держись, время! Погоди, время!

Он уезжал из Харькова. Как быстро, мигом, он стал чужим. Его город. Он уезжал из чужого города в такое же чужое место. Трудяга-трамвайчик привёз на круг, к железнодорожному вокзалу. Он уже поворачивался спиной к Харькову, спиной к прошлому, как вдруг заметил в окошке трамвайчика влюблённое лицо. Открытый влюблённый взгляд кому-то одному и всем сразу. И в его душе проснулась надежда.

10. Стук в дверь

В дверь постучали. Необычным предметом. Остриём ножа или кончиком косы. Звук застревал в мякоти дерева.

— Кто там? — спросил он. Почему-то он сидел на кровати, в чём мама родила, завёрнутый в простыню, которая к тому же была перекручена, и связывала его, как верёвка.

— Это я — мама, — ответили за дверью.

— Чья мама?

— Твоя, твоя.

— Мамы здесь нет, она далеко.

— Далеко — другая, которая родила тебя.

— А ты кто?
Он уже догадался.
— Я мама, которая забирает домой.
— Уходи отсюда, — сказал он. Попросил.
— И не подумаю.
— Так что же делать?
— Открой.
Он попробовал встать, не затем ли, чтоб открыть, но подняться не удалось, ноги не слушались, тело не повиновалось.
— Не можешь?
— Встать не могу.
— Это потому, что боишься. Страх сковал тебя.
— Да вот боюсь.
— А я вот жду, — сказала за дверью ласковым голосом то ли женщина, то ли девушка. — Волосы распустила, вся такая необыкновенная, никакая я не мама, а подруга твоя, о которой ты всё больше думаешь, именно она, та, единственная, одна, ни на кого не похожая, что правда, то правда.

Он сидел на кровати студенческого общежития. Но студенчество уже кончилось, он это знал наверняка. В чём же дело? Общая жизнь осталась позади, теперь-то он совсем один остался, что ж он сидит тут, как пень.
— Что ж ты молчишь, молчушка мой желанный?
— Нет тут желанных.
— Есть, есть. Все вы хотите желанненького.
Она сказала как «жарененького».
— Уходи, — повторил он. — Уходи, нечестивая.
— Ой, какие мы резкие, какие прямые. За словом в карман не лезем. Сказал, как рублём одарил, как топором отрубил. Как косой скосил. Ну зачем же такие грубые слова. Как это у вас всех получается?! Живёт кто-то долго, говорит ладно, а потом вдруг — грубое слово. Зачем? Ведь ночную бабочку можно назвать повелительницей страсти, приносящей радость или забвение, разделяющей порыв желания, отдающей жар души и, ладно, тела, да как угодно можно назвать, а выбирают самое обидное слово, какая бедная лексика, какая жалкая?!
— Извините.
— Да уж извинила, открывай быстрей.
— Не могу.
— Почему?
— Голый я.
За дверью рассмеялись. Зазвенело в ушах.
— Тогда не стоит открывать. Голый — это всегда искушение, могу ведь и не устоять, обнажённая натура всегда привлекала меня, притягивала к себе, тянула и манила.
Дверь затряслась, и он испугался, холодно стало внутри.
— Одевайся давай, а то дверь раскрошу.
А он не мог шевельнуться. Незадача. Доболтался.

Он увидел над собой лицо проводницы, и голубые, как небо, глаза. Кофточка на ней тоже была бирюзовой.
— Скоро Лежачий Камень, не проспи. И закрываться не надо. Какое такое сокровище бережёшь, а?
Она зашагала прочь, как будто промаршировал строй новобранцев.
«Уже и мама сниться стала. А что случилось? Ничего не случилось. Шахи стал другим. А может, и не стал. А Лиза? Она и раньше скрывалась с Димами или Митями, мы, кто это мы — я не замечал этого, не брал в душу». Он снова заснул. Теперь уже сидя. И дверь купе не закрыл. Доверился проводнице. Так бывает, что кому-то доверишься. Только цена вот высока. Платить приходится слишком дорого. Заоблачная цена. И платить приходилось всем. И все платили. Фауст, известно, платил, и до него, другие мужики, и после, и женщины, и дети.

Он снова заснул и оказался спящим на деревянной лавке, так сладко давило бок, тело ныло, а душа покоилась. Но она снова пришла. Под видом другой женщины. Это была хозяйка квартиры, где он спал, или, может, только скамейки, но скамейка принадлежала ей, была её, этой посторонней, и с виду очень дружелюбной женщины. Она сидела в уголке, на табуретке, может, с закрытым лицом. Платком были закрыты и руки, живое тело нигде не проглядывало. Оно и не должно светиться у приличной женщины.
На стене висели ходики. Они безысходно тикали. За окном была ночь. Он знал, что уже должно рассветать, пора бледным сумеркам появиться в окошке, возвестить утро. Но сумерки не спешили, даже наоборот, он не заметил, как оказался в другом месте, он лежал на лавке в домике бабушки, как только попал сюда, и ходики точно такие же, только звук у них не тот — пугающий.
— А почему ночь? — спросил он у женщины. Как было бы хорошо, если б она пошутила.
— День больше не наступит, — прошептала она. — Зачем он тебе?
Стало как-то нехорошо. Не хотелось всего этого.
— Может, ещё не время? — жалко и жалобно попросил он у женщины. Тут она всё решала, это было как-то понятно.
— Время, — сказала она.
Он взглянул на ходики. Маятник ходил не вправо-влево, как положено, а вперёд-назад, и часы стояли.

Он проснулся. Руки проводницы лежали у него на горле или на шее, что одно и то же.
— Какие сони бывают пассажиры, — сказала она.
Холод постепенно отступал.
— А то поехали дальше, — в шутку она сказала или всерьёз? — Мне нравятся такие податливые, как ты.

11. Дорога

В Лежачем Камне было межсезонье. Две недели лета, одна — зимы, а весны и осени здесь не знали — они были похожи — друг от дружки не отличить, — промозглость, сырость, грязь.
Он прошёл через здание железнодорожного вокзала, как нож сквозь масло, цыганки даже не успели оторвать кусок куртки, только вымазали её каким-то приворотным зельем от жадности, жирным, потому что на куртке появились круги. Да ещё и запах какой-то дурной возник вместе с

пятнами. В луже, где птички божьи утоляли жажду, он намочил носовой платок, чтобы оттереть приворот. Тот не давался, выступал лишаями, расползался в ширину. А потом круги объединились. «Так и люди», — подумал путешественник. Он пошёл пешком по улице, уже знакомой ему. Ветер, вырываясь из переулков на более широкое пространство, просушивал куртку. Скоро появился и театр-тюрьма. Со временем он больше стал напоминать тюрьму, а не театр. Не потому, что стены посерели ещё больше: на окнах первого этажа появилась арматура, может, её приварили, чтобы любители лёгкой наживы, охотники за привидениями, на чужой горшок разевающие роток, не выкрали из театра мантии королей, одеяния шутов, а то, гляди, и платье принцессы. И на такое могла подняться у них рука. А если среди этого отродья найдётся любитель покопаться в королевском белье? Да хоть в царском. А, может, ограждения на окна поставили не для этого. Может, в Лежачем Камне не было людишек-воришек, и до этих грошовых нарядов, как и грошовых опер, им не было дела, прямо-таки никакого дела, а решётки из арматуры поставили на окна для того, чтобы разбудить символ, или оживить его, чтобы он снова заиграл и заискрился, как тогда? Что же это за символ? Искусство недоступно, как уличная девка, оно — за арматурным занавесом, и чтобы постичь его, немало надо поработать напильником, или ножовкой по железу, как следует надо потрудиться, чтобы проникнуть в святая святых.

— Зачем поставили решётки на окна? — спросил он у человека, рассматривающего афишу.

— Политику шьёшь? — ответил горожанин и двинул прочь. Подальше от таких вопросов.

Справа, напротив театра, на том же самом месте, стоял Ленин. «Старый знакомый», — слова непозволительные. Никакой он тебе не знакомый. Кто ты — и кто он. Он — Ленин, а ты — пустое место. Правая рука вождя была по-прежнему поднята вверх, туда, в небеса. Но что-то в облике великого насторожило. Глаза его исчезли, вместо глаз были белые пятна, не иначе, голуби постарались. И, надо же, поднятая рука уже не звала на подвиг, а взывала о помощи и сострадании. И левая тоже хотела подняться, чтобы присоединиться к правой. Ильич молил о пощаде. И люди, живые люди, горожане, местные, и приезжие, сторонились памятника, старались не подходить к нему близко. И взгляд не останавливали, не задерживали… И не было поблизости человека, который бы подошёл к Ленину и поклонился ему. И подальности не было такого человека. Может, нигде не было.

Путешественник, чья куртка уже изрядно проветрилась, рискнул подъехать на троллейбусе, до автостанции было ещё далеко. Ж/д вокзал и автовокзал находились в разных концах города. Троллейбусы были заполнены до предела, выше всякого предела, и о пределах, каких бы то ни было, не думали. Точно так же были переполнены и автобусы, и электрички, и поезда, особенно же общие вагоны, где могли задавить, если слабый грудью. То было другое время. Время, которое не возвращается. И о котором многие мечтают, хотят вернуться туда. В добрый путь, друзья, шагом марш, спешите, торопитесь в золотой век. Рвите когти.

Он втиснулся в транспорт. В груду жарких тел. Мужские то были тела, или женские, не играло никакой, совсем никакой роли, ничего не играло. То были организмы строителей завтрашнего дня, тела, в которых жили робкие, задавленные души. И эти души не знали, чьи они, мужские или женские. У них не было пола. Были, правда, да, были извращенцы, которые прижимались к чужим, в уличной жизни недоступным, никогда не доступным, ногам.

— Скажите, пожалуйста, куда идёт этот троллейбус?

— Автобус это, а не троллейбус! — рявкнул доброжелатель.

— А куда? — спросили робко.

Но никто не ответил. Если один вылезет, буде всё же полегче.

Он старался не шевелиться, всегда была опасность раздавить ребёнка, и хотя кричали: «Ребёнок!», крик мог опоздать. Когда троллейбус-автобус остановился, тела, как резиновые, сжались, и нашего путешественника выкинуло, как из рогатки. Двери автобуса, а это и правда был автобус, уже штурмовали другие, свежие люди.

Автостанция была видна издали. Буквы на крыше здания были точно такой же высоты, как само строение. «Автовокзал», — гордо возвещали они. Отсюда люди уезжали во все концы света: в Старый Пруд, деревни, хутора и отдельные землянки, не обозначенные на картах, но разбросанные по всей земле, в них проживали любители экстрима и бездомные, непочтительное — бомжи, а уважительное — бродяги, или же — бродячие музыканты. Буквы на крыше здания, казалось, вогнали его в землю, оставив единственный этаж, который тоже постепенно погружался. Подоконники почти касались земли, а из окна могла высунуться рука незнакомки и выплеснуть остатки ячменного кофе прямо на грешную землю. Дверь в здание открывалась, хотя для этого и пришлось вырыть углубление в земле. Не успел он подойти ко входу, как услышал радостную весть: «Подан автобус на Старый Пруд. Есть свободные места». Тем, кто не расслышал, повторили извещение ещё раз. Ура, как говорится. Он засуетился, заспешил к кассе. Возле окошка никого не было. Удача сама просилась в руки, на руки, как малютка, у которой устали ножки.

— Один билет до Старого Пруда.

— На Старый Пруд?

— На Старый Пруд.

— В Старый Пруд?

— В Старый.

— А в Новый не надо?

— Нет, а почему спрашиваете?

— Да в Старый нет, только в Новый.

— Так только что передали по громкоговорителю.

— Передали что в Новый, или что в Старый?

— В Старый передали, два раза.

— Тогда ждите.

Он подождал несколько минут, потом ещё минутку, и тут снова объявили:

— Подан автобус на Старый Пруд. Есть свободные места.

И ещё раз.

— Слышите? — спросил путешественник у кассира.

— Ну, конечно, слышу. Я же не глухая. Видите, какие у меня красивые ушки. И слышат они очень даже хорошо. И отличают Моцарта от Бетховена, а Бартока от Малера. А Шёнберга от Нешёнберга. Не люблю я его. Вот что. Чего вы от меня хотите? Чем могу порадовать, какую службу сослужить? Чем помочь вам? Что сделать для вас интересное, чтоб замутнённый взгляд стал ясным, как стёклышко разбитой бутылки? А-а-а-а?

— Да мне билет нужен.

— Так нет у меня билетов, не-ту. Ведомости нету, понимаете. Будет ведомость, будет и билет, а без неё, без ведомости, нет в жизни счастья. И куда люди едут, куда и зачем, всё, что им нужно, может даже есть здесь, тут, прямо на автостанции.

Он почему-то покраснел. И уже ждал молча. Долго ли ждал, коротко ли, быстро сказка сказывается, да долго дело делается, ждал-пождал, и дождался-таки. По громкоговорителю объявили:

— Отправляется автобус на Старый Пруд. Пассажиров просим занять места согласно купленных билетов.

И ещё раз повторил громкоговоритель то же самое, как попугай.

— Что же мне делать? — спросил почти пассажир у кассира.

— Места есть, а билетов нет, это обычная практика. Идите к автобусу и просите водителя. Он возьмёт без билета.

— Но, может, он вам принесёт ведомость?

— Может, принесёт, а может, и нет.

— Почему?

— Её могут подписать и там, — она показала пальцем наверх.

— Это далеко? — зачем-то спросил он.

— Это — начальник автовокзала! — сказала кассир голосом восхищения и трагедии, преклонения и страсти, со сталью в голосе и медью в горле.

Проситель билета застыл, как мороженое на палочке, как эскимо, и вдруг рядом с кассиром появилось знакомое лицо. Этого водителя он знал, это был тот самый водитель, знакомый, можно сказать, шофёр. Он сунул ведомость в ручку божеству, то есть кассиру.

— Подпиши, — сказал он кассиру.

— Тут у меня пассажир, — сказала кассир рабочим голосом.

Водитель взглянул на него, и, о, ура, снова ура, узнал.

— Я не возьму его, — сказал он кассиру.

— Почему? — сделала она глазки. Они были прекрасны.

Шофёр, водила, наклонился прямо к уху, к этому чудесному, неповторимому ушку и что-то шептал в него, горячо и нагло. Кассир, после того, как шёпот закончился, сочувственно посмотрела на путешественника, но никак не пассажира, и произнесла:

— Не судьба.

Водитель, с подписанной уже ведомостью — он размахивал ею, как флажком, будто чернила сушил, двинул к автобусу, к своей альфе и омеге, к своему кредо, к своей крепости, чтобы закрыть ворота, поднять мосты и прощай, прощай, окружающее пространство, прощай чужое, незнакомое, у нас есть своё, а то, что снаружи, и даром не надо, уже почти поднялся на ступеньку, как услышал жалкое:

— Дяденька?!

Или, может, ему показалось, что позвали так, но его отвлекли, ему помешали, одной ногой он был уже в пути.

— Не возьму, — отрезал или отрубил водитель.

— Но почему?

— Ты жалел стариков, вот почему.

— А что, нельзя?

— Нет. Запрещено. Категорически. Ты жалел и сочувствовал. Ты продашь меня за медный грош.

— Так вы не возьмёте меня?

— Только через мой труп, — сказал он.

Вес трупа был центнера полтора.

— Что ж, поеду следующим автобусом.

— Это исключено, — сказал водитель, — тебя никто не возьмёт.

— Меня узнает любой водитель?

— Каждый шоферюга. Я — мастер портретного жанра.

— Так что ж мне делать?

— Идти пешком.

— Сто пятьдесят вёрст.

— Сам виноват. Характер надо воспитывать. Надо заставлять себя. — Он, водитель, похлопал путешественника по плечу, почти по-отечески, — а теперь и в путь.

Автобус зарычал, рявкнул, оскалил зубы, выбросил из под копыт ком земли, кусок асфальта, и рванул на Старый Пруд.

Он повесил сумку на плечо и отправился вслед за автобусом. Где-то там, в чужом, незнакомом краю, его ждала кровать и работа, с большим, большущим чёрным ртом. Где-то там его ждали. Кто и что? Это было уже не важно. Никто и ничто. И туда оставался всего один переход.

Он зашагал туда, вроде домой, без особой охоты, надо же было куда-то идти, там его ждала работа, зачем-то надо было трудиться, чтобы кому-то хорошо жилось, может, родине, с волчьим оскалом, а может, каким-то людям, которым всегда было мало, всего было мало. Его взяли на подводу, которая догнала его по пути. Старик с седой бородой, больше похожий на гнома, чем на человека, направлял лошадь туда, где и полынь сладка, в телеге сидели двое: пастух и пастушка, они пили эль и нектар, и закусывали, чем бог послал. После того, как напитки освободили их от предрассудков, порвалась ненужная связь между ними и окружающим миром, замелькали части их красивых тел, а гном запел свою бесконечную песню о любви минутной, а не вечной. Высыхают источники, и кончается

влага в них, только жалкое желание продолжить род остаётся в теле, а души остаются холостыми, как патрон без пули, как лужа после дождя, испаряется любовь. Кому пел песню старик, было неясно, то ли лошади, то ли случайному спутнику, но, скорее всего, пел он для себя, потому что настоящие слёзы выступили у него на глазах, и он не корил своё сердце за это, не стегал лошадку кнутом и не добавлял чужую сталь в голос.

— Как вас зовут? — спросил его путник.

— Иммануил Кант.

— Редкое имя для этих мест. Так сразу и не выговорить.

— Тогда зови меня Рихард Вагнер. Как хочешь, так и зови. Нас тут двое, и как бы ты ни говорил, я догадаюсь, что обращаешься ко мне.

— А пастушки?

— Это не пастушки.

— А кто же?

— Не ведаю. Подобрал их, как и тебя.

И гном вдруг замолк. И не пел, и не говорил. Задумался, что ли. Пастушки — не пастушки лежали в соломе, из неё выглядывали ноги, руки, уши. Телега на резиновом ходу шла легко, как лодка по воде.

Он снова шёл пешком, потом его вёз горевелосипедист на багажнике, и каждая сотня метров давалась рулевому с трудом, они почему-то то и дело падали. Какую-то часть пути он осилил вместе с процессией, то ли свадебной, то ли похоронной, так и не выяснил, потому что шёл в хвосте колонны, которая свернула далеко впереди. Но и последним рядам раздавали гостинцы, и он не только подкрепился, но и взял про запас. Выяснилось, что можно жить и так, путешествуя, побираясь, двигаясь без цели — идти куда-нибудь, искать свой путь, свою дорогу. Только не останавливаться. Ночевать ведь негде.

Рано или поздно подошёл он к Старому Пруду, городок раскинулся под горой и вокруг холмов, место было выбрано так, что и посмотреть есть на что, но дома вдали не затронули струн его души, не задели, не зацепили. Поэтому он двинул на автовокзал, чтоб почувствовать прибытие сюда, где только и оставалось кем-то подготовленное место для него, нужного винтика в ненужном механизме. На автостанции было прохладно. И на ветру стояла красавица в длинном плаще. Это Дуся встречала автобусы. На одном из них должен был приехать её суженый. У Дуси уже было другое имя, по-другому нарёк её наречённый, но взгляд её светился любовью, единственный такой взгляд во всей округе, он, конечно, скоро погаснет, но вот светился. Путник, окончивший путь свой, заметил этот взгляд, и в нём пробудилась надежда на что-то такое этакое, о чём он когда-то думал-передумал в ущерб, в убыток нормальному развитию общественного индивида, нужной единицы. И он подошёл к красавице, пока ещё не красотке, чтобы завести с нею знакомство. Во какой?!

— Что вам надо, молодой человек? — Дуся обдала его таким холодом, что озноб пошёл, влюблённость её тут же скрылась в глубине, а лёд взгляда заморозил любителя познакомиться на улице, на ветру, невзначай увидел сокровище и тут же протянул руку. Сколько вас таких?! Нет, это был не влюблённый взгляд. Это ему показалось.

12. Наказание

— Что вы тут делаете?

— Мы соскучились по отчему дому, — винился Адам.

— У нас ностальгия, — сказала Ева.

— Не верю ни капельки.

— Нас сюда прямо-таки тянуло, — сказал Адам.

— Мы совсем истосковались.

— Змия хотели посмотреть.

— Вас проведать.

— Попробовать с того дерева, что даёт долголетие, — слетело с языка у Адама.

— С дерева жизни? — спросил Господь.

— Мы хотели только пожевать, а потом выплюнуть. Не глотать, а попробовать, какое оно на вкус, — Адам понял, что проболтался.

Да и змий, как назло, захохотал некстати.

— Как, ты выучился врать? — удивился Бог. — Я тебя учил этому, Адам?

— Ева учила.

— И вы с ней захотели стать таким, как я? Да?

Муж с женой молчали. Воды в рот набрали.

— Бессмертия захотели?

— Это Ева виновата, — признавался Адам. Он так и не выучился врать, как следует. Рано или поздно говорил правду. Это была его слабость. Она, конечно, мешала всяким житейским делам, но без правды ему не было жизни, рано или поздно он говорил её, признавался. Выдавал и ближнего и дальнего, и себя.

— Ну вот, таким брехунам дать жизнь вечную. И что будет? Правильно ли это, скажи, Адам?

— Не знаю. Неправильно, конечно. Но умирать так не хочется.

— А надо, дружок, — сказал Бог. — Но и это ещё не всё. Я ещё и накажу вас, как следует. Понял?

— Как не понять?

— А как вы сюда попали?

— В рай, что ли? — вмешалась и Ева. Ей не дали яблочка, и она так и горела вся. Любому готова была глотку перекусить. — Да сюда любой может попасть. Заходи — не хочу. Там дырка в заборе, слон может пролезть.

— Не врёшь ли, дочь моя? — ласково успокаивал её Бог. Он знал, что не остановишь её, лиха не оберёшься.

— Дырища метр в обхвате.

— Вижу, не врёшь. А как она там появилась, не ведаешь?

— Нам один из ваших помог, — поддержал разговор Адам.

— Дурак ты, — сказала ему Ева. — Теперь нам сюда не попасть никогда. Дурак круглый. Зачем Вы мне дали такого пустомелю? — обратилась она уже напрямую к творцу. — Ты понимаешь, что теперь нам конец. Зачем ты Богу сказал, что нам помогли? Ты что, идиот?

— Так разговор пошёл по душам, я и признался.

— И кто же из ангелов помог вам?

— Который с длинным хвостом, — сказал Адам.
— Он вам открыл вход?
— Нет, он показал, где можно раздолбить стену.
— И ты справился?
— Она поддалась сразу, так и рухнула. Я только стукнул, и вход открылся. Вместо бетона там слабенький растворчик, только надо знать место.
— Хорошо, Адам, накажу вас умеренно, немножко. Может, вы и не заметите, как. А если заметите, то не сразу.
— Я тебе говорил, что он хороший! — сказал Адам жене. — Видишь, мы почти прощены.
— Прощены, прощены, не спеши, прощелыга, — Адаму достались остатки ярости. — Дома посмотрим, чем нас одарили. Придурок.
Бедный Адам.
— Как же вас наказать? — рассуждал Господь. — Наслать какую-нибудь заразу, какую-никакую, лучше никакую, или отобрать что-нибудь? Какая кара будет для вас подходящей?
— Не надо кары, Господи! — испугался Адам.
— Прости нас! — расчувствовалась и Ева.
— Женщина, — изрёк Господь. — Как и было задумано.
— Так простишь? — взмолил Адам.
— Пожалей нас, Всемогущий! — прорвало и Еву. Казалось, она кается, так голосила.
— Да пожалеть-то можно, — согласился Бог.
— Так в чём же дело? — напирала Ева.
— Пожалеть можно, простить нельзя.
— Но почему же? — Ева, казалось, собирается рвать волосы, на самом же деле она распушила их, чтоб показать, какие они красивые.
— Почему, Господи? — подпевал и Адам.
— Не принято, дети мои, — господин их, заметили они, не удержал слезу, она упала и скрылась в райской траве.
— Тогда накажите немножко, — предложил Адам.
— Маленечко, — подсказывала и Ева.
— Да и я об этом думаю, — согласился Господь, — так наказать, чтоб вы и не заметили, и не почувствовали, чтоб и не больно, и не повадно.
— Лучше повадно, — строила глазки Ева.
— Но не больно, — помогал мысли Всевышнего Адам.
— Придумал! — возликовал Господь. — Что значит я, Творец. Повелитель всего живого и неживого, прародитель всех мыслей, всего мыслимого и немыслимого, ура, ура, придумал кару вам по делу вашему, по заслугам вашим и проступку вашему.
— Ура, ура, — радовались Адам и Ева.
— Чтоб ноги вашей больше не было в этом месте, в раю моём, из которого я изгнал вас давным-давно, наказываю вас, грешные мои, не грешные, но согрешившие, наказываю легко и безболезненно, и не почувствуете сразу, и не заметите невзначай, ура, ура!
— Да наказывайте уже быстрей, — не терпелось Еве.
— Ах, женщина, — радовался господь. — Как младенец.
— Накажи, Господи, — вторил Адам жене своей.
— Ах, Адам, Адам, подкаблучник ты неисправимый.
— Что же это за кара, Господи?
— Заберу восьмое чувство, — раскрыл карты Всевышний.
— Какое оно, Господи? — спросил Адам.
— Мы не знаем, — сказала Ева.
— Нам ведомо пять, — держал ответ мужчина.
— Мне — шесть, — сказала женщина.
— Какое шестое, скажи Ева? — спросил Адам.
— Когда чуешь опасность нутром и избегаешь её, в последний миг, не зная, как это получилось.
— Молодец, Ева! — похвалил Бог. — Недаром ты главная в семье.
— А седьмое что? — спросил Адам у Повелителя.
— Да почти то же самое. Догадка. Интуиция. Просветление мысли. Прорыв в незнаемое. Уразумели?
— У меня было такое один раз, — сказал Адам. — Когда садил картошку. Вдруг мне мелькнуло разрезать её пополам.
— И у меня было два раза, — соврала Ева.
— А восьмое, Господи? — с надеждой спросил Адам.
— Не скажу, — изрёк Бог.
— Может, мне скажете? — Ева так и стелилась.
— Нет, Ева, зря стараешься. Не положено, не принято, не скажу. Пора вам, дети мои, и на грешную землю. Да и у меня дела есть. Плодитесь дальше, — напутствовал их Господь.
— А можно выйти через главные ворота? — попросила Ева.
— Идите, ибо люблю вас.
«Как же они теперь будут жить, без восьмого-то? — подумал Бог. — Может, не надо было так сурово? Ладно, пускай. Да и чего убиваться? Заслужат, верну. А сейчас пока поживут так».
С высоты он посмотрел на землю. Ничего там не изменилось. Внуки и правнуки Адама шевелились внизу, проливали пот. Никто не жалел о восьмом чувстве. Таких не было.

13. Человек в трамвайном стекле

Трамвай бежал, стуча всеми колёсами, и каждое старалось перестукать другие. Внутри было шумно, и люди говорили громко, кричали, выражались ярко, колоритно, сочно, насыщенно, на речь норм не имелось, но правила были: курить и гадить запрещалось, не то, что в лифте. Человек, едущий в трамвае, спешащий домой, к семье, к теплу, а, может статься, и к свету — символ. Всего самого незыблемого, самого надёжного, самого несокрушимого. Чего-нибудь может и не быть в жизни, на самом деле, явления может не быть, но символ должен светить человеку днём и ночью. Это — фонарь, освещающий дорогу в тёмном, сыром подвале. Без символа человек не может. Есть он, и уже как-то легче, уже стоит стаптывать сапоги и босоножки, портить воздух и засорять землю. И загаживать воду. И делать всё то, что другим, может, и не нравится. Есть символ — есть и человек.

Трамвай увозил людей, нет, не людей, скорее трудящихся, с завода. Что они там делали, чем занимались, никого не интересовало, ни тех, кто зарабатывал себе на хлеб, ни тех, кто управлял ими. Начальникам и патронам грели сердца большие

деньги и сладкая власть, вместе с другими наслаждениями жизнь их была более цветастой, чем у неполноценных тружеников. Автоматические ворота распахивались, и оттуда вырывалась масса людей, как масса воды. Справа и слева от ворот стояли торговцы всем, что покупалось. Торговали и закуской, но самым ходовым товаром были жидкости в бутылочках, те же мерзавчики, ноль пять классические, ноль семь авангардные, андеграунд один ноль, двухзарядные наповалки, и только трёхлитровые банки временно утратили популярность, в эту бессмертную тару теперь закупоривали огурцы да помидоры.

— Бутылочку палёной, бабушка.
— Палёной нету, вся сортовая.
— А что ж так дёшево?
— Так ворованная ж, сынок.
— А то все пугают палёной.
— Так им же с этого прибыль. С вашего брата.
— Вот сволочи!

Торговцы стояли в очереди, одни уходили, другие подбегали, услужливо предлагая всё, необходимое человеку. Они заметали следы, сумки их были похожи на сумки заводчан, а почему? Потому что армия людей во фраках и цилиндрах, с надписями на спине «Рано встаёт охрана», вылавливали людей торгующих (да каких там торгующих — почти бесплатно отдающих); к этим — неизвестно, что охраняющим — людям присоединялись и другие — тоже со зверскими лицами, но уже в котелках и костюмах, у них на спинах было загадочное «Защита», они тоже ловили несчастных бабулек, хватали их за одежонку, потрошили, как кур, которым надоело нести яички. Эти охранники были сущие звери, и только иногда трудящиеся, словно сговорившись, а, может, и сговорившись, но об этом нельзя говорить, потому что сговорившихся лишат куска хлеба, так вот эти люди сметали со своего пути защитников-изуверов, и тех откидывало в стороны, как щепки, они картинно отлетали и, бывало, плюхались на асфальт. Жаль, редко.

Человек-символ ехал домой в трамвае. Как он добрался до трамвая — пара сотен метров — сказать, конечно, он бы не сказал. Его непослушные конечности, они называются ноги, лежали тут же, рядом, они свисали с сиденья, а он, человек, был на сидении, кто-то посадил его на эту скамью, а, может, он и сам сел, теперь уже не скажешь, это уже в прошлом. Он ехал домой к своим ненаглядным цыпочкам, он даже знал, как их зовут, даже не забыл, их было двое, и старшенькую он точно помнил, а в имени младшенькой вот почему-то сомневался, но он узнал бы её, вот только покажи ему их, он сразу узнает, чтоб не узнать родную кровь, быть такого не может. И дом свой, и квартиру свою он найдёт запросто. Несмотря на то, что все дома так похожи. Если не с первого раза, то со второго. Или, по крайней мере, с третьего. Он помнит эти красные кирпичи возле подъезда. И этот острый угол, который каждый раз метит ему в правый висок. Но до этого знакомого угла ещё надо добраться, собрать в кулак волю и всё мужество, надо преодолеть несколько канав, может, это одна и та же канава, а, может, и нет, не время рассуждать, время — вперёд. Он возьмёт эти канавы, будь их три или тридцать, он одолеет это не поддающееся мысли пространство и достигнет цели. Так будет! И после того, как откроются врата, то бишь, отворится дверь его дома или квартиры, после того, как бабочка прилетит к месту, куда и направила взмахи крылышек своих, можно обо всём забыть. Сила мысли ушла на барьеры и преграды, мысль кончилась, теперь вечный сон, до завтра, до следующего утра.

Человек сидел в трамвае, спинка сидения то и дело била его по затылку, больно, но он терпел эти удары, потом кресло брыкалось, как живое, и выбрасывало его из седла. Кто-то добрый и надёжный усаживал его обратно в это кресло-качалку, вместе с туловищем подтягивая и ноги, но раз за разом он выскакивал из насиженного места, казалось, сам сатана выкидывает его, сбрасывает наземь за какие-то чужие грехи, чужие прегрешения. Но вот! Он увидел перед собой спасительную дугу переднего сиденья и уцепился за неё. А руки у него были сильными, крепкие ручищи. Не раз и не два они выручали его. И он невольно улыбнулся. Ему тоже улыбнулись. Это был приятнейший человек, с приятнейшей улыбкой. Он его уже где-то видел. Где-то он уже видел его. И что-то в нём ему нравилось, нравилось больше всего на свете. Человек в стекле ещё улыбнулся, он растянул губы, боже, он узнал его — это ж он сам, этот гомо сапиенс. Самый дорогой для него человек, самый лучший, такой чудесный, здесь, среди этой темноты за окном трамвая; темнота двигалась, неслась, но ему не было дела до неё, им не было до неё дела, это слишком далеко, вдвоём им было так хорошо, как хорошо не бывает, им больше никого было не нужно для небывалого счастья, которое нахлынуло на них, и, может, даже затопило, хватало этого небольшого клочка пространства, и свет в трамвае не мешал, они не замечали его, им не было дела до мира и до людей, совершенно никакого дела, они блаженствовали вдвоём, тот, в стекле, и этот, на сидении. Всё, что нужно, было с ними, было здесь. Что-то небывалое и необъяснимое, чего раньше он не знал, этот, на сидении, нахлынуло на него, накрыло этой волной, как водой, потому что дышать стало трудно, он волновался. Он не мог бы объяснить словами, что это было, но он догадывался, что именно он более счастлив, чем тот, на стекле, и он потянулся передать часть чувств тому, что смотрел на него так же любовно. Он поцеловал его, и двойник ответил ему взаимностью. Не подкачал. Не обманул. Не подвёл.

14. Полёт

Он стоял посередине сквера. Когда-то это была посадка, выкорчевать все деревья строители так и не смогли. «Будет парк», — сказал прораб. Так и вышло. Люди к этим остаткам были равнодушны, зато собаки при любом удобном случае ныряли под деревья, палили стволы. Но растения не сдавались и гордо смотрели в небо. Весной они одевались в листья, а осенью бросали эти листья алкоголикам,

которые частенько собирались здесь, под ноги и собакам под лапы, с надеждой на новую жизнь.

Он не двигался и не шевелился. Сначала исчезло время года. Наверное, это была золотая осень. Когда легче всего раствориться в природе. Упавшие листья отражают золото в небо, вместе с этим золотом и ты сам как будто улетаешь туда, в вышину, ты и здесь, и там, нигде сразу. А потом остановилось и само время. Не надо было ничего чувствовать. И мысли застыли. Остановились. Птицы в вышине не махали крыльями, и солнечные лучи не падали.

Но миг блаженства всё же стал проходить, не застыл навечно, как того давно уже хотелось, жаждалось, вожделелось. Прежде чем он подумал, кто же это пустил ходики, как стало ясно, кто. На остатках скамеечки, на чудом оставшейся палочке-планке, куда выпивавшим здесь от горя завсегдатаям лавочки, так удобно было ставить посудку, стаканчик, который они прятали рядом со скамеечкой, тут же, в кустике, и он всегда был под рукой, заговорили, закричали кухонными голосами две малюсенькие девочки, при таком росточке им позволительно было ещё и не говорить, ну, там пару-тройку слов, мама, папа, пипи, дай. Но, вместо мама, они с плеча, это, конечно же, было детское плечико, рубили отчаянное мать, и перед словечком мать, и после этого словечка выражались гранёно, многогранно, выспренно, дерзко. Слов они знали великое множество, и в классических словосочетаниях, и в сотворённых на ходу, и слова эти катались у них во рту, и выскакивали наружу, в пространство сквера огненными языками. «Убийственно», — подумал он, услышав полфразы, без начала и без конца. Но душа, дав махонькую трещину, успокоилась. Ужас не погнал в глубины подсознания, прежние витиеватые мысли вроде «начало это жизни или всё же конец», не тронули его, не стали сверлить голову, и он посмотрел на детишек снисходительно, как на чужую могилу, не осуждал ни их, за что же их, крох, ни никого другого.

«Как бы исчезнуть, — подумал в который раз, — безвозвратно».

— Да это запросто. Пара пустяков, — подумалось чужими словами. Или это кто заговорил. Голоса в голове появились.

— Не голоса, это — я, — сказал милейший кто-то, присевший на скамеечку так удобно, как будто она была совершенно целой.

Он посмотрел на милейшего. «Нет, ничего не говорил».

— Нет, говорил, — сказал на лавочке, не открывая рта.

— Это вы разговариваете со мной? — спросил без опаски.

— А то кто же?! — поднял и так высоко поднятые брови собеседник.

Лицо у него было чистое, красивое, без морщин, какое-то идеальное лицо, а взгляд — и говорить нечего о взгляде, почти как у Дуси, а, может, далеко-далеко было Дусе до этого взгляда, взгляд её — пшик в с сравнении с этим взором, глядящим вовнутрь, не только тебя, жалкого червя, но и всего сущего. «Во какой это был взгляд», — сказал бы кто-нибудь, кто ещё верил в людей, у кого осталась хоть капля веры в них, а у кого не осталось этой капли, ничего бы не сказал.

— Так будем исчезать? — спросил собеседник.

— Да я боюсь.

— Это устранимо.

— Да?!

— Ощупай себя.

Он ощупал.

— Уже не страшно, ваша правда.

— А как это? — спросил он, не сгорая от любопытства, но всё же не веря.

— Классически, — ответил добродушно, приятельски, сидевший на палочке. Он даже раскинулся на этой палочке. Казалось, не бывает лучше места посидеть.

— Кто Вы? — спросил он. У случайного собеседника спрашивать можно было всё, что угодно. Это он понял сразу. Ещё он понял, что тот читает его и мысли и даже малейшие желания. Как букварь.

— Я — посланник, — несколько торжественно объявил его приятель. Он уже стал не только приятелем, но, наверно, и другом. Мысли и чувства он не только отгадывал, он одобрял их, вызывая восторг в душе.

Посланник не торопился. Он почти прилёг на палочку, было удивительно, как это возможно.

— Может, я что забыл здесь, может, чего не понял?

— Ничего здесь нет, — вдруг заволновался посланник. — Прямо-таки ничего! — голос его стал хриплым. — Здесь — пустыня! Всё вокруг — одно и то же, все — одинаковы, одни и те же! Как ты этого не понимаешь? — Посланник сначала посерел, но лицо его оставалось красивым, потом он прямо-таки почернел, стал чёрен, как негр, но прекраснейший негр. — Ты ж это знаешь! — Он посмотрел в глаза смертному, глаза в глаза, и за этот взгляд можно было отдать не только жизнь, шарканье стоптанными сапогами по асфальту и грунтовке, но всё, всё, на что способен, и на что не способен, все помыслы, дыхание, порывы и стук сердца. — Если б ты не понимал этого, я бы не явился! — Лицо говорившего снова стало светлеть, какое-то время оно оставалось возбуждённым, но не красноватым, а сероватым, а потом опять побелело. — Так летим?

— Конечно!

— Другое дело, — твёрдо молвил и посланник. — Делать здесь, разумеется, нечего.

— Прямо сейчас?

— Как хочешь. Можно и сейчас. Но лучше — ночью. Когда никто не видит, и главное чтоб люди, люди чтоб… — перешёл он на шёпот.

— А как будем взлетать?

— А вот так!

Собеседник посмотрел вокруг, даже как бы осмотрелся, и дунул, почему-то носом. Девочки, которые всё ещё были здесь, как-то дико оглянулись, потому что на них пахнуло ветром, закрутило

и завертело, подняло и их лёгенькие пальтишки, и платьица под пальтишками. Показались детские ножки в тёплых колготочках. Малюток, а именно такими они и казались, оторвало от земли, они пищали и цеплялись руками за воздух, ни спасительной скамейки, ни ветки дерева не оказалось рядом, подняло над землёй — вихрь был послушным, как будто сотворённым знатоком — покрутило, повертело, и снова опустило на землю. Теперь они пищали уже от радости. Восхищение они выражали всё теми же словами.

— Вот так и полетим, — повторил собеседник.

— С земли? — спросил человек.

— Как хочешь. Но лучше с крыши высокого здания. Оттуда — легче.

— Меньше притяжение?

— Да, по лорду Ньютону.

«Верить иль не верить?» — подумал приглашённый.

— Верить иль не верить, — добродушно передразнил его посланник. — Веришь же.

Посланник сидел рядом, говорил с ним, и у него было лицо, как у человека, и голос как голос, но запомнить это лицо никак не удавалось. Ни голос не задерживался в памяти, ни интонации, такие разные, ни тембр.

— Так летим? — спросил ликующе.

— С радостью!

Сначала появились сумерки. Но они кончились враз. Темнота сгущалась. Наступила ночь. На четырнадцатый этаж поднялись легко и быстро. Как на второй. Посланник был вынослив, как марафонец, часть этой выносливости перешла и к человеку. Это — несомненно. На крышу взлетели быстро.

— Упал он, что ли?

— Нет, прыгнул. Посмотри, как расправлены руки.

В вышине летали души. То были птицы, и, может, кто-то ещё. В Старом Пруду в это время было утро.

ДиН стихи

Марина Чешева

В ангельском рюкзаке

дверной глазок заклеен полумраком
ты просишь заглянуть за эту стену
там голоса смердящим снегопадом
ведут в огонь прекрасную Елену
там смерть стоит пузатым коридором
проглатывая звуки фортепиано
там у романа с мраморным узором
седой Онегин выиграл Татьяну
там наши дети топчутся под дверью
горстями ягод яблок и разлуки
а ты кричишь и плачешь: я не верю
тогда взгляни на собственные руки

смыкая губы в тонкую дугу
пока дремали глиняные боги
я прогибала радиоволну
в тугие и бессмысленные строки
слетаясь над антенной тишины
толкаясь и дразнясь на три-четыре
из горла голубиной глубины
со мною говорили-говорили
две с половиной жизни подарили
и обе тянут к илистому дну
так вот что, дорогие, мы в эфире
не оставляйте здесь меня одну

вечереет дом на дне деревянной руки
лебединые дни просыпаю на край реки
пеленаю глиняных кукол под купол рта
прилетают звёзды из чистого серебра

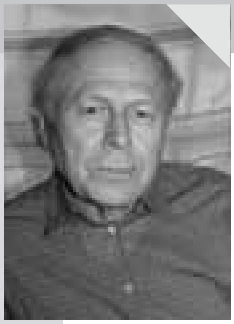
и пшеничный пёс приходит как надо в срок
языком с лица собирает речной песок
закрываю глаза волосами врастая в лёд
начинаю по кругу то есть наоборот

лёд гниёт и тонет гонит меня домой
пеленаю рот одной деревянной рукой
языком собираю звёзды с покатых лиц
и речной песок вымывает прозрачных птиц

медленно-медленно птицы едят с руки
проваливаются в ладони
высыпаются из груди

молится тихий голос с пятого этажа
в синие дёсны улиц
смотрятся сторожа

чёрные зёрна печали люди несут в себе
мир засыпает с миром
в ангельском рюкзаке



Александр Астраханцев

Не такая, как все

Она была самой стройной и красивой на курсе: ей говорили это в глаза сокурсники и завидовали девчонки в группе; за ней постоянно увязывались проводить после занятий самые активные ухажёры курса, угощали мороженым и шоколадками, дарили авторучки и записные книжки; самые денежные водили её в кафе, а самые разговорчивые заявляли ей о своей любви. А один насмешник прозвал её принцессой Пирлипат, и кличку подхватили. Она охотно принимала эти знаки внимания как должное, но большего: поцелуев, поползновений запустить руку, куда не надо, предложений «красиво провести время», — не позволяла, в душе слегка презирая их всех как «ничто» и «пустой шлак», потому что они, пусть даже некоторые из них и с денежными возможностями, — всего лишь студенты, а ждать, когда кто-то из них станет достойным её внимания, — долго и потому бесполезно. Да и едва ли когда-нибудь они станут достойными: учится здесь отнюдь не элита, и вряд ли из них получится что-то путнее. Сама-то она — другое дело: у неё — внешние данные, и когда она получит диплом, то инженером, как они, ни одного дня работать не станет — пойдёт дипломированным секретарём директора в престижную фирму, только затем, чтобы стать женой если не самого директора, так хотя бы какого-нибудь солидного фирмача — на меньшее не согласна ни при каких обстоятельствах, это она знает точно и потому бережёт себя для будущего мужа. Ухажёры-сокурсники тоже это знают и потому махнули на неё рукой как на безнадёжную. А ей плевать.

А сегодня — совсем *смехатура*: приклеился салага-второкурсник, вообще *муха не нашего огорода*, смазливый и самонадеянный: столкнулся с ней в раздевалке — поди, нарочно подкараулил? — толкнул её, вроде бы невзначай, и сюсюкнул сладенько:

— Эскюз ми плиз, красивая!

Она, не глядя, бросила в ответ: «Гоу ту хэл!» — и пошла себе на выход. А тот решил, видно, что она уже у него в кармане — успел догнать на улице и, возбуждённо припрыгивая возле неё, зачирикал воробышком. О чём? — да о том, конечно, какой он молодец: давно приметил её, и вот он — рядом с ней! И она его не прогоняла: привычно уже, чтобы кто-то рядом чирикал.

Стоял сентябрьский день, рыжий от листопада, по-летнему ещё тёплый, с улыбчивым солнцем; однако улыбка у солнца была кисловатой, напоминая, что скоро эта *лафа* кончится и осень начнётся всерьёз.

Её эта солнечная улыбка не обманывала — она прекрасно помнила, что холода — на носу и к ним надо готовиться: одеваться и обуваться про запас… По крайней мере, её мысли сейчас занимали осенние сапоги, которые надо как-то изловчиться купить — а на какие шиши? На стипендию, что ли, которая лежит в сумке, только что полученная?.. Опять, видно, предстоит идти с отцом на рынок за самой раздешёвой китайской дешёвкой; отец примется при этом ещё и унизительно торговаться за каждый рубль…

А спутник её тем временем, когда поравнялись с кафешкой, в которой вечно толклись студенты, уже этак по-хозяйски взял её под руку и, отвлекая от невесёлых мыслей, царственным жестом позвал в кафе:

— Зайдём, посидим?

«Ишь, разгулялся! — усмехнулась она про себя. — Тоже, поди, со стипендией в кармане?..» — ох уж эти ей студенческие загулы с соком и кофе, от которых после шестичасовых бдений только сильней жрать охота… Впрочем, что с него возьмёшь?.. Но и помурыжить самонадеянного воробышка — большой соблазн.

— А давай-ка сначала во-он туда заглянем? — скромно предложила она, давая понять, что кафе от них не уйдёт, показав при этом на фирменный обувной магазинчик, который располагался в следующем доме. Этот проклятый магазинчик вечно стоял у неё на пути к трамваю, на котором она ездила домой, и она вечно не в состоянии была преодолеть соблазна зайти туда и хотя бы поглазеть на приличную обувь, а иногда даже нагло взять с полки, натянуть на ноги что-нибудь сногсшибательное и крутануться перед зеркалом… Смазливый юный парнишка, продавец женского отдела, уже знал её, дружески кивал ей и улыбался, и позволял напяливать на себя туфли и сапоги, прекрасно зная, что та лишь покрасуется и ничего не купит.

Попутчик её слегка скривился, но покорно за ней пошёл.

В отделе женской обуви на полке для обуви её размера она чуть ли не с порога увидела те самые сапоги, о каких мечтала, какие только ей снились — узкие, высокие, с тончайшими, под золото, солнечно сияющими металлическими каблуками, с золочёными же пряжками, с цепочками, охватывающими голенища, и сразу их узнала: они! Сердце её дрогнуло в смятении; она, ничего уже не видя вокруг, прямиком прошла к ним, решительно взяла их, тут же, стоя, не садясь на скамеечку, нетерпеливо скинула свои растоптанные ненавистные туфли с толстыми каблуками, влезла в сапоги, вжикнула молниями, распрямилась, покачивающейся упругой походкой прошла несколько шагов к зеркалу,

не отрывая от себя алчного взгляда, затем повернулась на сто восемьдесят, вернулась обратно и, даже не повернув к попутчику головы, продолжая смотреть на себя в зеркало, спросила небрежно:

— Ну, и как?

Тот, чуя подвох и смущённо улыбаясь, только и смог, что выдохнуть с восхищением:

— Отпа-ад!

Сапоги стоили больше четырёх стипендий.

— Подари? — бросила она ему насмешливо. Этим трюком она изводила самых назойливых: напялить на себя в магазине самую дорогую вещь, предложить ухажёру подарить её ей и смотреть при этом, как у того растёт в глазах отчаяние, лицо напрягается в поисках достойного ответа, и — как тот поскорее ищет повод от неё отделаться… Этот ничем не отличился от прочих: такое же отчаяние в глазах. А лукавый парнишка-продавец, поняв ситуацию, — будто плеснул бензинчику:

— Последние — быстро партию разобрали!

Она не очень-то ему поверила: все они так говорят, — и всё же, снимая сапоги с чувством безнадёжной потери приросшей к сердцу вещи и уже с презрением глянув на попутчика, робко взмолилась перед продавцом, просительно глядя ему в глаза:

— Можно, полежат до утра? Я их обязательно возьму!

— Для вас — конечно! — растянул рот в улыбке паренёк. — Но — только до утра! — он глянул на часы — шёл четвёртый час пополудни — затем вынес из-за полок белую длинную коробку, бережно сложил в неё сапоги, черкнул что-то на ней карандашом и унёс.

Ей почему-то верилось, что чудо свершится: завтра утром эти сапоги будут у неё! — хотя понятия не имела: как, каким образом?

Она ещё раз улыбнулась продавцу и пошла прочь из магазина с таким независимым видом, будто ей уже неинтересно: тащится сзади попутчик — или уже слинял?.. На улице он догнал её, невнятно бормоча:

— Ты извини, я совсем забыл: мне надо было на консультацию остаться! Правда-правда, я не вру!

— Вали, консультируйся, — бросила она ему не глядя — ей было совершенно неинтересно, куда он сейчас побежит: обратно ли в институт — или совсем в другую сторону?

Сойдя на трамвайной остановке в своём районе, она направилась наискосок через небольшую пешеходную площадь с сухим, вечно неработающим фонтаном посреди этой площади, куда прохожие бросали мусор: пустые бутылки, пакеты, обёртки от мороженого, огрызки яблок.

Место злачное — вечно здесь толпится народ: по обеим сторонам площади тянутся пивнушки, закусочные, киоски с мелким товаром, в том числе и с музыкальными кассетами — оттуда постоянно доносится рёв разухабистой музыки. Здесь же продаётся с лотков мороженое, пирожки, детские сладости; когда-то, когда ей было десять, двенадцать, пятнадцать, она сама любила толочься здесь, в этой толпе, встречаться с подружками и пацанами, грызть мороженое, покупать кассеты и глазеть на портреты поп-идолов в стеклянных витринах музыкальных киосков; тогда её тянуло сюда, как магнитом, — здесь было весело, и столько всего интересного! А теперь здесь толчётся новое поколение юнцов, и, проходя мимо, она, вспоминая ту себя, в то же время с презрением смотрела на новых юнцов, на жалкую простоту и убогость их удовольствий.

Когда она пересекала площадь, её обычно замечали, кричали вслед что-нибудь озорное, лестное или обидное, а ей — до лампочки: привыкла, — только выше поднимала голову и чётче — как на параде — перебирала ногами, нарочито отделяя себя от крикунов.

Всю дальнюю сторону площади занимал универмаг с рядом распахнутых стеклянных дверей; чтобы войти туда, надо подняться на три ступеньки. А чтобы срезать путь домой, ей приходилось подниматься на эти ступеньки и заворачивать за угол универмага. Каждый день, туда и обратно. Впрочем, что ей эти ступеньки? — она взлетала на них единым махом.

Рядом с крайней стеклянной дверью — там, где она проходила, — сидел обычно калека, серо-грязный, заросший волосьём горький пьюха с шапкой на грязном асфальте. Сидел каждый день, зимой и летом. Если только не валялся где-нибудь тут же, пьяный. Время от времени они сменялись. Она привыкла к ним с детства — ещё когда ходила здесь за руку с мамой; мама давала ей копеечку, и она со смешанным чувством страха и трепета, жалости и сострадания подходила, не дыша, к калеке, бросала копеечку в шапку и стремглав убегала обратно, к маме. Страх вызывал жуткий вид калеки; но трепетала она ещё и перед тайной чужого несчастья и страдания… И, привыкнув бросать, бросает до сих пор, уже машинально. Нет денег — так хоть самую малую мелочь, а есть — так и крупную монету.

Однако с некоторых пор здесь стал сидеть довольно молодой инвалид, безногий, и — с багровыми культями вместо рук; правда, на одной культе торчал уродливый большой палец, но одинокость пальца лишь усиливала впечатление их уродливости.

Инвалид обращал на себя внимание чисто выбритым лицом, приветливыми глазами и камуфляжной военной униформой, из-под которой виднелась на груди полосатая тельняшка; он всегда был трезв, и на асфальте перед ним лежала не грязная шапка, а чистая картонная коробка — видно, ему её ежедневно давали сердобольные универмаговские продавщицы; и сам он сидел на толстой чистой картонке. Его можно было принять за инвалида войны, но она знала уже (тут все всё про свой район знают), что он не из военных ветеранов, а рабочий со стройки: напился когда-то по глупости зимой вместе с бригадой, упал на тёмной улице и замёрз чуть не до смерти.

Когда она проходила мимо него и бросала монетку, он приветливо и благодарно кивал ей, улыбался и — она это знала, хотя никогда не оглядывалась — восхищённо смотрел ей вслед… Сунулась на этот раз в сумку достать рублёвую монету — бросать слишком мелкую со стипендии было неловко — но рубля не оказалось; выхватила десятирублёвую

бумажку, бросила на ходу в коробку и пошла себе дальше с чувством выполненного долга, высоко держа голову. И вдруг услышала вслед:

— Спасибо! Что, стипендию получила?

От неожиданности она резко обернулась, впилась в него взглядом: знакомы, что ли? — и спросила озадаченно, с запинкой, но уверенно обратившись к нему на «ты» — слишком много чести говорить ему «вы»:

— Откуда т-ты… знаешь?

— Чего ж не знать-то — ты каждый день мимо ходишь! — приветливо улыбаясь, ответил инвалид.

— И всех знаешь, что ли?

— Всех не всех, но — многих, — всё так же приветливо откликнулся тот. — Знаю даже, как тебя зовут.

— Ну, и как? — недоверчиво спросила она.

— Людмила, Люся. Верно?

— Ну и ну! — удивилась она. — Ты что, сведения собираешь?

— Но ты ж не всегда одна ходишь — тебя парни провожают; слышал.

С ним, оказывается, было интересно, даже приятно поговорить — он ласкал её глазами и обаял голосом, чистым и доброжелательным; ей захотелось потолковать с ним ещё.

— А тебя как зовут? — спросила она.

— Угадай!

— Что я тебе, гадалка, что ли? — капризно нахмурилась она.

— Даю подсказку: нашими именами названа поэма у Пушкина.

— Руслан, что ли? — догадалась она.

— Он самый! — широко улыбаясь, кивнул инвалид. — Догадливая!

Она покатилась со смеху:

— Это же загадка для пятиклассника!.. «Руслан и Людмила», значит? Ну-ну!.. А признайся: примерял меня к себе?

— М-может, и было, — улыбаясь и глядя в глаза, ответил тот.

Ей уже нравилась эта игра в признания — хотелось поболтать ещё; она стояла прямо перед ним в своей мини-юбке, широко расставив загорелые ноги на высоких толстых каблуках, а он сидел перед нею так, что его взгляд упирался прямо в её пах; чтобы посмотреть ей в лицо, ему приходилось задирать голову и пробегать при этом глазами вдоль всей её фигуры, и он, кажется, проделывал это не без удовольствия.

— И что ты ещё про меня знаешь? — спросила она, небрежно закидывая свою тяжёлую сумку на длинном ремне за спину.

— Н-ну… ты не такая, как все. Особенная.

— Чем же это особенная? — продолжала она его донимать.

— Красивая. Гордая. Себе на уме. Хватит?

— А — добрая?

Тот смущённо улыбнулся и — отрицательно покачал головой.

— Почему? — удивилась она. — Я же тебе всегда кидаю!..

В этот момент проходившая мимо женщина, пожилая, кургузая, с тяжёлой хозяйственной сумкой в руке, остановившись рядом, вынула откуда-то из глубокого внутреннего кармана пятидесятирублёвую бумажку и — нет, не бросила, а, наклонившись, бережно положила в картонную коробку, неспешно распрямилась и, неприязненно при этом глянув на Люсю, пошла себе дальше. Люся удивлённо обернулась ей вслед: обычная-преобычная тётка — не отличишь от тысяч других… И с ещё большим удивлением смотрела, как Руслан подхватил эту пятидесятирублевку, а заодно и Люсину десятку, проворно, словно фокусник, сложил их в своих культях и, помогая себе единственным пальцем, затолкал в нагрудный карман, оставив в коробке лишь мелочь.

— Пацаны крадут, — сказал он ей, оправдываясь.

— И часто тебе такие кидают? — ещё не отойдя от удивления, спросила она.

— Нечасто — но бывает, — ответил он.

— И сколько же это у тебя за день капает?

— Военная тайна, — подмигнул он ей.

— А куда ты их деваешь? — не унималась она. — Пьёшь, поди?

— Нет, — покачал он головой. — Я вообще не пью — зарок дал.

— Жене отдаёшь?

— Шутишь? Кому я, такой, нужен? — усмехнулся он. — Матери помогаю, вот куда, — он помолчал и добавил доверительно: — Хочу ещё в Москву поехать, операцию сделать, — он поднял перед ней багровую культю, бывшую когда-то ладонью, и черкнул по ней несколько раз одиноким чёрным пальцем другой. — Фаланги разрезать на обеих, вот так — чтобы вместо пальцев были. Работать пойду — надоело мозоль на заднице протирать!..

Людмилу нервно передёрнуло от вида этой страшной культи прямо перед её глазами, и — оттого ещё, что она представила себе, как её примутся кромсать… Но увиденная полусотня по-прежнему не давала ей покоя; некстати вспомнились сапоги с золочёными сияющими каблуками, которые она держала в руках и мерила всего полчаса назад…

— Слушай, Руслан!.. А ты бы мог мне денег занять? Срочно надо, — вдруг пришло ей в голову; она спросила просто так, из любопытства: сколько же у него может быть — говорят, они помногу собирают?

Тот серьёзно, вприщур посмотрел на неё и спросил:

— Сколько надо?

— Тыщу, — наугад брякнула она.

— Столько нет, — покачал он головой. — С триста будет. Возьмёшь?

— Давай! — нетерпеливо сказала она: в голове её мгновенно созрело: добрать — легче: выклянчить у родителей, а не дадут — стрельнуть у Светки…

Руслан вытащил из-под себя полиэтиленовый пакет с яркой картинкой, грузно звякающий монетами, выковырял из нагрудного кармана чёрным пальцем и бросил туда ещё несколько купюр, и подал пакет Люсе:

— Держи! Посчитай сама; тут даже больше, чем триста.

Первое, что она почувствовала, когда он протянул его — от пакета неприятно пахнуло на неё несвежими мужскими брюками, мочой, даже дерьмом, — ведь он сидел на нём целый день!..

— Прости, я пошутила. Не надо! — сказала она, брезгливо вздрогнув и не притрагиваясь к пакету.

— Да как не надо-то? Бери, раз дают! — проворчал Руслан, протянул свободную руку, ухватился за сумку, притянул к себе Людмилу и насильно впихнул пакет ей в руки. — Когда будут — отдашь; мне пока — не к спеху.

Ей вдруг стало стыдно. Превозмогая брезгливость, она взяла пакет. Он был на удивление увесистым; она не преминула тотчас распахнуть его и заглянуть туда с любопытством; там лежали разрозненные купюры общей суммой, по её мгновенной прикидке, рублей на двести, а остальное — большая груда монет. Это что же: сто рублей мелочи? — пришла она в ужас. Что она будет с ней делать?

— Не надо, я пошутила! — попробовала она вернуть пакет.

— Чего тогда голову морочишь? — грубо одёрнул её Руслан и тут же смягчился: — Да нет, я же вижу, нужны тебе деньги. Мелочи, что ли, испугалась? Поди да поменяй в кассе! — кивнул он на двери универмага. — Мне всё равно вечером менять.

— Спасибо, — пробормотала она и вдруг лукаво-испытующе глянула ему в глаза. — А если возьму и не отдам?

Встречный взгляд его дрогнул на мгновение.

— Смотри — найду! — строго погрозил он ей пальцем. — Да не верю я: ты такая красивая, что… Не верю! — и снова его глаза стали приветливыми.

— Спасибо, — ещё раз пробормотала она, повернулась и пошла себе, брезгливо держа пакет чуть на отлёте.

Завернув за угол и пройдя метров двести, в сквере позади универмага она выбрала пустую скамейку и села на неё — подумать: что делать дальше? Во-первых, немедленно пересыпать деньги…

В сумке её лежал пустой пакет из-под завтрака: у неё не было возможности выбрасывать их и без конца покупать новые; она их берегла. Достала его, осторожно пересыпала в него деньги, а освободившийся Русланов пакет, брезгливо держа двумя пальцами, выбросила в урну возле скамейки. Затем, тоже с брезгливостью, выловила из пакета бумажные деньги; их и в самом деле оказалось около двухсот рублей. Она переложила их в свой роскошный портмоне, подаренный поклонником (уж и забыла, которым): две пятидесятирублёвые бумажки — отдельно, десятки, тонкой стопочкой — отдельно. Дотрагиваться до монет ей пока не хотелось.

Во-вторых: куда теперь с этой грудой мелочи, чтоб хотя бы, для начала, пересчитать и разложить по достоинству монет? Не здесь же, на скамейке! Мимо без конца ходят — не хватало ещё, чтобы нарисовался кто-то из знакомых… Возвратиться и обменять на купюры в универмаге, с её-то статью? Стыдно, мочи нет! Домой? Там сестра Ирка: конечно, уже пришла из школы, и отделаться от неё в двух комнатах невозможно — обязательно пронюхает про мелочь; не хватало ещё, чтоб дошло до родителей: они же истерзают её, пока не выпытают: где взяла? И ведь не поверят, что у калеки выманила — а поверят, так отберут и понесут обратно, да с извинениями, и ещё приплатят при этом! Ох уж эта щепетильность, которой нет ничего смешнее — при их-то нищете!.. Позору потом не оберёшься; стыдно будет мимо Руслана пройти…

Выход один — к Светке: во-первых, она весёлая и беспечная, сама — склонная к приключениям и авантюрам, и — без дурацких комплексов; а, во-вторых, у неё своя комната, предмет Люсиной зависти: по крайней мере, можно хоть запереться и иметь полное право на собственную жизнь и на тайны от родителей; и они не «достают» её с её тайнами и собственной жизнью. Только бы дома оказалась!..

Светлана — её подруга поневоле: единственная из их группы, кто живёт совсем рядом, в соседнем квартале. Когда познакомились на первом курсе — подружились с разбегу, не разлей-вода, а потом тихонько разошлись — Люсю стала мучить тайная зависть к ней: Света, пышная смешливая блондинка, оказалась и развитее её, и одета всегда лучше; от этого мучительного неравенства, от постоянного проигрыша рядом с ней, от вечного ощущения бедности появилась проклятая скованность, и, чтобы избавиться от неё и от зависти, она отказалась от дружбы, и Светлана, кажется, её поняла и отступила без обиды. Нет, они не ссорились — иногда вместе возвращались домой, иногда бывали друг у дружки. Но всё это случалось редко и спонтанно.

Ещё один предмет зависти к Светлане был у неё: её *забойные предки*, весёлые и доброжелательные. Правда, тут было одно «но» — Светланин папа *подлюбливал* Люсю: ужасно радовался её приходу, суетливо помогал снять куртку, тонко любезничал и сыпал комплиментами. Светина мама нисколько не сердилась на него и на Люсю (а, может, и сердилась, только не выдавала себя), и они, мама со Светкой, при этом потешались над отцом…

Светлана, к счастью, оказалась дома, и кроме неё — никого: любезность Светиного отца и приколы матери на его счёт увели бы Люсю далеко от цели её визита… Светлана как раз обедала и позвала обедать Люсю, весьма кстати, потому что Люся вспомнила вдруг, что жутко проголодалась. И, пока обедали, со смехом рассказала Светлане про только что случившееся с нею маленькое приключение: совершенно случайно, проходя мимо универмага, она заняла у инвалида, просящего милостыню на крыльце, мешок мелочи (про бумажные купюры она умолчала) — потому что ей позарез нужны деньги — и теперь не знает, что с мелочью делать.

Светлана усомнилась, было, в происшедшем, но Люся предъявила ей тяжёлый пакет; Светлана стала хохотать до колик над Люсиной проделкой — про такие приколы слышать ей ещё не доводилось — а, нахохотавшись, с энтузиазмом взялась Люсе помочь. Они тотчас же отправились в Светину комнату и там, вывалив мелочь на стол и продолжая хихикать над забавностью происходящего, пересчитали и разложили по достоинству монет всю мелочь, заворачивая её в отдельные бумажки. Причём мелочи тоже оказалось около двухсот рублей!

Затем Люся упросила её пойти вместе с ней — обменять где-нибудь мелочь на купюры; Светлана согласилась — ей и это было за приключение. Пошли

в ближайший продуктовый магазинчик. Но там менять отказались: своей полно. Они вышли на улицу: что делать, куда дальше?

— Слушай! — пришла Светлане мысль: — У меня есть знакомый, Вован: когда-то сидели за одной партой, — он сейчас официантом в кафе-мороженом. Пойдём, сходим — может, ему надо? Если только он на работе.

Тащиться пришлось в соседний микрорайон.

Небольшое кафе в полуподвальном помещении, оформленное под ледяной грот: темновато, всё кругом затянуто полупрозрачной тканью с подсветкой, мигают разноцветные лампочки — но уютно, тепло; заняты только два сдвинутых вместе столика: за ними сидит шумная компания девчонок-подростков; остальные столики пустуют.

Вован оказался на месте; Светлана нашла его, пошепталась с ним в проходе на кухню, подвела познакомить с Люсей… Длинный, заметно суетливый, с уже заученной нагловатой улыбочкой на лице, Вован разборчивой Люсе не понравился, и при знакомстве с ним ей пришлось вымучивать встречную улыбку.

— Давайте сюда, — сразу по-деловому протянул он руку за пакетом. — Мелочь нам нужна. Вон наша клиентура сидит, — незаметно кивнул он с лёгким презрением в сторону шумливых девчонок-подростков. — Нищета — а в кафе идти надо, и всё им до копейки сдай.

Люся вынула и отдала ему пакет; он безо всяких эмоций взял его, встряхнул, пробуя на вес, удовлетворённо кивнул и спросил:

— Ну что, принести по мороженому, пока пересчитаю?

Светлана вопросительно взглянула на Люсю, не нашла в её взгляде явного протеста и кивнула Вовану. Он ушёл, а они сели за столик в противоположной от компании подростков стороне.

Вскоре Вован принёс им по порции. То было крем-мороженое тёплого сливочного цвета, украшенное поверху пурпурными ягодами свежайшей клубники, лежащее аппетитными холмиками в красивых креманках из дымчато-фиолетового стекла с золотыми звёздочками.

— Может, шампанского принести? — галантно осведомился Вован, угодливо заглядывая в глаза Люсе. — У нас маленькие такие бутылочки есть, как раз вам по бокалу.

— Возьмём? — спросила Света, тоже заглядывая ей в глаза.

У Люси испуганно вздрогнуло сердце: поначалу она восприняла предложение Вована принести мороженое как рыцарский жест или, может, как подарок за принесённую мелочь, и только теперь до неё дошло, что за всё надо расплачиваться, и расплачиваться — ей; во сколько же это станет? Она ужаснулась — ещё никогда в жизни она не расплачивалась сама: в детстве её водил в кафе отец, потом — мальчишки, потом — молодые люди, и никогда она в кафе не вникала в цены…

— Я тебе потом отдам свою долю, — подсказала ей Светлана, видя Люсино замешательство.

— Д-да… Принесите! — сдавленно ответила, наконец, Люся.

Тот кинулся чуть не бегом и действительно принёс маленькую бутылочку шампанского и два высоких бокала, сам ловко, с тихим хлопком откупорил бутылку и аккуратно разлил шампанское по бокалам.

С шампанским мороженое, действительно, было необыкновенно вкусным. И как раз, когда они покончили с ним, вновь подошёл Вован.

— Может, ещё по кофе-гляссе? — осведомился он.

— Да, конечно! — охотно согласилась Светлана, совсем размякнув от шампанского, но, спохватившись, спросила у Люси: — Как ты?

— Нет, спасибо! — грубо одёрнула её Люся, холодно глянув на Вована.

— Пожалуйста! — пожав плечами, с противной улыбочкой ответил ей тот. — Тогда с вас сто тридцать пять рублей. Вот сдача, — он положил на столик шесть засаленных десятирублёвых бумажек и принялся рыться в кармане, звякая мелочью.

— Мелочь оставь себе! — зло бросила ему Люся, забрала бумажки и так резко встала, что стул отлетел в сторону. — Пошли! — рявкнула она на Светлану, доскребающую мороженое из креманки; кажется, та готова была вылизать её.

— Приходите ещё! — сладенько вякнул Вован, маяча перед ними своей наглой улыбочкой, на которую Люсе уже противно было смотреть.

— Непременно! — охотно ответила Светлана, вставая. — Спасибо, Вованчик — такое вкусное мороженое у вас!..

А когда выбрались из кафе и пошли обратно, Светлана, противно размякшая от бокала шампанского, без конца молола языком, вспоминая школу, класс и хулиганские проделки Вована; Люся упорно молчала, злясь и на неё, и на этого хлыща — так ловко они её растрясли, так нагло облапошили!

Прощаясь со Светланой, Люся надеялась, что та предложит зайти к ней и вернёт свою долю, но — куда там!.. Так что по дороге домой, уже одна, думала с мрачной решимостью: ну, уж завтра дудки — вытрясет она из неё все семьдесят, до рублика!.. Утешало только, что двести шестьдесят Руслановых рублей всё же осталось; да плюс стипендия; где-то надо добывать остальные…

Дома все уже были в сборе — ужинали на кухне.

Люся, нарочито нагоняя на себя раздражение — чтобы только отвязались — ужинать отказалась. Не потому, что не хотела — есть ей хотелось всегда — а потому, что мать или Ирка обязательно унюхают запах шампанского, и разговора о вреде алкоголя хватит потом на весь вечер, ещё и на утро останется, и доказывать, что уже взрослая, что сверстницы пьют, как лошади — бесполезно; и бесполезно доказывать, что ей этот алкоголь — как зайцу стоп-сигнал: она всегда предпочтёт ему жареный кусок мяса; разве что трудно устоять перед бокалом шампанского… Она прошла в комнату, переоделась в халат, затем пошла, вымылась под душем и снова вернулась в комнату, — всё быстро, порывисто; села затем в их с Иркой общее — кто быстрей за-

хватит — кресло и взяла в руки книгу — успокоиться и привести в порядок мысли.

Но привести их в порядок не было никакой возможности: перед глазами вместо букв шла круговерть пережитого за последние четыре часа: сияющие золочёными каблуками, пряжками и цепочками сапоги, багровые культи Руслана, от которых по спине — озноб ужаса, этот мерзкий пакет с деньгами, которые надо как-то теперь отдавать (чёрт дёрнул за язык просить их!), противная, с поджатыми губками, Вованова улыбочка, болтливая пустышка Светка, и опять — эти сияющие, как солнца, сапоги с золочёными каблуками, пряжками и цепочками… Она знала уже: никуда ей от них не деться — будут мучить и мучить, пока не окажутся у неё на ногах. Что-то надо делать, но — что, что?.. И в голове вдруг родился стройный план. Только бы скорей они закончили, наконец, на кухне свой бесконечный ужин, а, главное — дождаться, когда уйдёт оттуда мать, пробраться, сунуть в рот щепоть чайной заварки, разжевать как следует, чтобы отбить этот чёртов запах шампанского, и тогда — к матушке (к отцу — бесполезно: как мама скажет, так и будет): пускай отдают в руки ту тысячу, на которые обещали купить ей какую-нибудь дрянь на ноги — дайте самой выбрать: сколько можно ходить убогой? Да припугнуть: не отдадите — так хоть на панель!.. Это будет её последний довод. Обрыдло!..

На следующее утро она опоздала на первую «ленту» — но пришла в новеньких, щегольских, сияющих золочёными каблуками, пряжками и цепочками сапогах. Девчонок с потока ничем таким, конечно, не проймёшь, но мальчишки заметили — она ловила их восхищённые взгляды на её ноги. Ей хотелось без конца ходить по коридорам, бегать по лестницам — было чувство перебирающей от нетерпения ногами скаковой лошади, которую долго держат на старте; а ведь ещё вчера хотелось сидеть и сидеть где-нибудь в уголке или за столом — только чтобы не шлёндать у всех на глазах.

После лекций её потащило ещё на факультативный семинар, на который можно было и не ходить, а потом — в библиотеку. Есть хотелось ужасно, но она старалась не думать о еде, потому что решила совсем не ходить теперь в буфет — и, странное дело, это у неё получилось!

А под вечер, возвращаясь домой, нарочно проехала свою остановку и сошла на следующей; оттуда до дома было минут на пятнадцать дальше, но идти теперь мимо Руслана не хотелось: заметит новые щегольские сапоги и решит, чего доброго, что куплены на его деньги… Хотя его денег тут — кот наплакал. Да и жалко его: будет смотреть вслед с ещё большей завистью и досадой… Отдаст она ему деньги только со следующих стипендий — она это решила твёрдо — вот тогда и пойдёт с чистой совестью прежней дорогой, а пока — ничего, побегает эти лишние пятнадцать минут, не расколется!..

И она упорно, день за днём ходила домой с другой остановки. Даже если возвращалась вместе со Светланой, с которой, кстати, те семьдесят рублей содрала как с миленькой — только, правда, через неделю…

И через неделю же примерно стала замечать: девчонки в группе перестают с ней здороваться и разговаривать, устраивая вокруг неё заговор молчания — сначала одна, потом другая, а потом вдруг — все сразу. Она поняла, откуда дует ветер: Светка, тварь такая, не вытерпела, разболтала всем!.. Пришлось клясть себя, что не предупредила сразу, чтоб та держала язык за зубами. Хотя толку-то — кого бы другого предупреждать, только не её… Но ещё когда замолчали две или три девчонки, подошла к ней и укорила:

— Как тебе не стыдно: зачем растрезвонила? Кто тебя просил?

Светлана даже не спросила, о чём это она — сразу поняла и, нагло глядя в глаза, тут же стала отпираться:

— С чего ты взяла? Не говорила я ничего!

— А откуда узнали?

— А я почём знаю? Их спроси!.. — и, нисколько не обидевшись, продолжала демонстративно общаться с Люсей. А уж когда замолчали все до единой — подошла и сказала:

— Извини, Люсь, но я тоже перестаю с тобой общаться: девчонки на меня давят.

— Предательница! — только и сумела, что со злостью прошипеть ей вслед Люся, а сама подумала: «Ну и чёрт с вами!» Зато с нею продолжали общаться мальчишки, и она даже бравировала этим: гораздо охотней, чем раньше, общалась теперь с ними, на лекциях обязательно сидела рядом с кем-нибудь из обожателей и кокетничала вовсю, кидая злорадные, вызывающие взгляды на девчонок: «Вот вам! Выкусите!»

Но и мальчишки постепенно переставали с ней общаться! Один, другой, третий и, в конце концов, все до единого: подмяли их проклятые девчонки! Бойкот, значит? Ну-ну!.. Люся ходила теперь с ещё выше поднятой головой, злая на них, презирающая всех и оскорблённая: «Сами-то лучше, что ли? На себя бы оглянулись, чистюли чёртовы! И катитесь со своими принципами — без вас проживу! Да отдам я, отдам эти деньги калеке!..»

Но со следующей стипендии отдать Руслану долг не получилось: октябрь пришёл вместе с холодами, и опять надо было делать покупки: тёплые колготки, куртку поновее (купила по случаю в комиссионке); а поскольку долга Руслану не отдала, то, чтобы с ним не встречаться, продолжала по дороге домой сходить на следующей остановке.

В ноябре стало ещё холоднее — совсем по-зимнему задуло, а, стало быть, нагрянули и новые проблемы с одеждой; но, несмотря на проблемность покупки каждой вещи, новые вещи у неё понемногу всё же появлялись. И снова не получилось отдать долг. Да и куда торопиться? Отдаст, когда понадобятся: Руслан сам сказал, что — не к спеху.

В том же ноябре, выдержав месячный бойкот, слово за словом опять с ней в группе понемногу заговорили: то староста обратится по делу, то записной остряк прилипнет, пока вокруг никого, а брякнуть очередную остроту и посмешить — терпежу нет, то былой ухажёр заметит, что она стала ещё краше, и привяжется проводить до остановки,

то беспринципная Светка соскучилась и, видя, что бойкот слабеет, снова навязалась в подруги.

И в том же ноябре, сойдя как-то по дороге домой на своей остановке по очень нужному делу, глянула издали на то место, где сидел Руслан — а его нет! И так ей стало легко от этого — будто тяжкая ноша с плеч свалилась: спокойно прошла домой своим обычным маршрутом, которым ходила годами, и с того дня ничто уж больше не мешало ей ходить именно так. Чтобы не напрягать себя, не стала никого расспрашивать: куда делся этот Руслан, что с ним стало? — хотя кто-то же из местных сострадательниц должен был знать?.. Да зимой на этом месте вообще редко кто из калек выдерживал.

А весной появился новый: грязный, пожилой, серый, как филин, молчун, от которого вечно несло перегаром; многие поскорей пробегали мимо, однако Люся кидала ему всегда: со стипендии — круглый рубль или двухрублевик, но чаще всё-таки — несколько мелких латунных монеток.

Екатерина Тягло

Ближний и Дальний Восток

Нам показывали на карте Европы
Вену, Прагу, Берлин…
Наконец — Сербию…
То есть — Югославию.

Мы рассматривали кудлатых
Мальчиков на экране
И на обложках
Импортных кассет.

Теперь встречаем их
В метро…
Может быть, так взрослеют…
Центральная Европа засыпана снегом,
Украшена гирляндами…
Мы — ею — путешествуем…

Москва, Петербург и прочий Восток —
Для нас символическое пространство…
Мы — остаёмся, чтобы писать,
И — заблуждаться
Собою и Невским проспектом,

Зимними двориками предместий,
Переливающихся огнями
и немножко заспанных…
Сладкий привкус полночного
Джема и кофе —
Повседневные радости…

Трамвайные маршруты городов
Похожи до полной неразличимости,
Скажем, как мы с тобой…
Возьму твою помаду — и забуду
Наше выгоревшее лето.

В косметичке — те же марки,
То же зеркальце и карандаши
Рядом с дневниками…

Но твои записи всегда
Пахнут малиной.
А мои — табаком и мятой.
Всё — по-настоящему!
И какая — к чёрту — похожесть!

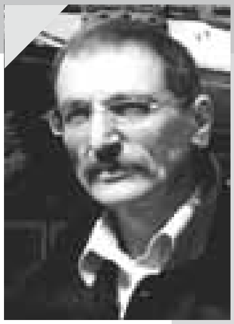
Вот так — выгоревшая на солнце одежда.
Знакомые запахи и остановки.
Имена отелей и городов
Оседают на нашей коже.

Избираем чёрный или жёлтый
Из всех цветов, —
Потому что помним
Кварталы
Ноябрьских прогулок.

Мы родились в технократических мегаполисах.
Мы засыпали под грохот грузовиков.
Мы стали собою.
Выросли.
Получили. Вымечтали. Утратили.

В таких условиях — важно найти кого-то,
Действительно на тебя похожего…

Перевела с украинского
Марина Саввиных



Виталий Богомолов

Крест на ёлке

Божьи рабы

В субботу после всенощной отец Евгений принимал исповедь у своих прихожан. Великий пост приближался к концу, и людей, желающих побывать у исповеди и причаститься, было много. И каждого человека ему предстояло терпеливо выслушать, подготовить, настроить, вразумить, дать совет или наставление.

За день отец Евгений так устал, что уже едва держался на ногах. Да и постился он сам строго, без послаблений, а это тоже сказывалось на силах телесных. С утра прошло богослужение, потом было соборование, последнее в этом посту, а после пришлось ещё покойника отпевать. Потом хозяйственные дела помешали сделать передышку. А той порой и день незаметно пролетел, настало время всенощную служить…

Наконец, подошла к исповеди последняя старушка, Федосья; она долго жаловалась на нелёгкое житьё с молодыми, на сварливость невестки. Отец Евгений из последних сил терпеливо выслушал её, вздохнул и сказал, что судить надо себя, а не невестку, смиряться надо и терпеть надо, тогда легче будет всё вынести, молодых ведь под себя всё равно не переделаешь. Может, потому и послал ей Господь такую невестку, чтоб испытать в терпении и вере, дабы путь ко спасению обрела.

Старушка согласно кивала головой, но по выражению лица, по мелким и частым вздохам её было заметно, что соглашаться со священником ей не хотелось. Вот если бы он отругал невестку, а Федосье посочувствовал, тогда бы ей было всё понятно.

Батюшка наложил на Федосью пустяковую епитимью смирения: пять дней — по десять раз ежедневно — читать великопостную молитву Ефрема Сирина с тремя земными поклонами на каждом чтении, прочёл разрешительную, отпустил грехи и, морщась от нестерпимой уже к этому часу боли в покалеченной и натруженной за день ноге, хотел было забрать с аналоя крест и Евангелие и уйти в алтарь, когда к нему приблизился, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, взлохмаченный рыжекудрый мужик. Крепкий, скуластый, но изрядно помятый. Пахнуло перегаром, мужик был в подпитии. Священник давно заметил, как человек этот стоял в сторонке и беспокойно почёсывал то за одним, то за другим ухом — нервничал. Оказывается, мужичок выжидал, когда пройдут все, чтоб ему никто не мешал. Батюшка изучил уже по опыту своему таких исповедающихся.

— У меня, это, проблема, святой отец. Я давно с ней мучаюсь… Да, это, не было человека, которому можно было рассказать, — заговорил сбивчиво, скорее даже забормотал мужик.

Услышав это нелепое к себе обращение — «святой отец», священник внутренне воспротивился, но не стал перебивать человека, чтоб не сбить его с исповедального настроя, только отметил для себя, что после надо будет разъяснить ему: нет у православных такого дерзкого пред Богом, как у католиков, обращения «святой отец». Ну, какой же он святой?.. Святые на небе.

— Про вас много хорошего люди говорят. Я слыхал. Вот и подумал, что это, наверное, тот поп, которому довериться можно, — продолжал простодушно мужичок. — А у меня дело особое. Я в Ромахино с ним было сунулся, а там поп — комиссар такой… Только что без маузера. Ты, говорит, пьяное рыло, иди сперва проспись, а после скажешь мне, когда ко причастию ходил последний раз (а я, конечно, сроду не бывал), так я, говорит, посмотрю ещё, надо ли с тобой разговаривать… Я ведь к нему, проспался, опять пришёл, потому что невтерпёж меня прижало, а он со мной всё равно говорить не захотел… А вас я как увидел, говорю себе, — мужик энергично постучал в свою гулкую грудь кулаком, — вот это поп, к которому ты должен идти и покаяться. Он всё поймёт…

Отец Евгений терпеливо слушал, зная, что надо такому человеку дать высказаться, не вмешиваясь в движение души его, в порыв искренности, признания, к которому порой люди готовятся годами, чтоб переступить черту некую в душе и открыться. Он только извинительно и со стороны чуть заметно поморщился и вздохнул при слове «поп». Ну что тут, если человек в церкви «сроду не бывал», как говорит. Оно, конечно, выпивши, но выслушать надо, нельзя пренебрежение выказать, иначе он сюда никогда больше и не придёт. Отец-то Василий в Ромахино, конечно, строговат. Но ведь, опять же, для пользы спасения. Хотя помягче бы надо. Помягче, особенно с новоначальными. А отец Василий батюшка строгий.

Федосья с любопытством наблюдала издалека за подвыпившим мужиком, осуждающе покачивая головой; и можно было это понять так: один вот, совести нет, — пьяный, пристаёт к священнику, а другой, вместо того, чтобы прогнать его взашей, слушает пьяные бредни…

— Грех один точит меня страшно уже много лет, — рассказывал торопливо и сбивчиво мужичок. — Прям, как будто змея в сердце сидит и грызёт его, и грызё-ёт… — закрутил он возле груди кулаками одним вокруг другого.

— Ну-ну, — подбодрил его священник.

— В Чечне я служил, это в первую ещё войну… — услышав такие слова, батюшка невольно

вздрогнул. — Прижали нашу разведгруппу «чехи». Я пулемётчиком был. Дослуживал уже срок, до дембеля оставалось мне пара месяцев. А у меня вторым номером — салага был, ну, молоденький, это значит, солдатик — Женька. Напирают, надо отходить, наших уже перебили, а его как раз ранило. Тяжело ранило, в ногу, от колена до задницы распахало… Кровища… Тяжело ранило. А отходить надо. Если его тащить — оба пропали. Пулемёт ведь тоже не бросишь. И я оставил тогда Женьку. С тропы только сдёрнул в кусты и оставил. Конечно, он был обречён… Я у него патроны забрал и автомат взял. Этим и спасся сам, отстрелялся, удалось уйти. А Женька попал к «чехам», а они тогда нашим сразу кердык делали. Горло просто резали и всё… Но, думаю, он всё же сам успел умереть. Раньше, чем его нашли они. И вот, святой отец, — захлюпал мужичок носом, — ходит ко мне во сне теперь этот Женька часто и не один год уже покоя не даёт… Гложет меня совесть. И с годами не забывается, а только сильнее всё… Сильнее! Извёлся я весь. Вот каюсь! Сейчас бы так не сделал. Лучше умереть было, всё равно собачья жизнь у меня от этого… Да и вообще, не только от этого… А тогда. А! — взмахнул он рукой в какой-то обречённости.

В этот миг священнику вспомнились слова знаменитейшего богослова второго века Тертуллиана, которые тот сказал про душу, что — по природе своей она христианка. Так вот и есть, привела этого мужика душа-христианка в храм. Привела-а.

— А он что, товарищ-то, без сознания был, или говорил тебе что-то? — спросил священник.

— Как же! Говорил, святой отец, говорил! — воскликнул мужик с жаром и завсхлипывал ещё горестнее. — Он ведь меня… уговаривал не бросать его. Вынести. Даже плакал. А я оставил его. Страшно было до ужаса! Ничё не соображал.

— Бросил раненого товарища, выходит, — вздохнул горестно священник. — И автомат с патронами забрал у него?

— Забрал автомат с патронами, святой отец, забрал.

— И ничего ты про него не знаешь?

— Ничего не знаю! — замотал энергично мужичок рыжей своей головой. — Так что тут узнаешь. Умер и всё. А тело, правда, не нашли после. Искали наши, не нашли. Прочесали всю зелёнку.

Впервые в жизни слушал священник такую исповедь, разом забыв про свою усталость, погружённый в какое-то угрюмое размышление и задумчивость…

А исповедающийся тяготился мучительно ожиданием, что скажет ему священник. Уши его полыхали, по всему лицу от напряжения выступили бисеринки пота, стекаясь со слезами на щеках…

Накрыли их тогда «чехи», как и водится, неожиданно и внезапно. Поджидали в подходящем месте, на перевале. Большинство ребят в группе были перебиты в первые минуты боя. Остальные рассеялись. По понятиям, в этом месте никаких «чехов» быть не должно было. Откуда они взялись, не возможно сказать.

Старослужащий солдат Андрей Репников, первый номер пулемёта, и салага Женька Сазонов, по прозвищу Женьшень, второй номер, хотя сразу залегли, развернули пулемёт и стали отстреливаться, но, видимо, от страха, от потрясения Андрей посылал пули неведомо куда, не поражая врага. А салага Женьшень тот совсем ничего не соображал. Это ведь перед экраном телевизора легко базарить, как надо воевать, а когда рядом трупы товарищей и каждая летящая пуля твоя — страх смерти парализует и ум, и тело. И вдруг Женьшеня ранило. Он дико закричал — то ли при виде крови, то ли от боли. Но умолк скоро, катаясь по земле и постепенно затихая.

Андрей понял сразу, что сейчас им здесь обоим будет крышка, отходить надо срочно. Но солдатик молодой своё явно отжил. С такой раной… Её и перевязать-то невозможно.

Когда Андрей под прикрытием кустов забирал автомат и магазины с патронами, Женька понял, что тот его бросает и уходит. Андрей старался не смотреть в глаза своего второго номера, только разок глянул, не удержавшись, взгляд раненого выдержать было невозможно, пронзительная немая мольба не бросать. А что тут сделаешь?

— Землячо-ок, не оставляй, — плачущим жалким голоском попросил раненый, — пожалуйста, вынеси меня, землячо-ок…

Они действительно были земляками, оба с Урала, даже из одной области — Пермской, только с разных районов.

— Ты всё равно сейчас подохнешь, — в каком-то прямо таки нечеловеческом возбуждении прохрипел сдавленным голосом Андрей, — а я не хочу, чтоб из-за тебя и мне «чехи» кердык сделали!

Под прикрытием зелёнки, как они здесь называли растительность, Андрей стал отходить вдоль тропы вниз. Но «чехи» преследовали, «дыша в затылок». Он их не видел в зелёнке, но слышал их гортанную перекличку, казалось, что они-то видят его и бегут именно за ним. Больше никого нигде не было. Пули дзинькали то выше, то чиркали рядом сбоку.

Остатками патронов, поливая из пулемёта наугад пространство сзади себя, он вынудил погоню остановиться, на какое-то время положил их, видимо, на землю. Потом, израсходовав патроны, в секунды натренированно разобрал ставший бесполезным пулемёт, затвор метнул в одну сторону с кручи, ствол, обжёгши руку, — швырнул в другую, в заросли; сделав несколько беговых шагов, и остальное — коробку с прикладом — бросил в ущелье. Дальше он стал убегать быстро вниз по тропе, падая и кувыркаясь, панически отстреливаясь наугад уже из автомата Женьшеня. Ему удалось оторваться… Что стало с остальными, он не знал. Оставшиеся в живых отходили разрозненно, у кого куда получилось. Кто-то, может, сумел затаиться.

Андрею Репникову тогда одному из немногих повезло: удалось остаться в живых, он даже не был ранен. Только очень сильно перепуган и побился о камни: всё тело и лицо были в синяках и ссадинах, одежда изорвана…

Когда полевой командир Хайрула понял, что дальше преследовать некого и незачем — кто был убит, кто затаился, — он сразу же дал своей группе команду повернуть обратно, к перевалу. В том месте, где бой завязался, чеченцы принялись наскоро осматривать местность. Наткнулись на несколько трупов, ликуя, забрали оружие, патроны. Добили двух раненых. Говорили возбуждённо и радостно, упиваясь успехом, первой такой боевой удачей группы. Из своих никто не пострадал, не было даже легко раненых. Удачная засада, внезапность действий и беспечность русских собак, которые шли, будто на базар, сделали своё дело.

И вдруг они заметили возле тропы ещё один труп с сильно окровавленной выше колена левой ногой. Ни оружия, ни патронов при нём не было. Остановились, столпились вокруг, разглядывая солдата с любопытством и удивлением. Солдатишка был такой тщедушный, что даже накатилось на них единодушное недоумение от этих русских: ну как такого цыплёнка можно на войну брать?..

Алехан презрительно усмехнулся и без особого усилия перевернул солдата ногой с живота на спину. Тот застонал, живым оказался, смотрит жалостно, умоляюще…

Все видели сильную рану: нога разорвана от колена, бедро, ягодица… Но так бывает: ненавистного дрозда, объедающего в саду ягоды, вдруг неожиданно пожалеешь, когда птица окажется в необычных уже условиях, в ловушке и покалеченная. И сжалился Алехан, снял с плеча свой автомат, чтобы пристрелить русского. Командир Хайрула, предугадав его действия, усмехнулся и сказал:

— Возьми его, Алехан. Выживет — рабом твоим будет, подвал копать станет… А, может, и выкуп за него дадут богатый. Подохнет — туда собаке и дорога.

Глаза Алехана вспыхнули азартом игрока, он озабоченно воскликнул:

— Как его нести, Хайрула?

— Я помогу! — с готовностью вызвался Ахмет Умаров, друг и родственник Алехана Османова.

Они тут же срубили две палки, переплели ветвями, соорудили носилки, перекатили на них солдатика и понесли, удивляясь, какой он лёгонький. Конечно, если б до перевала было высоко и круто, а до селения далеко, они б ни за что не стали нести русского раненого солдата.

Думали, если умрёт русский по дороге — бросят его, но солдатик дожил до дома Алехана. Здесь ему настоящий врач, которого позвали, обработал рану и сделал перевязку. Сказал, что ткани хотя и сильно повреждены, и много крови потерял, но жизненно важных соединений и узлов пуля не задела. Через месяц встанет на ноги.

— Это я сразу понял, — сказал авторитетным тоном Алехан и заносчиво добавил: — Иначе бы зачем его таскать.

Женькино счастье оказалось в том, что в этом бою никто из «чехов» не пострадал, не было ни убитых, ни раненых, а трофеи взяли хорошие. Повезло ему и в том, что при нём не было оружия, в другом случае не миновать бы салаге Женьке мгновенной расправы. Наоборот, чеченцы сегодня оказались все в хорошем расположении духа от удачной вылазки, и на приобретение Алеханом покалеченного раба смотрели благодушно, как на свою остроумную забаву.

А первый номер пулемётного расчёта ефрейтор Андрей Репников, вернувшийся в часть живым, сказал, что его второй номер убит, вот его автомат, что сам он, отходя вместе с другими, сражался до последнего патрона. Пулемёт свой уничтожил, когда патроны кончились, чтоб врагу не достался, если убьют. Патронов у него действительно не осталось. Сколько положил «чехов» — сказать не может, не ведает, но косил только так. Столкнулись с очень крупным бандформированием. Ещё трое человек, оставшихся в живых из всей разведгруппы, когда вернулись, твердили то же самое — «чехов» было много.

В действительности отряд чеченцев состоял из десятка партизан. Но воевать они уже умели. Придя домой, каждый из них любовно вычистил и смазал своё, кто-то ещё и трофейное оружие, надёжно спрятал его и опять превратился в обычного мирного труженика села, ожидая распоряжений своего полевого командира, ничем не выделяясь среди всех прочих жителей.

Ефрейтор Андрей Репников дослужил оставшийся срок и демобилизовался. Наград за тот бой ни он, ни его товарищи не получили, хотя и рассчитывали на них. Расследование показало, что поплатилась разведгруппа за свою беспечность и разгильдяйство, что враг никаких потерь не понёс. Хотя самый щекотливый момент был в том, что, похоже, информация о готовящемся рейде группы как-то уплыла из штаба к чеченцам…

Уехал домой Репников, ничего не зная о судьбе Женьки Сазонова. На допросах при расследовании Репников утверждал, что рядовой Сазонов был убит, он был абсолютно уверен в его смерти. С такой раной, думалось Репникову, ни уйти, ни уползти никуда салага не мог. Но среди убитых его тоже не нашли, и Сазонов числился без вести пропавшим. Куда он делся — осталось загадкой. Может, конечно, сбросили его чечены в пропасть.

А Женька Сазонов выжил. Конечно, на ноги он поднялся не через месяц, как Алехану обещал врач Дока, а только через два. Нога его осталась в сильном повреждении, Женька сделался инвалидом, хотя под одеждой это и не очень было заметно.

Он действительно стал рабом Алехана, и больше двух лет делал в его хозяйстве самую разную и самую грязную работу за еду и жалкие обноски одежды… Относились к нему сносно, вполне терпимо, как к худому ишачишке, который хотя и небольшую работу делает, но и расходов никаких не приносит, всё для хозяйства польза. Днём он ходил по хозяйскому двору свободно. Но убежать отсюда днём было совершенно немыслимо. А на ночь его, как пакостливого козлёнка, непременно сажали в подвал, где у него имелась старая дрянная раскладушка, и запирали снаружи на замок.

Иногда к Алехану заходил в гости его родственник и большой друг Ахмет Умаров, который

когда-то помог принести Женьку; они садились на скамейку в тени развесистого дерева во дворе и подолгу о чём-то беседовали. Порой посматривали на Женьку и смеялись. Самолюбивый Алехан очень гордился, что у него есть раб, а Ахмет был рад, что помог в этом своему родственнику. И посматривал на Алехана с лёгкой снисходительностью, которую, конечно, никак не демонстрировал, чтоб не воспалить в друге обиду.

Вопрос о выкупе Женьки сразу отпал, как только Алехан узнал, что Женькины родители живут в селе и работают в колхозе. Десять с лишним лет назад Алехан два лета подряд сам ездил на Урал с бригадой на шабашки в русские колхозы, где они в первое лето построили сорокаметровый мост через реку почти с чеченским названием — Ирень, а во второе лето — коровник в деревне Сосновке того же района. Сами они тогда заработали неплохо. Но как живут местные, он видел, помнит… Собирался Алехан поехать в знакомый район и в третий раз, но дошли слухи, что коровник, который они прошедшим летом строили, почему-то частично рухнул вскоре после их отъезда. Хотя делали они всё, вроде, как полагается. И бригадир их больше не рискнул туда поехать, боясь, что могут завести уголовное дело, осудить и дать срок. А теперь вот их тогдашний бригадир Хайрула стал хорошим полевым командиром. Прошёл специальную подготовку в горном лагере, у боевиков-арабов.

Этот его пленник Женька тоже оказался родом с Урала. Воистину велик мир всемогущего Аллаха и беспредельна мудрость его. Вот порешил он, что станет неверный Женька рабом Алехана, и Женька стал. Алехан так и прозвал Женьку — Неверный, и это слово стало здесь именем пленника.

А на третьем году Женьку Сазонова случайно освободили из чеченского плена. И вышло это незадолго до того, как было почти полностью уничтожено разросшееся бандформирование Хайрулы, иначе б не видать Женьке Сазонову больше ни света белого, ни милой сердцу родины, которую оставил он три года назад, если сложить вместе службу в армии и плен, в котором Сазонов уже вполне сносно научился говорить по-чеченски, а понимал всё.

Вернулся Женька на родину, в своё село тихо, без шума. Родители, оказывается, давно похоронили сына и уже свыклись с этим. Бабушка Настя от страданий по любимому внуку умерла полтора года назад.

Женька сходил в церковь, поставил свечи перед иконами: благодарственную за своё спасение, поминальную за бабушку; навестил родную школу, в которой проучился одиннадцать лет, посидел за свой партой у окна, уставясь молча в её столешницу и о чём-то долго напряжённо думая. Учительница, сопровождавшая его, даже испугалась.

В районной газете появилась о Сазонове Евгении заметка, из которой мало что можно было узнать. Рассказывать о себе Женька ничего не хотел. Отговаривался тем, что всё рассказал, кому следует. Однако после освобождения из плена поведал он особистам не всё, промолчал про то, как умолял товарища спасти его, а тот бросил его тяжело раненного.

Журналисты оставили Женьку в покое. А скоро и совсем позабыли о нём. Он же от этого нисколечко не страдал. Восстановил документы, прошёл обследование и лечение в госпитале для ветеранов, получил за ранение третью группу инвалидности, пенсию, не ахти какую.

В плену пришлось ему очень тяжело, вот здесь он действительно настрадался и душой, и телом своим искалеченным так, что часто молился, не зная ни одной молитвы, молился, как умел, как получалось. Молился про себя, своими словами.

Он помнил, как бабушка Настя делала это, наблюдал часто, понял там, как держалась она молитвой в своей нелёгкой жизни на этом свете. Женька был теперь абсолютно уверен, что именно Бог помог и ему, Евгению Сазонову. За дни плена он узнал, что таких, как он, в плен никогда не брали. И это только подкрепляло в нём веру в чудо, что Бог помог ему выжить и вернуться на родину. Но ведь тогда выходит, что не просто так, а для чего-то… Теперь он много думал об этом.

Стыдиться ему было не за что ни односельчан, ни других людей: он в плен попал с тяжёлым ранением.

Вскоре все узнали в селе, что Женька Сазонов пошёл прислуживать в церковь, начал пономарить. Верующие старушки отнеслись к этому с великой радостью, а остальные односельчане — с пониманием к инвалиду.

А потом Евгений поступил в Томскую Духовную семинарию. Окончил её, был рукоположен во священники, стал отцом Евгением и получил назначение от служащего архиерея, добрейшего архиепископа Евлампия, в один из отдалённых приходов епархии, где уже больше полугода не было священника, по причине, о которой верующие стыдились рассказывать: бес пьянства одолел бывшего таксиста. Не везло никак этому храму на священников. Но село Никольское оказалось большое, люди здесь жили хорошие. Приняли их с матушкой Татьяной, женщиной смиренной и кроткой, очень душевно.

Стал отец Евгений служить, принялся восстанавливать потихоньку старинный храм, в котором до передачи его верующим были сельповские склады. И через какое-то время начала по округе распространяться незаметно, как трава растёт, молва о нём, что священник он милосердный, человек духовный, отзывчивый и добросовестный, безотказный, но при этом совсем не алчный, и молитвенник редкий. Всё это оказалось для верующих совершенно не безразлично.

Да и что удивительного в такой молве. Службы он вёл всегда с большим благоговением и усердием. Голос у него, правда, был не силён, но высокий и чистый. А матушка Татьяна, сама из священнической семьи родом, окончившая регентские курсы в той же семинарии, где она и познакомилась с Евгением, хорошо пела. Этому искусству матушка Татьяна обучила в Никольском и нескольких пенсионерок из бывших учителей, ещё не старых, которые пожелали петь под её управлением в церковном хоре, имея хорошие голоса и тягу к духовному песнопению.

Они и помимо службы пели и, как говорится, с неизменным успехом выступали с духовными

песнопениями, объединив их в особый репертуар и назвав свой хор «Духовный сад». И скоро о Никольском храме, его батюшке и хоре заговорили в окрестности, потянулись к нему люди, и приход храма стал разрастаться и полниться.

Большой духовной радостью было послушать службу и пение в этом храме, освящённом в честь Николая Чудотворца, покровителя милосердного и очага семейного, и уз брачных, и хозяйства домашнего, и защитника скорого от всяких напастей. Строгий и заслуженный батюшка отец Василий Пересмыкин из районного села, настоятель храма Илии Пророка, начал даже обижаться на отца Евгения, что он-де переманивает у него паству, часть из которой действительно не ленилась и не скупилась поехать от своего храма за двадцать километров в Никольский храм.

Видимо, тогда и появился анекдот про отца Василия, как одна восьмидесятидевятилетняя старушка собралась умирать, да прежде решила сходить до отца Василия узнать, сколько будет стоить отпевание. Пенсия у неё была небольшая, колхозная. Пришла, узнала… Говорят, десятый год умереть никак не может…

Когда слух об обиде отца Василия достиг ушей отца Евгения, тот сильно опечалился, долго ходил задумчивым, скорбно вздыхая, а потом произнёс громко, будто не сам себе, но обращаясь к рядом стоящему отцу Василию:

— Чего нам, отче, делить на пажитях Небесных, где в посев приемлется только молитва наша да смирение?.. Молись, знай, не ленись! Засевай своё поле. Обижаться не на что!

Вот однажды и пришёл к отцу Евгению в конце Великого поста наслышанный о нём рыжекудрый мужичок, чтоб исповедаться в гнетущем его душу грехе.

В этом, не по годам постаревшем человеке тридцати с небольшим лет, в скромном чёрном подряснике, с крестом и епитрахилью, с бородой, с длинными и раньше срока поседевшими волосами, кающийся рыжекудрый грешник и при сильном желании не смог бы признать теперь того тщедушного, наголо остриженного мальчишку, которого он, спасая свою жизнь, как говорится — шкуру, бросил на перевале тяжело раненным, даже не перевязав, но думы о котором точили его душу все эти годы.

Выговорив священнику тяготивший душу грех, исповедающийся стоял и покорно томился ожиданием. Уши его полыхали ярче его огненных кудрей, по лицу катились мелкие бисеринки пота, стекаясь со слезами на небритых щеках, делали лицо мокрым. Заметно было, с каким напряжением этот человек ожидал себе приговора священника за то, что набрался, наконец, храбрости открыть ему.

И долгое молчание священника показалось взмокшему бедняге бесконечным и невыносимо тяжёлым, будто опустившийся ему на плечи свод храма. Он уже засомневался, стоило ли ему так откровенничать перед попом… Не сдаст ли он его эфэсбэшникам?

— Господь милостив, — заговорил, наконец, священник дрожащим голосом, — и всякий грех Он простит, лишь бы мера покаяния превосходила меру греха. Молись и кайся!

На последнем слове, перейдя на шёпот, отец Евгений тяжело и протяжно вздохнул, левую руку с епитрахилью возложил на рыжую голову исповедающегося, который, чувствуя какую-то необъяснимую для него властность этой руки, пригнул послушно голову и сжался весь в пружинистый комок, словно под немыслимой тяжестью.

— Имя? — спросил коротко священник.

— Андрей, — выдохнул мужик.

— Отпускаются грехи рабу Божию Андрею…

Прочитав разрешительную молитву, священник сказал повелительно:

— Целуй крест и Евангелие!

Андрей приложился.

— Всё? — спросил он, с робостью взглянув первый раз за всё время в лицо священника.

— Всё, — подтвердил отец Евгений, качнув головой и прикрыв глаза. — Иди и больше не греши.

Андрей облегчённо охнул и просветлевший направился поскорее к выходу. Ему очень хотелось забыть и вытравить из памяти своей навсегда поступок, который столько лет жжёт его сердце, будто змея ядовитым зубом. Ни работа, ни семья, ни водка не помогли это сделать. Откладывая и процеживая в разуме своём различные разговоры людей, он понял и уразумел, что церковь, батюшка, исповедь — последняя надежда его.

Глядя вослед уходящему, отец Евгений не мог, будто парализованный, сдвинуться с места, чтобы взять Евангелие и крест и унести их в алтарь. Он ещё долго стоял неподвижно возле аналоя, склонив голову в глубокой задумчивости. И вдруг спохватился: ведь разъяснить хотел рабу Божию Андрею, что у православных нет обращения «святой отец»… Эх, эх, забыл.

Нечистый пол

Отец Леонид во время всенощной, когда служили посреди храма перед аналоем с праздничной иконой, имел слабость рассматривать незаметно, нет, не соблазнительных прихожанок, а фигуры на пёстром мраморном полу. Эта привычка осталась у него с детства. Вырос он в деревне и долгими зимними вечерами любил, лёжа с книжкой на кровати, отыскивать в рисунках сучков дерева на голой стене или на потолке — разные фигурки: животных, зверей, человеческие лица.

Когда всенощная закончилась, настоятель уже в алтаре спросил со строгой иронией:

— Ты, отец Леонид, чего это на полу выглядывал, будто пятисотенную бумажку обронил, а?

— О, хорошо, что напомнили! — встрепенулся радостно отец Леонид. — Пойдёмте, покажу штуковину одну.

Он подвёл неохотно последовавшего за ним протоиерея отца Иоанна, настоятеля храма, к аналою с праздничной иконой, остановился на том месте, где стоял во время службы, пошарил взглядом несколько секунд по полу, оживился.

— Вот! — показал рукой на мраморные плиты.

— Что, вот? — спросил озадаченно настоятель, ничего не видя в том месте.

— Вот, голова… бесёнка здесь. Вот — глаза, морда, рога.

— Вижу теперь! — удивлённо проговорил настоятель. И тут же попенял: — Значит, вместо того, чтоб молиться, ты во время богослужения чертей выискиваешь?

Из серых и белых пятен на мраморной плитке действительно складывалась и виделась отчётливо голова чертёнка.

— Так меня что поразило-то, отец Иоанн, — загорелся молодой, по понятиям настоятеля, священник. — Тут много, если присмотреться, на этих плитах всякой нечисти-то: зверей страшных, рож. Вот старуха — ведьма просто какая-то, вот рожа жуткая, вот звериная.

— Да-а, — проявил неподдельный интерес настоятель. — А вот, я вижу, баба голая с титьками до пупа, — заметил он и сам уже одну фигурку.

— Меня ведь что удивило-то, отец Иоанн. Я короткое время служил, сами знаете, третьим священником в Никольском храме у отца Луки, там пол тоже из таких вот плит, но что удивительно — фигуры-то всё благообразные: вид пророков, апостолов… И женские, и мужские, но благообразные, и ангелочки есть. А тут у нас, сами видите…

— Д-да-а, — озадаченно протянул отец Иоанн, качнув головой, почёсывая лоб. Он на минутку задумался и попросил отца Леонида: — Ну-ка, позови ко мне старосту, если не ушёл ещё.

Церковный староста Андрей Николаевич, дородный высокий старик с белой и пышной, как вспененная сметана, бородой, с сутулой спиной и оттого с головой как бы втянутой в плечи, пришёл без промедления. Он работал старостой с самого начала, с момента передачи храма верующим, и знал всё, что и когда делалось.

— Пол этот при ком настилали, Андрей Николаевич? — спросил настоятель, не объясняя причину своего вопроса.

— Пол настилали при отце Василии Вахрушеве, в девяносто пятом году, — ответил старик по-военному чётко. Потом помолчал, раздумывая, видимо, стоит ли отвечать на вопрос подробнее; видимо, решил, что стоит, и продолжил: — Мраморную плитку закупили тогда, а не всю, не хватало денег на весь пол. Вот эта светлая полоса, шириной в восемь плиток, от солеи до притвора — как раз то, что не хватало. Отец Василий мечется — жертвователя никакого найти не можем. А готовились в епархии как раз к приезду Патриарха, оставалось месяца три. Отец Василий хотел к той поре пол настелить, он надеялся, что Патриарх посетит наш храм. Не посетил, конечно, — вздохнул с сожалением Андрей Николаевич. — И вот, представляете, приходит Климовец, он тогда как раз в Законодательное Собрание стал баллотироваться кандидатом…

— Это Клим-то, что ли? — поинтересовался отец Иоанн и пристально поглядел в лицо старосты.

— Он, — подтвердил Андрей Николаевич и тоже посмотрел в лицо настоятеля.

Эти взаимные их переглядки сказали им многое, о чём словами не следовало уже и говорить. Звали Климовца Пётр Самойлович. Но поговаривали в народе, что он связан с мафией и в криминальном мире носит кличку Клим. Так его и прозвали в «электорате», хотя и стал он после депутатом.

— Ну, пришёл? — подтолкнул дальше рассказчика отец Иоанн.

— Вот пришёл, значит, — продолжил Андрей Николаевич, — и спрашивает, не надо ли чем-то помочь храму? Отец настоятель от радости аж подпрыгнул: как же не надо-то, вот мрамор нужен, не хватает. Климовец сказал: «Нет проблем! Посчитайте, сколько надо. И какого. Привезут». Вот эту светлую-то дорожку и выложили мрамором, который привезли люди Климовца.

— Ну-у, тогда всё поня-ятно, откуда тут нечисть, — сказал со вздохом отец Иоанн.

— Какая нечисть? — нахмурился староста, вопросительно глядя настоятелю в лицо.

— Да-а… — отец Леонид хотел было показать бесёнка на полу, но настоятель стрельнул в него таким обжигающим взглядом, что он прикусил язык.

— Да так это я, — махнул старосте отец Иоанн. — Клим-то, Клим. Так. Просто. Ладно, иди, Андрей Николаевич!

Отпустив озадаченного старосту, который так ничего и не понял, отец Иоанн обратился строго к отцу Леониду:

— Ты, отче, вот что — не распространяйся никому о своих «открытиях». Оно, ежели человек не знает, так и не увидит ничего, не заметит. Не перестилать же нам эту полосу. И не поймут прихожане, с чего добрый пол ломаем. Да и денег на это где найти? Нам вон крышу надо капитально ремонтировать. А отец Василий, он такой долгой, да столь мучительной болезнью свой грех перед Богом искупил… Восемь лет пролежал, ожидая кончины, Царствие Небесное! — настоятель перекрестился. — Договорились? Что молчишь?

— Ладно, — пообещал отец Леонид.

И слово своё сдержал.

Готовность

Стояла осень, тяжёлые тучи ползли сплошным низким пологом, темнело уже рано и быстро. Отслужив вечерню, отец Артемий пошёл домой. Путь от храма до остановки лежал через неосвещённый край городского кладбища, которое он благополучно миновал и вышел к дороге, остановился под фонарём, пропуская машины, его автобусная остановка была на той стороне.

И тут из-за невысоких, но густых хвойных кустов аллеи, ведущей ко кладбищу, подошли энергично пятеро, обступили, преградив путь. Все спортивного вида, крепкого сложения. Один спросил надменно и брезгливо:

— Ты поп?

Отец Артемий всё понял сразу, его здесь поджидали; предугадать исход этой встречи не составляло труда: будут либо бить и калечить, либо… Непонятно только, за что? Ёкнуло сердечко и пугливо сжалось, по телу пронёсся трусливый холодок. Жить хотелось. Очень хотелось жить. Он был молод, пусть не в самом начале жизненного пути, но ещё молод. Добрая красивая матушка, двое малых любимых и ласковых чад ждали его дома.

Мелькнула малодушно мысль сказать «Нет!». Обознались, мол, нет, я не тот, за кого вы меня приняли.

И тут же понял: это же отречение. Отказаться, значит, не верить ни в промысел Божий, ни в Самого Бога. Вот оно, испытание-то какое выпало ему. И, понимая свою обречённость, он ответил, стараясь казаться спокойным:

— Да, я священник, — и добавил, осенив себя широким, старательно правильным крестом: — Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Лицо того парня, который спрашивал, перекосилось в дикой отталкивающей злобе, ударил он без размаха, по-боксёрски, откуда-то снизу, в челюсть, сразу свалив отца Артемия на асфальт. И, как по команде, набросились остальные, нанося удары ногами со всех сторон.

Обхватив голову руками, отец Артемий, только и успел подумать обречённо: «Господи, прими душу мою!.. Во Царствие Твоё…»

И в этот миг раздалась пронзительная, режущая слух сирена милицейской машины. Проезжавший патруль, вывернув из-за поворота, заметил, что кого-то избивают. Водитель сходу врубил сирену и мигалку. Банда бросилась врассыпную. Но молодые и смелые милиционеры не растерялись: двоих молодцев им удалось настичь и сбить с ног. Пропахав на хорошей скорости землю, сопротивляться хулиганы уже не могли, их задержали, закольцевали в наручники…

Отец Артемий отделался несколькими синяками, понимая, что мог бы остаться калекой, а мог бы и убитым быть. Запинали бы в три-четыре минуты. Но истязатели даже не успели войти в раж, помешала милиция.

Придя постепенно в себя от пережитого шока, молодой священник задумался, и тут вспомнился ему библейский Авраам, руку которого с занесённым на сына ножом отвёл Господь, видя готовность старца пожертвовать самым дорогим…

Малоумная

Летом я живу в деревне. Когда приходит сенокосная пора, деревенские бабы начинают осаждать меня с литовками. Осталось в деревне два-три мужика — умельцы направлять литовки, но отказываются они от такой малокорыстной работы. Вот и несут литовки ко мне, приводить их в рабочее состояние: какую-то надо пересадить, какую-то подремонтировать, закрепить и — каждую непременно наострить, для этого в наших местах литовки (косы) срезывают: специальным небольшим калёным клинком — срезкой — стружку снимают, до тех пор, пока лезвие не станет острым, как бритва.

Некоторые литовки приносят в таком гадком-прегадком состоянии, что с души воротит. Год назад, закончив сенокос, хозяйка не то что вымыть — даже травой не отёрла свой инструмент, так и сунула куда попало, вспомнив о нём только теперь, когда снова понадобился. И вот остатки травы, налипший мусор, земля — вся дрянь приржавела к полотну косы, а черенок бывает ещё и курами обгажен, безобразную литовку не хочется даже в руки брать. Но приходится, как откажешь человеку, когда он с таким доверием пришёл. В этот момент у него вся надежда только на тебя одного. Берёшь и делаешь, как умеешь, как получится.

Работать доводится, конечно, не задаром, плату несут, кто пару-другую яиц, кто молока банку, кто творога, а случается, что и сметаны, и даже масла. Это уж в зависимости от возможности владелицы литовки, от количества обращений ко мне и от степени щедрости. Я никогда ничего не прошу, но и не отказываюсь, ибо у меня нужда как раз в том, что приносят. Люди всё знают.

С одной стороны даже и приятно, что ты здесь такой нужный и пригодливый, а с другой — надоедает всё же, к концу сенокосного сезона начинает уже и совсем раздражать; думаешь, поскорее бы отходил он, этот сенокос.

Одному назойливо-нудному человеку я срезываю литовку без малейшего желания, всегда принуждая себя. Это Ольге. Она из тех людей, про которых говорят: не все дома. Кстати сказать, дом свой она превратила в такое пугало, что невозможно пройти мимо без удивления.

Снаружи весь он безобразно измазан глиной, перемешанной с коровьим дерьмом и соломой; это Ольга промазывала пазы, чтоб тепло в избе держалось. Все семь окон её избы, три из которых на дорогу, обиты картонками от коробок, лохмотьями от старых фуфаек, полосками войлока, нарезанного от сношенных валенок, и досками. Почти весь свет в окнах закрыт, оставлено только верхнее стекло рамы, и оттого в избе у Ольги даже в солнечный день — мрак. А грязи на полу, хоть метлой мети. И одевается Ольга — посмотреть жутко: на грузном, рыхлом теле её какая-то разноцветно-заплатистая толстая кофта на булавках и юбка хуже того; на немытых, обутых в галоши ногах спущенные чулки, платок намотан на неприбранной голове, как попало. В общем, очень напоминает Ольга свою перемазанную снаружи избу.

И не то, чтоб всё это шло от бедности — пенсию теперь неплохую получает, а от натуры и какой-то примитивной скупости, что ли. Деньги она, должно быть, копит. Самой ей уже далеко за семьдесят, но есть двое детей (дома они, правда, не живут), есть внуки и двое правнуков. Для них-то, наверное, и копит деньги. Может, думает Ольга о том, какие немыслимые тысячи платят ей теперь… Не поймёт, что мало что купить на них можно.

Принесёт она литовку и начинает плакаться, как трудно ей, как плохо жить одной, никто не помогает, дров нет, сена нет, крыши худые, везде бежит в непогоду… Ты по лезвию узкой, сношенной косы срезкой обоюдоострой водишь, сдираешь с усилием стружку металлическую, а Ольга тебе под напряжённую руку несёт всякий вздор. Того гляди — оплошаешь и без пальцев останешься. Тем более что приходит она рано, в семь, в восемь часов утра, когда у меня самый сон. Но она будет настырно кричать и ухать под окошками, переходя от одного к другому, пока не выйдешь.

Этим простодушием Ольга меня всегда сердит. Правда, откуда ей знать, что ложусь-то я спать не с курами, как она, а с предутренним пением петухов.

Вот и в этот раз согнала она меня с постели раным-ранёшенько, принесла две литовки острить,

уселась на скамейку возле ворот и стала донимать всякой бабьей брехнёй. При этом ещё оправдывается, что шибко надо срезывать литовки, а заплатить-то ей совсем нечем за работу: два яичка было, так сама съела, как идти сюда; коза мало даёт молока. Будто я его есть буду, козье молоко. Денег, говорит, только рублёвка. Предлагает её: возьми-де хоть это.

Ещё не так давно на рублёвку можно было купить сто коробков спичек, пять буханок хлеба. И даже в то время срезывание литовки оценивалось в пару рублей. Сейчас на рубль практически ничего не купишь, его может хватить разве что на десяток спичинок. Вот и выходит, с учётом инфляции, Ольга мою работу оценила в одну пятую копейки. Обидно? Не на что тут обижаться, так это ничтожно-пустяшно. Однако ж раздражает невольно такое издевательство.

Пытаюсь успокоить себя мыслью, что это Бог её послал: как раз сегодня годовщина маминой смерти, и я должен принести жертву, выполнив доброе дело с терпением и с открытою душою. Да вот не так-то это просто.

Ольга словно почувствовала мои мысли, спрашивает.

— Когда Евгенья-то умерла?

— В сегодняшний день, — отвечаю.

Она крестится и вслух читает молитву о упокоении усопших.

— А сколь годов прошло? — допытывается Ольга.

— Шесть, — говорю.

— Вот как времечко-то летит, — качает она сокрушённо головой и интересуется: — Поминок будешь ладить?

— Не по карману нынче мне поминок, — сетую, — в церковь подал на обедню заказную.

— Я в церкви спрашивала, сколь будет стоить поминание за здравие на год, — делится она. — Говорят, тысячу рублей. Дорого. Мишу записала. Может, пить перестанет, будут за него молиться в церкви дак.

Миша — это сын, он у неё старший, живёт в Кунгуре.

Говорю с недоумением:

— Он тебе совсем не помогает, да пьёт, рассказываешь, по-страшному, а ты за него молишься.

— Может, Господь наставил бы его на путь, — произносит она с печалью и надеждой. — За детей своих надо молиться, они ведь от наших грехов страдают. Вон Егор Яковлевич: сын возле Файки Ульянкиной пал, неладно сделалось пьяному…

— Пьяный и неладно, а знает, куда падать! — смеюсь я, понимая, что упал парень возле дома Файкиного.

— По Егора сбегали, — продолжает Ольга, не обращая внимания на мою шутку. — Он пришёл, тоже пьяный, взял у Сашки бутылку красного и говорит: «Закопайте его здеся!» — и ушёл. Вот как сына своего сам похоронил. А после с Нюрой всё же пришли — он уж мёртвый. Отец проклял на смерть сына своего.

Прислушиваюсь к этой философии тёмной неопрятной бабы, и от интереса даже сонная вялость во мне незаметно развеялась и оживился ум. Христианский взгляд Ольги меня просветлённо удивляет. Как истинная мать — она молится за своего сына, отпавшего и блудного, пьяницу, забывшего её и свой долг перед нею. Когда недавно приезжал, рассказывает, слёзно просила его подправить избную дверь, совсем плохо стала закрываться, и в стужу холодно в избе. Не сделал, поленился.

У меня изменилось настроение. Срезываю литовки тщательно, не торопясь, порой останавливаюсь, разговариваю.

Ольге, вижу, приятно моё внимание, она дома насидится в одиночестве и рада поговорить.

Когда-то Ольга жаловалась вот так же на внучку, что эта соплюха собралась выходить замуж, показывала даже письмо, в котором девчушка простодушно выпрашивала у бабушки немалые деньги на свадьбу. Интересуюсь, что с внучкой её сейчас. Ольга охотно рассказывает про неё, что недавно второго родила, а первому пятый год уже.

— Да сколько ж ей лет? — спрашиваю.

Оказывается, всего-то двадцать первый, а уже с десятым мужиком живёт. Я изумлён, хотя и понимаю, что цифра десять сказана, наверное, в шутку. Ольга, смеясь лёгким смехом, говорит, что внучка вся в неё.

— Я молоденькой была, тоже никому не отказывала. Кто попросит — давала. Раньше девок бегать не пускали, как теперь. Только в воскресенье в церковь. А ходили из Михайловки в село Усановку, за пять километров. Вот и ждёшь воскресенья, вот и ждё-ёшь, чтоб побегать, не о церкви думала… Господи, прости меня грешную! — восклицает она с неподдельным сокрушением о своих грехах и крестится.

Потом доверительно рассказывает, как пришла недавно в магазин Нинка Мотиха, такая же старуха, показывает на неё и говорит: «Ольга́ малоумная».

— А я про себя-то и думаю: так мне и надо за грехи мои, не достойна лучшего. Меня все малоумной называют. Не обижаюсь, только радуюсь да молюсь. Сосед, Лёшка-то, не пускает в колодец, собаку навязал, чтоб я не подошла к воде. Хожу на речку да молюсь: так мне и надо, так и надо за грехи мои.

На речку ходит! Вот те на! Это ж от избы Ольгиной метров двести с гаком, туда-обратно — чуть не полкилометра. С двумя-то вёдрами воды на коромысле. Да всё бурьяном. Сердце моё сжимается от жалости к старухе. Всегда считалось последним делом — в воде отказывать. Ну и гад же этот Лёшка, оказывается! А литовку срезать не хватает своего толку, тоже ко мне таскает. Придёт и весь из себя такой застенчивый, вежливый.

Срезывать литовку приходится, низко наклонясь. У меня крестик выбился между пуговками рубашки и свесился. Ольга, видимо, заметила и спрашивает:

— «Верую» знаешь?

— Знаю, — отвечаю. — Как же, ведь это главная наша молитва, на ней вера православная стоит и держится. Символ веры!

— Добрый парень! — хвалит она.

А утро такое тёплое, тихое, солнечное, всё вокруг светится множеством радостных оттенков зелёного, и она умиротворённо произносит:

— Сколь у тебя здесь баско, лес кругом, вода ключевая, шибко славно, как в раю!

Мой дом стоит на краю деревни, на отшибе, в стороне от дороги, утопает в луговых травах, кустах и деревьях.

— Да, Ольга, — соглашаюсь я, — иной раз сам удивляюсь: за что мне, грешнику такому, дал Господь эту благодать.

— Рай земной! — вторит Ольга и спрашивает: — «Высшую небес» знаешь?

— Слыхал, — говорю, — но наизусть не знаю.

— А я знаю, — делится она радостно. — Вот почитаю.

Тут она поднялась со скамейки, повернулась лицом на восток, преобразилась вся, будто осветилась изнутри благоговением, подтянулась, сосредоточилась, замерла на мгновение и начала торжественно и сокрушённо.

Я приостановился, выпрямил спину, стал слушать и был очарован заново необыкновенным смыслом молитвенных слов, их вдохновляющей таинственной силой, восхищён красотой и глубиной содержания этой молитвы, выражающей суть греховной человеческой жизни, сокрушение о грехах и горячую просьбу об их прощении, об очищении души и спасении милосердием Божиим и заступничеством Богородицы.

Должно быть, почувствовав мой неподдельный интерес, она спрашивает:

— А «Воспеваю благодать Твою, Владычице» знаешь?

— Нет, — признаюсь я.

Она принялась и её читать, длинную, чудесную молитву, в которой была великая сила духовного света и горячая просьба ко спасению нашему от душетленных пакостей.

Лет семь-восемь назад я выслушал бы всё это, быть может, с равнодушной иронической усмешкой, к тому же мало что понимая в сложном плетении церковнославянских словес, но в последние годы смерть мамы, возраст и какой-никакой накопленный опыт жизни, а более всего — регулярное посещение храма и ставшая доступной духовная литература, источник возвышения души, — изменили меня самому на удивление.

И, слушая Ольгу, произносимые ею слова, я растрогался до слёз от мысли, что эта тёмная, неграмотная старуха, едва умеющая читать, взобралась по духовной лестнице неизмеримо выше нас, образованных и много знающих ненужного. Но мы, изуродованные «научным атеизмом», преподанным нам в вузе, как после выяснилось, развратно-похотливыми безбожниками, не знаем главного, а вот старуха Ольга знает.

Да ведь в её душе — бесценный дар любви, о которой говорит апостол Павел и которая есть лестница в Небо. Сейчас и меня Ольга чудным образом осенила этой любовью. Пусть она не сильна умом и неопрятна внешностью, зато проста сердцем, которым и дано ей проникнуть в глубину молитвы, прислушаться к ней и руководить себя ею в отношениях ко всему окружающему её миру. Не через молитву ли эта женщина обрела редкий дар — незлобие к людям; она может прощать им, смиренно помня о своих грехах, которые для неё первее чужих, и этим Ольга просветлённо возвышена над нами.

До меня дошло, что малоумной её обзывают люди с замусоренною душой, которые не видят и не чувствуют в жизни простой, истинной красоты, доступной блаженной Ольгиной душе — самому главному сокровищу, во спасение которого и проходит жизнь Ольги, молящейся за нас, непутёвых и пропащих.

И мне вздохнулось легко и радостно.

Хлеб с тараканами

Душа, душа, греховный мой сосуд,
Зловонием и скверною смердящий…

Бывают минуты, когда мысль твоя убегает по бесчисленным растяжкам памяти в прошлое и там натыкается на события, давно затерявшиеся в детстве. На чистом листе младенческой души оставил нестираемый след какой-нибудь случай. В глазах взрослого, загрубевшего душой человека, такой случай — ничтожный факт. Не более.

Лет пять или шесть исполнилось мне, а сосед Ванька был старше лет на десять-одиннадцать. Однажды играл я на лужайке перед домом, и Ванька, высунувшись в окошко своей приземистой избёнки, поманил меня к себе. Я подошёл. В его левой руке, между большим и указательным пальцами, была зажата схваченная за крылышки оса.

— Лапку ей выдерни, — попросил меня Ванька и пояснил: — Не могу захватить, уж больно тонка.

Я пригляделся получше к ярко-полосатому осиному тельцу. Лапок у неё не было. Насекомое судорожно изворачивалось из стороны в сторону, а из остроконечия попки высовывалась, норовя достать Ванькину кожу, и живо упрятывалась тонкая чёрная заноза.

— Это жало, — сказал я неуверенно.

— Да не-ет, — возразил внушительно Ванька. — Жало-то я ей сразу оторвал, и лапы повыдёргивал, а одну не могу никак захватить, пальцы у меня толстые. Ты своими выщипни её.

Я изловчился и лапку осиную ухватил.

В то же мгновение палец мой хватанула цепкая огневая боль, будто его отрубили: «лапка» оказалась жалом, и оса всадила, должно быть, всю свою предсмертную силу, кусая меня отмщённо за Ванькино издевательство. Равнодушно отбросив насекомое, Ванька закатился в радостном хохоте.

Долго я плакал от боли, но ещё больше — от обиды, что меня подло так обманули, чтоб только посмеяться, оказывается, над моим страданием.

В другой раз Ванька заманил меня в избу свою. Он был с приятелями, одного из них я уже знал, его звали также Ванька, он приходил из-за Ирени, из Ключиков, третий не запомнился. Бабушка рассказывала, что по деревне ходила нехорошая слава об этой компании: воровали, пакостили и не умели ни читать, ни писать.

Житьё колхозное в войну и после ещё долго было такое нищее и тяжёлое, что в ту пору их матерям учение в школе казалось, должно быть, пустяшным и ненужным занятием, да и не в чем, говорят, было в зимнюю стужу ходить в школу, дома

сидели. Так и росли эти парни неграмотными, хотя война кончилась почти десять лет назад.

Когда я вошёл в избу, то увидел на полу какие-то железки, винтики, шайбочки. А Ваня держал в руках большую батарею, из которой торчали два хвостика проводков. Он подвёл их кончики поближе друг к другу, но не соединяя, и предложил мне лизнуть их.

Наверное, я почувствовал какой-то подвох по ужимкам парней. Сколько они меня ни упрашивали попробовать, отказывался. Но, знать, щедро Создатель сыпнул в душу каждого из нас доверчивости, с которою мы рождаемся и растём, пока постепенно и незаметно другие люди вытравят из нас это бесценное качество, и мы превратимся в тех, кто, обжёгшись на молоке, начинает и на воду изо всех сил дуть, раздувая щёки.

Ребята уговорили ведь меня, что лизнуть проводки шибко хорошо и приятно, только язык чуть-чуть теребит и пощипывает кисленьким, как батарейка от фонарика. А это я уже испытал. Они пообещали дать за пробу пятнадцать копеек. Показывали монетку и говорили: «Вот. Лизни и бери, она твоя». Я купился и лизнул.

Язык мой будто вырвали. Это меня электрическим током дёрнуло…

Наверное, парни этот фокус испробовали прежде на себе, потому что катались они по полу в таком злорадном хохоте, захлёбываясь им, что натыкались друг на друга.

Не помню, раньше того или позже, в зимнюю пору, в клящий мороз, Ванька науськал меня лизнуть вот так же стальной полозок моих деревянных, украшенных резьбой санок, необыкновенно красивых, на которых я катался с горки. И осталась тогда на железе кожа с кончика моего языка, в секунду побелевшая от мороза. Придя домой и забравшись на русскую печь, долго я сидел возле трубы и плакал безутешно. И некому было заступиться за меня, безотцовщину, привезённого из детдома матерью-арестанткой, отсидевшей недавно десять лет в лагерях под Тавдой…

После Ванькиной шутки я какое-то время не мог выговаривать слова.

Да беда-то вся в том, что, обретая такой дурной опыт, мы со временем искушаемся сами грешным желанием попользоваться им, а получается это порою в ещё худшем варианте.

Мне уже исполнилось лет двенадцать. Ванька в ту пору отбывал (и кажется, уже во второй раз) срок в заключении по уголовному делу. У него подрастали два племянника, дети старшей безмужней сестры, прижитые ею на стороне: с мужиками после войны было дефицитно.

Однажды, играя на горке в лесочке перед нашими домами, обнаружил я под кучей старых еловых сучьев огромный серый шар — осиное гнездо. Заманил к этому месту старшего — лет пяти-шести — племянника Ванькиного, ударил по куче (над гнездом) ногой и, как осы взвились злобным роем, толкнул к ним Гриньку, а сам ловко убежал…

В другой раз увидел, как Гринька прилепился коленками к доске, переброшенной через родниковый ручей, из коего брали воду, склонился и что-то внимательно высматривал в ямке под запрудкой, из которой по желобку лилась, сверкая, холодная прозрачная струя, нескончаемо живая и журчащая. А на песчаном дне глубокой ямки тугая струя играла мелкими разноцветными галечками и забавлялась пусканием и пляской множества пузырьков. Неутомимой работой струи эта ямка и была образована.

Гриньку, оказывается, так заворожила игра воды, что не почувствовал он моего приближения, а шум упругой струи заглушил бы и не такие тихие шаги, какими я подкрался, размышляя, какой бы мне фокус выкинуть.

Вдруг мне пришло желание крикнуть над Гринькой врасплох. Он так испугался, что сорвался с мостка вниз головой в подземельно-студёную ключевую воду, и я едва выволок его, сам в жутком переполохе от такой неожиданности, готовый, чем угодно, задобрить Гриньку, только бы он матери не пожаловался. Дурацкая получилась шуточка.

И ещё был случай, когда двумя-тремя годами позже я в школьные каникулы пас колхозное стадо коров. Сошлись мы в кипятилке на ферме Гринька прибежал к матери, работавшей телятницей, а я болтался в ожидании конца вечерней дойки, изнывая от подростковой скуки. На пыльной полке давно валялась засохшая краюшка хлеба, насквозь проточенная тараканами, которых здесь кишмя кишело. Я взял её и подал Гриньке. Он (семья их долго нищенствовала) доверчиво принял сухарь и начал грызть, и было мне забавно видеть, как из дырок в краюшке выскакивают разнокалиберные тараканы.

И вот с ходом времени, с накоплением жизненного опыта как-нибудь однажды, по случаю, тебе, уже обременённому скопившейся в душе мерзостью, открывается, что между этими событиями, разбросанными по детству, существует, увы, связь.

Теперь, когда мне перевалило на пятый десяток лет, знаю, что всё дурное подрастающий человек перенимает от тех, кто родился вперёд его. И эти тяжёлые вериги тянутся из сегодняшнего времени в бесконечность прошлого и где-то там, во мраке угасших веков, теряются их ржавые концы. Но мы окованы ими, как каторжники кандалами. Порвать бы как-нибудь, проклятые!

Да разве крепость их чугунная сравнима с золотой цепочкой добра: хотя она тянется и вьёт свои кольца из того же далёкого прошлого, но как много в ней разрывов…

Господи, прости убиенного грешника Ваньку!

И ты, Гринька, прости меня, окаянного, за осиное гнездо, за переполох возле ручья, за хлеб с тараканами! Прости! Без этого нет мне покоя…

Крест

Прежде это было село, теперь — деревня. Один конец деревни уже вымер, обезлюдел. Здесь на пригорке стоит, как богатырь на страже, древняя разлапистая ель. На её верхушке, взметнувшейся к небесному куполу, на огромной от земли высоте — деревянный крест.

Он не бросается в глаза. Увидеть его можно случайно, когда перестаёшь смотреть под ноги. Первое, что испытываешь от неожиданности, заметив

крест на ёлке, — недоумение: зачем? для чего? кто его тут вознёс? Да как взгромоздил-то на такую вышь? И снова — зачем? Православный крест на ёлке! Нелепость какая-то получается.

И ведь поставлен-то крест по всем правилам относительно сторон света. Да кто же тот знающий смельчак, что, рискуя сломать себе шею, взобрался с нелёгкой ношей на такую высоту, если при одном только мысленном проделывании этой опасной операции — сердце от жути замирает, и дух заходится. Кто он? Религиозный фанатик, или религиозный романтик? Теряешься в догадках.

Если тихим вечером занять место для наблюдения между закатом и елью с крестом, увидишь, как обветренная древесина креста светится серебристо в лучах заходящего солнышка.

Крест будто парит, будто плывёт в бездонно-прозрачно-голубом небе. Тогда невозможно взгляд отвести от креста.

Давно замечено мудрецами, что закатное светило настраивает наши мысли на особый философический лад. А тут ещё посмотришь, подивишься на необычный крест, притягательно сияющий в небесной высоте, и неизведанные чувства взбудоражит он вопреки атеистической воле твоей.

И очарованная душа освобождается тогда от надменной насмешливости, от суетного скептицизма. Чувствуешь, как входит в неё настойчивое и тревожное сознание собственной малости, понимание, что в мире есть нечто, неподвластное твоему ленивому разуму и твоей самонадеянной плоти — великое, вечное и нетленное. Но, что удивительно, — не остаётся досады от этого понимания своей малости, когда глядишь на крест.

Да кто же сотворил чудо сие? Оказывается, вознесён крест и поставлен (и в это поверить трудно) деревенским дурачком Иваном. А церкви в деревне нет с тридцатых годов. Порушена.

Виктор Теплицкий

Благодарение

Ты ускользаешь
легко между пальцами
рук иерейских, поднятых к небу,
на херувимской,
уходишь по тропам
низких басов древних распевов.
    Недосягаемый…
    Непознаваемый…
Ты ускользаешь
по буквам округлым,
где нам связать Тебя вязью кириллицы
и позолотой
тяжёлых окладов,
дымом кадила, ладаном греческим.
    Непостижимый…
    Неудержимый…
Ты ускользаешь,
Ты прячешься в Хлебе,
в красном Вине, теплотою разбавленном,
течёшь по канонам,
оросам, догмам,
след оставляя только светящийся.
    Неизменяемый…
    Не изъясняемый…
Ты, ускользая, зовёшь за Собою…

Звёзды, поющие песни
беззвучно, неторопливо,
слышат холодные рыбы,
глядя на свет луны.

Станешь ли ты камнем,
чтобы услышать море?

Смерть — это просто ветер,
дующий к нам с востока
и уносящий в вечность
листья опавших жизней.
В силах ли мы оторваться
с дерева этого мира?

Тихо вдоль моря бреду одиноко.
Чайки кричат голосами печали.
Меня ли зовут,
иль кого-то другого?
Разве я знаю?

Благодарение

Частичку Вечности
держу в ладонях,
крестом сложённых,
и умолкаю.

Огонь лампады
в притихшем ветре,
такой безвольный,
несмело замер.

Потир расцветший
цветком кровавым
сокрыт от взоров
всех херувимов.

Дневное солнце
над храмом слепнет
и тонет в свете
пронзённой Плоти.

Я — Тело Бога.
В Его ладонях,
крестом сложённых,
мир умолкает.

Анна Сафонова

Шумашедший

Земля стонала… Протяжно, долго. Без надежды — безнадёжный стон. Глухо, угрюмо. Без веры — неверный стон. Земля стонала, обожжённая, обветренная. Отпусти!

Мальчик-послушник прижался ухом к земле, гладит её ласково: «Потерпи. Потерпи. Тебе заповедано». Отнимая на секунду голову, во весь рост выпрямлялся, осенял себя размашисто крестом и снова падал. И слушал. И плакал. И жалел — потерпи!

Егором его звали. И в околотке, и в дальних сёлах. Сам по себе вырос. Один, безродный, из избы в избу, из рук в руки перекатывался, как прошлогодняя репа. Пока в монастырь не спихнули. Там братия попинала да приголубила. На честное послушание оставила.

Сызмальства работал непомерно — воды принеси, печи вычисти, дров напаси, хлеб сготовь. Всё делал справно. И молчал. Думали, больной, тёмный. А он крепкий, неразговорчивый. Так-то оно и к лучшему.

Вышел Егор за ворота юношей. Оглянулся на дом свой приёмный, в пояс ему поклонился. Поглядел по сторонам — куда ни пойдёшь, всё одно, где век свой размыкивать. Сперва по сёлам ходил, подаяния просил. Потом на работы подбирать его стали. Долго нигде не задерживался –платить не с чего, так за хлеб спасибо скажет и дальше пойдёт, молчун монастырский. Глаза синие огнём жгли. Редко теплом пригревали.

Одно время потеряли Егора. Отцы нашёптывали, будто помешанным сделался да сгинул где. Потому — кидался на прохожих, прыгал вокруг, руками, как крыльями, бил и улюлюкал. Могли и до смерти забить… Бабы-то его скоро в юродивые прописали. Несли по привычке хлеба кусок, рубаху мужнюю, ветхую — на, помолись во здравие. Дети по злобе своей малолетней гонялись за ним, камнями да глиной забрасывая, и неслось по округе — «Шумашедший! Шумашедший!» Дети же…

А он не сгинул. До самого Сергия-батюшки доплёлся. Там встал на четвереньки и ну вокруг лавры ползать. Штаны уж давно протёр, ладони в кровь изодрал, головой мотает, слезами заливается, а ползёт. Неровен час, под машину угодит. Что за думки его мучили, ни одна душа на земле того не знала. «Шумашедший» — одно слово.

День прошёл, второй. Егор в овраг уполз, там схоронился, передохнул. После сухарей в ладонь накрошил, водой колодезной запил и вон из города вышел. Потом уж его снова подле монастыря увидали. На постой не напрашивался. Странноприимная паломниками забита, негде голову приклонить. Настоятель сменился, братия и виду не подала, что Егор-то свой. Вот здесь выросший.

Случилось мимо того монастыря в село человеку ехать. Видит, парняга чернявый стоит, голосует:

— Подвези, дядь. Ноги сбил, идти не могу. Здесь близко.

Стоит, улыбается. Лицо пыльное, в волосах колтуны. Во рту зуба не хватает. Оглядел его пристально. Махнул рукой — садись. Только дверь открыл, откуда ни возьмись, налетело ещё с десяток таких вот космарей, из машины выволокли, избили до полусмерти, деньги отняли, самого в поле бросили. «Сволочи! — хрипел вослед, распластавшись на брюхе. — Цыганы проклятые!» Траву в кулаках стянул, замычал, как теля беспомощное, и уткнулся головой в землю.

— Больно тебе, дяденька? — Егор его за плечо тронул. Неподалёку в леске состроил себе шалашик и жил в нём. — Вижу, что больно. Слава Богу, живым оставили.

— Ты ещё кто такой? — простонал человек.

— По имени Егор, по прозвищу — Шумашедший.

Человек от удивленья зашевелился, на локтях приподнялся и в глаза Егору уставился:

— Дурной ты совсем, как погляжу, — крякнул, повернувшись, и кое-как на спине приладился. — Чё смотришь? Дурной и есть.

— Ты меня дурным не зови. Не меня в поле выкинули. Своего-то, поди, не упомнишь.

— Чего?

— Да имени-то.

— Да не морочь ты мне голову, доходяга. Трещит, зараза, да ум вконец не вышибли. Макаром звать, — корчась от боли, почти присел уже и глазом целым на Егора позыркивает.

— Хоть Макаром, хоть Иваном, хоть женой Распоповой — нет у тебя имени, — упрямился Егор.

— Ты что, чёрт белобрысый, совсем из ума выжил? Сказано тебе — Макаром кличут, так и есть! — перекатившись с больного бока на здоровый, кряхтел человек.

— Ладно. Почто, Макар, тебя люди побили? — Егор вырвал незаметно из земли корень, смочил в лужице и стал в руках мять.

— Цыганов людьми звать?! Да скоты они! Лопоухий один подскочил — дядь, довези — а как в машину прыгнул, так ещё орава налетела. Глянь, чё делается-то! Ни одной кости, поди, в живых нет.

— Значит, не от сердца помог, — поглядывая на Макара, трудился над травкой Егор.

— Пугало огородное, много ты понимаешь? Не от сердца… — скривился, обидевшись, человек. — И откуда ты взялся на мою голову?

— Двинься давай, — поманил Егор. — Можешь двинуться-то?

Макар мотнул головой, и Егор сам притянул его к лужице, где лежал размятый корень травяной. Взял его, в глине повозил и стал раны Макаровы замазывать да приговаривать:

— Нет у меня ни родины, нет у меня и матери. Та, что родила меня, в лесу на суку повесилась. Та, что выкормила, позабылася. Нет у меня ни дома, нет и отца. Дом завистники спалили, отца проходимцы убили… — отёр с лица Макарова кровь запёкшуюся, рубаху разодрав, глаз заплывший перевязал.

— Ты чего? Делаешь-то чего, спрашиваю? — изумился Макар. Морщился от боли, но терпел. Егор ползал вокруг, губами шелестя непрестанно, а потом сорвал с себя крест деревянный и протянул, улыбаясь.

— Носи на здоровье. Братом мне будешь.

— Зачем это?

— Чтобы цыганы зазря не били и добро твоё не украдали. Хороший ты человек, Макар. Божий человек. Да только запамятовал. А помнить надобно.

— Ты, братец, меня не путай. У нас с тобой дорожки разные. Ты до Бога, я сам по себе. Ты меня не агитируй, слышь? Не то в лоб дам!

— Не злись. Не бойся. Слушай, — Егор опрокинул Макара навзничь, ухом к самой земле приставил. — Слышишь? Живая.

Тут он и сам рядом примостился. Замерли оба. Макар глаз пучит, так напрягся, что даже рот растворил:

— Точно, слышу! Слышу, чтоб те пусто было! Гудит чего-то. Как в бочку гудит!

— Это мать моя стонет. Боженька ей помереть не даёт.

— Тьфу ты, турок. Ну чего ты заладил? Боженька твой на мне места живого не оставил. Тебя дураком сделал. А он всё — Боженька! Боженька! Поди, тоже из здешних, из попиков? — кивнул в сторону монастыря Макар.

— Не ори. Из здешних, правда.

— Во, то-то, гляжу, елей льёт без остановки. Так и есть — юродивый! — обрадовался Макар, в Егора пальцем тыча. Тому тоже весело стало. Хохочут оба, закатываются. По плечам друг друга хлопают. Так хлопали, что Макара опять к земле привалило.

— Слушай, Макар, Слушай, непутёвая голова! Ухо твоё глухо, глаз ослеп. Сердцем слушай, Макар. Стыд тебя покинул. Как вернётся — страшно станет, больно станет. Сам себя разодрать захочешь, а сил не найдёшь. Стыд — штука крепкая. Всё своё проживёшь, Макар. Все долги людям раздашь. Что без зазора взял, все собственной шкурой отработаешь.

Макар ещё пуще изумился. Откуда этот слизняк доходяжный про дела его знать может? Ехал стороной, никому словом не обмолвился…

Не успел закат догореть, тучи грянули, вороны забеспокоились, в поле трава зашуршала, пригнулась и затихла. Гроза накатила нешуточная, ливень захлестал холодный, осенний. Тут Макар с «шумашедшим» возьми и зареви в голос:

— Господи, помилуй мя, грешного! Человеколюбец, прости!

Воет, а сам траву дерёт да целыми пригоршнями в рот запихивает. По земле катается, о камни бьётся:

— Что я тебе сделал, кровопивец! А? Чего ты мне душу на кулак наматываешь? Со свету сжить хочешь? Виноват, так не тебе наказывать. Суд на то есть. Законы есть. Отпусти! — взмолился Макар. Глаз его чёрным от боли сделался. Волос на лицо налип, вода ручьями сбегает. Ох, и страшен Макар. Жалко его стало.

— А ты повой, повой. Глядишь, и полегчает. Божий человек, Макар, а про стыд забыл. Крест храни, а откуда взял — молчи про то. Не поверят. Ещё сумасшедшим прозовут. Цыган забудь. Всё забудь. Уходи, Макар. Долго живи, горемычник.

Ошеломлённый Макар встал, как ни в чём не бывало, рубаху одёрнул, крест, в кулаке зажатый, в карман запрятал. И попятился, и побежал. Рукой всё отмахивался, будто померещилось чего — чур, меня, чур! Дошёл ли до дома? А как же, не дошёл. Дошёл. Здоровый мужик-то был.

Егор свой век размыкал, но от земли так и не выпрямился. Ослеп, а дорогу верно правил — ползал туда-сюда, молитовку бормотал, руками шарил, будто потерял чего. На селе его стороной обходят, старухи, как завидят, крестятся, а деды, бородёнками потрясая, вослед едва шамкают:

— Шума-шетший!

Братия в монастыре давно поменялась. Новоприёмные сжалились, в трапезной у печи приютили. Доживает Егор в тепле теперь.

Стонет земля. Живёт-тужится, не смея ослушаться. И «шумашедший» с ней — кряхтит да улыбается. Крепкий брат. Живучий. Хоть по имени не назовут. И в лицо не узнают.

Александр Ломтев

Ёжики кричат

Из цикла «Ичкериада»

Однажды в Грозном

Дом был разбит, искорёжен, раскурочен. Выше пятого этажа от него остался лишь скелет, и через окна просвечивало небо. И всё же в нём теплилась жизнь. На втором этаже, на балконе — цветы в горшочках, цветастый ковёр на перилах, на высоком столике самовар. У самовара русский седенький старичок — сидит, пьёт из блюдечка чай и смотрит вниз. Разглядывая эту невероятную картину, я едва не грохнулся на груду кирпичей и торчащую из неё арматуру.

— Аккуратней, корреспондент! — придержал меня за рукав майор в набитой автоматными магазинами и гранатами «разгрузке», — так недолго и шею свернуть.

— Здэся, здэся! — махнула нам от подъезда полная чеченка в тёмных одеждах и чёрном платке, — здэся она.

Бабушка лежала на покосившемся козырьке над подъездом, и сразу было понятно, что упала она с пятого этажа, из окна с белыми тюлевыми шторами, которые, свисая из оконного проёма, слегка колыхались под ветром.

Милиционер-чеченец выбрался из окна подъезда на козырёк и склонился над мёртвой старушкой, а мы с майором и его бойцами начали осторожно подниматься на пятый этаж. Жилой на площадке оказалась лишь одна квартира. Двери остальных трёх были выломаны, а изнутри доносился нежилой запах плесени и тления.

В квартире, если не смотреть в окно, где торчали остовы домов на противоположной стороне улицы, не было ничего примечательного. Диван, круглый стол, сервант, какие-то фарфоровые безделушки и вязаные салфетки. Чисто, аккуратно и бедно. Ничем не отличалось от жилища какой-нибудь одинокой пенсионерки, скажем, в Арзамасе. Догнавший нас милиционер, бегло оглядев квартиру, сказал, вопросительно глядя на майора:

— Следов взлома и борьбы нету.

Потом подошёл к столу. На столе лежал листок бумаги, исписанный мелким корявым почерком. Сначала листок прочитал майор, потом чеченский милиционер. Потом майор протянул листок мне:

— На, читай, корреспондент.

Я едва разобрал почерк:

«Главному Имаму и Прокурору
Чеченской социалистической республики,
и копия президенту
нашей России В. В. Путину

Заявление

Уважаемый товарищ Имам!

Мы живём на пятом этаже в г. Грозный. Без сына, но с внучкой. И вот ни с того, ни с сего с нами перестали здороваться. Я по этому поводу высказалась на кухне не лестно (на кухне, так как у нас всё прослушивается), но они это услышали, и это у них было запланировано. А всё это разработал неизвестный мне по кличке «Большой Человек». Всё это делалось, чтобы сжить меня со свету и завладеть моей квартирой и всем. И всё это делалось так, что б ни кто не видел и не слышал. И у меня за спиной хрюкали, а я не мусульманка и вообще не верующая, я ветеран Отечественной Войны. А последние пять — шесть лет стуки над головой. День и ночь без перерыва. И они на протяжении многих лет уводят мою внучку неизвестно зачем и неизвестно куда, а я не сплю ночи, переживаю. С этой помощью Большой Человек заставлял меня говорить, что говорить кому говорить, зачем мне никто не объяснил.

Внучка решила, что это связано со мной и пришла домой и стала драться со мной, говоря что защищает Большого Человека. А я не права. И они неопытную ещё несовершеннолетнюю девочку затянули в грязную историю. Её научили курить, не приходить домой, свели с неблагополучной компанией. Подтверждением тому служит: один друг повесился, другого убили (она говорила, что это её друзья), её сделали нескромной в полном смысле этого слова. И ещё стуки. Я на кухню — стук, я в ванную — стук, я лягу на кровати — стук над головой, поменяю место — стук над головой. В результате при помощи отсутствия внучки по ночам и без конечных стуков и в результате без сонных ночей мне растерзали нервную систему, подорвали здоровье и искалечили последние годы жизни.

Возможно мои ноги отяжелели из-за того, что я не систематически лечу атеросклероз, я постараюсь это проверить. Да и уже проверила. Когда я пила

луковый сок с мёдом, который я заменяла сахаром, если он был, то ноги мои стали согреваться и стало лучше (легче) ходить.

Всё это использует в своих целях Большой Человек, о чём мне сказали, когда приходили за внучкой. При помощи обмана и издевательств БЧ и его соратники обмывают свои грязные шкуры. Мне 80 лет, я инвалид Отечественной войны, я имею право на спокойную жизнь.

Продолжаю про внучку. Когда она училась в 11 классе, она ходила на подготовительные курсы по математике для поступления в ВУЗ. А бандиты забирали у неё деньги и заставляли её врать.

Этот Большой Человек и всё его кубло его соратников — очень опасные люди и ни где от них нет спасения, и все соседи это знают и поэтому не здороваются со мной и только по ночам дают мне хлеб и сахар.

Он знает где его кубло держит мою внучку и только высшая власть может всё это прекратить и дать мне дожить спокойно старость. И с внучкой. Уж раз нельзя с сыном. Прошу мне помочь и выполнить мою просьбу.

Уважаемые товарищи Иммам и Прокурор! Письмо не подписываю по известным причинам.

Вся надежда только на Вас!»

Мы оставили милиционера в квартире дописывать свой протокол, а сами спустились во двор, где у подъезда собралась небольшая толпичка народа. Бабушку уже сняли с козырька, положили на носилки и прикрыли белой простынёй. Полная чеченка рассказала:

— Ещё когда правил Дудаев, ещё дом был цел. Все ещё жили, правда, из русских только две семьи остался — на втором Иваныч, у него никого нет, и вот на пятом бабушка, его сын и вот внучка. Ночью к ним пришли, сына убили, а внучку прямо на глазах у бабушки из… обесчестили и увезли куда-то. Потом бабушку увезла милиция, милиция ходила по подъезду, расспрашивала, но никто ж ничего не видел… А через месяц бабушка вернулась. Мы ему помогали, хлеба давали, она лук в баночках сажал, гуманитарку иногда привозили… За ней приезжали, чтоб в Россию увезти, да она не поехала, говорит, буду внучку дожидаться…

БТР дёрнулся и, набирая скорость, покатил по улице мимо серых декораций к фильму «Сталинградская битва», мимо сгоревших и поваленных деревьев, лихо уворачиваясь от снарядных выбоин в асфальте. Я оглянулся и, увидев белые занавески на пятом этаже удалявшегося дома, совершенно глупо подумал: как же она их стирала-то в таких условиях…

Теракт

Ночь. Печальная луна сквозь чёрные ветви раскидистого дерева внимательно смотрела на двоих, скорчившихся в небольшом овражке на куче валежника. Они пробрались на окраину Посёлка ещё засветло и теперь дожидались, когда совсем стемнеет и погаснут огни в ближайших домах. Пожилой был одет пёстро, но тепло и добротно, на втором — молодом ещё совсем пареньке — новенькая камуфляжная форма, чёрная вязаная шапочка с зелёной полосой, высокие армейские ботинки. Он то и дело с нескрываемым удовольствием трогал портупею, скашивал карие глаза на большой армейский нож в серых пластиковых ножнах, на ребристый отблеск гранат на поясе.

Бородатый, мерно покачиваясь, говорил:

— Всё из-за того, что забыли обычаи предков. Из-за того, что забыли Аллаха, жениться и замуж за русских выходить стали, перестали уважать старых… Вот сейчас — пост, а что ты делаешь, кушаешь днём, пиво пил! Называют себя правоверными, а сами сало едят, тьфу!..

— Дядя Арби, разве дело в посте…

— Молчи и слушай. Пост для правоверного — свят. Нет поста — нет веры! Пост — долг, пост — твоё благочестие. Во время поста ни есть, ни пить, ни курить, ни к женщине подходить нельзя.

— Дядя Арби, так ведь война же, до поста ли. Поесть бы сытно. Да в живых остаться. Да в руки федералов не попасть…

— Молчи и слушай. Именно в военное время и необходим пост. Именно сейчас и надо поститься. Всё время, чтобы тело не мешало духу.

— Что же Аллах не помогает нам? Сколько лет русских прогнать не можем.

— Молчи и слушай. Богохульствуем, лжём, за деньгами гоняемся! Один раз соврал — и словно не постился…

Пожилой замолчал и обернулся на огни Посёлка. Там залаяли собаки, натужно загудел невидимый двигатель, по домам, заборам и деревьям пролетел свет фар.

— Коробочка пошла, — совсем другим тоном пробормотал бородатый. — Куда бы это в ночь, спецоперация, что ли?

— Это не коробочка, — возразил молодой, — это восьмиколёсный. А правда, что позавчера Ахмет в Аргуне восьмиколёсный в ромашку превратил?

— Правда. Два двухсотых и семь трёхсотых. Ну и у Ахмета один убыл в санаторий.

— Один трёхсотый — это ничего.

— Да…

Заметно похолодало. Огни в Посёлке гасли один за другим, стих лай, и на округу опустилась полночная тишина. На синем снегу чётко чернели тени, пар от дыхания уходил в темноту невесомыми облачками. Тот, что моложе, завозился на валежнике и спросил:

— Дядя Арби, а ведь в пост и оружие нельзя в руки брать, а мы на задании. Сейчас убивать будем…

— Неверные не люди. Аллах их не знает… Пора.

Они поднялись, младший поправил на спине тяжёлый, по-видимому, рюкзак. Они выбрались из овражка и, держась теней деревьев, направились в сторону Посёлка. Через минуту скрип снега затих, и силуэты ушедших полностью слились с чернотой перелеска. Ночная птица вскрикнула где-то в переплетении ветвей, луна посветлела и поднялась выше на небосводе, и сонная тишина вновь запеленала землю.

Минут через двадцать в Посёлке ярко полыхнуло, и на мгновенье синий снег стал белым, а потом

разом стало ещё темней. Через секунду донёсся звук оглушительного взрыва, и почти сразу раздался стрекот пулемёта, к которому присоединилось более тонкое, похожее на звук швейной машинки, стрекотанье автоматов…

Луна
ликом безучастного Будды,
ликом страдающего Христа,
ликом печального Аллаха
смотрела сквозь редкие облака на эту сумасшедшую землю, где только что одни люди погубили других людей…

Васенька

Лежать Васеньке было почти удобно. Развилка корней, плавно выгибающихся к стволу, ровно легла под спину, а голова покойно пристроилась на выемке в столетней коре дерева. И если бы не странная слабость и проступающий через ткань куртки холод, было бы совсем уютно.

Дорога в этом месте круто поворачивала и уходила в чёрное ночное пространство. Если бы не движенье, она просто утонула бы в черноте. Но по асфальту прерывистой чередой тянулись огни: к Васеньке белые и жёлтые, от Васеньки — красные и оранжевые. Там, подальше, трасса шла в гору, и редкая гирлянда мерцающих огней, слегка извиваясь, шла вверх и пропадала во тьме, словно утекала в невидимый тоннель. Васенька знал, если подняться, из-за горизонта сквозь ветви придорожных деревьев покажется дрожащая россыпь алмазов — огни «приграничного» городка и большого КПП. В это дрожащее в ночи озеро огоньков и вела дорога.

Васенька любил ночную трассу. Ночью не было видно придорожной грязи, не было на обочинах случайных людей, лишних звуков и лишнего движения. Ночью водители, останавливавшиеся в кафе со странным названием «Омар Хайям», были задумчивее, сдержаннее и добрее. Ночью ритм жизни становился размеренным и не таким суетливо-суматошным, как днём. И хотя мать каждый раз ругалась, когда Васенька уходил от кафе к трассе, он постоянно бегал к этому повороту, чтобы посмотреть, как огненный змей очередной автоколонны всё ползёт и ползёт к своему мерцающему в ночи озеру.

Сегодня едва не случилось то, чего так боялась мать. Из-за поворота на обочину вывернул показавшийся Васеньке в ночи громадным грузовик и, кренясь, пошёл к кювету. Видно, задремавший за рулём водитель едва-едва вывернул эту махину на трассу, а Васенька в самый последний момент успел прыгнуть к придорожному дереву. Грузовик пролетел так близко и так быстро, что Васеньку словно приподняло воздушной волной. В лицо пахнуло маслом, бензином, разогретым железом вперемешку с запахом горящей резины, вихрем пронеслось облако жухлой листвы, взметнувшейся за горящими габаритами. Через мгновенье грузовик исчез в веренице огней, а Васенька привалился к дереву и всё никак не мог отойти от испуга. Он чувствовал такую слабость в ногах, что даже и не пытался встать.

— Вот сейчас посижу немного, и пойду к «Омару», — чтобы хоть как-нибудь приободриться, сказал он сам себе вслух и глубоко вздохнул.

Он представил себе, как придёт в кафе, горящее разноцветными огнями, как Толстая Дунька крикнет ему из-за стойки:

— Опять на трассу шлялся, вот вернётся мать, я ей расскажу.

А потом она кивнёт на дальний столик в самом тёмном углу «Омара» и добавит:

— Иди, там твой дружок приехал, Димедролыч. Я вам там кой-чего припасла…

И он пойдёт к столику, за которым, упёршись острыми локтями в стол, то ли задумавшись, то ли задремав, сидит Димедролыч. Никто не знал, сколько этому худому, высокому человеку лет, откуда он, где живёт и как оказался в «Омаре». Знали только, что он уж много лет работал на большую чеченскую семью, что настоящее отчество его — Дормидонтович, но и оно с лёгкой руки местного бесшабашного авторитета, который требовал, чтобы его называли эмиром, Герки, трансформировалось в Димедролыча. Почуяв Васеньку, Димедролыч встрепенётся и обязательно что-нибудь вытащит из кармана, который по всем понятиям должен бы быть дырявым, но был цел. И появлялись из этого кармана иногда весьма странные вещи. Однажды он вытащил оттуда красивую губную гармошку, вручил её Васеньке и, сказав лишь одно слово «учись!», весь вечер молча пил. В другой раз из кармана появилась совсем новенькая книжка, на обложке которой было написано «Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества». Читал Васенька плохо и поначалу хотел обменять книжку на что-нибудь у Толстой Дуньки, но как-то незаметно для себя начал читать и читал до тех пор, пока не дошёл до слов «…ибо тем родам человеческим, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено появиться на земле дважды». Книжка кончилась, почти ничего в ней Васенька не понял, но какой-то пряный вкус во рту, какие-то странные звуки в ушах, какие-то непонятные желания терзали его потом несколько дней. Книжку он спрятал под матрас, на котором они с матерью спали в задней комнате, и всё время хотел перечитать и почему-то не решался.

Однажды, когда мать уехала в очередной рейс, Димедролыч взял Васеньку в Грозный. Они долго добирались то на попутном «Урале», то на разбитом «ПАЗике», а от поворота на Ханкалу их даже посадили на попутный БТР. В Грозном они пешком добрались до какого-то подземного проезда недалеко от площади «Минутка», и там Димедролыч, стоя у обшарпанной стены и нацепив на нос чёрные очки, виртуозно играл на своей скрипке. В шляпу, которую Димедролыч никогда не носил, летели монеты и бумажки. Если в кучку денег вдруг вертляво приземлялся доллар, брошенный увешанным аппаратурой иностранным корреспондентом, Димедролыч мгновенно его подхватывал и, задрав штанину, прятал в носок.

Грозный Васеньке не понравился. Большие, холодные, ободранные снарядными осколками и пулями дома, какие-то чужие, молчаливые люди, драчливые чеченские дети, непонятная Васеньке жизнь…

— Ты чё, пацан? — высунулось из притормозившей иномарки носатое, усатое полузнакомое лицо. — Смотри, блин, замёрзнешь…

«Да, пора идти, — подумал Васенька. — Мать, может быть, уже вернулась…»

Когда мать возвращалась трезвой, она привозила ему какой-нибудь «гостинец», кормила, отводила в душ, а потом они лежали на своём матрасе на чистой простыне и тихо разговаривали. Мать подробно описывала ему поездку: с кем и на какой машине ездила, что видела, какой на этот раз попался дальнобойщик или военный.

Иногда она приезжала в разодранном платье, с синяком под глазом и ссадинами на теле. В такие дни она уходила в душ одна, потом молча ложилась спать и не вставала сутками. Васенька носил ей еду и чай, но она лежала, уткнувшись в стенку, и еда могла простоять нетронутой целый день…

Чаще мать приезжала пьяной и весёлой. Она засовывала в Васенькины карманы какие-то мятые деньги, громко смеялась и требовала у Толстой Дуньки выпивки «на всех». Потом, правда, смех обязательно переходил в бурные рыдания; обливаясь слезами, мать обнимала Васеньку и рассказывала ему, как они хорошо жили раньше. Какая шикарная у них была квартира, была своя машина и даже дача за городам. И один раз они даже ездили на море, «на курорт». Что такое курорт, Васенька себе слабо представлял, но кое-что из туманных материнских рассказов словно брезжило у него в памяти: какие-то янтарные шторы на окнах, белая блестящая ванна и женское смеющееся лицо, обрамлённое седыми волосами. Бабушка… Что произошло потом и почему они с матерью оказались в «Омаре Хайяме», он не помнил, а мать не рассказывала. Как не рассказывала даже в пьяном бреду, кто и где его отец. И видя, как мать уезжает то с военными на БТРе, то с водителем какой-нибудь громадной фуры, Васенька решил, что отец его, скорее всего, дальнобойщик.

Дальнобойщики ему нравились, хотя попадались среди них всякие. Давно, когда он был ещё маленьким, один толстый лысый водитель Камаза дал ему пирог, и Васенька, откусив кусок, вдруг почувствовал, что рот его разрывается на тысячу кусочков и горит огнём. Сквозь слёзы, заглатывая воздух, он смотрел на ржущего шофёра, а тот показывал ему жгучий перец, который засунул в пирог. Сжалившись, он подал наконец стакан воды, Васенька с жадностью глотнул, но и тут был подвох: в стакане оказалась водка.

Толстая Дунька увела его на матрас, сунула в руки стакан ледяного сока, и сквозь стенку он приглушённо слышал, как она скандалила с толстым дальнобойщиком…

Но вообще дальнобойщики были людьми весёлыми и добрыми. Васенька часто сидел около них и слушал их разговоры о машинах, об авариях, о войне, бандитах и бабах. Зачем нужны бабы, Васенька узнал довольно рано, поскольку в заднюю комнату частенько заходили отдохнуть пропахшие бензином и перегретым железом мужчины, и нередко к ним приходили женщины, днями и ночами крутившиеся у «Омара»…

В свои года Васенька не знал многое из того, что знает всякий домашний городской мальчишка, но и знал он такое, чего не знает иной взрослый человек, живущий по кругу «работа, семья, друзья, работа…»

Подвыпив, Димедролыч часто говорил ему: пока у тебя есть цель — ты человек!

У Васеньки в жизни было несколько целей: накопить денег на свой Камаз, «сдать на права», уехать из Чечни и разыскать отца. Из историй, увиденных по телевизору в зале «Омара», он узнал, что это вполне возможно и даже очень вероятно. Мало того, в этих историях потерянные в детстве отец, мать или брат были рядом, но не знали об этом, и только счастливый случай открывал правду… Часто лёжа по ночам один на своём матрасе и глядя на проплывающие по потолку полосы света от пролетающих мимо «Омара» фар, Васенька мечтал о том, как на одной из запылённых шикарных фур приедет к нему потерянный отец…

Словно сквозь сон, увидел Васенька, как к обочине, вывалившись из потока огней, подкатила обшарпанная «скорая». Из неё вышли люди, и невыспавшийся красноглазый доктор в мятом халате наклонился над ним.

С милицейского «УАЗика» направили к дереву свет фары, и доктор сквозь прорехи в куртке увидел что-то синеватое и скользко-красное, а в полуразорванных штанинах джинсов белую торчащую кость. Васенька почувствовал, что его трогают за руку, расстёгивают куртку.

Пожилой милиционер-чеченец вопросительно смотрел на доктора, и тот, повернувшись, наконец, без слов покачал головой. Милиционер сразу ушёл куда-то в тень, и Васенька услышал его голос и голос Толстой Дуньки:

— Василий Купцов. Нету отца-то, а мать-то уехала только что, ах, ты, Боже ж мой… — и Дунька заплакала…

Васенька вдруг увидел, как, аккуратно объехав «скорую», к обочине прижался огромный и весь расцвеченный огнями, словно в рекламе кока-колы, грузовик с эмблемой «Мерседес» на радиаторе. Сердце Васеньки застучало, когда в кабине грузовика загорелся свет и весёлый большой человек с водительского кресла призывно махнул ему рукой. Васенька почувствовал вдруг необычную лёгкость и, наконец, поднялся. Он легко открыл дверцу и полез в кабину. Он сразу всё понял: Отец приехал за ним! Отец положил тёплую сильную руку на Васенькину голову и одними глазами спросил: ну, едем?

Ни милиционер, ни доктор, ни Толстая Дунька, ни даже только что подбежавший, страшно запыхавшийся Димедролыч не видели разноцветного грузовика. Они видели, что Васенька вдруг улыбнулся, легко вздохнул и закрыл глаза.

Грузовик взревел, трубно прогремел клаксоном и, сорвавшись с места, влился в огненный поток проходившей колонны…

В эту секунду душа Васенькина отлетела…

В рай, разумеется.

Рождество Твое…

1.

— Сашка-а-а, Сашк! — меня тянут за ногу, стаскивают тёплое лоскутное одеяло. — Проваландаемся, последними будем, ничего не достанется…

На печке так тепло и уютно, сон так пленительно сладок, и я уже жалею, что на вчерашний вопрос сестёр: «Санька, славить с нами завтра пойдёшь?», ответил: «Ага!» Но сёстры безжалостно стаскивают меня с печи, помогают одеваться, а старшая всё твердит:

— Вспоминай молитву, Шурка.

И я вспоминаю вчерашний «урок»…

Рождество Твое, Христе Боже нашъ…

Под возню сестёр, под бормотание бабушки у шестка, под громкий «мяк!» кошки, попавшей под ноги, сон уходит и всплывает в памяти вчерашний вечер.

В избе уютно пахнет хлебом, кошка мурлычет на коленях, за окном неслышно падает снег. Каникулы. Лицо горит, оттаивая с мороза, от полётов по ухабистой горке тело гудит, а в ушах ещё стоит свист саночных полозьев и крики деревенской ребятни.

Бабушка ушла «на двор» доить корову. Там, «на дворе», вместе с коровой живут и другие деревенские кормильцы: куры, телёнок, свиньи высовывают навстречу хозяйке пятачки из-за дощатой перегородки, гуси шипят из-под клети. Зимой «на дворе» всегда тепло, а летом прохладно, и пахнет сеном, зерном, молоком, ну, и самым деревенским запахом — свежим навозцем. Недалеко от избы пруд, который летом облюбовали гуси и маленькая вертлявая рыбка оголец, а зимой сюда прибегают ребятишки со всей деревни кататься на коньках.

Когда бабушка вернётся в избу, будем ужинать. «Угостить-то по-хорошему городского внучка и нечем, — сетует бабушка, — только что своё, со двора — с огорода…»

«Нечем» — это молочко, картошечка, пирожки с капустой, яйцами, луком. Суп с гусятиной, сало, варенье, творог, огурцы солёные, помидорки, набранные дедом по осени грибы. И, конечно, душистый, ноздреватый, с приятной горчинкой и тёмной коркой круглый хлеб…

Двоюродные сёстры — старшая Танюшка и младшая Любашка — рассказали мне о том, как прошлый год ходили на Рождество по домам, «наславили» кучу всяких вкусностей и почти пять рублей денег! Издавна в нашей деревеньке на Рождество ребятишки заучивали рождественские молитвы и рано-рано утром 7 января («по первой звезде») ходили по избам «славить Христа». Они читали молитвы и получали за это сладости, а чаще всего деньги. Считается, что чем чаще на Рождество молитва прозвучит в доме, тем удачнее и лучше будет наступающий год…

…возсія мирови светъ разума: въ немъ бо звездамъ служащіи звездою учахуся Тебе ведети съ высоты востока: Господи, слава Тебе!

…Весь день шестого января я мучился в попытках заставить свои расслабившиеся на каникулы мозги запомнить молитву. Ужасно трудно — полно незнакомых слов, и смысл неясен, и язык сломаешь. Вечером мы кучей-малой валялись на широкой горячей печи и всё повторяли и повторяли молитву.

Дева днесь Пресущественнаго раждаетъ, и земля вертепъ Неприступному приноситъ,…

Промучившись час и не запомнив ни строчки, я принялся канючить, чтобы мне дали учить молитву покороче, но настырная и практичная сестра уверяла, что, чем длиннее молитва, тем больше денег дают… Не помню как, но уже в полудрёме молитва легла на память, и я провалился в тёплый пух сна — вставать было рано…

Ангели съ пастырьми славословятъ, волсви же со звездою путешествуютъ:…

Во сне меня вызвали к доске, и учительница сказала:

— Ну, Саша, расскажи нам «Рождество Твоё, Христе Боже…»

Зазубренная насмерть молитва «отскакивала от зубов», учительница поставила «пятёрку» и сказала, что именно так и должны учиться настоящие пионеры… А потом голосом старшей сестры позвала: «Сашка-а-а, Сашк!..», куда-то уползло противное одеяло, а нужно было досмотреть сон, ведь так хотелось получить в руки дневник с «пятёркой»… «Просыпайся! Опоздаем! Нам ничего не достанется!!!» — сестра тащила меня с печки. Эти слова подействовали, я вскочил как ошпаренный. Молитва, рубашка, штаны, молитва, свитер, валенки, куртка, сестра, молитва…

Выскочили на улицу — мороз, темно, сверкает свежий снег, кое-где от труб плывёт сладковатый дымок. Первый дом. Страшно. Руки трясутся, так что стук получился, как частая барабанная дробь. Раздалось сонное шарканье рваных, кажется, тапочек. Страшно. Таньке не страшно — она привыкшая! Открыл заспанный небритый дядька, провёл в переднюю. Дрожащим голосом и заплетающимся языком я повторял молитву за сёстрами. Из угла на нас серьёзными глазами смотрел с иконы тёмный лик из-за зажжённой лампадки. С серьёзным лицом и стеклянными со сна глазами хозяин дома выслушал нас, сунул в ладошки по монетке и пошёл досматривать сон.

И совсем не страшно — прилив радости и гордость за себя, такого ловкого и умелого!

Следующий дом пропустили — страшная собака рычала и скалила огромные зубы из-за калитки. В третьем доме встретили ласково. С каждым разом получалось всё лучше и свободнее. Теперь я уж сам таскал сестёр от дома к дому. И в каждом доме умильные тётки, и — то монетка из морщинистых рук, то горячий пирог, то конфеты…

И мне — больше других. Сестрёнкам денежку жёлтенькую, а мне беленькую, сестрёнкам по одной, мне — две! Да и как же не наградить такого хорошенького, старательного, соломенноголового

мальчонку с ангельским голоском и ямочками на румяных щеках…

Сапоги полны снегом, петухи в который раз закричали во дворах, звёзды поблекли, а восточный край неба за селом порозовел, словно брюшко снегирихи… И как-то неожиданно закончилась слобода, и иссякли силы. Еле живые, добредаем до бабушкиной избы…

А бабушка уже ждёт, и уже дымятся на столе горячие ватрушки с картофелем, большие — с тарелку, смазанные яйцом и маслом, с желтовато-коричневатой корочкой, а в жестяных зелёных пол-литровых кружках холодное молоко. Глаза слипаются, ноги гудят, а на душе отчего-то хорошо и весело.

Сколько лет снегопадами прошелестело с той Рождественской ночи. Сколько других девчонок и пацанов ходило с той поры по моей деревеньке «славить Христа». А у меня в душе, стоит приехать сюда, войти в избу и почувствовать домашний, хлебный, печной дух, каждый раз всплывает в памяти та Рождественская ночь. Сверкающий снег, дымы над домами, лай разбуженных собак, крики невидимых петухов и непонятная, но насмерть заученная молитва…

…насъ бо ради родися Отроча младо, превечный Богъ. Аминь.

2.

Ворота казармы — переоборудованный под казарму авторемонтный гараж темнел огромной глыбой — смотрели на невысокий каменный забор. За забором какое-то южное разлапистое дерево. За деревом тёмный силуэт мечети с полумесяцем над остриём минарета. За минаретом в разрывах чёрных в ночи облаков — яркие чеченские звёзды.

Полковник присел на скамеечку у ворот и долго смотрел на эти непривычно развёрнутые созвездия. Влажный ветер овевал его лицо, странно было вдыхать январской ночью весенние водянистые запахи, ощущать под ногами пожухлую, заиндевелую, но зелёную траву.

Невольно вспомнилось о доме.

Там, в заснеженной Мордовии, мороз градусов в двадцать, снег скрипит под ногами, в избах пахнет не убранными ещё ёлками, светит на взгорке тусклыми стрельчатыми окнами сельская церковка…

Полковник задумался, закурил. Из темноты раздалось:

— Извините, товарищ полковник, здесь не стоит курить, — часовой потоптался в ночи, скрытый воротами, и добавил, — лучше зайти за угол. Или прикройте сигаретку фуражкой.

— Что так?

— Тут у нас балуются чечены по ночам. Стреляют иногда с крыши школы… Могут по огоньку шмальнуть…

Полковник прикрыл рубиновый огонёк цигарки. Вгляделся в звёздную россыпь и разглядел перевёрнутый ковш Малой Медведицы. На кончике хвоста созвездия мерцала Полярная звезда. Где-то под ней, за две тысячи километров, стоит, может быть, сейчас у калитки старенький отец, курит пахучую, если не сказать вонючую, папиросу (где он их только берёт?!), смотрит на этот же огонёк в небесах и думает о сыне, о нём, полковнике.

Полковник машинально поднёс руку к груди, нащупал медный крестик и медальончик. Крестик ему надел на шею ещё накануне первой чеченской отец. Медальончик вложила в карман куртки мать. На медальончике очень тонкий красивый рисунок — ангел с большими сильными крыльями, а на обороте надпись, которую он запомнил наизусть: «Святый Ангеле хранителю, моли Бога о мне».

Полковник представил себе, как поблёскивает освещённый звёздным светом крест над маковкой церкви. Как тёмными тенями идут к ней люди, закутанные в полушубки, фуфайки и цветастые мордовские платки. А в самом храме сейчас пахнет воском, ладаном, горящими в церковной печурке берёзовыми дровами. Словно наяву всплыли из тьмы лица односельчан, смутно тронутые неверным, но тёплым и уютным светом жёлтых восковых свечек.

А под утро, затемно ещё, побегут от двора ко двору малые ребятишки, в деревне это почему-то называлось — «славить». Бывало и он вместе со старшими братьями, ещё полусонный, со слипающимися глазами, входил в чужие натопленные избы и затягивал: «Христос ражда-а-ается — славите! Христос с небес — срящите…» А в конце, как научили его братья, тонким звонким голоском кричал: «Открывай сундучок, доставай пятачок!»

И умильные хозяйки ему как самому маленькому давали денежку не медную, а «беленькую». И утром они бежали в «чапок» — деревенский магазинчик и покупали на собранное всякой всячины: и конфет, и печенья, и, вместо дешёвого «Буратино», по его настоянию покупали небывалого вкуса «крем-соду».

Полковник увидел под ногами смятую банку «кока-колы» и улыбнулся…

Ночную тишину вдруг распорола близкая автоматная очередь. Потом другая. Над казармой высветилась трасса пулемётной очереди. Полковник вскочил со скамейки, но часовой из темноты спокойным голосом сказал:

— Всё нормально, товарищ полковник, это челябинский ОМОН хулиганит. Рождество справляет.

Полковник глянул на наручные «командирские» — светящаяся большая стрелка показывала две минуты первого.

— С Рождеством Христовым! — повернулся полковник в сторону часового.

— Ага! — донеслось из темноты.

«Ага!» — передразнил про себя солдата полковник.

Челябинцы веселились вовсю, даже саданули пару раз из «подствольника». Приехав перед самым Новым годом в расположение, полковник сходил в гости и к соседям. У казармы челябинцев стояла новогодняя «ёлка» — невысокая акация, украшенная банками из-под пива, потемневшими банановыми шкурками, конфетными фантиками, стреляными гильзами и бинтами. На самом видном месте висели привязанные к веткам за длинные хвосты три или четыре дохлые крысы…

Стрельба над посёлком усилилась, но быстро стихла. И тишина от этого стала ещё глубже и осязаемей.

Полковник вспомнил вдруг один день «из советских времён», когда он ещё молодым старлеем приехал к родителям в отпуск. В тот день он пришёл домой и с порога сказал матери:

— Мам, завтра к нам в гости командир приедет, порыбалить, так ты иконы-то пока убери куданибудь с вида.

Сказал и вдруг ощутил такую же вот глубокую, почти осязаемую тишину.

По поводу религии они никогда не спорили. Сам он, как и положено коммунисту, — не верил. Мать была искренне верующей. Отец на эту тему помалкивал, так сказать, держал нейтралитет. И он никак не ожидал, что мать может так отреагировать на такую пустяшную, с его точки зрения, просьбу.

«Сынок, — сказала она тогда, — вот ты военный. К примеру, не дай Бог, попал в плен. Так ты партийную свою книжечку выкинешь, что ли?» Ответить ему было нечего.

Приехавший «порыбалить» замполит иконы заметил, но ничего не сказал, советов убрать не давал, да и ни разу потом об этом не вспомнил… Недавно полковник встретил этого замполита уже в чине генерала на открытии дивизионной церкви…

Полковник встал, потянулся, хрустнув суставами, и медленно пошёл к воротам. Часовой явно замешкался. С одной стороны, он знал, что идёт полковник, и можно было бы промолчать. С другой стороны, положено спросить пароль. «Чёрт их знает, начальство!» — подумал второпях боец и всё же тихо сказал:

— Стой, три!

— Пять! — дал отзыв полковник и услышал из черноты ворот: «Проходи!»

— Молодец, — похвалил он часового, проходя в казарму.

В кубрике, где его поселили на несколько дней командировки, в железной печурке гудело пламя газовой горелки. Когда полковник перестал ворочаться, устраиваясь на железной солдатской койке, в тишине застрекотал сверчок. Громкое стрекотанье сверчка на мгновенье перекрыл далёкий взрыв, слегка приглушённый каменной стеной, а потом в тишине вновь только гудело пламя, и пел сверчок.

Полковник открыл глаза и увидел над собой голубое небо, косы берёз, яркий цвет люпина, услышал где-то рядом стрекот кузнечика и понял, что ему снится сон…

Утром он поедет с отрядом местной милиции и бойцами бригады «на происшествие» в Мескр-Юрт. Инженерная разведка обнаружит там труп чеченца, и ему вместе с чеченским следователем придётся складывать в полиэтиленовый мешок куски тела, поскольку убили чеченца с помощью привязанной к голове динамитной шашки. Потом на БМПшке отправится в Ханкалу, где пересядет на бронепоезд, идущий в Моздок, и, если ничего не произойдёт, через сутки будет сидеть в транспортном самолёте, который поднимется в ночное небо, направив нос на слабо мерцающую Полярную звезду.

Капустный день

Крик ёжика

Ёжики не кричат. Ёжики не кричат. Ёжики не кричат. Ёжики не кричат.

Нет, кричат, просто мы их не слышим.

Если не слышим, то и не кричат. Ёжики не кричат. Ёжики не кричат. Ёжики не кричаёжикинекричатёжикинекричатёжикине…

Хемингуэй — такой американский писатель — сказал, что люди делятся на тех, кто писает в море, и на тех, кто не писает в море. Какие же это пустяки! Море я люблю, но есть такие вещи — поважнее моря. Люди делятся так же на тех, кто слышит, как кричат ёжики, и на тех, кто не слышит, как кричат ёжики. Ёжики кричат, но мы их не слышим.

Врач говорит: ёжики не кричат. Ёжики не кричат. Ёжики не кричат.

Кричат, просто мы их не слышим. Каждый кричит, когда ему больно. И ёжик тоже. Летом на дороге часто можно увидеть задавленных ёжиков.

В позапрошлом году. Нет. В позапозапрошлом. Девочка маленькая играла в траве на обочине. Пряталась в высокой траве от братишки. А по обочине шёл трактор с сенокосилкой. Такая — метра два шириной и цепь с острыми зубьями. Девочка пряталась и не видела ничего. И водитель ничего не видел. И девочка закричала, когда на неё надвинулась эта косилка. Громко закричала. А тракторист не услышал. Увидел только, как кровь брызнула из травы. Как же ей, наверное, страшно было в эти последние секунды. Ну, когда она увидела, как на неё из травы эта косилка с острыми зубьями надвигается. А тракторист? Как ему жить после такого дальше? Я бы не смог.

Не знаю, не знаю, не знаю, как можно проехать на машине по живому ёжику. Ну, не знаю! Ведь ты же такой же живой — из костей, мяса и крови. А если тебя жизнь переедет, тогда — как? Каково тогда?

Жалко всех, так жалко! Я видел: бабушка в магазине на Новый год покупала батон. У всех в корзинках конфеты, виноград, мандарины, вино, шампанское, конечно; всё блестит, переливается, такое дорогое. А у неё батон. И пальто потёртое. И в ладошке в морщинистой монетки. Я прямо заплакал. Ну не вслух, конечно. Вслух как-то неудобно, стыдно как-то. Бабушка смотрит на монетки свои, на батон, а по сторонам не смотрит… Я побежал для неё бананов взять, но когда вернулся к кассе, она уж ушла. Я по улице туда-сюда пробежался, но так её и не увидел. Я потом три дня не мог её из головы выкинуть. Как же можно жить на таком свете? Я не понимаю! Ведь всё же плохо! Ну, буквально, куда ни глянь! И жалко же, так всех жалко! И ёжиков, конечно.

Или вот соседка моя по подъезду мучается уж который год. Мы с ней иногда у крылечка остановимся и разговариваем. Она говорит:

— Невозможно жить! Всё перепутали. Перевернули всё. Правые перекинулись в левые. А левые? Вчера были левые, ну, точно же — левые, глядь, а они уж правые! Перекинулись! А сосед? Травит и травит, нарочно в форточку спускает в квартиру негатив…

Она даже из газеты корреспондента приводила. Но сосед хитрый, когда корреспондент пришёл, он форточку закрыл и притаился. Корреспондент ушёл, и он сразу снова. Её никто не понимает, сумасшедшей считают, а я наоборот не пойму — чего же тут непонятного. Всё ж ясно, как белый день!

Она говорит:

— Правые перекинулись в левые. И другие перекинулись и всё запутали. И сосед этот…

Ну, чего неясно-то?!

Отец расстраивается. Он учёный. Даже известный. А я учёным не стал. Может не смог, а может, не захотел. Я и сам до конца не знаю. Да и не всем же учёными быть. Кто-то должен и простым человеком оставаться. Как я — выполняю простую, но очень важную работу. Ставлю декорации в театре. Рабочий сцены называется. Попробуйте поставить спектакль без декораций — смех один получится. Театр — это тоже жизнь. Главреж говорит: в концентрированном виде. А мне так даже больше нравится — в концентрированном. Я во время спектакля сижу за кулисой и плачу — так хорошо! Не вслух, конечно, плачу. Ну, представьте себе: сидит за кулисой двадцатипятилетний парень и плачет — смех. Я в душе плачу, про себя. Про свою жизнь. Может, даже про то, что учёным не стану, как отцу хотелось.

Я никогда не буду учёным. Я никогда не буду богатым.

Вот лежал я в больнице. Сосед по палате — депутат, богатый человек. Приходил в больницу только днём, а на ночь уходил домой (еда ему в больнице не нравилась). Вечером, уходя, он ставил в палате свой сотовый на подзарядку, чтобы не тратить электричество дома. Делал это запросто, как само собой разумеющееся. И так во всём. А поскольку я так не умею — не быть мне ни богатым, ни депутатом. Ни учёным. Но, может быть, за это я и слышу, как кричит ёжик.

Спокойно! Ёжики не кричат, ёжики не кри…

Книжки очень помогают жить. Отцовскую библиотеку я ещё в школе всю перечитал. И то, что с наукой связано, и художественную. Такое иногда встретишь! Но посмотрите — почти везде про боль, про трудности, про то, как всё нехорошо на свете устроено. Отчего так много горя? Беды? Вот, например, был такой грузинский художник Пиросмани. Не помню уж, в каком веке. Да и какая разница — в каком! Вроде гений, а умер — в нищете. Вывески для духанов рисовал. Духаны — это кафе такие на Кавказе. Однажды кому-то пожалевшему о его тяжёлой жизни он ответил: «Я становлюсь мудрее ещё на одну боль». У меня вообще такое подозрение — чем талантливее человек, чем умнее, чем больше знает, тем тяжелее ему на свете живётся.

Вот ещё интересный момент. Как-то у меня не получается с дураками. Вроде дурак — чего с ним говорить. А всё время получается так, что дурак оказывается выше, а в дураках остаёшься ты сам! Мне наш актёр, Васильев который, объяснил: дураков больше, дураки сильнее, потому что не сомневаются, и дураки сбиваются в стаи. А умные в стаи не сбиваются, и их поодиночке — как ёжиков. Почему? Потому, что у дураков всего шесть граней. Это простые кубики, из которых можно строить любую конструкцию. Хочешь — в колонну, хочешь — толпой разбросай, хочешь в пирамиду их. Они все похожи, их мало что разделяет, они сдвигаются вплотную. В такую стенку плотную. Такому человеку одинаково хорошо и в кинотеатре, и в общественном туалете, и в строю. Умный, тонкий человек — конструкция сложная, с массой всяческих «выступов». Поэтому двум умным людям редко удаётся плотно сблизиться. Дураки одинаково глупы, умные умны по-разному. В общем, целая философия. Смотрите, действительно: у ёжиков — иглы! Ну, как им сблизиться? Им расстояние нужно.

И я сам себя иногда чувствую маленьким ёжиком. Иногда кажется: сейчас накатит, налетит, раздавит — и крикнуть не успеешь. И что им твои иголки! Раз! — и от тебя только мокрое пятно.

Но жить-то надо. Надо как-то терпеть, приучать себя к жизни, настраивать на солнце, на свет. Врач говорит: больше позитива! В конце концов, не все же ёжики попадают под колёса. Актёр Васильев говорит мне: послушай, хороших людей больше, даже когда их меньше. Здорово, да?

Но люди как после кораблекрушения в океане. Плывут посреди бездны и стараются не думать, что до берега сотни километров, что внизу глубина, а в глубине акулы, косатки, медузы ядовитые… Плывут, болтают между собой, смеются, старательно делают вид, что всё в порядке, всё нормально… А сами, небось, изо всех сил страх свой в глубину души загоняют, в самый дальний угол. Ведь стоит только подумать, какая под тобой бездна, и что вот сейчас вылетит оттуда акула, сверкнут острые, как бритва, зубы и… Вот и внушаешь себе — не думай! Ёжики всегда были, есть и будут, сколько бы их ни гибло под колёсами.

Вот только что делать, если услышишь крик ёжика? Что делать-то?!

Врач говорит: главное твёрдо помни, что ёжики не кричат, и всё будет хорошо. Легко сказать, помни, что не кричат! Надо в тёмной комнате завернуться в одеяло, накрыться подушкой и помнить: ёжики не кричат!

Ёжики не кричат. Ёжики не кричат. Ёжики не кричатёжикинекричатёжикинекричат. Ёжики не кричат…

Кричат, просто мы их не слышим…

Капустный день

Когда сарай, кряхтя и вздыхая, повалился всей своей тёмной массой вперёд и вбок, над двором всплыло серое облако пыли, и все поневоле отступили назад. Сарай был такой старый, что никто не захотел возиться с ним, разбирая на доски. Просто подцепили тросы к угловым брёвнам и стропилам крыши, и дёрнули разок колёсным трактором «Беларусь».

Через день завалы разобрали и очистили место для нового сарая. Весь мусор увезли, и только красный гранитный валун остался лежать, никому не нужный, под старым тополем. Он валялся там долго, а потом как-то незаметно исчез, словно стёртый текучим временем. Теперь я жалею, что не сохранил его. Нет, ничего особенного в том камне не было — обычный гнеток для кадки под квашеную капусту. Но мне его жаль, и чем дальше уходит время капустных кадок, дровяных сараев и воскресного домино под дворовыми тополями — тем больше жаль…

Эх, детство, детство! Ускакало красно-синим мячиком, упорхнуло пёстрой бабочкой, словно беззаботное лето, улетело белогрудой ласточкой в дальние края. Только память неугасимую по себе оставило. Первые морозы, утренний иней и ранний снег неизбывно вызывают в памяти весёлую картинку из детства — «Капустный день»…

Ещё с утра в доме необычная суета и движение. В кухне горой пушечных ядер высится горка светло-зелёных кочанов, пахнущая осенней крахмальной свежестью. Из сарая приносятся специальные корыта, достаются с антресолей сверкающие, из нержавейки, тяпки с отполированными ладонями ручками. Тяпки — тайная гордость отца и явная зависть соседей — изготовленные им самолично, по форме похожие на старинные топорики из «Сказки о Царе Салтане», они остры и тихо звенят, когда отец цепляет остриё толстым ногтем.

Во дворе ребятня весь день хрустит морковками и кочерыжками (грызи кочерыжки — зубы будут крепки, как у зайца!), а из распахнутых окон дома на улицу имени неведомого учёного Александровича доносится «трупп -хрупп, трупп-хрупп»: все разом тяпают капусту на засолку.

Запах соли, капустного сока, морковки, а попозже, к вечеру, и водочки, и картошечки жареной разливается по округе, создавая ощущение праздника. «Пап, дай потяпаю!» — «Ну, держи. Да помельче, помельче и поглубже протяпывай, но по дну не колоти…»

А вот этот вилок мы тяпать не будем, мы его целиком в кадку положим, хорошо его будет по зиме выудить из погреба, выложить на стол, распластать на крупные куски и — к картошечке да под водочку…

Вроде рецепт на всех один, а капустка у всех по-разному усаливается. Может, и есть у каждого свой секрет, да никто не выспрашивает, каждый считает, что его капустка самая-самая!

Взрослые чужое уменье хвалят, а ребятишки, конечно, своих наперёд ставят: у нас мамка капусту вкуснее всех квасит. А у нас с яблоками! А у нас с клюквой! Да у меня козырь неубиваемый — зато у нас тяпки самые красивые! Тут уж кто спорить станет…

Все захвачены капустной кутерьмой, бегают из квартир в сарай, из сарая в квартиры. То и дело крики со двора:

— Васька, паршивец, ты кружок от кадки упёр?! Куда дел, признавайся, опять колесо делал?

— Наташа, быстренько сбегай в «деревяшку» за солью, да бери крупную, серую, а то ты в прошлый раз «Экстру» додумалась принести — она не годится, поняла?

Только новенькие со второго этажа, недавно переехавшие в дом, не тяпают капусту, и их Андрюшка, мой сверстник, грустный бродит среди ребятни. А мне не жалко, у нас кочерыжек навалом, бери, пожалуйста!

Вечером взрослые гуляют, ходят друг к другу в гости, сначала говорят про капусту, кто сколько да как засолил, а потом уж и не поймёшь — про что…

На столе, чего только нет — и холодец, и селёдка, и колбаска, капустка тушёная со свининкой… Интересно забиться в уголок и слушать, о чём говорят, как песни поют, про что спорят…

А из угла смотрит на всех строгий лик. И если кто крепкое словцо употребит, вроде даже как морщится осуждающе. Бабушка говорит — грех! И вот что интересно и непонятно. Говорят — Боженька, значит — она, а на иконе дяденька с бородой нарисован…

На застолье пригласили Андрюшкиных родителей, братья ушли к друзьям в соседний подъезд, а меня отправили к Андрюшке: поиграйте там, книжки полистайте…

У Андрюшки в квартире хорошо. Как сказала Наташка из соседнего дома, — шикарно! Мебель полированная так и льётся отсветами. На толстом красном (прямо на полу!) ковре — игрушечная железная дорога, на диване вразброс толстые глянцевые книжки с яркими картинками, люстра небывалая, сверкающая хрустальными ромбами, кресла мягкие, уютности необыкновенной… А на круглом столе посреди комнаты огромная хрустальная ваза. А в вазе шоколадные конфеты — горкой! А Андрюшка на конфеты не смотрит, картинки про Шерлока Холмса мне показывает.

— Андрюх, а чё ты конфеты не ешь? Вон их сколько, возьмёшь — и не заметят. Они же не считаны?

— Ну их, надоели! Кочерыжка лучше… А хочешь — ешь, папка ещё купит.

— А родители не заругают?

Удивительные вещи происходят на белом свете. Оказывается, можно не хотеть шоколадных конфет! Да я тебе мешок кочерыжек, не глядя, сменяю на эти конфеты из вазы. А нам мамка раз в неделю приносит с работы по кулёчку «подушечек» «от лисички». Говорит, шла по луговине, лисичку встретила, та для нас с братьями конфеты просила передать. Ну, мы маленькие были — верили, конечно, а теперь в школу ходим, понимаем: в магазине мамка «подушечки» покупает, но, чтоб не огорчать, притворяемся, что верим…

За окном кромешная тьма. Смеясь о чём-то, на второй этаж поднимаются Андрюшкины родители. Я бреду вниз, в свою квартиру. Карманы у меня набиты шоколадными конфетами — весёлая и красивая Андрюшкина мама положила: с братьями только поделиться не забудь! Не забуду, не забуду — с ними забудешь…

Новый сарай посерел от дождей и покосился от времени. Андрюшка давным-давно уехал в другой город. Родители его развелись, и весёлая, красивая мама хотела утопиться в ванне.

Теперь никто не квасит капусту в кадках. Зачем, если есть стеклянные трёхлитровые банки, которые у нас почему-то принято называть баллонами. Весёлых общих «Капустных дней» давно нет — каждый сам по себе. И в волейбол целым двором не играют, и ключи, уходя из дому, под коврик не кладут. И… Да что там, стёрло время былую жизнь, как стёрло из-под старого тополя красный гранитный валун. Впрочем, нет уже и самого тополя, лишь пенёк торчит посреди двора…

А «Капустный день»… «Капустный день» затаился где-то в глубине памяти, и нет-нет, да и всплывёт из призрачных глубин, вызванный знакомым запахом первого прозрачного морозца, утреннего инея и осторожного раннего снега…

Жизнь и смерть старого дома

Хорошо зимней вьюжной ночью под треск поленьев в печи, под уютное и невнятное бормотание старого приёмника сидеть у окна, протаивать горячими от чайной чашки пальцами фарфоровую роспись на стекле и в дырочку выглядывать в холодный январский бесприютный мир. Там, за штакетником палисада в белых аккуратных шапочках на каждой планке, за рябиной со случайно уцелевшими от снегириных набегов красными ягодами, за большаком, рассекающим деревню на две неравные части, немного на отшибе темно и смутно виднелся дом. И когда бы ни вздумалось на него посмотреть, хоть в ночь-полночь, всё время теплятся сквозь метущийся снег два желтоватых окошка. Кто и когда поставил этот дом, уже давно никто не помнил. Брёвна его растрескались от времени, под застрехами повисли целые гроздья ласточкиных гнёзд, из которых вылетел не один десяток поколений чернохвостых касаток, тёс терраски и крыльца, не единожды крашеный, а потом пооблупившийся до древесины, позеленел от столетнего лишайника, а стёкла окон, словно глаза старого человека, выцвели и глядели совсем близоруко… Жили в том доме Бабушки Гусевы. Зимой старшие сёстры брали меня с собой «к бабушкам Гусевым на сказки». «Сказки» были про Иисуса, про Боженьку (долгое время я думал, что Боженька — она), про рай и ад. Горела керосиновая лампа, мерцали в углу иконные лики, потрескивали поленья в печи-«голландке», десяток ребятишек лакомились нехитрым гостинцем — калёными орешками и семечками, сушёными яблоками, каким-нибудь печевом, а бабушки сплетали и сплетали в замысловатое кружево странные нездешние истории, вплетая в него золотыми и серебряными нитками старинные терпкие и непонятные слова. Я слушал, жевал вкуснющие орехи, ничего не понимал, но слушал и слушал…

Как же сладко просыпаться от прикосновения тёплого солнечного луча, косо пробивающегося из-за голубой занавески сквозь разросшуюся на подоконнике герань. Пахнет дымом дедушкиной махорки, бабушка позвякивает чем-то у шестка, в ногах на одеяле потягивается и зевает во всю красную пасть серый полосатый котище, взмыкивает стадо на слободе. Сон уже ушёл, но так хорошо понежиться ещё на пахучем соломенном тюфяке, расстеленном прямо на полу. Братья и сёстры ещё спят, уткнувшись в фуфайки, положенные в голова вместо подушек (где же бабушке набрать столько подушек на ораву внучат!), тикают ходики, и жужжит где-то первая утренняя муха. Но вот поднимается возня, раздаётся хихиканье и первый голос:

— Баушк, молочка парного нету?

— Как же нету, есть, вставайте…

И вот она — полулитровая кружища тёплого, только что от коровки, густого молока. А там — крыльцо, уже нагретое солнцем, а там улица с тёплой мягкой пылью под босыми ногами (и цыпки на ступнях), и лес, и пруд, и чужие сады с недозрелыми яблоками (почему-то в чужих садах яблоки слаще и поспевают быстрее). А захотелось есть, бежишь в избу, отрезаешь ломоть от чёрного, бабушкиной выпечки, каравая, потом на огород, за желтоватым огурцом (мыть не надо, достаточно потереть о штаны), и сидишь, похрустывая огурцом и наблюдая полёт ласточек, слушая чивканье воробьёв-пудиков за наличниками, или болтаешь с двоюродными братьями про фонарик, который есть «у одного знакомого» и который «берёт до Москвы». А вечером забегут в избу двоюродные сёстры и заговорщицким шёпотом тепло задышат в уши: «Шурка, пойдёшь нынче вечером с нами к колдуньям?.». Тёмными зимними вечерами на печке старшие братья таинственным шёпотом пугали младших, рассказывая, что бабки могут заколдовать — хоть в мышонка, хоть в лягушонка. Идти и хотелось, и было страшновато. Кое-кто на селе всерьёз верил, что бабушки Гусевы знаются С-Кем-Не-Надо… Бабушки были и, правда, несколько не от мира сего…

Бабушки Гусевы не ходили на выборы. Ранним утром в день, когда «вся страна, как один человек, в воодушевлении и с чувством глубочайшего удовлетворения отдавала свои голоса», они собирали узелки с провизией и уходили в лес, поскольку очень боялись участкового милиционера, который как-то напугал их тем, что силой погонит на избирательный участок. В лесу они шли на святое место (одни говорили, что там расстреляли монашек Дивеевского монастыря, другие, что дезертиров) и весь день усердно молились.

Однако же всё село знало: постучись усталый путник в ставню, попроси воды, кусок хлеба — отказу не будет. Позовут в избу, напоят, накормят, да ещё и в дорогу чего-нибудь дадут. К тому же старшая бабушка была знахаркой. К зиме все сени и чердак их избы увешаны были душистыми

травяными вениками и связками кореней. Младшая была на подхвате.

Однажды старшая бабушка уехала по делам в райцентр, а в это время к ним пришёл за помощью тракторист — болит живот, нету мочи, а таблетки фельдшерицы не помогают! Младшая бабушка, нисколько не задумавшись, решила ему поставить банки. Уложила на лавку и, не найдя медицинских баночек, решила, что сойдут и обычные — литровые. Сначала мужик ещё терпел, но когда фиолетовые пузыри на его животе вздулись с кулак, он заорал благим матом и заметался по горнице, сшибая банки об углы. А потом бежал по слободе, мелькая пёстрым, как у леопарда, животом.

Скандал замяла старшая бабушка. Она смазала трактористу пострадавшие места каким-то снадобьем, а от болей в животе дала настойку. Через день тракторист уже сам смеялся над своим злоключением. Младшая бабушка уж больше за лечение не бралась…

Про бабушек Гусевых рассказывали замечательную легенду.

Посчитав, что жить ей осталось недолго, старшая бабушка заказала себе гроб. Деревенский плотник выполнил заказ и привёз изделие в избу. Гроб по оценке бабушек и приглашённых по этому случаю подружек был хорош — «как огурчик».

Плотник, удовлетворённый деньгами и стаканом самогонки на травах, ушёл домой, а гроб старушечьим собранием было решено опробовать. Старшую бабушку обрядили, как полагается в таких скорбных случаях, и она забралась в домовину…

А надо сказать, что раз в полгода в село из недальнего Сарова приезжал фотограф-калымщик. Фотографировал желающих, а потом привозил фотографии. Одна из старушек и предложила: а вот бы позвать фотографа, да и сфотографировать будущую покойницу — вот она сама и увидит, как хорошо она будет выглядеть на похоронах! Все согласились, и пока старшую бабушку прихорашивали в гробу, младшая сбегала за фотографом.

Как только фотограф вошёл, старшая бабушка замерла. Фотограф привычно пощёлкал аппаратом, спросил, сколько нужно снимков, и объявил:

— Привезу через неделю. Давайте червонец.

И тут старшая бабушка открыла глаза и строго спросила:

— Эт что ж так дорого? В прошлом годе пять платили!

Фотограф упал в обморок, и только с полведра колодезной воды привели его в чувство. Он молча схватил фотоаппарат, выбежал из дома и, говорят, в деревеньке больше не показывался…

Было ли это на самом деле или нет — не знаю. Но одна история с участием старшей бабушки произошла со мной лично, и, стало быть, была точно.

Я объелся малины и одновременно перегрелся на солнце (целый день читал книгу в малиннике у дяди). Поднялась температура, открылась рвота, страшно заболела голова. Фельдшерица, как назло, уехала. Дед кинулся было искать машину, чтобы везти меня в райцентр, но бабка предложила сначала сводить меня к бабушке Гусевой. Я уж был сознательным подростком, правоверным пионером и в здоровом виде ни за что бы не пошёл. Но тут сил сопротивляться не было, я был приведён к знахарке и усажен на стул.

Горела лампада, поблёскивали окладами иконы, бабушка Гусева плескала мне в лицо водой из желтоватого стакана и что-то шептала, шептала, шептала…

Я вымученно, но, всё же стараясь быть ироничным, снисходительно ухмылялся и размышлял о том, как у нас в деревне всё-таки ещё тёмен народ!

— Ну, ладно, идите! — вдруг сказала бабушка Гусева и чуть не вытолкала нас с бабушкой на крыльцо. В суматохе она сунула мне в ладони горсть орехов и сказала:

— Что ж ты к нам совсем перестал ходить? — и пока я мялся, придумывая вежливую ложь, улыбнулась: — Большой стал, стесняешься…

Мы сошли с крыльца, и я остолбенел: боли не было! Абсолютно! Только лёгкая усталость. Дома померили температуру — нормальная!

Ночью я лежал без сна и всё пытался вспомнить, что же она там шептала, бабушка Гусева, какие такие разволшебные слова?..

Когда умерли бабушки Гусевы, я, в суете молодой и до поры беззаботной жизни, даже не заметил. Однажды, навещая родную деревеньку, увидел у их дома чужих людей. Спросил бабушку.

— А, глупые люди живут! — бабушка сокрушённо покачала головой. — Булка и сожитель её Санякнут. Вишь, забор уже почти весь стопили в печи. Дрова-то на зиму не заготовили. Вот топят забором. А забор пожгут — за двор примутся…

Это была странная по тем временам парочка. Нынче они ходили бы в бомжах и недолго сопротивлялись бы накату холодной и несентиментальной жизни, сгинули бы в одночасье со своей бестолковостью, глупостью и ленью. Но тогда колхоз «призрел» парочку, взял на самые грязные работы, прикармливал и отдал им на проживанье дом умерших старушек. Отдал на проживанье, а получилось — на растерзанье.

Как-то, придумав предлог, я зашёл в знакомый дом и сразу понял, что он умирает. Голые, пустые сени, грязные, все в трещинах окна, пустые, в паутине стены горницы. Некогда старое, но сухое и крепкое дерево сруба словно поплыло гнилью… Тёплый хлебный запах с грустной примесью светлой старости сменился кислым, пробирающим до костей запахом безразличия и безумия. Дом, словно заразившись невидимым паразитом, начал болеть и чахнуть. Словно понял, что никому теперь по-настоящему не нужен, и принял это со спокойной безнадёжностью неизлечимого.

Ещё через пару лет, сворачивая в родную деревню, на месте дома бабушек Гусевых я увидел чёрное пятно пожарища. Бестолковые жильцы в очередную зиму дожгли забор и сарай и принялись разбирать на дрова сени. Однако до конца зимы дом не дожил. Уголь ли выпал из печи, керосинка ли разбилась или папироса горящая завалилась в щели пола — теперь уж не узнать. Полыхнуло ночью, и дом быстрее, чем к нему сбежались люди, сгорел.

Словно спешил покончить счёты с этим забывшим его светом.

Говорят, пьяная Булка и её сожитель весело плясали в свете пожарища…

Однажды, когда я уже работал в сельской районной газете, совсем старенькая бабушка Гусева сказала мне:

— Ты мальчик добрый, скажу тебе тот заговор, помнишь?..

Слова заговора «от болей в голове, в зубах и животе» я натвердо помню и сейчас. Как помню духовитый, терпкий запах целебных трав, густыми ворохами развешанных по стенам, строгие глаза иконных ликов из-за мерцания огоньков трепещущих лампад, треск берёзовых поленьев в печи и сухое тепло, волнами проникавшее прямо в душу и согревавшее её на всю жизнь…

Паломница

Автобус притормозил на повороте; она, покряхтывая от стреляющей боли в ногах, сошла на ледяную обочину и осмотрелась. Увидела указатель с надписью «Источник» и побрела туда, куда указывала стрелка.

Дорога оказалась ровной, укатанной, идти было довольно легко, и если бы не боль в отёкших ногах, ходьба эта доставила бы ей удовольствие. Остался позади посёлок, по бокам потянулся лесок, а мысли в голове приняли привычное направление. Ей немного за сорок, но любой, встретивший её на этой дороге, сказал бы о ней «старуха». И, что самое невыносимое, старухой она чувствовала себя и в душе. Глупым рефреном звучала в мозгу строчка «я чужая на этом празднике жизни»… И, когда мимо, взвивая снежную пыль, пронеслась, поблёскивая тёмными стёклами, машина, душа её наполнилась привычной злобой: вот они, короли жизни, — удачливые, жирненькие, наглые человечки! Сволочи! Никогда не остановятся, не подвезут, не помогут. Умирать будешь на дороге — не заметят…

Она почувствовала, как забилось сердце, и кровь прилила к голове. Пришлось остановиться и перевести дух. Эти приступы тёмной злобы на людей, на жизнь, на постоянную несправедливость всё чаще накатывали на неё, и она понимала, что это плохо, но сил бороться не было. Да и была в этом какая-то непонятная сладость, утешение, оправдание… Даже когда, поддавшись уговорам подруги, отправилась она к Серафиму, впервые за десять лет оставив Москву, злоба иногда подкатывала к сердцу. Куда ты попёрлась! Ладно бы, истинно верующая была, ладно бы, самой захотелось. С больными ногами по поездам да автостанциям. На сухомятке… Да ладно уж, заставишь тебя, если сама не захочешь… А стукнуло сердечко-то, когда к Серафимовым мощам приложилась. Стукнуло…

Дорога обогнула ещё один посёлок, от которого через редколесье тянуло печным дымком и навозцем, вывела из перелеска, и впереди показалось открытое пространство, а дальше берег реки и тёмная полоса леса над ним. Идти осталось всего ничего.

Она остановилась и долго смотрела на открытое пространство. Десять лет назад она захохотала бы, вздумай кто-нибудь в её родном проклятом нии предсказать ей, что она вот так, согбенной паломницей, пойдёт к мощам какого-то святого, а потом ещё и к источнику — купаться зимой! Ах, жизнь! Что ты делаешь…

У берега реки дорога заканчивалась большой расчищенной автостоянкой. От неё змеилась тропинка. К деревянной сказочной избушке, к большой, в деревянном окладе, иконе Серафима, к игрушечной часовенке, к роднику в бревенчатом колодце и купальням. Чёрная вода масляно поблёскивала в белых снежных берегах, и жутковато было думать, что сейчас придётся в неё окунуться…

У тропинки стояли два коренастых, круглолицых парня. В тёплых полушубках, в солдатских высоких ботинках, румяные, с реденькими русыми бородками и хитроватыми глазками. Они улыбались, притоптывали на морозце и, как только она подошла, затянули:

— Под-а-ай Христа ради…

Чёрная волна нахлынула на сердце, и она заскрипела зубами, проходя мимо и сдерживаясь, чтобы злоба не выхлестнулась в ругательства. Лбы здоровые! Да на вас пахать можно, а вы у больной старухи милостыню выпрашиваете, сволочи! Вон рожи-то сытые как на морозе разрумянились блинами, шакалы!

Она, зажмурив глаза, миновала нищих, но что-то заставило её обернуться, и она едва не задохнулась от возмущения: парни достали из сумки большие румяные пироги с мясом и начали их аппетитно уплетать. Запах мяса и лука — вот что заставило её оглянуться. Парни, поймав её горящий взгляд, смутились, спрятали пироги за спину и отвернулись…

Оставшись в одной ночной рубашке и поджимая пальцы на враз озябших ногах, она вспоминала, что нужно сделать и как, и всё никак не решалась коснуться этой чёрной страшной воды.

В ту секунду, как вода сомкнулась над её головой, белая молния ударила где-то между веками и глазным яблоком. Дыхание остановилось и остановилось сердце, и она поняла, что значит «обожгло холодом». И ничего не осталось в этой изношенной, тяжёлой оболочке под названием «тело». Да и в голове ничего не осталось, кроме возгласа «ох!». И второй раз, и третий, и мокрые уже горячие ступеньки из купальни, и ледяная вода из ковшика через онемевшие зубы. И горячая дрожь сквозь махровое полотенце и вдруг — зыбкое тепло волнами. И постепенно приходящее на своё место сознание, словно после обморока…

…Не торопясь, шла она по тропинке к дороге, ничего не понимая и ничего не чувствуя. Давешние нищие, увидев её, сдержанно посторонились, переставая жевать и пряча свои пироги.

И вдруг она поймала себя на мысли, что картинка эта не вызвала у неё, как давеча, того удушающего раздражения, какое вызвала бы где-нибудь в мешанине московского столпотворения. И даже подумалось как-то так, как раньше ей, городской учёной даме, и не думалось. То ли «вот охальники!», то ли «ах вы, барбосы»…

Парни, словно почувствовав её настроение, уже не таясь, откровенно уплетали свои пироги, теряя

на жидкие бородёнки белые крошки, посмеиваясь, толкаясь и притоптывая расхристанными башмаками. А она обернулась, перекрестилась ещё раз на часовенку, на крутой берег и тёмную воду, на икону Серафима и легко зашагала по гладкой похрустывающей дороге. Солнце клонилось за острые верхушки елей, тренькала где-то последняя синица, из недалёкой деревеньки доносился крик петуха и потявкиванье собаки. Она на ходу закрывала глаза, и казалось, что тела нет, и нет боли, и нет груза прожитых лет, а есть одна только душа, лёгкая и омытая, которая светлым облачком плывёт себе над этим русским снегом, среди этой зимней красоты в звенящем морозном воздухе, и ничегошеньки ей не надо.

Грузия

(из неопубликованной книги «На краю земли»)

Дом был одноэтажный, невысокий, но какой-то объёмный, кубастый. Перед домом развесил ветви старый, корявый грецкий орех. Под орехом уютно примостился круглый стол с красивой мраморной столешницей, в центре которой в мраморном углублении цвели незабудки. Вкруг стола — столетние скамейки. Было Первое мая. Мы маршировали в потешной демонстрации перед трибуной — большим крыльцом-верандой, выкрикивали дурацкие лозунги и радовались жизни.

— Да здравствует Первое мая — самое первое мая в мире! — кричал с «трибуны» командир.

— Ура-а-а! — подхватывали мы нестройно, но громко.

— Ура-а-а, — вежливо, вполголоса, тянули из-под ореха хозяева дома — грузины.

— Гав-гав-гав! — неодобрительно тявкала из-под крыльца собака.

— Да здравствует дружба русского и грузинского народов! — хитро поглядывая на хозяев, выкрикнул командир. — Ура!

— Ура-а-а! — дружно подхватили из-под ореха седые, но крепкие и широкоплечие виноградари.

— Ура-а-а! — до хрипа в горле орали мы.

— Гав-гав-гав! — включалась под крыльцом собака.

Где-то вверху громыхнуло, с гор полыхнуло ледяным ветром. Мгновенно потемнело, и на дом, на орех, на красивый стол под орехом полоснуло ливнем. Рыча и гикая, мы ринулись в дом, и хозяева-грузины, смеясь, как дети, затопали по крыльцу вслед за нами. В доме нас уже ждал накрытый невидимыми женщинами праздничный стол. И какой стол! Какая-то неведомая скатерть-самобранка развернула на потемневших от времени досках все свои яства: мясо, дразнящее аппетитной поджаристой корочкой, овощи, зелень, пахнущая утренней росой, лугом и какими-то неведомыми джунглями, сочные фрукты (откуда в мае?!). В изящных жёлто-коричневых кувшинах взбулькивало при малейшем прикосновении знаменитое кахетинское вино…

Дождевые струи звенели оконными стёклами, гремел гром, шумела где-то рядом непоседливая Алазани, и уже не верилось, что всего полдня назад мы неслись по этой реке сквозь пороги и коряги, и командир орал, срывая голос: «Табань!». Порог исхлестал нас водой, унёс весло и продырявил днище, залив одежду и палатки. Но ночевать на берегу этой ночью нам не придётся: к берегу подошли молчаливые люди с прибрежного виноградника и, молча взяв наши вещи, привели нас к этому дому.

Вино разогрело кровь, развеселило.

— Хочу лобио! — сказала Ирина.

Хозяева недоуменно переглянулись. Она хочет лобио?! Огромный Али, смущённо моргая редкими ресницами, принёс из кладовой фасоли в полиэтиленовом мешочке.

— Приготовить?

Ирина заливисто рассмеялась:

— А я думала, что лобио — это такие длинные булки!

— Не-ет! Это лаваши. Хлеб! — восторженно завопил Али. Он смеялся и не мог остановиться. — Ошибка! Лаваши — хлеб! Лобио — фасоль!..

— А тосты? Как же тосты? — крикнул Игорь. Игорь — знаток и любитель обстоятельных застолий.

— Нужен… это… главный за столом, — поднявшись, сказал высокий, худой и очень жилистый старик по имени Гогия.

— Тамада! — догадался Игорь. Игорь — знаток застольных обычаев всех народов во все времена.

— Правильно, тамада! — рявкнул Али.

— Гав-гав-гав! — отозвалась из-под крыльца собака.

— Гра-ах! — трахнуло молнией за окном.

— Дзин-н-нь! — отозвались на столе кувшины.

Пахло сухой овечьей шерстью, пахло столетним деревом, тянуло из дверей снеговым ветром с горной гряды и фиалками с ближних склонов. И всё это обволакивал запах терпкого красного вина и грустная, «на заказ», песня про мёртвую девочку Сулико.

А потом самый старый грузин за столом — Северьян — высоко поднял руку со стаканом, и все поняли: сейчас будет тост.

— …И вот, президент американской страны, — торжественным глухим голосом говорил Северьян, — и вот, президент запретил своим ребятам-спортсменам ехать к нам в Москву на олимпиаду. Эх, Картер, подумал я, это не поступок мужчины! Любой правитель, любой человек, стоящий у власти, должен быть мудрым! Куда девалась мудрость у правителя американской страны?

Северьян нахмурился и немного помолчал, сосредоточенно глядя в окно. Потом встрепенулся:

— Так вот, хочу выпить за то, чтобы в далёкой американской стране люди посмотрели на своего президента и поняли — не нужен им такой правитель!

Вот как говорил Северьян, а, пожалуй, даже ещё лучше.

Он сделал бокалом замысловатое движение и поставил его на стол. Мы все поставили стаканы на стол. Игорь судорожно сглотнул слюну. Встал Гогия — второй по возрасту старик и поднял стакан. Он тоже ругал Картера, отчаянно размахивал

руками и хмурил брови. В заключение он ещё более замысловато крутанул стаканом и поставил его на стол. Мы все поставили стаканы на стол. Игорь тоскливо вздохнул. Вино издевательски подмигивало ему розовыми бликами.

Потом говорил огромный Али. Он плохо говорил по-русски, и Гогия переводил нам то, что мы плохо поняли.

— Это называется «алаверды» — склонившись ко мне, прошептала мне многозначительно Ирина. — Обычай такой…

Даже Игорь, забыв о вине, произнёс длинную запутанную речь, которая начиналась: «Ещё вчера мы ничего друг о друге не знали…» и заканчивалась словами «за урожай!»…

Речь Игоря хозяев потрясла, они подняли стаканы и… произнесли длиннейшие ответные тосты…

Мы ели мясо, пили вино и слушали грустные грузинские песни. Словно живой орган, словно рокот далёкой лавины, словно гул алазанских порогов. А потом Али танцевал лезгинку, а Игорёк кричал ему:

— Нет, нет, не так, Али! Лезгинку танцуют не так! — кричал Игорь — знаток национальных танцев.

А в углу весело трещала красными углями печка-буржуйка, весело звенела гитара, и все были веселы и счастливы…

Накрапывал уставший дождик, пахло цветами. Мы лежали на душистых соломенных матрасах, укрывшись жёсткими чёрными бурками. За окном, сквозь темень ночи, посверкивали дальние зарницы, высвечивая на мгновенье гребни гор. Не спалось, я встал и вышел на крыльцо. Али завернувшись в бурку сидел на ступеньках. Он печально глядел в темноту, вздыхал и беззвучно шевелил по-детски толстыми губами.

— Завтра вы уходите, — сказал он вдруг и укрыл меня полой своей бурки.

«Может быть, мы не чужие? — помимо воли всплыло в моей голове — Может быть, в душах этих виноградарей навсегда останется память о нас, останутся кусочки наших душ. Но тогда и кусочки виноградарских душ должны пустить корни в наших сердцах, должны прорасти в нас ростками человеческой любви и братства».

— Это вино! — объяснил я себе внезапное философствование.

Али обнимал меня, как брата, и тихо пел мне грузинские песни, прихлопывая по коленке широкой ладонью. И узловатость пальцев его тёмной руки напоминала мне узловатость виноградной лозы. Али тихонько напевал мне по-грузински, а я вторил ему, как мог, по-русски, и в темноту Кахетии улетала странная песня с хитросплетеньем русских и грузинских слов…

Пронзительно-свежим утром мы собирали рюкзаки, а старики-виноградари стояли у стола под орехом и молча смотрели. Гогия неторопливо расставлял на круглом столе тарелки. Нужно позавтракать на дорогу.

Я паковал рюкзак, поглядывал на стариков и знал уже, что никогда больше не попаду сюда, не услышу голосов Али, Северьяна и Гогии, но и не забуду ни их, ни этого дома с угрюмой собакой под крыльцом, ни печки с красным пламенем внутри, ни запаха фиалок вперемежку с кахетинским красным вином…

Мы молча взялись за вёсла, скрипнула последний раз галька под сапогом, царапнуло днище о камень. Алазани подхватила плот и, шлёпая его по бокам, понесла…

— Смотрите! — крикнула вдруг Ирина.

Из-за поворота выплыл зелёный бок горы, и на фоне ровных строчек виноградника мы увидели знакомые фигуры. Медленно и неуверенно Ирина махнула им рукой. И старики-виноградари замахали нам в ответ. И мы махали им на прощанье и кричали:

— Проща-а-айте!

Между нами и берегом тянулась и всё увеличивалась сверкающая солнечная дорожка, и там, где она упиралась в берег, на зелёном склоне стояли старики и все махали и махали нам вслед. И мы махали до тех пор, пока река не сделала поворот. И только тогда в сердце мягкой щемящей нотой пропела струна расставания…

Александр Цыганков

Perpetuum mobile

Отражение плывущего облака, изломанные силуэты деревьев на быстрой воде и солнечные блики играли свежей масляной краской на холсте. Только подобие, условность, маленькое зеркальце, где мелькнуло и продлилось во времени то, что никогда не останавливается и длится вечно. Но как хорошо в этом стремительном движении! Крутящийся водоворот вешней воды! Прозрачный лес, первая зелень на берегу и пронзительная бирюза апрельских небес. В Сибири такой цвет неба бывает только в конце апреля и первую неделю мая. В эти яркие весенние дни Тростников не мог усидеть в городе и вырывался на пленэр. Обязательно туда, где лес, возвышенность над рекой и прострелы в простор, сливающийся на горизонте с огромным небом. Когда повсюду разливается лазурь, а холодный ветерок из тёмного бора говорит о том, что зима ещё рядом. И между красных сосновых стволов ещё лежат лиловые острова последнего снега, а на пригорках уже цветут подснежники, и река катит свои воды с такой силой и скоростью, что кажется, как будто этот могучий речной поток как раз и вращает Землю, как мельничное колесо. И кружится голова! И солнце, и свежесть, и нежность распустившейся вербы. И всё — как будто накануне, как в первые дни Творенья. Ну, разве в такие дни можно усидеть в городе и хотя бы на один только день не выехать на природу, чтобы сделать хотя бы один этюд! Чтобы не остановить, а продлить мгновение!

Александр ещё раз внимательно посмотрел на только что написанный пейзаж, больше не сравнивая с натурой, и закрыл этюдник. На шоссе он остановился у поворота в лес, откуда и вышел, и решил постоять ещё минут пятнадцать, чтобы вдоволь налюбоваться весенним лесом, насладиться, надышаться свежим воздухом и тогда уже отправиться в город с просветлённой душой и чистой совестью. Бывает у художника такое, когда чувствует, что вот это он должен сделать непременно, а потом уже всё остальное. Что надо ему выразиться, пролиться звонким цветом на холст, ответить по мере своих возможностей на громкий вызов внешних сил: всему, оттого возмутительному, потому как Прекрасному. Пейзаж с натуры написать, всё равно, что в церковь сходить, как говаривал один старый художник. Здесь тебе и причастие, и откровение, да и покаяние. Умиление ещё, конечно. А благодать-то какая! От Басандайки до космической станции «Мир» одна благодать. И вслух вырывается нечаянно прямо на весь лес: «Белка!!! Привет, белка!» Зверёк замирает на ветке. Одно мгновение смотрит на восторженного городского идиота и быстро бежит по высокому стволу, мелькая пушистым оранжевым хвостом. Но всё-таки общение какое-то. Диалог всё-таки!

И в этот раз Александр заметил белку и вспомнил того старого художника. Закурил и думал: крутимся, как белки в колесе, а он жил себе на Тайдоне и зимой, и летом. Творил и ни за чем не гнался. И вспомнил его знаменитую шубу, составленную неведомым портным из шкурок разных зверей. Когда Николая Ивановича спрашивали, он охотно показывал, где и кто пришит.

— Это лисичка, это зайчик, это колонок… А это кенгура!

— Ну, это вы бросьте заливать, Николай Иванович! Кенгуру на Тайдоне не водится!

— Был здесь один Кенгура. Повесился…

И Николай Иванович рассказывал про свою маленькую, но очень прыткую собачку, которая за свою прыгучесть и рыжую окраску получила такое экзотическое имя. Когда Кенгура приказал долго жить, запрыгнув зимой в заячью петлю, то оставил о себе память ярким меховым лоскутом на шубе знаменитого живописца.

«Уехать бы куда-нибудь на Тайдон — *и просто жить в лесу, в глуши, вдали от сутолоки, бега. Чинить свои карандаши и рисовать явленье снега…*»

Художник поправил на плече ремень этюдника и неторопливо пошёл в сторону остановки.

Под козырьком нелепой бетонной конструкции никого не было. Должно быть, автобус прошёл недавно. День будний. Да и горожане ещё не хлынули на дачи и в огороды. Скорее, по привычке странника, чем из желания остановить машину, Александр стоял и смотрел навстречу редкому транспорту. Тут-то и затормозила перед ним чёрная иномарка. Лысый пожилой человек, в тёмных зеркальных очках, открыл дверцу и крикнул: «Художник! Садись, подвезу!»

«С чего это вдруг?» — подумал Тростников и замешкался, не зная, что делать со своим багажом.

— Как лучше?

— А?! На заднее сиденье бросай! Свою живопись!

Художник так и сделал. Сам сел впереди. И машина помчалась по шоссе.

Водитель показался ему знакомым. Очень уж характерная внешность. Но где и когда он встречался с этим человеком, Тростников не мог вспомнить. Тот в свою очередь бегло взглянул на него из-под тёмных очков.

— Ты, вижу, не узнал меня, художник!

— Извините, может быть, мы снова познакомимся, а то неудобно как-то перед вами.

— Да ладно! Я человек маленький! Смотрю, стоит маэстро на дороге, ну как не подвезти!

И всё. На этом разговор закончился. Почти до самого города они молчали. Александр смотрел в окно, разумеется, что во все глаза. До чего красиво становилось вокруг! И вдруг обратил внимание, что в салоне, над лобовым стеклом, вместо автомобильного чёртика, неизменного талисмана всякого садящегося за руль, крутился маленький, размером с теннисный мячик, блестящий глобус. Тростников немедленно вспомнил обо всём и едва не закричал.

— Так это вы, Пётр Иванович! Что же вы сразу мне не сказали! Не ожидал на этой дороге встретить, да и не узнал… Очки у вас, как у агента 006!

— Да ничего, ничего! Я человек маленький!

— Ну! Вы тоже скажете! Маленький! По делам в наш город?

— На часок!

— На часок? Ха-ха-ха! Ну, тогда и ко мне в гости на минуточку…

— Да нет, Саша! Не смогу и на минуточку.

— А жаль! Посидели бы, поговорили. Сколько лет прошло!

И в самом деле, немало уже лет прошло. Более двадцати по календарю и целая эпоха в истории.

Когда в прокуренную мастерскую вбежал Ваня Третьяк, рабочий из столярного цеха, Александр сидел напротив только что развешанных на стене пейзажей и разжигал себя неукротимым вдохновением, а именно: дождаться пятницы и вечером уехать либо в деревню, либо на комбинатовскую турбазу, где ещё нет ни души, но есть знакомая управляющая загородным хозяйством. И вторая половина апреля на берегу Томи, где уже светло и красиво без оговорок. Неповторимая лазурь в небесах. Прозрачный лес, речка, подснежники… И всё очень просто, потому что весна! Этюдник с красками был уже собран и, как тревожный чемоданчик у военного, ждал своего часа. Осталось только вырваться на волю и пойти-побежать знакомыми или незнакомыми, ещё неведомыми тропами, чтобы, как говорится, отвести душу. Смотреть и видеть! Дышать и творить! И кричать нечаянно на весь лес: «Эй! Белка!!!» А потом, когда она повернётся на ветке, зарычать серым волком, чтобы окрестные кусты затрепетали! Чтобы замелькали заячьи уши по перелеску!

Художник смотрел на свои прошлогодние этюды и всё более разжигался. В самый пик мечтательного творческого горения и вбежал в мастерскую Ванька Третьяк.

— Саня! Привет! Тебя Фулиган вызывает на профком!

— Зачем на профком? Я не комитетчик.

— Да я знаю, что ты не партейный! Там они насчёт первого мая суетятся.

— У меня к празднику и так всё уже готово. Что им ещё? Помочь шарики надувать?

— Да нет! Фулиган решил машину нарядить! Чтобы на демонстрации с трибуны увидели. Он же провинился перед начальством! Да и любит себя показать. Но это нам выгодно, Саня! Ты не отказывайся! Плата отдельная, по договору! Наш кабан утром на планёрке говорил.

— Вот со своим начальником и наряжайте! За отдельную плату!

— У этого кабана мозгов не хватит! А мы рисовать не умеем! Ты чё, Саня! Это же калым!

— Да понял-понял, что калым!

Тростников понял, что до праздничных дней и в самый праздник ему из города не вырваться. Судя по грандиозному замыслу начальства, о каковом поведал Третьяк, работать придётся даже в выходные дни. Времени оставалось мало.

У директора уже были все, кому и следовало быть. Председатель профкома, Василий Иванович Шульженко, не то ещё с глубокого похмелья, не то уже поддатый. Главный бухгалтер производства Елена Олеговна Настоящая, блондинка со смуглой кожей. Секретарь парткома А. Я. Всесвятский и два общественника. За большим столом, на удивление чистом, без каких-либо документов и прочих деталей, сидел сам директор, Пётр Иванович Соколов, прозванный подчинёнными нижнего звена Фулиганом. Уж очень необычной для начальника была его внешность. Быстрая походка, вразлёт. Характерная сутуловатость и бычья посадка головы. Цепкий взгляд прищуренных глаз и типичная улыбочка. Речь его была такой же бойкой и решительной. Рабочие после встречи с ним не могли удержаться от комментария: «Это не директор, а хулиган какой-то кемеровский!» Тем не менее, Петра Ивановича не презирали, как Всесвятского, и не боялись, как Шульженко.

На всяком совещании подобного рода Пётр Иванович вёл беседу исключительно с Еленой Олеговной. Остальные молчали, как свидетели в зале Народного Суда, пока их ни о чём не спрашивают. И в этот раз художник вошёл в тот момент, когда Соколов и Елена Олеговна говорили о чём-то своём, не обращая никакого внимания на присутствующих.

— Вот и Александр пришёл! Заходи, Саша! Тебя-то мы и ждём! Садись.

Тростников сел напротив директора и заметил на себе испытующий взор белокурой экономистки. «Так не флиртуют. Очень уж проникновенно смотрит. Что это она?» — подумал художник и внимательно посмотрел на директора, хотя уже знал, о чём пойдёт речь. Пётр Иванович на секунду наклонил голову, расправил плечи и заговорил чуть ли не с пафосом.

— Я к чему сегодня разговор веду, товарищи! С культурно-просветительной работой у нас некоторая отсталость наблюдается. Так вот! Деньги, о которых нам говорила Елена Олеговна, надо направить на культурно-просветительную работу! Даже, можно сказать, на идеологическую работу надо эти деньги направить! А в этом Александр может проявить себя как творческий человек!

А. Я. Всесвятский и два общественника закивали головами, глядя на Петра Ивановича. Председатель профкома и бухгалтерша посмотрели на Александра. Ничего не соображая, Шульженко смотрел мутными глазами, но зато очень строго. Елена Олеговна взглянула глазами ясными и уже совсем

не строго. Чувствовалось, что всё давно решено, а теперь уже и сказано. Оставалось только провести культурно-просветительную работу, организовать исполнение и, если потребуется, принять меры. А вот и голубчик нашёлся! Попался этакий! И никуда уже не денется!

— Я предлагаю вот что, — продолжал Пётр Иванович. — К праздничному первомайскому шествию на площади Ленина оформить красочную машину с крутящимся глобусом! Чтобы шла впереди колонны нашего предприятия! Я, например, ещё ни у кого такого не видел.

— Глобус был, но не крутился, — вставил профсоюзный босс и, нахмурив густые брови, уставился на художника с немым упрёком.

— Зато у нас будет крутиться! — ещё увереннее заговорил директор. — Александр у нас талантливый парень! Ну, как, Саша, справишься? Придумай конструкцию, а наш главный инженер тебе поможет! И столярный цех в твоём распоряжении.

— Всё можно сделать, Пётр Иванович! Но времени очень мало остаётся. Ещё эскизы рисовать, да и макет надо склеить. Чертежи, расчёт материалов.

— Ничего-ничего! В выходные поработаешь. Это по отдельной статье будет оплачено. Договор заключим. А там ещё и зарплата плюс премиальные. Разве плохо? Вся надежда на тебя, Александр!

— Надо, значит, надо! Какой разговор?!

— Ну, вот и хорошо! Освоим эти деньги, товарищи! Тебе, Саша, сколько времени надо на макет и прочую подготовительную работу?

— Больше трёх-четырёх дней у меня уже не остаётся на это. Придётся ночами работать. Может быть.

— Нормально! Успеем! А рабочих я тебе дам, сколько потребуется. Начальнику столярного цеха сказал уже и в гараже, чтобы машину подобрали без проблем. Если заглохнет с крутящимся глобусом посреди площади, вот смеху-то будет!

— Я им потом головы откручу! — деликатно вставил Шульженко.

— А вот вы и проконтролируйте всё, Василий Иванович! Кого-кого, а уж вас-то на производстве уважают! Не подведут!

Шульженко самодовольно улыбнулся, но сразу же и задумался.

— Ну, всё, Саша! — Пётр Иванович встал, проводил Тростникова до двери и сказал негромко: — Как сделаешь макет, приходи. Остальное с тобой отдельно решим. Добро?

— Добро!

И Александр отправился в мастерскую, напевая знаменитый рефрен старого неувядающего шлягера про шар голубой. И пришёл уже с готовым решением.

Основой композиции было огромное красное знамя, составленное из трёх частей. В центральной, большей, части был задуман вырез по окружности, где на оси, смонтированного на кузове механизма должен вращаться большой голубой шар нашей планеты с тремя словами по экватору: «Мир! Труд! Май!» От кабины и по всему периметру грузовая машина закрывалась красочными транспарантами. На коньке капота — имитированная под золото эмблема «Серп и молот». Множество звёзд на фанерных тумбах красного знамени и цветы, рассыпанные по меридианам и параллелям земного шара. Тростников склеил макет и на каждую деталь композиции сделал чертежи. Посоветовался с главным инженером. Услышал от него: «Саня! Я над этой игрушкой не собираюсь голову ломать! Скажи механику в гараже: шестерёнка, мотор, провода в кабину, питание от аккумулятора. Всё!» И на четвёртый день пошёл к директору.

Пётр Иванович повертел макет. Выслушал соображения о том, как лучше и быстрее изготовить то и это. Похвалил Александра за изобретательность и находчивость. Наконец отодвинул в сторону картонную, ярко расписанную машину вместе с чертежами и заговорил о деле.

— Теперь вот что, Саша! Надо составить грамотную калькуляцию. По существующим расценкам и так, чтобы главный художник города подписал.

— Какие проблемы, Пётр Иванович! Да и Сергея Дмитриевича Лукьянова я прекрасно знаю!

— Сколько всё это может стоить? Начиная с первого твоего наброска и до выезда машины?

— Сразу не скажу. Надо считать. Хотя примерно можно.

И Александр стал перечислять, сколько стоит эскиз, макет, исполнение отдельных элементов и так далее. Даже при таком грубом подсчёте выходила довольно приличная сумма. Пётр Иванович выслушал и задумался на мгновение.

— Всё?

— Да и хватит, кажется. Приблизительно, конечно. За счёт своих материалов можно сэкономить, рабочих освободить от основной работы.

Пётр Иванович пристально посмотрел на Тростникова.

— Александр! Надо сделать так, чтобы калькуляция получилась вот на такую сумму.

И директор показал художнику бухгалтерскую ведомость, на которой были указаны цифры, перед коими бледнела любая его калькуляция. Это и были те деньги, об освоении которых с таким пафосом говорилось накануне.

— Надо подумать, Пётр Иванович.

— Хорошо! Подумай денька три. Здесь и твой интерес. Своё возьмёшь! Главное калькуляцию составь правильно. Остальное потом. Там уже детали. А сейчас приступай к исполнению. Иди сначала в столярку, потом вместе с ними в гараж. Пускай снимают размеры и начинают. Если какие-нибудь заминки или накладки начнутся, сразу иди к Шульженко. У них запой может случиться. А клин клином вышибают! Василию Ивановичу для того и позволено с красным носом на работу ходить, чтобы другим помогал трезвость соблюдать!

Из кабинета директора художник вышел в некоторой растерянности, но решил сначала запустить производство праздничной машины с этим чёртовым крутящимся глобусом, а потом уже крутиться самому.

Ночью он долго не мог уснуть, понимая, что становится невольным участником воровства государственных денег, которые это государство

в немереном количестве направляло на просвещение и развитие культуры своих граждан. И почти все эти деньги осваивались, попросту умыкались, теми, кто и должен был разумно ими распорядиться на благо своих подчинённых. Размышляя таким образом, к трём часам ночи Александр столкнулся с дилеммой: кто в данном, отдельно взятом случае бо́льшая сволочь? Он сам, потому что не посмел и не захотел возразить начальнику, или Пётр Иванович, который и толкает его — как подчинённого — на подлог? Он думал о том, что в тридцать седьмом году именно за это и расстреливали, наверно, а теперь все так делают, все так живут! Все крутятся, чтобы жить становилось лучше и веселей! Человек-то, как известно, сам кузнец своего счастья. До начала перестройки оставалось каких-нибудь полтора года, и подобные угрызения совести всё-таки ещё мучили и не таких впечатлительных людей, как наш художник. И даже не такие мелочи многим ещё казались вопиющими от нескрываемой, откровенной наглости людей, такие мелочи творящих. Но к четырём часам утра Тростников всё-таки додумался до того, что таковым и является современный порядок вещей, а Пётр Иванович и он сам едва ли не смиренные заложники определённого свыше миропорядка, и уснул сном праведника.

Утром Александр зашёл сначала в гараж, где ему показали машину. Двое рабочих уже гнули стальные прутья и собирали из них каркас земного шара. Механик подвёл его к стальной трубе и покатал её ногой, объясняя не только наглядно, но и словами, что из этой трубы и будет изготовлена земная ось. Какие-то мужики крутили в руках шестерёнки. Кто-то ходил с дрелью возле машины и объяснял шофёру, что отверстие всё-таки придётся просверлить прямо в кабине, иначе дверка передавит провод, и мероприятие сорвётся. Тростников убедился, что в гараже работа кипит, и направился в столярный цех. Но там, как оказалось, ещё только изучали чертежи, которые Александр принёс вчера и объяснял целый час, как сколотить тумбы и выпилить прочее.

— Вы что? И не начинали даже?

— Не торопи, начальник! Всё сделаем, как Ленин учил!

Столярка была вспомогательным, подсобным внутренним производством, и контингент её тружеников был неординарным. Там собралась так называемая «отрицаловка». Одних никуда больше не брали, так как уже заработали тридцать третью статью в трудовой книжке. Других перевели с основного производства за нарушения. Большинство были горькими пьяницами и, несмотря на опасность травмироваться, употребляли прямо на работе. У некоторых имелось по нескольку судимостей. И как только художник зашёл в столярку, так сразу и почувствовал, что с неординарным коллективом придётся иметь дело. Доверие внушал один только Семён Фёдорович, пожилой мастер, с неизменными очками на лбу.

— Начнём теперь уже, Александер! Всё понятно вроде бы. Сейчас попьём чаю и начнём.

— Чифирку врежем и закрутимся! — подхватил Ваня Третьяк, уголовник среднего возраста. Бойкий, шустрый и необычайно вороватый мужик. — А нам, Саня, сколько причитается за всю твою канитель? Говорили, что отдельно заплотют!

— Отдельно.

Тростников подумал, что рабочих в этот процесс втягивать не надо, и сказал:

— Вы, Семён Фёдорович, на свою работу составьте калькуляцию или просто наряды напишите, и всё получите, как работу сдадите.

— Хорошо! Всё, ребята, приступаем!

Но и после этих слов никто работать не торопился. Одни играли в карты. Кто-то спал на широкой скамейке в углу. Заваривали чай, курили, рассказывали друг другу байки. Считали мелочь и скидывались, чтобы к обеду послать гонца. Ваня Третьяк подошёл к окну и отпрянул назад.

— Кабан идёт!

Как по команде немедленно были включены сразу все станки, завизжала пилорама, и во все стороны полетела стружка.

Видимость работы здесь научились создавать довольно ловко. Под визг и вой, отряхивая древесную пыль, Тростников вышел из цеха. Навстречу ему медленно шёл чернобровый Шульженко. Волна перегара двигалась впереди и набегала на встречного немного быстрее.

— Здравствуйте, товарищ художник! Как там эти архаровцы?! Всё как надо делают?

— Да, кажется, разобрались с чертежами. Начинают.

— Начинают?! Щас я им покажу, как чертежи разбирать! Начинают они опять!

Столярный цех был детищем и похмельным кошмаром Василия Ивановича. Когда-то он же и организовал его на производстве. И теперь ещё руководил, совмещая с профсоюзной деятельностью. И контингент оставался без присмотра большую часть рабочей недели.

«Вот и хорошо. Пускай он со своими сам управляется». После утреннего обхода Александр отправился сочинять грамотную калькуляцию.

На третьем этаже горисполкома в кабинете главного художника города за бутылкой коньяка сидели Тростников и Сергей Дмитриевич Лукьянов, хозяин этого кабинета. Рабочий день уже давно закончился, но они никуда не торопились.

Лукьянов делился опытом.

— Любую работу надо правильно оценить. Я, конечно, не вникаю, что за монстра на колёсах вы решили изваять. Я не лезу! Это ваше дело. И ты, Саша, теперь знаешь, как под нужную сумму подогнать… произведение.

— А под уголовную статью не подгонят после этого?

— Нет! Всё же правильно! Главное, чтобы работу увидели и приняли. Наглядный пример, так сказать. А кто там будет разбираться, что вместо «плакат» у тебя написано «батик». Они одно от другого всё равно отличить не смогут. Вот сколько есть в работе метража красной тряпки, на всё и пиши «Роспись по ткани анилиновыми красителями. Горячим

способом». А механическая конструкция, знаешь, сколько стоит?

— Нет.

— Да это вообще можно как на ВДНХ расценить! Машина, крутящийся глобус, опять же роспись по сферической поверхности. Пиши по металлу.

— Он же тканью обтянут?

— А каркас из чего изготовлен? Выходит, что по металлу. Тем более, на оси.

— Если так считать, Сергей Дмитриевич, то перебор денежных средств получится!

— Да ладно тебе!

— Ну, давайте ещё выпьем за успех мероприятия!

— Как бы не перебрать сегодня! У меня к празднику, знаешь, сколько таких заморочек по всему городу?!

— Да, Сергей Дмитриевич! У всех людей праздник, как праздник, а художникам работа!

— Крутиться надо!

Вечером, после продуктивного общения с главным художником города, Тростников отправился к своей пассии, прихватив по дороге бутылку красного болгарского вина. Ольга, студентка последнего курса медицинского института, жила как раз недалеко от горисполкома. У них была какая-то стихийная любовь. То они не могли расстаться, и она следовала за ним через горы, реки и долины, восхищаясь молодым художником, то вдруг ссорились, прощались навеки и целую неделю даже не звонили друг другу. Потом всё начиналось сначала, вскоре кончалось тем же, но кончиться никак не могло. В этот раз между ними всё было хорошо, тем более что романтично настроенная Оля не могла дождаться, когда Саша опять позовёт её на турбазу, где он будет писать этюды, а она гулять по берегу, ловить первых бабочек и мечтать о том прекрасном времени, когда Александр станет знаменитым и очень богатым. И она, конечно же, станет его женой, пожизненной спутницей и соратницей. И они будут путешествовать не по окрестным сёлам, а по всему миру, перелетая по синему небу с одного континента на другой. Но в последнее время такие розовые картинки представлялись ей всё реже, они всё чаще ссорились и наиболее ожесточённо по поводу прочитанных книг или просмотренных кинофильмов.

Ольга жила у родителей, поэтому Александр предупредительно позвонил из телефонной будки.

— Свободна ли гетера этой ночью?

— Да-да! Заходи, Сашенька! Папа уехал в Новосибирск, а мама сегодня у бабушки. Можешь у меня остаться.

— Да?! Ну, тогда я тебе эпиталаму сочиню, пока по лестнице подымаюсь…

— Свадебную песню ещё рано петь, Александр! Молча входи!

Они выпили вина. И среди ночи, когда утихли страсти, Тростников решил исповедаться. Прямо так. Гладил её по тонкой атласной коже и каялся. Ольга внимательно его выслушала и начала причащать после исповеди.

— Тебе уже, сколько лет, Сашенька! А ты всё ещё наивный, как ребёнок. Все так зарабатывают! Радоваться должен, что тебе такая работа подвернулась! Какой ты вор? И этот начальник твой не вор. Есть деньги, значит надо их реализовать! Если ты мимо пройдёшь, то другие заберут. Пропьют, да и всё! А тебе на краски, на кисточки, на вдохновение твоё беспробудное деньги нужны! И немало.

— Да мне всё ясно, Оленька! Но я хотел бы за своё, и получать своё, а не паразитам помогать народные деньги красть!

— Ребёнок ты, Саша! Я на скорой помощи подрабатывала. Знаешь, столько насмотрелась, что человеческая жизнь такой ничтожной показалась. Когда каждый день умирают на твоих глазах, и ничем помочь нельзя. Ничем! Вот только что был человек, и не стало. В этой жизни радоваться надо больше! Благодарить судьбу за случай! А ты сопли распускаешь!

— Да почему сразу так! Я, скорее, о самом явлении говорю, чем о частностях. Может быть, не понимаю чего-то.

— Всё ты понимаешь! — и вдруг задумалась, размечталась о чём-то на мгновение, опять прижалась к нему и зашептала. — А земной шар будет крутиться, Сашенька? Прямо так и закрутится? Да? Закрутится? Завертится земной шар?

Утром Тростников сидел у кабинета директора и дожидался Петра Ивановича, который, как ему сказали, ненадолго отъехал по делам и должен вот-вот вернуться.

Мимо него уже дважды прошла Елена Олеговна, а на третий раз остановилась и тихо спросила:

— Александр, вы уже решили вопрос с паспортами?

— С какими паспортами?

— Пётр Иванович ещё не говорил? Тогда вы дождитесь его обязательно.

— Жду, Елена Олеговна!

— Как ваша машина с глобусом? Ещё не крутится?

Тростников улыбнулся. Бухгалтерша тоже улыбнулась в ответ и пошла по своим ответственным подотчётным делам.

Вскоре подъехал Пётр Иванович. Директор почти вбежал в контору, открыл кабинет и увлёк за собой художника.

— Давай, докладывай, маэстро! Что там у тебя получается?

— Всё, как надо, так и получается.

Александр достал из папочки свеженькую калькуляцию на выполнение творческих работ, подписанную главным художником города. Над подписью красовалась круглая исполкомовская печать. В графе «Итого» была указана необходимая сумма, до последнего нолика соответствующая желаемой.

— О! Хорошее начало — половина дела! И об этой второй половине мы сейчас поговорим! Кстати, как там, в столярке? Работают? В гараже-то я был. Уже земную ось на кузов монтируют. Центральная тумба нужна.

— Как от вас выйду, сразу в столярку. Скажу, чтобы центральную в первую очередь собрали.

— Ладно! Теперь о деле. Давай разберём калькуляцию. Вот я на отдельном листе пишу: сколько рабочим выплатить, сколько за твой благодатный

труд и сколько остаётся. Как договаривались, так и пишем. Так?

— Всё так, Пётр Иванович!

— Не обидел я тебя?

— Что вы! Я на более скромный гонорар рассчитывал.

— Ты не скромничай! Пётр Иванович никого не обидит! Когда мне навстречу идут, то и я навстречу! Но это ещё не всё. Слишком уж большая сумма. И так в каждые руки немало, да ещё остальные надо забрать, чтобы у Елены Олеговны проблем не возникло. Проверки там разные. В прошлом году еле отбились от воронья! Дышать уже невозможно!

То, что называлось «остальное», в несколько раз превышало прочее. Разумеется, это был «гонорар» самого Петра Ивановича и доля Елены Олеговны. И на эти деньги можно было довольно долго восстанавливать дыхание на любом черноморском курорте.

— Слушай, Александр, ты бы взял на себя ответственность бригаду организовать! Каждому по таксе за паспорт. Придут, распишутся в получении и всё. Будет, на что выпить в праздники! И тебе с этого проценты! Калым плюс калым получается!

Тростников задумался. С такими бархатными аферистами он ещё никогда не встречался, вернее, никогда ещё не имел дела с такими откровенными кабинетными жуликами. Впрочем, всё происходило так легко и просто, так непринуждённо и деловито, что никаким воровством это и не выглядело. Тем более, на уровне директора немаленького предприятия. И если Петра Ивановича посчитать за вора, то остальных, всё его окружение и всех подчинённых можно смело причислять к мелким жуликам и шестёркам. А это значило бы, совсем не уважать людей, как и себя самого. Поэтому Александр воздержался от определений.

— Хорошо, Пётр Иванович! Как получится.

— У тебя всё получится! Ты парень талантливый!

И талантливый парень направился в столярный цех, чтобы проверить, как идут дела, сказать Семёну Фёдоровичу о центральной тумбе и поговорить с уголовником Ванькой Третьяком.

Всё пошло своим чередом. И после нескольких суетных дней Тростников наконец-то уединился в мастерской комбинатовского Дворца Культуры и стал готовить большие буквы, звёздочки, цветы и прочее, что было необходимо сделать для украшения праздничной машины. Нескольких своих друзей и знакомых он уговорил войти в состав липовой бригады. Ещё несколько человек к нему отправил Третьяк. В отдельную тетрадку он аккуратно переписывал из паспортов данные и говорил, когда и куда надо с этими паспортами явиться, подчёркивая, что вознаграждение будет выдано сразу. Некто из тёмных личностей попросил деньги вперёд по случаю внутреннего горения. Но Александр ссудил ему только половину, чего было вполне достаточно для поправки здоровья.

В мастерской было светло, уютно и тихо. Небосвод за окном пылал во весь накал классической лазури. У стены стоял приготовленный к пленэру этюдник. Он посмотрел на прошлогодние пейзажи и почувствовал лёгкое головокружение. Но взял себя в руки и занялся работой. К вечеру пришла Оля.

— И где же твой земной шар на металлической оси?

— Над ним ещё архангелы трудятся.

— Это ты алкашей всяких архангелами зовёшь? Нехорошо! Херувим…

— Кто же их ещё так назовёт?

— Кроме тебя, Саша, никто. И это точно! Пойдём, погуляем! Вечер такой изумительный!

— Посиди пока. Слово «Труд» вырежу, тогда пойдём.

Этим вечером они гуляли по Набережной. До самой темноты. Пока в небе не загорелись яркие весенние звёзды. Игриво настроенная Оля смотрела в небо и говорила.

— Вот сколько звёзд во Вселенной и галактик, туманностей разных? Не пересчитать! И все светят и летят куда-то перед нашими глазами. Красиво! А мы крутимся на Земле, как белки в колесе, и никто нас не видит в этой бесконечной Вселенной. И никто никогда не узнает о нашем существовании. Да? Никто же во Вселенной не узнает?

— Во Вселенной, может быть, и не узнают.

— А зачем, Сашенька, знать обо всём во Вселенной? О нас с тобой, зачем всё знать? Незачем! Недаром же на Земле ночь бывает.

— Недаром.

— Тогда пошли ко мне домой!

— У тебя опять никого?

— Кроме тебя, у меня опять ни-ко-го!

— Быстрее бы праздник прошёл. На турбазу поедем! Там звёзды ещё ярче! На турбазе.

— Там, Александр, Млечный Путь раскручивает Колесо Бесконечности!

— Оля! А ты пойдёшь на демонстрацию?

— Твою машину с крутящимся земным шаром посмотреть? Не хо-чу! Я не люблю первомайские гульбища. И я не труженица, а целительница! И ты, Саша, не труженик. Вы, Александр, творец! Да?!

— Да. Только я со всеми солидарный.

Целительница расхохоталась и укусила его за ухо.

Через несколько дней в большом гаражном боксе стояла уже почти готовая к выходу праздничная машина. Шульженко кричал благим матом, шатая деревянную конструкцию.

— Олухи! Тумбы правильно сбить не можете! Ещё перемычки надо в центральной! Земная ось выскочит на ходу, тогда узнаете… Узнаете потом!

Василий Иванович и сам не знал, что произойдёт с его подчинёнными, да и с ним, если земная ось выскочит на ходу. Третьяк и ещё двое побежали в столярку за дополнительным крепежом. Тростников приклеил последние буквы лозунга на красном бортовом транспаранте и отошёл в сторону, полюбоваться оформлением. Шульженко приказал водителю запустить глобус. Оказалось, что скорость вращения была намного больше необходимой. «Мир! Труд! Май!» не прочитывались и сливались широкой белой полосой на экваторе. Пёстрый шар крутился, как юла. Слабо укреплённая центральная тумба, в верхней части которой был встроен подшипник, заходила ходуном.

— Выключай! — скомандовал Шульженко. — Это что?! Земля так вертится, да?! Всё сливается! И буквы, и материки! Даже Африку не видать! Сбавляй обороты!!!

Водитель побежал искать механика. Из диспетчерской выбежал автослесарь и порадовал Василия Ивановича.

— Фулиган звонил! Сейчас приехать должён!

Из столярки, с брусьями на плечах, вернулись плотники. За ними шёл Третьяк с пустыми руками. Прибежал механик с ременной передачей на шее. И следом за всеми на уазике подъехал Пётр Иванович.

— Издалека вижу, что красиво! Молодец, Александр! Корабль, а не зил тридцать один! Алый парус! Как настоящий! Ну, а с планетой что? Вертится?

— Вертется-то, она вертится! — начал было оправдываться Шульженко, но механик его опередил.

— Работает лучше, чем надо! Проверили! Сейчас обороты отрегулируем и полный порядок!

Пётр Иванович сразу же понял, что порядок ещё далеко не полный, и сменил тон.

— Кровь из носа, но завтра чтобы работу сдали! Будет представитель из обкома партии! А вы ещё ходите вокруг машины, как стадо баранов! Шульженко! Позвони мне вечером прямо домой! Что?! В любое время!!!

Директор уже давно уехал, но профсоюзный босс Василий Иванович Шульженко всё ещё орал до хрипоты на весь огромный гаражный бокс, собственноручно укрепляя центральную тумбу. Спрыгивал с машины при каждом проверочном включении глобуса и весь процесс комментировал крепкими русскими словами. Механик и водитель очень долго не могли правильно рассчитать длину ременной передачи и добиться оптимальной скорости вращения земного шара.

Тем не менее, Тростников уже успокоился. Своё дело он сделал. Походил вокруг машины и пошёл в мастерскую. Земные технические проблемы от него не зависели.

Утро, как и гласит добрая пословица, выдалось мудренее вечера. Конструкцию громадного красного знамени с голубой планетой на оси не мог расшатать даже Василий Иванович. Земля вращалась так, что радовала глаз. Слова читались хорошо, величаво двигались чёткие силуэты континентов, на океанском фоне проплывали цветы. Вся бригада выстроилась вдоль стены, напротив машины, словно кораблестроители при спуске на воду новенького ледокола, и внимала словам представителя обкома партии, смысл коих сводился к тому, что директора предприятия, Петра Ивановича Соколова, наконец-то, будет, за что похвалить и вернуть коллективу утраченный переходящий вымпел.

— Думаю, что у вас всё пройдёт хорошо, и ваша машина станет образцово-показательной! Ярким примером для всех! Молодцы, товарищи! У меня, Пётр Иванович, сердце радуется, какие вы молодцы! Обязательно попрошу сегодня, чтобы вашу колонну пропустили по первой линии, ближе к трибуне.

Пётр Иванович скромно сказал, что он здесь ни при чём, а только пошёл навстречу передовикам производства, которые проявили инициативу. И ласково посмотрел на Шульженко и его контингент. Плотники потупили взоры и опустили буйные головы, не зная, как справиться с нахлынувшими чувствами. Шульженко покраснел и сдвинул густые брови. Представитель обкома партии растрогался, сел в чёрную «Волгу» и поехал на соседнее предприятие принимать машину с крутящимися акробатами.

Директор отвёл в сторону Шульженко и водителя образцово-показательной праздничной машины и заговорил с ними очень вежливо.

— Теперь всё равнение на вас, товарищи! Не подведите, пожалуйста. Судьба предприятия в ваших руках теперь. Проверьте ещё раз, чтобы всё работало, как следует, и не стучит ли двигатель. Вас, дорогой Василий Иванович, хочу попросить самому проехать в машине и запустить земной шар на марше! Под крики «Ура!» Наши ребята постараются! Кричать умеют.

Пётр Иванович повернулся к рабочим и обратился совсем по-отечески.

— Ребята! Крикнем «Ура» на марше?!

Контингент оскалил разноцветные зубы.

— Александр! Тебе персонально жму руку! И слов на ветер не бросаю. После четырёх в бухгалтерию!

К четырём часам все были в сборе: непосредственные исполнители и два звена теневой бригады. На улице возле управления прохаживались друзья художника. Контингент столярного цеха сгруппировался у самых дверей бухгалтерии. По длинному коридору шныряли друзья Третьяка, обращаясь к последнему с почтением, то есть по имени.

— Иван! Ну, скоро там нас разводить начнут?

— У их разборки ешо не кончились! Между собой разберутся, а там и нас разведут!

Через десять минут из бухгалтерии вышел Пётр Иванович и, не заходя к себе в кабинет, уехал домой. Елена Олеговна крикнула: «Вокруг меня не толпитесь! Заходите по одному!» И начала давать, как раньше говорили, кому сколько начислено. В этот предпраздничный день главный бухгалтер отпустила домой кассира и всех остальных сотрудниц и сама занялась не царским делом. После рабочих пошли расписываться и получать за свои услуги липовые труженики. Последним вошёл Тростников. Елена Олеговна отсчитала и выдала ему довольно крупную по тем временам сумму и улыбнулась.

— Будем с вами дружить, Александр! Пётр Иванович очень хорошо о вас отзывается. Обращайтесь к нам. По мере возможностей мы вам всегда поможем. Вы же всё прекрасно понимаете. Сейчас все так живут. А деньги на книжку положите.

— Конечно, на книжку! Куда же ещё.

— Придёте завтра на демонстрацию?

— Обязательно, Елена Олеговна! Переживаю даже, как машина пройдёт.

— Об этом уже не переживайте.

Переживать действительно было не о чем. Обыкновенная советская первомайская демонстрация прошла также слаженно и ярко, как машина с крутящимся глобусом по площади Ленина. Рядом

с водителем сидел Шульженко. Чтобы застраховать себя от стресса в случае непредвиденного и для храбрости, Василий Иванович ещё на старте ополовинил бутылку «Столичной». При выезде на площадь включил тумблер, убедился, что земля вертится, и допил остальное. Следом за машиной шли рабочие предприятия. Впереди, с портретом генсека, шествовал Пётр Иванович. Когда машина уже приближалась к трибуне, из кабины высунулся ошалевший от водки Шульженко и грянул громкое «Ура!». Крик профсоюзного босса подхватили его сослуживцы и подчинённые. И грянули так, что с трибуны немедленно ответили: «Ура! Товарищи!» — и замахали руками наконец-то замеченному директору Соколову. Пётр Иванович ликовал.

Тростников в шествии не участвовал. Он приехал к управлению утром, убедился, что с машиной всё в порядке, и умчался домой — смотреть прямую трансляцию по телевизору. И очень разочаровался. На экране мелькнул только один крутящийся земной шар во время прохода по экватору слова «Мир!»

И опять запестрели знамёна и транспаранты, серпы и молоты, звёзды и генсеки. Гремела музыка, разрываемая громогласными призывами, стихами Маяковского и здравицами в честь КПСС, как авангарда трудящихся всего мира.

Александр вспомнил слова Елены Олеговны о том, что сейчас все так живут. И ему стало смешно. Он представил тысячи таких же предприятий и директоров с личными бухгалтерами, длинную вереницу таких же ряженых машин с вертящимися глобусами или акробатами, миллионы талантливых или вовсе бестолковых людей, равно одураченных, и ему стало грустно.

На следующие утро Тростников позвонил Ольге и назначил час свидания на автовокзале.

Земля повернулась на оси и полетела по весенней орбите к своему летнему апогею. И казалось, что само её движение произвело лёгкий свежий ветерок. Майское солнце горело в безоблачном небе и пронизывало светом поля и перелески. Новенький оранжевый «Икарус» мчался в сторону Берёзово. Ольга и Тростников сидели на первых креслах и любовались меняющимся пейзажем. Вдохновенный художник цитировал из классика:

Благославляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благославляю я свободу
И голубые небеса!

Оля звонко засмеялась и проговорила в сторону: «Алёшенька Карамазов…»

Водитель «Икаруса», разделяя праздничное настроение пассажиров, включил радио на всю катушку. По «Маяку» передавали: «Широка-а страна моя родна-я!» Ольга откинулась в кресле. Тростников смотрел вдаль. Синяя лента шоссе разрезала простор до самого горизонта. Стаи грачей кружились над своими гнездовьями. Земля вертелась и летела в космическом пространстве, неведомо куда. Александр задумался и молчал всю дорогу. Когда они уже шли в сторону турбазы, неожиданно спросил.

— Оля! А Земля, в какую сторону крутится?

Она захохотала в ответ. Потом подумала и сказала с улыбкой.

— Ночью проверим! По звёздам определим.

— Да? А звёзды, в какую сторону…

— Слушай, Сашенька, хватит! Ну, хва-тит… Ой! Смотри! Белка!!!

По стволу замелькал рыжий хвост. Белка запрыгнула на разлапистую сосновую ветку и обратила взоры на долгожданных городских гостей, каковые каждое лето пытаются накормить её своими дурацкими конфетами. Ольга полезла в сумку, зашуршала полиэтиленовыми пакетами, пытаясь достать что-нибудь съестное.

Но лесная красавица была такова. Юркнула с ветки и скрылась в густой кроне.

— Ну, вот! Я для неё приготовила, а она убежала!

— Другим отдадим. Здесь их много.

За воротами турбазы никого не было. Они прошли на территорию, поставили сумки и стали прохаживаться, наслаждаясь воздухом и тишиной.

Из главного корпуса выбежала заведующая туристической базой Виктория Георгиевна, одетая в нейлоновую финскую куртку и такие же симпатичные штаны. Огненный цвет её причёски не оставлял никаких сомнений в её темпераменте. Она узнала Александра и затараторила без остановки.

— Какие люди к нам приехали! Здравствуйте! Что же вы сразу ко мне не заходите? У меня там приготовлено всё, во втором корпусе. Можно отдыхать! Сегодня, правда, ещё гости должны подъехать, но вы не помешаете. Турбазу ко Дню Победы откроем только. Так что столовая не работает пока. Ну, пошлите. Пойдёмте! А вашу девушку как зовут? Оля? Очень приятно! Меня — Виктория! А ваш натюрморт с подснежниками я в холле главного корпуса повесила. Потом вы ещё «Рассвет на острове» дарили, так его начальник лодочной станции к себе забрал. Рыбак заядлый. Он на этом острове… акулу поймал. На заре! А я вот всё кручусь, кручусь, и ничего не ловится.

— В этом году, Виктория Георгиевна, я ваш портрет на воздухе напишу!

— Мой портрет?! Поздно, Александр, с меня портреты писать! Вы лучше натюрморт с огоньками напишите, они скоро уже появятся. Мои любимые цветы!

Заведующая открыла второй корпус, показала комнату и отдала ключ.

— Вот! Пожалуйста, устраивайтесь. Хорошо у нас, правда?!

И бывшая спортсменка исчезла так же стремительно, как и появилась.

Ольга подошла к окну и откинула шторы. Под зелёным берегом катила вешние воды быстрая сибирская река. Издалека, подёрнутые прозрачной дымкой, вырастали высокие горы. Когда она повернулась, художника уже не было. С этюдником на плече Александр бежал по заливному лугу.

Когда Тростников легко и неторопливо, с утолённой печалью в груди и жёлтым букетиком в руке,

шествовал обратно, у главного корпуса он заметил чёрную «Волгу» Петра Ивановича. Ему подумалось: «И здесь эта чёртова молотилка! Не успели из города выбраться! Впрочем, как ни крути, а Земля всё равно круглая, и место встречи нам не изменить». И ничто в этот день не могло испортить хорошее настроение. Потому что весна! Потому что светло! И красиво без всяких оговорок! И прочь предательские тени!

— Оля! Посмотри, какие цветы я принёс тебе! Сколько в них солнца! — Восторженно закричал Тростников, когда вошёл, но увидел, что стол и подоконник были уставлены букетами разноцветных нежнейших подснежников. Ольга лежала на разобранной кровати и осыпала своё, ещё не тронутое загаром, белое тело жёлтенькими лепестками таких же цветов, какие он нарвал на берегу.

— Краску смой с себя, пожалуйста. Ну, что ты смотришь? Соскучился? Или так полюбоваться решил? Я тебе говорю, от краски отмойся! Солнце моё…

Античность, белая, как пена, хлынула из крана.

Синим-синим вечером с полоской алого заката они вышли на прогулку. Смотрели в глубокие небеса и мечтали, каждый о своём сокровенном. На третьем витке обхода территории сверху послышалось.

— Алекса-ндр! Вы, оказывается, романтик?!

На балконе второго этажа главного корпуса стоял Пётр Иванович, рядом с ним дымила сигаретой Елена Олеговна. Она немного смутилась, но улыбнулась и заговорила непринуждённо.

— Саша! Заходите к нам! Познакомьте со своей девочкой! А то мы с Петром Ивановичем одни, как дикари, на острове. Я думала, здесь люди будут.

Они решили зайти. Никаких цветов в просторном номере Петра Ивановича не было. Зато стол был уставлен различными советскими дефицитами, импортными бутылками марочного вина, красной икрой и, совсем ещё экзотическими тогда, плодами киви, королевским лакомством папуасов.

Почти весь вечер говорил только Пётр Иванович. Про то, что машина с крутящимся земным шаром и в самом деле была его заветной мечтой. И что ему лично звонили из обкома. Хвалил Александра, но более всего хвастался сам. Предлагал выпить за новые золотые украшения на гладкой коже Елены Олеговны, намекая на то, что он любит и умеет делать дорогие подарки. Сбегал позвонить по единственному телефону в кабинете заведующей. Уже ближе к полуночи сел в чёрную «Волгу» и, как примерный семьянин, уехал домой, к жене. Елена Олеговна осталась одна. Отчего нисколько не смутилась. Она и так была одинокой. Давно с этим смирилась и нисколько не страдала. Потому что свою планету она сама привела в такой порядок. Ольга попробовала ей посочувствовать.

— А вы как же, Елена Олеговна?

— У меня всё прекрасно, Оленька! Я люблю одна побыть. А кавалеров нам с тобой ещё хватит! Особенно — тебе!

Наивному Тростникову показалось, что Пётр Иванович подлец, а Елена Олеговна святая. Он и ей пообещал натюрморт с огоньками.

— Они вот-вот появятся! И я напишу для вас! Вы не переживайте. До скорой встречи!

Простите меня, Елена Олеговна! И ты прости, Оля!

Через полтора года началась перестройка. И всё завертелось с такой скоростью, что разорвало в клочья и разметало по всему белому свету даже сами воспоминания о тех игрушечных временах. И если бы не встреча на шоссе, Тростников, может быть, никогда не вспомнил бы ни тот благостный апрель, ни людей, ни события, творцами коих они стали. Проехал бы Пётр Иванович мимо, и всё! Не узнал, не заметил, не захотел. Да мало ли что! Но жизнь сама напоминает свои спектакли, чтобы мы не забывали собственные роли, какими бы ни были наши роли на её крутящейся сцене.

Иномарка проехала по мосту, поднялась в гору и помчалась по городу. Пётр Иванович сбавил скорость и разглядывал старинные дома и новые мостовые.

— Да, Александр! Красиво становится! Красиво. Тебе куда? Я в самый центр.

— И мне там удобнее на маршрутку пересесть!

Машина притормозила рядом с офисом известной компании. Только что отстроенное здание сияло цветными тонированными стёклами. Александр поднял голову и увидел над крышей сверкающий земной шар.

— В вашем вкусе, Пётр Иванович! Но почему не вертится?

— В каждом городе до каждого филиала руки не доходят! Сейчас скажу управляющему! Молодец, Александр! Не забыл! У меня скоро такие земные шары по всему миру завертятся!

— Я вам напишу свой телефонный номер на всякий случай. Может быть, и мне на вашей планете работа найдётся?

— Может быть, Александр! Пиши! И мне уже пора бежать. Крутиться надо!

Тростников вручил Петру Ивановичу вдвое сложенный листок и на прощанье пожелал удачи. И сделал это, скорее, по привычке обмениваться со знакомыми номерами телефонов, нежели с расчётом получить от него заказ. Художник прекрасно понимал, что земные технические вопросы от него не зависят.

За окнами маршрутного автобуса промелькнула центральная ухоженная улица и началась обыкновенная апрельская грязь старинного провинциального города.

Похоже, что и водителю стало грустно от этого зрелища, и он включил радио на всю катушку. Как ни странно, на «Маяке» звучала песня тех лет: «Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! Земля!» И дальше — про рокот космодрома и зелёную-зелёную траву.

Когда «Земляне» пропели, Александр не то от заводной мелодии этой песни, не то после всех воспоминаний, внезапно раскрученных, как пружина, после встречи на шоссе, опять разжигал в себе неукротимое пламя творческого вдохновения.

Он думал о том, что завтра утром опять возьмёт этюдник с красками, чтобы пойти-побежать знакомыми или совсем не знакомыми тропинками. Потому что в такие дни не усидеть ему в городе! И надо смотреть и видеть! Дышать и творить! И кричать нечаянно на весь лес: «Эй! Белка!!!» А потом, когда она повернётся на ветке, зарычать серым волком, чтобы окрестные кусты затрепетали! Чтобы замелькали заячьи уши по перелеску! Чтобы не остановить — продлить мгновение!

Виталий Царегородцев

Ищу одну, но верную строку

В мае 2009 года ушёл из жизни назаровский поэт, член Союза российских писателей Виталий Дмитриевич Царегородцев. Свой творческий дух поэзия Царегородцева впитала от гуманистической традиции шестидесятых — с её совестливостью, отчётливостью нравственной позиции и песенной простотой. Светлая память — нашему товарищу. Внимательных читателей — его бесхитростным и честным строчкам.

Редакция «ДиН»

Причулымье

Ненаглядное, неоглядное
Причулымье моё любимое.
Ты на карте России — пятнышко,
На Сибири — пятно родимое.
Светят родинки, как смородинки,
Бьёт в глаза яркий свет неоновый…
Отстучат моё время ходики —
Причулымье с лесами, водами
Будет жить без меня, зелёное,
Но пока небеса не сдвинулись
На Восток иль в другую сторону,
И пока на меня не ринулись
Оголтелые чёрны вороны,
Буду верен земле-кормилице,
Потому, что она от века
Для меня, как вторая Мекка,
Где молитва из сердца — выльется,
Где грехи мне отпустят пастыри
И не хуже, чем где-то за морем.
Причулымье моё — судьба моя.
Причулымье — творенье Мастера,
Причулымье — творенье яркое,
Всё в цветах.
И добавить вправе я:
Здесь печаль люди лечат травами,
Здесь боярка у нас — боярская,
А грибы — угощенье царское.
Изогнулся Чулым подковою.
А подковы на счастье кованы…

* * *

Мир реальный и мир астральный
Мрачным светом озарены.
Звон разносится погребальный
Среди горестной тишины.

По родным моим россиянам,
Погребённым то тут, то там,
По сельчанам, по горожанам,
По знакомым и по друзьям.

Гибнут добрые человеки,
Когда день, когда ночь темна.
На тусовке, на дискотеке
Наркоманистая шпана.

На шикарном автомобиле
Лихо катит крутой пижон.
И не знает, что обречён:
На работу выходит киллер.

О, Россия! Тобой гордиться ли?
Сколько горя вокруг и зла!
О, Россия! Себя стыдиться ли?
Этот стыд всё сожжёт дотла.

Птица ворон — не птица Феникс.
Зреет в душах людской вопрос:
Может, нужен железный Феликс,
Если нас не спасёт Христос?

* * *

Стал чуб роскошный реденькою чёлкой,
Мой волос светлый стал ещё светлей.
Моих друзей — раз, два, да и обчёлся,
Зато не сосчитаешь лжедрузей.

О, как они ко мне когда-то липли!
И отлипали, словно по звонку…
Теперь острее глаз. Я — начеку!
…Вот и в стихах, где много строчек
липовых,
Ищу одну, но верную строку.

Евгений Белодубровский

Блок, Набоков, Бенедикт Лившиц, Маша и филёр

Однажды Блока пригласили в Тенишевское училище — стихи свои читать. Ну вот, собрался он и пошёл. Идёт себе с Офицерской на углу Пряжки прямо аж на Моховую. А это довольно далеко: из Коломны почти, — да на Фонтанку шпарить.

Поэт всё-таки. А вдруг что-то такое — поэтическое, беспокойное, бессмертное, быть может, в светлую голову придёт (неожиданно так, необъяснимо!). Иль барышня какая в ажурных чулках на босу ногу, с папироской, с тревожным взглядом и трещинкой в голосе навстречу повстречается. А ты, что называется, на ходу — ни карандашика тебе тут не достать. Правда, огрызок таковой всегда был при нём на донышке шитого («барскова» — как сказали бы, не сумлеваясь, блоковские шахматовские крестьяне) портмоне, подарок — то ли нимфодоры Анны Городецкой, то ли художницы Эн-Эн («NN») Нолле-Коган. О, эта «Незнакомка» — Nolle Gogan… Не все, отнюдь не все женщины так жаловали Блока, как она самая. Все сандалии, поди, начисто стоптала в том подъезде, где теперь на углу Музей.

Да! Всё это, конечно, в другом шкапу вместе с пряжками, стильными подтяжками и шляпой итальянской осталось — ни бумаженции какой под рукой, как у нормальных людей (разве только на ладони, ногтем, эдак по-пушкински в кармане нацарапать пару-другую горячечных метельных строчек). А кому потом, кстати, такую вот «рукопись» загонишь? Даже и Благословенный Пушкинский Дом такое не хранил и не хранит поныне! Правда, посмертный окурочек Блока — папироска такая чуть ли не с золотым обрезом и, — чуть ли не от самого «Дяди Михея» Поставщика Его Величества Двора — там. Реликвия превеликая. И содержится на особом хранении, на почётном месте, то есть

> под лампадой Тургенева
> Виардо
> и с очками цензора Гончарова
> рядом
> мечта курильщиков антиквариата,
> не приведи Бог, кто выкурит невзначай,
> в минуту трудную, одинокую…

Нет ни лампы под абажуром «plisse», в гармошку, ни стола рабочего, бекетовского, ломберным зелёным сукном подбитого…

Ни, наконец, вдохновляющих его — вдохновенных пьяных криков коломенских офеней и фабричных трудяг, трамвайной трескотни, ни хохота завёрнутых в белое — блаженных и безумцев за решётчатым окном пряжкинской психбольницы.

> А всё это было накануне зимы.
> А, может быть, даже и — осени.
> Известно только, что было сиверко…

И Блок, заместо своей италианской «на выход» дон-кихотской гамлетовской шляпы-панамки (без тульи, но с глухой батистовой лентой), которую он с маменькой когда-то прикупил в Равенне, простудившись у скромной могилки Данте, и что ныне валяется в другом шкапу в передней на Пряжке с пряжками, подтяжками и шитым — Нолле-портмоне с огрызком химического карандашика в кармашке, нахлобучил на голову что-то такое этакое балахонистое. Да ещё с капюшоном. Типа мантии. Или «редингот» едва ли не из заброшенного (бросившего его и Маму) гардероба Отца — Правоведа, человека Печального Образа и тоже, что называется, с большими странностями. Как-то так само получилось. Но мы-то знаем как: Александр Александрович по природе своей очень не любил опаздывать, сказывалась немецкая кровь прапрадедушки.

Ну вот идёт он и идёт. Людей вокруг — маловато, хорошо, одиноко. Такой идёт. Мрачный! В мантии с капюшоном! Как Мефистофель или как сам Данте Алигьери «чем-то промышляющий на скалах» (см. Мандельштамовский «Разговор о Данте»)!

> Царь!
> Только нос торчит.
> Красивый Нос Блока!

И бормочет что-то! Кое-кто из встречных-поперечных шарахается, как никак — а от Пряжки идёт Человек, с той блаженной стороны!

И в задумчивости! Мало ли что! Время-то необычное, военное… Шпионов да филёров повсюду — тьма! Не знает же прохожий люд Садовый, что все они — Поэты — от мала до велика — сочиняют свои песни — бормоча… А берут, как известно, кто — из сора царскосельской Музы и одесситки Анны Ахматовой (Ани Горенко), а кто посмелее, да понахальнее — так шпарит прямо из арзерумской корзины Пушкина — «прапраэфиопа!»

Широко шагает Блок, курлыкает себе! Высокий был ростом… Ничуть не ниже ни Маяка-Маяковского, ни Корнея-Чука-Чуковского; маленьких ростом Александр Александрович сторонился, не любил, смущался за них, краснел даже…

Один мост прошёл Поэт, второй прошагал, у Никольской — тихо, про себя, перекрестился. Садовую перемахнул, Сенную, Античный Невский вот-вот виден…

Но подустал, братец кролик (помните пушкинского зайца…)

Путь-то не близкий!

Опоздать легко — хоть как.

Спеши — не спеши! Да и неловко перед Всеволодом Эмильевичем (Мейерхольдом) и Владимиром Васильевичем (Гиппиусом)…

И решил Блок извозчика взять.

А была, повторяем, то ли поздняя осень 14-го, то ли 15-го, (а то и 16-го) года. Шла дурацкая война с немцами. Гибли люди, Принцы Крови, Короли Пустынь, и в который раз в беспамятности и безрассудстве принялась закатываться (по Шпенглеру, да так и до сей поры метельной — не закатилась!) в этой погибельной виттовой «пляске смерти» опереточная Европа!

Рушились бельгийские замки, и горели пинские деревни.

В Тенишевском, в Школе, и на сцене знаменитого Концертного Зала, в alma mater Осипа Мандельштама, Виктора Жирмунского, Владимира Набокова, а ранее — блоковского «Балаганчика», Мейерхольда и ещё легиона приличных людей и событий (только недавно там блистала на эстраде в узкой, с портрета Натана Альтмана, иссиней юбке, острым коленом, туфлей и в жёлто-лимонном японском кимоно — Ахматова Анна с песней о сероглазом короле… и иже с ними: драчливых манифестантов, вполтела и вполспины, размалёванных суриком и охрой, рыкающих то на Луну, то на Льва Толстого, то на беднягу Пушкина — поэтов-футуристов, во главе с Давидом Бурлюком и вольным стрелком — Бенедиктом Лившицем, с хвостом молоденькой брюквы в петлицах, в рекреациях — повсюду сплошной лазарет!)

То же и в Зимнем. Прямо в Малахитовом зале — двухэтажные койки, лоскутные одеяла, шинельный запах солдатских щей, портянок и — хлорки. Под гамбсовскими золотушными багетами — бачки с кипятком, пирамиды новеньких котелков, кружек и новеньких же, лакированных костылей, сработанных на славу вручную юными скаутами из какого-нибудь заштатного Вышнего Волочка или достоевской Старой Руссы. А в копеечных журналах — газетах, на обложках и внутри, помимо шантанных певичек, усатых рестораторов, виршей во славу табачных гильз и шустовского коньяка — просторные списки убитых на фронтах да — портреты наших солдатушек-ребятушек, прапоров и вольнопёров, фуражки ихние — набекрень, чубы торчат, улыбки лихие, победные, георгиевские кресты во всю грудь тверскую-ямскую-богатырскую, а заместо рук — ног (вона погляди-тка!) культяпки, да ещё у кого вместо правого глаза — чёрная, слева направо, повязка (или — наоборот), у кого — полголовы (а то и полтела) наглухо перетянуты серыми холщовыми бинтами.

Кто в газовых в окопах!

Кто — на плацу под знаменем!

А кто — в обжорном тылу, почитывает «Сатирикон» и «на ходу» топчется в беспамятном кек-уоке или чечёточном чарльстоне под аккомпанемент расхристанного тапёра!..

И, конечно, в Петербурге-городке, переименованном (с немецкого) думскими патриотами в «русский» Петроград, каждая лошадь, лошадка, каждый извозчик, — с пролёткой, вожжами, дёгтем и запасом сенца, — есть почти мобилизован…

И стоят так наши ребятушки, ярославские, тамбовские, смоленские татары на виду у бдительных городовых в касках (и мнительных филёров в котелках и в фирменных — от Ноткиной и Ко! — гороховых пальто) на торцах мостовых в ожидании клиентов (а то и гонцов с депешами в Главный Штаб) или заспанных актёрок. Всего лишь извозчики — а туда же норовят, все такие важные, восседают над белым городом на своих козлах-котурнах, в сбитых сморщенных картузах, с повязками на рукавах армяков своих дублёных (теплущих, нынче вовек не сыскать таких, ни в каком музее революции) на вате… А носы-то всё равно красные-красные, лиловые-лиловые, ладони, словно — берестяные, в сеточку, с зазубринами, морщинами, щербатые, как вытертые до времени — рукописи. А на ихних (так!) ломовых лошадях-кормильцах — околыши с патриотическими знаками. И не каждого-то они, теперича, вояки мобилизованные, в резерве, возьмут, не с каждым-то будут, по обычаю мирной жизни, якшаться по пути «за жизнь», и не у каждого теперя примут чайную полтину или — рубль, хоша — золотой, хоша и серебряный, целковый, крепко стоявший, на ту (однако «распутинскую» — !) пору, на мировом валютном погосте…

— На Моховую, будь любезен, возьми, брат! Спешу несколько! В Концертный Зал!

— На Моховую? В театр! А прям-прям и не смогу-с, Ваше Превосходительство. Там, может, краул стоит. Война нынче идёт аховая. А мы с моей (с кобылой, значит) в резерве стоим! Мобилизованные! Может хто другой, вона стоит…

— Да возьми, брат! Свободных искать — где! Спешу к солдатикам в лазарет. Дом — 33.

Ни тогда, ни часом, ни годом, ни годами позже — наш бдительный извозчик так и не смог объяснить своего, «в миг единый», расположения к Александру Блоку, хотя он был и не гонец штабной и — не ахтёр потешный (и не он один — такой!)…

— Ну, рази так! 33 так 33. Сидайте, Господин хороший… Как-то долетим. Но-о-оо-оо…

И только они тронулись с места, только сметливый извозчик с румяной бляхой под «счастливым» номером 766 на сверкающем на солнце, в форменном картузе — дёрнул вожжами своей терпеливой кобылке с полными доброй печали, глазами, только тихохонько цыкнул что-то своё, нежное, единственное милой своей кормилице — королеве, только-только она, незримо так подмигнув Ал.Блоку со-товарищи, послушно шевельнулась и дала ход застоявшемуся «в резерве» возку, как случилось следующее…

Перед ними тремя, перед самой мордой лошади (назовём её, как угодно, — или — пускай уж будет «Любка») неожиданно возник молодой человек (не высокий — не низкий) в лихо распахнутой шинели, из-под обугленного хлястика которой стремительно выглядывали (правильнее будет сказать торчали, как острые сабельные крылья безумной ласточки) концы фрачной пары со штрипками книзу и широченными плисовыми лампасами — вдоль.

И — в (съехавшем набок) жабо…
И — в простых военных сапогах-крагах…
И — в смятой фуражке вольнопёра Лейб-Гвардии Какого-То Полка почти что на затылке …

Однако, Машенька, для полноты взятой нами «картины», скажем прямо, что сей возникший у возка (с только что запрыгнувшим в него — поэтом Ал.Блоком, кобылкой «Любинькой» и Номерным Извозчиком Садовой Части Петербурга-Петрограда), прямо из-под питерской осенней болотной метельной хляби, ремизовский бес и чертёнок — фигурант (быть может, даже и — не приведи Бог — денди — прямо с обложки журнала «Скетинг-ринг» или «Лаун-теннис»), был в единую минуту опознан и разгадан… Присутствующий незаметно при сём случае, означенный выше, главный (квартальный) филёр в косоворотке, ряженный под рабочего-жестянщика, не моргнув, шепнул извозчику и громко воскликнул:

— Поэт. Эгофутурист. Ничевок! Маркиз де Сад! Морковка! Не опасен!

Да! Наш питерский Жавер оказался прав!!!

Ибо из-за изящного тонкого плеча нашего Денди свободно болталась лоскутная, под крупную мешковину, котомка-наволочка, набитая доверху (как открылось тут же, а потом — всему модному читающему миру) и тут же вылетающими на невский просто из его дыр («дыр щур — убещур!!!») полосками газет, источенных по краям (по их чистому белому полю, что в мирное время-времячко шло у солдат, денщиков и безусых рифмачей-гимназистов — на козьи ножки) вдоль и поперёк бессмертными рифмами, насмешливо выглядывающими из каждой щели вышеозначенной заплечной мешковины…

И, конечно, наш филёр, уже зевая, равнодушно отвернулся, сюжет промерк и, успев дать знак испуганно-заворожённому бумажным карнавалом, вознице, сам, по определению, в один секунд, как мышь, быстро юркнул глазами (полоснул, как ножичками) в другую сторону, напротив, в Мучной переулок, откуда, прямо на них, уныло бормоча что-то своё, почти в рифму, вываливалась неясного (опять же — по точному, намётанному взгляду) вида что-то бормочущая от себя — баба с папиросой, в мужском картузе, с торчащим из него пером, крапчатой вуалью и в лайковых перчатках (ибо время было не только военное, тревожное, смертельное, но и фантастическое, весёлое, и такого весёлого народца, как эта весьма странная особа, по Питеру бродило видимо-невидимо, только успевай смекать…).

Этот лихой молодой человек, морковка, в шинели и в солдатских крагах (несмотря на его натуральный дендизм и эгофутуризм) умело взял кобылку под уздцы, прямо по Некрасову (как известно, гражданин Некрасов, кстати сказать, любимейший поэт тогдашних модных символистов, футуристов, лобастых ничевоков, кубистов, лучистов (да и — самого Блока), и легко взлетел на козлы рядом с горделивым Его Величеством, смышлёным извозчиком-возницей и улыбнулся тому широко и свободно! Александр Александрович Блок на это мирское происшествие с возникшим пришельцем, бумажными змеями, филёром, бабой с пером и прочим суаре на своих козлах — и глазом не моргнул. Едва оказавшись в возке и свободно расположившись на лоскутном сиденьи, обитом поблеклой фиолетовой кожей (и тут «фиолет», мелькнуло у него), тут же «остался, как вещь, в себе», продолжая курлыкать, бормоча про себя что-то своё, прежнее, миленькое, нежное, туманное, воспоминая, как в кинематографе: то Любу-Любиньку (что-то она сейчас поделывает, милая! Чай пьёт с лимоном, Мамой и Франциком, или — причёсывает менделеевскую косу перед бабуленькиным зеркалом), то вечерний щемящий единственный томный голос нимфодоры Городецкой, то, давний — давний, спор о Войне, Христе и Антихристе на Башне и Пренебрежительный жест хозяйки, Зиночки Мережковской-Гиппиус, и гневный блеск серебряной дужки её лорнета (он даже поморщился, вспоминая эту примету). «Будущие доценты обязательно всё переврут», — подумал он с горечью и смущением… Но никто сейчас не заметил этих его мыслей!

А наш Солдат-Денди с дырявым мешком и в кашнэ немного остыл, запарился, стащил с шеи жабо, провёл им по лбу. На батисте остался (а извозчик и тут оказался приметливым, да и время-то военное) след фиолетовых (почему «фиолет»? — подумалось ему вместе с Блоком!) чернил, пороха, песка, хлебного крошева и бумажной дорожной пыли.

А пролётка уже бежит, бежит «Русь-Тройка-Семёрка-Туз», катится по Садовой к Невскому, скоро и поворот к Екатерининскому саду, а там и Караванная, и Чинизелли…

— Давай, гони, товарищ! Не обману! Иль Ты занят, любезный князюшка!

— Занят! А что-с! Разве не видите! Куда-с прикажете дальше!

— На Моховую, брат, за угол Сергиевской. В Тенишевское… В Концертный Зал! К солдатикам спешу в лазарет.

— Ай и мы туда, по дороге нам, Вашество! К дому 33! В тиатр. Вона Господин в крылатке, похоже, что Ваш брат — Поэт…

Наш гость как-то весело шмыгнул носом (попутчик — это всегда весело), оглянулся со своего высока, увидел Человека в пролётке в рединготе!

И — узнал даже через капюшон в нём (почти как свой — свояка) самого великого Ал. Блока.

И на собственное удивление и обуявший его в миг единый «святой ужас» замешкался, вмиг расстроился (в смысле — как рояль!), закрутился на своей жёрдочке, суетливо размышляя, что делать с этим подорожным свиданьем. Ибо наш неожиданный попутчик Блока и был не кто иной, как Поэт и Футурист! Настоящий. Бенедикт Константинович! По фамилии — Лившиц. В данное время — вольноопределяющийся, и всё такое прочее!

…Это была судьба!!!

Ибо! Увидеть Александра Блока, именно Его, высказать ему (Блоку!!!) давно наболевшее, страшное,

смешное, ужасное, роковое было для Бенедикта, что называется, «идеей фикс», когда он, ещё киевский гимназист и студент-владимирец, дерзнул ступить смело на погибельное, сладостное и поэтическое поле Брани и Любви. Правда, найдя себя и своё вблизи всех Бурлюков, Володи Маяка и самого — Председателя Велимира Хлебникова, попытавшихся, что называется, сбросить Пушкина вместе с Блоком с парохода современности», поэт Бенедикт Лифшиц быстро справился с этой корявой въедливой дурашливой идеей и напастью… И вот оно пришло снова! Заныло где-то под ложечкой (тем временем, Александр Александрович, просмотрев свой домашний «кинематограф», — уже начал было дремать на ходу, посвистывая носом, что раньше с ним не случалось).

А что же — теперь наш Лившиц! Да — просто! Ибо во всё это утро, в эти несколько часов, едва оказавшись в Петрограде, из медвежьей глуши, из новгородской казармы, на побывке, в суматохе, незримо, шестым чувством всегда искал и всегда боялся встретить носом к носу, в сизой фиолетовой дымке — именно его, Блока (о чём он исповедально признался как-то в «Бродячей Собаке» Анне Ахматовой, принявшей близко, сердцем и умом, эту, испепелявшую его и, по-своему, и её, Ахматовой, тревожную душу — «высокую болезнь» ревности к автору «Прекрасной Дамы» и «Балаганчика»). Встретить в Петербурге на прогорклых невских берегах Питера (городка — от зарождения своего заметённого жгучим пушкинским и блоковским волшебным призрачным болящим ветром с Ладожских чухонских стремнин и Прионежской Новгородской Чуди и Веси)… Во все эти времена Поэту и простому солдату (этому, показавшемуся своему случайному извозчику, да и всем нам, кроме филёра-жестянщика, питерским прохожим), чернявому весельчаку Бенедикту Лившицу, в шинелке и с расписанной рифмами — шершавой буддийской ладонью, с георгиевским крестиком на дне дырявого полотняного заплечного мешка (Б.К. Лифшиц был на самом деле, как известно немногим, ещё и Герой, настоящий Георгиевский Кавалер (как Гумилёв — с известной семейной фотографии с А.А. и сыном Львом), будущий блистающий переводчик и знаток поэзии трубадуров, мейстерзингеров, певцов саг, будущий автор неравнодушного мемуара «Полутораглазый стрелец» (эта такая «забытая книга» 1933 года, — которая после расстрела её Автора в подвалах серого дома у Литейного моста 21.09.1938 года — на тысячу лет была сожжена и начисто, как страшный вирус, изъята, как вредная вражеская мемория, из всех советских библиотек и книжных полок), автор целого вороха поэтических строф (См.: Professor Vladimir Markov. «Russian Futurism: A History». Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 1968) — обладал редкостным даром (какого не имел ни Блок, ни многие другие ревнители русской словесности — вовсе) — дружить, на ночных прогулках на Петроградской, вблизи Карповки — за каждым городским фонарём, за каждой трактирной стойкой, за каждой тусклой витриной, городской афишной тумбой, у пустынной остановки экзотической конки, в лавке или в экзотической тесноте трамвая через Неву — чудился и чудился неотвязно живой Александр Блок…

Бенедикт Наумович (более известный по-отчеству, как «Константинович») мог и раньше, совершенно просто, и замечательным образом прийти на Пряжку «к поэту в гости». И нисколько не фамильярно (оба этого во всю жизнь — не любили), а просто, позвонив по телефону или забросив в почтовый ящик — визитку (благо общих друзей и врагов у них было — полмира!) Но поведав о своей напасти — всё понимающей Ахматовой, он было успокоился… И вот на Тебе!!!

Извозчик совсем было расплылся во всё лицо, стряхнул с армяка прилипшие было рукописи нашего гостя и так было стряхнул вожжами, что спугнул было серых воробьёв карниза Аничкова Дворца и даже чуть покосился близлежащий остов невского фонаря, и тем же движеньем — разбудил засопевшего Блока, который, чем-то встревожившись, наконец, посмотрел наверх…

И тоже узнал! Бенедикта Лившица в странном одеянье с котомкой и всем прочим! Он совсем перестал дремать и бормотать, и как-то враз (из лексикона нашего извозчика) его покинула и Любинька и препротивная Зинаида с лорнетом и с буколической целомудренной брошью у шеи, и инфернальная, в перстнях и кружевах, жена друга Городецкого, нимфа, он широко улыбнулся! И едва признав-узнав Лифшица и услышав: «На Моховую» и положительный утвердительный ответ своего возницы, наш Блок уже едва-едва засобирался заёжиться от вот-вот возникшего (по интеллигентной привычке) чувства печали, радости и стыда за весь мир — как наш ревнивый Аноним, наш Герой, наш Денди с пробором и сеточкой посредине, заломил фуражку и неловко от человеческого, на ходу, смущения, стремглав ухнул (вернее сказать — сиганул) со свистом и гиком с этой своей невысокой верхотуры — кубарем вниз.

В пролётку.

И прямо чуть ли не Александру Блоку на платье.

И воссел прямо напротив!

Глаза его горели, сердце билось, ладони чесались… Но этого (того, что ладони чесались и сердце прыгало) никто сильно не заметил: слишком важна была минута!

Ни сам запальчивый вольнопёр Бен Лифшиц;

ни раздумчивый Ал. Блок;

ни лошадь Любаша; ни возница, ни городовой;

ни, естественно, памятник Екатерины Великой (а пролётка всё летит и летит дальше, летит милая «Тройка-Семёрка-Туз»), уже показавшийся на Невской першпективе в окружении своих бронзовых любовников;

ни — будущие хроникёры и биографы обоих Поэтов (только сейчас, в эту минуту, когда Вы это читаете, мы восстанавливаем «status quo»);

ни прохожий рыжий критикесс в распахнутом на животе смокинге; ни даже французистая дама (О! Не может быть! Это кажется была сама набоковская гусыня, «Мадемуазель «О» (читай «Другие берега» Владимира В. Набокова), с грандиозным

шиньоном, напоминающим будущую татлинскую башню (привет Б. Лившицу из будущих 20-х годов, где задавали тон Татлин, Евреинов, и Родченко), накрепко затянутая в корсет черепаховым гребнем и заколотая целомудренейшей брошью, под руку с изящной английской плетёной корзиной, заполненной доверху всякими разностями, копчёностями, анчоусами и кокосами, что выкатилась из Елисеевского магазина в сопровождении прилежного 15-летнего юноши в тенишевском картузе, в гетрах, с рампеткой и сачком для ловли бабочек, который едва не расхохотался, указывая кому-то пальцем в небо на только что замеченный им и восхитивший его кульбит гимнаста Лившица с козел прямо в ноги Ал. Блока (у тротуара стоял на парах «Бенц» Владимира Дмитриевича Набокова, Камер-Юнкера Двора Его Величества).

Блок скинул мрачный капюшон (благо откуда-то с Фонтанки блеснуло светом) снисходительно, томно (и — весело) во спасение, откинулся на спинку сиденья от свалившегося с неба — соседа, совсем подзабросил думать о Любе, Любушке, Любаше, вытянул из отцовского редингота (невесть откуда взявшийся) кусок сигары, откусил полмундштука и уже полез было за огнивом…

Но вдруг, не помня себя: то ли от враз растревоженного одиночества, то ли ещё бог знает отчего-с, почувствовав неладное где-то под ложечкой, не дожидаясь, когда упомянутый супергимнаст Лившиц придёт в себя от своего прыжка (лётчики тогда только входили в моду), непривычно быстро затараторил своё:

— Вы тоже к Гиппиусу. В Тенишевку! Там будет и Мейерхольд. Мне редко с кем бывает по пути, по дороге… А что будете читать? Ведь Вы же Лившиц, вы мне писали… Я помню некоторые ваши мадригалы… Вы — Мастер!!! Ведь Вы же Борис Лифшиц, я читаю Вас иногда в журналах… Знаю ваши манифесты! Вы с фронта! Я тоже был призван — не надолго! Любите Верлена! Прочитайте, пожалуйста, Бенедикт Константинович, новое, я вижу у Вас вся ладонь исписана в рифмах… Я не хорошо знаю футуристов, но мне близка ваша смелость…

Но не тут-то было! Наш герой не приклонил свою умную голову перед Блоком, нет! И, лихо, как всё, что он проделал прежде, прервав лирический монолог Блока, ответил ему, вернее, поделился (не в тему, но с улыбкой, перекинув ногу на ногу, спокойно, словно по нотам, без экзальтации) — серьёзной и тревожной мыслью (потом она, эта мысль, как и весь забавный эпизод, столь вольно пересказанный нами, — с лёгкой руки Анны Ахматовой: см. Б. Лившиц. «Полутораглазый стрелец». Москва. 1991 г., стр. 230 — вполне достойна войти в учебники по истории русского футуризма), почти наизусть, ибо она — слишком разбередила его старую рану…

«Александр Александрович! Вот так встреча! Ничего себе — попутчики! Да знаете ли вы, милый человек, что Вы мешаете мне писать! И любить, страдать, гореть, говеть, молиться, воевать, умирать, читать книги, гордиться собой… Вы мешаете мне!!! Это Вы понимаете??? Вы мешаете мне жить в поэзии… Просто своим немым присутствием. И — всё!!! Что бы я ни написал, кого бы ни полюбил, всё мне кажется — не настоящим, не сто́ящим, мне столько лет, я знаю весь репертуар французской поэзии, у меня есть красавица и умница жена-киевлянка, друзья, ревнивые поклонники, враги, собутыльники… Я пишу книжки, их заучивают наизусть, сам Хлебников цацкается со мной, как с гением, Додик стихи посвящает, Маяк портретик пишет… А я — ни с места! Ибо Я — не Блок, и даже — совсем не Блок… Когда это кончится, скажите… Уйдите с дороги!!! Покиньте колесницу. Сойдите с коня.. И всё! Вот мы с Вами — поэты, мы вместе — а табачок-то врозь… И не мне одному Вы мешаете! Эти ваши камни, метели, туманы, молитвы, уключины, Елагин мост, Равенна, ваши эти розы, кресты… И — этот маскарад: божество и вдохновенье — всё тлен… И — правда!!!! А я хочу жить! И — не могу! Вы за моей спиной! Вы всё уже воспели и всё — познали!!! И сколько ещё — напишете, Вы же гений… Где путь, куда идти… Моё лицо — ладонь старухи…

Александр Александрович как-то посмурнел, вся мишура и бледность слетела с его лица (как с белых яблонь — дым), смял в порошок гаванскую сигару, взял руку Бенедикта, раскрыл его исписанную случайными рифмами, корявую ладонь, прочитал три-четыре строки, пробормотал своё, поднял глаза к посмурневшему петроградскому поднебесью, потом — на весело-рассерженного соседа Бенедикта, доброго и умного Человека с котомкой, и сказал ровным глухим («единственным» — как вспоминала недавно Елена Юнгер!) голосом:

«Я Вас понимаю! Ах, как хорошо понимаю! И тоже не могу просто так жить! И — писать! Ибо мне мешает Лев Толстой! Он сказал всё, он написал «Крейцерову сонату» и «Смерть Ивана Ильича»!.. А Чехов — нет уж, увольте… Вот и Люба вчера мне говорила за обедом! И Анна Андреевна что-то подобное — тоже о себе и о Вас!!! Прямо в прихожей. Тут уже ничего не сделаешь, братец! Надо смириться! Вот и смиритесь! Толстой и баста!!! Так что мы с Вами на равных, милый Бенедикт Константинович! Только у Вас одно преимущество, и мне, если Вы меня знаете (не только по грешным стихам, трактирам и котелкам) как себя, что мне нелегко сознаться Вам, с моим честолюбием, что если Вы смогли с этим ужасом жить столько лет, и — всё-таки писать, теперь, признавшись лично мне, так вдохновенно, с упрёком и надеждой, и будете отныне веселы и свободны… А я, видите ли, обречён…

На Моховую они, конечно, опоздали! По дороге, на Караванной, они спешились, дали Господину Извозчику и его кормилице хорошо на чай, колбасу, и сено.

И, заказав в угловом шинке белого (Лифшиц взял — красного) вина, пару фисташек и по ломтику лимона — выпили (молча!) по бокалу.

(Блок — за здоровье Льва Толстого
Бенедикт — за Бога Велимира
затем — по второму
Блок — за Любовь Менделееву
Бенедикт за жёнку Катю Лившиц
потом оба
почти обнявшись — за Верлена и Данте
и ничуть не захмелев
пожелали друг другу
уже совсем накоротке
весёлого здравия и новых поэз…

И за сим — побрели каждый в свою сторону, быть может, — в бессмертие. Неизвестна лишь судьба нашего смертного возницы за номером 766 (кстати — эту жестянку, этот номерочек суеверный Лившиц выпросил у него на память о своём великом попутчике). Известно лишь, что забытые в возке (а может — брошенные за ненадобностью) его странными седоками — кусок сигары Блока и дырявая котомка с рифмами Господина Лившица были сданы им под расписку в участок… И как знать! Наверное, всё это (вместе с жестянкой) ныне хранится, как ценнейшая реликвия в каком-нибудь Инкогнито — Банке, под хромированным швейцарским замком…

*120 лет
со дня рождения*

Анна Ахматова

И не проси у бога ничего…

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять.

Даже мёртвые нынче согласны прийти,
И изгнанники в доме моём.
Ты ребёнка за ручку ко мне приведи,
Так давно я скучаю о нём.

Буду с милыми есть голубой виноград,
Буду пить ледяное вино
И глядеть, как струится седой водопад
На кремнистое влажное дно.

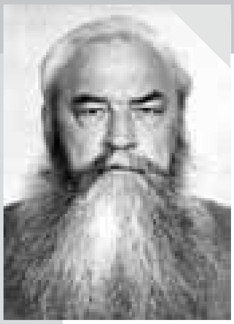
Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребёнка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.

И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

Петроград, 1919

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озёра, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.



Геннадий Игнатьев

Беренжакские очерки

Доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, автор более 70 уникальных изобретений Геннадий Фёдорович Игнатьев (1928–2000 гг.) — талантливый (а, по мнению его ближайших учеников, — гениальный: «Таких, как он, в стране по пальцам пересчитать можно!») красноярский учёный и конструктор. Он был одним из тех, кто причастен к успехам Советского Союза в космосе, а также в освоении мирового океана советским атомным подводным флотом, и ко многому другому.

Много лет он был начальником и одновременно главным конструктором созданного им самим ЦКБ «Геофизика»; ЦКБ занималось, в основном, разработкой средств дальней связи в космосе, в армии, в военно-морском флоте, в организации оборонного ракетного щита, причём — разработкой средств, не имевших аналогов в мире. Естественно, у ЦКБ и его руководителей была высокая степень засекреченности; только поэтому имя Г. Ф. Игнатьева до сих пор совершенно неизвестно широкой общественности.

Попутно ЦКБ разрабатывало всевозможное оборудование для разных народно-хозяйственных нужд: для разведки полезных ископаемых, для сушки древесины и других материалов, для глубокой очистки металлов, высокоточной сварки, лечения болезней, — и многое-многое другое.

Кумиром Г. Ф. Игнатьева был Никола Тесла, гениальный американский инженер и изобретатель, серб по национальности. В биографической литературе о Н. Тесла постоянно повторяется, что многие его уникальные эксперименты до сих пор никем не повторены. Это неправда — почти все их Игнатьев сумел повторить! Просто об этом мало кто знает — устройства для этих экспериментов находились на закрытых полигонах и были недоступны для широкого показа — в первую очередь, охочим до сенсаций журналистам. А потом сменившие Геннадия Фёдоровича руководители ЦКБ, совершенно не понимая значения и смысла этих доставшихся им устройств, с чисто папуасским разумением распорядились разобрать их и сдать в металлолом — ведь в них столько меди!..

Геннадий Фёдорович и сам был мощным генератором идей, самых неожиданных и фантастических. К примеру, изобрёл «пондеролёт», аппарат для дальних космических полётов, могущий на основе взаимодействия электромагнитных и гравитационных сил двигаться в межпланетном пространстве. Многие серьёзные учёные сочли это изобретение блефом, ссылаясь на обычное в таких случаях доказательство: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Однако в истории известны случаи, когда подобные доказательства подводили серьёзных учёных: так, за несколько лет до того, как взлетел первый в истории самолёт, некоторые из этих учёных утверждали, что аппарат тяжелее воздуха взлететь никогда не сможет…

В советское время в городах существовал огромный дефицит мясных продуктов питания, и, чтобы снять, хотя бы частично, недовольство рабочих и служащих на предприятиях этим дефицитом, партийные власти передавали для «шефства» городским предприятиям самые нерентабельные, близкие к полному развалу сельские хозяйства, желая убить этим двух зайцев: во-первых, удержать эти сельские хозяйства от полного развала, а, во-вторых, подкормить таким образом рабочих, чтобы дело не дошло до социального взрыва. Однако для руководителей предприятий эти подсобные хозяйства были постоянной головной болью: на содержание их отвлекалось много денежных средств и рабочей силы, а толку от них было мало: продукции они давали, как говорится, с гулькин нос, и была она непомерно дорогой.

Было такое хозяйство и у ЦКБ «Геофизика». Находилось оно очень далеко, в 300 км от Красноярска, в Хакасии, в предгорьях Кузнецкого Алатау, в таёжном посёлке Беренжак. Была там небольшая отара овец, небольшое стадо коров; но ЦКБ приходилось содержать там за свой счёт ещё дизельную электростанцию и дорогу до посёлка, так что, при такой-то удалённости, товарная продукция, как и во всех подобных хозяйствах, получалась едва ли не по цене золота.

Но Г. Ф. Игнатьев ценил Беренжак по другим причинам. Во-первых, он был идеальным полигоном для испытания новых изделий ЦКБ: там не было никаких техногенных помех. Во-вторых, он служил прекрасной базой отдыха для работников ЦКБ: кругом чистейшая горная тайга, обилие ягод, орехов, дичи… Работники ЦКБ постепенно все эти достоинства оценили и стали ездить туда на летний отдых всё чаще.

Однако с 1991 г. начался развал экономики страны, и ЦКБ оказалось без оборонных заказов и, стало быть, без доходов. Руководству пришлось отказаться от Беренжакского подсобного хозяйства, и Г. Ф. загорелся идеей на его базе организовать своё фермерское. Он стал подыскивать компаньонов.

В ту пору он много и с воодушевлением рассказывал мне о своём будущем фермерском хозяйстве, причём больше говорил не о практических

проблемах, которые должны были неизбежно перед ним встать, — а о преимуществах сельской жизни против жизни городской и о проблемах нравственного порядка: о том, как это здорово — жить близко к земле, среди прекрасной природы, заниматься сельским трудом, выращивать натуральные продукты питания, приучать к сельскому труду своих детей, создать там горный санаторий, базу отдыха с привлечением туристов-горожан и, может быть, даже иностранцев, создать конеферму, организовать конные туристские маршруты…

Там у него жила семья: жена, дети, — но сам он бывал там только наездами — слишком много было у него дел и нерешённых проблем в городе.

Я — как человек, родившийся и выросший в селе, а, кроме того, постоянно имеющий дом в селе и потому не теряющий с селом связи, — прекрасно представлял себе неимоверные трудности, с которыми Г. Ф., человек, всю свою сознательную жизнь проживший в городе, неизбежно столкнётся, не просто начав жить там, а ещё и взявшись организовать там большое хозяйство, да ещё в такое время, когда экономика страны начала разваливаться, и развал этот коснулся, в первую очередь, села и озлобил селян. Знал я и то, как отчуждённо и подозрительно, даже враждебно относятся селяне к чужакам, тем более, если чужак развивает там бурную деятельность — так что жизнь в селе для такого горожанина оборачивается, в первую очередь, проблемами чисто бытовыми: проблемами адаптации к новым условиям, отношений с соседями, элементарного умения жить и хозяйствовать на земле… Я пытался говорить с Г. Ф. об этом, но он, человек, необыкновенно уверенный в своих силах и организаторских возможностях, почти не слушал меня — больше говорил сам. А потому при встречах с ним я лишь с интересом расспрашивал его: как там у него идут дела? Меня даже тянуло как-нибудь съездить с ним туда, взглянуть на всё своими глазами и, может быть, написать о таком новом по тем временам деле, как фермерство, очерк — но съездить не получилось. По-моему, Г. Ф. и сам не очень хотел, чтобы я туда ехал.

Не помню точно, через какое время, но, кажется, года через три с той поры, как он загорелся мыслью о фермерском хозяйстве, он перестал говорить о своих сельских планах с восторгом — а морщил лицо, мотал головой, как от зубной боли, и говорил о Беренжаке всё скупей, с выражением крайней озабоченности, и я понимал по его тону, что о многом он ещё умалчивает. И, в конце концов, он совсем перестал рассказывать о нём, а на вопрос, как там дела — безнадёжно махнув рукой, произносил: «Хреново!»

Естественно, меня очень интересовала и притягивала к себе его необыкновенно яркая, разносторонне талантливая и противоречивая личность. Я чувствовал, что мне не уйти от соблазна написать о нём, хотя я ещё понятия не имел, что именно у меня получится: документальный ли очерк — или некое художественное повествование с главным героем, прототипом которого непременно будет сам Геннадий Фёдорович? Однако крайне разносторонней натуры его я был не в состоянии увидеть целиком: многое в нём было от меня скрыто — и оттого, что работал он в секретной организации и занимался секретными делами, и оттого, что я слишком поздно с ним познакомился и мало знал о нём и его прошлом.

Меня очень интересовало: где, в каком месте, в какой семье, в какой атмосфере он родился, рос, учился? — и когда я спрашивал его об этом, он отделывался короткими фразами (поскольку постоянно бывал занят, а мне было неловко надоедать ему) и неизменно мне отвечал, что с некоторых пор (может, даже в ответ на мои расспросы?) пробует вечерами изложить на бумаге свои воспоминания о родителях, о детстве, юности, учёбе… Кроме того, он несколько раз пытался рассказать мне о своих житейских и философских воззрениях, заявляя, что пишет ещё и трактат под названием «Каноны житейской мудрости», и когда всё это напишет, то непременно даст прочесть… Я даже видел дома у него эти рукописи, однако читать их при его жизни мне так и не довелось…

Когда после его смерти прошло некоторое время и боль утраты, по моим прикидкам, должна была у родственников притупиться — я наведался к его дочерям-наследницам; меня интересовали, в первую очередь, автобиографические записи… И вот вместе с дочерьми Анастасией и Дарьей мы просматриваем рукописное наследие Игнатьева.

Наследие это составляет много-много папок. Однако большинство из них — с деловой перепиской (ох уж эта «деловая» переписка с чиновниками всех рангов, которая ничего ему не принесла, кроме неудовлетворённости, зато отняла много сил и времени, которые он мог бы использовать куда плодотворней!), а также папки с научно-техническими расчётами и описаниями. Они, наверное, заинтересуют специалистов. Меня же интересовало чисто литературное наследие.

Мы нашли несколько тощеньких серых папок с черновиками, написанными ужасным, необычайно трудно читаемым почерком; папки имеют следующие названия: «Физика и религия», «Книга по психологии», «Мои наблюдения и размышления»… К сожалению, рукописи эти фрагментарны, не закончены и требуют, если бы вдруг появилась возможность их издать, — кропотливой доработки.

И вот, наконец, мы находим папку под названием «Рассказы», в которой, к сожалению, оказалось всего несколько коротеньких, в две-три странички, рассказов о детстве и студенчестве; я ожидал, что этих рассказов будет больше, и я смогу проследить по ним, где, в какой среде он родился, учился и развивался.

Однако совершенно неожиданно для себя я обнаружил там большой цикл под названием «Беренжакские рассказы», помеченный 1995 годом. Жанр их я определил бы, скорее, как документальные очерки, с ужасающе жестокой правдой описания жизни современного сибирского таёжного посёлка, заброшенного и полудикого; Беренжак, видимо, настолько больно ударил в его сердце, что Г. Ф. не мог заглушить эти переживания иначе, как выплеснув их на бумагу.

Чистовой вариант этих очерков был отпечатан на машинке при жизни автора и требует только редакторской правки — автор бывал не в ладах с грамматикой и стилистикой русского языка. Я отредактировал их, насколько это в моих силах, стараясь оставить в неприкосновенности содержание очерков, внутреннюю энергию текста и образ мышления самого автора.

Александр Астраханцев

Здравствуй,Беренжак

В народе говорится: «Если ты посадил дерево, то не напрасно прожил жизнь». Мне удалось сохранить таёжный посёлок Беренжак, что находится в Кузнецком Алатáу, в Ширинском районе Хакасии. Место изумительное: котловина, окружённая со всех сторон горами и прекрасными горными распадками, расчленённая двумя стремительными горными речками — Белый Июс и Каратаж.

Посёлок бурно развивался в сороковые и пятидесятые годы на базе рудника Балахчино, благодаря изобилию рабочей силы политзаключённых. В шестидесятые годы, с уничтожением лагерей, стал угасать и Беренжак, являвшийся промышленной и сельскохозяйственной основой множества мелких и больших рудников.

У здешних мест большая история. Две банды: Соловьёва и Игнатьева, — защищали эти места от большевистского произвола. Два фильма посвящены этим событиям: «Хозяин тайги» и «Не ставьте лешему капканы». Это уникальные фильмы, и толковать их можно по-разному. Мне посчастливилось быть лично знакомым с бабой Варей, прекрасной женщиной, внучкой атамана Соловьёва, которая, кстати, сегодня претендует на право пользования и даже владения этими землями.

В посёлке была полная микроструктура: отличная больница всесоюзного значения, прекрасная школа, магазины. И вдруг всё это стало разрушаться. С огромным энтузиазмом всё разворовывалось, растаскивалось, перевозилось, а жизнь посёлка медленно и верно угасала. Большая часть населения не смогла устоять перед разрушительной силой невежества руководителей, которые считали своим великим достоинством уничтожение неперспективных, мелких посёлков и деревень. Но Беренжак устоял, и в этом есть и моя заслуга.

Иногда нужна небольшая помощь, чтобы сохранить то, что создавалось годами. Оставшееся население (около двухсот дворов), в основном пенсионеры и сибирские аборигены, слившиеся воедино с окружающей природой, нуждались в самом малом — в сохранении посёлка, хотя бы в формальном признании его как существующего на карте. Приказ Министерства цветной металлургии о создании в посёлке Беренжак подсобного хозяйства ЦКБ «Геофизика» (по моей инициативе) и является той зацепкой, которая позволила сначала формально, а затем и реально сохранить на карте этот посёлок. Верно, и сейчас возможен полный развал Беренжака, но такое может случиться с любым посёлком и с любой организацией, так как великая Россия разваливается, и никто не защитит её от этого развала. К счастью, по моему убеждению, Беренжак может избежать этого, так как он раньше приспособился к стихийным бедствиям нашей Перестройки.

Полная независимость посёлка от внешней среды создала условия независимой личности — живи, как хочешь. В итоге проявляется твоя индивидуальность; сам того не замечая, делаешься таким, каким тебя папа с мамой родили, и всё, что они в тебя заложили, выходит наружу. Общественные организации в посёлке отсутствуют, и некому вбивать в твою душу бредовые идеи. Верно, есть сельсовет и председатель, но его влияние на жителей посёлка составляет «противную» сторону и является основой для бурных политических страстей оппозиции. Беренжак в политическом смысле — это копия сегодняшней Государственной Думы России. Если внимательно посмотреть, то любой лидер Госдумы найдёт себя в одном из жителей этого посёлка. Бесспорно, всё, что есть в Беренжаке, есть в любом городе, но в городе всё скрыто, а здесь всё наверху, всё открыто.

По количеству смертных случаев на душу населения Беренжак мог бы занять одно из первых мест не только в России, но и в мире, так как более половины населения — пенсионеры, а остальные находятся в бурном противоречии как между собой, так и сами с собой. Большая смертность объясняется также тем, что по выпитому спиртному на душу населения, если не считать пенсионеров и детей, посёлок также попадает на одно из первых мест в России, ну а, как известно, по употреблению «зелёного змия» мы занимаем одно из первых мест в мире.

Практически все противоречия здесь решаются в пьяном угаре и кончаются либо дракой, либо кровной местью и, как правило, — со смертельным исходом.

До посёлка не дошла центральная электрическая сеть, и освещение обеспечивается несколькими дизелями с перерывами на ночь и днём. Для одних это недостаток, для других — преимущество, так как отсутствие электроэнергии в посёлке делает ночь неописуемо прекрасной: всё замирает, и наступает полная тишина, по которой соскучилась душа человека. Но, с другой стороны, мы привыкли к благам цивилизации, которая немыслима без электричества. Надо, наверное, всё же сохранить этот уголок тихим и жить с ограничением электричества, и всегда помнить, что если ты что-то приобретаешь, то непременно что-то и теряешь.

Чтобы въехать в Беренжак, надо дважды пересечь горную речку Белый Июс. Мосты, построенные много лет назад, практически развалились и сегодня или завтра рухнут. Пока что жителей это мало беспокоит — можно ездить, и слава Богу; авось ещё простоят два-три года (опять это русское «авось»).

Беренжак связывает с райцентром просёлочная дорога. Когда едешь по ней, на твоих глазах природа всё время меняется: из степи ты постепенно въезжаешь в тайгу, с равнины — в горы. Первая встреча с горной речкой Июс ошеломляет тебя, особенно, если ты едешь ночью, при свете луны: крутые скалистые берега придают пейзажу красоту необыкновенную. Постепенно холмы превращаются в горы, которые поначалу покрыты лесом,

а затем — каменными осыпями, гольцами; а в самом конце дороги, на горах — белые шапки снега и льда.

Дорога старая; её основанием служит настил из лиственницы, но местами он сгнил, и появились глубокие промоины; правда, в прошлом году золотодобытчики сделали дороге косметический ремонт. Но, в принципе, она и должна быть плохой — чтобы ограничить поток транспорта, особенно в ягодный сезон.

Сегодня на Беренжак у золотопромышленников–старателей прорезался волчий аппетит: оказалось, что посёлок стоит на золотой россыпи — ручьи намыли в долину золото, и оно многим не даёт спокойно спать.

Даются щедрые обещания: провести свет, сделать новые мосты и отремонтировать дороги, — но взамен они практически уничтожат посёлок. Как сложится дальнейшая судьба его, трудно сказать, т. к. многие жители соглашаются на добычу золота ради своего личного благополучия.

Но будем надеяться на человеческий разум.

У меня было решение обосноваться в Беренжаке на старости лет. Я стал членом фермерского хозяйства, организованного на базе подсобного хозяйства ЦКБ «Геофизика». Хозяйству выделено 12 га пашни внутри посёлка и 320 га сенажных угодий за посёлком, возле исчезнувшей деревни Усть-Тунгужун, где я и намерен был в будущем построить свой хутор.

После глупой смерти старшего сына Беренжак стал для меня родным посёлком. Не каждому дано пережить такую трагедию. Мне захотелось более подробно разобраться в причине его смерти, и я решил изучить нравы жителей и написать серию рассказов о людях, которые живут и здравствуют на этой земле.

Но вот смертельную травму получила моя тёща: её избили до полусмерти, пытаясь узнать, где сын спрятал малокалиберное ружьё. Ей отбили селезёнку, в итоге после тяжёлой болезни она скончалась. Сегодня делается попытка изжить мою семью из Беренжака, и я начинаю сомневаться в правильности своего решения спасти от развала посёлок. Для меня остаётся загадкой: что же сегодня происходит с посёлком и что с ним будет в ближайшее время? — однако желание бежать отсюда у меня нарастает с каждым днём. Я прихожу к страшной мысли, что в этом посёлке жить невозможно: рано или поздно ты станешь таким, каким тебя сделает окружение; если ты будешь сопротивляться и делать что-то своё, тебя уничтожат и морально, и физически.

Бывая наездом и останавливаясь ненадолго, ты видишь посёлок с хорошей стороны, но, пожив чуть более, ты видишь его уже с самой ужасной стороны, и тебе уже хочется бежать из него, куда глаза глядят. Сегодня опереться в посёлке практически не на кого; попытки найти компаньона для развития своего хозяйства и базы отдыха из местных жителей пока не удаётся; желающих поговорить много, а вот делать дело — никого: все обещания размываются сокрушительным шквалом водки, в которой захлебнулся весь посёлок.

Коротопольцевы

Отец и два сына Коротопольцевы — самые зажиточные и самые общительные люди в посёлке. Отец всю жизнь проработал на Балахчихинском руднике, коммунист до мозга костей и в любое время готов отстаивать Советскую власть. Требователен к себе и другим. Завёл свою пасеку и гонит мёд, любит рыбалку, и сегодня, в преклонном возрасте — ему более семидесяти лет — живёт полноценной жизнью. Два сына, оба душой механизаторы, владеют многими специальностями. Старший — и газосварщик, и плотник, и тракторист, и шофёр, причём делает всё с душой и на совесть. Младший, Сергей, подстать брату — тоже владеет многими специальностями, в основном работает пилорамщиком на пилораме, но, к сожалению, слаб перед водкой и последнее время очень часто находится в объятиях «зелёного змия». Имея прекрасную жену и хороших детей, с каждым днём опускается всё ниже и ниже, и не исключено, что в любое время с ним может случиться непоправимая беда.

Мой сын Денис дружит с Андреем, сыном Сергея. Они вместе ходят на охоту и рыбалку. Денису часто приходится защищать его, особенно в школе, и из-за этого — спорить с учителями: почему-то учителя всегда сваливают вину на безобидного Андрея.

Недавно Сергей, пьяный, жестоко избил свою жену; ей было стыдно признаться в этом, но синяки под глазами говорили сами за себя. Ещё более стыдно было самому Сергею, когда он протрезвел; но всё это, видимо, — только до следующей пьянки.

У Коротопольцевых есть и третий брат, но он живёт и работает где-то под Абаканом.

Гузынины

Династия Гузыниных в посёлке одна из самых уважаемых. Отец и три сына, все взрослые, живут своими семьями. Настоящие жилистые сибирские кержаки.

Дядя Паша — так уважительно зовут главу семьи. Проработал в этих местах всю свою сознательную жизнь и нигде, кроме Хакасии, не бывал. Прихрамывая на одну ногу, он виртуозно обращается со своим ровесником, трактором Т-100. Ему не надо объяснять, как прокладывать дорогу в горной тайге, — нужно только указать направление, остальное он сделает сам. Может без перерыва работать по несколько суток. Питание его крайне ограничено: кусок хлеба и кусочек сала; диву даёшься, как такая скромная пища позволяет ему держаться сутки напролёт.

Двое его сыновей очень похожи на него, особенно Виктор; он один может заменить целую бригаду. Владеет любой техникой. Правда, третий, младший, вырос шалопаем: ленив и любит крепко выпить.

Старшие Гузынины сами не пьют, прижимистые, любят хорошо поработать, но ещё больше любят хорошо заработать; живут в достатке, однако авторитетом в посёлке не пользуются. Причина тому — их скупость и нежелание пить водку. Правда, в посёлке к этому привыкли, и на это никто не обращает внимания.

Семья Ивановых

Самая большая семья в Беренжаке — семья Ивановых: в ней от мала до велика сорок шесть человек. Это простая русская семья.

Глава династии Иван Иванович недавно умер от заработанного на шахте силикоза. Мать, Анна Николаевна, возглавляет теперь семейство и трудится в своём огромном семейном хозяйстве день и ночь.

Въехав в Беренжак, сразу после моста через Июс ты встречаешь первую усадьбу — усадьбу Ивановых. Площадка перед домом завалена техникой всех видов и всех поколений. На этой усадьбе сегодня живёт старая одинокая мать; дети же, внуки и правнуки, отделившись, живут самостоятельно, на других усадьбах посёлка. Но дом всегда полон детей всех поколений; здесь они проходят свою школу — школу Ивановых. В основной школе дети учатся не просто плохо, а очень плохо и по два-три года сидят в одном классе.

Особенность этой семьи в том, что почти все дети во всех поколениях — мальчишки. Такова генетика Ивановых. Вторая особенность семьи — женитьба в раннем возрасте на невесте, которой ещё не исполнилось шестнадцати лет.

Даже живя в тайге и имея своё хозяйство, на то, чтобы обуть, одеть и накормить такую ораву, нужны деньги, и огромные; поэтому все Ивановы трудятся в поте лица.

Социалистическая система создала возможность работать, не работая, и иметь при этом достаточно денег. Как это понять?

Если приезжает в деревню неискушённый руководитель и пытается организовать заготовку леса или ягод, или вообще создать подсобное хозяйство, то он сразу попадает в объятия Ивановых — люди с открытой душой, они всё умеют и всё знают; работа кипит, всё движется. Однако в результате ничего не делается.

Это — искусство, и этим искусством Ивановы овладели в совершенстве. Получая новую технику для выполнения договорных работ, они сначала её используют для своих целей, а потом начинается её ремонт. Через два-три месяца от автомашины остаётся только рама, а от трактора — одни гусеницы. Возникает потребность в новой технике; они её, естественно, получают, и с ней делается то же самое. Верно, сейчас стало трудно получить новую технику, особенно повторно, однако желающие заключить договор с Ивановыми ещё находятся. Но кто имел с ними дело хотя бы однажды, запомнит их на всю жизнь.

Очень живописное зрелище, когда семья Ивановых едет за ягодой: трактор с тележкой до отказа загружен оравой детей и взрослых. Тайгу они очищают от даров природы так, что там, где побывали Ивановы, делать уже нечего.

Водку они пьют умеренно, дерутся в основном с чужими, защищая друг друга. С ними приятно общаться, но работать с ними нельзя.

Социализм дал им очень много. Поэтому перемены им не нужны, так как тогда исчезнут хозяйственники, которых можно легко дурачить; поэтому сегодня они — в растерянном ожидании: что же будет дальше?

Сибирский абориген

Многие ищут аборигенов в Африке, в Австралии, и никто не ищет их в Сибири. А напрасно.

При въезде в Беренжак стоит развалившееся логово сибирского аборигена Генки Башкира. Будучи знаком с ним около двух десятков лет, я не помню, разговаривал ли когда-нибудь с ним. Все двадцать лет внешний вид его нисколько не менялся: рыжий, лохматый, но — без бороды; всегда с великого похмелья; на немытом лице такое выражение, будто он только что проснулся. Одет в заношенный энцефалитный костюм, выдаваемый геологам при полевых работах.

Он не садит ни картошки, ни прочих овощей, никогда не топит избы — даже в сорокаградусный мороз, и никогда её не убирает. Работая на пилораме, в ста метрах от дома, он даже не считает нужным принести себе дров.

Однажды я зашёл к нему в избу; в углу лежала кипа самых разных шкур, от собачьих до медвежьих, и под ними спал хозяин. Он долго не откликался на зов, но после грубого мата шкуры зашевелились, и из-под них выполз наш герой.

Возле пилорамы постоянно крутятся заказчики пиломатериала и упрашивают пилорамщиков поработать хотя бы два-три часа. Надо сказать, что рабочий состав пилорамы меняется практически каждый месяц. Кооператор, что владеет пилорамой, набирает работников по деревням, обещая золотые горы; работники приезжают, начинают работать, однако через несколько дней уходят в запой; на смену им привозят другие такие же кадры. При этом недостатка в желающих работать у хозяев пилорамы нет; удивительно, но в итоге пилорама работает без простоев.

Постоянным работником остаётся только Генка Башкир. У него свободный распорядок дня, причём в какой-то степени он является инструктором бригады, так как остальные члены бригады — обычно новички.

В его жизни был однажды случай, который, казалось, сделал невозможное — на короткое время преобразил нашего героя. В посёлок случайно забрела симпатичная тунеядка и почему-то из всех жителей посёлка предпочла Генку Башкира: именно этот одичавший мужчина ей понравился, и она осталась у него. Он преобразился: откуда-то появились галстук и костюм, и никто не мог признать в нём бывшего Генку. Весь посёлок радовался за него; всем хотелось, чтобы он остался таким навсегда. Однако, пресытившись им, через два месяца на одном из лесовозов тунеядка сбежала, не выдержав нормальной семейной жизни. А через несколько дней Генка Башкир снова стал прежним аборигеном. И по сей день он не откликается на попытки местных и чужих женщин приручить к себе окончательно одичавшего мужика.

Водка по-беренжакски

Трудно представить себе Беренжак без водки. Так же, как трудно представить себе машину без бензина — сразу наступает тоска; аналогичная ситуация в Беренжаке с водкой. Если в магазине её нет, то весь посёлок лихорадит; все требуют и ищут

объяснений: почему нет водки? Самогон здесь не гонят, т. к. ждать, пока он будет готов, некогда — водка нужна сейчас же, немедленно.

Беренжак, в отличие от всех других посёлков, имеет очень свободный распорядок дня: трудовой дисциплиной никто не обременён, на работу можно ходить, а можно и не ходить, и вообще основное занятие здесь — питие водки; всё остальное делается потом. Помните период борьбы с алкоголизмом? Пока этой борьбы не было, всё шло как-то само собой, но когда началась борьба, то появились такие проблемы, что каждому захотелось их преодолеть и напиться до полусмерти.

Представьте себе такую ситуацию: когда председатель сельсовета самолично определяет, сколько и кому положено выпить. В этот момент авторитет его достигает вершины. При распределении водки учитывается всё: количество взрослых членов семьи, постоянно ли человек живёт в посёлке или нет, его поведение, его отношение к власти. Водка выдаётся по спискам, утверждённым лично председателем.

Магическое действие имеет также записка председателя о выдаче водки в магазине. Тогда с помощью водки решаются все проблемы посёлка. Надо отремонтировать трактор? — записка на два литра водки, и трактор мгновенно ремонтируется. Надо переложить печку в сельсовете? — только намекни, и каменщики наперебой предложат свои услуги… Правда, некоторые неудобства составляют похороны, так как родственники покойного требуют чуткого отношения к себе, и тогда они немедленно получают два ящика водки на одного покойника; для этого в магазине имеется неприкосновенный запас.

Продавец магазина находится под постоянным надзором как самого председателя, так и всей общественности посёлка. Трудности со спиртным привели к необходимости поиска новых видов алкоголя; в ход пошёл ацетон — дёшево и сердито, нет никаких ограничений, и балдеешь лучше, чем от водки. Наиболее закалённые сибирские аборигены запросто могут выпить полстакана неразведённого ацетона и при такой смертельной дозе остаться живыми. Этот опыт надо было бы, наверное, в своё время распространить на весь Союз, и до сих пор всё бы оставалось на своих местах.

Революционные события 19 августа 1991 года капитально изменили основы распределения спиртного — теперь пей, сколько влезет, и пей всё, что хочешь. Верно, одно событие — выборы первого президента России — прошло до революционного переворота в такой неимоверной пьянке, какой никогда не знало человечество. Дабы ублажить посёлок, в виде агитационного средства сюда было завезено полторы тысячи трёхлитровых банок фруктового спирта, и это — после всех ограничений! Какое счастье свалилось тогда на Беренжак!

Посёлок будто вымер до последнего человека. Тот, кто просыпался и немного приходил в себя, — тут же, приняв новую дозу спирта, опять уходил в объятия «зелёного змия».

Жители совершенно забыли, за кого им велено было голосовать, и вместо настоятельно рекомендованного им Рыжкова проголосовали за Ельцина. Но на это даже никто не обратил внимания.

Однако самым трагическим событием в посёлке в те дни оказалось то, что деньги у жителей иссякли, а спирт в магазине ещё оставался. Перенести это не было никаких сил; началась срочная распродажа имущества, причём цены исчислялись банками спирта. Продавали всё: скотину, вещи, от мотоцикла до костюма, даже кур, и всё — по дешёвке. Накопленное годами добро распродавалось до тех пор, пока не исчез в магазине спирт.

Наступили траурные дни похмелья. За бутылку можно было купить всё что угодно: машина дров — бутылка, куль зерна — бутылка.

Однако настоящие-то праздники начались после августа 1991-го: в посёлке объявились частные торговцы водкой, и водку стали продавать не только днём, в определённые часы — а круглосуточно и даже в кредит. Но самым заинтересованным лицом в продаже водки всё же остался многоуважаемый председатель сельсовета, так как бюджет сельсовета зависит от выпитого спиртного.

При этом началась конкуренция между частными предпринимателями и — председателем вместе с подотчётным ему магазином. К счастью, особых противоречий не возникло, так как жители посёлка, благодаря бешеной покупательной способности на спиртное, удовлетворяли обе стороны, и если бы даже появились ещё предприниматели, то, наверное, до настоящей конкурентной борьбы дело бы всё равно не дошло.

Но тут выяснился один серьёзный изъян частного капитала: частник стал слишком разбавлять спирт и водку водой, вместо питьевого спирта продавать гидролизный и вообще всякий суррогат, а в трудные дни перебоев с водкой (ведь не всегда её можно купить даже оптом) клиентам взялись продавать полуфабрикат: патоку из сахарной свёклы. После употребления этакого коктейля, одновременно с опьянением человек приобретает специфический запах, сравнимый разве что с запахом свинарника.

Народ не мог простить этого частнику, и начались пожары: почему-то зимой ни с того ни с сего загорелся стог сена одного из частных предпринимателей; в окна торговцев спиртом почему-то полетели случайные камни. Видно, человека невозможно удовлетворить полностью — он всегда будет чем-то недоволен. В председателя дважды стреляли; были попытки поджечь сено и у него; каким-то образом в его стайку попал крысиный яд и отравил тёлку.

Сегодня борьба продолжается; она перешла в борьбу политическую и разбила посёлок на два лагеря — за и против председателя.

Дипломированный тунеядец

При первом знакомстве со мной Юра Костюшкин представился: «Дипломированный тунеядец». Я сразу же спросил его: как это понимать?

— Как сказано, так и понимайте, — ответил он. — Имею диплом о высшем образовании: учитель физики, — но уже пять лет нигде не работаю, живу

дарами природы, наслаждаюсь её прелестями, и я — самый счастливый человек на свете.

Наша дружба с ним продолжалась до конца его жизни; однако конец его оказался печален и совершенно непонятен.

Идя в тайгу, он брал с собой полный рюкзак водки и пил, пока она не кончится, всегда делился с попутчиками и после лошадиной дозы спиртного любил пофилософствовать и порассуждать на любую тему.

Его жена работала учительницей в совхозе «Борец»; у них было двое детей. Когда он появлялся дома, сначала все ему были рады, и в семье царила идиллия, но проходило несколько дней, и его опять тянуло на волю, в тайгу.

Деньги у него никогда не выводились, так как он прекрасно ориентировался в тайге и знал самые лучшие места произрастания черемши, ягод и кедровых орехов. За два-три дня в тайге он полностью набивал свой большой восьмиведёрный короб и, выйдя из тайги, тут же распродавал всё его содержимое по самым низким ценам. Чтобы продать дороже, он вёз свой товар в райцентр. На все вырученные деньги покупал спиртное и тут же возвращался в тайгу.

Процесс добычи шёл с весны до глубокой осени: в мае начинается черемша, и он приносил её из тайги мешками; за черемшой идёт жимолость; за ней — красная и чёрная смородина; после неё — королевская ягода черника; ягодный сезон завершает брусника. Одновременно с ягодой и весной, и летом идёт заготовка целебных маральего и золотого корня, бадана. Завершающий этап заготовки — кедровый орех. Верно, он созревает в изобилии редко, один раз в два-три года, однако в разных местах родится по-разному, поэтому тот, кто знает места, заготавливает его каждый год, и именно Юра делал это лучше всех. Поскольку орех собирается бригадным методом, то он собирал себе подобных, уводил в тайгу и за месяц сдавал столько, что на полученные деньги мог купить легковую машину. Но деньги он с энтузиазмом пропивал. А так как орех кончался в конце октября, то надо было дожить до мая и при этом на что-то пить.

В общем, работать Юра не ленился и был примерным заготовителем. Правда, бывали у него и безденежные периоды; тогда он на любых условиях занимал деньги авансом под ягоду или под лечебный корень.

Совсем недавно, вернувшись в посёлок, я узнал, что Юра застрелился. Я ничего не мог понять: оптимист до мозга костей, жизнелюб — и вдруг кончает жизнь самоубийством? Оказывается, причина была простая: от постоянного пьянства у него появилась мания преследования, — ему стало казаться, что его выслеживают и хотят убить. Никто всерьёз, включая и меня, не верил ему — все думали, что это он так шутит. Однако наша невнимательность обошлась дорого — однажды он заявил: не допущу, чтобы меня убили, лучше застрелюсь сам, — и выполнил своё обещание.

В душе у меня по сей день остаётся сомнение, что он сделал это сам — но факты подтверждают его самоубийство.

Перевыборы председателя

Долгое время председателем сельсовета была Надежда Николаевна, бывшая учительница. Все вопросы решала она оперативно, жила в полном единодушии с жителями посёлка. Правда, со временем стала выпивать чуть больше нормы, что само по себе в посёлке не является зазорным и на авторитет никак не влияет; скорей, даже наоборот — её стали уподоблять женщине из некрасовской поэмы: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Но всегда есть люди, которые всем и всеми недовольны, и обязательно найдутся обиженные, жаждущие переизбрать председателя. Однако как это сделать, если он вполне устраивает большинство жителей посёлка? Тогда изобретается либо конфликт, либо компрометирующая ситуация. Ситуации рождаются на ходу, и тогда…

В посёлке очень любят отмечать День молодёжи. Этот праздник проходит бурно и обязательно с какими-нибудь происшествиями, которые долго потом вспоминаются…

Гулянье обычно начинается с утра на берегу Белого Июса; всё очень организованно, однако — с избытком спиртного. Вот и в тот раз всё шло, как обычно.

К обеду появились первые жертвы «зелёного змия»: несколько человек, пригретые солнышком, «отдыхали» на траве, отсыпаясь в самых произвольных позах. Среди «отдыхавших» оказалась и Надежда Николаевна. И тут революционный дух «демократов» изобрёл жестокую месть председателю.

Её погрузили в лодку, перевезли на небольшой островок посреди реки, раздели догола и положили на тёплый песочек, а одежду увезли обратно.

Сенсационная новость о том, что председатель, в чём мать родила, лежит на виду у всех, быстро облетела посёлок, и весь посёлок вывалил на берег. Все с нетерпением ждали, что будет дальше.

Свежий ветерок скоро отрезвил председателя: она проснулась и, ничего поначалу не понимая, стала озираться по сторонам; потом, осознав, что с ней безобразно пошутили, стала молить и причитать, чтобы ей отдали одежду, однако никому этот спектакль прерывать не хотелось.

Набравшись храбрости, Надежда Николаевна перешла студёную горную речку вброд, оделась и пошла домой. Народ уныло шёл за ней, понемногу осознавая, какую глупость совершил по отношению к хорошему человеку.

Финал этой истории ясен: власти не могли не учесть этого события, и вскоре в посёлке состоялись перевыборы председателя.

Беренжакская школа

Ещё будучи студентом, я вместе с товарищами регулярно совершал по окрестным деревням города Томска лыжные агитпоходы, совмещённые с концертами, и сделал один простой вывод: степень культуры, в том числе и восприятие наших концертов, напрямую зависит от того, есть ли в деревне школа. Даже наличие начальной школы придавало деревне некий культурный уровень, а уж если там семилетняя или средняя школа, то уровень этот намного-намного выше.

Начав восстанавливать Беренжак, я в первую очередь взялся за возрождение восьмилетней школы (четырёхлетняя в посёлке ещё действовала). В 1984 году школа была открыта, и её принял Юрий Николаевич Шурамов. Все его требования выполнялись беспрекословно; на его счету в банке всегда были деньги.

И сегодня многие понимают: есть школа — есть и посёлок. Но, к сожалению, Беренжак делает всё, чтобы эту школу уничтожить. Нерегулярность работы электростанции, плохие условия жизни учителей, дикость учеников, способных обматерить педагога, самая низкая культура родителей, не желающих признавать учителя воспитателем их детей, панибратство — всё это ведёт к беспрерывной смене учителей. За короткое время сменились три директора. Каждого из них я знал лично. Все они были в восторге от природы и от здорового климата Беренжака — но не смогли победить первобытную психологию жителей посёлка и, досыта натерпевшись унижений со стороны детей и их родителей, в полном отчаянии бросали всё нажитое и уезжали.

А то, что случилось с последним директором, Тамарой Константиновной — вообще из ряда вон выходящее безобразие. Когда я узнал подробности этого случая, у меня волосы встали дыбом: в это трудно было поверить. Я лично переговорил с ней, выясняя, реально ли это, и она подтвердила, что да, её в самом деле жестоко избили родители учеников, и показала свои шрамы.

Всё началось с пустяка. Она сделала замечание заведующей клубом; та обиделась, затаила злобу и решила отомстить: пригласила директора «для примирения» на очередную домашнюю вечеринку, где её подруга, муж и тёща на глазах у всей компании жестоко избили Тамару Константиновну. После этого родители ещё настроили против неё своих детей, и те каждый раз, когда она выходила из дома, кричали вдогонку: «Чокнутая идёт!» — и прочие бранные слова.

Где ещё, в какой стране мира мог бы произойти подобный случай?

Тамара Константиновна не стала обращаться в суд; она попросила разобраться в этом деле главу администрации посёлка, однако этот глава попытался замять дело, так как избившие директора школы люди были членами поселкового актива и практически руководили посёлком.

Не дождавшись формального решения, она всё же надеялась, что у «активистов» проснётся совесть, и они извинятся, и подала заявление на увольнение.

Причём она очень много сделала для школы: под её руководством в школе появились спортзал, мастерские, новое оборудование. Сегодня все её заслуги перечёркнуты, и она выброшена на улицу: заведующий районо даже не предложил ей остаться, и школа практически осталась без директора.

Самое интересное, что в развале школы (а, стало быть, и в уничтожении посёлка) крайне заинтересованы золотопромышленники, так как посёлок стоит на богатом рассыпном золоте. Они уже получили хорошие пробы, размыв Беренжакский лог, и их уже ничто не остановит. Дьявольский металл делает своё грязное дело. В ближайшее время этот уникальный уголок природы превратится в лунный кратер, которых золотари уже предостаточно наделали в Сибири.

Похороны по-беренжакски

Когда я однажды приехал в Беренжак и уже собирался обратно в Красноярск, мне внезапно пришлось участвовать в похоронах одной престарелой женщины. Я, было, уже выехал из посёлка, когда меня остановили две старушки и обратились ко мне со слезами на глазах: «Милый наш спаситель, помоги нам схоронить нашу подругу — третий день мы не можем предать её прах земле».

Я отношусь к покойникам с крайним уважением, считаю, что если я сделал что-то необходимое для покойника — он меня остережёт от несчастных случаев в будущем; это моё суеверие, и я всем советую держаться такого правила.

Бедная женщина перед смертью хотела, чтобы её похоронили без проблем, поэтому в завещании оставила на свои похороны две тысячи рублей. На помощь в организации похорон пришли местные мужички, и, естественно, пожелали немедленно помянуть старушку, тем более что закупленная водка в изобилии стояла в сенях, соблазняя их. Сели помянуть; за первым стаканом пошёл второй, за вторым — третий. Все уже забыли, зачем пришли; наличие в доме покойника никого не смущало.

Когда я зашёл в избу, то увидел такую картину: в гробу лежит покойник, а вокруг него лежат на полу вдрызг пьяные организаторы похорон с лицами, выражающими высшую степень удовлетворённости, да ещё безобразно храпя. При этом сам гроб был намного длиннее покойника, и это действовало удручающе: ритуалом похорон предписывается, чтобы гроб точно соответствовал размерам его хозяина. Низкий потолок избы и плохое освещение из тусклых окон придавали всей этой картине оттенок весьма зловещий.

Пришлось немедленно найти и пригласить двух трезвых мужчин; те, можно сказать, на ходу с помощью пилы взялись уменьшить размер гроба и подогнать его под размер покойника. Затем мы втроём погрузили гроб в машину, увезли покойника на кладбище, закопали, и я тут же отправился в Красноярск.

Что там было дальше, не знаю; во всяком случае, оставалось ещё два ящика водки, и старушку было, чем помянуть. Притом что желающих поучаствовать в поминках в Беренжаке всегда больше, чем надо.

Юбилей по-беренжакски

Кадушкины готовились к юбилею главы своей большой семьи. Все дети, ближайшие родственники и друзья собрались вместе. Такое торжественное событие бывает один раз в жизни, а в данном случае, как оказалось, ещё и последний.

Закуски и водки было вдоволь, и когда все хорошо выпили, начались споры, изредка переходящие в драки. На драки никто не обращал внимания, так как в этой семье они были нормой поведения. Характерным для семьи ещё был свирепый

нрав женского пола: дочери держали своих мужей в страхе и нередко для утверждения своей правоты прибегали к физической силе с использованием любых подручных средств.

Пьянка шла до глубокой ночи; к утру, напившиеся до полусмерти, все лежали в самых разных позах. К обеду начали просыпаться. Проснулись все, кроме юбиляра. Попытки его разбудить ничего не дали, и тогда кто-то догадался ощупать его тело. Оно было холодным, и все, наконец, поняли, что хозяин мёртв. Более детальное обследование показало, что хозяин убит ударом по голове чем-то тяжёлым. Явно совершено убийство.

Начался переполох; стали выяснять: кто с кем дрался, и с кем дрался юбиляр? Оказалось, что с ним дрались и его дети, и его друзья. Поскольку точно установить убийцу было невозможно, вынесли совместное решение: чтобы не выносить сор из избы, одному из участников юбилея, во избежание длительного следствия, надо будет добровольно признаться в убийстве.

Лучший друг хозяина согласился взять вину на себя. Нашлись свидетели, и как только появилась вызванная милиция — был составлен протокол, и «самопожертвователь», готовый отбывать наказание, с гордым видом пошёл садиться в милицейскую машину.

Мудрое решение

Воздух Беренжака быстро восстанавливает силы, и сколько ни пей водки, всегда чувствуешь себя полным сил и энергии, и всегда хочется чего-то этакого, вполне земного.

В одну живущую нараспашку и к тому же пьющую семью приехали с достаточным количеством спиртного двое гостей-мужчин, друзей хозяина семьи. Хозяин с хозяйкой встретили их радушно и начали вместе с гостями очередной загул.

Однако хозяин, не рассчитав своих сил, слишком перебрал дармового напитка и через некоторое время уже валялся в углу, поэтому хозяйка, тоже уже крепко выпившая, оказалась в доме совершенно беззащитной. Тут-то у гостей и взыграл на неё аппетит. Сначала с ней «позабавился» один из гостей; затем за это же самое занятие взялся второй. Что там было дальше, дело тёмное… В общем, поскольку здоровье и силы у гостей были отменные, они «укатали» хозяйку до полусмерти.

Наутро она слёзно пожаловалась мужу на его друзей-хамов, расписав ему все подробности содеянного… Оба, муж с женой, обиженные, вместе пошли в сельсовет жаловаться на гостей, сумев доставить туда насильственным путём и ответчиков — чтобы уважаемый председатель примерно наказал виновных в насилии.

Председатель любил разбирать истории. Внимательно выслушав истцов, подробно записал все их показания в протокол, однако в выборе меры наказания виновных крепко задумался. И всё же, по некотором размышлении, вынес такой приговор: с ответчиков взыскать штраф в пользу истцов в размере стоимости полудюжины бутылок водки.

И истцы, и ответчики согласились с этой мерой наказания; гости тут же выплатили истцам назначенную сумму; ещё небольшая сумма была внесена в кассу сельсовета как штраф за мелкое хулиганство, и инцидент был исчерпан.

Вышли на улицу… У истцов, мужа и жены, появилось желание на все полученные деньги тут же купить водки, что они и сделали. И, конечно же, им было неловко не пригласить домой пострадавших с финансовой стороны ответчиков. И… началась повторная пьянка; причём, как передают сплетники, всё повторилось до мелочей.

Но идти в сельсовет жаловаться во второй раз хозяевам было уже стыдно. А напрасно! Ведь председатель очень любил распутывать сложные истории и уж обязательно нашёл бы ещё один мудрый выход из ситуации.

Свадьба по-беренжакски

Свадьбы определяются, главным образом, желанием женской, а не мужской половины. Причём замужество по любви чаще всего бывает только в кино, а в жизни девушки, не получив удовлетворения в своей первой любви, выходят замуж без особенной привязанности к жениху — в основном, по совету друзей, подруг или родителей, или просто потому, что рядом оказался «хороший парень»… Потом проходит время, и молодая жена привыкает к своему мужу, а иногда даже начинает любить его, особенно если есть дефицит мужей.

Свадьба по-беренжакски раскрывает широту души девушки и простоту тамошних нравов.

Одна беренжакская девушка (не будем называть её имени) к двадцати годам уже успела выйти замуж четыре раза. И вот намечается её пятая свадьба.

На свадьбу пришли все её бывшие мужья. Всё идёт, как полагается: пьют, едят, кричат «горько», жених целует невесту; затем — весёлые песни, танцы и т д.

Но вот наступает кульминационный момент: все пять крепко подвыпивших мужей претендуют на очередную «первую» брачную ночь. Спор доходит до драки.

Невеста, чтобы утихомирить дерущихся, решает, что может удовлетворить в «первую» брачную ночь всех пятерых. И вот все пятеро идут за ней на сеновал, и начинается свальный грех: первым получает невесту первый муж, вторым — второй, и т. д.; последним получает её жених. Однако невеста, явно неудовлетворённая этим, выходит из сеновала совершенно обнажённой, причём — с шестом в руках, наверху которого водружены её плавки, и, размахивая этим шестом, призывает желающих присоединиться к компании… И один такой нашёлся!

Самое замечательное, что нет никакого скандала — все довольны: и родня, и жених, и невеста, и гости (они же зрители и участники).

Единственной недовольной оказалась мать последнего жениха. Утром она составила заявление-протест, заставила новоиспечённую невесту подписать его и принесла это заявление в сельсовет.

В сельсовете совершилось очередное заседание актива во главе с председателем. Все вызванные на заседание мужья невесты единодушно подтвердили, что они как бывшие мужья имели законное право переспать с ней. «Соучастник», присоединившийся

к компании последним, сослался на страстное желание невесты, поскольку бывшие мужья и жених не удовлетворили её, а сам он не мог отказать невесте в просьбе и оставить её неудовлетворённой…

И всё-таки заявлению, поскольку оно было письменным, полагалось дать ход. В конце концов, состоялся настоящий суд, который вынес невероятный приговор: первому мужу дали пять лет, второму — четыре и т. д. Жениху дали один год. «Соучастника» оправдали — почему, неизвестно; вероятно, его доводы по поводу «соучастия» посчитали вескими.

С невестой на суде случился обморок — она не ожидала такого исхода; всем, чем могла, она выражала недовольство решением суда: ведь она лишилась сразу всех мужей! Она же хотела только пошутить — а конец оказался таким драматическим!

У этой истории есть и финал: пока все её мужья были в заключении, её иногда посещал «соучастник». Когда же через год вышел из тюрьмы последний, пятый муж, она стала жить с ним. Но когда пришёл из тюрьмы четвёртый, она выгнала пятого и начала жить с ним, и т. д… Сегодня она превосходно живёт с первым мужем, на практике доказав, что первая любовь — всё-таки самая сильная.

Ревность по-беренжакски

В клубе собрались посмотреть очередной фильм. Народу набралось много; зал шумел, выражая нетерпение скорей увидеть кино.

Внезапно на сцену забрался Миша Синицын, вытащил из пальто обрез, направил дуло себе в грудь и нажал курок. Грохнул оглушительный выстрел. Удивлённая публика слегка утихла, а Миша, потеряв равновесие, упал на пол. Народ, недоумевая, оставался на своих местах, приняв, видимо, эту сцену за какую-то интермедию перед началом фильма. Однако в первом ряду вдруг раздался дикий вопль двух женщин. Безобразно ругаясь и вцепившись друг в друга, они принялись что-то выяснять.

Сбитый с толку зал совершенно затих, пытаясь понять: о чём же спорят эти две женщины?.. Создалась ужасная трагикомическая ситуация: на сцене лежит сражённый пулей, истекающий кровью мужчина, а в первом ряду неистово дерутся две женщины, причём дерутся самым диким способом: пинаясь, плюясь, воя и вырывая волосы друг у друга, — а затихший зал зачарованно глядит на эту драку, пытаясь понять её причину, и никто из присутствующих не бросается на сцену спасать парня.

Наконец, разобрались: оказывается, дрались жена застрелившегося и его любовница; через некоторое время между криками и воплями дерущихся женщин стала ясна и причина их ссоры — таким образом они доказывали одна другой, из-за кого парень застрелился: жена утверждала, что любил он только её и ненавидел любовницу, с которой никак не мог порвать, а потому решил покончить с собой; любовница же доказывала обратное — что муж ненавидел жену и хотел развестись с ней, чтобы уйти к любовнице, но жена не давала ему развода и настраивала против него детей, которых он безумно любил. А драка между тем всё продолжалась.

Но вот зрители, наконец, разобрались, в чём дело, и подняли шум возмущения, а доброжелатели поспешили на помощь самоубийце. Но они опоздали — к сожалению, он уже был мёртв.

Семейная ссора по-беренжакски

Жила семья Караваевых: муж, жена и трое детей. Жили как все; однако где-то глубоко внутри семьи зрел конфликт.

Часто жёны, недовольные своими мужьями, пилят их, словно ржавой пилой, — это известно почти каждому мужчине. Даже если будешь всё делать, как скажет жена, — всё равно она найдёт причину упрекнуть тебя самым обидным образом.

Глава семьи Караваевых всегда выполнял любое желание жены и был абсолютным эталоном мужа: не пил, не курил, не гулял с другими женщинами, всё делал по дому: стирал бельё, колол дрова, носил воду, мыл полы, ухаживал за детьми, нянчил их, — и всё это продолжалось ровно семь лет. Однако жене было мало этого — чего-то не хватало, и она постоянно находила причины придраться и упрекнуть его ещё в чём-нибудь: «не так сидишь», «не чавкай», «не стучи ложкой», «опять зашёл в дом в грязных сапогах», «не храпи ночью», «не обижай детей — ты с ними грубо говоришь», «прекрати материться», — и т. д., и т. п.

И вот однажды, сев обедать, он с аппетитом съел тарелку борща и решил налить себе вторую. Последовало строгое замечание: ты, мол, ничего не оставишь детям, и вообще ты обжора… И тут внутри него, видимо, что-то взорвалось. Внешне спокойно он вышел на улицу, зашёл в гараж, взял канистру с бензином, встал посреди двора, облил себя с ног до головы бензином, вытащил спички и, только коснувшись спичкой коробки, весь вспыхнул жарким пламенем, охватившим его с ног до головы. Через полминуты на землю упало обгоревшее тело. Он не кричал, хотя делал попытку сбить пламя; но это ещё сильнее разжигало огонь.

Жена же, не придав никакого значения их мимолётной ссоре, спокойно сидела дома. Сбежавшиеся соседи сначала ничего не могли взять в толк, но, осознав, что сосед погиб, побежали в дом — сказать жене о случившемся. Сначала она не поверила им, но искажённые ужасом лица соседей заставили её встревожиться. Она вышла на крыльцо, увидела сгоревший труп и, впервые за всё время семейной жизни, запричитала. Она никак не могла понять: почему же это случилось? — да и сейчас ещё считает поведение своего мужа необъяснимым: дескать, он сумасшедший, ненормальный, и ему надо было лечиться в психушке.

Дети тоже не могут понять, что случилось с отцом. Однако время — хороший лекарь… Недавно вдова отметила годовщину смерти мужа. У неё стали появляться любовники. Но, видимо, что-то страшное заставляет мужчин, переспав со вдовой одну-две ночи, тут же бежать от неё.

Изнасилование по-беренжакски

Двенадцатилетняя девчонка зачем-то пошла зимой в лес. Прошёл день, а её всё нет. Началась тревога; стали её искать. Но так по сей день и не нашли.

Есть свидетели, которые видели, как она шла из посёлка по дороге вдоль замёрзшего ручья. Нашли, было, и её следы. Но они потерялись, т. к. после неё по дороге прошёл трактор.

Дело в том, что в этом же направлении шёл в тайгу тракторный погрузчик; это подтверждал и свежий след от гусениц. На тракторе ехал Михаил Кузнецов, мужчина средних лет. Его допросили: видел ли он девочку? — но он заявил, что никакой девочки не видел, хотя в тот день штабелировал в тайге лес.

Мы поехали на лесную деляну, где он в тот день работал, проверить его показания; оказалось, что он прав: вся деляна была завалена штабелями леса…

Кто-то поинтересовался биографией тракториста; оказалось, что он отбывал срок за участие в изнасиловании. Это сразу вызвало бурную реакцию; немедленно вызвали милицию, и его посадили. Однако, пробыв под следствием больше месяца, за неимением никаких доказательств он был отпущен.

Возвращение тракториста в Беренжак родителями девочки было воспринято как сверхнаглость. За ним началась настоящая охота: в него несколько раз стреляли, избили до полусмерти, — однако он оставался жить в посёлке.

Но недавно тракторист исчез бесследно, и никто не знает, где он есть.

Поговаривают, что сейчас он — на том свете.

Групповое изнасилование по-беренжакски

Мои сборы перед отъездом из Беренжака были прерваны появлением председателя сельсовета. Его озабоченное лицо не предвещало ничего хорошего. Он отозвал меня в сторону и сделал официальное сообщение, что поступило заявление от женщины, матери двоих детей, о том, что трое «малолеток», в том числе и наш сын, совершили групповое изнасилование.

После смерти старшего сына это было для нас с женой ударом ниже пояса. Любой поймёт, что грозит в таких случаях четырнадцатилетнему мальчишке и какая беда навалилась на нас. Но я не мог поверить сказанному и нагрубил председателю, обвинив его в предвзятом отношении к моим детям, как к младшему, так и старшему сыну, а также в том, что перед смертью старшего сына он терроризировал его за то, что тот отказывался давать ему машину.

Председатель ушёл с отчуждённым выражением лица, заявив, что хотел, как лучше, и что теперь расследование будет проведено в соответствии с законом.

Жена моя, испугавшись последствий, была недовольна тем, как я себя с ним повёл. Я успокоил её, сказав, что наш сын не мог опуститься до такого и что прежде всего надо спросить об этом у него самого, тем более что при председателе он не подтвердил своего участия в изнасиловании.

Но когда мы его спросили снова, уже без председателя, он чётко ответил, что действительно участвовал в изнасиловании женщины. Это поразило меня: я никак не мог себе представить, чтобы моё дитя в четырнадцать лет способно было иметь половой акт с сорокалетней женщиной!.. Пока мы с женой решали, что делать, сын улизнул из дома вместе со своим другом Димой.

Собрав все наши наличные деньги, мы с женой пошли откупаться.

Подходя к избе пострадавшей, мы встретили «ответчиков», которые уже пытались как-то договориться. Но их выгнали, сказав, чтобы приходили родители.

Какое-то предчувствие говорило мне, что не всё здесь так просто. У меня было большое сомнение в том, что четырнадцатилетние пацаны могут самостоятельно, без провокации, совершить такой «геройский поступок». Хотя факты, вроде бы, доказывали виновность ребят.

Зайдя в избу, мы вежливо поздоровались. Нас пригласили сесть, и начался неприятный разговор: чем старательней пострадавшая доказывала свою полную невиновность, тем больше закрадывалось у меня сомнение в этом.

Основным виновником этого «события» был Дима, сосед пострадавшей. Их огороды имели общую межу, и он с пелёнок был с этой женщиной знаком. Ну, сами подумайте: как мог этот мальчишка созреть до изнасилования рослой гулящей сорокалетней соседки с двумя детьми?

Непонятным поступком было и то, что всего неделю назад тот же Дима высадил у неё оконную раму, о чём участковым было произведено официальное расследование, и он по-отцовски пригрозил за этот хулиганский поступок выпороть Диму ремнём.

И, наконец, ещё один факт, правда, не относящийся к данному делу, заставил меня усомниться в виновности ребят. Накануне Дима помогал нам косить сено, и мы каждый день купались в ледяной воде Белого Июса, в чём мать родила. Тогда я и обратил внимание на то, что щупленький этот мальчик наделён гигантским половым членом, каковой более пристало носить взрослому мужчине могучего телосложения.

Нет надобности далее сопоставлять и анализировать эти факты. Компьютер однозначно сказал бы о том, что запившаяся одинокая женщина не могла не обратить внимание на эту особенность соседа-карапета, и о том, что инициатива, видимо, исходила всё же от истицы.

Итак, пережив очень неприятные минуты, мы выслушали все нарекания в адрес нашего сына, а затем пострадавшая заявила, что она прощает ребят, однако не может перенести позора и сурового общественного мнения посёлка, поэтому ей нужна компенсация за причинённый моральный ущерб.

Мы отдали ей все свои сбережения и ушли восвояси.

Последующий тщательный опрос ребят окончательно доказал виновность «пострадавшей», пожелавшей развратить малолетних ребятишек.

Беренжакское подсобное хозяйство

В былые времена беренжакское подсобное хозяйство было могучим подспорьем окружающих посёлок рудников. В изобилии росли там все овощи; таёжные сенокосные угодья с избытком снабжали

кормом скот. Здесь не бывает засухи. Утренние туманы и росы дают необходимую влагу в самое засушливое лето, а горные ручьи позволяют орошать поля и выращивать капусту, морковь, брюкву и другие овощи небывалых размеров.

Восстанавливая посёлок, я обратил на это внимание и сразу начал строительство подсобного хозяйства для нашего предприятия. Задумка была самая благородная: в одном месте сосредоточить и экспериментальную базу-полигон (основной источник финансирования этого хозяйства), и базу отдыха, обеспеченную продуктами питания. Преодолев неимоверные трудности и построив коровник, овчарню, жилые дома и общежитие, отремонтировав больницу и школу, оснастив хозяйство техникой, я постепенно начал понимать, что взялся решать практически нерешаемую задачу. Кадры, кадры и ещё раз кадры не позволили осуществить мою мечту — иметь на нашем предприятии собственное подсобное хозяйство с отличной базой отдыха.

Огромные вложения средств не оправдывались мизерным количеством получаемой продукции; попытки ввести хозрасчёт только вели к развалу. Этому способствовала и мощная критика подсобного хозяйства трудовым коллективом, видевшим в нём лишь мою личную выгоду в обеспечении себя и других руководителей предприятия мясом. Ни одна из проверок ничего не подтвердила, так как мясо в изобилии можно было покупать у местного населения по самым низким ценам, что я и делал. Но недремлющее око «демократов» видело лишь фантастические цифры затрат на подсобное хозяйство: в какую цену обошлись куры, мясо и т. д. и т. п. В чём-то они, конечно, были правы; но ведь и работники экспериментального полигона, и работники экспедиции, и база отдыха, и пионерлагерь в достатке снабжались продуктами. Однако бесспорно, что и база отдыха, и подсобное хозяйство существовали с большими издержками — создать работоспособный коллектив в Беренжаке мне так и не удалось.

Первой трудностью оказалось обеспечение дойки коров. У доярок всегда находились причины, чтобы оставить коров недоенными, а ведь каждому ясно, что станет с коровой, если её несколько раз вовремя не подоить. Отара овец также постепенно уменьшалась, и с 960 дошла до 36 овец. Причины — элементарное воровство, отсутствие кормов, отсутствие квалифицированных и просто дисциплинированных пастухов.

Животным нужны корма, и я старался организовать покос силами ЦКБ «Геофизика», но встретил непонимание. Лично я считаю, что сенокос для городского работника — прекраснейший активный отдых. К тому же всем отправленным на покос выплачивались командировочные и обеспечивалось практически бесплатное питание, и я никак не ожидал, что со стороны наших работников сенокос вызовет столь бурную отрицательную реакцию. Сенокос — это тот небольшой отрезок времени, всего один месяц, который год кормит. Местное население это хорошо понимает; даже закоренелые пьяницы в Беренжаке трезвеют и занимаются заготовкой кормов. В том году я вместе со своими детьми отработал полный цикл сенокошения и заготовил сена столько, сколько заготавливала бригада в тридцать человек из ЦКБ «Геофизика».

Интересно, что поголовье лошадей за всё время существования подсобного хозяйства не уменьшалось. Это объясняется тем, что лошади сами зимой добывают себе корм и не требуют пастухов. Они разбиваются на табуны в 30–40 голов, где один жеребец верховодит и обеспечивает миграцию и летом, и зимой. Жестокое время Перестройки ударило, в первую очередь, по сфере быта; это коснулось и баз отдыха, и подсобных хозяйств; сегодня многие из них брошены на произвол судьбы, и никто не хочет (и не даёт другим) брать подсобные хозяйства в аренду с последующим выкупом в частную собственность.

На предприятии ЦКБ «Геофизика» было объявлено о переводе нашего хозяйства в фермерское, но никто ни в ЦКБ, ни в самом Беренжаке не проявил желания взять его себе. На этот опрометчивый шаг решился только мой старший сын, приняв на себя шквал критики и обвинений. Сейчас, когда прошло два года, очень хорошо виден результат разрушительной работы «демократов», которые ничего не создавали, лишь критиковали существующее положение дел, а также людей, которые пытались хоть что-то делать. Одно за другим разваливаются фермерские хозяйства; не поддержанные государством фермеры, наевшись досыта обещаниями, не расплатившись с кредитами, бросают землю и ищут работу повыгодней и поспокойней.

Страшной, необузданной силой становится личное хозяйство. Эта юридически непонятная форма хозяйствования, практически неузаконенная, съедает, как саранча, фермерские хозяйства и обворовывает государственные сельхозпредприятия. Большая живучесть личного хозяйства, а, главное, «левые источники» его существования, отсутствие налогообложения и дружная поддержка родственников создали такое положение, что личные хозяйства становятся основными поставщиками на рынок мяса и молока.

Общий сход в Беренжаке решил пасти скот без пастухов. Это, конечно, снизило расходы частников и поддержало паразитический образ существования личных хозяйств. Но если только прекратить все виды хищения и обложить личные хозяйства налогом, этот вид хозяйства лопнет, как мыльный пузырь. Сильные хозяйства тогда неизбежно должны превратиться в фермерские, слабые — разориться, а армия тунеядцев — пополниться новыми кадрами. Тайга богата и способна прокормить огромную толпу желающих вести вольный образ жизни; и ещё ярче тогда расцветут воровство и грабёж.

Надо уйти из Беренжака и создать свой, отдельный хутор в районе Усть-Тунгужука, где находятся основные земли крестьянского хозяйства «Белый Июс». Надо спешить уходить, завтра может быть уже поздно. Но как это сделать, если огромные средства вложены в Беренжак, и там находится всё твоё движимое и недвижимое имущество, созданное таким огромным трудом?

Беренжакская загадка

Мучаясь вопросом: почему мой сын в 23 года покончил с собой перед намеченной свадьбой? — я упёрся в одну загадку: почему в Беренжаке, среди природной красоты и природного изобилия, люди так часто кончают жизнь самоубийством, и почему это касается только мужчин всех возрастов, а девушек и женщин это проклятие обходит стороной? Как будто мужчина там за что-то проклят Богом.

Беренжак — особое место; я неоднократно говорил об этом. Здесь никто ничем не обременён — свобода, свобода во всём, и ещё раз свобода. Может быть, именно эта свобода и ведёт мужчин к столь плачевному жизненному финалу? Может, какой-то психологический микроб витает в воздухе Беренжака? Или дикая тоска умирающего посёлка тянет к самоубийству? Может быть. Но почему всё это не касается женского пола?

В голову приходят глупые мысли. Например, о том, как самка паука после полового удовлетворения съедает самца.

Сегодня, когда женщина одна, без участия мужчины, может прокормить и воспитать ребёнка, мы, мужики, выполнив свою обязанность перед природой, становимся ненужными, и нам часто остаётся одна дорога — к уничтожению самих себя.

То, что происходит в Беренжаке, есть всюду. Но некоторые особенности Беренжака: прекрасная природа, например, и беспредельное пьянство, — снижают у мужиков потребность в борьбе за существование. Иметь одни лишь удовольствия и не иметь никаких проблем — это для живого организма разъедающая язва, которая медленно, но верно ведёт к самоубийству.

В январе 1992 года мой сын был самым счастливым человеком в мире — так он заявил мне, когда я оформил на него доверенность на «Волгу». А 2 августа он покончил жизнь самоубийством. Как это объяснить? Видимо, счастье — категория очень недолговечная, и после счастливых дней очень быстро наступает тяжкое похмелье, депрессия. Особенно если это «счастье» достигается даром, а сам ты дружишь с «зелёным змием».

В городе безвольному человеку жить проще: здесь всё регламентировано, и ты плывёшь по течению. Множество разного рода раздражителей не оставляет времени задуматься о главном: о смысле жизни. Сегодня городской житель — живой труп, и от самоубийства его может удержать одна лишь простая мысль о том, во что обойдутся его похороны, и вообще похоронят ли его, как положено — или просто сбросят в общую яму? В ближайшее время смерч самоубийств закрутит и город, и дать какой-либо серьёзный совет по этому поводу невозможно.

Для пожилого человека спасение от этого смерча — сохранение стимулов к творчеству. Каждый решает эту проблему по-своему. Я, например, стараюсь сохранить способность мечтать и бороться, а также сохранить увлечение женщиной и интимную связь с ней. Мне кажется, это удаётся мне потому, что я ищу в женщине то, что имеет для неё большую ценность. Мне важно, чтобы она хотела общаться со мной. Очевидно, для этого у тебя должна быть какая-то изюминка, привлекающая её внимание к тебе. Также я стремлюсь реализовать все свои творческие планы: хочу написать серию рассказов, поставить свою оперетту, завершить формулирование своих философских принципов, написать книгу по электрофизике, «родить» пондеролет, продолжить конструирование аппаратуры, иметь своё личное КБ и малое предприятие, дающее мне капитал и полную независимость.

Но при всех грандиозных планах желание уединиться с каждым днём нарастает, и что будет завтра, а тем более послезавтра — непредсказуемо: сплошной туман.

Парадокс, но сегодня мне, как никогда, хочется, чтобы какая-то женщина захотела родить мне ещё одного ребёнка. Это заставило бы меня начать новую борьбу за своё дитя и уйти от пессимизма.

Прощай, Беренжак

Наступил момент, когда я не хочу больше ехать в Беренжак; тяжёлое предчувствие говорит мне, что рушится всё лучшее, связанное с этим местом.

Какая-то неведомая сила разрушает этот золотой уголок природы и ведёт к непоправимым бедам. Ну, чем объяснить, что в этом посёлке самоубийства следуют одно за другим — только за май месяц один застрелился, другой повесился? И это в деревне, где двести дворов и где самая демократическая основа жизни! Полная свобода вероисповедания, никаких обязательств, никто не стремится к светлому будущему — ни к коммунизму, ни к капитализму!

Пришли золотари и начали беспощадно уничтожать уникальную природу. Золото делает своё грязное дело — губит лучшее, что есть на земле: кедр, пихту, бруснику, чернику, — всё, чем так богата местная природа. Нельзя равнодушно смотреть, как растёт котлован, как моется зловещий металл. Со временем мы заплатим за это гораздо большую плату, чем намоем здесь золота.

Зимой посёлок был без света и хлеба. Сейчас, летом, пока кипит добыча золота, посёлок ожил. Но ведь его снова ждёт зима, которая опять поставит Беренжак на грань уничтожения. Причём это-то и нужно золотарям, так как основные запасы золота лежат прямо под посёлком. Умирает обжитое место, у людей отнимают благодатнейшие места, каких уже мало осталось, и все молчат, и никакая сила не может остановить тягу к золоту.

Раскол в моей семье идёт медленно, но верно, и сегодня я остался один. Жена нашла себе другую жизнь, в которой я ей практически не нужен. Дети не видят во мне Человека, им всё во мне не нравится, и, находясь с ними, чувствуешь себя ненужным. Только материальная зависимость заставляет их иногда со мной считаться. Со временем, думаю, всё вернётся к ним бумерангом.

Жена признаёт жестокость детей, но считает, что наши — ещё куда ни шло, а вот многие другие, бывает, бьют своих родителей за неповиновение. Рушится самое святое — уважение к предкам, и это, может быть, страшнее 37-го года.

Мой уход с поста руководителя конструкторского бюро Главного управления ракетно-космической

техники позволил мне по-новому смотреть на многие события. Мой вклад в развитие Беренжака уничтожен новым руководством КБ в течение одного месяца. Сегодня ребятишки работников КБ лишены возможности отдохнуть и поправить здоровье. Всё оборудование и хозинвентарь пионерлагеря и базы отдыха вывезены, недостроенные дома подготовлены к перевозу в Красноярск на личные дачи. Постепенно всё «наше» превращается в «моё».

Семьдесят лет человек жил одними порядками, сегодня они другие. Идёт ледоход, ломается лёд, рождается новое, и то, что человек предоставлен сам себе, имеет и плюсы, и минусы. Вставая утром, ты волей-неволей оцениваешь прошедший день и решаешь, что нужно сделать в первую очередь. Если ты знаешь, что никому не нужен, в тебе рождаются силы борьбы за жизнь, а жизнь, как бы мы её ни хаяли, всё же хорошая штука!

У меня всё чаще и чаще появляется желание плюнуть на всё, взять посох и пойти пешком по Руси. «Отращу себе бороду и бродягой пойду по Руси…» — кажется, это слова Есенина, сказанные в начале века, но они и сегодня толкают на размышление личность, которая ищет смысл жизни.

1995 г.

ДиН ирония

Геннадий Дроздов

О смысле жизни разговор

Пропах он смесью суррогатной,
Бедняге поздно пить боржом,
Давно стал голью перекатной,
А в просторечии — бомжом.
У баков мусорных, с похмелья,
В привычном виде, без прикрас,
Толпятся «дети подземелья»,
Аборигены теплотрасс.
У них там пенсия и рента,
Надежды, виды на прокорм,
Там поле битвы конкурентов
И финиш рыночных реформ.

На певицу смотрю я с укором,
Невдомёк ей, что сцена — не пляж.
Служит возраст «звезды» прокурором,
Адвокат, как всегда, — макияж.

Филолог вышла замуж за поэта,
Быть музою ему имела цель.
Неделю умудрялись петь дуэтом,
Затем, пошла словесная дуэль.

Ты письмами душу мою не трави.
Как в годы былые, теперь я
Орлом бы, помчался на крыльях любви,
Да возраст мне выщипал перья.

Сожжён взаимности мосток
И связь времён разрушена.
Была любовь, что локоток:
Близка, да не укушена.

Веду о смысле жизни разговор.
Закончу его следующей строчкой:
С рождения — всем смертный приговор
И каждому — с пожизненной отсрочкой.

Удачу не обманешь, не балуй.
Успех не совершит атаки дерзкой.
Всегда, таланта царский поцелуй,
Сродни укусу кобры королевской.

Галина Кудрявская

Поймать ветер

Печальные вещи случаются в жизни

1. Больница

Я накажу любой народ,
который меня покидает.
Иезекииль

От огромного мира осталось совсем небольшое пространство, в котором ему было терпимо. Под одеялом. День и ночь он лежал так, укрывшись с головой, отделив себя от всего остального, собирая в кучку, в единое целое, остатки души и жизни.

Всё, что вне, было враждебно, всё не любило его, и он не любил то, внешнее. Но и то, что помещалось под одеялом, то есть самого себя такого, каким он был теперь, тоже не любил. И прятался не за тем, чтобы себя лучше других считать, а чтобы сосредоточиться на том, в чём были ещё смысл и присутствие жизни.

Евгений Борисович послушно поднимал часть одеяла, подставляя то руку, то ягодицу для укола. Даже под капельницей он лежал, укрывшись, выставив костлявую, словно неживую руку, в синюю вену которой капали капли, растворяющие осадок жизни, делающие его почти терпимым.

Он ходил в столовую, равнодушно съедал то, что там давали. В туалете, справив нужду, оставался ещё несколько минут, затягиваясь дымом папиросы, горьким, но всё же более сладким, чем воздух больницы, в которой он находился вот уже три года.

Рядом в палате стояли ещё четыре койки, на них лежали люди, он слышал имена, но не запоминал. Все они были неинтересны друг другу, каждый существовал сам по себе, под своим внутренним одеялом, они общались только с персоналом, словно их разделяло не тесное пространство палаты, а толстые глухие стены, сквозь которые не проходят ни звуки, ни какие-либо иные колебания эфира.

Так действовали болезнь и лекарства, назначаемые ради всеобщего спокойствия. Спокойствие такое напоминало кладбищенское, только вместо благодати упокоения здесь царила отстранённость, задавленность химией. Жизнь была невыносима, и её украшали ложным ощущением утешения и покоя.

Напротив Евгения Борисовича жил Василий Фёдорович, он под одеяло не прятался. Восьмидесятитрёхлетний крепкий, бодрый, прямой старик, участник ВОВ, боролся с несправедливостью мироустройства. А так как всё в мире было неправильно, то и все силы уходили на борьбу за жизнь, а на саму жизнь уже ничего не оставалось. Василий Фёдорович тщательно следил за тем, чтобы ему всего додали: порция на тарелке всегда оказывалась меньше, чем у соседа, лекарства ему всё время не те давали. Конечно, он получал то, что положено, но бедная его память не сохраняла этого, и больной тяжело и обречённо возмущался тем, что его обделяют.

Он ходил по палате, по коридору твёрдой походкой борца, прямо держа спину, и всё время говорил, говорил, говорил… и речи его были полны недоумения и горечи. Всё не вязалось с его пониманием правильности жизни: и то, что он уже полгода здесь (хотя он не помнил, сколько именно, и ему чудилась вечность), и то, что родные не ходят (хотя и это было не так — ходили). Но запоминается любовь, а не обязанность, и эти короткие встречи с торопливым сованием в руки передачи сразу исчезали из его памяти. Правда всё принесённое он съедал добросовестно, пряча остатки в тумбочку или прикрывая полотенцем от чужих глаз. Здесь ни с кем ничем не делились.

Остальные три койки занимались временными постояльцами, с короткими сроками пребывания, чаще это были алкоголики, спасающиеся от очередного запоя. Иногда хроники, оформляемые на инвалидность. Каждый приходил со своей бедой, о которой не хотелось говорить, но если уж было невмоготу, то говорили, как и Василий Фёдорович, сами с собой.

И вечно открытая в коридор дверь, неусыпный глаз, от которого не спрячешься ни днём, ни ночью. Только под одеяло с головой.

Из коридора доносились голоса. Иногда кто-то кричал в соседней палате. Там лежали совсем неразумные и неходячие. Но, видно, и им бывало невмоготу, а так как некоторые и говорить не умели, то начинали кричать. Днём их успокаивал медперсонал: то уколом, то таблеткой, то ремнями, чтоб не рвался с койки. А ночью, отвесив больным полноценную дозу снотворного, сёстры и нянечки находили укромные уголки, где можно несколько часов поспать, не обращая внимания на шум и крики. Всё равно встать у больных не было сил.

Вот тут и можно кричать изо всех сил, если тебе невыносимо, пугая полуоглушённых больных в соседних палатах.

— Ня-я-ня-я, се-естра-а, ня-я-ня-я, сес-тра-а-а, — или просто сплошное: «а-а-а-а-а…»

Часа два-три подряд, непрерывно, пока не кончались безумные силы, и не наступало отупляющее оцепенение, похожее на сон.

На пустую койку в углу у окна, в головах у Евгения Борисовича, положили новенького. Неходячего,

но разумного. Нужно было подобрать лекарства. Первая ночь в больнице произвела на Анатолия Петровича неизгладимое впечатление. Когда днём с передачей прибежала жена, он в ужасе сказал ей:

— Это сумасшедший дом.

— Но мы же с тобой знали, куда ложимся, — успокоила его Наталья Николаевна, — подберут лекарства, и домой…

Этот новенький больной с его супругой внесли в жизнь палаты некую сумятицу. Немощь мужа заставила Наталью Николаевну обратиться к лежащим рядом с просьбой о помощи, хоть и уходовым считалось отделение, ради чего они сюда и определились, но пока нянечку или сестру дозовёшься, а здесь рядом — люди. Первым откликнулся Василий Фёдорович:

— А как же, — сказал он, — на том и стоим: сам погибай, а товарища выручай…

— Погибать не надо, — улыбнулась Наталья Николаевна, — а вот помочь сесть, что-нибудь подать, вы уж, пожалуйста, и вы, пожалуйста, тоже помогите, простите, как вас зовут?

Рядом лежал молодой человек под капельницей. Он кивнул головой.

— Конечно, конечно, Игорь я, но я приходящий, какая от меня помощь, вот прокапает, и я ухожу…

Игорь лечился от запоя, и в последующие дни супруги радовались тому, что он рано уходит. Его кровать была явно лишней в небольшой палате. Анатолий Петрович даже сесть не мог: так мало расстояние между кроватью его и соседа.

Палата опустела, все ушли в столовую, и можно было поговорить.

— Игорь лечится от запоя, он единственный, с кем тут можно общаться, Василий Фёдорович — хороший мужик, но сильно больной на голову, а вот этот… — он кивнул в сторону кровати Евгения Борисовича, — ты клади мои вещи только на половину тумбочки и на одну полку, он сердится, если что не так.

— А он из-под одеяла иногда выглядывает? — спросила жена.

— Ну, в столовую ходит, в туалет, а так лежит только под одеялом .

Конечно, Анатолию Петровичу, уже год не выходившему из дома, хотелось какого-то общения, и Наталья Николаевна пыталась втянуть в это общение всех больных, лежащих в палате. Она приносила им домашнее угощение, понимая, как однообразна и необильна больничная кухня.

Угощение брали, благодарили, на вопросы односложно отвечали. В правом углу палаты у окна лежал высокий, крепкий, молчаливый человек, тоже Анатолий. Наталье Николаевне он показался абсолютно нормальным, только молчаливым. Но он всё время отсутствовал в палате: то помогал сестре-хозяйке, то приносил из другого корпуса питание для больных.

Однажды во время обеда в палату торопливо забежала врач-психиатр, её не было утром на обходе. Осталась на несколько минут, ожидая возвращения больных. Наталья Николаевна осторожно поинтересовалась, скорее, посетовала на то, что Евгений Борисович никогда угощение не принимает. И доктор ответила, как отрезала, жёстко и безбоязненно:

— Неправильно жил — теперь рассчитывается.

И вышла из палаты.

— Вот тебе и «не судите»… — тихонько произнесла Наталья Николаевна, а про себя подумала: «Да кто же из нас правильно жил и живёт, все и рассчитываемся, только у каждого расчёт свой… Да, видно, и у тебя, доктор, не всё ладно, раз ты так уже лежачего…»

2. Колодец

Лишь одно только сердце
знает о своей печали.

Притчи Соломона

Это колечко когда-то подарила ей крёстная, скромное — серебряное с маленьким агатовым камушком. Очень симпатичное. Она и росла вместе с ним, переодевая с пальчика на пальчик по мере взросления. Потом вкусы изменились, колечко приелось, куда-то прибралось, припряталось, как память о детстве, о чём-то светлом, о надеждах и радостях, познании и разочарованиях.

И вдруг оно, совершенно нечаянно нашлось. Хотя и не искалось. Искалось что-то другое, очень важное, нужное, а тут это колечко словно само в руки — прыг, откуда-то из глубины ящика и забвения. И она неожиданно для себя очень обрадовалась колечку, примерила на мизинчик левой руки, оно словно тут и было. И чувство такое, будто в дом родной вернулась. Так и оставила колечко на мизинчике.

Через несколько дней она поехала на дачу — огород поливать, как раз в поливочный день, пробегала три часа со шлангом по всему огороду. Жаркий июль подсушил, поджарил землю — подошвы жжёт, но она всё равно босиком. Льёт из шланга то на грядки, то на кустарники, а то и на себя. Управилась, посидела на лавочке у веранды несколько минут и пошла из колодца воды зачерпнуть, чаю попить перед обратной дорогой.

Такого вкусного чая никогда дома не бывает, ту же траву домой привезёт, заварит, а чай не тот. Уже несколько лет разгадывает секрет, а разгадать не может. И воду колодезную домой в бутылке возила, нет — не то.

Задумалась на минуту над секретом дачного чая и пошла с ведром к колодцу. Зачерпнула и стала вытаскивать, и тут верёвка змеёй вокруг руки обвилась и тянет вниз, пока разматывала, не заметила, как колечко с пальца стянула.

До конца лета она в колодец заглядывала, колечко жалея, а оттуда — одна чернота глубокая и ощущение потери безвозвратной.

В сентябре, он сухой выдался, вся вода из колодца ушла, так, чуть на донышке, только на чай и хватало. В этот день она огород чистила: сухие ветки срезала и жгла вместе с картофельной ботвой. Управившись, опять пошла к колодцу за водой для чая. Про колечко уже и не вздыхала, смирилась. Вытащила ведро и, крышку не опустив, задержалась, любуясь небом. Только что пасмурнело, а тут облака раздвинулись, и солнце сияет вовсю,

брызжет светом прямо в колодец, а там, под тонким слоем уже успокоившейся воды, — колечко блестит, всё на виду.

Постояла, подумала и решила — полезу. Как-то уже за ведром лазила, по скобкам, которые до самого дна, всё равно ловкость нужна. Но колечко манит.

Поставила чайник и решилась, только оглянулась — не видит ли кто, соседи скажут — вот дура старая, да и бомжей боязно: припрут крышкой, но аллея пустая, и на соседских дачах — тишина.

Ступеньки идут в два ряда, от одной до другой почти шпагат, распласталась по стенке колодца и ползёт потихоньку, сама над собой посмеиваясь, представляя эту весёлую картинку: она — скалолазка. Лезет и то на колечко вниз глянет, оно так и блестит, так и манит, то вверх на солнышко, чтоб тревогу унять, не дай Бог, тут остаться.

По прежнему опыту помнит, что ступенек было одиннадцать, вроде уже всё одолела, а внизу ещё две. Опустилась ещё на две — глянула вверх — всё те же одиннадцать, а внизу опять две. Тревога к сердцу подступила, может, сознание теряю, так ведь упала бы, а тут держусь, да и чувствовала себя нормально, а теперь какое-то состояние полусонное одолело, когда не поймёшь, явь это или чудится.

Держится за скобы, руки уже устали. Ладно, думает, ещё попробую, две ведь всего осталось. Одолела их, а внизу снова две, наклонилась, одной рукой держась, потянулась за колечком, оно само навстречу тянется, вот достану…

3. Сын за отца…

Господу всё известно…
Притчи Соломона

Опять он тут. Сидит парнишка на земле, поджав ноги, и как они у него не затекают… уже холодно, а он в парусинках, в лёгкой рваной курточке, без шапки.

— Здравствуй, Женя, на вот тебе, поешь, — Наталья Николаевна протянула ему пакет с пряниками, — ты же замёрз, даже губы синие…

— Да я уже ходил греться, — с трудом шевеля губами, ответил мальчик.

За два года знакомства женщина многое поняла о нём: и то, что живётся ему плохо, и то, что правды он не говорит, потому что и правда плохая, и людям не всё расскажешь. Отца нет, мать пьёт, брат умственно отсталый. Где живут — не понятно, то один адрес назовёт, то другой:

— Мы теперь на Московку переехали, к мамкиной подруге, — при очередной встрече сказал он Наталье Николаевне, — это далеко…

Боялся, видно, что она к ним в гости соберётся. Что мать пьёт — не говорил, вот только работы она никак найти не могла. Позже Наталья Николаевна поняла, что и Женя тоже не учится: когда учиться, целыми днями у храма.

В воскресенье утром женщина торопилась на службу, только за угол свернула и затревожилась — нет Женьки, она ему ботинки старшего внука несла и печенье.

Рядом с тем местом, где обычно мальчик сидел, — машина. Глянула — там мужчина лет сорока и Женька на заднем сиденье. Подбежала, застучала в стекло, водитель открыл дверцу.

— Что случилось? — Наталья Николаевна заволновалась, время дурное, мало ли что с мальчишкой сделать могут. Женька прехорошенький, просто ангел.

— Вы его знаете? — спросил хозяин машины.

— Уже два года…

— Садитесь, поговорим…

Она села на заднее сиденье рядом с Женькой, мужчина в полоборота к ним.

— Неделю назад я забрал его к себе домой, у меня сын чуть постарше… накормили, одели, а сегодня он опять весь в рванье. Я хочу знать, если кто обижает, я разберусь, я в Афгане служил, любую сволочь прижучу…

Мальчик сидел молча, опустив голову.

— Женя, — Наталья Николаевна чуть прикоснулась к его холодной руке, — ты боишься, что если будешь хорошо одет, то тебе не подадут?

— Да, — кивнул мальчик.

— Вот вам и весь ответ, — горестно произнесла женщина, — он кормит семью, это его работа, и он старается сделать её как можно лучше.

Мальчик уже успокоился, сидел, улыбался, ему не терпелось похвастаться, в конце концов, ему было всего двенадцать, и этой тётеньки он не боялся. Женька закатал рукав куртки, на грязном цыплячьем запястье красовались новенькие часы.

— Я вчера купил, двести пятьдесят стоят…

— Хорошие часы, Женя, — вздохнула Наталья Николаевна и подняла глаза на мужчину.

— Надо его в интернат, — неуверенно произнёс бывший афганец.

Женька насторожился.

— И брата туда же, — добавил хозяин машины.

— А мать на помойку, — грустно произнесла женщина, — отпустите вы его, мы с вами можем только накормить его и одеть, а вся его жизнь от нас не зависит, вы ведь не возьмёте его к себе?.. Там ещё второй… да он и не пойдёт, вы меня простите, я на службу опаздываю…

Она вышла из машины и, направляясь к храму, оглянулась. Дверца машины распахнулась, мальчик медленно, словно не веря своему освобождению, покинул опасное место.

Через два часа, когда Наталья Николаевна возвращалась из церкви, Женька сидел у забора храма, поджав занемевшие ноги.

4. О ветер времени…

Лучше быть смиренным…
Притчи Соломона

И опять она ехала в маршрутке с этими двумя цифрами — 66. Словно кто-то придумал, намекнул, но дальше не решился. Только эта маршрутка довозила Наталью Николаевну от дома до скорбного места, где теперь на больничной койке лежал муж, с которым прожита вся жизнь. Прожита и сладко, и горько одновременно, потому что любить до конца человека не просто. Это вначале видишь его и принимаешь таким, каков есть, а потом… потом… хочется многое переделать себе под стать.

А не получается. Вот и камушки, пока о каждый споткнёшься — и жизнь пройдёт.

Без измен, без пьянок жизнь прошла, но как ей казалось, и без тех особых знаков внимания со стороны мужчины, которые подтверждают тебе, что ты любима.

— А… да всё прошлое, — думает она, — а вот как сейчас?..

И глаза наполняются слезами. Сквозь слёзы город кажется чужим, неузнаваемым, да она и не заметила, занятая жизнью, когда он так изменился, её город. Магазины, магазины, магазины…

— И кто в них только покупает? — гадала Наталья Николаевна.

Все её знакомые покупали необходимые продукты и одежду на оптовках, где подешевле. Богатых не так много. Для чего же столько магазинов? Они представлялись ей прикрытием какого-то тайного и страшного бизнеса. Приходилось как-то заходить, но там же пусто — покупателей нет.

Наталья Николаевна снова глянула в окно маршрутки, боясь проехать нужную остановку. Мужу не лучше, скоро месяц в больнице, а ему только хуже, капают и капают в вену. И бесполезно сопротивляться, особенно, когда лечащий врач, с улыбкой глядя тебе в глаза, убеждающе повторяет:

— Ну, вот видите, ему же гораздо лучше, напряжение мышц уменьшилось.

А ей наплевать, уменьшилось или нет, и Толе наплевать. Главное, что ему плохо, и он не может ходить. И в глазах одна тоска. Теперь ещё пичкают антидепрессантами. Тоска не от лекарств проходит, а от нормальной жизни. От всех этих лекарств вовсе ходить перестал. Дома хоть как-то двигался.

Его тоска и на неё давит. Каждый день плачет. При нём держится, а выйдет из отделения — и выть хочется. От жалости и беспомощности. И всех, всех лежащих здесь, так жалко, и ничего изменить в их жизни нельзя. Что она может? Только молиться.

Как время пролетело, думает она, как исчезло. Думали — жизнь впереди, все только ждали её, а она взяла, да и кончилась.

О, это время! Оно неумолимо катит волны свои, смывая всё на пути. Ропщет, стонет, несмиренное смываемое, укоряя время в несправедливости. Но время одно — гонит, другое — вызывает. И приходит новое, молодое, отряхивает прах небытия, осматривается и понимает, что не так уж это плохо — быть.

Уходящее уверено, что всё, что после него, непременно будет хуже. А приходящее потирает руки, собираясь переделать мир, но не успеет, само вскоре оказавшись уходящим.

И всему — всем так хочется всё ощутить, испытать, изведать в этом вихре — урагане жизни.

О, ветер времени! О, ветер наслаждений! Сколько людей жаждали оседлать тебя. Поймать ветер, вскочить на лихого скакуна, на его тугую спину, вонзаясь пятками в крутые бока, ухватившись за распластанную дикую гриву, и гнать, гнать, мчать без конца и края, познавая полноту жизни и впечатлений.

И удавалось многим на миг вскочить в неустойчивое седло и взлететь. Но и мига хватало, чтобы иссушить седока, уничтожить его плоть и сбросить на землю белые кости в назидание ещё не вскочившим, но жаждущим. Но никто не назидался чужими уроками. Вон, выстроились миллионы с уздечками, с арканами, с жаждой, которую нельзя утолить.

Как-то Наталья Николаевна слышала в радиопередаче, что 67 % опрошенных ставят целью своей жизни — наслаждение и обогащение, напрямую их соединяя. Её ужаснули и цифра, и цель. Значит, стать человеком — такой нужды ни у кого нет.

Ветер меняет направление, а люди постоянны в своей жажде удовольствий…

Она отвлекалась на размышления, а потом снова молилась. Дома не успевала. А здесь, чтобы слёзы не лились из глаз, но они всё равно лились, с молитвой ещё больше.

Теперь она молилась и за соседей мужа по палате, за всех болящих и скорбящих.

— Спаси, Господи, — и перечисляла, — Василия Фёдоровича, Евгения Борисовича, Игоря, Анатолия. Потом докторов, сестёр, нянечек перечисляла, но за Татьяну — постовую медсестру — особо молилась, за доброго человека с другим чувством слова слетают.

Все в одной жизни живём, а друг к другу поразному относимся. Один — жалеючи, а другой — только бы оттолкнуть.

В этот день её ждали три радости: дежурила Татьяна, и, вместо Игоря, лежал рядом с мужем новый больной. Анатолий Петрович шепнул, когда все ушли на обед:

— Он тоже от этого лечится, — щёлкнул себя пальцем по шее, — а так хороший мужик, умный, добрый, он врач-психиатр.

— Будет тебе теперь с кем наговориться, — оживилась Наталья Николаевна.

— Он Улицкую читает, одну книгу мне дал, только держать трудно, но я уже две страницы одолел. Мы с тобой читали: «Медеины дети». Но я снова начал.

— Это очень хорошо, что он читает, — скажет Наталье Николаевне доктор, когда она, уже попрощавшись с мужем, забежит на минутку в ординаторскую, — значит, потихоньку восстанавливается.

И ещё в отделении появилась новенькая нянечка, какая-то очень знакомая, Наталья Николаевна пригляделась к ней и даже спросила:

— Мы с вами никогда не встречались?

Санитарка засияла ангельским личиком:

— Да нет, я вас не знаю…

Но Наталье Николаевне и голос её казался знакомым, и манера говорить.

— Она такая добрая, — похвалил Анатолий Петрович новенькую, — такая внимательная…

5. Колодец

Кто любит богатство,
тот никогда не насытится.
Притчи Соломона

И вдруг, словно не было ни ступеней, ни колодца, очутилась она в каком-то огромном пространстве. Только мелькнуло солнце над головой и исчезло. Надо бы испугаться, а ей не страшно, словно не с ней всё это происходит.

Странный свет, похожий на полумрак, но всё же дающий отчётливо видеть, особым образом высвечивающий предметы и переливающийся, то открывая, то закрывая перспективу.

И ещё — явное ощущение, что она здесь не одна, что рядом Кто-то — Невидимый, он находится за источником света, и можно только угадать его присутствие, но не разглядеть. И этот Кто-то не несёт ей угрозы. Это она тоже почувствовала. Огляделась: помещение меняло форму, становясь то бескрайним коридором, то неуловимых размеров залом, в котором стены лишь угадывались, постоянно меняя очертания. Она попробовала подойти к стене, стена отодвинулась, но потом упруго вернула женщину на прежнее место. Она подняла глаза и поняла, что стена совершенно прозрачна, как чистое стекло, а за ней ещё один громадный зал, чем-то похожий одновременно и на мебельный магазин, и на жилые квартиры.

Словно много-много семей объединились в одном стремлении — красиво жить, успевая за временем и модой. Их жилища, в которых они собственно и не жили, не оставалось времени, разделяли такие же прозрачные стены, но они не видели друг друга. В каждой комнате царил хаос, так бывает при переезде на новую квартиру. Всё происходило быстро, как при ускоренном просмотре. Выносили одно, заносили другое: кресла, диваны, шкафы, горки, компьютерные столы… Всё начиналось снова и снова и продолжалось бесконечно, хозяева квартир старели на её глазах. И, главное, она никак не могла понять, зачем они это делают, меняя одно на другое, пока не уловила сути. Это же прогресс: вон тот первый шкаф или подобный ему она видела в бабушкином дому, а вот эти — буфет и шифоньер похожи на те, что были у родителе. Ой, а вот точно такой диван мы купили с мужем, когда поженились… А это, наверное, уже из будущего, я такого не видела никогда… Может, они хотят быть впереди времени? — попробовала угадать она.

Она словно спрашивала у Того, кто был там, за источником света, но ответа не последовало.

Она напряжённо вглядывалась, пытаясь разгадать, зачем ей это видится. Особой страсти к мебели у неё не было. Конечно, хотелось когда-то и комфорта, и уюта, но возможности никогда не имели, да и жалели на это жизнь тратить: то в очередях люди отмечались годами, то блатом обзаводились. Это теперь — выбирай не хочу, а уже и не надо, да и не на что.

Вглядываясь, она заметила, что все эти люди, там, за стеклом, чем-то неуловимо похожи друг на друга. Разные, совершенно разные, а похожие… Выражением лица, — вдруг подумала она, не умея разгадать, какое же оно, это выражение…

6. Больница — мальчик

Меж мёртвых отыщи меня.
Псалмы Давида

Мальчик лежал в кровати. Он и не умел ничего больше, только лежать. Тоненькие, не двигающиеся скрюченные ручки, искривлённые не ходящие ножки. Громадная голова на тонкой шейке.

Иногда ручки и ножки совершали хаотичные движения, что производило ещё более пугающее впечатление, чем их неподвижность.

На некрасивом большом лице неожиданно почти осмысленные глаза. Мальчик не разговаривал и, по мнению врачей, не мыслил. Хотя выражение лица менялось, когда его называли по имени. Дима! И что-то неуловимое проскальзывало в глазах, вечно распахнутые губы начинали шевелиться, как бы пытаясь что-то произнести.

Дима одно умел — чувствовать. Он точно знал, хорошо ему или плохо. Если сухой и сытый — хорошо, и он улыбался. Мокрый, голодный, надо в туалет по большому (он не мог оправляться лёжа), начинал поскуливать. А когда было совсем плохо, это всегда случалось после посещения матери, она являлась раз в неделю и быстро уходила — вот тогда Дима начинал выть, так выть, словно вся его маленькая неосмысленная душа хотела вырваться на волю и не могла. И всем, кто слышал этот вой, тоже становилось плохо, страшно и неуютно.

Мальчик всегда внутренним чутьём знал день и час материнского прихода. И начинал улыбаться на полчаса раньше.

— Смотри, — говорила дежурная няня постовой сестре, — наш принц уже заулыбался, щас мамаша явится.

Она приходила ненадолго — нарядная, деловая, пахнущая свободой и дорогими духами. Типичная бизнес-вумен слегка за пятьдесят, на Диму едва выкраивался час в неделю, дела, дела, целовала сына в гладкую щёку.

К её приходу мальчика мыли, брили, приводили в не раздражающий мамашу вид, за что получали щедрые чаевые, каждая в свой карман.

— Может, он узнаёт, когда она явится, что мы начинаем его мыть-чистить? — строила предположения старшая сестра отделения.

Но однажды, во время ремонта, мальчика не успели привести в должный вид, за что были наказаны лишением премии и строго отчитаны мамашей. А Дима всё равно за полчаса до прихода матери улыбался открытым ртом.

— Он понимает больше, чем мы думаем, — мрачно сказала лишённая ожидаемой суммы сестра-хозяйка.

Дима обычно цвёл улыбкой до вечера дня посещения. А ночью вой стоял на весь этаж. Снотворное не действовало, а большие дозы врачи запрещали давать — вредно.

— Их бы сюда на такую ночь, — ворчали сёстры и санитарки, которым от Диминого воя некуда было спрятаться, слышно сквозь любые двери.

Мальчик тосковал по дому. Он помнил, он точно знал, что когда-то было иначе. Он жил в другом доме, и Она всегда была рядом, целовала в лоб, меняла пелёнки, говорила. Тогда он ещё не умел выть.

Мальчик любил, когда к нему прикасались, гладили. Успокоить его можно было только одним способом: сесть рядом, взять за руку и гладить по голове долго-долго, часа два. Вой затихал, переходил в подобие стона, а потом и вовсе исчезал. Мальчик впадал в забытье, похожее на сон, в котором была Она.

Только Татьяна, постовая медсестра, в силу одной ей ведомых причин, тратила на мальчика драгоценные два часа своего возможного отдыха. Остальные поступали иначе, прятались то в ординаторской, то в кабинете сестры-хозяйки, где за толстыми стенами воя было почти не слышно.

Больным в эту ночь снились кошмары, Дима выл, пока не срывал голос, потом просто хрипел, а потом проваливался в тёмную яму, отчаянно цепляясь беспомощными ручками за край пропасти. А утром санитарки возмущались:

— И почему он всегда обсерётся после прихода матери! Накормит, чем попало. После нашей еды у него всё чин-чином, посадишь на судно, а тут теперь отскребай это говнище…

Дима по-своему просился на горшок, поскуливать начинал. Одной его не поднять, всё равно вдвоём приходилось, да ещё поддерживать с двух сторон, чтоб не свалился.

— Ему сколько лет, такой и вес, — отметила Светлана, новая санитарка, — легче моего Женьки, а моему-то всего двенадцать.

— Да нет, чуть побольше, — возразила Татьяна, — ему — тридцать, а весит — тридцать пять.

— А мамаше сколько? — спросила нянечка. — Она, вроде, совсем молодая.

— Богатым не трудно молодыми оставаться: и пища не наша, и крема всякие, и подтянут, где хотят, себе рожи, — горько произнесла медсестра, — она его в двадцать пять родила, я её почти на двадцать лет моложе, а выглядим одинаково.

— А чё ж она такого урода-то, всё есть, а уродов рожают, — размышляла Светлана, она своим Женькой гордилась.

Татьяна усмехнулась:

— Мужа у подружки, говорят, увела, вот Бог и наказал, хотя лучше бы как-нибудь иначе, а то вон его спихнула, ей хоть бы что, а мальчик рассчитывается.

6. Колодец

Я сказал себе: попытаюсь
насладиться всем, чем смогу…
Екклесиаст

В этом зале все занимались любовью, если только любовью можно заниматься. То, что совершается в тишине и тайне, здесь было явлено откровенно и бесстыдно в любых извращённых формах. И здесь тоже никто не видел других, поглощённый страстью, каждый тонул в своих ощущениях.

Ей стало плохо, она опустила глаза, потом снова подняла.

— Если это мне показано, значит, есть и во мне…

Тут были и мужчины с женщинами, и мальчики с мальчиками, и девочки с девочками, и старики, лобзающие и ласкающие детей, и садисты, и вопящие жертвы, и насилие, и кровь. И Содом, и Гоморра. Присутствовало всё, что она считала пороком. И продолжалось бесконечно.

Пары менялись, объединялись в тройки, в группы, применяли плётки и наручники. Глаза у людей были открыты, но казались незрячими. И не зрение двигало их по залу, а неизбывный инстинкт похоти. И ни на одном лице ни любви, ни нежности, ни того светлого восторга, который всегда сопровождает любовь. Ясно было, что и партнёры любовных сцен не замечают друг друга, каждый занят только собой.

И ещё она заметила на лицах совокупляющихся сочетание сладострастия с обречённостью, словно им уже невмоготу заниматься этим, но и отказаться они не могут.

— Это ад? — спросила она Того, кто был за источником света.

— Вряд ли, — возник беззвучный ответ в её голове, — они же кайфуют.

— Но это… навсегда? — она хотела понять наказание это или награда.

— Это то, чего они хотели… — снова поняла она ответ.

8. Верины страсти

Позорящая женщина —
словно смертельная болезнь…
Притчи Соломона

Он заболел внезапно. Страшный необратимый диагноз, очень редкое заболевание. Сгорел за три месяца.

Познакомились они на фронте в последний год войны. Ей — восемнадцать, ему — тридцать. Она, как ветер, свободна, а у него дома — жена, дети — ждут с войны. Он врач, капитан медицинской службы, она выпускница фельдшерского училища. Жажда жизни толкнула их друг к другу. Это были любовь и страсть, умноженные на войну. Никогда так не любится, как перед гибелью, потому что только любовь побеждает страх смерти.

Был до войны Пётр Сергеевич хорошим доктором и любящим мужем и отцом. Но то, далёкое, за трёхлетней разлукой теперь казалось сном и туманом, рядом с этой горячей, живой и желанной женщиной. Он не вернулся домой после войны. Сначала соврал, что не отпускают, года два врал, прилежно посылая содержание. Но слухом земля полнится. Узнала и его семья на Украине, что он уже два года живёт и работает в далёкой Сибири, что есть у него новая жена и маленькая дочь.

Получил Пётр Сергеевич от них письмо, которое Вере не показал. Были там слова, больно ранящие сердце.

«Дорогой, Петруша, — писала жена, — мы с мальчиками молились за тебя все эти годы, и вот, слава Богу, ты живой. А что нашёл там себе счастье, так я это понимаю, трудно мужику одному столько лет… Мы тебя не забываем…»

Через несколько лет подросшие сыновья навестили их в Сибири, познакомились с сестрой и братом, к тому времени уже и мальчику было шесть лет.

А потом Пётр Сергеевич заболел. Вера не отходила от него ни на шаг, пока не закрыла ему глаза. Уходя, он повторял одну и ту же фразу:

— Как ты будешь одна?.. Как ты будешь одна?..

Жена молчала, боясь разрыдаться. Всего тринадцать счастливых лет, ей только тридцать два, выжили на войне, а теперь он оставляет её… Вдова. Какое страшное слово.

Два года после похорон жила в тумане. Работа, дом, дети. Делала всё необходимое, не прилагая души, которая замерла на это время.

Они с Петром после войны занимались стоматологией, он-то и был стоматологом, и её научил. И дома подрабатывали — тайно протезировали. Хотелось жить получше, ребятишки росли, а на зарплату не разбежишься. С войны осталась привычка каждый день выпивать, и на это тоже требовались деньги. Рисковали, а кто не рискует, тот и не живёт. Вся жизнь — риск.

После смерти Петра Вера протезное дело не забросила, но бралась за самое простое — коронку поставить, как раз в моду фиксы золотые вошли.

Дети подросли: Раиске — пятнадцать, Косте — двенадцать, а ей — тридцать четыре. И тут заголосила плоть так, что стало невмоготу. Жить! Жить! Жить! Мужики войной повыбиты. Уцелевшие или намертво к семье прикованы, или уже по нескольку любовниц имеют. Бабам — утешение, им — забава. Даже на случайную ласку — никого. А она — в самом теле, сильная, огневая, и лицом хороша, и — никого.

Стала чаще к бутылочке прикладываться, но выпивка страсть не гасила, только разжигала. А у Веры всё праздники, один за другим. Тут день рождения Раиски подоспел.

— Зови весь класс, — распорядилась мать.

Наташа приехала домой на выходные, ещё не успела наговориться, бежит соседка — тётя Вера.

— Наташка, у нас праздник, Раиске — пятнадцать, приходи, нечего дома сидеть…

Наташа домой вернулась за полночь, не до разговоров с матерью. Утром за чаем начала встревожено:

— Что-то там, мама, не ладно… у тёти Веры… не понравилось мне всё это. Весело, конечно, но как-то всё нечисто. Страшно. Она всем ребятам выпивку дала, кому самогон, кому бражку. Косте тоже, его вырвало…

И сама со всеми танцевала, с мальчишками, так, как-то неприлично, чересчур уж к ним липла, особенно к Витьке, это Раискин друг. Все пьяненькие, им же по шестнадцатому году, пошли по углам обжиматься-целоваться. Нет, просто ужас какой-то. Зачем я ей нужна была?..

— Может, она лишнего выпила, не понимала, что творит, — утешила Наташу мама, — я с ней поговорю.

В следующий Наташин приезд мама невесело сказала:

— Права ты была, дочка. С катушек сорвалась наша Вера, не остановишь. Я всё собиралась с ней поговорить, да не успела. Тут такое завертелось. Дней десять назад Костя прибежал, ревёт, испуганный, три часа ночи, «там мамка на Витьке скачет…» Они и не видели, как он из дома выскользнул. Напоили с вечера, он уснул. А ночью по нужде приспичило… бедный ребёнок. Я его до утра у себя оставила. Утром пошла с этой дурёхой разбираться.

С Верой разбираться было бесполезно, как с ума сошла. Не могла себя обуздать. Утрами мучилась раскаянием, утешалась самогонкой, после третьей рюмки совесть утихала, становилось весело, отчаянно и не страшно. В объятиях этого мальчишки она ещё чувствовала себя живой. А так — всё было мертво.

Разговора с Наташиной мамой Вера испугалась. Поняла, что попала в яму, а выбраться ни сил, ни желания. Выход один — Раиска. По пьянке её своему юному ухажёру и подложила. Теперь Витька работал на два фронта. Дома им не интересовались: отец на войне погиб, а мать все силы тратила на удержание отчима, вокруг вдовы да молодухи.

И всё же пошли слухи, Раиска забеременела, кто-то из соседей написал в органы. После прихода участкового Вера засобиралась на Украину. Сбежали быстро, от позора, участковый пригрозил, что объявят их дом притоном, и в двадцать четыре часа выселят в неизвестном направлении.

Продали тайком дом и ночью, как воры, ни с кем не прощаясь, отчалили.

9. Больница — смерть мальчика

Всему своё время.
Екклесиаст

Дима млел, когда его ласкали, гладили по голове, когда санитарки мыли его. Только на грубую Клаву не реагировал. Прикосновения всех других женских рук доставляло ему коротенькое наслаждение.

И после ухода матери, ночью, когда он выл, и Татьяна гладила его по голове, он испытывал то же самое. Но и оставленный, брошенный, двухчасовым воем, он добивался такого же мгновенного чуда, после чего только и мог заснуть, словно именно это мгновение и было единственным доказательством его жизни. Новенькая санитарка, впервые обмывая его, обмаравшегося после посещения матери, удивилась, бросилась к дежурившей Татьяне.

— Слушай, — зашептала смущённо, — я его мою, а у него попрыгунчик играет, что делать?

— А ничего… — ровно проговорила Татьяна. — Живой же человек. Самый возраст. Это голова у него слабая, а гормоны, как у всех. Он всё понимает, небось, на Клавку не реагирует.

Многого она навидалась за десять лет стажа в этой больнице. Всех жалеть — с катушек слететь. Но Диму жалела. В минуту вставала перед её мысленным взором череда дней, которые он провёл здесь, и которые ещё предстояло провести, и ужас охватывал душу.

— Уж лучше умереть!

Ей было за тридцать. Дома подрастал и выпрягался двенадцатилетний сын. Муж ушёл к другой, к богатенькой, когда сыну было всего семь. Татьяна ненавидела Димину мать, словно это она увела её мужа, и жалела мальчика, как своего сына.

Отделение, поужинав, получив порцию химического сна, утихало.

— Ну, ладно, — потянувшись всем телом, Татьяна наказала новенькой санитарке, — ты тут поглядывай, а у меня свои дела.

Она заглянула в палату, где лежал Сергей, чуть кивнула головой, пошли, мол, я свободна. Свобода эта была весьма относительна: ни от нищеты, ни от несогласия с сыном, ни от отчаяния жизни она не спасала. Но давала возможность ощутить себя живой и, может быть, даже немножечко любимой.

Сергей пожелал Анатолию Петровичу спокойной ночи и покорно пошёл за Татьяной. Он и сам не знал, испытывал ли к ней какие-либо чувства, кроме, пожалуй, благодарности. И рубашки постирает, и еды домашней, пусть и скромной, принесёт. Всё вкуснее казённой. И за ночные ласки тоже был благодарен. Именно по ночам ему всегда было невыносимо плохо. Диагноз — алкогольная депрессия. Она и в периоды запоя была тяжела, а уж после — вовсе невыносима. Одиночество — дело тяжёлое. Он уже семь лет один. Где-то в Италии бывшая жена (вышла за итальянца) и единственный сын. Он сам дал разрешение на выезд. Что он мог противопоставить той, сытой, жизни? Пил он и раньше (жена всегда ему это в упрёк ставила), но не так, как сейчас.

Медсестрички его обожали, всего сорок лет, видный, добрый, а что пьёт, так, кто в России не пьёт. Он и крутил сразу с двумя-тремя. Им утешение, и ему отрада.

Светлана проводила взглядом Сергея и Татьяну, вздохнула, когда за ними закрылась дверь ординаторской, поудобнее устроилась на стуле. Она работала здесь первый месяц, до этого год мучилась безработицей, Женька — сын старший — кормил, он и сюда её устроил через какую-то свою знакомую. Надо посидеть хоть несколько часов, а то вдруг кто нагрянет с проверкой, тогда — прощай, работа. А работа её пока устраивала: и зарплата повыше, чем в других местах, и от больных еды много остаётся, она даже детям иногда приносит, и ответственности с этими психами не много. Всё равно — ненормальные.

После двух часов ночи она забиралась в бельевую и проваливалась до пяти утра. Тут уж хоть Дима вой, хоть кто другой закричись, бесполезно. Спала мертвецки беспробудно. А до двух томилась на стуле в коридоре, клевала носом, заглядывала в палаты, если слышала шум, не столько для помощи, сколько из любопытства.

Она сидела, рассматривая рекламный журнал, оставленный на столе Татьяной, когда услышала лёгкий шорох и движение воздуха возле лица, будто взмах крыльев, словно огромная птица пролетела мимо, обдав её дыханием полёта. Санитарка вздрогнула, огляделась: осень, холодно, окна закрыты и засечены, какая птица. Да и увидела бы, ведь не спала. Тревожно сделалось на душе, беспокойно. Ей показалось, что движение воздуха было направлено прямо за её спину, в открытую дверь Диминой палаты. Заглянула. Никого.

И мальчик спит, всхрапывая и крепче сжимая и так сжатые навеки пальцы, словно он что-то хочет удержать в них неудержимое, а оно всё равно ускользает.

Вспомнила своего Женьку. Слава Богу, подумала, здоровый. Маленький, а уже кормилец. Её не смущало, что он бросил школу и побирается, ей и в голову не приходило, что он пропадает, каждый по-своему в этой жизни выкарабкивается. Она днём и Татьяне похвалилась:

— Женька у меня не пропадёт — сам наестся и другого накормит. Вот Игорёха — младший, он не такой, а Женька — парень, что надо.

Любила Светлана Женьку. Он ей и на бутылочку приносил. Правда, с этим она завязала. Участковый пригрозил детей отобрать, струхнула, куда она без них, они её защита. При них она человек — мать. Вот и пошла сюда.

И снова её ветром опахнуло. И шорох прямо возле лица. Струхнула по-настоящему, так что коленки ослабли.

Стучится, скребётся в дверь ординаторской. И тех потревожить — опасно, попадёт. И ужасы одолевают.

— Чего тебе? — в приоткрывшуюся дверь показалась взлохмаченная Татьянина голова.

— Там… — залепетала санитарка, и не знает, что там… — там… летает кто-то, что-то, словно дух или… приведение…

— Ты видела? — спросила медсестра, прикрывая зевок ладошкой, её трудно было удивить.

— Не, я слышала, и ветер прямо в лицо… Оно к мальчику, а потом от него…

— Сквозняк, наверное, форточки закрой, некому тут летать. Иди уже спи и мне не мешай, — строго проговорила Татьяна, плотно закрывая дверь.

— Чего она? — прошептал Сергей, принимая её в объятия.

— А, — махнула рукой Татьяна, — мерещится всякое.

А Светлана, боясь оторваться от спасительной двери, боясь сдвинуться с места, опустилась на пол, спиной к косяку, да так и просидела до утра, то задрёмывая, то всматриваясь в концы слабо освещённого коридора, слушая вздохи, шепотки, смех и стоны за дверями, которые были единственной чёткой реальностью жизни и вырывали её из нереальности происходящего.

Потому что разуверить её было нельзя: что-то невидимое, достаточно большое, пролетело возле неё дважды, опахнув движением воздуха и какой-то могучей силой. Как в грозу, подумала она, когда ударит рядом. И вдруг поняла, что даже запах озона был, как после кварцевания.

Татьяна в пять утра с трудом отворила дверь ординаторской, отодвинув спящую на полу у дверей санитарку.

— Вот дура заполошная, — оглянулась, поманила за собой Сергея, — посмотри, она тут всю ночь свидетелем просидела.

Начинался новый день жизни 9-го отделения психиатрической больницы. Дежурные сёстры и санитарки заперекликались, забегали по коридору, не боясь разбудить больных, их через час всё равно вырывать из химического сна, давать лекарства, ставить уколы.

Татьяна вошла в третью палату, включила свет. Подошла к одному больному, ко второму, тряся за плечи.

— Пора просыпаться, подъём, ваш укольчик…

Димина кровать была последней, у самой двери, она всегда начинала не с него, давая ему лишние секунды забытья.

— Дима, — положила руку на странно холодное плечо, повернула к себе его лицо с блаженной улыбкой и облегчённо-горько вздохнула, — отмучился.

И только тогда вспомнила санитаркин рассказ.

10. Больница

Глупость человека разрушит его жизнь,
но он во всём обвинит Бога.
Притчи Соломона

Как будто что-то произошло, Наталья Николаевна и сама не поняла, что случилось: то ли лекарства подействовали, то ли погода устоялась, то ли Господь внял её молитве. Но вдруг, словно глыбища с души и тела свалилась — отпустило.

Только что вокруг всё серое и неприглядное озарилось, засветилось, стало разноцветным и ярким. И воздух из тяжёлого сделался лёгким, игристым… как шампанское пьянил при каждом вдохе. И грудь дышала свободно, и шаг пружинил. Вчера ноги таскала, как старуха, а тут, словно лет двадцать сбросила: шла упругой походкой и сама себе нравилась. Будто со стороны на себя смотрела — вот идёт пожилая, но какая моложавая, лёгкая, спортивная женщина. И рассмеялась своей глупой внутренней хвастливости:

— Ах ты, дурочка старая, — конечно же, себя старой никак не считая.

А и то, подумалось, какая же старая, когда такой воз везу, двум молодым не потянуть. И, уже грустно вздохнув, — что бы я без Тебя, Господи, делала. И уже со слезой на глазах и содроганием гортани, — прости, сохрани и помилуй, Господи. И пошёл перечень дорогих сердцу людей: и тех, кто ближе, и тех, кто подальше.

Когда немощь и отчаяние одолевали, тогда молилась за узкий круг, о тех, кто под самым крылом. А когда отпускало, когда Бог силы давал, то собирала вокруг себя в молитве всех: и ближних, и дальних. Физически ощущала их присутствие, наполнялась благодарностью к ним, за то, что были в её жизни. Каждый след в душе оставил — верёвочку-ниточку протянул, чтобы жизнь крепче была. И удивительное дело: всякий раз после такой искренней молитвы кто-нибудь из поминаемых да выныривал из глубины жизни. Кто-нибудь, лет сорок назад потерявшийся, вдруг объявлялся, словно услышав, как она его имя Богу молитвенно шептала: «Сохрани и спаси…». Теперь к поминаемым прибавились и больничные люди.

В этот день Наталья Николаевна впервые шла в больницу к мужу с лёгким сердцем и надеждой, но и с готовностью принять то, что есть. Всем нам хочется переменить, переделать жизнь, убрать её тяготы и болезни, думала она, и пыталась найти ту разумную меру, черту, где надо уже остановиться, не бороться бессмысленно с обстоятельствами, то надеясь, то отчаиваясь, когда надежда не исполняется; черту, за которой должно последовать смирение. О, великая это наука — принять, что посылается, и научиться с этим жить, достойно неся свой крест.

И всё-таки сжалось сердце, когда надавила кнопку звонка и услышала вдалеке, за двумя дверями громкий звон. Там — другой, страшный мир, с которым так трудно смириться. И переделать невозможно. Можно только любить и жалеть тех, кто живёт в этом безумии, так похожем на безумие всего мира в концентрированном виде. В насыщенном растворе греховного мира, словно рассчитываясь за все его грехи.

Дежурили Татьяна и Светлана. Это был хороший знак. Наталья Николаевна заметила, что они, в отличие от многих других, все же видят в своих пациентах не просто сумасшедших, а живых, страдающих людей. И к Анатолию Петровичу чаще других санитарок подходила Светлана, в её дежурства он всегда был умыт и ухожен. Наталья Николаевна положила в карман санитарки две шоколадки:

— Вашим мальчикам.

Она знала, что у Светланы сыновья-подростки, и растит она их одна. Обычно санитарка радовалась гостинцам, а тут только головой кивнула.

Видно было, что очень расстроена.

Наталья Николаевна кинулась в палату к мужу. Все на местах, все в сборе, и Анатолий Петрович сидел на кровати, упираясь коленями в кровать Сергея и глядя в сторону двери, ожидая жену. И у него вид был невесёлый, но раз сидит, значит, дело не в нём.

— Что случилось-то? — целуя мужа в небритую щёку, тихо спросила женщина. — Сейчас я тебя побрею.

— Дима умер ночью… — прошептал муж, кивнув головой в стену, за которой находилась палата мальчика.

— От чего? — также шёпотом спросила жена.

Анатолий Петрович пожал плечами. Наталья Николаевна перекрестилась:

— Помяни его, Господи, во царствии Твоём… Наверное, так и лучше, что прибрал его Господь, намучился ребёнок за свою жизнь… а я думаю, что́ персонал сегодня невесёлый… С матери теперь обязанность спала — ходить к нему раз в неделю…

И спохватилась: что́ я знаю о чужом горе, а сужу.

Сергей на соседней кровати отсыпался после бессонной ночи. Татьяна его и будить утром не стала, пожалела. Шёпот прямо над ухом разбудил его, он открыл глаза, полежал, бессмысленно глядя в потолок, прислушался к разговору и неожиданно громко произнёс:

— Избавился человек от этого ужаса, радоваться надо…

От его голоса вздрогнул под одеялом Евгений Борисович, а Василий Фёдорович заговорил, возбуждённо ходя по палате:

— Не досмотрели… такой молодой… несправедливо, может, не то лекарство дали, мне не додают, а ему, может, лишнее…

— Куда смотрел ваш Бог, — обратился Сергей к Наталье Николаевне, — когда мальчик страдал?

Наталья Николаевна мягко ответила:

— Он не только мой Бог, но и ваш, и что это мы всегда за наши грехи с Бога спрашиваем? — и уже твёрдо произнесла, — Ладно, живым — живое. У меня сегодня пирожки с капустой и малосольные огурчики. Евгений Борисович, ау, покажитесь на свет Божий, пирожки очень вкусные, будем Диму поминать. Василий Фёдорович, подходите. Серёжа, это Вам…

11. Предательство

Кто любит опасность, то впадёт в неё.
Серах

Невысокого роста, изящная, гибкая, как лоза, лёгкая и ласковая, как ветерок нежаркого дня, Викуся, несомненно, выигрывала на фоне своей крепкотелой, чуть грубоватой, с нежным, но несколько лошадиным лицом подруги Ирины.

А ещё жаркие карие глаза, а рядом Иринины — блёклые голубоватые. Правда, Ирине тоже нельзя было отказать в привлекательности, просто — другая. Но парни всегда выбирали Вику. Так случилось и с Павлом. Любовь — любовью, а дружба — дружбой. Дружили втроём.

Студенты-медики отличаются от всех других студентов. Непрочность человеческого тела, конечность жизни, недолговечность юности открываются им с первых походов в анатомку и клиники. Одним это добавляет мудрости, другим — бравады и цинизма, а третьим — торопливости, боязни опоздать, желания успеть, пока длится эта короткая хрупкая жизнь.

Пожалуй, Павел был из последних, Вика из первых, а Ирина из вторых. Поженились Павел и Вика на третьем курсе, а к пятому уже сыночек родился — Игорёк, который имел как бы сразу трёх мам: Вику, вечно сидящую над учебниками или отсутствующую, Викину маму, ради внука и дочери оставившую работу, и Ирину, охотно заменявшую первых двух. Она всегда была рядом, под рукой, свой человек в доме. Иногда исчезала на время очередного бурного романа, а потом виновато выныривала, я тут, я с вами, куда я без вас. И на свадьбе — подружка, и у Игорька — крёстная.

Пролетели институт и первые семь лет работы. Всё было прежним: любовь, дружба, семья, растущий Игорёк, половинчатое одиночество Ирины, иногда убегающей на сторону за очередным мужичком. И компания была своя ещё с институтских лет, проверенная годами привязанности. Только теперь собирались семьями.

Новый год решили отметить необычно — у Ирины в однокомнатной квартире.

— Пусть тесновато, — убедила она всех, — зато ребятишки не мешают.

Необычность была в том, что у Ирины под окном росла посаженная когда-то, при новоселье, ель. Теперь она дотянулась до третьего этажа, верхушка ели возвышалась прямо над балконом.

— Мы её украсим, повесим гирлянду, — ликовала Ирина, — балкон настежь, оденемся потеплее. Кайф!

Павел перед уходом из дома, когда уже сложили в сумки всё необходимое для стола и веселья, долго прощался с сыном. Прижмёт, поцелует, что-то шепчет на ухо, отпустит и снова притягивает к себе. Заранее подарок подарил, чего раньше никогда не было и чего так не любила Вика.

— Ну, что ты, в самом деле, — возмутилась она, — договорились же, что мама ночью под ёлку спрячет. Парню уже восемь, нацеловываешься с ним полчаса, не на век прощаешься. Опаздываем ведь, взгляни на время…

Им не было ещё и тридцати. Шампанское, ёлка, гитара, песни, танцы. Красота и молодость. Праздник удался.

— Всё-всё-всё… — сказала мудрая и осторожная Вика после двух часов ночи. — Балкон закрываем, вы, ребятки, уже плохо соображаете, распалились, все попростываете. Паша уже в рубашке отплясывает на балконе…

Дошумели до четырёх и начали расходиться. Вика и Паша остались помочь с уборкой. Павел расставлял мебель, Вика домывала посуду, Ирина подметала мусор.

— Уже утро, — устало вздохнула Вика, крикнула в комнату, — пора и нам, пойдём, Паша.

Павел появился в дверном проёме, он так и остался в её памяти впечатанным в этот проём.

— А ты иди одна. Я остаюсь здесь.

— Не поняла, — произнесла Вика по инерции ещё прежним ласковым тоном, — что значит, иди одна?

— Это значит, — коротко, резко, холодно повторил Павел, — что я остаюсь здесь. Навсегда.

Ирина как будто исчезла. Затаилась где-то в комнате. До Вики, конечно, дошёл смысл сказанного, она поняла его ещё раньше, при появлении Павла в дверях, только принять не могла, не хотела.

— Как же это? — растерянно повторяла она. — Как же это?..

— А вот так, — Павел говорил, словно дрова рубил, а не в её душу гвозди вколачивал, — мы с Ириной уже пять лет, тебя жалели, хотели, чтобы Игорь подрос. Все знали, одна ты, дура слепая, а может, не слепая? Может, тебя это устраивает?..

Он сорвался на крик.

— Я пойду, — устало произнесла Вика. Открыла дверь, вышла.

Никто не бросился ей вдогонку, не разуверил, не сказал, что это всего лишь шутка, пусть злая, но просто — новогодняя шутка.

И она перестала существовать. Словно взяли человека — душу вынули, а тело оставили. Только тело, оказывается, без души живёт по совсем иным законам. Вика дошла до дома и легла на кровать.

Утром мама долго её не трогала и Игорька не пускала, пусть отдохнёт после бессонной ночи. Отсутствие Павла её не смутило, она забыла график его дежурств, да его иногда и вне графика вызывали, прямо из застолий. Много поздней они с Викой поняли, что это был обман — уходил к Ирине.

Вика всё не выходила, и в обед Августа Александровна зашла в её комнату:

— Викуся, пора вставать, я уже стол накрыла, папа с Игорьком ждут, мы же ещё не поздравили друг друга.

Мама прикоснулась к дочерину плечу и, ощутив его неживую окостенелость, затормошила:

— Вика, Вика!

Бросилась к окну, раздвинула шторы. Дочь лежала с открытыми глазами. Лицо было лишено всякого выражения, просто мёртвая окаменелая маска. Взгляд направлен на потолок, словно там что-то происходило. Августа Александровна тоже туда взглянула — ничего особенного, просто белый потолок. Потрясла Вику за плечо, помахала рукой

перед глазами. Ужас охватил душу, сдерживая себя, чтобы не напугать внука, она позвала негромко:

— Гоша, иди сюда, Вика заболела…

Болезнь продлилась больше года. Вика просто отсутствовала в жизни. Неврологи, психиатры, терапевты, клиники…

Отец возил её в Москву. У неё выпали волосы, сошли ногти на руках и ногах. Вика не разговаривала, ни с кем не общалась, никого не видела, ни на что не реагировала, не ела. Её даже кормили через зонд. Она позволяла делать с собой, что угодно, оставаясь безучастной.

— Полная разбалансированность организма, — вздыхали врачи, — психический шок.

После очередного стационара Вика находилась дома, сидела на кровати между подушек, чтобы не падала. Игорёк был в школе, ему уже исполнилось девять, и он учился в третьем классе.

Раздался звонок в дверь. Августа Александровна с чашкой в руках бросилась открывать внуку. Впустила, чмокнула в щёку, стала закрывать дверь и выронила чашку. Та упала как-то слишком громко, звучно и раскололась на мелкие кусочки.

— Что случилось? — вдруг чётко произнесла Вика из своей комнаты, словно она спала, её неожиданно разбудили, и вот она спрашивает, а что это вы там разбили?

Мозг её находился в запредельном торможении, и также внезапно, как ушёл в него, так и вышел. И тогда она начала вспоминать. Целый год ни о чём не думала, а теперь только и делала, что вспоминала, сопоставляла и страдала. Потребовался ещё год, чтобы уйти и от этого.

Начав новую жизнь, Вика узнала, что Игорёк не видится с отцом, хотя Павел помогает материально — приносит деньги Августе Александровне.

— Не бери, — твёрдо сказала Вика, — обойдёмся. Теперь я буду работать.

Когда Игорёк узнал, что папа не будет с ними жить и что мама заболела от этого, он, увидев отца в первый раз после трагической ночи, твёрдо, как взрослый, произнёс:

— Я не хочу тебя видеть, пожалуйста, никогда не приходи к нам.

Павел и Ирина считали, что его подучила Августа Александровна, не мог же ребёнок сам… Вику, отсутствующую в жизни, трудно было в чём-либо обвинить.

Но Августа Александровна боялась за внука не меньше, чем за дочь, как же лишиться сразу и матери, и отца, она этого не хотела.

Игорь сдержал слово, никогда больше он с отцом не общался. И когда Вика через три года снова вышла замуж, он с радостью принял мужа своей мамы и стал без всяких указаний со стороны взрослых называть его — папа.

Ирина родила через несколько месяцев после той новогодней ночи Павлу сына. Но мальчик оказался с тяжёлыми пороками развития. Не говорил, не ходил.

Августа Александровна ничего не сказала дочери, не хотела новую боль причинять, а про себя думала, что ни одна подлость не проходит безнаказанно, а мальчика жалела — он не виноват.

12. Больница

Разум человека помогает
пересилить болезнь…
Притчи Соломона

Теперь Наталья Николаевна ходила в отделение с чувством большой потери. Не было мальчика. Коснулась её ненароком его несчастная жизнь и исчезла. Но ведь зачем-то было это касание, может, чтобы она поминала его в молитве?

Евгений Борисович лежал под одеялом, Василий Фёдорович, оживлённо говоря и размахивая руками, встретил её на пороге.

— С кем тут поговорить, кому ещё объяснить — опять не додали мне лекарств?..

— А может, вы запамятовали? — осторожно спросила женщина, боясь обидеть старика.

Но он, уже не слушая её, шагал по коридору навстречу медсестре. Анатолий Петрович лежал с расстроенным лицом. У Натальи Николаевны ёкнуло сердце. Опять что-то не так. Каждый раз новый сюрприз.

— Что случилось?

— Не знаю, — прошептал муж, — что-то мне нехорошо.

— Врачу говорил?

— Давление нормальное, может, от лекарств? — ему и говорить не хотелось, хотелось только одного — домой, там было лучше.

Всё разъяснилось, когда жена стала его умывать, обихаживать.

— Тебе надели новый памперс?

— Нет, это ты вчера надела.

— Так он же сухой, пустой! Ты что, целые сутки не мочился?

Наталья Николаевна бросилась к врачам, а потом уже в маршрутке с ужасом думала о том, что если бы она ходила не каждый день, то уже похоронила бы мужа. Он не дойдёт сам до туалета, и уткой пользоваться не может, поэтому и перешли на памперсы, а иначе и она бы ничего не узнала. Муж заторможен под лекарствами. И никто-никто не спросил…

— Нет, — думала она, — у нас, если хочешь убить человека, просто положи его в больницу, не надо на киллеров тратиться.

В новой заботе не подошла к Евгению Борисовичу, а теперь переживала и из-за этого.

И вдруг как-то в её сознании объединились мальчик и Евгений Борисович.

Всё то время, что ходила в больницу к мужу, она с пристальным вниманием вглядывалась в людей, лежащих рядом с ним, все казались неуловимо знакомыми, словно прежде приходилось встречаться с ними в жизни.

Вот и сейчас вдруг почудилось, что Димамальчик — это рождённый Павлом неполноценный ребёнок, а Евгений Борисович и есть как раз — Павел, не важно, что под другим именем, тот Павел, предавший когда-то её однокурсницу Вику-Викусю.

А где-то ещё есть Игорёк, брат Димы по отцу. Теперь он уже солидный мужчина, сам давно отец. И все они: Вика с новым мужем, Игорь со своей семьёй и Августа Александровна, которая всё ещё

жива, перебрались в другую страну, открывшую им свои объятия. И живут там припеваючи, забыв о всяких Павлах, притворяющихся Евгениями Борисовичами. Неправильно жил, вот и рассчитывается, а мальчик? Сын за отца не отвечает? Ещё как отвечает. И снова ужас охватил её. А как же Игорь? Он не отвечает за этого отца? У него есть другой, теперь он за того отвечает. А как же этот? Господи! Ну, всякая ерунда в голову лезет… да живёт этот Павел где-нибудь припеваючи и в ус не дует. Хотя прекрасно знала, что не живут у нас старики припеваючи, даже святые, а уж грешники…

Ей вообще эта больница казалась слепком, сконцентрированным отображением внешнего мира. Как будто специально всех этих людей сюда собрали, чтобы показать остальным — люди, вот что вы с собой делаете. Или спрятали, чтобы и дальше жить мерзко и не думать о последствиях, о ненормальности жизни. А через несколько дней случилось чудо. Анатолия Петровича и Сергея Ивановича — доктора — перевели в другую палату, которая показалась раем. Большая, светлая, с душевой кабиной, с коврами на полу, с телевизором. И всего на двух человек, словом — номер люкс.

Было неловко перед соседями по палате, хотя они никак не прореагировали на это событие.

— Я буду к вам заходить, — заверила Наталья Николаевна, раздавая принесённые из дома ещё тёплые оладышки.

Василий Фёдорович ходил взволнованно по палате, ворчал, размахивал руками, никак не прореагировал ни на её слова, ни на угощение.

Зато откликнулся быстро и почти радостно Евгений Борисович, показался из-под одеяла:

— Оладышки… это я буду, с удовольствием…

Анатолию она положила его порцию на тумбочку. Он, как всегда, ушёл с буфетчицей за обедом. Молчаливый, таинственный. Наталья Николаевна знала о нём только, что он из села, строитель и оформляется на инвалидность. Потом от кого-то услышала, что он год назад в гневе отрубил соседу руку. Сосед умер от потери крови, а Анатолий с тех пор лечится. Её эвакуированные подопечные были уже в другой палате, и она убежала кормить их, обернулась в дверях:

— До завтра.

Неожиданно Евгений Борисович оказал ей особое доверие. Она, как всегда, зашла их угостить, и он вдруг поманил её пальцем. Она наклонилась.

— Мне… кажется… вы… — он с трудом медленно говорил, подбирая слова, — добрая женщина…

Наталья Николаевна смутилась, а больной продолжал:

— У меня к вам просьба… лекарство… мне не принесёте?..

Наталья Николаевна насторожилась. Здесь это запрещалось. Даже у разумного Анатолия Петровича всё отобрали, только медсестра выдавала.

— А разве вам не дают? — спросила осторожно.

— У них не допросишься, анальгин мне нужен…

— Анальгин? — облегчённо вздохнула женщина.

Дело было не в цене, а в безопасности. Нарушалось больничное правило, и она должна быть уверена, что Евгению Борисовичу это не повредит.

— Принесу, не беспокойтесь…

И принесла, но только одну пачку. Тут уж если все десять сразу проглотит — не умрёт. Хотя кто его знает, что лучше, смерть или такая жизнь? Но смерть-то ещё заслужить нужно.

13. Колодец

Желание бедняков —
иметь вдоволь еды…
Притчи Соломона

Как только она подходила к стене, та становилась прозрачной, будто исчезала, оставалось только упругое присутствие препятствия. За стеной открылось огромное пространство, похожее на безразмерный ресторанный зал с обилием столов. По залу ручейками текли бесконечные потоки официантов. Виртуозно лавируя между столиками, служители пищевого наслаждения несли тысячи подносов, заставленных яствами.

На столиках менялись и менялись блюда, одно красочнее — экзотичнее другого. Те, кто сидел за столами, непрерывно жевали. Сквозь невидимую стену проникал ритмичный шум движения челюстей. Словно огромная жевательная машина перерабатывала неизмеримое количество пищи.

На лицах жующих было одинаковое сладострастное выражение, каждое новое блюдо встречалось с горящими взорами людей, жаждущих новых ощущений.

Она и сама любила поесть, а потом корила себя, опять объелась. Нет, чтобы вовремя остановиться. Да вечная спешка мешает, словно не ешь, а бежишь. Когда торопишься, всегда переéшь, чувство насыщения отстаёт от самого насыщения.

Она ощутила всё увиденное себе укором. Хотела было спросить:

— Это что, всё мои грехи?

Но передумала. Никогда мебель так страстно не меняла. Не потому, что не желала, не могла. Не на что было, да и жалела жизнь на это тратить. Кабы само шло, может, и не отказалась бы.

— Нет, это не просто мои грехи, что-то другое, не могу понять…

Люди за стеной ели и ели, и её вдруг затошнило от обилия съеденной ими пищи. Она закрыла глаза, упёрлась лбом в невидимую стену.

14. Расчёт

Дающий щедро получает ещё больше…
Притчи Соломона

Не хотел Евгений Борисович внешнего мира. Он полюбил химический сон, другого у него давно не было. С тех пор, как сноха не пригласила к столу в свой день рождения. Принесла ему в комнату салат, котлету, рюмочку налила, а к столу не позвала.

Сидел он у стола в своей комнате, роняя слёзы в салат. Так начался новый этап его жизни. Много их было — этих этапов. Родился в двадцать восьмом. В начале войны — двенадцать, в конце — шестнадцать. Отца убили. Мать рано умерла. У всех его ровесников так жизнь складывалась. Потом он сам свою строил. Армия, женитьба, сын — всё,

как у всех: общежитие, барак, квартира. Страна менялась, и жизнь менялась. Потом с женой скучно стало. Ну, выпивал…

Кто на Руси без этого греха? Надоело. Грызёт и грызёт, всю шею переела. Нашёл другую. Сама с ним выпивала и не пилила. Семью оставил. С сыном сначала виделся и деньгами помогал. Только после каждого свидания с сыном что-то в новой семье рушилось, какая-то струна лопалась, побоялся, что и здесь всё кончится. Куда тогда деваться, уже годы… стал реже с сыном встречаться, а потом и вовсе отвык.

Деньги, правда, до восемнадцати лет точно платил. А потом решил — всё, хватит! И жена одобрила:

— Теперь пусть сам, не маленький…

А потом она как-то очень быстро собралась да и умерла, какой-то скоротечный рак, как ему врачи разъяснили. И остался Евгений Борисович один, с сыном давно дорожки разошлись, затосковал, начал сыну позванивать, к себе приглашать. Наладил кое-какие отношения. У сына, видно, на него свои соображения были, предложил соединиться, жить вместе. Дочка его к тому времени съехала, замуж вышла.

Подумал Евгений Борисович и согласился. Одному век доживать — горе мыкать. Здоровье никудышное, и годы к семидесяти, дальше лучше не будет. Соединили квартиры, стали жить вместе. И приватизировали сразу всё на сына.

— Чтобы потом тебе мороки не было, — сказал Евгений Борисович, надеясь на лучшее отношение к себе за такой подарок.

Только не вышло по-хорошему. С год, наверное, всё было ладно: присматривались друг к другу, принюхивались. Ничего общего в прошлом нет, нужно как-то притираться.

А потом старик загрипповал. Две недели пришлось за ним ходить, как за маленьким. Вот тогда сын со снохой и поняли, что их впереди ожидает. Услышал Евгений Борисович их неосторожный разговор о себе:

— Ты что, надеешься, что я за ним горшки носить буду? Твой отец — ты и носи…

— Да какой он мне отец… Я без него всю жизнь прожил…

Понял Евгений Борисович, что расколотого не склеишь. И не каждый прощать научен. А потом к столу не позвали. Так началась его болезнь, унынием названная, а по-медицински — депрессия. Не долго сын терпел его капризы: плохое настроение, отказ от еды, из комнаты своей выходить не стал, лежит и лежит. Вызвали врача и уложили в больницу. В ту самую. Правда, в хорошее отделение, платное. Как раз стариковой пенсии хватило. Сначала думали только подлечить, а потом поняли, что так для всех лучше, да и оставили навсегда.

К тому времени, когда прибыл на лечение Анатолий Петрович, Евгений Борисович лежал в этой палате уже два с половиной года.

— Два с половиной года под одеялом, — ужасалась Наталья Николаевна, — тут за месяц с ума сойти можно, а он два с половиной года… Мальчик за стеной выл, эта женщина каждую минуту заглядывает, мужа ищет… как же он терпит?..

А он и не терпел. Пребывал в странном состоянии окаменения, не желая оживать, потому что камню не больно. Он не хотел судить сына, иначе надо было судить самого себя, а это не легче. Как аукнется, — часто звучало в нём, но без чувств, без эмоций, химия помогала не думать, не чувствовать, не знать, не помнить, не радоваться, не огорчаться… Врачи считали — депрессия. Но это была смерть души. О, если бы он мог покаяться, выплакаться, повиниться перед сыном, может, тогда и дотерпел бы сын его жизнь рядом со своей. А может, и нет. Потому что без любви людям друг с другом тесно. Все углы становятся острыми. Все один за другого цепляются, и от каждого касания искры сыплются.

Сын приходит к отцу раз в неделю, еду приносит. Евгению Борисовичу ничего не надо, он и больничного не съедает. Он слова тёплого ждёт, а может, уже и не ждёт. Спросит сын:

— Ну, как ты?

И он ответит:

— Живу… вроде…

Хотя и сам понимает, что давно не живёт. Даже в окно никогда не смотрит: ни на деревья, ни на облака, ни на птиц. Что они ему. Его уже нет. Только сухая жёлтая рука из-под одеяла, да игла в вене, и капает, капает в кровь химия, несущая терпение, а точнее — забвение.

15. Колодец

Но сами для себя они
были тягостнее тьмы.
Притчи Соломона

Она сделала шаг в сторону и снова ощутила присутствие тугой невидимой стены и упёрлась в неё лицом. Дыхание перехватило, она отступила назад, понимая, что её не отпустят отсюда, пока не покажут всё, что должно показать.

За этой стеной царил кайф. Конечно, она понимала, что тот же кайф был царём во всех других помещениях, просто здесь он присутствовал в чистом, в неприкрытом нуждой и любовью виде. Лестничные площадки, подвалы, тайные притоны, частные дома и квартиры, скамейки в скверах, ресторанные столики, залы игровых автоматов, казино — всё, где можно балдеть. Водка, травка, таблетки, шприцы, кнопки, фишки, клей — всё, от чего можно торчать.

Одержимые одной страстью безумные лица. У игрового автомата застыла старуха, неистово забрасывая в ненасытную пасть пятак за пятаком, она била грязным сморщенным пятачком по кнопке в ожидании выигрыша. Но автомат пожирал деньги и ничего не возвращал.

Слева, прислонившись к автомату, сидел мальчишка лет тринадцати, запрокинув бледное лицо с нелепой улыбкой, он водил по воздуху пальцем, словно что-то писал, в вене торчала игла, из которой капля за каплей сочилась кровь.

За автоматом стоял молодой мужчина с бутылкой водки. Он запрокидывал голову, делал глоток, потом обводил пространство невидящим взглядом, грубо ругался, бессмысленная улыбка трогала губы, и снова бутылка взлетала вверх.

Женщина заметила некоторое сходство между этими тремя. Они были совсем рядом с нею, она могла бы к ним прикоснуться, если бы стена позволила это сделать.

— Мать, сын, внук?.. — подумала она.

А чуть левее в комнате на кровати спали двое, полураздетые, видимо, мать и отец, на полу валялась недопитая бутылка. С этой бутылкой играл двухлетний ребёнок. Он поднёс её к губам, глотнул, задохнулся. Содержимое опалило детское горлышко. Ребёнок не смог даже закричать. Он опустился рядом с кроватью, на которой лежали родители, личико посинело, ручки-ножки судорожно дёрнулись, и он затих.

На зелёной скамейке в чуть зеленеющем весеннем парке стайка молодых ребят — мальчишки и девчонки баловались травкой. Им было весело, они хохотали без умолку и не могли остановиться.

И опять, опять это общее выражение на лицах. Она всё пыталась его определить, пока не поняла сути, это же почти формула: одержимость плюс сладострастие плюс обречённость равняется зависимость.

— И нельзя помочь? — она почти крикнула это бесстрастному Присутствующему.

— Без их воли — нет, — она и так знала ответ.

16. Наказание Господне

Осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы.

Премудрость Соломона

Наталья Николаевна, будучи человеком достаточно образованным и верующим, много размышляла над устройством мира, над страданиями человечества.

Не могла она поверить в жестокость Божью, никак не могла. Он — Всемилостивый, именно так она себе представляла Бога, так чувствовала, так воспринимала Его. И всё искала ответ на вопрос, откуда же столько страданий на Земле? Почему всякий грешник рассчитывается за зло, им содеянное? И такой ответ рождался в ней.

У каждого в душе есть око Божье — наша совесть. И это око присутствует во всех наших делах, сопровождая всякий миг жизни. Никто не знает, что ты творил, никого не было, тем более, если просто думал, желал зла. Только Бог знает, Он — свидетель. И грешная душа изнемогает от этого немого, не осуждающего и не наказующего Свидетеля. Она не может смириться с тем, что все её дела Кто-то знает до конца. Она жаждет освободиться от этого, тягостного для неё, Чужого знания, и пожирает — наказует сама себя. А Бог так и остаётся только Свидетелем.

Не жестоко ли это? Нет! А где же Его милосердие? А милосердие проявляется только при покаянии. И сразу око Божье избавляется от скорби и наполняется радостью. Но ничего Господь не совершает без нашего деятельного участия, без участия нашей души, без огромного её труда. Он смотрит на этот труд и принимает его.

Но грешники — все, а покаянных — единицы. В любую жизненную ситуацию вникни — все правы. Каждый готов на своём стоять до конца. Никто не склонит покаянно головы: да простите меня, люди добрые, это я во всём виноват, я — причина вашей свары.

— Господь милует, когда мы милуем, — думала Наталья Николаевна.

Она старалась не осуждать. Когда-то вычитала, а потом сама прочувствовала: не знающий греха его в другом не видит. Видишь — значит, это в тебе есть. Обличаешь всегда себя. Тут не обличать надо — каяться. Кричать — Господи, помилуй меня. Не зря маленькие дети так доверчивы. Они не знают обмана. Потом научиваются.

И ещё Наталья Николаевна научилась жалеть людей, которые совершают неладное. Знала — все обязательно рассчитаются. Вот за эти грядущие страдания и жалела. Ну и что, что сейчас он на коне, а что впереди? Часто вспоминала материны слова: «Ему теперь с этим жить». И детям, и внукам, и правнукам. Потому что всё, что творили не то, остаётся в нас, в наших клетках. И так из поколения в поколение. А потом столько накопится, что вот тебе и Дима-мальчик, несчастная душа, за всех предыдущих страдающая.

Пусть не Дима, другой, полегче, но ведь тоже груз нести. Скольких она знала, рады бы от чего-то в себе избавиться, а оно — в крови, в генах. Тут уже и борьба должна быть с собой до крови, без саможаления.

Тоже где-то вычитала, что если человек избавится от греха, то снимет его со всех предыдущих и последующих поколений. Будучи врачом, понимала про последующие — не передаст в генах, а на предыдущих спотыкалась. Разве только на мистическом уровне — что-то вроде того, раз у тебя нет, значит, не передалось, значит, и там, раньше, очистилось. Было сладко от этой мысли, но и страшно. Потому что избавиться от греха — дело трудное. Сто потов, сто потоков слёз, твёрдая мысль, что лучше я умру, чем снова… да кто же на это готов?

Да и различение греха в нас не развито. Взял чужой листок бумаги — не грех, а вот миллион украл — грех. А суть одна — взял тебе не принадлежащее. Суть одна — и суд один.

Она и о себе знала. С работы много чего домой носила, так, кто ж у нас не носил. Все — несуны. И сейчас ещё носят, хотя уже, вроде, рынок, и хозяева — не государство, строже глядят. А всё равно умудряется народ. Это уже в крови, дети родителями научены.

Для неё это уже давнее, сейчас носить нечего и неоткуда. Но вот на огороде веточка с чужого сада в твой заглядывает, то сливы, то яблока не такого, как у тебя. Почему рука сама тянется, почему то, чужое, слаще кажется? Что за грех в крови? И страсть в тебе такая просыпается: и оглянешься, и сорвёшь, и съешь с азартом, словно тайное и недозволенное куда как лучше явного и дозволенного.

Был у неё раньше огород далеко за городом. Вольная воля. Началось садоводство, да не состоялось, то ли начальство не то досталось, то ли перестройка помешала, вернее — дефолт. Всё и рухнуло. Но несколько лет ходила она по четыре километра пешком от тракта, всласть по утренней

росе, а вечером на закат за уходящим солнцем. Отвоёвывала у целины по лопатке, сегодня, да завтра, да послезавтра. Там грядочка, да там грядочка в траве целинной. Благодать. И небо над головой, и Иртыш под боком. Берег обрывный. Близко вода, а не натаскаешься, вниз да вверх. А рядом сосед, никогда ею не виденный, начал было дом строить, колодец вырыл, по фундаменту видно, что внутри дома колодец. Основательные планы были у соседа. Видно, зимовать собирался, чтобы вода не замерзала. Да так всё и бросил. Правда, не совсем. Тоже грядки появлялись.

Ох, как колодец этот манил Наталью Николаевну. Рядом, и не прыгать с ведром, а всё пить просит. Всё-таки не удержалась, набрала чужой воды, оправдывая себя тем, что вся вода Божья. А чего ж тогда тайком, оглядываясь, как бы хозяева неожиданно не появились, да не застали? Нет, если бы встретила, повинилась бы, да разрешения спросила, колодец-то, знала она, любит, чтобы воду из него брали, иначе зачахнет. И не нравилось ей в себе не то, что воду брала, а то, что делала это со сладкой радостью добычи.

Потом другой сосед перегной завёз. А она как раз огурцы сеет. А ей только завтра завезут. Грядку сегодня надо делать. Взяла несколько вёдер взаймы, но ведь всё равно без спроса, значит, как украла. Конечно, вернула, даже пару вёдер лишних, боясь, что для себя набивала плотнее, чем для них. От себя-то руки не так ловко орудуют, как к себе.

А воду в колодец не вернёшь. Дело давнее, давно раскаянное, но она знает, как трудно себя от греха уберечь.

17. Колодец

…Все были связаны одними
неразрешимыми узами тьмы.
Премудрость Соломона

Она снова приблизилась к стене, и стена стала прозрачной, исчезла, только упругая волна отделяла женщину от огромного пространства, наполненного молящимися. Их было тут бесконечное множество: кто-то молился стоя, другие на коленях, третьи читали толстые книги, сидя в удобных креслах, некоторые неистово тряслись и кланялись, а прямо перед нею молодые люди в ярких одеждах танцевали, речитативом выкрикивая слова молитвы.

— Наконец-то, — облегчённо вздохнула женщина, устав от вида несчастных, утонувших в страстях.

Она вгляделась в лица молящихся: несомненно, вне зависимости от формы молитвы, в них было нечто общее. И вдруг она поняла, что лица этих людей похожи на лица людей в других залах — страстью, наслаждением и одержимостью, написанными на них. И ещё на них тоже была печать зависимости, обречённости, проглядывающая сквозь экстаз. И так же, как в других залах, эти люди не видели друг друга и ничего вокруг себя.

Свет был ярче в центре, а по углам как бы угасал, сгущался, и она с содроганием увидела там, в этом полумраке, других людей, тянущих руки к свету, к молящимся. Там лежали, сидели, ползали немощные, увечные, искалеченные. Они беззвучно вопили, взывая о помощи. Но никто не видел и не слышал их.

Молящиеся, то кланяясь, то вставая, незаметно смещались к центру, приближаясь друг к другу. Руки их были заняты чётками, молитвенниками, иконами, книгами. На книгах читались названия: Тора, Библия, Коран. И вот настал момент, когда двигаться стало некуда, они упёрлись один в другого, по-прежнему не видя ни рядом стоящих, ни стенающих по углам.

— Это рай?! — ужаснулась женщина, ища ответа у Присутствующего.

— Это только человеческие понятия, — она скорее поняла, чем услышала ответ.

И тут некая догадка осенила её — все получили то, что больше всего любили, то блаженство, которое стяжали сами для себя в течение жизни.

— Но это немилосердно! — она пожалела всех, увиденных ею. — Разве ничего нельзя сделать?..

И опять ответ сам возник в её голове:

— Они не могут принять иного пути, иной радости, они не готовы, не умеют…

18. Братья — враги

Лучше иметь корку хлеба,
но с миром в душе…
Притчи Соломона

Между Васькой и Ванькой — семь лет разницы. Родившиеся за эти семь лет ребятишки, мальчик и девочка, умерли во младенчестве от поноса, что в деревнях прежде часто бывало.

А Ванюшка выжил, и у семилетнего Василия появился младший брат. В тридцатом во время коллективизации погибли отец и старший брат, и Василий стал старшим мужиком в доме, двенадцатилетним хозяином и работником. Чудом выжили в голодные годы. Мать Таисия да шестнадцатилетняя сестра Ульяна с помощью Василия вытянули, вынесли жизнь на своих плечах не без надрыва.

Потом Василия забрали на Финскую, домой не успел вернуться — началась война с Германией. А в сорок третьем и подросшего брата Ваньку забрали тоже. Загорелось, заболело сердце у Василия, куда ж такого мальца, пацана в эту бойню, да ещё в танковые войска, сгинет, пропадёт. И так семья ополовинена. Василий, выучившийся перед самой войной на шофёра, всю войну и прошоферил. И видел в этом фарт-удачу, всё надёжнее, чем пехота. Хотя пуля — дура, и снаряд не умней, но всё же ему везло, всего несколько раз легко зацепило — царапнуло. А Ваньку в танкисты, — на погибель.

Написал Василий сразу десять писем, по всем инстанциям, даже командарму. Чего только там не наплёл ради спасения брата: и что мать-старуха одна, ей будет спокойнее, коли они вместе, и про дух боевой не забыл, как он удвоится от встречи. Спас Ваньку, не успел тот сгореть в танке. А когда появился брат в части, понял Василий, что Ваньки-то давно уже нет, а есть бравый, под два метра росту богатырь-Иван.

— Вот ядрёна вошь, — выругался старшой, — они куда ж смотрели-то, ты как в танке умещался?..

Иван белозубо и счастливо рассмеялся:

— А в три погибели…

Вернулись братья домой только после окончания войны на Восточном фронте. Живые и здоровые, но от нормальной жизни отвыкшие, со вздёрнутыми нервами и стойкой привычкой каждый день остограмливаться.

Уже и младший в годы вошёл, а старшему давно пора жениться. Девок полно, в один год семьями и обзавелись. Материн домишко пополам поделили, дверь между комнатами запечатали, достроили по кухоньке, и живи — не хочу. Почти сыто и почти счастливо. Оба пошли шоферúть. А жёны у того и другого оказались медички.

Иван быстро обзавёлся сыном, а у Василия это получилось только с третьей попытки, что не добавляло ни радости, ни ощущения полноты жизни.

Братья любили друг друга, но, обзаведясь семьями, стали ревниво друг на друга поглядывать. А как у вас? Не лучше ли, чем у нас? Вы диван купили, и мы купим. Вы сенцы пристроили, и мы начнём. А потом мать умерла, младшему чуть просторней стало, она у него ютилась, а уже двое детей при всей площади — комната, кухня да сенцы.

И тут старшей снохе Катерине на работе квартиру выделили, давно на очереди стояла. Радость, а не полная.

Во-первых, квартирка игрушечная, только что не на земле, а так, спаленка — кровать с шифоньером уместились, и котёнку хвоста не протянуть. И кухня — четыре метра квадратных, только что приготовить, а обедали всегда в зале. Но всё же: печи не топить, воду не таскать. И ещё одна забота — что со своим домишком делать? Жили бы одни, никакой заботы, продали и всё. А тут брат рядом, ему тесно. Вроде и отдать — несправедливо, и деньги взять — совестно.

Василий уже дарственную оформил, но вмешалась Катерина:

— Ты с ума сошёл, что у нас нужды нет? С какой стати мы должны быть такими добренькими? Мы и так всё им оставляем: и сарай, и баню вместе строили. А земли сколько ты в огород завёз, на полметра поднял. Ну, пусть немного, пусть в рассрочку, но не даром же…

Не согласился бы Василий, если бы Иван, науськанный со своей стороны Зинаидой, не начал первым трудный разговор:

— Дом-то был материн, мы её у себя всё время держали, тебя не стесняли. Теперь дай и нам вольготно пожить.

— А мне что же в материнском дому доли не было? — рассердился Василий.

Дарственную отдал, но поставил условие:

— С тебя триста рублей, чужим я бы дорого продал, а тебе за три сотни, можешь не сразу, но отдай…

Обрадованный таким решением вопроса и малостью суммы, Иван сразу согласился — по рукам ударили и дарственную, как положено, обмыли.

Но вечером Зинаида всё переиначила. Загнула фигу, повертела ею в воздухе:

— А вот этого он не видел — триста рублей… Щас, разбежались. Никого при вашем разговоре не было, что ты обещал, дурак, заплатить. Вот и разговора не было, а вот это есть, — она потрясла перед его носом бумагой со сладкими словами дарения, — так что пусть оближутся, всё по закону.

Прошёл год. Катерина напомнила мужу:

— Ну, и на сколько ты Ивану рассрочку дал, холодильник надо купить, а денег нет…

Пошёл Василий спрашивать у брата. Тот мнётся. Разговор затеяли во дворе, но Зинаида, увидев Василия, носом учуяла — за деньгами пришёл. Вылетела, в чём была, руки в муке, ещё тот, растяпа, раскошелится.

— Что же ты брата в дом не зовёшь, нашли, где разговаривать, пироги у меня…

— Да я на минуточку, — отмахнулся Василий, — холодильник у нас полетел, мучаемся, не частный дом, погреба нет. Пришёл про долг напомнить.

— Какой долг? — удивилась Зинаида.

— За дом. Что, тебе Иван не рассказал? — в свою очередь опешил Василий.

— Ну, почему ж, рассказал, какое ты доброе дело сделал, и дарственную показал, она у нас в особом месте хранится. А долг-то какой?

— Дак мы ж договорились… — начал было Василий, но взглянул на меньшого и всё понял. — А-а-а, идите вы…

Повернулся и домой. Только у Катерины не отвертишься. Сам бы он плюнул и всё. Катерина настояла, вечером пошли вдвоём выяснять отношения. Выяснили, на всю оставшуюся жизнь. Больше друг к другу ни ногой — двадцать лет. Даже к сестре Ульяне в гости на дни рождения и то порознь ходили. Если один сегодня, то другой обязательно назавтра. Словно им друг при друге тошно.

— Да вы посдурели оба, — горюет сестра, а сделать ничего не может, — подкаблучники, бабы вас развели…

И Ваньку уговаривала:

— Отдай, не обеднеешь, неужели брата терять, он тебя в войну под крылом держал, от погибели спас.

И Василия умоляла:

— Да наплюй ты на эти деньги, не дороже брата они, обойдётесь. Моя же доля тоже в мамином дому была, я ж ничё не прошу.

У братьев на этот счёт своё мнение. Для мира не было причин.

Через несколько лет поднялись на месте материнской избушки хоромы. Дом светлый, просторный, высокий, не чета Васильевой кладовке. Опять соль на рану. Иван и Зинаида и на работу, и на деньги оба хваткие, от них ничего не убежит.

— Моя Зинаида, если не украдёт, дня не проживёт, — хвалился Иван.

Зинаида и вправду мимо рук ничего не пропускала. Участок при доме неважный — болотистый. Огород держать можно, а ягода-кустарник не растёт. Ходили летом в питомник за малиной-смородиной. Недорого — только сам собирай. Она и тут умудрялась хоть литр, да даром утащить, под кофтой припрятать. Эта-то, ворованная, она и есть самая сладкая. Так и наэкономили на дворец. Вот тут волна обиды вконец захлестнула Катерину, а где Катерину, там и Василия.

— Мы тут до старости ютиться будем, — кричала Катерина мужу, — сыну кровать некуда поставить, а у них там…

Она в гневе и докричать не могла, чего это такого уж у них там. Ну, дом, ну, большой, в три комнаты, кухонька да прихожая. Вот и все хоромы. А дети уже повырастали, сын из армии пришёл, женился. Не так уж и жируют.

Наталья Николаевна вспоминала своих дядек, теперь уж никого не было в живых, и ужасалась. Что можно с собой сделать, как можно не по-людски братьям прожить — врагами, а ведь могло быть всё иначе.

Неправильно жил… Она присматривалась к Евгению Борисовичу, к Василию Фёдоровичу, к молчаливому Анатолию — тёзке мужа. И то в одном, то в другом всплывали вдруг знакомые черты.

— Может, и они, может, и у них так же? — думала она.

Запойный врач Сергей напоминал ей дядькиного сына. И все они за всё отвечают. За родителей, за свою неправильную жизнь.

Потом Иван заболел тяжко, не просто, видно, виноватым жить. Перед братом, который тебе в войну жизнь подарил.

Водочка в болезни тоже не последнюю роль сыграла. Вот и умирал теперь в своём большом дому совсем нестарым человеком. Катерины уже не было, она ещё раньше, не дожив до пятидесяти, улетела, но братьев это не помирило.

Наталья Николаевна приезжала в городок летом, побывала у дядек. Столько лет её покойная мама пыталась примирить Василия с Иваном. Теперь дочь продолжила её дело.

— Дядь Ваня, — ласково говорила она, — ты вот так болеешь, что же с Василием не помиритесь, пусть бы навестил…

— Придёт — не выгоню, а звать не буду, — отрезал дядька.

Как же, придёт, думала племянница, глядя на угрюмую, но всё ещё воинственную Зинаиду. Но всё же и Василию сказала:

— Ждёт ведь тебя Иван, а ты чего ждёшь, пока помрёт? Как тогда будешь?

— Я с ним не воевал, не я войну затеял, я эту стерву видеть не могу, а он — подкаблучник.

Так и не сходил к живому.

А весной Наталья Николаевна приехала всего на полдня на машине и в суматохе не собиралась никого посещать. Только позвонила, чтобы узнать, а оказалось, что Иван в больнице, в коме. Как не сходить в последний раз к живому. Ей на это везло. Всю родню проводила, к уходу каждого руки и сердце приложила.

Зинаида была рядом с умирающим. Дурной запах наполнял палату. Наталья Николаевна задержала дыхание.

— Он только что обкакался, — прошептала ей в ухо Зинаида, обрадовавшись, что не одной эту смерть принимать.

— Перед смертью, — также тихо ответила племянница.

— Ваня, Ванечка! — затормошила умирающего Зинаида, хотя он с вечера был в коме, ей не хотелось верить в его уход. — Смотри, посмотри, кто к тебе пришёл…

И умирающий, глядя невидящими глазами, видя уже иное, невидимое им, выдавил с надеждой:

— Ва-си-и-лий…

Через минуту Ивана не стало. Перекрестив его и себя, побежала Наталья Николаевна, оставив рыдающую Зинаиду, к Василию.

— Он его ждал… он его ждал… — одна мысль жгла её, — а Василий не пришёл… как теперь с этим ему жить.

На похороны Василий явился, одолел себя. Что бы раньше-то, думала Наталья Николаевна, всё делаем, когда поздно.

Теперь, глядя на лежащего под одеялом Евгения Борисовича, понимала, что и тот прячет там, в своей темноте, какую-то неправду жизни, с которой и жить невыносимо, и умирать страшно.

И чудилось ей порой, что это Василий лежит под одеялом, а она ничем ему помочь не может. А он и лежит вот так, брошенный, никому не нужный, под толстым кособоким слоем земли, на поселковом кладбище.

И оградка криво стоит — некому поправить. Единственный, долгожданный, сын в другом городе живёт, не очень далеко, да не едет.

Умирал Василий один, чужие люди за деньги дохаживали. Сын приехал на похороны, а потом — продать квартиру, и всё. Кто его знает, может, беда какая? А разве брошенные могилы матери-отца не беда? А у него уже свои два сына взрослые, как дед их любил, души не чаял. Им за эти могилы не отвечать?

Конечно, есть причины, на всё есть причины. Только не быть человеком нет причин.

Пил Василий, силу мужскую терял. Поговаривали, что Катерина замену ему нашла. Семьями дружили. Видать, и тому удобно было. Василий то ли не знал, то ли — терпел. А потом всё рухнуло в одночасье. Когда фундамент сгнил — дому не стоять.

Василий после очередного запоя с инфарктом в больнице, а у Катерины — скоротечный рак. Сгорела за месяц. Сын помог непослушанием. Институт бросил, в который она его затолкала без его желания. Она не смирилась. Отчаяние и сгубило. Привезли за час до смерти домой, в сознании была — настояла. Хотела на своей кровати умереть. Василий и не хоронил.

Потом, когда выписали, обнаружил, что у жены на сберкнижке денег нет. У них у каждого своя была. А друг — машину купил. Связал Василий всё воедино и с горечью сыну сообщил. Против покойной матери настроил. А она только сыночком и жила, одна была отрада.

Знала правду только Ульяна, мать Натальи Николаевны. Но говорить не стала, зачем новую свару заводить. Деньги Катерина не подарила, а заняла, и Ульяне об этом сообщила. Умирать, видно, не собиралась, а уж сына обижать тем более.

Ульяна ждала, что друг Василиев после смерти Катерины долг-то отдаст Василию, но тот воспользовался смертью Катерины. Так и в свой час грех с собой унёс или на детях оставил.

Сын ни разу к Катерине на могилу не пришёл. А потом и к отцу. Что посеешь, то и пожнёшь.

19. Больница

Если слаб ты во время беды,
значит, ты действительно слаб.
Притчи Соломона

Уже два года он думал и думал о своей доле, о болезни, которую приходилось нести, и никак не мог смириться. И сейчас, лёжа в этом аду, мечтал только об одном — скорей домой. Анатолий Петрович не верил уже ни врачам, ни лекарствам. Ему становилось только хуже, и всё это от лекарств. Как же верить?

— Надо потерпеть, — утешала жена, — тяжёлые лекарства, и подбирать их очень сложно, каждый по-своему реагирует. Непростое это дело…

Наталья Николаевна и сама видела, что ему только хуже становится. Каждый день рыдала от безысходности, но мужу несла только надежду — вот завтра…

Приходило завтра, и всё было то же самое: немощь, неподвижность, отчаяние. Надежда ещё теплилась, тут всё-таки общение, вот теперь с Серёжей, так она называла врача, лежащего в одной палате с мужем. И палата у них теперь с душем и телевизором. Надо потерпеть, вдруг полегчает.

Но Анатолий Петрович жил изо дня в день только ожиданием её прихода и того часа, когда отпустят домой.

Конечно, в этой палате да ещё с таким соседом было терпимо. С Сергеем смотрели телевизор: нашлись общие интересы, футбол, хоккей, новости. Обсуждали политическую ситуацию, говорили о будущем России.

— Вот оно — наше, будущее, — обводя руками территорию больницы, горько констатировал Сергей Иванович.

— Ну, зачем вы так, — возражал Анатолий Петрович, — какие времена ни возьми, всегда было трудно, но ведь жил народ, выбирался…

Когда разговор пришёлся в присутствии Натальи Николаевны, она, конечно, не утерпела:

— Знаешь, Толя, — проговорила медленно, — когда-то всему приходит конец. Наступает момент, когда столько накапливается неправды, что назад пути нет… и не находит Господь даже пяти праведников.

— Гены — говно, — мрачно добавил Сергей Иванович.

— Хотите сказать — апокалипсис?! — сыронизировал Анатолий Петрович.

— Если не остановимся в безумии и бессердечии, то, видимо — да, хоть и не хочется в это верить, — Наталья Николаевна опустила голову, — если нет исправления, всё деградирует…

И вздохнула:

— Бедные дети…

Сергей начал быстро ходить по палате, туда — сюда, замелькал перед глазами, и женщина опомнилась, он тоже нездоровый, не стоит с ним вести эти разговоры, и уже мягко добавила:

— Серёжа, я ваш любимый салат принесла, свекольный…

— Будем утешаться жратвой, — зло проговорил врач, — в конце концов, все мы наркоманы, только, кто от чего балдеет, в этом вся и разница, мы в бутылке, а вы — в храме.

Наталья Николаевна не стала возражать, поставила на стол баночку с салатом.

— Ешьте, чего спорить?

— В споре рождается истина, — вмешался Анатолий Петрович.

— Если спорящие слышат друг друга и задумываются над сказанным, — жена взглянула на него и подумала уже про себя: истина рождается в любви и прощении, только мы разучились любить и прощать.

Последнее время она пыталась открыть в себе любовь к мужу, отрыть её из той неведомой глубины, куда она рухнула, и где её завалили бесконечные тягостные проблемы выживания. Теперь перед ней был другой человек, не тот, которого она полюбила когда-то, с которым прожила столько лет, то утрачивая что-то в отношениях, то обретая. Сейчас остались усталость, забота и жалость, а временами — раздражение и протест, когда сама с ног валишься, а он ещё капризничает. Тогда зло говорила:

— Ты что больше всего в жизни любил — полежать? Вот тебе Господь то и послал на старость лет.

Разве это была любовь, та, жертвенная, когда она думала, позови он на край земли, и пойду? Может, это и есть — край земли. И она пойдёт, конечно. Но не с радостью и любовью, а с горькой обречённостью. Не хотела этого, и потому упорно искала в себе любовь. Заметила уже, что, как только он тяжелеет, — она готова на всё ему легче, и ей хочется освободиться, отряхнуть с себя это наваждение — бесконечное несение тяготы другого человека.

Как уж тут судить Димину мать, когда и самой от ноши хочется иногда сбежать. Где уж тут радостно крест взять и нести?..

Прежняя любовь убежала, а новая не нарастала, пока она не поняла, что отношения их прошли все стадии: была пылкая любовь, с возрастом появилось нечто братски — сестринское, дружеское, а теперь — третья и, видимо, конечная, стадия. Теперь она в роли мамы. А он — дитя, больное, капризное порой, но дорогое, увечное, но любимое. Твоё и терпи… терпи с любовью, тогда легче. Легче говорить, а нести…

20. Больница — потеря

Глупая жена разрушает дом свой глупостью.
Притчи Соломона

Она бегала и бегала по коридору, заглядывала в открытые двери палат, обводя больных невидящим взглядом.

— Мужа моего не видели?

Один и тот же вопрос каждый день, каждый час, каждую минуту.

— Надоела, — ворчал Василий Фёдорович, — всё ходит и ходит, какого-то мужа ищет, глаз у неё нету…

И вспоминал свою жену — хорошая была женщина, тёплая. Всех грела. Все его беды начались, когда её не стало. Разве бы она его сюда упрятала? Но иногда он забывал, что Евфросинья умерла, и тогда чувство горькой обиды охватывало его — бросила, и он кидался к дверям, выталкивать эту,

ищущую мужа, вымещал на ней свою обиду. И эта, поди, тоже бросила, а теперь ищет.

Никто не сочувствовал её пропаже, никто и на вопросы не отвечал. Бегаешь — и бегай дальше, надо же чем-то день занимать. Только Светлана в начале своей работы в отделении ещё пыталась успокоить больную:

— Нету его, ушёл, сегодня не придёт, завтра будет.

Но у больной не было завтра. Было одно бесконечное страшное сегодня, растянувшееся на всю оставшуюся жизнь. Была потеря, ничем не восполнимая. И лекарства, отупляя, не уничтожали потери.

Какого мужа она искала? Один ли он у неё был? В чём она перед ним или он перед ней были виноваты?

Наталье Николаевне эта больная чем-то напомнила вдруг соседку тётю Веру. С её безумной тоской по мужу, с её страстями и историей, так печально закончившейся. Ничего о дальнейшей судьбе соседей она не знала. Затерялись где-то на просторах тогда ещё Советской родины. Но страшно было представить, как должны были сложиться их жизни, и вспоминались материнские слова:

— Ох, как её жалко, ей же с этим жить.

С чем-то и эта больная, ищущая мужа, живёт, думала Наталья Николаевна, умывая Анатолия Петровича. И всем нам жить с тем, что успели в жизни натворить.

Сегодня дежурила Светлана, поэтому Анатолий Петрович был умыт и обихожен, но она всё равно проделала всё снова, раз пришла, нужно же что-то делать. Опустила Светлане в карман шоколадку.

— Это для ваших мальчиков.

— Женька у меня кормилец, — с гордостью сказала санитарка.

Наталья Николаевна вздрогнула, вгляделась в её лицо, как же сразу не догадалась…

— Ему сколько лет? — спросила осторожно.

— Да уже двенадцать.

— А как же — кормилец?

— Да у церкви побирается, — беззаботно махнула рукой санитарка, — иногда двести рублей за день собирает. Теперь вот я ему помощница, теперь мы заживём, а то он один бился.

Ничего не смогла произнести Наталья Николаевна. Какие слова тут помогут? Она всё равно не поймёт, эта женщина, Женькина мама, что гибнет мальчик, если уже не погиб. И, вроде, человек неплохой. А что толку, как им иначе выжить? Никак. Поэтому из её относительного благополучия и соваться в эту бездну бессмысленно. Светлана и Женька цепляются за один день, сегодня выжить, не пропасть, а завтра, да и будет ли у них это завтра?

— Господи, как ты всё соединил? — эта мысль не давала покоя Наталье Николаевне.

Как же так получилось, для чего ей нужно было встретить здесь Женькину маму, чтобы увидеть её и не судить? А всё остальное? Почему ей видятся во всех прежде знаемые люди? Вот все они теперь тут и рассчитываются за свои неправильные жизни. И они с мужем тоже.

Нет на земле безгрешных. Каждый чем-то виноват. И сидит на каждом вина, как погонщик на горбу, и гнёт к земле человека.

Судьбы больных, когда она что-нибудь о них узнавала, оказывались так похожи на то, что она знала о себе и о других, что вглядываясь в их лица, вслушиваясь в имена, она почти верила, что вот соединил Господь всех грешников в стенах этой больницы, и получился готовый ад. Ад при жизни! Конечно, начало этого ада лежит за стенами больницы, здесь лишь продолжение.

— Мужа моего не видели? — остановила её больная уже у самой двери.

Сестричка рассказывала, что в молодости она изменила мужу, а тот умер — от инфаркта. Прожила она без него свою жизнь нескучно, ещё трёх мужей имела, но все умирали. Сын остался только от первого брака, он её сюда и определил на постоянное место жительства.

21. Больница — споры

Есть путь, который людям кажется
правильным, но он ведёт к смерти.
Притчи Соломона

Войдя в палату, по лицу мужа увидела, что опять не всё в порядке. Улыбнулась ему и Сергею Ивановичу, поздоровалась:

— Спасибо, Серёжа, — она его так называла, по-домашнему, без отчества, — что Анатолию помогли, сам бы он до стоматолога не добрался…

— Да пустяки, — отмахнулся доктор, — что тут ещё делать, проводил, только и всего…

Наталья Николаевна разбирала сумки:

— Это вам, Серёжа, это мужичкам в палату, сестричкам, нянечкам…

Без гостинцев не ходила. Пусть немудрёное, но домашнее: то оладьи, то пирожки с капустой, ранетки, помидоры, огурчики малосольные. Больничная пища приедается, да и внимание человеку дорого. Родные ходят один-два раза в неделю, это она к мужу каждый день бежит из-за его немощи. А нянечкам каково — горшки таскать? Как их не угостить?

Сергей Иванович, поблагодарив, вышел из палаты, дав им возможность совершить туалет, зная, что Анатолий Петрович стесняется. Но Наталья Николаевна сначала побежала в прежнюю палату, пока пирожки горяченькие. Вернулась расстроенная:

— Василий Фёдорович совсем никакой, ничего не помнит, растерянный, вчера носки в бане потерял, сидит босой, горюет… где-то у нас тут, в тумбочке, запасные были…

Анатолий Петрович вспылил:

— Серёжа вышел, вот вернётся, я тебя полдня жду, не при нём же вонь разводить…

Жена, вывалив всё из тумбочки, торопливо искала носки, найдя, жестом остановила мужа, я сейчас, и убежала.

Вернувшись, выговорила:

— Я к тебе каждый день хожу, а там — сидит старик, плачет…

Сергей вернулся, когда она, уже обиходив, кормила мужа. Тоже сел обедать. Аппетит у него был отменный: съедал и больничное, и то, что сестрички носили, и то, чем Наталья Николаевна угощала. В запое не ел, теперь отъедался.

— Молодой мужик, — вздыхала Наталья Николаевна, — его кормить надо, а некому.

Как-то рассказала ему о том, что врач-психиатр произнесла о Евгении Борисовиче, о расчёте за неправильную жизнь.

Ранила Сергея эта фраза, теперь он каждый раз возвращался к ней. Вот и сейчас, отнеся тарелки в столовую, вернулся и заговорил:

— Что у человека в нашей теперешней жизни есть, чтобы снять те нагрузки, которые на него обрушиваются?

— Молитва, — не задумываясь, ответила Наталья Николаевна, для неё этот вопрос давно был решён, — и физический труд.

Хотя знала, что, когда тебе совсем плохо, ни молиться, ни трудиться уже не можешь.

Остаётся одно коротенькое: «Господи, помилуй». Но зато уже из самого сердца.

— Моли-и-тва, — иронически протянул Сергей Иванович, — не каждому дано. А водочка всегда под рукой. И трудиться не надо. Выпил — и все вопросы решены.

— Да. Только завтра они опять явятся, да ещё похмелье, — возразила женщина, — теперь уже с двумя врагами бороться. Да вы-то, как никто, знаете, что водкой не спасёшься.

— Знаю, — повторил Сергей, — но в религии столько напутано. Вот — не убей, а сколько православных святых воинов? Значит, не убей только своего, а иноверца можно?

— Их ведь в святые не за убийство возводили, а за спасение отечества, дома своего, жизней человеческих, наконец… — тут она и сама спотыкалась всякий раз.

— Какое отечество? — парировал Сергей Иванович. — Одно у верующих должно быть отечество — небесное, что же тогда за земное биться? Много я читал, а утешения не нашёл. А жить без утешения в этом страшном мире — невозможно. Вот и кидаемся: кто в алкоголики, кто в наркоманы, кто в депрессию, а кто — в религию. Только бы реальности этой не видеть.

Доктор распалялся. Наталья Николаевна давала ему возможность выговориться. Анатолий Петрович слушал, соглашаясь то с больным, то с женой. Последнее время из-за немощи ему и говорить было трудно. И от религии он далёк.

— А ещё — кайф! Согласитесь, Наталья Николаевна, — горячился Сергей, — каждый в жизни ищет свой кайф. Кто от чего кайфует. Одни — травятся, другие — стихи пишут, третьи — на дачах пашут, четвёртые — молятся. Все на что-нибудь подсаживаются: работа, степени, слава, тряпки, мебель, бабы… все мы, по сути, наркоманы…. Только наркотики у нас разные.

Вон у меня сосед по дому — отобрали у него любимую игрушку — уволили, главным инженером был, трудоголик, дневал и ночевал на заводе. Уже пенсионер, и жил не бедно, а не стерпел — повесился. Кайфа не стало, а кайф его — ощущать себя важным.

— Знаете, Серёжа, — тихо, но твёрдо сказала Наталья Николаевна, — я не люблю ни слово это — кайф, ни понятие, какое оно означает, ни состояние, этим словом называемое.

Есть другое слово — радость. Вот оно для меня много значит. Но радость и кайф вовсе не синонимы. Трудно мне сейчас всё по полочкам разложить… но — радость нужно заработать, по-разному, но — заработать. Можно и физически: спортом, на грядке, дома уборку сделать… Радость, я думаю, всегда немножко победа над собой, и всегда не только для себя. Ею можно поделиться с другим, её можно получить, сделав что-либо совсем не для себя. Радость — это «на»! А кайф всегда — «дай»! Всегда только для себя. Им не поделишься, даже если наркоманов много, кайфуют отдельно, каждый сам по себе. В кайфе человек всегда одинок, а в радости — нет. Кайф нельзя заработать, его нужно купить или украсть… и он всегда требует в дальнейшем большей дозы.

А радость — всегда радость. Большая или маленькая, она всё равно — радость, она греет. А кайф растёт, как мыльный пузырь, пока не лопнет.

Радость проходит через всю человеческую жизнь, не разрушая её, а поддерживая. Кайф — рано или поздно погубит жизнь. Поэтому для меня радость — жизнь, а кайф — смерть.

Сколько людей встречалось мне в жизни, гоняющихся за кайфом, все сгорели в этой погоне. А радость и в горе помощник. У тебя горе, а рядом радость, она, чужая радость, и тебе светит, и тебя греет. Такое у неё свойство — перекидываться на других людей.

Радость — память, а кайф — забвение. Тяжело мне, вспомню что-нибудь светлое из своей жизни, и полегчает…

Да что я вам это рассказываю. Вы умница, вы — психиатр. Всё это вы не хуже меня знаете, а говорите сейчас так из обиды на жизнь. Обижаться на неё — толку мало, строить жизнь надо вокруг себя, кирпичик по кирпичику. Разрушить легко, строить долго и трудно, но всё-таки, строить надо, и одно это — уже радость.

Вы — молодой человек, в вас есть доброта, дай вам Бог силы на доброе строительство. И простите меня за всё, что я вам сейчас наговорила.

Она решительно поднялась, поцеловала мужа, начала прощаться. Сергей Иванович пошёл её проводить. Уже в коридоре прикоснулся к плечу:

— Спасибо, Наталья Николаевна…

— Это вам, Серёжа, спасибо. За помощь мужу. Я прибегу и убегу…Вы его очень поддерживаете, дай вам Бог здоровья, — женщина улыбнулась и скрылась за дверью отделения.

Наталья Николаевна по дороге додумывала разговор с Сергеем, сожалела, что не смогла ему что-то самое важное объяснить. Теперь, думала, машу кулаками после драки. Радость и приходит, и уходит, и её не убывает. Она вольна уйти, и её уход не трагедия, а светлая грусть, потому что знаешь, что она не оставляет тебя навсегда, она сохраняется в тебе светом. А кайф, когда уходит, душу пустую оставляет, выжженную, в ней сразу ветер волком воет. И пустота эта требует немедленного заполнения, новую дозу того, от чего кайфовал, вот и зависи-

мость. Не успел от первого опомниться — второе наваливается.

Радость — всегда радость. А кайф — горе неизбывное. Да знает, понимает Серёжа всё, только вырваться не умеет, вот и ищет оправдание.

Сергей Иванович долго ходил по коридору, тоже додумывал, спорил внутренне с Натальей Николаевной. У вас всё грех, говорил он, всё грех, а как ему жить, человеку? Этого не делай, туда не ходи, а физиология? Такими уж нас Творец создал. Плодитесь, сказал, и размножайтесь. А лёг с бабой — сразу грех.

Нет, он понимал, конечно, разницу. Многого в работе насмотрелся, да и в своей жизни тоже. Для себя зазорным не считал выпивать, ночевать у бывшей сослуживицы, а когда жена ушла от него, а потом и уехала, и сына увезла, он, хоть и не возражал, а простить не мог. Её грех сразу увидел: и что с другим мужиком, и что ребёнка отца лишила.

— Какой ты, Серёжа, отец, — сказала она ему тогда, перед уходом, — он сейчас ещё не всё понимает, но скоро поймёт. Я не хочу, чтобы ты был примером ему в жизни.

Оставшись один, Сергей запил тяжело, выпал на три месяца. Ладно, коллеги из запоя вытащили, и начальство сжалилось, на работе оставило.

Всё он понимал, особенно про других, про тех, кого сам лечил. А в своей жизни ничего изменить не мог. Причины и раньше находились, а теперь и подавно. Придёт домой, один, тоска, а с тоски рука сама к рюмке тянется.

На следующий день он дожидался прихода Натальи Николаевны, червь точил, договорить хотелось. Когда она обиходила мужа, сразу начал:

— Вот вы говорите — радость, а я называю — кайф, ну, словом, — удовольствие, наслаждение… разве есть на свете люди, не стремящиеся к этому? Ведь и жизнь без удовольствия — тоска, кому она такая нужна?

— Серёжа, — терпеливо ответила женщина, — тот кайф, о котором вы говорите, всегда грех. И, заметьте, грешнику, конечно, себя оправдать хочется. Найти обстоятельства, оправдывающие грех, их нетрудно найти.

Только никому от этого не легче, ни самому грешащему, ни тому, кто рядом… сейчас ведь что в мире происходит? Желание оправдать грех, легализовать его, сделать явным и неосуждаемым, принятым для всех, чтобы совесть не жгла, что ты плох, ибо теперь все плохи, а значит — хороши. О чём раньше шёпотом и со стыдом, теперь с экрана телевизора. Грешнику, чтобы себя изгоем не считать, проще не от греха избавиться, а заставить окружающих признать грех — нормой. Если ты богат и при власти, легко навязать эту точку зрения другим. Они хотят и грешить, и уважать себя, и чтобы другие уважали.

Меня внучка на днях о таком спросила, что волосы дыбом… ей всего восемь лет. Вот что страшно, а ведь она ночные каналы не смотрит, только днём, мультики, а между ними реклама. Что с ними будет? У них уже смещены понятия добра и зла…

С некоторых пор Сергей Иванович стал ждать прихода Натальи Николаевны, ну, пожалуй, не так, как Анатолий Петрович, но тоже с нетерпением. И не потому, что угостит чем-нибудь домашним, и напахнёт на него сладость воспоминаний о родительском доме. Домашним его и медсестрички угощают, две-три сразу ходят. И не потому, что чем-то Наталья Николаевна ему мать напоминает, хотя внешне они разные. Мать была крупная, полнотелая, медлительная, а Наталья Николаевна сухощавая, моложавая, живая.

Хотелось Сергею с ней поговорить, в чём-то своём утвердиться или отказаться. Он и вопросы заранее обдумывал, уверен был, что именно в споре рождается истина, а она всегда уходила, ускользала от прямого спора. И его жажда оставалась неутолённой.

— Что ваш Бог, куда он смотрит, — готовил мысленно новый разговор Сергей Иванович, — как такое допускает?..

О, у него много аргументов, доказывающих, что Бога нет, что каждый в этом мире спасается, как может: один — работой, другой — бабами, третий — водкой. Потому что жизнь — невыносима. В ней нет ничего разумного. Он уже давно утвердился в том, что весь мир — один большой дурдом. А человеку хочется услады, и ищет её всякий там, где может.

— Ну вот, — подходя к больнице, вздохнула Наталья Николаевна, — сейчас опять Серёжа пристанет со своими разговорами.

Не любила она этого. Докажите ему, что Бог есть. Как будто Бог — теорема. Не чувствуешь сердцем Его присутствия в твоей жизни, значит, для тебя — Его нет. И только, и успокойся. Так ведь нет, чувствует, потому и неймётся ему, хочется опровергнуть Божие существование, иначе жить невыносимо в том, в чём живёшь, нечем тогда оправдать своё свинство.

— Здравствуйте, — произносит она, входя в палату, охватывая взглядом сразу и Анатолия, и Сергея, оценивая, ну, как сегодня, какие сюрпризы? Оба улыбаются, значит, слава Богу, без неожиданностей.

— Сегодня вам котлетки вкуснющие и салат, давайте, Серёжа, ваши тарелки.

Сергей Иванович подал тарелки и вышел. Поговорит потом. Сначала Наталья Николаевна моет мужа, кормит, а разговоры на закуску.

— Хочу домой, — произнёс муж так тоскливо, так по-детски брошенно, что у Натальи Ивановны защемило сердце, — забери меня отсюда.

— Толя, — ласково остановила она, — теперь уже скоро, дольше терпели, немного осталось. Конечно, заберу. С тобой сейчас гимнастикой занимаются, может, ходить сможешь…

— А… — муж безнадёжно махнул рукой, — всё бесполезно, ничего они не умеют, я сначала поверил, а теперь вижу — бесполезно…

— Знаешь что, — рассердилась Наталья Николаевна, — сколько раз я тебе говорила — верить надо, молиться, у Бога просить, но и верить, и самому трепыхаться, делать, делать, как та лягушка в сметане… вот собьётся масло, и выпрыгнем…

Но Анатолий Петрович только махнул рукой.

В маршрутке, возвращаясь домой, Наталья Николаевна плакала, не обращая внимания на пассажиров. Слёзы сами текли из глаз. Она тоже видела, что всё бесполезно, сюда, пусть плохо, но на своих ногах пришли, а отсюда нести придётся. Вот и всё лечение. Если ей это принять невыносимо, то каково ему? Но плача, понимала, что принять нужно, через боль, через несогласие, но — нужно. Примешь — вынесешь, будешь роптать — сгоришь. Но такую ношу взвалить на плечи? Силы уже не те, возраст. И ничего-то у нас нет, чтобы легче было семье, где такая беда случается, когда больной — лежачий. Она ещё в молодые годы ужасалась, приходя участковым врачом к таким больным, как же бедные родственники с этим справляются? А теперь вот самой выпало. Нет, только не думать о том, что впереди. Вот сегодня справлюсь и, слава Богу. А если представить череду тягостных дней, в которых одна немощь и бесконечный уход за болящим — страшно и горько.

21. Колодец

Не пытайся учить
глупого, он посмеётся…
Притчи Соломона

— А ты, что больше всего любишь? — прозвучал в ней вопрос Невидимого.

Возможно, подумав, она бы ответила как-то иначе, но сейчас сердце горело одним желанием.

— Свободу! — выкрикнула она.

И тут же очутилась на земле у колодца. И забыла всё, с ней происшедшее. Только какое-то смутное воспоминание чуть тревожило душу. Так бывает, когда на чём-нибудь глубоко сосредоточишься, а потом — очнёшься, и в первое мгновение словно забудешь, где ты и что ты тут делаешь.

Вот и она не понимала, что это она так долго торчит возле колодца. Взглянула в колодец: солнце уже забежало за облако, и внизу тускло поблёскивала тёмная вода.

— Колечко! — вздохнула она и неожиданно для себя без сожаления добавила. — Какая у него теперь редкая шкатулка.

И вспомнила:

— Ой, что же это я, вся вода в чайнике, поди, выкипела.

Чайник и вправду допаривал последние капельки влаги. Плеснула в него немного, только чтобы освежиться перед дорогой. Взглянула на часы, на собранные вещи.

— Половину оставлю, не осилю… ну и Бог с ними, пусть остаются нестиранными. Будет погода, увезу в следующий раз, а нет — так и до весны подождут.

Вышла сорвать травки к чаю. Мелисса молодая отросла, и у иссопа листочки зеленеют, и лафант ещё хорош.

— Всё сорву, — захотелось всего сразу.

И вдруг какая-то мысль или чувство, не оформленное словами, остановили её.

— Нет, не буду, вот листик мятки, и хватит…

Налила чаю, приготовила три печенюшки, это были любимые — овсяные. Поглядела на них и две убрала в мешочек. Неторопливо попила чай, с удовольствием съела печенье. Взяла две нетяжелые сумки и медленно пошла на автобус. Времени — в обрез, раньше бы бежала, задыхаясь и потея, а тут что-то внутри удержало её.

— Ну, и опоздаю, ноша не тяжёлая, дойду до тракта, всего-то на десять минут дольше.

На остановке — длиннющий хвост очереди и ропот: автобус маленький, садоводы в тревоге, как в него впихнуться, да ещё с сумками. А ведь может и не прийти, сколько раз такое бывало. Не стала ждать, направилась к тракту. Пошла легко и упруго, как ходила когда-то в молодые годы.

— Господи, как хорошо, когда ни от чего не зависишь, — взглянула на небо, — хоть на небо посмотрю, а то одна земля перед глазами.

Небо снова очистилось и сияло ей осенней глубокой синевой, чуть вспененной местами барашками облаков. Захотелось добавить:

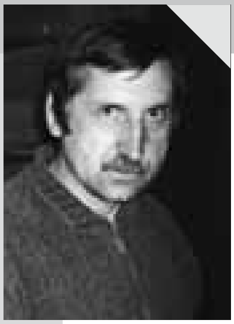
— Кроме Тебя.

Но мысль о зависимости остановила язык. Она шла и додумывала эту мысль. Что такое зависимость, и как можно не зависеть от Бога?

— Вот я — Твоя, — хочется крикнуть Господу.

И сразу холодок по коже. Слабая я, а быть Твоей — это подвиг. Так в чём же зависимость? И вдруг поняла — когда не можешь уйти. Значит, быть независимой — это свобода уйти, отказаться. Я могу от Тебя отказаться, отпасть. О, Господи, сколько раз я уже это делала. Но я должна сама понять, что всё, что я делала, это лишь тропки, дорожки, а Путь один — это Ты. И я свободна всегда припасть к Тебе. Но я свободна и оставить Тебя. И эта свобода — оставить, делает мой приход, моё притекание — независимостью. Зависимость, когда не хочешь уже, но не волен, не можешь отказаться.

Она шла, и в душе звучали строки, когда-то прочитанные: «Душа свободна выбирать сама, здесь — вечный Свет, а там — навеки тьма».



Алексей Антонов

Гады

Заметки на полях романа Ака Вельсапара «Кобра»
с привлечением в соавторы Аристотеля

В 1-м номере «Дня и Ночи» 2008-го года мы опубликовали рассказ талантливого туркменского прозаика Ака Вельсапара, пишущего на русском и волею известных обстоятельств оказавшегося в эмиграции в Стокгольме. Название рассказа — «У оврага, за последними домами…» И, хотя речь в нём шла о сначала повзрослевших, а потом и заматеревших щенках, «вскормленных молоком Большой белой суки», подготовленный читатель понимал, что это повествование — не только о собаках, но и о людях, а если шире — об огромной, расколовшейся на куски Империи, где действуют разные механизмы выживания. Один — на службе у Хозяина, на сытом поводке, другой — в постоянном поиске пищи, но без ошейника, на свободе. В результате эти два, когда-то родственных, мира встречаются в кровавой схватке. Вельсапару вообще свойственно мыслить метафорами и аллегориями и через них исследовать социум. Его панорамный роман «Кобра», вышедший в 2005-м году в России, — свидетельство такого исследования. Нам думается, что публикуемые ниже заметки выходят за оценочные рамки собственно романа и касаются устройства жизни вообще, её вечного перетекания из тирании в демократию и обратно, и будут интересны не только тем, кто уже познакомился с произведениями нашего автора, но и размышляет, помимо них, о социальных моделях человеческого существования.

Редакция «ДиН»

1.

«Кобра» — десятая по счёту книга известного туркменского писателя Ака Вельсапара. Неудивительно, что зрелая рука мастера угадывается сразу же с первых строк.

Вот в сумерках едет за свежей травой для скота Какабай Нелюдимый — мимо сельского кладбища Чарвы, куда обычного человека и днём калачами не заманишь: «Скрип кое-как смазанных колёс заглушает стрекот насекомых в траве, но отнюдь не шакальи голоса. Их хохот доносится со стороны могил. Уж не проделки ли это мертвецов? Опять его подвела собственная жадность! Зачем дотемна косил траву? Да ещё ишак, лентяй проклятый, едва плетётся! Тревога в душе прямо прёт через край… Сердце чует недоброе…» (стр. 8)

И точно. Из темноты вдруг появляется зловещий белый ягнёнок и начинает разговаривать человеческим голосом. Чудеса подстерегают читателя и в следующей главе. Каждую ночь сторожа на полевом стане — Овеза — навещает человек в чёрной одежде; таинственный белобородый дервиш, бормоча угрозы, преследует жену Овеза — Марал…

Кажется, что мистика с восточным колоритом будет сопровождать нас и в дальнейшем. Однако вскоре выясняется, что мы ошибаемся в этом предположении. Несмотря на то, что автор выказывает себя явным мастером занимательной прозы, она его в данном случае вовсе не устраивает. В романе «Кобра» живущий с некоторых пор в Стокгольме Ак Вельсапар ставит перед собой задачу — ни много, ни мало — вскрыть анатомию всего постсоветского или «евразийского», как он его называет, типа общества, в большинстве случаев утвердившегося на обломках некогда могущественной «Красной империи». Вот почему писателя интересуют, скорее, не личности, а типы и явления. Это своего рода социологическое исследование в стиле «Зияющих высот» Александра Зиновьева. Во всяком случае, выражение «зияющие высоты» едва ли случайно встречается в тексте романа на странице 127 («Пусть коллективная нравственность людей поднимется на зияющие высоты, чтобы никто не посмел покушаться на неё»).

Правда, издательство «Селена» (г. Тула), напечатавшее в 2005 году книгу «Кобра», характеризует её как «роман-притчу». Однако, в действительности, роман оказывается более многоплановым. Значительное место в нём отводится теме взаимоотношений человека и природы. Ведь главный герой романа — обыкновенная пустынная кобра, непостижимым образом обернувшаяся человеком — Мусой Чоли — вторгается в мир людей именно для того, чтобы защитить мир пустыни. И, хотя противостоящие Кобре руководители пустынной страны (в которой, без труда, угадывается Туркмения), — господин товарищ Президент и его правая рука, — Ларин — тоже, в конце концов, оказываются злыми демонами пустыни — Вараном и Богомолом — всё-таки в жанровом отношении роман «Кобра», скорее, можно охарактеризовать как антиутопию. В нём анализируется такой тип тоталитарного общества, который — в интересах людей — никогда бы не должен появиться на земле. Описание этого режима доводится автором до таких крайностей, такого гротеска, что порой изображаемое выглядит прямо-таки театром абсурда. Ведь очевидно, что каким бы реакционным ни был любой существующий на земле режим, всё-таки трудно представить себе, чтобы Президент страны на приёме иностранных гостей стал бы палить по собственным гражданам из «Калашникова», или чтобы людей на улице сгребали бульдозером.

А поскольку роман «Кобра» является антиутопией, то неудивительно, что и населён он

в основном антигероями. И главное место среди них, разумеется, по праву занимает господин товарищ Президент, который, действуя по принципу «кто чем руководил, тот то и поимел», умудрился при развале СССР «приватизировать» целую союзную республику, сосредоточив тем самым в своих руках всю полноту и политической, и экономической власти. Но абсолютная власть, как известно, и развращает абсолютно. Именно это и произошло с господином товарищем Президентом — некогда не самым плохим советским чиновником. Возведённые в абсолют, все его маленькие, часто простительные слабости, вдруг обернулись омерзительными пороками, а сам он в конце концов превратился в отвратительного и кровожадного монстра (господину товарищу Президенту, например, доставляет удовольствие наблюдать, как на его глазах пытают его личных врагов).

Кажется, что может быть плохого в любви господина товарища Президента к матери?! А между тем, возведённая в абсолют, и она становится частью подавляющей человека тоталитарной идеологии. Ведь любимая мать господина товарища Президента — святая Гурсултан — возвеличивается чуть ли не до Богородицы. Чего греха таить, господин товарищ Президент и раньше питал слабость к женщинам. Теперь же его можно сравнить разве что с фараоном, который официально был мужем всех женщин Египта. Вышедшая из-под пера господина товарища Президента книга «Ру» становится книгой книг — равновеликой Корану и Библии. А чего стоит его страсть к пословицам и поговоркам?! История и раньше знавала попытки использовать в политической пропаганде цитируемые политиками вековые «мудрости» («Хлеб — всему голова», например). Однако теперь, «…когда народная поговорка дорастает до мудрости господина товарища Президента, она принимает силу закона, и её исполнение становится обязательным для всех». (стр. 70)

Да, отложилось: и в советские времена многие руководители были неравнодушны к наградам. Возведённая же в абсолют, эта страсть господина товарища Президента становится поистине отвратительной. «В связи с поступлением в ◃…▹ страну первого компьютера, господин товарищ Президент удостоен ◃…▹ звания академика компьютерных наук, из-за чего он в третий раз удостоился единственной награды, носящей его собственное имя — «Ордена господина товарища Президента». Он был также награждён в девяносто девятый раз орденом «Народный Герой», столько же раз — орденом «Ум, Честь и Совесть нации». (стр. 83). Лесть и фимиам господину товарищу Президенту превосходят уже всякие мыслимые пределы. И вот мы видим, что «Общее собрание крестьян Чарвы постановляет: «Присвоить Иисусу Христу имя господина товарища Президента!» (стр. 84). Словом, в изображении Ака Вельсапара господин товарищ Президент представляет собой средоточие всех политических и человеческих пороков, это, говоря словами поэта — «ужас мира», «стыд природы» и «упрёк Богу на Земле»…

Не менее отвратителен и другой выведенный в романе человеческий тип — секретарь Бюро по идеологии — Тал Таган. Умный, циничный прагматик, он давно уже понял, что «в нашей стране здоровье и продолжительность жизни каждого гражданина определяется уровнем его любви к господину товарищу Президенту. Чем ярче полыхает эта любовь, тем дольше живёт человек» (стр. 186).

Именно демагогия Тал Тагана служит источником неиссякаемого казённого энтузиазма: «Вскоре у нас официально поменяют местами лето и осень. На днях об этом выйдет специальный Указ. ◃…▹ В результате станет возможным сразу же приступить к сбору высокого урожая там, где только что закончили сев. ◃…▹ Таким образом, наступление всеобщего благоденствия в нашей стране неизбежно! Мы вступаем в поистине Золотой век! В какой ещё стране созданы такие условия для трудящихся? Ни в какой. Где ещё, кроме нашей страны, объявлен Золотой век? Нигде!» (стр. 82).

Ловкий царедворец, превосходно приспособившийся к существующему режиму, Тал Таган, не стесняясь, использует все выгоды своего положения. Это — неглупый («…даже я, Тал Таган, член всесильного Бюро, что, в сущности, могу изменить в этом мире? Ровным счётом ничего!» (стр. 216), по-своему талантливый человек. Но миссия его омерзительна. А потому омерзителен и он сам, даже в мелочах: «Ел он смачно, с аппетитом, не обращая внимания на присутствующих. Насытившись, погладил живот, и тихо рыгнув в кулак, отодвинулся от стола» (стр. 58)…

Ак Вельсапар рисует общество, парализованное страхом. Только один человек свободен в этой стране — господин товарищ Президент. Все прочие — пресмыкающиеся. Гады. Казалось бы, именно поэтому, будучи самым гибким из пресмыкающихся, — Кобра обречён на успех в этом обществе. И всё-таки, даже и ему не угнаться за изворотливостью партийного (когда-то коммунистического, а ныне демократического) курса. Вот Кобру — Мусу Чоли — назначают заведующим селом Чарва. «Но как только он вместе со всеми сел за стол и положил в рот кусок мяса, один из членов Бюро неожиданно вскочил с места и на глазах присутствующих схватил его за горло:

«— Бессовестная тварь, — заорал он. ◃…▹ Посмотри в окно! Как ты можешь есть, когда любимый народ господина товарища Президента голодает! Мы научим тебя заботиться о народе» (стр. 84).

Кобру тут же снимают с должности как врага народа за грубые недостатки в работе и аморальное поведение, а затем, после публичного раскаяния… назначают снова. И хотя Кобра многому научился у людей и даже сделал головокружительную политическую карьеру (ведь чтобы осуществить свою месть, ему нужно было занять достаточно высокое положение), его природное простодушие «не смогло исчезнуть, сколько бы цинизма он ни повидал» (стр. 477). В конечном итоге именно это и обрекает Кобру на поражение…

В изображении Ака Вельсапара перед нами предстаёт общество, в котором «…тайная служба по контролю над всеми тайными службами страны»

обеспечивает сверхбдительную опеку каждого человека. В этом обществе фактически есть только два сословия: «никто» и «ничто». «Никто — это мы с вами, достойные люди. Господин товарищ Президент любит нас, он знает цену каждому из никто!» — говорит Мусе Чоли его персональный водитель Шали. — «Тот, кто нарушит решение Бюро, становится ничем! Это две разные категории людей» (стр. 81).

Репрессивный аппарат государства доведён до пугающего совершенства. Все находятся под колпаком у орденоносного Института-лаборатории языков, который следит за тем, чтобы жители страны «грамматически правильно» высказывались о политике господина товарища Президента. «Мы проводим чрезвычайно глубокие исследования в области языков, — делает акцент директор Института Кустобровый. — Иногда даже приходится вырывать с корнем предмет наших исследований. Это я о тех языках, которые допускают грубые грамматические ошибки…» (стр. 141).

Специальный отдел Института «Сны» «…занимается выявлением людей, потенциально способных в ближайшем будущем грамматически неверно высказываться о политике господина товарища Президента» (стр. 167–168). В другом отделе Института языков — «Доме непрерывного творчества» — за стеклянными перегородками, прозрачными только с одной стороны, пожизненно сидят и что-то пишут, с наушниками на головах, в которых 24 часа в сутки транслируются песни, поэмы и пр. о господине товарище Президенте — поэты, писатели, музыканты и представители других творческих профессий. Все созданные ими произведения являются государственным достоянием, все они печатаются в одном экземпляре, «почтой» посылаются «на улицу», а затем перерабатываются в бумагу. И так, день за днём, цикл за циклом продолжается эта творческая каторга. Однако с точки зрения официальной пропаганды все выглядит вполне благообразно. Как цинично выражается Тал Таган: «Учреждение, где собрано столько представителей гуманитарных профессий, не может называться иначе как гуманитарным учреждением» (стр. 185).

В стране царит гнетущая атмосфера, исчезла самая разница между арестованными и не арестованными. Но государство карает не только тех, кто преступил закон. Даже у тех, кто совершает неподсудные поступки или ведёт себя, с точки зрения государства, аморально, имеются все шансы попасть в сырые подземелья «Музея истории», который «… входит в подземную канцелярию Дворца и специализируется по архивации жалоб и обращений граждан страны» (стр. 434).

Все учреждения «евразийского» общества, все человеческие типы под пером Ака Вельсапара негодны, всё плохо, всё достойно осмеяния. И автор не скупится на иронию, сарказм и прямую издёвку. В книге «Кобра», как и в пьесе Гоголя «Ревизор», нет ни одного положительного героя. Даже самые лучшие из них, такие, например, как Чарыкнижник, и те являются лишь «молчаливыми пособниками зла» (стр. 475). *Но если у Гоголя, «закадровым» положительным героем является смех, то у Вельсапара — демократия западного толка.* Извините за вульгарное привлечение времени, но на фоне глобального мирового кризиса, чья эпидемия вспыхнула далеко не на «евразийском» континенте, это палка о двух концах.

Пафос Вельсапара в том и состоит, чтобы разными способами показать, что авторитарная демократия, которую взялись строить в пустынной стране, — подделка, эрзац, имитация подлинной демократии. Демократия предстаёт в романе «Кобра» как заветный политический идеал, выстраданный всем ходом человеческой истории. (Любопытно, что даже идеолог Тал Таган фактически разделяет эту позицию: «Задача стоит очень трудная: не подвергая опасности свою жизнь, смачно плюнуть в лицо опыту многовекового развития человечества…» (стр. 65). Демократия у Вельсапара, сменяя в этой роли коммунизм, выступает как некое светлое будущее человечества. Рано или поздно она неизбежно победит на земле. Нехотя, это вынуждены признать в романе даже самые ярые противники демократии. Тот же Тал Таган, например: «…наша задача, опираясь на великое Учение господина товарища Президента, как можно дальше отодвинуть день наступления глобальных демократических перемен, смертельных для евразийского типа государства» (стр. 65).

2.

А между тем человечество нахлебалось демократии ещё в античные времена. И характеризуя демократию как один из «наихудших» видов политического устройства,

Аристотель при этом тоже опирался на многовековой опыт существования полисной системы: «В «Законах» (Платона — А. А.) ⊲…⊳ говорится, что наилучшее государственное устройство должно заключаться в соединении демократии и тирании; но эти последние едва ли кто-либо станет вообще считать видами государственного устройства, а если считать их таковыми, то уж наихудшими из всех».

И не надо обманывать себя тем, что Аристотель в то время чего-то не знал или недопонимал. Каждый город в античности был государством, и вместе они дали такое многообразие оттенков политического устройства, что Аристотелю, несомненно, было, что и с чем сравнивать. Да и в наидемократичнейших Афинах, в которых жил Аристотель, примеров того, что такое демократия в действии, было предостаточно.

Наверняка каждый школьник сегодня знает имя Фемистокла, благодаря прозорливости которого в преддверии персидского нашествия афиняне начали строить корабли, что, в конечном итоге, и обеспечило им победу. Но мало кто знает, что после победы над персами авторитет Фемистокла возрос настолько, что… он был изгнан из города.

В это трудно поверить, но великий Мильтиад, выигравший сражение при Марафоне и тем самым спасший не только Афины, но и всю Грецию, с трудом избежал смертной казни и был приговорён Афинским народным собранием к непомерному денежному штрафу, который Мильтиад так

и не смог выплатить до конца своих дней, вследствие чего и умер в позоре и нищете.

Сократ, в своей жизни трижды с оружием в руках защищавший Афины, был приговорён к смертной казни «за развращение афинской молодёжи». А обвинял его некто Анит, богатый владелец кожевенных мастерских, который был денежным мешком и, следовательно, с точки зрения демократии, разумеется, лучше знал, что такое нравственность.

Даже самый выдающийся афинский демократ — Перикл, чья речь в защиту демократии, произнесённая им на могиле павших воинов (и сохранённая для нас Фукидидом), считается классической, не избежал участи Фемистокла, с той только разницей, что афиняне вовремя раскаялись, просили прощения и всё-таки уговорили Перикла не покидать город… А дело в том, что наилучшее устройство государства определяется не формой управления, а его содержанием. «Для себя» работает власть или «для всех»? Если управляет один человек, то, с точки зрения Аристотеля, это будет «монархия» или «тирания», если немногие — «аристократия» или «олигархия», если большинство — «полития» или «демократия».

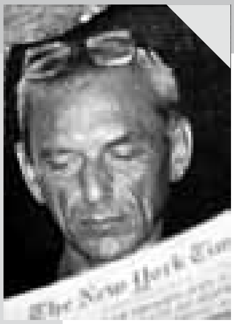
Демократия — это просто правящее своекорыстие, которое, по Аристотелю, «общей пользы в виду не имеет» и нисколько не печётся о тех выдающихся людях, которые его обеспечивают. Во многом именно по этой причине противостояние союза государств во главе с демократическими Афинами и союза государств во главе с тоталитарной Спартой закончилось в древности поражением Афин…

3.

По мнению Вельсапара, демократия приходит на смену «коммунистическому тупику». Однако даже самый тоталитарный режим — это тоже лишь форма управления. Важным и здесь остаётся вопрос: «для себя» работает эта форма или «для всех»? Ведь тот же осмеянный в романе «социализм», между прочим, определялся Лениным как «государственная монополия, обращённая на пользу всему народу». Была ли она в советское время, действительно, «обращена» на эту пользу — вопрос особый…

Разумеется, эти соображения нисколько не умаляют литературных достоинств романа «Кобра». Но раз уж в этом романе Ак Вельсапар выступает не только как писатель, но и как социолог, то и мы вправе высказать ему претензии не как писателю, а как социологу. С точки же зрения социолога, едва ли справедливо обвинять людей в терпимости к тоталитарному режиму, как это делает автор («Был бы раб, а хозяин всегда найдётся» (стр. 21.) Для человека, который еле сводит концы с концами, «…бесплатный газ, электричество, вода, соль ⊲…⊳, а тем, кто всё-таки решил уйти в мир иной, — гроб и саван» (стр. 386), а также освобождение от квартплаты, которые гарантирует ему государство, значат намного больше, чем абстрактные демократические свободы, которые, к слову сказать, прежде всего, отнимут у него и то немногое, что он имеет (это прекрасно понимает и сам господин товарищ Президент: «…люди хотят халявы, куда больше справедливости» (стр. 416–417). Ак Вельсапар не учитывает, что при любом насильственно введённом единомыслии — славословия в адрес партии или лично господина товарища Президента для большинства граждан становятся не более, чем привычным ритуалом, который давно уже не затрагивает ни ума, ни сердца…

Не только главный герой романа, но и вся «Кобра» пропитана ядом. А, как выражается Кобра, только «…умеренная доза змеиного яда людям особого вреда не причиняет ⊲…⊳ А вот если наоборот, то это гораздо страшнее» (стр. 349). Поэтому, очевидно, что яд романа «Кобра» — не для того, чтобы вылечить смертельно больную систему, а для того, чтобы, тем верней, уничтожить её. И если, с точки зрения социологии, роман «Кобра» выглядит небесспорным, то можно определённо сказать, что Вельсапар-писатель победил Вельсапара-социолога. Ирония, сарказм по отношению к тоталитарному режиму не просто талантливы, они издевательски точны. И точность их, подчёркивая свою универсальность, будет только многократно усиливаться по мере очередной смены картинки в калейдоскопе времени. «Под демократию и права человека я отвёл просторный кабинет в моём Дворце, — хвастливо утверждает господин товарищ Президент» (стр. 386). Перед нами — не безудержная фантазия карикатуриста. Поэтому с помощью романа «Кобра» любой читатель не только откроет в привычном для себя типе общества какие-то новые чёрточки, но и, самое главное, — пишущего на «великом и могучем» русском языке талантливого туркменского художника слова Ака Вельсапара.



Михель Гофман

Американская Идея

Искусство жить, или искусство выживать

«Где Жизнь, которую мы теряем в Выживании?»
Томас Эллиот

Многогранная культура искусства жизни, эстетика повседневного существования в Европе создавалась в течение веков. В Соединённых Штатах, в цивилизации бизнеса, это искусство не могло привиться. Недаром европейцы называли американскую цивилизацию «цивилизацией без культуры». «Америка это страна, в которой 32 религии, и всего одно блюдо на обед, бобы», — писал Шарль Талейран, деятель наполеоновской эпохи. Со времён Талейрана американское меню значительно расширилось, утончённая французская кухня стала популярной в среде образованного среднего класса, но массы лишь сменили бобы на стандартный, стерильный гамбургер.

Александр Герцен, в середине 19-го века, со времён Талейрана прошло почти пятьдесят лет, пишет об американцах-богачах, нуворишах в Европе: «…(они) готовы слушать всё без какого-либо исключения, глазеть на всё, что попадается на глаза, питаться всем, что подают, носить всё, что предлагается,… они носят дешёвую, безвкусную одежду, которая на них отвратительно сидит, это всемогущая толпа всепоглощающей посредственности. Все попытки остановить триумфальное шествие мещанства обречены на неудачу».

Об этом же качестве американской жизни говорил и современник Герцена, Алекс Токвиль: «Они (американцы) видят счастье, как физический комфорт, и… невозможно представить себе, что можно тратить больше энергии на его достижение».

Американский мещанин, по своей сути, ничем не отличается от российского. Та же цель жизни — увеличение своего материального богатства, тот же смысл жизни — увеличение материального комфорта и разнообразие физиологических ощущений. Остальное — красота природы и творений человеческих рук, богатство эмоций и мыслей, — вне его интересов.

В Европе человека, не имеющего интереса к тому, что цивилизация считает своим истинным богатством, культуре, философии, искусству, называли «филистером», существом низшей, недоразвитой человеческой породы, не способным подняться выше своей физиологии.

«Поэзию физиологического существования» в русском языке принято называть пошлостью. Пошлость — это всё, что делает высокое низким, многомерное одномерным, это элементарная, упрощённая форма жизни, равнодушная ко всему, что выходит за пределы физического и физиологического мира.

Владимир Набоков в биографии Гоголя, написанной им для американского читателя, посвятил 12 страниц из 155 объяснению русского понятия пошлости, которого нет в английском языке. Почему Набокову, знатоку обоих языков, понадобилось 12 страниц для объяснения такого феномена, как пошлость? Американец видит себя и мир только в физических категориях и характерное для русской культуры пренебрежение к физической стороне жизни ему непонятно. Набокову понадобилось длительное и подробное объяснение феномена пошлости, его негативной оценки в русском сознании, в то время как для американца это естественная и единственно возможная форма жизни и мироощущения.

Есенин, после своего путешествия по Америке 20-ых годов, назвал Нью-Йорк, олицетворение всей страны, Железным Миргородом, воплощением мещанской пошлости в гигантских масштабах.

Российская интеллигенция так же, как и европейская, видела в мещанстве глухую, враждебную культуре силу, оно воплощало в себе «свинцовые мерзости» российской жизни, интеллигенция же всегда находилась в противостоянии к мещанству, к своему Миргороду.

Новый Свет, в отличие от Европы, ничего не мог предложить человеку, кроме материальной, физической стороны жизни. Новый Свет не имел многовековых накоплений культуры, цивилизация на новом континенте только создавалась, и эта форма жизни стала доминирующей.

Английский публицист и философ Олдос Хаксли уже в 1962 году в своём эссе «Взгляд на американскую культуру»: «Американский образ жизни — это поэзия физиологического существования, и все силы науки используются, чтобы воспитать именно такую породу людей, которая знает только культуру физиологической жизни». Правнук второго президента США Адамса, Джеймс Труслоу Адамс, в своей книге «Our business civilization», объясняет появление этого человеческого типа тем, что Америка — это цивилизация бизнеса. «Кто такой бизнесмен? Это человек, который рассматривает весь мир с точки зрения прибыли, он слеп ко многим другим сторонам жизни. Прекрасный пейзаж для него не больше, чем удачное место для постройки жилого комплекса, а водопад наводит на мысль

о плотине и электростанции. Бизнесмен глух к эстетике и поэзии жизни. Его жизнь вряд ли можно назвать полноценной. Убожество, нищета, скука такой жизни очевидна».

Чарльз Диккенс после своего путешествия по Америке тоже увидел это качество американского образа жизни: «Я вполне серьёзно говорю, что нигде не видел жизнь такой бесцветной и такой интенсивной скуки. Вряд ли кто-либо, кто не побывал здесь, может себе представить, о чём идёт речь».

Но ведь страна, живущая в постоянном движении, с её огромным разнообразием человеческих характеров и этнических культур из всех стран мира, создаёт гигантский калейдоскоп событий и невероятную для Европы интенсивность жизни. Америка — бурлящий котёл, в котором температура доведена до предела.

Генри Джеймс, классик американской литературы так же, как и Адамс, считал, что цивилизация бизнеса «пунктуально и эффективно ампутирует всё, что не входит в деловой интерес, и само содержание жизни становится всепоглощающим монотонным однообразием».

Диккенс, Адамс и Генри Джеймс говорили об Америке прошлого, когда бизнесмены-капиталисты составляли незначительную часть населения, но сегодня этот тип человека доминирует. Сегодня каждый чувствует себя бизнесменом, основывая собственное маленькое дело, вкладывая деньги в акции, в недвижимое имущество и, посвящая себя полностью Делу, перестаёт воспринимать жизнь в её полноте.

Публицист начала XX века Льюис Мэмфорд: «Современный человек выдрессирован выполнять монотонную работу, и его праздники так же монотонны и однообразны, как и его работа. …жизнь становится всё менее и менее интересной в её человеческом аспекте. Она становится невыразимо скучной».

Классик американской социологии Макс Лернер в книге «Американская цивилизация», опубликованной в 1967 году: «Дни, месяцы, годы проходят с монотонной регулярностью на фабрике или в офисе в выполнении рутинных операций с регулярными интервалами. Ланч на работе и обед дома также стандартны, как и рабочие операции. Они читают газеты, их десятки, но все они одинаковы по своему содержанию. В стандартной одежде они ходят в клуб, бар, церковь. И когда они умирают, их хоронят в стандартных гробах со стандартной церемонией и стандартным объявлением в местной газете».

Все аспекты существования подчинены делу, а сам процесс жизни настолько стандартизирован, обезличен, формализован, что американец теряет вкус к жизненным радостям. Кроме того, время — деньги, а время, потраченное на что-то вне работы, это украденные у себя деньги. Поэтому американцы среднего класса, путешествующие по Европе, в глазах европейцев, воспитанных в атмосфере «праздника жизни», выглядят такими изношенными и подавленными.

«Наша жизнь — наш самый ценный капитал, и его мы вкладываем только в бизнес. В Штатах вы просто не найдёте полнокровной, полноценной формы жизни». (Джон Стейнбек).

Бизнес в Америке не отделен от остальных сфер человеческой жизни, он органично вплетён в саму её ткань. Бизнес воспринимает всё окружающее через количественные показатели, и они используются в каждом аспекте повседневности. Красота человеческого тела оценивается — мужского объёмом мышечной массы, женского размерами бёдер, талии, груди, длине ног. Еда — не вкусом, а количеством калорий. Общение — популярностью, количеством людей, которых вы знаете. Знание — не глубиной и силой мысли, а количеством информации в вашей памяти. Дом, в котором вы живёте, — не эмоциональным комфортом или дискомфортом, который вы в нём испытываете, а его стоимостью. Вещи — не их соответствием вашим представлениям об эстетике, а магазинным ценником. В этом мире количеств исчезает качество, которым только и определяется полнокровная, полноценная жизнь, но оно исчезает и в других странах мира.

Итальянская журналистка Сепонни-Лонг: «Побывав в США и в России, я была поражена близостью их мироощущений. Несмотря на внешнее различие в идеологии, политике и экономике, различие в прокламируемых идеях и целях, они одинаково равнодушны к человеческим и эстетическим ценностям жизни».

В России, когда-то гордившейся духовностью своей культуры и её огромным престижем для масс, после её вхождения в цивилизованный мир мещанские ценности приобретают небывалый статус, вытесняя существовавший когда-то интерес к богатству мировой культуры и человеческому духу. Ни богатая Америка, ни разбогатевшая Россия не приняли европейское «искусство жизни» по разным причинам, но их объединяет глухота к красоте, отсутствие вкуса к многообразию жизни во всех её проявлениях.

Искусство жизни не предполагает наличия огромного материального богатства. Оно возникает в атмосфере общества, уверенного в завтрашнем дне, где большинство удовлетворено своим местом в обществе, где существует полнота и глубина отношений с людьми. Но жизнь, построенная на экономике ради экономики, — это жизнь на бегу, она воспитывает не искусство жить, а искусство выживать.

Только старые центры европейских городов напоминают об уходящем в прошлое «искусстве жизни». Виктор Гюго говорил, «архитектура — это душа нации», душа американской архитектуры — стандарт, полное единообразие, деталей и нюансов в ней нет, это эстетика функциональности.

Жан-Поль Сартр после своего посещения Америки: «Уродство архитектуры здесь ошеломляет, особенно в новых городах. Улица американского города это хайвей, просто дорога, в ней отсутствует даже напоминание, что здесь живут люди».

Американские мегаполисы — идеальные механизмы для жизни миллионов, это огромная стандартная инфраструктура, в которой учтены все функциональные нужды работника и потребителя. Они занимают пространства на многие десятки

миль, где адрес может обозначаться, как дом № 12 566 на улице № 357 — это гигантский человеческий муравейник, в котором всё подчинено требованиям безостановочного движения и накопления.

Новеллист Чивер в цикле своих рассказов о средней американской семье, живущей в в таком мегаполисе, в районе для обеспеченного среднего класса, Буллет Парке, пишет о хозяине дома, Тони, «болеющем тоской» в своём комфортабельном доме со всеми возможными удобствами. Желая хоть как-то уйти от монотонности и бесцветности упорядоченной функциональной жизни в вакууме своей жилой ячейки, Тони каждый год перекрашивает стены многочисленных комнат своего дома. В одном из своих монологов он говорит: «Они отменили всю огромность человеческих эмоций и мыслей. Они выщелочили все краски из жизни, все запахи, всю необузданность жизни природы».

Функциональность как принцип жизни была провозглашена ещё в начале 19-го века общеизвестной фразой Бенджамина Франклина о топоре, который должен быть, прежде всего, острым, а его внешний вид не имеет никакого значения, это излишняя трата труда. «Зачем полировать до блеска всю поверхность топора? Важно, чтобы лезвие было хорошо наточено, а в остальном крапчатый топор самый лучший».

Воплощением функциональности строительства, динамики и масштабов американской жизни стал небоскрёб, символ высоко технологической цивилизации. Он собирается и разбирается, как детский набор из стандартных кубиков. Его можно увеличить, его можно уменьшить. Его интерьер так же стандартен, как экстерьер, поэтому его можно делить на узкие отсеки или расширять до больших залов. Первый небоскрёб появился в Чикаго в 1885 году. Это был Home Insurance Building высотой в 10 этажей, и он ещё следовал европейской традиции, был обильно декорирован. Пиетет перед европейской традицией отношения к архитектуре, как «музыке в камне», был преодолён через 40 лет, когда начали появляться сотни зданий без каких-либо украшений.

Европейская традиционная архитектура с её богатством разнообразных фасадов следовала идее эстетического обогащения жизни и была рассчитана на века. Она была неизменяема, стабильна и традиционна, как само общество. В Европе здания возводились на века, в Америке в расчёте на одно поколение. В течение двадцати лет вся экономическая и социальная ситуация в стране менялась, и строить на века в этой ситуации было нерентабельно, кроме того, эстетика требует нефункциональных затрат.

Задолго до Маяковского европеец Алексис Токвиль был также поражён американским отношением к эстетике архитектуры. Эстетика не её органическое качество, неотъемлемая часть всей конструкции, а декорация, закрывающая конструктивные элементы: «Когда я подплывал к Нью-Йорку, на берегу реки я увидел несколько монументальных мраморных зданий в античном стиле. На другой день я решил посмотреть их поближе. Оказалось, что то, что издалека виделось, как мраморные плиты, были стенами из одного ряда кирпичей, побелённых извёсткой, а мощные мраморные колонны были деревянными стойками, окрашенными яркой, масляной краской».

Как писал Маяковский после своего путешествия по США: «При всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американских строек, высоты американских небоскрёбов, их удобств и вместительности, дома Америки, в общем, производят странное ощущение временности. Даже большие, новейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, в частности Нью-Йорк, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные, двадцатиэтажные чтобы тридцатиэтажные, затем чтоб сорокаэтажные…»

В Европе одним из критериев подлинности считалась длительность существования отношений, вещей и зданий, ценно то, что прошло проверку временем. Как гласит древняя мудрость, истинность — дочь времени. Америка же создала временный пейзаж, «landscape of the temporary».

По мнению европеизированного американского писателя Генри Джеймса, временность американских сооружений, постоянная смена городского ландшафта, разрушающе действует на человеческую психику. Когда он вернулся в Америку после своей многолетней, добровольной ссылки в Европу в 1904 году, то был поражён безликостью американской архитектуры:«Эти здания нереальны, они не более, чем символы, дорогие декорации, они не имеют ничего общего с традициями, они не отражают ни прошлого, ни будущего, они существуют только для сегодня и будут снесены завтра. Многие постройки подражают образцам европейской архитектуры, но они не обращаются ни к вашему знанию, ни к эстетическому чувству, как архитектура Европы. Эти здания — анекдоты в одну фразу в сравнении с романами, эпопеями европейской архитектуры».

Утилитарность и экономичность архитектуры — требование общества, построенного на принципе непрекращающегося движения, ландшафты городов и пригородов поэтому и выглядят как плоские, временные декорации. В них нет подлинности, так как у них как бы нет возраста, нет прошлого, как и у самой страны иммигрантов, где каждое новое поколение иммигрантов разрывает с прошлым своих отцов, чтобы всё начать сначала.

Динамизм американской жизни, естественно, рождает безразличие к эстетике, красоте каждого момента жизни. Вечное беспокойство, страх упустить свой шанс на удачу где-то в другом месте заставляет миллионы людей находиться в постоянном движении, передвигаться с места на место, отсюда убогий вид многих американских городов, временный и незаконченный характер застройки, он выражает сам характер нации иммигрантов, отсутствие корней, нежелание пускать корни на одном месте.

Антиэстетизм американской жизни, с одной стороны, возник спонтанно, как результат общей атмосферы общества иммигрантов, озабоченных, прежде всего, необходимостью выживания в новой

стране, им было не до эстетики. С другой стороны, антиэстетизм был также частью широкой программы преобразования общества.

В доиндустриальную эпоху доминировало представление, что мир человекоцентричен, человек мера всех вещей. Старая терминология измерений сегодня напоминает об этом ушедшем прошлом, когда окружающие человека вещи соответствовали размерам его тела и были как бы его продолжением. Inch — расстояние от верхней точки большого пальца до фаланги; Foot — длина ноги; Yard — расстояние от кончика носа по плечу и руке до конца большого пальца, приблизительно равного одному метру. В российской системе мер длины использовалась длина от большого пальца до локтя. Локтями мерились материалы, скажем, десять локтей материи, десять локтей бревна.

В 20-ом веке цивилизация стал машиноцентричной, человек стал соотноситься с машиной, так как машина превратилась в меру, эталон функциональности, эффективности и эстетики. Новые города стали строиться как машины для жизни, они создавали новую красоту, красоту функциональности. Геометрические, кубистические формы зданий создали небывалые, фантастические, инопланетные городские пейзажи. Жилые дома перестали отличаться от зданий фабрик и заводов. Те же плоские стены, без всяких украшений, прямоугольники окон и мёртвые химические краски фасадов.

Эстетика геометрических форм в архитектуре получила широкое распространение и в 20-ые годы в Советской России, в работах советских футуристов, кубистов и конструктивистов, и это они первыми сформулировали основные принципы «научного градостроительства».

Научное градостроительство предполагает, что жизнь с её непредсказуемостью, во всём многообразии её форм, должна быть упрощена до функционального минимума. И новые города XX века строились по принципу функциональности: прямолинейная застройка, квадратные сетки проспектов и улиц создавали идеальные условия для транспортировки людей и грузов. Отсутствие тупичков, переулков, маленьких скверов, характерных для старых кварталов европейских городов, позволяло контролировать весь жизненный процесс и служить интересам экономики.

Задачей традиционной архитектуры было обогащение эстетикой повседневной жизни. Но безликие, агрессивно антиэстетичные города, построенные в 20-ом веке, строились не для людей, а для «рабочей силы». Французское студенчество в период молодёжных бунтов конца 60-ых требовало снести «рабочие бараки», как называли тогда новые, безликие жилые комплексы, и построить «дома для людей». Сегодня этого уже никто не требует, жизнь в современных бараках стала приемлемой, они стали привычны для миллионов во многих странах мира. Жизнь в таких районах соответствует требованиям индустриального производства, в котором заняты миллионы жителей, и ничем не отличаются от безликих жилых кварталов американских городов. И только культурная элита страдает ностальгией по прошлому.

Симона де Бовуар после своего путешествия по многим городам Среднего Запада говорила, что у неё было ощущение, что это один и тот же город.

В фильме Ярмуша «Stranger than Paradise» герои фильма, двигаясь по Америке, заезжают в Кливленд, и один из них говорит: «Это забавно, но когда видишь какое-то новое место, всё кажется таким же, как и там, откуда только что приехал, как будто никуда и не уезжал».

Журналист-иммигрант Генис: «В Европе за четыре часа можно проехать три страны, дюжину городов и две горные системы. В Америке за это время вы минуете сто бензоколонок. …Проехав столько-то миль до, допустим, Буффало, ищешь место, чтобы, наконец, выйти из машины и погрузиться в городскую жизнь, в жизнь неповторимую, единственную, существующую только здесь, в Буффало, штат Нью-Йорк. И вот выясняется, что выходить негде и незачем, разве только в туалет».

Но так безлико, стандартно выглядит страна, какова же жизнь за фасадами зданий? Она так же стандартна, единообразна и не индивидуализирована. Английский социолог Джеффри Горер писал, что, побывав в одном американском доме, можно заранее предугадать, какими будут в другом доме мебель, украшения или книги. И это не зависит от того, городская это квартира в многоэтажном доме или дом в сабёрбе.

«Америка уничтожила разницу между городом и деревней. Это место, где всё устроено для удобства, и не более того». (Александр Генис).

Видя в Америке образец для подражания, большевики также мечтали о «стирании граней между городом и деревней», но, в отличие от Америки, не смогли мечту реализовать. Советская власть, уничтожая крестьянство как класс, не смогла добиться той производительности труда, которая сохранила в американском сельском хозяйстве лишь 3% населения, а в России и по сей день население деревень составляет более 40%. Экономика, строящаяся на насилии, не может быть эффективной.

В Америке же это произошло в органическом процессе экономической динамики. Крестьяне–фермеры в условиях ожесточённой конкуренции были вынуждены отказаться от вековых традиций ведения хозяйства и начали создавать сельскохозяйственные индустриальные комплексы. В результате исчезли тысячи фермерских посёлков, исчезла деревня. На месте фермерских поселений появились сабёрбы, огромная сетка прямолинейных улиц, застроенных двухэтажными домами на одну семью, и разница между городом и деревней исчезла.

Первым стандартизированным пригородным районом был Левиттаун на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, где сразу после окончания II Мировой войны сотни абсолютно идентичных домов-коробок были возведены за короткий срок и продавались по доступной цене. С Левиттауна началась реконструкция пригородов, сабёрбов, которая проводилась в соответствии с тем же принципом стандарта и полного контроля над окружающей средой, как и в городах, и поэтому исчезли качества, отличающие жизнь на природе от городской

жизни, — огромное разнообразие и непредсказуемость. Искусственно созданная природа сабёрбов лишена этого фундаментального качества, декорации природы не обладают способностью обогащать человеческие чувства, способностью постоянного обновления.

Научное градостроительство и не ставило перед собой такой задачи, её целью было создание единой системы контроля всех аспектов жизни в едином, стандартном для всех районов страны мегаполисе. Научное градостроительство в его ошеломляющем контрасте с традиционной архитектурой — наглядный показатель победы стандартного над индивидуальным.

Борьба за стандартизацию всех аспектов общественной жизни началась задолго до XX века. С появлением в 17-ом веке на исторической арене новой религии, протестантизма, противопоставившего себя католицизму, изменился взгляд на смысл и содержание человеческого существования. Католицизм видел в красоте материального мира проявление божественного начала, и внимание к красоте повседневной жизни католических стран привело к расцвету всех искусств. И искусство с его вниманием к оригинальности, уникальности каждого момента человеческой жизни, стало органической, интегральной частью мироощущения рядового католика.

Протестантизм же отрицал саму необходимость искусства, проповедовал аскетизм, упрощение, унификацию всех сторон жизни, что в архитектуре привело к казарменному стилю, и это особенно наглядно в жилых кварталах городов, построенных в 17–19 веках в протестантских странах, Англии, Германии и Швейцарии. В этот период в сознание людей начала внедряться идея ценности жизни как труда, и люди постепенно подчинились дисциплине завода и офиса, приняли условия труда в уродливых зданиях, окружённых ржавым металлом и серым бетоном. Приняли как огромный прогресс — переселение из убогих лачуг в новые жилые районы, которые ничем не отличались от фабричной застройки.

Новая архитектура для миллионов отказалась от фасадов, украшенных орнаментами и барельефами, от украшения потолков лепкой, от маленьких тенистых аллей и сквериков, характерных для старых кварталов европейских городов. В новых городских пейзажах с их прямыми линиями зданий и улиц, с их огромными масштабами человек стал выглядеть приживалкой рядом с тем, что он сам создал.

Хищные вещи века

«Пророки Ветхого Завета называли идолопоклонниками тех, кто преклонялся перед тем, что они создали собственными руками. Их богами были предметы из дерева или камня. Смысл идолопоклонничества заключается в том, что человек переносит всё, что он испытывает, силу любви, силу мысли, на объект вне себя.
Современный человек идолопоклонник, он воспринимает себя только через вещи, через то, чем он владеет» (Эрих Фромм).

Мир вещей становится всё больше, сам человек рядом с вещами становится всё меньше. В 19-ом веке Ницше говорил «Бог умер», в 21-ом веке можно сказать, что человек умер, так как вещами современный человек определяет, что он есть. «Я покупаю, значит, я существую», как вещь, я подтверждаю своё существование общением с другими вещами.

Стоимость дома, мебели, автомашины, одежды, часов, компьютера, телевизора формируют общественный статус, определяют ценность индивида. Когда человек теряет часть своего имущества, он теряет часть себя. Когда он теряет всё, он теряет себя полностью. Во время экономических кризисов те, кто потерял значительную часть своего богатства, выбрасываются из окон небоскрёбов. Их богатство и было тем, что они есть. Самоубийство на почве экономического банкротства в этой системе культурных ценностей вполне логично, оно означает банкротство личности.

Люди воспринимали себя через вещи и раньше, но никогда в истории вещи в общественном сознании не занимали такого места, как в последние десятилетия, когда потребление превратилось в средство оценки значимости человека.

Программа воспитания человека, подчинившего всю свою жизнь работе, была, в основном, выполнена, начался следующий этап — воспитание потребителя. Экономика стала нуждаться не только в дисциплинированном работнике, безоговорочно принимающего дегуманизированную атмосферу фабрики или офиса, нужен был также не менее дисциплинированный покупатель, приобретающий всё новые товары в соответствии с их появлением на рынке.

В систему воспитания потребителя включились все общественные институты, прививающие определённый стиль жизни, широкий спектр желаний, культивирующие существующие и формирующие псевдопотребности. Появился термин «sofisticated consumer», опытный покупатель, покупатель-профессионал.

Перед пропагандой потребления стояла задача искоренить многовековую традицию покупать только необходимые вещи. В предшествующие эпохи материальная жизнь была бедна, поэтому этической нормой был аскетизм, ограничение материальных потребностей. До появления постиндустриального общества экономика могла предоставить только самое необходимое, и семейный бюджет строился на экономии в расходах, одежда, мебель, все предметы быта тщательно сохранялась, часто переходя от одного поколения к другому. При высокой стоимости многих новых продуктов на рынке большинство предпочитало обходиться старыми вещами.

Сегодня, по сообщению журнала «Consumer Report», индустрия предлагает 220 новых моделей автомобилей, 400 моделей видеомашин, 40 видов мыла, 35 видов головок для душа. Количество сортов мороженого доходит до 100, количество сортов сыра в продаже около 150, сортов колбасы более 50.

Индустрия производит намного больше того, что требуется для обеспеченной жизни миллионов и, чтобы продать всё, что производится, нужно

воспитать убеждение, что только в покупке новых и новых вещей и заключена вся радость, всё счастье жизни.

Потребитель убеждён, что он сам делает выбор, он сам принимает решение покупать тот или иной товар. Но уже сами затраты на рекламу, составляющие во многих случаях 50% от его стоимости, говорят о том, сколько энергии и таланта вкладывается в процесс убеждения потребителя.

Декларация Независимости в 18 веке говорила о главной цели человеческой жизни, поиске счастья, а сегодня счастье определяется тем, как много вы можете покупать. Общенациональный поиск счастья вынуждает даже тех, кто не способен покупать из-за низкого уровня дохода, брать займы у банка, влезать во всё новые и новые долги по кредитным картам.

Фантаст Роберт Шекли в одном из своих рассказов, «Nothing for Something», показывает человека, подписавшего с дьяволом, агентом по продажам, контракт, по которому ему предлагалась вечная жизнь и неограниченный кредит, на который он мог приобрести мраморный дворец, одежду, украшения, множество слуг.

Много лет он наслаждался своим богатством и в один прекрасный день получил счёт, по которому должен отработать по контракту — 10 тысяч лет рабом в каменоломнях за пользование дворцом, 25 тысяч лет за пиры рабом на галерах и 50 тысяч лет рабом на плантациях за всё остальное. Впереди у него вечность.

Современный человек также подписывает негласный контракт, это контракт не с дьяволом, это контракт с обществом, контракт, обязывающий его работать и потреблять. И впереди у него вся жизнь, в течение которой он должен безостановочно работать для того, чтобы покупать.

Сизиф, герой древнегреческой мифологии, был осуждён богами за жадность вечно поднимать камень на вершину горы. Камень каждый раз скатывался вниз, к подножью. Задача Сизифа была столь же непосильной, сколь и бессмысленной. Бесцельной, как и сама жадность, за которую он был осуждён. Сизиф, бесконечно поднимая камень на вершину горы, осознавал это как наказание.

Сегодняшний потребитель, чью жадность ко всё новым и новым вещам искусно возбуждает широко разветвлённая и психологически совершенная пропаганда потребления, не ощущает себя жертвой, по сути выполняя роль Сизифа.

«Человек должен усвоить идею, что счастье — это возможность приобретать множество новых вещей. Он должен совершенствовать, обогащать свою личность, расширяя свои способности в их употреблении. Чем больше вещей он потребляет, тем богаче он становится как личность. Если член общества перестаёт покупать, он останавливается в своём развитии, в глазах окружающих он утрачивает свою ценность как личность, кроме того, он становится асоциальным элементом. Если он перестаёт покупать, он останавливает экономическое развитие страны». (Ж. Бодрийяр).

Но, разумеется, не забота об экономическом развитии страны движет потребительское общество, в качестве потребителя каждый получает важнейшую в жизни человека ценность — уважение к себе. «Простой рабочий, внезапно отмытый от тотального презрения… обнаруживает, что в качестве потребителя с ним со впечатляющей вежливостью обращаются как с важной персоной». Р. Барт

Принцип потребительской культуры — все положительные качества связаны с новым, всё, что есть негативного в жизни, это старое, старое мешает нам жить и должно быть выброшено на помойку.

Для того чтобы новые товары покупались, в то время как старые приобретения ещё вполне функциональны, нужно было придать вещам новое качество, общественный статус. Покупателем, определяющим ценность вещи её пользой и функциональностью, трудно манипулировать, а подсознательными рефлексами культуры, обращающими внимание покупателя, прежде всего, на статус вещи, манипулировать можно.

Реклама продаёт не саму вещь, а её образ в статусной шкале, и он важнее качества и функциональности самих вещей. Каждая модель автомашины, холодильника, часов, одежды привязана к определённому социальному статусу. Владение старой моделью показатель несостоятельности владельца, его низкого общественного положения.

Статус не материален — это лишь образ, абстракция. Но именно абстракция определяет ценность вещей и, следовательно, ценность их владельца. Потребитель не покупает конкретную вещь, он покупает статус вещи. Он приобретает не добротную автомашину, а Мерседес, Порше, Роллс-Ройс, не отличные часы, а Картье, Ролекс.

В индустриальной экономике происходила, по словам Фромма, подмена «бытия» на «обладание», в постиндустриальном происходит подмена обладания вещами на обладание образами вещей. Вещи становятся частью виртуального мира, в котором физическое обладание вещью сменяется обладанием образом вещи, вызывающим такую богатую эмоциональную реакцию, которую сама по себе вещь дать не может.

Приобретение подростком автомашины недаром называют его первым романом, это первый опыт любовного чувства. Самые яркие жизненные впечатления девушки обычно связывают не столько с первой любовью, сколько с первыми бриллиантами или норковой шубой. Вещи абсорбируют эмоции, всё меньше эмоций остаётся для полноценного общения, вещи могут принести больше радостей, чем общение с людьми. Как говорила героиня Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера», «бриллианты — лучший друг девушки», или, как заявляет реклама виски Chivas Regal, «у вас нет друга ближе, чем Chivas Regal».

Поэтому, когда отдельный человек решает, куда вложить свою эмоциональную и интеллектуальную энергию, в человеческие отношения или в общение с вещами, то ответ заранее предопределён. Дилемма «вещи — люди» решается в пользу вещей.

Количество часов, проведённых в процессе покупок, общения с автомобилем, с компьютером, телевизором, игральным автоматом, намного больше часов общения с другими людьми. Раньше самое

большое эмоциональное волнение приносили человеческие отношения, искусство, сегодня вещи, общение с ними даёт полноценное ощущение жизни.

Русский иммигрант, философ Парамонов, находит подтверждение этому в своём персональном опыте: «Я давно уже понял, что покупать дом на Лонг-Айленде интереснее, чем читать Томаса Манна, Я знаю, о чём говорю: я делал и то, и другое». И эту позицию иммигранта из Советской России можно понять, жизнь в состоянии унизительной материальной нищеты невозможно компенсировать высокими духовными ценностями.

Американский социолог, Филлип Слатер, по-видимому, никогда не испытывал недостатка в материальном комфорте, в отличие от Парамонова, ему не с чем сравнивать. Для него покупка дома или новой автомашины — привычная рутина. «Каждый раз, когда мы покупаем новую вещь, мы испытываем ощущение эмоционального подъёма, как во время встречи с новым интересным человеком, но очень скоро это чувство сменяется разочарованием — вещь не может иметь ответного чувства. Это что-то вроде односторонней и безответной любви, которая оставляет человека в состоянии эмоционального голода. Пытаясь преодолеть чувство беззащитности, чувство бесцветности, пресности нашей жизни и внутренней пустоты, мы, надеясь, что большее количество вещей, которые мы сможем приобрести, всё-таки принесёт нам остро желаемое чувство благополучия и радости жизни, увеличиваем нашу продуктивность и ещё глубже погружаемся в состояние безысходности».

Обладание вещами-статусами, через которые человек себя идентифицирует, которыми измеряет свою ценность в глазах общества и ближайшего окружения, вынуждает его концентрировать свои эмоции на вещах. Эмоциональная жизнь сублимируется, переводится из сферы человеческого общения в сферу общения с вещами.

Царь Мидас, фигура греческого мифа, был наказан за жадность, получив от богов «подарок»: всё, к чему он прикасался, превращалось в золото. В золото превращалась и еда. Мидас, обладая горами золота, умер от голода. Сегодняшний американец, выбирающий из огромного меню вещей, которыми он может обладать, в человеческих отношениях сидит на голодной диете.

Потребление превратилось в основную форму культурного досуга в американском обществе, посещение молла (огромного суперсовременного рынка потребительских товаров) — важнейшая форма времяпровождения. Сам процесс покупок становится актом самоутверждения, подтверждением общественной полноценности и имеет для многих терапевтический эффект — это успокаивает. Тот, кто не может покупать, чувствует себя социально ущербным.

В сабёрбах во время уик-энда можно увидеть распродажи, (garage-sale) на газонах перед домами. Хозяева дома продают ненужные им вещи. Немало вещей продаются в том же виде, в каком они были куплены, в нераскрытой магазинной упаковке. Это результат «shoping-spree», покупок, совершаемых не ради необходимости, а ради ощущения выполненного общественного долга в своей основной социальной роли, потребителя. Необходимо продемонстрировать другим и себе, что всё в порядке, что успех достигнут, что «жизнь удалась».

Пророчество просветителя Сен-Симона «власть над людьми сменится властью над вещами» не оправдалось, власть людей над материальным миром сменилась властью вещей над миром человеческим. Во времена Сен-Симона нищета была широко распространена, и, казалось, что только материальное благополучие создаст тот фундамент, на котором строится дом, полноценная, достойная человека жизнь. Но дом построен не был, построен был только фундамент с горой вещей на нём, а сам владелец служит своим вещам, живёт внутри вещевого склада и охраняет то, что смог накопить, будучи при этом бездомным. Как говорит народная мудрость, «Shop until you drop», покупай, пока не упадёшь от изнеможения.

«Американца окружает огромное количество вещей, облегчающих жизнь, о которых европеец может только мечтать, и в то же время весь этот материальный комфорт и вся его жизнь лишена духовного, эмоционального и эстетического содержания». (Гарольд Стирс).

Но духовное, эмоциональное, эстетическое не являются приоритетом в материалистической культуре, они не имеют массового спроса. Институты потребительского общества, прививая ценность впечатлений нового опыта, «new experience», от обладания новыми вещами, создают новую культуру жизни, в которой ценятся не качества людей, вещей, событий, а их постоянная смена. Вещи в системе потребления должны иметь короткую жизнь, после одноразового употребления выбрасываться, воплощая принцип Прогресса — новое лучше старого.

Мир вещей, заполнивших всё пространство человеческой жизни, диктует и формы отношений между людьми. Новые формы отношений технологической эры — логическая ступень материалистической цивилизации, в которой существует лишь материальный мир, где непосредственное общение заменяется общением через вещи, посредством вещей, среди которых сам человек не больше, чем вещь среди других вещей. Раньше богатство жизни определялось богатством и разнообразием человеческого общения, его дополняли красивые вещи, привносившие новые краски и эстетическое наслаждение. Сегодня вещами исчерпывается всё содержание жизни и отношений и, чтобы насладиться всем богатством жизни, — «больше работай, чтобы больше покупать».

Деньги не средство, а цель жизни

Когда-то говорить о деньгах считалось неприличным, тема была недостойной общественного внимания не только потому, что воспринималась как «низменная», но и потому что не у всех деньги были, не для всех были достижимы.

В последние десятилетия тема денег превратилась в центральную, в главную тему обсуждений, звучащую в офисах, на улице, в семье, во всех

человеческих связях, во всех произведениях искусства.

Экономические возможности появились у многих, так как разветвлённая кредитная система позволила даже тем, чья заработная плата покрывает только необходимые ежедневные расходы, приобретать дома, автомашины, предметы роскоши. Отношения между людьми всё больше стали регулироваться деньгами, и деньги заняли центральное место на шкале общественных интересов.

Деньгами стали оцениваться те сферы деятельности, к которым раньше применялись другие критерии. Талант определяется не профессиональными достижениями, а уровнем оплаты. Успешный врач — не тот, кто помог большему количеству пациентов, а тот, чей годовой доход выше, чем у его коллег. Инженер оценивается не тем, сколько благ обществу он принёс своей работой, а тем, сколько он за неё получил. Писатель, художник, актёр, режиссёр оценивается не по значимости своих творений, а по размеру гонорара.

Деньги имеют двойственную роль. С одной стороны, они создают иерархию статуса, устанавливают шкалу престижа, определяют уровень успеха, с другой, реализуют принцип демократического равенства. В рыночном обществе, где всё продаётся и покупается, каждый выступает то в качестве продавца, то в качестве покупателя. Для продавца не играет никакой роли, кто покупатель, для него не важен ни цвет кожи, ни этническая принадлежность, ни социальный статус или внешний вид. Для покупателя не имеет значения, кто продаёт ему то, в чём он нуждается.

В потребительском обществе миллионер или нищий в качестве покупателей получают равную долю внимания и уважения и платят одну и ту же цену. Кока-колу пьёт и нищий, и миллионер. Промышленность хотя и выпускает товары, рассчитанные на богачей, эти товары занимают микроскопическое место в общем объёме продукции.

Индивидуальные различия в системе покупок и продаж также не играют значительной роли, рынок их в расчёт не принимает. Экономика рассчитана на массовый рынок, в котором все слои населения как покупатели равны, а как индивиды различаются не по качествам личности, а по количеству нолей в банковском счёте.

Деньги всегда играли огромную роль в жизни любого общества, но степень значения денег в различных культурах была разной. В «Венецианском купце» Шекспира героя-ростовщика венецианские патриции презирают за ту страсть, с которой он добивается «презренного металла», за то «неблагородное занятие», которое даёт ему средства к существованию. Но в 19-м веке, в период интенсивного развития капитализма, деньги в глазах общества утратили свою «низменную природу», и их добыча превратилась в достойное и уважаемое занятие для всех общественных классов.

Феодальное общество с презрением относилось к труду, создающему богатства. «Праздный», свободный от труда класс, считался высшим, те, кто создавал для них богатства, считались низшим классом. Феодальная иерархия разделяла общество на верхи, аристократию, образованных, утончённых индивидов с богатой внутренней жизнью и безликую, бездуховную массу, толпу. В рыночной демократии, в «правильно же построенном обществе», говорил Базаров в «Отцах и детях», «...совершенно будет равно, глуп ли человек или умён, зол или добр».

В феодальной России денежные, капиталистические формы отношений появились позднее, чем в Европе. Но тенденция к увеличению значимости денег в обществе уже чувствовалась, и первым её увидел Пушкин. Вначале это был «Скупой рыцарь», говоривший о смене ценностей в феодальной Европе, где над правящим классом становилась буржуазия, идущая на смену потомственному дворянству, само название пьесы подчёркивало несоответствие жажды денег и рыцарского достоинства. Затем та же тенденция прослеживалась, в «Пиковой Даме», где блестящий гвардейский офицер, аристократ, убивает старуху ради денег, угрожая ей пистолетом. Не происхождение, благородство, аристократизм или личные качества, только деньги стали приносить уважение общества. Имя героя, Герман (German), немец, вполне однозначно говорило, откуда эта тенденция пришла.

Александр Герцен, много лет проживший в Европе: «Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать хоть на какое-то уважение. Ныне же без денег не только на уважение, но и на самоуважение нельзя иначе рассчитывать».

Для имущих классов борьба за богатство во все времена была привычной частью жизни, но к середине 19-го века интенсивность борьбы возросла, в денежные отношения стали вовлекаться «неимущие классы». В течение столетий пистолет, шпага, кинжал, яд были теми средствами, которые применялись в борьбе за богатство внутри аристократической элиты. Герман в «Пиковой Даме» использовал пистолет. Раскольников в «Преступлении и Наказании» взял топор.

Борьба начала приобретать всё больший накал, в её арсенал были включены все подручные средства. Топор — средство народное, и он показатель того, что в процесс погони за деньгами включились массы. С деньгами человек получает уважение, без денег он «тварь дрожащая».

Достоевский недаром по сей день остаётся остросовременным писателем. Он, как никто другой, показал возраставшую власть денег над общественным сознанием. В чём Достоевский остался человеком своего времени, так это в том, что трагедия его героя в непреодолимом противоречии между религиозной моралью и практикой жизни. Нравственная мука и есть главное наказание Раскольникова за совершённое им убийство, преступление приводит к распаду личности.

Сегодня морализаторство Достоевского вызывает недоумение, в современном экономическом обществе мораль утратила своё былое значение, вместе с потерей статуса морали в общественном сознании исчезла сама дилемма «мораль — деньги».

Огромный накал страстей во всех романах Достоевского, сюжеты которых строятся вокруг денег,

показывал реакцию тогдашнего российского образованного класса на власть денег, которая воспринималась как трагедия, так как противоречие морали и денег было неразрешимо. Российская либеральная интеллигенция видела возможность решения этой дилеммы в революционной буре, в уничтожении всей государственной структуры, все беды страны она видела в безнравственности власти.

В России государство и экономика были неотделимы. В Европе же экономика была достаточно самостоятельна, независима от государственной структуры. Государство постепенно утрачивало свою абсолютную власть, так как экономика перестраивала всю общественную систему, экономика стала определять место человека в обществе.

Европейская литература, начиная с мольеровского «Мещанина во дворянстве», говорила о пересмотре иерархии традиционных оценок без надрыва Достоевского. Процесс разрастания статуса денег в Европе был достаточно драматичным, но он не нёс в себе трагедии, так как традиционная мораль постепенно, шаг за шагом, уступала своё место жизненному практицизму, философии выживания, характерного для низших классов, впервые в истории получивших возможность уйти от вековой нищеты. Европейское мещанство превратилось в новый буржуазный класс, от которого стали зависеть старые хозяева жизни, аристократия, дворянство. Новые хозяева жизни создавали новую иерархию ценностей и превращались в аристократию нового времени, аристократию денежную.

В России до 17-го года этот процесс проходил по-другому. Россия использовала принципы капиталистической экономики, но власть в экономике принадлежала государству, новые формы экономики вписывались в традиционную структуру, феодальную. В феодальной системе богатства не зарабатывались, а получались в зависимости от связей с вертикалью власти.

После 17-го года большевики, разрушив старую феодальную систему, создали новую, которая отличалась от старой лишь по форме, и в ней жизненные блага также распределялись по принципу феодальной системы в соответствии со статусом или связями внутри вертикали государственной власти. Государство превратилось в единственного хозяина всей экономики, и деньги, один из главных инструментов демократии, перестали выполнять свою роль мотора социальных изменений. Россия остановилась во времени.

События 1991 года вернули Россию в ряд цивилизованных стран, деньгами стал определяться общественный статус, Россия демократизировалась. Но так же, как и во всей предыдущей российской истории, новые предприниматели получают богатства из рук государства.

С момента появления капитализма в 18-ом веке культурная элита Европы осуждала процесс смены ценностей нравственных, духовных, т. е. аристократических, на мещанские, демократические, денежные. И реакция культурной элиты была понятна, она лишалась привычного заказчика, новому заказчику её представители были не нужны, у новых хозяев жизни были другие интересы и другие ценности.

Традиционная культура была аристократичной, элитарной по определению, так как создавалась аристократией творческой для аристократии потомственной, родовой, владельцев богатств. Новые формы экономических отношений создавали условия, в которых высокие, духовные ценности начали уступать своё место ценностям экономическим. Деньги превратились в цель и смысл жизни масс, так как они давали физический комфорт, свободу и общественный статус. Тем не менее, в глазах европейцев обожествление денег в Америке перешло допустимые даже для них пределы.

Французский аристократ, маркиз Алексис Токвиль: «Я не знаю страны, где страсть к деньгам так поглощала бы все мысли и чувства людей».

Чарльз Диккенс в своём романе «Мартин Челзвик» показывает шок своего героя, англичанина, путешествующего по Америке, узнающего, к своему удивлению, что в этой демократической стране существует аристократия. Когда он спрашивает, на каких же принципах стоит американская аристократия, ему отвечают: «На уме и силе характера. Точнее, на их последствии — долларах». Мартин слышит разговор бизнесменов после делового обеда: «…ему казалось, что всё, чем они озабочены, их радости, горести, надежды, всё растворяется в долларах. Люди оценивались в долларах, измерялись в долларах. Сама жизнь продавалась с аукциона, взвешивалась, смешивалась с грязью или поднималась на огромную высоту через доллары».

Обеспеченные классы Европы видели в деньгах лишь средство для полноценной жизни, целью было счастье, которое достигалось в гармоническом слиянии человека с природой, в постижении истины, в широкой палитре чувств, эмоций, мыслей, в богатстве человеческих отношений. Жизнь, посвящённая лишь погоне за деньгами, казалась им иррациональной.

Американский философ Джордж Сантаяна объяснял, почему деньги играют такую огромную роль в США: «Американец так много говорит о долларах, потому что доллар — это символ и мера измерения успеха, единственная мера, которую он имеет, чтобы оценить свой успех, свой ум и свою власть над обстоятельствами. В то же время он относится к деньгам довольно легко. Он их делает, теряет, тратит, раздаёт с лёгким сердцем. Это уважение не к самим деньгам, а к количеству вообще, потому что качество трудно определимо. Огромное внимание к числам, к количественным измерениям, к деньгам — не что иное, как отражение демократических идеалов. Качество — понятие аристократическое, качество создаёт иерархию, лучше — хуже, а количественная оценка всех уравнивает, и, кроме того, цифры никогда не врут. Поэтому деньги превратились в единственно ясный и очевидный показатель ценности человека».

Но Сантаяна был исключением из правила, американская культурная элита видела в обожествлении денег признак распада основ общества, деградацию вечных ценностей.

Философ Ральф Эмерсон: «Американец просто машина, добывающая доллары. Он придаток к своему имуществу».

Генри Джеймс, классик американской литературы, бежавший от меркантильного духа Америки в Европу, где провёл большую часть своей жизни, говорил с сарказмом: «Те, кто не делает деньги, принадлежат к дегенератам, которые думают, а таким нет места в Америке».

Противостояние общей тенденции видеть в деньгах не средство для жизни, а цель самой жизни в начале 20-го века было достаточно широко распространено и в проповедях протестантской церкви.

Так, Вильям Нэймс, один из самых известных в то время проповедников, говорил о преимуществах бедности: «Мы презираем тех, кто избрал бедность для того, чтобы упростить своё существование и сохранить свою внутреннюю жизнь. Мы не имеем мужества признать, что идеализация бедности в течение многих веков христианской цивилизации означала свободу, свободу от мира вещей, человек оценивал себя через то, что он есть, а не через то, что он имеет».

Но что сегодня означает осознанный выбор жизни в бедности? Он означает не только общественное презрение. Он означает, что в условиях современной цивилизации бедняк полностью отрезан от тех источников, которые и делают жизнь счастливой. Раньше говорили, что «не в деньгах счастье», что в жизни есть множество необходимых для счастья вещей, красота природы, искусство, чувства, привязывающие нас к другим людям, а их нельзя купить. Но сегодня за чистый воздух, чистую воду, за натуральные продукты, не прошедшие химическую обработку, за пребывание на природе в естественных природных условиях нужно платить. Нужно платить также и за человеческие отношения внутри того социального круга, к которому человек хочет принадлежать. Без определённого экономического статуса вход во многие социальные круги закрыт.

Деньги стали важнее самой жизни. В журнале «Reader's Digest» приводился случай, когда пяти женщинам-лаборанткам, работавшим в химико-фармацевтической фирме, предложили оплату $100 000 в год, если они будут работать с радиоактивными материалами, имеющими смертельный уровень радиации. В глазах пяти работниц это была выгодная сделка.

Это случай экстремальный, но он показывает, какое огромное место сегодня занимают деньги в общественном сознании, вытесняя все другие цели и ценности жизни. «Мы уже не воспринимаем мир непосредственно, наше восприятие жизни становится одномерным, так как магическая, завораживающая сила цифр, как чугунный асфальтовый каток, уплощает наши чувства. Единственная мера жизни, денежная, исключает из нашего внимания полноценность существования во всём его многообразии и широте. Смотря на себя, на свою жизнь через абстракцию нашего банковского счёта, мы сужаем мир до замочной скважины, через которую мы можем только подглядывать за жизнью, а не жить». (Популярный журнал «Psychology Today»)

Деньги более, чем когда-либо раньше, стали определять все формы человеческих отношений. Цифры денежной оценки делают отношения людей, неравные в своём качестве, т. е. в своей природной сущности, равными друг другу в абстрактной шкале измерений. Деньги — виртуальная схема мира, они являются чем-то вроде географической карты, изображающей города, реки, горы точками, линиями, цифрами, а географическая карта безразлична к цветам и краскам природы, к человеческим чувствам, ко всей культуре, гуманистической цивилизации в её многомерном, качественном содержании.

Принято считать, что деньги разрушают человеческие отношения, но они также вносят в хаос спонтанных отношений, построенных на чувствах, эмоциях, импульсах, порядок, новый порядок. То качество отношений между людьми, которое вся мировая культура считала высшим выражением человеческого духа — бескорыстие, — создавало огромное напряжение. Моральные, этические или идеологические принципы далеки от определённости и чёткости экономических критериев, что приводило к постоянным конфликтам, взрывавшихся гражданскими войнами и войнами между странами. В экономическом обществе конфликты разрешаются большей частью мирным путём, а высокие принципы и этические нормы лишь обязательный декор, соблюдение правил приличий, за которым стоит прагматизм, экономический интерес.

Но можно ли было создать достойные условия материального существования для масс зовом сердца, непосредственным чувством, чувством справедливости и состраданием к слабым? На чувствах симпатии и антипатии, на высокой морали и этике, в конечном счёте, на бескорыстии, экономика строиться не может, и только благодаря ожесточённой борьбе эгоистических, «корыстолюбивых» интересов миллионов и взаимной эксплуатации, массы смогли получить то, что они сегодня имеют.

Экономический интерес, став центральным, не вытеснил другие интересы человека, но сделал их значительно менее привлекательными, превратив количество в более важный критерий, нежели качество. Объём материального богатства стал важнее объёма человеческой жизни, её многокрасочной палитры эмоций, чувств, переживаний. Рациональная логика экономики обесцветила краски, стерилизовала живительные соки, уничтожила объём содержания человеческого существования, создала плоский одномерный мир, но лишь развитый капитализм с его рационализмом смог уничтожить унижающую нищету, в которой массы жили веками.

Америка начиналась как рыночное общество и почти за два столетия сумела ввести рыночные ценности во все формы человеческих отношений, она их очеловечила, если считать, что рационализм — такое же органически присущее человеку качество, как спонтанность и непосредственность чувств. Деньги, превратившись в инструмент рационализации всех аспектов деловой жизни и всех форм человеческих отношений, сделали Америку самой богатой страной мира.

Культура денежных отношений в США в течение времени приобретала всё более цивилизованные, благопристойные формы, в их создании участвовало всё общество, все его институты. Это культура общественного договора, консенсуса, всеобщего согласия, а деньги, чётко обозначая границы конфликтных интересов, выполняют роль регулятора, жироскопа, удерживающего баланс.

Российская либеральная интеллигенция в 19-ом веке видела в Америке образец для подражания, но недостижимый в российских условиях. В XXI-м веке, несмотря на всю антиамериканскую пропаганду, Россия внедряет американскую модель в экономике, культуре, повседневной жизни. Сегодня весь мир хочет стать Америкой, не только Европа, но и Азия пытается воспроизвести в своих национальных формах систему, показавшую свою эффективность.

Но без сложной общественной инфраструктуры, без бюрократизации, т. е. рационализации всех форм общественной жизни, развитого законодательства и воспитания норм индивидуального поведения, которые создавались в Европе и Америке в течение столетий, процесс как в Азии, так и в современной России, проходит в атмосфере стихии бесконтрольного базара, где хозяйничает криминальный элемент вместе с представителями власти, так как нормативные инструменты развитой экономики отсутствуют. В стихии базара норм и цен не существует, есть лишь столкновение интересов в данный момент, в котором стоимость определяется лишь тем, на чьей стороне в данный момент сила.

Запад же постепенно подменял стихийность отношений между людьми отношениями, регулируемыми деньгами, законами рынка, создавал сложное законодательство и многослойную инфраструктуру общества внутри сетки взаимосвязанных экономики, культуры, пропаганды и системы образования.

На людском рынке, который в Штатах принято называть «personality market», прейскуранта цен нет, но есть общее представление о том, что сколько стоит. Несмотря на сложность определения, сколько стоят в денежном выражении человеческие чувства, те или иные формы привязанности, обязательства друг перед другом, они, тем не менее, введены в более или менее твёрдые рамки. Цены на рынке человеческих отношений выработаны практикой. Денежные отношения обозначают точные границы и формы всех видов неопределённых и постоянно меняющихся чувств, возникающих между людьми. Брачный союз, основанный только на чувстве любви, приводит к трагедии, когда это чувство притупляется или исчезает. Материальная сторона отношений становится инструментом войны между охладевшими друг к другу супругами. Брачный контракт, оговаривающий все стороны материальных претензий, переводит неопределённость страстей и претензий, основанных на чувствах, в чёткие параметры денежных оценок.

Отношения между друзьями, ведущими общее дело, может превратиться в испепеляющую ненависть при малейшем подозрении на невыполнение неопределённых, построенных только на чувстве симпатии друг к другу, обязательств. Эмоциональные отношения между родителями и детьми также несут в себе зёрна часто неразрешимых конфликтов.

Рыночная цивилизация сумела ввести многие формы отношений, раньше строившихся на чувствах, симпатиях-антипатиях, любви-ненависти в русло чёткого механизма экономики, где они определяются в простых, одномерных терминах рынка, деньгах.

Чувства, эмоции, непосредственные, спонтанные реакции в отношениях разрушают логику рационального общественного порядка, а экономика, пропитав все аспекты общественной жизни, ввела стихию общения в чётко функционирующую систему. В уходящей в прошлое гуманистической эпохе человек был мерой всех вещей, ценность человека определялась в многослойных категориях многовековой культуры, рынок же создал универсальную шкалу измерений, денежную, она и стала мерой человеческой ценности. Рационализация отношений формируется не только денежной системой, на рационализации построены все общественные институты, государство, образование, культура, пользующиеся другим инструментом — «словом».

Успех

«Успех разрушил много жизней».
Бенджамин Франклин

Что означает успех? Это когда кто-то достигает вершин, а кто-то остаётся внизу. Успех, по определению, достаётся единицам. Человек чувствует себя успешным, только когда рядом есть проигравшие. Он чувствует себя успешным, когда большинство не добилось того, чего смог добиться он. Успех предполагает огромный разрыв между средними достижениями и достижениями уникальными. Только прыжок через гигантский разрыв между бедностью и богатством, «from rugs to riches», даёт ощущение жизненного успеха. Планка успеха установлена настолько высоко, — быть намного богаче большинства, — что те, кто сумел подняться до неё, становятся национальными героями.

Успех — это деньги и власть. Но для чего нужны деньги и власть? Они нужны, чтобы иметь больше денег и ещё больше власти. Когда борец за успех добивается богатства, он не может остановиться на достигнутом, не только потому, что быть ещё богаче необходимо для самоутверждения, а потому, что других жизненных целей, кроме этой, экономическое общество не предоставляет.

Планка успеха высока и для большинства недостижима, что делает жизнь многих непереносимой. Большинство живёт в состоянии «молчаливого отчаяния», обвиняя себя, свои человеческие качества, не соответствующие требованиям успеха. Чувство личной вины особенно тяжело переживается бедняками и приводит многих к полной деморализации.

В 60-ые годы президент Линдон Джонсон объявил «Войну бедности» — это была разветвлённая сеть помощи беднякам, но ни одна из программ, Job Force, Youth Corps, Project Head Start, Community

Action, не смогла достичь поставленной цели. Несмотря на сотни миллиардов, истраченных на программы помощи, бедняки продолжают составлять треть населения страны. Борьба с бедностью была изначально обречена, так как не затрагивала фундаментальную основу системы, построенной на личном успехе, которая создаёт два класса, победителей и побеждённых.

Все хотят подняться наверх социальной пирамиды. Но для того, чтобы существовал острый верх пирамиды, у неё должен быть широкий фундамент, и этот фундамент составляют неудачники. Благодаря им и существует верх. И, следовательно, резкое экономическое неравенство заложено в самой природе общества, построенного на идее успеха.

Уровень экономической динамики общества зависит, как в электричестве, от разницы на полюсах, плюсе и минусе, чем больше разница напряжений, тем интенсивнее поток электронов. И американская экономика настолько продуктивна, потому что разрыв между полюсом бедности и полюсом богатства здесь больше, чем в любой стране мира.

«Бедность и богатство — это то поле высокого напряжения, в которое попадает человек, и оно заставляет его стремиться вверх, по дороге вращая колёса этого общества. Общество специально обновляет иерархию ценностей, чтобы человек всегда чувствовал себя чем-то неудовлетворённым, чтобы всё время стремился наверх». (Политический обозреватель и историк Джон Гэлбрайт).

За сто лет до Гэлбрайта об этом же писал Токвиль: «В Америке я видел свободных и образованных людей, живущих в самых счастливых условиях, которые может предоставить этот мир. И в то же время видел людей настолько озабоченных, смертельно серьёзных и часто подавленных даже в то время, когда они развлекаются. Странно видеть лихорадочность, с которой они строят своё благосостояние, и наблюдать, как их постоянно гложет страх, что они выбрали не самую короткую дорогу к успеху. Они постоянно спешат, их сердца переполнены только одним чувством — добиться ещё большего».

Используя естественное желание людей сделать свою жизнь материально богаче, общество ставит все повышающиеся требования к определению того, что считать успехом.

50 лет назад глава семьи, работая, обеспечивал нужды всей семьи. Сегодня для того, чтобы соответствовать принятому средним классом образу жизни и приобретать всё, что связано с этим статусом, должны работать оба, муж и жена, работать по 60–70 часов в неделю и часть работы делать дома в выходные дни.

Желание подняться на более высокую социальную ступень, — а всё окружение постоянно напоминает, что нельзя останавливаться на достигнутом, — заставляет мобилизовать все силы, все физические и эмоциональные ресурсы, перед глазами огромная цифра успеха, она совсем рядом, и многие, напрягая последние силы, летят к ней, как бабочки на огонь, создаваемый средствами массовой информации, — красочные фейерверки богатства и счастливой жизни.

«Бросается в глаза резкий контраст между теми счастливыми и радостными лицами, которые мы видим на телевизионном экране, и угрюмостью, подавленностью реальных людей. Возвращаясь в Америку после своих путешествий, я всегда поражаюсь той ауре горечи разочарований, которую люди здесь проецируют». (Социолог Филипп Слатер).

Это то самое большинство, которое составляет нижнюю часть пирамиды успеха. Но даже те, кто сумел подняться наверх, тем не менее, не чувствуют удовлетворения.

Успех поднимает человека в глазах общества, успех даёт любовь и уважение окружающих и в то же время успех не несёт в себе никакой другой награды, кроме самого успеха. Успех — это нечто вроде рекорда, поставленного на стадионе, где герой дня первым пересёк ленточку финиша, получил минутные аплодисменты публики и после этого снова должен вернуться к тренировкам. Философия успеха — философия спорта, где успех подтверждается цифрами дохода, превращает жизнь в непрерывный бег за рекордами.

В погоне за успехом решающий фактор — удача, так же, как в лотерее. В лотерее все равны, ни у кого нет привилегий, но победитель получает всё, что вложили остальные. Участники лотереи отдают свой вклад победителям в надежде, что они тоже когда-нибудь выиграют.

Когда в обычную лотерею вкладывается несколько долларов, подавляющее большинство тех, кто не выиграл, не чувствуют себя обманутыми или ограбленными. Но в лотерею делового успеха вкладываются все ресурсы, материальные и человеческие, на кон ставится сама жизнь, и тогда игра начинает напоминать не лотерею, а русскую рулетку, в которой проигрыш означает смерть.

Когда все верят, что успех зависит, прежде всего, от удачи, тогда и вопрос о том, как он добыт, становится бессмысленным и неприличным. Успех оправдывает все средства, обман, мошенничество, воровство, грабёж, если это привело к цели, к победе. Америка прощает всё, кроме поражения.

«Американская нация ненавидит проигравших». (Генерал Джордж Паттон).

«Нет страшнее греха, чем неудача. Общество осуждает неудачу, как отвратительный порок, более ужасный, нежели если бы вы нарушили все десять заповедей». (Антрополог и социолог М. Милл).

И «литература успеха» даёт практические советы.

Автор Роберт Рингер в книге «Looking out for number one», «В поисках победителя», рекомендует: «Если ты ограбил кого-либо, и он, по твоей вине, прозябает в нищете, это не должно мешать тебе наслаждаться своим богатством».

Другой автор, Майкл Корда:«Это о'кей быть жадным. Это о'кей иметь амбиции. Это о'кей быть первым. Это о'кей быть Маккиавелли. Это о'кей нарушать правила честной игры (разумеется, не признаваться в этом никогда и никому). Это о'кей быть богатым. «Die or be rich», «стань богатым или умри». Проигрыш в борьбе за успех означает не только экономическую смерть, нищету, это, прежде всего, доказательство никчёмности его соискателя, проигрыш личности.

В стабильной экономике старой Европы, где всё было поделено, и разделение на имущих и неимущих было очевидным, наглядным, индивидуальный успех воспринимался как нравственное падение, так как был не результатом труда, предприимчивости и удачи, а результатом классовых привилегий, эксплуатации других и обмана. Те, кто разбогател в Европе, в глазах общества, не без основания, рассматривались как хищники, разбогатевшие на несчастьях других. Так же, как в России дореволюционной, в России советской и постсоветской успешный человек считался подлецом. В США те, кто добился материального успеха, в глазах публики — герои, сумевшие реализовать свой человеческий потенциал.

На новом континенте с его огромными, ждущими освоения богатствами и отсутствием ограничений, создаваемых государством, индивидуальный успех достигался, благодаря упорному труду, смекалке и умению воспользоваться благоприятным моментом в борьбе с другими за то многое, что предоставляла страна с огромными ресурсами. Америка была страной невостребованных богатств, ждущих тех, кто способен их взять, недаром Америку называли «Land of Plenty», страна богатств.

Поэтому, если в Европе традиционно существовало сочувствие к неудачникам, неимущим, как к жертвам системы, и из этого сочувствия рождалось чувство личной ответственности, в Америке те, кто не достиг успеха в условиях огромных возможностей, вызывали, скорее, презрение, они оказались несостоятельны из-за собственных недостатков, отсутствия воли к победе.

Времена изменились, Америка совсем не та, какой она была даже 40–50 лет назад, возможностей для индивида в условиях корпоративной системы, где он лишь наёмный работник, стало значительно меньше. Но представления другой эпохи продолжают существовать, влиять на общественное мнение.

Формула индивидуального успеха, постоянно повторяемая школой, всем окружением и средствами массовой информации — «One can make a difference». Отдельный человек может изменить не только свою судьбу, он, в одиночку, может изменить и мир, «save the world». Изменяют общество и формируют индивидуальную судьбу сама система, корпоративная система, но, если эту формулу постоянно повторять, она становится частью общественного сознания.

Успех или поражение зависит, в конечном счёте, только от вас, и проигравшие, обвиняя систему, а не себя, вызывают только неприятие и раздражение. Само наличие жертв подрывает уверенность борцов за успех. Для них не только критика системы, но даже простое сомнение опасно, оно может лишить оптимизма; оправдан или не оправдан этот оптимизм, не важно.

Если вы проиграли — это означает, что ваша тактика и стратегия жизни, как бизнеса, была неверна. Вы можете добиться успеха, если сделаете правильные инвестиции времени и денег, правильные инвестиции в здоровье, которое является вашим капиталом, мотором успеха. Вы должны следить за диетой и делать физические упражнения. Вы, может быть, не станете миллионером, но станете богаче, если правильно построите свой бизнес. Ваше экономическое и физическое здоровье зависит только от вас. Если вы проиграли — это ваша вина. Если вы умерли раньше отпущенного вам богом времени, это ваша вина. Вы можете винить только себя. Если жизнь вам кажется мрачной, то это не потому, что она действительно мрачна, а потому, что вы настраиваете себя на эту волну. Если вы будете убеждать себя, что всё прекрасно, ваша жизнь и станет в вашем ощущении прекрасной.

Успех зависит только от вас, надо только верить в свою способность его добиться. «Вам нужно научиться улыбаться», — говорил самый известный пропагандист идеи успеха, Дейл Карнеги. «Даже если вы проиграли, улыбайтесь, улыбаясь, вы будете чувствовать себя счастливым, а улыбка увеличит вашу стоимость на рынке. Нужно много раз в течение дня повторять себе: «Я тот самый человек, которого ждёт удача», «Для меня нет непреодолимых препятствий», и тогда слова станут делом», — убеждал Карнеги.

«В обществе равных возможностей качества характера и трудолюбие — гарантия победы», — говорит массовая пропаганда, но принадлежность к определённому классу, наследство и связи, как семейные, так и профессиональные, ценность которых зависит от престижности социального круга, учебного заведения, статуса той или иной профессии играют гораздо более важную роль, нежели трудолюбие и качества характера.

Дети из семей профессионалов посещают привилегированные частные или просто хорошие публичные школы. По статистике, дети из таких семей имеют более 50% возможностей подняться на самый верх социальной лестницы. Дети из простых семей имеют лишь 6% возможностей получить полноценное образование, ведущее к наиболее оплачиваемым профессиям. Только 4% управляющего класса — выходцы из семей неквалифицированных и полуквалифицированных работников.

Все стремятся наверх, к вершинам успеха. Ведь успех коренным образом изменит вашу жизнь, успех даст возможность приобщиться к огромному материальному богатству, даст доступ к всевозможным радостям жизни. Успех требует постоянного подтверждения, он не позволяет останавливаться на достигнутом, каждая ступень наверх приносит удовлетворение на момент и исчезает, нужно двигаться дальше. Это работа Сизифа, обречённого вечно поднимать камень в гору, и останавливаться нельзя, а на вершине ждёт полная пустота. Движение важнее цели.

Психолог Джонатан Фридман, автор наиболее известного исследования об удовлетворённости жизнью в США: «Когда я был студентом, у меня практически не было свободных денег. Моя квартира, хотя и была довольно скромна, тем не менее, я чувствовал себя в ней вполне комфортно. Моё питание меня вполне удовлетворяло, хотя я не мог обедать в богатых ресторанах. Но, когда я получил работу, моя зарплата стала в два раза больше того, что я имел, будучи студентом. Я переехал в другую

квартиру и стал платить в два раза больше, чем прежде. Питался я точно так же, как и в те времена, когда был студентом. Моя зарплата росла вместе с продвижением по карьерной лестнице. Я снял другую квартиру, которая отнимала большую часть моей зарплаты, обедал в дорогих ресторанах. Стал больше тратить на всякие дорогие вещи, которые раньше были мне недоступны. Но моё ощущение жизни не изменилось ни на йоту. Я думаю, что даже если бы я получал в пять раз больше, я чувствовал бы себя точно так же. Это не означает, что я отказался бы от повышения своих доходов. Скорее наоборот. Но ощущение жизни осталось бы тем же».

Статистика говорит, что большинство людей считает, что увеличение доходов на 25% сделает их счастливее. Но, когда они поднимаются до желаемой отметки, то вновь уверены, что только с увеличением дохода на 25% к ним придёт чувство благополучия.

Успех требует подчинения всей жизни самому процессу движения наверх ко всё более высоким уровням богатства. Для достижения цели необходимо сократить до минимума всё лишнее — наслаждение едой, сном, природой, культурой, всё то, что отнимает время и энергию у главной цели.

Впечатление русского иммигранта: «Вся жизнь здесь построена так, чтобы ты мог с толком, удобно и продуктивно работать, тратя минимум времени на всякие пустяки — еду, общение и так далее».

Социолог Кристофер Лаш: «Мы оцениваем себя через ступени успеха, на которые мы взобрались по тому, что мы создали, и стремимся создать ещё больше и ещё больше получить. Чтобы больше получить, мы должны увеличить нашу продуктивность и, когда мы увеличиваем нашу продуктивность, оказывается, что результат наших трудов не больше, чем абстракция цифр на нашем банковском счету. Повышение продуктивности внешне увеличивает общественное благополучие, но, измотанный огромным напряжением, работник не имеет ни времени, чтобы пользоваться этим благополучием, ни жизненной энергии, чтобы получать удовлетворение от него».

Однако наибольшая ценность богатства в глазах людей определяется вовсе не возможностью иметь больше денег и больше вещей. Без оценки другими ценности этого богатства оно, само по себе, не значит ничего. Важнее не богатство, а уважение других, которое оно приносит. Чем выше оценивается достигнутый успех в глазах общества, в среде родственников, коллег, друзей, тем больше чувство самоуважения. С другой стороны, динамика жизни настолько велика, что не хватает времени для того, чтобы сформировать социальный круг, соответствующий тому или иному статусу. Возможности же продемонстрировать свой новый статус лимитированы, так как в интенсивной динамике жизни разрываются традиционные связи между людьми.

Исчезла семья-клан, внутри которой когда-то проходила демонстрация личного успеха, не остаётся стабильного круга родственников, друзей, перед которыми можно было бы его продемонстрировать. Связи, которые возникли в школе и колледже, невозможно удержать, слишком велик темп жизни.

Купив модную модель автомашины, показать её можно только во время поездки на работу и с работы — на хайвэе. Можно надеть дорогую одежду во время посещения театра или парти, но публика принадлежит к самым разным слоям общества, имеет различный уровень дохода и часто противоречащие друг другу вкусы.

В партере Метрополитен Опера можно увидеть сидящих рядом девушку в мятых джинсах и даму в платье от модного дизайнера, стоящем тысячи долларов, и в бриллиантах. Какова ценность бриллиантов, если их некому показать, какова ценность модной модели машины, если нет никого вокруг, кто бы выразил своё восхищение или зависть в отношении достигнутого вами. Материальный успех, достигнутый напряжением всех сил, оказывается не оценён, а ведь именно ради общественного уважения, ради оценки успеха другими всё это и делалось. Можно рассчитывать лишь на внимание случайных людей, внимание толпы, для которой тот, кто достиг успеха и престижа, так и остаётся безымянной, анонимной фигурой, мелькнувшей на дороге, на улице, в театре или ресторане.

Ирвинг Шоу в рассказе «Круг света» описывает существование семьи среднего класса, тех, кто добился цели, которую поставило перед ними общество. Семья имеет успешный бизнес, дорогой дом и несколько дорогих машин в гараже. У них есть всё, что входит в общепринятое понятие о счастье. Но супруга не интересуется ни тем, что происходит в жизни мужа, ни им самим. Круг её мыслей — что она купила в прошлом месяце и что купит в следующем. А сам герой, сидя в своём офисе, ощущает только пустоту и признается самому себе, что живёт, год за годом, ничего не чувствуя. Высокий статус достигнут, но сама жизнь ничего не содержит — это вакуум, людям нечем жить.

Но если ваш внутренний мир, ваши личностные качества, ваши мысли, ваши чувства не интересуют даже близких вам людей, то вы можете показать себя всему остальному миру. Вы можете объездить многие страны мира и почувствовать свою значимость, как богатого туриста в бедных странах, в то время как вы чувствуете своё полное ничтожество в своей родной стране. Вы также можете реализовать себя, добиться определённого успеха и признания, испытать множество разнообразных острых ощущений, погружаясь на дно океана, поднимаясь в горы, прыгая с парашютом, летая на планере.

В 1994 году журнал Reader's Digest описал историю Мариона Болинга. Болинг ненавидел свою работу, однообразную и монотонную. Она приносила приличные деньги, но ни чувства удовлетворения, ни самоуважения. Для того чтобы убедить себя в том, что он чего-то стоит, он пролетел на одномоторном самолёте с Филиппин до Орегона. По окончании полёта, в котором он рисковал жизнью, в своём интервью в заключение он сказал, что вынужден вернуться к работе, которую ненавидит.

Семья Хью Джонсона из Иллинойса имеет общий доход 170 тысяч в год, дом за полмиллиона и три машины. «Я зарабатываю в месяц больше, чем мой отец зарабатывал за год, — говорит Хью,

менеджер химической кампании, — и, в то же время, чувствую, что жизни нет, она проходит, как песок сквозь пальцы. Какого бы статуса вы ни добились, вы лишь элемент многомиллионной, безликой рабочей силы». Успех — это не физическое обладание завоёванным в жесточайшей борьбе материальным богатством, это не возможность вкусить то, что это богатство может дать, это абстракция цифр на банковском счету, спортивный кубок победителя, на который можно время от времени взглянуть.

Успех жизни, определяемый размером банковского счёта, не приносит счастья победителям. Но, как говорит народная мудрость, «только тот, кто добился успеха, имеет право сказать, что не в деньгах счастье». Когда о том же говорят те, у кого их нет, это звучит как «виноград зелен» в басне Эзопа, и, следовательно, другого выбора, кроме бега в общей толпе за успехом, просто нет.

Одним из таких «победителей» был Киссинджер, немецкий иммигрант, говорящий с тяжёлым акцентом, поднявшийся на самый пик успеха, сказавший в конце своей блистательной карьеры: «Когда человек тяжело работает всю жизнь и не получает ничего в награду — это трагедия. Но это катастрофа, когда он добивается, чего хочет, и видит, что награда — блестящие погремушки».

Мечта об успехе — вечная невеста, ждущая женихов, и только тем, кто её добивается, открывается факт, скрытый от соискателей: она просто потаскушка. Вместо любви, она может предложить только единовременный секс.

Но ни авторитеты, ни религия, философия, социология или «высоколобая» литература не могут изменить приоритеты масс. «Побрякушки», о которых говорил Киссинджер, для большинства важнее всех других ценностей человеческой жизни.

Культ успеха полностью отсутствовал в русской дореволюционной литературе, как и сам жанр литературы успеха, чрезвычайно популярный в Америке. Русское общество не видело в успехе цель жизни, а в поражении в битве за материальное благополучие — недостаточность, ущербность личности.

Интерес к литературе успеха появился, когда Россия после падения советской власти превратилась в цивилизованную страну, сменив идеологические ценности на ценности материальные. Но интерес существовал и в советский период, когда печаталась огромными тиражами не рыночная дешёвка, а классика американской литературы, и, прежде всего, романы Теодора Драйзера, превозносившие идею успеха любой ценой.

Центральная фигура его трилогии «Титан», «Финансист» и «Гений», — «капитан индустрии» Каупервуд — добивается успеха, переступая все юридические законы и нормы морали во имя Успеха. Каупервуд стал моделью для многих советских «производственных» романов 20-ых, 30-ых годов, а их герои, «командиры производства», были советской трактовкой образа человека Дела.

Издавались также произведения Джека Лондона, в которых герои добиваются победы в невероятно сложных условиях, сверхчеловеческим напряжением сил, в жертву ей приносится сама человеческая жизнь. В рассказе «Воля к жизни» два партнёра-золотоискателя, один на один с «белым безмолвием» снежной пустыни Клондайка, несут свою добычу, пытаясь добраться до ближайшего порта. Они были партнёрами по бизнесу, сейчас они враги, борьба идёт за то, кто выживет в нечеловеческих условиях, тому, кто выживет достанется золото. Рассказ чрезвычайно понравился Ленину, по-видимому, идея успеха любой ценой была близка самому духу советской экономики, за успех которой заплатили жизнью миллионы.

Качества героев Лондона стали моделью для подражания и широко пропагандировались в советской литературе и кинематографе. Правда, борцов за личный, персональный успех пришлось трансформировать в борцов за всеобщее благо.

Чертами героев Джека Лондона обладали персонажи романа «Как закалялась сталь» и фильма «Коммунист». Название фильма «Время, вперёд», посвящённого росту советской экономики, — название одного из рассказов Джека Лондона. Персонажи всех этих произведений социалистического реализма приносят в жертву трудовому успеху, но не личному, а общественному, не только свою личную жизнь, но и жизнь всего коллектива.

Но в последние десятилетия советской власти идея личного успеха так же, как и на Западе, захватила советский средний класс. «…В советских условиях тоже можно было добиться значительного материального успеха и высокого общественного статуса, если вкладывать столько сил и энергии, сколько здесь». (Александр Генис).

Правда, в советской действительности блага жизни нельзя было получить упорным трудом. Самоотверженный труд мог дать лишь небольшую прибавку к нищенской зарплате. Блага мог получать лишь тот, кто вошёл в номенклатуру, экономическую или политическую, кто приспосабливал себя к системе, т. е. жертвовал всем, включая собственные убеждения и моральные принципы.

Как писал Сальвадор Мардаркада, испанский писатель, путешествовавший по всему миру: «Американская мудрость гласит: «Научись не думать о других. Если ты не будешь безразличен к другим, станешь жертвой сам». Эта формула применяется и в России. Такое впечатление, что для большинства русских и американцев жизнь — война всех против всех, в которой нельзя себе позволить доброту, отзывчивость и сострадание к другим.

С развитием производства товаров широкого потребления желание улучшить материальную сторону жизни в Советском Союзе так же, как и на Западе, стало доминирующим во всех слоях населения, и идеология, провозглашавшая высоты человеческого духа, стала пустым коконом без содержания. Идеология была необходима в те времена, когда развитие тяжёлой индустрии было основной задачей советской власти. Идеология давала моральное оправдание всеобщей нищете, цели государства, окружённого врагами, были важнее целей индивидуальной жизни. В сегодняшней России идея успеха вступила лишь в свою первоначальную фазу, и количество победителей пока незначительно. В США успех был национальной религией с момента основания страны и стал доступен многим.

Идея успеха, борьбы за место под солнцем существовала, однако, не только в американской жизни, но и в европейской. «Европейскую мечту» пытались реализовать Растиньяк, Люсьен Шарден, Жюльен Сорель, Ребекка Шарп и многие другие герои и героини европейской литературы. Но они видели в богатстве не цель, а средство, ключ к дверям, ведущим в высший свет, где обязательными были эстетизм, культура чувств, изощрённый ум, богатство личности. Они заплатили за воплощение своей мечты о богатстве нравственным распадом.

Американская литература, следуя европейской традиции отношения к богатству, также видела победу в борьбе за успех как нравственное поражение героя, как потерю его главной ценности, личности.

Мартин Иден, герой Джека Лондона, вскарабкавшись со дна общества до самых вершин, подводя итог своим достижениям, кончает с собой. Он состоялся как активный борец за успех, но как личность умер, и самоубийство становится логическим шагом, личность исчезла. А без неё человек, как говорил американский философ Ральф Эмерсон, просто «машина для добывания денег».

Жизненное поражение, которое терпят в погоне за успехом амбициозные герои Скотта Фитцджеральда, Эптона Синклера, Синклера Льюиса в первой половине 20 века и герои Фолкнера, Стейнбека, Уоррена, Артура Миллера во второй половине века, отражало сомнения интеллектуальной элиты в национальном идеале, в Американской Мечте. Трагедия их героев была результатом самообмана, веры в то, что экономические достижения — единственная цель человеческой жизни. «Приносит ли успех удовлетворённость собой и жизнью? », — задаёт вопрос литература социального реализма.

В одной из пьес Артура Миллера, в «Смерти коммивояжёра», жизненное кредо героя, Вилли Ломена, — «The only dream you can have to become the number one man» (единственная мечта, которую ты можешь иметь, это стать первым). Вилли Ломен не стал «the number one man», и в конце пьесы он кончает с собой, его самоубийство — крайняя точка, экстремальная реакция на разочарование в самом себе, в своей человеческой ценности. Но даже те, кто, в отличие от Вилли Ломена, стал «the number one» в реальной практике деловой жизни, чувствуют, что успех не принёс им того, к чему они стремились, полноценности существования, счастья.

На первом спектакле «Смерть коммивояжёра» в зале собрался «весь свет» Нью-Йорка, элита, победители, первые номера. В этот первый вечер, как и потом, много раз после того, как заканчивался спектакль и опускался занавес, в зале наступало молчание, ни аплодисментов, ни хлопанья стульев, ни гула голосов. Многие уже встали, они держат в руках свои пальто, но затем садятся снова, особенно мужчины. Сидя, они наклоняются вперёд, чтобы не были видны их лица, а некоторые плачут открыто, не в силах скрыть ни от себя, ни от других, что судьба Вилли Ломена — это их судьба. Они, «победители», ассоциируют себя с неудачником Вилли. Стали ли вы победителем, «number one», или потерпели поражение, вы проиграли с того самого момента, как только поверили в идею успеха.

Успех — это щитки на глазах рабочей лошади, она должна знать и видеть только дорогу, чувствовать все её детали и нюансы, и окружающий дорогу ландшафт перестаёт существовать, способность ощущать красочность и объём окружающего мира атрофируется многолетней привычкой смотреть только вперёд.

Успех — это акт реализации себя в экономическом статусе, социальном положении, но он требует отказа от тех радостей, которые приносит сам процесс жизни. Вся жизненная энергия уходит на необходимое для успеха приспособление к обстоятельствам и «нужным» людям. Но вот цель достигнута, можно начать жить. Но обладание богатством ещё не означает умения им пользоваться, американская культура не воспитывает того искусства жить, наслаждаться всем широким спектром материального богатства, культуры, искусства, общения, которое характерно для привилегированных классов Европы.

И это не сегодняшняя тенденция, так было и во времена Токвиля. «Американцы никогда не удовлетворены тем, что у них есть. Они идут от успеха к успеху, но в процессе погони у них нет времени получить от него радость. Они должны двигаться дальше. У них нет времени получить удовольствие от того, чего они уже добились. Если, наконец, после долгих трудов американец находит несколько дней для самого себя, он садится в коляску и готов проехать тысячи миль для того, чтобы стряхнуть с себя счастье наслаждения жизнью. Так они и добираются до старости, не вкусив плодов своего труда». Как говорят американцы, посвящающие всю жизнь погоне за успехом: «Мы начинаем жить только в пенсионном возрасте», — но достигнув пенсионного возраста, они утрачивают ощущение собственной ценности. Движение к Успеху одновременно и цель, и содержание жизни, сойдя с беговой дорожки, человек оказывается никому не нужным, смысл жизни утрачен.

«Эти несчастные богатые старики во Флориде и Калифорнии, которые не знают, что делать с собой. Они имеют достаточно денег, чтобы позволить себе почти всё. Новые машины и новые лекарства, новые диеты и новые религии, новые фильмы, лучший климат на земле и в то же время они проецируют такое убожество, такую нищету жизни, которую вряд ли можно встретить в каком-либо другом месте» (Итальянский писатель Барзини).

Программа жизни, заданная обществом, успех, выполнена, но где же обещанное счастье? Для чего нужны были все жертвы, принесённые ради абстрактной идеи? Соответствует ли накопление богатств истинным целям человеческой жизни?

«Обогащение, став единственной целью, становится иррациональным по отношению к счастью и пользе отдельного человека…» — писал Алексис Токвиль в те времена, когда идея личного материального успеха как цели жизни только зарождалась.

Но на идее увеличения богатств построена вся материалистическая цивилизация, она вполне рациональна с точки зрения самой экономической системы, а её цель — тотальная власть, подчинение всего человеческого существования своим задачам.

Сергей Курганов

Перспектива

заметки об учебных произведениях
молодых художников

1. Вертикаль

1. Удержание божественной вертикали

…Я задумался — что преодолевается в «криволинейной перспективе» Петрова-Водкина, например?

Понятно, что речь идёт о преодолении прямого угла в изображении. Но прямой угол — это не только ренессансное движение в бесконечность, в беспредельность, за горизонт. Это ещё и вертикальная составляющая. А ведь именно она, прежде всего, искривляется — дерево заваливается в море, полотенце, висящее вертикально, кажется продолжением скатерти стола.

Но что есть вертикальная составляющая в живописи?

Это — воплощение идеи причастности, идеи Храма и жизни в(о) круге Храма.

Исходная форма Храма — это камень, на котором производится священный ритуал, и вертикально восходящий дым. Эта вертикаль и делает человека причастным к Богам. Вертикаль, образованная дымом, окаменевая в архитектуре, образует колонну Храма.

Художник, искривляющий ренессансную перспективу, бросает вызов божественной вертикали, а не просто человеческому прямохождению.

Поэтому один из создателей криволинейной перспективы в поэзии — Игорь Губерман — тягается именно с Богом и чувствует, что за искривление вертикали отвечать-таки придётся именно перед Создателем:

Когда я в Лету каплей кану
и дух мой выпорхнет упруго
мы с Богом выпьем по стакану
и, может быть, простим друг друга

Это потрясающее стихотворение тоже содержит своеобразную борьбу криволинейности и «прямости». Дух выпархивает *упруго*, всё это рисуется, ясное дело, в криволинейной перспективе (этот дух не много — не мало пытался искривить божественное пространство), и незыблемой вертикалью оказывается классический гранёный стакан, из которого и капля водки — «Я» Губермана. Стакан незыблемой вещью рвётся вверх — к стакану Бога — чокаться. Капля падает вниз. Опять взлёт и падение соединяются, теперь уже в последний раз.

У меня есть (слабая) эпиграмма на Губермана — ответ на это стихотворение.

La dolce vita
Так выпьем, модный Губерман!
Вот твой классический стакан.
Паденья сладость ощутим…
О нет, друг друга *не* простим!

Я думаю, что *удержание* божественной вертикали есть в известной степени… не «голос», нет, архитектурное действие современного человека, выстраивающего в собственном сознании культуру Средневековья, культуру жизни в(о) круге Храма.

То есть для меня новаторским было бы не только искривление вертикали, но и, наоборот, в мире деепричастности, где вертикаль усиленно искривляется, — удержание прямостояния и причастности.

Я думаю, что удерживать себя — в искусстве (поэзии, живописи, художественной фотографии, киноискусстве) в вертикальном положении, не искривляться, не падать, удерживать мир в целом в состоянии причастности, не искривлять перспективу — не меньший подвиг, чем отстаивать пафос наслаждения в падении.

В творчестве современных молодых художников мы имеем дело и с этой тенденцией. С тенденцией, вопреки социо-культурной ситуации, буквально призывающей, подобно Кормилице юной Джульетты, к падению, и — вопреки зову «нутра», предательски шепчущего это же, — тенденции держать спинку ровно, ни за что не падать, и мир на полотне не искривлять. И в этом пафос ученицы Харьковской школы им. Репина Насти Зориной.

2. Настя Зорина «ин экшн»

…Картина Анастасии Зориной «Охота львов» выполнена в стиле Руссо. Интересно, что в ней нет кровожадности. Вроде бы и зебра убегает, и зверюги догоняют. Но посмотрите, как это *празднично* Получается. что всё в божественной природе гармонично и празднично, хотя есть и охота, и гибель.

Но это какая-то праздничная демонстрация законов природы…

Есть в фильме Михалкова «Юрга-территория любви» подобный эпизод. Хозяину нужно зарезать, кажется, барашка к торжественному случаю. И хозяин делает это так, что барашек как бы и не страдает, как-то всё празднично и гармонично там это у них *всех* получается — в смысле у него, у Бога и у неё, у Природы (в Монголии, у юрты, кажись, действие происходит). Михалков там, вслед за Шукшиным, простонародные нравы, близкие Богу и природе, городским противопоставляет. Дескать, даже гибель животного на празднике красива и нежестока. Праздничная охота. Гармоничная и неискривлённая *жизнь* природы.

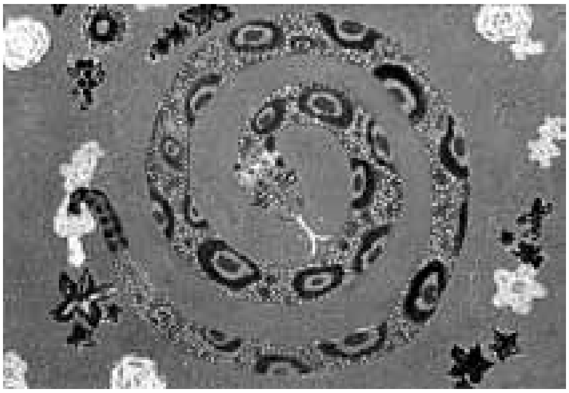
Я недавно видел вот что. Обезумевшая от весеннего голода бродячая собака поймала и съела сороку. Пока она её ела, сорочьи родственники сели на берёзе над собакой и плакали, оплакивали свою родственницу. И не осуждали собаку. Ведь собаки сорок не едят, уж очень голодно было, тёплая красная кровь сорочья, счастливые глаза собаки — выживу, выживу, теперь выживу, грустный и понимающий плач сорок на берёзе. Как будто это природа в разных ролях — она сама отдала одну сороку собаке.

Картина «Моя сестричка» выполнена с элементами обратной перспективы. Дальняя от зрителя сторона коврика длиннее передней. Получается, что мы смотрим на собственное детство как бы с очень близкого расстояния и рисуем его так, как рисуют дети. Обратная перспектива всегда несёт в себе некий изобразительный элемент Средневековья.

Ни о каких безликих изображениях речи нет. Глаза, лица, взгляд изображаются с большой охотой и умело.

Мишка слева ужасно живой и вот-вот вылезет к нам, а девочка и кукла как бы обе — куклы. Лицо у девочки, хотя и прорисовано чётче, но всё же *холоднее*, чем личико куклы. Кукла лежит свободнее, находясь как бы в позе девочки, чем девочка — которая как бы застыла в позе куклы. Халатик у куклы — в тёплых тонах, а глаза и маечка девочки — в холодных. И таким образом девочка и кукла сближаются.

Удивительна игра тёплого и холодного голубого цвета. Глаза у девочки голубые и холодные, а глаза у мишки — голубые и тёплые! Это как-то хитро сделано — добавлением белесого цвета (глаза девочки).



В «Змейке» искусствоведы справедливо видят воплощение трогательной гармонии Природы. И это сближает «Змейку» со львами и зеброй. Там изначально опасное (львы) и здесь (змея). А в итоге — гармония Природы, преодолевающая и хищность, и ядовитость.

Вообще, летний (и отчасти — осенний) период творчества юной художницы — это жгучее желание гармонизировать принципиально негармоничное — хищность, ядовитость, пляску чертей (демоничность). Выбирается что-то демоническое — и приводится в состояние гармонии. Но материал-то сопротивляется! Сопротивляется и жизнь молодой очаровательной художницы — такой настойчивой гармонизации Жизни в Искусстве. Этот диссонанс нарастает с каждым месяцем. И вот — потрясающий ангармоничный пейзаж и подобные ему ангармоничные графические работы в компьютере. И — потрясающий фильм с оживающей пластилиновой собакой. И — кукла с печальными (живыми, движущимся, анти-ритуальными) глазами на фоне традиционного архаического (гармонично успокоенного, из века в век переходящего) простонародного костюма… Это (как мне кажется) — новый этап. Преодоление гармонии. Теперь уже несколько искусственной. Возможность изобразить Одиночество, холодный цвет неба (пусть и обманчиво-розовый). Возможности прорыва к этой *правде жизни* была заложена и в летних работах. Но только зимой это «взорвалось».

3. Презрение к падению

Замечателен натюрморт Насти Зориной с синими цветами.Мне кажется, что фон здесь очень хорош. Фон хаотичен, размыт, «бесперспективен». Именно на фоне этой размытости особенно существенно стремление автора к прямостоянию, к *вертикали*, к *взлёту*. Побег в небо…

Важно, что вертикаль сосуда (заложенная гончаром, как бы вещи дарованная) продолжается трудной, «трудовой» вертикалью побега (ствола, всего того, что к небу тянется и хочет быть прямостоящим — включая человека, всё это требует *воли* и напряжения — чтобы не согнуться, не пригнуться, не испытать падения). *Вверх, вверх, вверх* — к небу.

И небо как бы изображено в виде нескольких синих цветков.

Воля к изображению вертикали и гордого прямостояния — замечательная особенность всего творчества юной художницы…Она и сама такая — гордая, прямостоящая, независимая, точная, чистая. Как побег. Как побег в Небо.

Вот эта *чистота, воля к вертикали, презрение к падению и согбенным позам и фигурам* действительно заставляет говорить о Христианстве. О его голосе в творчестве художника. Все картины, особенно — эта — похожи на храм в Коломенском — чистое восхождение, чистая вертикаль. Собственно, это и есть, повторюсь, исходное определение Храма. Высь, куда (к небу, к Богу) стремится жертвенный дым, затем — колонны, которые вертикаль, прямостояние, восхождение ввысь закрепляют архитектурно. Побег в Небо, выпрямленность, не гнётся — не ломается, а стремится к восхождению, прямизне. Вот современное Христианство, христианское Достоинство, построение Храма. Воображаемый Храм дышит в этом потрясающем изображении рвущегося вверх букета.

В «кукле вертепа» чем традиционнее и успокоеннее, гармоничнее традиционный костюм, тем беспокойней, индивидуальней демонические глаза героини (вспомним Гоголя). Глаза вырываются из костюма, тело — из цикличного архаического ритуала. Возникает характерный для нового этапа творчества ритм девушки, вырывающейся из ею же созданной гармонии.

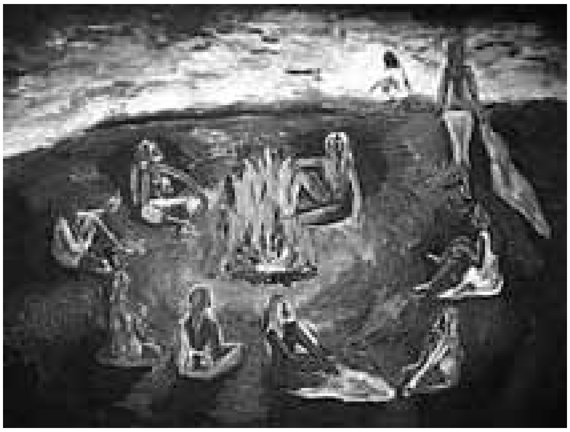
В пластилиновом мультфильме фрагмент, когда откровенно *пластилиновая*, откровенно сделанная и неживая собака начинает лизаться, как живая, — хорош чрезвычайно. Есть старый спор. Один психолог говорит — когда дом выстроен, не должно быть ничего, рассказывающего об истории его постройки. Лесов там всяких и прочего. Другой психолог возражает: «Да нет, дом — это дом вместе с историей его постройки. Важно, что он когда-то и не был домом, что были леса и прочее. И вместе с тем он — дом». В мультфильме — не сразу живые фигурки, сначала видно, что они пластилиновые. И вдруг — они превратились в живых, и мы видим лизучую живую псину и видим сам переход от живого к неживому. Сам процесс оживления показан. Может, даже так — предметом изображения оказывается чудесное оживление неживого. А не сразу — живое, и мы не должны замечать пластилин.

4. Подруга

Вот «альтер эго» Насти Зориной — её одноклассница Инна Баблоян.

Большой и подробный разговор о её картинах, надеюсь, впереди.

Скажу лишь об одной из них, потрясшей моё воображение. О «Многофигурной композиции». На этой картине обнажённые и полуобнажённые



девушки, наделённые вертикальной осанкой и чувством собственного достоинства, изображены у костра, который они развели на берегу тёплого моря.

Всё здесь язычески-девичье. Ни выпить, ни поцеловать… *шестое чувство.*

И опять — вертикаль.

Нет падения.

Обнажение, роскошь девичьего тела, то, что видеть нельзя, — а вот, смотри. А трогать — не смей. Целовать — не смей.

И не потому, что стыдлива нагая дева…

А потому, что если будешь трогать — будешь *не это трогать.*

А *эту прелесть* тронуть, поцеловать, взять в принципе нельзя.

Потому что нельзя поцеловать вертикаль.

Нельзя обнять взлёт.

Отдай взлёт раньше срока на поцелуй, на падение-наслаждение, уложи деву, лиши её прямостояния — и нет ничего, нет красоты, нет искусства, нет радости, гламур один. Его и целуй.

Быть зрителем — значит продлевать красоту.

Перетянуть девичью красу на берег похоти — и прости-прощай искусство. Не зреть будешь, а жрать.

Об этом и толкуют в своих картинах Настя Зорина и её подруга Инна Баблоян.

II. Искривление пространства

1. Губерман

Мне кажется, что за авторской криволинейной перспективой (многовариантной) — будущее. Не только в художественной фотографии, но и в изобразительном искусстве. Петров-Водкин — это только начало. Взял билет на Губермана — приезжает в Харьков. Читаю его взахлёб. Вот-таки аполог криволинейной перспективы! Это как футуризм был и в изобразительном искусстве, и в поэзии, так и криволинейная перспектива в начале двадцать первого века упрямо становится ведущей формой мировосприятия — и в литературе, и в живописи, и в киноискусстве.

Вот этот уход от прямого угла, от перпендикулярности, от вертикали — в отношении источника света, теней, искривления горизонта, появление падающих персонажей (это уже есть у Петрова — Водкина), отождествление полёта и падения, вообще — пафос падения — меня очень волнует. Что-то здесь открыто очень важное и для поэзии, и для живописи, и для кино, и для художественной фотографии.

Очень важно смещение источника света в центр картины, скажем, в область диафрагмы (талии) героя или героини. Это значит, что источником света становится бунинское «лёгкое дыхание». Свет начинает дышать, он исходит не от солнца, луны или фонаря. Его излучает герой. Свет не столько освещает, сколько создаёт формы. И освящает их. Фигуры могут быть буквально сотканными из *такого* света. Это и в иконе есть, но в начале двадцать первого века, возможно, источником света-дыхания может становиться и обычный герой (не Христос).

Тенденции современного искусства, его мощь — в возможности искривления горизонта светом, во вторжении света, искривляющего судьбы героев изображения и — одновременно создающего этих героев как бы заново.

Эти герои уже не по-ренессансному упрямоперспективны и вертикальны, а такие, которые не боятся упасть, не боятся посмотреть на себя «глазами клоуна», не боятся кривляться и искривляться. То, что человек Возрождения счёл бы смертельно опасным для своей «прямолинейности» и устремлённости вверх и вперёд — современный человек, искривлённо-изломанный, падающий-взлетающий (очень точно у Губермана) воспринимает как особый пафос своей грешной жизни, как её естественную *форму*. В одном из самых точных и самых трагических «гариков» Губерман написал:

В той мутной мерзости падения,
что я недавно испытал,
был острый привкус наслаждения,
как будто падая — взлетал.

Перспектива может стать особым предметом изображения. А может стать предметом изображения — искривление перспективы. Или, наоборот, выпрямление искривлённой перспективы.

2. Перспектива как предмет изображения

Мне представляется, что в двадцать первом веке *предметом* изображения становится тип перспективы. А раньше перспектива была не предметом изображения, а способом изображения какого-то предмета…

У художников XX века перспектива, точнее — ситуация художника, выбирающего тип перспективы (воздушную ренессансную, хранящую вертикаль и «прямость» или — криволинейную, неевклидову, подчёркивающую «падение», эстетизирующую искривление горизонта, вещи, человека) ещё не является *предметом изображения*. Это появляется только в двадцать первом веке, я думаю. И то не у всех художников, а у очень немногих. Думаю, здесь дело не только в технических возможностях, сколько в изменении мировосприятия. Ренессансная перспектива перестаёт казаться идеальной. Современный живой человек более изломан, более склонен к падению, чем это позволяет изобразить классическая перспектива. Поэтому криволинейная перспектива более человечна, хотя на первый взгляд может показаться вульгарной. В обычной перспективе художник подчиняется законам перспективы. В криволинейной — он сам (или его герой) способен излучать свет и искривлять горизонт. Это подчёркивает возросшую мощь художественного воображения в жизни современного человека. Как бы возросшую власть художника.

Искусство двадцать первого века центрируется на перспективе, способе изображения тени, способе освещённости картины — *как предмете изображения*. Раньше такого не было. Искусство двадцать первого века задаёт не вопрос «*Что* здесь изображено?», а вопрос «Где источник света?», центрируясь на *глазе* художника и на его самоопределении — какую перспективу он выбирает и почему, как располагает источник света и почему и пр. Искусству двадцать первого века интересен сам художник, а не его модель.

3. Лёгкое дыхание

Выбирающий и создающий перспективу художник — основной предмет изображения в изобразительном искусстве двадцать первого века.

Художник не довольствуется подчинением законам уже известных типов перспектив, а создаёт свою, например, криволинейную. Художник не довольствуется традиционными источниками света — и вот сам (или его герой) начинает излучать свет.

Талия героини становится способной, заново и как бы впервые создавая «свою жизнь», быть источником света, искривлять горизонт, заставлять героев испытывать сладость (и мерзость) полёта-падения.

Герой взлетает на воздушном шаре — и одновременно падает, потому что его к земле притягивают

тяжёлые ботинки[1] Два ковбоя в модных шляпах курят сигары, осве(я)щённые невидимой талией героини, именно из этой талии, опять-таки расположенной в центре картины, и сотканы тёмные фигуры гламурных персонажей по принципу минус-приёма.

Папа с дочкой взлетели в небо, подвешенные на бельевой верёвке, натянутой между двумя покосившимися (криволинейная перспектива) домиками, но тень падает так, что видно, что свет излучается не луной, а талией героини — храброй девчонки, взлетевшей в небо и своим лёгким дыханием, в полёте-падении исказившей и пересоздавшей по собственному образу и подобию всю геометрию привычного мира ренессансной перспективы. Но подобные процессы происходят не только в изобразительном искусстве. Я уже говорил о Губермане и о его пафосе падения, тождественного взлёту. Сейчас коснусь того, что в литературе соответствует источнику света, исходящему из талии героини.

Талия — это диафрагма, пневма. Свет, излучаемый талией храброй девчонки — это «лёгкое дыхание» Бунина. Выготский посвятил новелле Бунина седьмую главу «Психологии искусства».

Именно здесь Выготский развивает свою мысль о *преодолении* (читай — искривлении) сюжетом (формой) — материала (фабулы). Любопытно, что фабула новеллиста у Выготского сравнивается с линией графика и красками живописца. Именно о композиции (ср. с картиной художника) новеллы здесь идёт речь. Если фабульный материал Выготский изображает прямой линией, то кратчайшим путём (геодезической) сюжета у Выготского выступает (как и в ОТО Эйнштейна) — кривая. Следовательно, преобразование материала формой есть процесс искривления, как ни крути — процесс создания авторской «криволинейной перспективы». Выготский говорит о «кривой художественной формы».

Именно здесь Выготский вспоминает о знаменитых «ножках» из «Евгения Онегина», которые, по мнению художника Миклашевского, составляют самую суть композиции романа, его «внутреннюю речь». Эти ножки — не «отступление», а, скорее, лирическое наступление Пушкина, создающее сюжетную мелодию романа в стихах.

Мелодическую кривую «Лёгкого дыхания» Бунина Выготский обнаруживает, анализируя историю провинциальной гимназистки Оли Мещерской. Мы узнаём, как Оля Мещерская была гимназисткой, как она росла, как она превратилась в красавицу, как совершилось её падение и т. д.

Выготский характеризует эту фабулу как «житейскую муть». Перед нами ничтожная и не имеющая смысла жизнь провинциальной гимназистки, жизнь, которая явно всходит на гнилых корнях и даёт гнилой цвет и остаётся бесплодной вовсе.

Однако истинной темой новеллы остаётся *лёгкое дыхание* (читай — свет талии героини), а не история путаной жизни провинциальной гимназистки. Это рассказ не об Оле Мещерской, а о лёгком дыхании, его основная черта — это то чувство освобождения. лёгкости, отрешённости и совершенной прозрачности жизни.

4. Весенний ветер

Прямая линия — это и есть мутная действительность и гимназическая слава ветреной красавицы. Кривая линия — есть лёгкое дыхание рассказа, его весенний свет. Или — если угодно, свет, создающий весну.

Лёгкое дыхание — свет, творчество — есть искривление исходного пространства «мути жизни» не знающей любви ветреной гимназистки, есть искривление исходного пространства-времени, есть осве(я)щение мути жизни («ковбоев на холсте») и — его коренное преобразование в акт искусства. В мутной мерзости паденья — величайшее эстетическое наслаждение. Житейская история

1. Здесь и далее речь идёт о работах ученицы школы им. Репина Саши Веденеевой.

о гимназистке претворена здесь в лёгкое дыхание бунинского рассказа.

Сразу скажу, что в двадцатом веке, у Бунина, в лёгкое дыхание мутную жизнь героини преобразует писатель Бунин. Поэт Губерман и художник, создавший «Мою жизнь», в двадцать первом веке сами преобразуют свою мутную жизнь — в свет и дыхание лирического героя. Автор двадцать первого века — это не Бунин, а Оля Мещерская, ставшая большим художником. У Бунина лёгкое дыхание рассеивается в мире. В двадцать первом веке дыхание-свет, струясь из талии храброй героини, способно преобразовать художественное пространство и создать перспективу нового типа. Опасную. Острую. Взлёт — всегда на грани падения. Наслаждение — всегда на грани мерзости…

Почему Бунин (и современный художник со своим «автором-героем») не рассказал нам о прозрачной, как воздух, первой любви, чистой и незамутнённой? Почему Бунин (и современный молодой художник) выбрал самое ужасное, грубое, тяжёлое и мутное, когда он захотел развить тему о лёгком дыхании? Зачем Бунину катастрофическая Мещерская, а современному художнику — гламурные ковбои с сигарами и попсовая девчонка, испытывающая «драйв»?

Затем, — отвечает Выготский, — чтобы преодолеть упорный и враждебный гламурный материал, нарочито трудный и сопротивляющийся, чтобы заставить ужасное, мерзкое, «падение» — говорить на языке лёгкого дыхания и нежного света, автор которого — ты сам и твоя героиня. Чтобы житейскую муть заставить звенеть, как холодный весенний ветер.

5. «Нас двое»

Как мне кажется, в афише к презентации творчества молодого поэта и музыканта Сергея Губанова Саша Веденеева создала новый шедевр и заодно — новый шаг в освоении «Веденеевской перспективы» — особого художественного пространства, придуманного Сашей.

Только большой художник смог бы столь бесстрашно и дерзко изобразить на плакате своего друга и подписать: «*Нас двое*». Так делал художник Родченко, изобразивший по просьбе Маяковского на обложке книги фотографию Лилии Брик.

Только большой художник смог бы обнять чёрно-белое, холодное, напоминающее череп изображение тёплыми, горячими, огненными руками.

А где же знаменитая криволинейная Веденеевская перспектива?

Погодите, граждане, будет и она.

Попробуйте принять позу художника, совместив свои руки зрителя с руками, которые огнём горят на картине! Удобно? Больно? Очень больно! Позвоночник искривлён, а надо держаться, надо держать вертикаль Другого. За счёт того, что искривляешься сам.

Это замечательное новое изобретение Саши — по картине мы можем узнать позу и настроение художника, испытать его боль. Наши руки горят вместе с руками художника (одна из кистей сгорает до кости), мы чувствуем, как несладко отстаивать прямость и вертикаль Другого.

Искусствоведы говорят — да это повтор «Двух мачо»!

А ведь неправда!

В «Двух мачо» свет исходил, как обычно, из талии (органа лёгкого дыхания) героини, героиня была за холстом. Напыщенные мачо, такие, какими они хотели себя видеть, создавались этим светом. Свет источался, нежно обливая создаваемые фигуры, и весь расходовался на них. «Живите, мальчики, а я, да что там я…»

В «Нас двое» их действительно — *двое*. Фактура и освещение героя не имеет никакого касательства к автору. Герой бледен и освещён сам по себе. Источником тепла и света на картине становятся горящие и обнимающие героя руки автора. Чтобы герой был прям и чёрно-бел, эти руки должны выгореть до кости.

Слева и справа — стихи героя. Новый герой говорит — «Я мужчина. Я — поэт», его лицо открыто (и мы видим потрясающе удачный Сашкин портрет взамен изображения безликих героев. Но у тех и, правда, не было ни лица, ни имени, они всё стремились съёжиться, застыть в позе эмбриона и скрыть своё лицо. И всё лепетали — не поэт, не поэт, не поэт…).

В ответ на слова «Я мужчина. Я поэт», конечно, захотелось сказать — «Я женщина. Я художник».

И благодарные зрители поздравляют художника с удачей.

6. Петров-Водкин

Вот что пишет предшественник художницы Веденеевой в криволинейной перспективе Петров-Водкин[2]:

«…На севере синел Фёдоровский Бугор: туда, за синюю стену, пробиться надо мне! Иначе изневолюсь я в гуще моих близких, и, может случиться, с сердечником в обхвате подымутся и мои руки на отцов и братьев — от тоски, от безвыхода и от водки.

Я бросился наземь. Моменты перемен положения нашего тела очень часто *меняют психическое наше состояние.* Об этом свидетельствуют *жесты* больших волнений, к которым прибегают люди…»

«…В детстве *я много качался на качелях,* кувыркался на трапециях, прыгал через значительные препятствия и с довольно большой высоты, но, очевидно, в ту пору мне не удавалось координировать моё движение с происходящим вне меня в пейзаже и в архитектуре: *изменение горизонтов и смещение предметов* не затронуло тогда моего внимания Но теперь, здесь на холме, *когда падал я наземь,* предо мной мелькнуло совершенно новое *впечатление* от пейзажа, какого я ещё никогда, кажется, не получал. Решив, что *впечатление*, вероятно, случайно, я попробовал снова проделать это же *движение падения* к земле. Впечатление оставалось действительным: *я увидел землю как планету.* Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт *боковыми движениями головы* и варьировать приёмы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на *отрезке шара*, причём шара полого, с обратной вогнутостью, — я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая *сферичность обняла меня* на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась *не горизонтальной*, и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях её массива, *и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене*».

«…Тогда я, конечно, не учёл величины открытия, только испытал большую радость и успокоенность за мою судьбу перед огромностью развернувшегося предо мною мира.

После этого масштаба среди людей показалось мне простым и нетрудным наладить жизнь».

Получается, что «падение» есть некое *изменённое состояние сознания* (ИСС), которое может быть вызвано музыкой, литературой (стихи Губермана о падении-наслаждении), рисованием (перспектива Петрова-Водкина, Веденеевская перспектива), это падение-наслаждение связано с полётом (чреватым падением), искривлением горизонта, появлением «земшарности» мировосприятия, ощущением тяготения как искривления (падения, ср. у Эйнштейна в ОТО). Это воспринимается (скажем, Петровым-Водкиным) как «отрыв», «драйв», как радикальное расширение восприятия, и этот «отрыв» можно ощутить и при наслаждении рок- или панк-музыкой, и в процессе рисования, если он связан с изобретением криволинейной перспективы (перспективы падения) и в горах, и на крыше (поэтому её так любят подростки).

Похоже устроено шаманство, высокая поэзия (ранний Маяковский), кино (Эйзенштейн). Это связано с инициацией, ускоренным взрослением, ускоренным «падением» подростка во взрослую жизнь. И такое падение имеет глубокий культурный смысл. Это — «культурное взросление». Не зря к рок-музыке и «агрессивному рисованию» (ломающему обыденное представление о перспективе) так тянутся наиболее быстро взрослеющие подростки 13–15 лет.

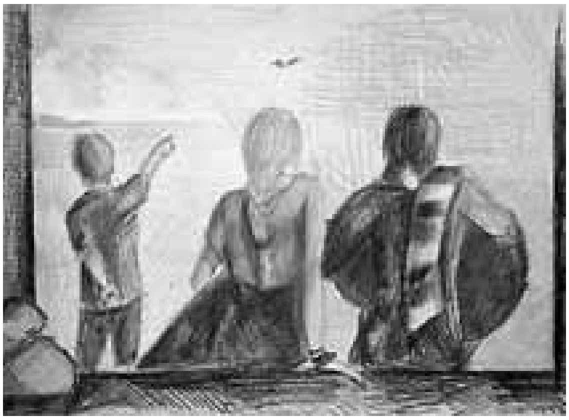
7. Изменённые состояния сознания[3]

Методологической основой исследования ИСС в российской и украинской психологии выступает культурно-историческая концепция Л. С. Выготского.

Первый вид ИСС — высшие, культурно обусловленные ИСС. Культура обусловливает и иногда жёстко задаёт набор ИСС и способы вхождения в ИСС.

2. К. С. Петров-Водкин. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. 2-е изд. Л., Искусство, 1982. с. 270–271

3. Изменённые состояния сознания и культура. Хрестоматия. Автор-составитель О. В. Гордеева. СПб, 2009, 336 с.



Второй вид ИСС — низшие, натуральные состояния сознания. Они случайны, хаотичны, характеризуются отсутствием структуры психической жизни и наступают из-за дезорганизации обычного состояния сознания.

Низшие ИСС связаны с отсутствием культурного и индивидуального опыта. В высших ИСС, даже если это состояние переживается впервые, опыт всегда есть — он обеспечен культурой.

Эрика Бургиньон установила связь между типом распространённого в обществе транса и особенностями социализации.

Трансы с галлюцинациями (шаманский транс) встречаются в простых группах охотников. Эти трансы — часть *ритуала инициации.* Транс вызывается нанесением ритуальных ран и применением галлюциногенов. Транс облегчает человеку, пережившему ИСС и получившему опыт общения с духами-покровителями, перейти к положению мужчины, вырванному из защищающей его ситуации подростка.

Трансы одержимости встречаются в более сложных обществах и нужны для того, чтобы девушка, покидая семью, чтобы жить у мужа, научилась повиновению.

Юноши испытывают давление, заставляющее их быть независимыми во враждебной среде (охота, война, секс). Девушки испытывают напряжение с конфликтами со свекровью, другими жёнами или от необходимости рано рожать детей.

Одобряемый обществом транс помогает юношам и девушкам совладать со стрессом и пройти обряд инициации.

Марлин Добкин де Риос отмечает, что галлюциногены распространены в обществах с недоразвитой социальной структурой, где отсутствует социальная иерархия, а в религии распространён *шаманизм*, причём каждый член общества может вступить в непосредственный контакт со сверхъестественным, а посредники между человеком и богом отсутствуют.

Носителем должной и общественно признанной структуры ИСС выступает *музыка*, сопровождающая ритуал, в ходе которого его участники впадают в ИСС.

Ла Барр отметил, что американцы потому знают больше галлюциногенов, чем европейцы, что в Америке распространён *шаманизм*, в центре которого *личность шамана* и переживание экстатического ИСС, который давно исчез в Европе.

Колин Уорд показал, как культура определяет степень сознательного контроля за поведением во время транса и формы *научения* вхождения новичка в ИСС.

Артур Дейкман назвал два способа организации сознания:

1. «Действие» — состояние при управлении миром и достижении личных целей, предполагает усилие и стремление. Здесь ИСС невозможны.
2. «Принятие» — состояние, направленное на принятие и восприятие мира, на то, чтобы ничего не менять в нём, ничем не манипулировать. Только здесь возможны ИСС.

Арнольд Людвиг разработал классическую теорию функций ИСС. ИСС бывают полезными и вредными для человека. Полезные ИСС имеют три функции:

1. Психотерапевтическая — помощь в улучшении здоровья и самочувствия (храмовый сон, религиозный экстаз, транс шаманов, медитация, культурное употребление алкоголя или наркотиков)
2. *Получение нового опыта* и *новых знаний*, достижение *озарения* в вопросах, касающихся себя и отношений с миром, людьми, *источник вдохновения* для художников, поэтов, учёных, *приобщение* к *культуре*, к *новым смыслам.*
3. Социальная. ИСС обеспечивают *групповую сплочённость*, облегчают общение, служат групповыми идентификаторами (алкоголь, марихуана), включаются в *ритуал инициации* — облегчая вхождение юноши (девушки) в более взрослую социальную группу, снимают конфликты между требованием общества и желанием человека.

Марлин Добкин де Риос изучала *использование галлюциногенов в качестве средства обучения.* При этом расширяется знание о врагах — оно переводится с подсознательного уровня на уровень осознания, повышаются шансы на выживание во враждебном окружении.

Есть связь между ритуальным употреблением галлюциногенов и *театральным действием.* Механизмом осуществления терапевтического действия ИСС является *катарсис* — выход подавленных травматических переживаний во время ритуала.

Итак, ИСС возникают при примитивизации общественных отношений, когда разрушена иерархия (анархическая ситуация). Падение в изменённое состояние сознания социально обусловлено и по форме вхождения в «падение», и по содержанию. Это падение осуществляется в форме контакта с шаманом и сопровождается ритуальной музыкой.

Смысл падения — быстрое и мучительное взросление (инициация), в ходе которого возникает стресс. Это стресс быстрого взросления и облегчает ИСС (транс)

Падение осуществляют группой — возникает групповая сплочённость и совместный опыт переживания падения в ИСС.

В ходе падения испытывается наслаждение приобщения к новым знаниям (о мире и о себе), к новым состояниям и тайнам.

Падение в ИСС может быть связано с ощущением творческого подъёма (падение равно подъёму), вдохновения (особенно у художников, поэтов, учёных)

Музыкально организованное падение в ИСС напоминает *театр*. В ходе театрализованного ритуала-транса происходит *катарсис* — очищение страстей, травматических переживаний быстрого взросления подростка.

Во всём этом с лёгкостью узнаётся:

1. туризм, в котором осуществляется инициация, быстрое, катастрофическое взросление, связанное с острым стрессом;
2. рок-тусовки;
3. агрессивное рисование, связанное с ломкой привычных форм перспективы;
4. собственное сочинение агрессивной музыки и стихов и их исполнение (в роли шамана выступаешь ты сам);
5. образование и жизнь сверх-сплочённых «лидирующих групп-звёзд» (подростковых группировок) с отчётливо выраженным лидером (вождём-шаманом), который раньше всех испытывает катастрофическое взросление и стресс, первый переживает «падение-наслаждение» и ИСС, а затем ведёт к нему других (или рассказывает о нём другим);
6. театральные формы общения, околотеатральные тусовки, в том числе и театрализация жизни подростковой группировки.

Педагогическая альтернатива изменённым состояниям сознания (трансам):

1. Настоящий (нормальный) туризм. Туризм как спорт, как краеведение, как изучение истории и археологии, как овладение спортивным ориентированием. Туризм как проверка себя. Туризм Визбора-Высоцкого против тусовочного «туризма» — «туризма», направленного на катастрофическое взросление, слишком раннее приобщение к взрослым сообществам на равных и связанное с ним ощущение стресса (который и преодолевается с помощью ИСС).
2. Настоящие творческие встречи с учёными, серьёзными поэтами, философами — вместо тусовок с рок-«звёздами».
3. Нормальное рисование — с нелицеприятным обсуждением слабых рисунков, нормальная искусствоведческая критика, выставки, рецензии, деловые обсуждения картин, *нормальная культурная атмосфера вокруг художников* — вместо превращения художника в шамана, «священную корову», которого нельзя критиковать, которого можно только хвалить и называть Большим Талантом.
4. Нормальное музицирование совместно с большими музыкантами и под их руководством (или советуясь с ними), связанное с нелицеприятной музыковедческой критикой.
5. Демократизм — против фаворитизма, выделения «звёздных групп», поддерживания «принципа вождя» у подростков, склонных к авторитарному поведению по отношению к группе.
6. Самодеятельный театр — как альтернатива околотеатральных тусовок.

Психологическая альтернатива современным концепциям ИСС

О. В. Гордеева знает только два вида ИСС.

«Первый вид ИСС — высшие, культурно обусловленные ИСС. Культура обусловливает и иногда жёстко задаёт набор ИСС и способы вхождения в ИСС.

Второй вид ИСС — низшие, натуральные состояния сознания. Они случайны, хаотичны, характеризуются отсутствием структуры психической жизни и наступают из-за дезорганизации обычного состояния сознания.

Низшие ИСС связаны с отсутствием культурного и индивидуального опыта. В высших ИСС, даже если это состояние переживается впервые, опыт всегда есть — он обеспечен культурой».

Как нам кажется, при описании первого вида ИСС О. В. Гордеева не различает психологических орудий, связанных с приспособлением индивида к цивилизации и овладением своим поведением с помощью высших психических функций, направленных по преимуществу на цивилизационные механизмы поведения, и — психологических орудий, связанных с вхождением в культуру — в «мир впервые» (В. С. Библер).

Если при описании ситуаций овладения поведением при вхождении в цивилизацию и целесообразно говорить о ритуале инициации и связанной с ним травмой, стрессом и освобождающим трансом (ИСС), то при анализе творческого сознания, обретаемого человеком в ситуации построения культуры (в том различении и противопоставлении культуры и цивилизации, которое вводит В. С. Библер), категории ритуала, стресса и транса уже не работают. Здесь кажется необходимым, вслед за Выготским и Библером, говорить о внутренней речи как психологической основе построения произведений и об авторском произведении как форме вхождения в культуру (в «мир впервые»). Эти творческие формы построения сознания, характерные для «человека культуры» (в отличие от «человека цивилизации», «человека ритуала»,»человека тусовки» и пр.) коренным образом переопределяют само понимание ИСС, заставляют говорить уже не о стрессе и трансе — а о включении диалогического мышления в челнок «сознание-мышление-сознание»), в частности, мышления художника (см. рефлексии Петрова-Водкина).

Попытка обойтись без диалогического мышления, попытка оставаться лишь в плоскости мятущегося сознания художника, растущего «как трава» и не знающего теоретической «болтовни», неизбежно приводит к редукции культуры — к цивилизации, культурного диалогического (опирающегося на мышление) общения — к ритуально-тусовочной форме коммуникации. Человек культуры редуцируется до человека тусни, нуждающегося в трансе и ИСС, помощи алкоголя, лёгких наркотиков, агрессивного музицирования, агрессивного рисования и других цивилизационных «костылей» сознания — хищных вещей прошлого века.

О механизмах инициации хочется поспорить с Проппом, Леви-Строссом и другими специалистами. Считается, что ритуал инициации есть естественно-исторический механизм взросления людей. И в этом смысле — нормальный, прогрессивный процесс.

Я в своих работах последних лет («Живые и мёртвые» и др.) развиваю другую точку зрения. Мне кажется, что ритуал инициации есть глубоко антикультурный процесс, альтернатива нормальному взрослению — с сохранением ценностей предшествующего возраста. Ритуал инициации есть жестокий контрпродуктивный процесс. Ритуал инициации — это капитуляция общества перед трудностями взросления его членов.

Искусство, культура никогда *не* вырастает из ритуала инициации, а во все времена является его *альтернативой*. Фигура сказочника альтернативна фигуре инициатора. Трагический катарсис, возникающий, как приведение общества в сознание (античная трагедия), не вырастает из ритуального обряда очищения, а является альтернативой ему. *Культура* есть форма *преодоления* ритуальных форм жизни. Прежде всего — культура есть враг обряда инициации и обряда очищения. Там, где трагический катарсис примитивизируется и подменяется катарсисом ритуальным, там, где художественная форма (например, волшебная сказка) подменяется ритуалом инициации — там культура свёртывается и общество фашизируется. Наиболее яркий пример — деятельность Лени Рифеншталь в фильмах «Триумф воли» и ленте, посвящённой Олимпиаде, кино подменяется ритуалом, прямо и грубо вторгающимся в сознание зрителя и изменяющим это сознание. На этом построен и гитлерюгенд. Все культурные формы жизни молодёжи (литература, кино, театр, музыка, живопись, туризм, военная подготовка, спорт) подчиняются ритуалу инициации — катастрофическому взрослению, изменяющему сознание подростка.

Ещё один пример. Странный в художественном отношении и искажающий историю СССР фильм «*Стиляги*». Этот фильм, как мне кажется, не говорит правду о том времени, когда уже зарождалась «оттепель», когда в каждой школе, в каждом институте, в каждом театре зарождались культурные процессы, приведшие к образованию «Современника» и «Таганки», песням Галича, Высоцкого, Окуджавы, Визбора, клубов самодеятельной песни в Московском пединституте и не только, началу творчества братьев Стругацких, началу советской космонавтики и ядерной энергетики (Королёв-Гагарин-Курчатов), началу осмысления Великой Отечественной войны в поэзии и прозе (Коган, Кульчицкий, Слуцкий, Самойлов, Окуджава, Василь Быков, Бек и многие-многие другие), началу советской философии (фронтовики Ильенков, Арсеньев, Библер и многие другие переосмысливали наследие Гегеля, Маркса, Ленина, отдирали от него сталинские наслоения, создавали блистательные философские теории), к началу нового расцвета советской психологии (ученики Выготского, Рубинштейн и др.).

Всё это создавалось отнюдь не гламурно-тусовочными сынками и дочками работников МИДа и детьми членов ЦК — «*стилягами*» (стиляг презирали все, и, прежде всего, стиляг презирала творческая интеллигенция). Сообщества молодёжи, в которых выросли *Таганка* и *Современник*, Высоцкий и Галич, Гагарин и герои фильма «Девять дней одного года» в фильме не показаны — их как бы не было. Они не нужны автору фильма.

Цель автора фильма — доказать, что продуктивной, творческой деятельности в культуре *не бывает*.

Цель «*Стиляг*» — доказать настоящей интеллигенции, что её *нет*, что есть только *драйв*, «падение-наслаждение», власть над людьми, выпендрёж под гитарку, агрессивное рисование, самореклама и секс (тоже не как секс-любовь, а как форма власти над другим человеком, форма унижения его). Презрение к настоящей культуре, науке, искусству и насаждение «своего», крайне примитивного мышления, мировоззрения, — речи…

Все мы люди. И псевдокультура *драйва* («падения-наслаждения»), псевдокультура «Стиляг» (не имеющих никакого отношения ни к джазу американскому, ни к джазу Леонида Утёсова, ни к песням тех замечательных музыкантов из совсем другой эпохи, которых режиссёр «*Стиляг*» заставил озвучивать сцены фильма), — вползает в наши души, травмирует всех нас, ломает и искривляет перспективу нашей жизни. На нас напрямую действуют новоявленные шаманы. Шаманы и шаманши взламывают наши души, навязывают нам желания, ищут в нас поддержки. Кто же не дрогнет? Кто не попадётся на крючок драйва? Так всё красиво… Молодо… Пахуче… Нежно… Эротично… Смело… Громко… Гитарка-панки-костры-атлеты-красотки… Драйв, драйв, драйв!!! Быстрее взрослеем! Быстрее осваиваем хищные вещи прошлого века!!! Громче, гитара! Агрессивнее, афиша! А кто не с нами — того заклюём!!! Собака лает! Перегрызём собаке горлянку! Караван, вперёд!!!

Куда? В никуда, в бездну бессмыслицы, потери себя, потери подлинного творчества, потери нормальных отношений со взрослыми-специалистами, в бездну анархического своеволия, раннего взросления, катастрофического отказа от детства.

Зачем?

Не спрашивай, занудная серость!!! Драйв самоценен! *Караван*, вперёд!!!

8. Катастрофическое взросление

В Украине взросление катастрофически ускорено. В сексуальные отношения со взрослыми людьми можно вступать (по согласованию) не с 18, а с 16 лет. Начало обучения с 6 лет (реформа бывшего министра образования Кременя) приводит к тому, что кризис 7 лет проходит в школе, игр «в школу» нет, ребёнок не успевает захотеть в школу. Если ваш класс первые три года попадал в ситуацию учебной деятельности как ведущей (1–3 классы), то нынешний восьмой класс в Украине (2009) — первый класс, пришедший в школу с шести лет. В этих условиях не происходит обычной ориентации младших школьников на учебную деятельность. По сути дела, не становясь учениками, они медленно перетекают из дошкольного возраста (ведущая деятельность — игра) в подростковый (ведущая деятельность — интимно-личностное общение). То есть тусуются эти ребята непрерывно с шести лет до шестнадцати, а учиться так и не начинают.

Разгром социализма, разгром сложного производства и замена социализма мелким капитализмом перекупщиков, крышуемых государством, привёл к возникновению социального слоя из сотен тысяч молодых людей и девушек, которых называют «офисным планктоном». Это люди, которым нужно не образование, как в СССР, а умение ладить с боссом (юноши), красиво одеваться, быть толерантным, угождать боссу (девушки). Это содержание жизни при украинском «капитализме» требует и иного содержания образования. В школах надо учить не научным понятиям, не настоящей литературе, а административно-карнавальному, гламурно-тусовочному поведению.

С точки зрения задач формирования «офисного планктона» необходимо именно катастрофическое взросление. Уже в 13–14 лет девушка должна понимать, что её успех в буржуазной Украине связан не с её знаниями, талантом, грамотностью. Талант нужен только в той мере, в каком он обеспечивает заметность, эффектность, гламурную внешность, умение подчинять себе мужчину-вождя, мужчину-босса. В современных ритуалах инициации важно поэтому, чтобы девушки поначалу были очень красивые, но очень маленькие (6–7 класс), а мальчики были постарше и учились быть с девушками холодными и властными. Тогда целью жизни девушек становится не учёба и не культура, а использование культуры и натуры для того, чтобы добиться успеха в глазах старших мальчиков (которые играют роль будущих боссов). Юноши 16–17 лет должны не быть игрушками в руках девушек 13–14 лет, а, напротив, учиться подчинять себе красавиц, заставлять их служить своим желаниям. И это развивает юношей, снимает проблемы трудностей взросления (ровесницы их ни в грош не ставят, да и правда, нет у них ничего, кроме внешней гламурности и холодной жестокости, вот и обращение к маленьким девочкам — поначалу почти рабыням, смотрящим на юношей, как на богов, повышает авторитет этих будущих боссов в их собственных глазах). Заодно и девушкам, и юношам в современных ритуалах инициации внушается (как в фильме «*Стиляги*»), что, кроме успеха в сексе и покорении другого пола — ничего в этой жизни, по сути, и нет.

Опыт показывает, что такая инициация (потеря двух лет детства, потеря нормальных, романтических отношений между полами, быстрая сексуализация отношений, воспитание презрения к любви и культа чувственности вне чувства любви) стоит девушкам 13 лет совсем недёшево. Быстрое взросление порождает стресс, невроз, по сути дела жизнь взрослой женщины оказывается очень трудной для девочки 14–15 лет. Она ещё не готова к ней, а жизнь (инициация, дух околотеатральных и околомузыкальных тусовок со взрослыми актёрами-музыкантами, просмотр пьес и кинофильмов не по возрасту, желание быть первой) — заставляет взрослеть катастрофически. Как мы уже знаем, облегчением стресса может быть практикование ИСС (изменённых состояний сознания) — алкоголь, лёгкие (будем надеяться) наркотики, агрессивная музыка, агрессивно-сексуальные тексты под музыку, всякого рода вульгарный пластический квазитеатральный выпендрёж, агрессивное рисование и фотографирование. Всё это — замена настоящих театра, музыки, кино, живописи, литературы.

Опыт показывает, что, перейдя грань и выдержав невроз и стресс, девушка уже не может вернуться обратно, в детство, оно отнято *навсегда*. Она становится взрослой женщиной 14–15 лет. Так как для обеспечения переживаний стресса необходимо не искусство, а его агрессивно-сексуальная имитация, в такой ситуации даже очень большой талант может покинуть человека и замениться имитацией творчества.

Одному человеку очень трудно переживать катастрофическое взросление. Поэтому в ситуации стресса ему на помощь приходит группа — своеобразный «*хор*», который не действует, а как бы «болеет» за героя, выслушивает его рассказы, завидует герою, комментирует его действия. Герой становится лидером сплочённой стаи (подростковой группировки).

Один за другим участники этой стаи с помощью «вождя» испытывают стресс катастрофического взросления. Очень существенная взаимозависимость взрослых инициаторов-шаманов (деятельность которых социально обусловлена необходимостью подготовки из подростков «офисного планктона») с лидером стаи и со стаей в целом. Стая влюблена в шамана, шаман обеспечивает выделенность стаи по отношению к школе в целом (это — гвардия шамана). Мнения в стае формируют совместно шаман и лидер-подросток. Если общее мнение не разделяется кем-то — его изгоняют из стаи. Если кто-то извне не одобряет мнений стаи, её подросткового вождя и её взрослого шамана, стая натравливается (обычно вожаком при одобрении шамана, но так, чтобы действия вожака оставались незамеченными) против этого человека (ребёнка или взрослого).

Так перерождается советское образование, превращаясь в гламурно-тусовочную, административно-карнавальную структуру. Это общегосударственная тенденция. И этому надо *оказывать*

сопротивление. Надо отметить, что против Сопротивления будут выступать не только шаманы, но и подростки-вожди. Это очень неприятно, так как приходится противопоставлять себя не только взрослым, но и катастрофически повзрослевшим детям. Они уже никому не отдадут свою взрослость.

Вместе с тем, ситуация катастрофически повзрослевшего подростка (особенно девушки, вынужденной становиться взрослой женщиной 14–15 лет) двойственна. С одной стороны, она вросла в административный карнавал шамана и уже не может жить без ежедневного драйва. С другой стороны, она не может не чувствовать пошлости и бесперпективности драйва — исходные таланты теряются, не опираясь на ежедневный труд и консультации специалистов, раннее сексуальное взросление чревато перспективой раннего старения, всё меньше привычка заниматься делом (а не тусить), всё меньше талант, всё больше желания добиться славы любой ценой. Это страшновато. Стресс, связанный со всё большим осознанием, что ты — по сути уже никто, что ты — только красивая гламурная игрушка в руках стареющих инициаторов, желающих искусственно продлить свою молодость и — красивая эротическая игрушка в руках холодных будущих боссов — парней постарше — усиливается, а с ним усиливается тяга к ИСС (переживанию изменённых состояний сознания). Возникает известная спираль, приводящая и к ранней алкогольной зависимости, и к ранней сексуальной зависимости, и к ранней наркомании. Так как школа заканчивается, взрослые шаманы *не отслеживают* дальнейшие судьбы катастрофически взрослеющих детей. Ответственность за них принимается вузовскими преподавателями и близкими людьми. Школа умывает руки — никто не виноват, никто не схватит за руку — негативные последствия наступают позже, в возрасте, близком к 30 годам. А в школе — это ещё свеженький приятненький человек — всё кажется чудесным.

Опыт показывает, что как начнётся личная жизнь в подростковом возрасте, — так она и потечёт. Так что надеяться, что подросток перебесится — не приходится. Склонные к романтической любви и останутся людьми, способными к романтической любви. Склонные к лёгкому сексу как проявлению статуса и власти — так всю жизнь и будут понимать секс. Исключения редки.

Конечно, яркие прогрессивные талантливые и социально активные люди — это норма, а не исключение. Но если взрослые захваливают талантливых подростков, позволяют им, не работая, обретать успех и популярность, не выстраивают вокруг них равноправной культурной среды зрителей, со-творцов, резких критиков, специалистов — угасание и гибель таланта неизбежны. Короля делает свита. Гламурного тусовщика-стилягу из большого таланта делает группа. Как взрослый выстроит отношение в группе вокруг творца — таким и будет творец — или будет расти, или превратится в тусовщика, мечтающего о драйве, драйве — любой ценой.

Целостная личность — это не про подростка 14–15 лет. *Никакой* подросток этого возраста целостной личностью ещё не является. Талантливый подросток подобен пластилину. Кажется, что он самостоятелен — на самом деле взрослый может, поощряя его анархическую квазисвободу, потакая подростку во всём, мощно управлять подростком, тормозя его развитие в предметных средах (искусство, наука) и превращая подростка в гламурную игрушку взрослого. А подростку кажется, что он сам выбрал тусоваться, а не работать. Будь рядом с подростком другие взрослые — он выбрал бы иной, более сложный, но более продуктивный путь — работы и выдерживания критики специалистов.

Вокруг нас так много серости не потому, что люди — первоначально серые, а потому, что они продали свой талант тусне и сиюминутному лёгкому успеху у примитивно развитых зрителей-фанов в подростковом возрасте. И талант навсегда покинул тусовщика-стилягу. «Был художник сильный — стал художник стильный»…

Если с первого класса культивировать развивающее обучение (система В. В. Давыдова) — к концу третьего класса в каждом классе развивающего обучения с необходимостью появится лидирующая группа — состоящая примерно из 6 человек — спаянных между собою. Все учебные задачи решаются этой группой-лидером. Ею же подавляются все способы размышлений отдельных учащихся — которые не соответствуют принятой в этой системе обучения целям и ценностям. Со стороны может показаться — класс просто делится на лидеров и менее способных к познанию людей. Но если зайти в подростковый класс и начать работать не с привычной лидирующей группой — а с сочинениями любого из аутсайдеров — быстро выясняется — все люди равны — у всех интересные идеи — только не все эти идеи интересны читателю и группе-лидеру. А если взрослый ориентируется на свою теорию выделенных лидеров и серой толпы — так он везде увидит горящие глазки преданных лидеров и — пустые глаза аутсайдеров — но это свойство видения — а не свойство реальности.

Мой опыт показывает — переориентация взрослого с привычной группы-лидера на всех детей приводит не к ссоре лидеров. Кто такие лидеры в обучении? Это люди, склонные радостно демонстрировать на уроках формы мышления и поведения — нравящиеся учителю. Если учитель показывает — что ему близки самые разные стили мышления и понимания мира — лидер открывает равного себе в бывшем аутсайдере — а аутсайдер начинает видеть в лидере человека — а не полицейского, который закрывает ему рот — не то говоришь, как у нас принято, — не так говоришь, как у нас принято.

Жестоко 10 лет удерживать большинство группы в положении молчащего большинства. Ещё хуже — поощрять лидерство, которое при изменении системы ценностей вокруг человека — окончание школы и выход в более широкий мир — лопается, как мыльный пузырь, — лидеры испытывают страшный дискомфорт. Они были лидерами только в тепличных условиях — позволяющих греться около начальства и подтверждать ожидания начальства. Часто именно школьные лидеры перестают быть таковыми вне школы, теряются — в ненужных

поисках новых взрослых, которые будут восхищаться ими.

Равенство людей не есть их одинаковость. Создать условия для равенства — это значит так построить введение человека в разные культуры, чтобы выявились самые разные способы понимания культур и самые разные формы освоения их. И самые разные формы культурного творчества и со-творчества.

Заключение. Человек культуры — против Человека тусни

В xx веке Человеку культуры противостоял Человек цивилизации. Я предполагаю, что в нашем веке Человек культуры вступает (прежде всего, в самом себе) в смертельный бой с Человеком тусовки, тусни.

Человек культуры — прежде всего писатель и теоретик, социальный мыслитель и общественный деятель, автор своего видения мира, а лишь потом и в связи с этим — читатель.

Человек тусни читает, чтобы читать, а потом в тусовке цитировать прочитанное, культовое, и чтобы презирать тех, кто до сих пор не читал Бродского или Мандельштама.

Чтение для Человека культуры — это диалог с Другим, который обязательно заканчивается новым произведением читателя — «Моим Пушкиным» Цветаевой, например.

Чтение Человека тусни — священнодействие, потребительское приобщение к опыту великих, инициация — посвящение в интеллектуальную тусовку.

Человек культуры демократичен. Он любит общаться со всеми людьми, в каждом видя неповторимый голос и потенциального автора. Часто после общения с Человеком культуры его собеседники начинают писать стихи, рисовать, ставить спектакли.

Человек тусни аристократичен. Он делит мир на своих — из своей стаи — и чужих. К стае он причисляет не только её вожака, но и кумиров стаи — артистов, писателей, модных философов, с которыми тусовочная стая мечтает познакомиться.

Человек культуры бережно относится к произведениям других и к своим произведениям.

Человек тусни считает, что творить могут только культовые фигуры. Тусовщик презирает произведения членов своей стаи, называет их графоманскими. Тусовщик убивает автора и в самом себе, боится в себе автора, стыдится его. Тусовщику ничего не стоит уничтожить и чужое произведение, и своё.

Человек культуры относится к спорту, прежде всего, как к преодолению себя, игре, свободному общению с природой.

Человек тусни играет в футбол или ходит в горы, прежде всего, чтобы потусоваться, решить, кто свой, а кто чужой, сплотить стаю, подтвердить права хозяина-вожака, самоутвердиться за счёт других, развить в себе ницшеанский комплекс сверхчеловека, который может всё и умеет повелевать людьми.

Человек культуры ценит в любви — любовь, верность и красоту.

Человек тусни в любви видит, прежде всего, грубую чувственность и власть (с помощью чувственности) над людьми. Любовные отношения человека тусни всегда только повод для разыгрывания ситуаций борьбы за власть между мужчиной и женщиной.

Человек культуры относительно равнодушен к одежде.

Человек тусни делает из одежды культ. Чувственная, влияющая на людей и дающая власть над противоположным полом *форма*, в которую облачается мужская и женская телесность — единственное, что волнует тусовщика. То, что за формой скрывается пустота, — так в этом и суть тусовки.

Надя Делаланд

Между створками книги

Этот свист и щелчки, эта дрожь и шипенье, двоясь,
обрастая высокими тонами в деке, — стихают,
замолкают стихи и, молчащие в столбик, стоят,
затаив до читающего речевое дыханье.
Мир распахнут и ждёт; на страницах его, что в кино,
шевелящиеся муравьи переносят значенья,
опускается ночь, наши тени уходят стеной,
растянувшись улыбчиво и неестественно через.
Но оно продолжается, шоу твоё (покажи),
даже если здесь вымерли зрители, и тараканы
из голов их ушли и продолжили личную жизнь
за границею жизни земной, приземлённой (покажешь?)
Этот свист и щелчки, это дрожь и шипенье, и спесь
пережившего опыт кромешного света и выси —
это там не берут, это нужно, наверное, здесь,
между створками книги, хранящей осенние листья.

цицерон цезарь гораций катулл вергилий
золотая латынь просыпающаяся светом
сквозь прорехи времени сказанные другими
в нестерпимой яви доступной одной лишь смерти
от паденья римской империи до паденья
с высоты олимпийских круч — на лопатки в скудный
огород петрушки где я озираюсь где я
забывая тем самым уже навсегда откуда
но кольнёт знакомо номер четыре семь шесть
в лобовом стекле автобуса как в музее
крутанётся улица и остановит сердце
а глаза людей окажутся колизеем

Господствует сентябрь. На головах
златятся кроны трепетно и влажно,
министр дворник с древностью бумажной
в совке идёт, и стелется трава…
(Вчерась он был дровами на траве,
отсюда уст переворотный смайлик
и тремор длани. Общая помятость
передаёт торжественный привет
морщинистой сиюсекундной луже).
А это я из дому выхожу,
иду, иду, нет, всё-таки брожу
по кружеву (а, между тем, снаружи
всем кажется, что я иду себе
на службу, может, просто раньше вышла…),
а на ковре печальным счастьем вышит
прошедших дней остановимый бег.

Облик осени сквозит в ветках неба
и в рогатом настороженном монстре,
про который, говоря, что — троллейбус,
понимают, что живой (одна морда
чего стоит…). На дорогах разбросан
хаотически хронический шелест,
осень шепчется, шуршится белёсо,
озирается, свернув себе шею.
Осень, что это? Очнись, полюбуйся:
у акации рожок пахнет сладко,
он раздавлен пешеходом обутым,
он оставлен миром в мокром осадке,
неразборчиво помешан с листвою,
и удар его пронзительно точен.
Так охотятся на смерть из двустволки,
обрывают речь серебряной точкой.

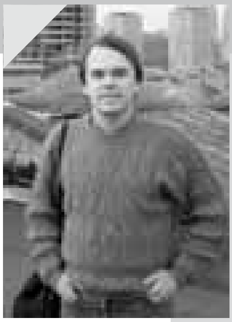
Господи, отведи — беду,
стрелу. Стрелочку — переведи,
чтобы секунды, сбившись на миг один,
снова построились в череду,
мяту, ромашку, липу, душистый хмель
в чайнике маленьком, вечером, перед — сном…
Господи, воля Твоя… только — будь со мной,
не оставляй меня, как наступит — смерть.

в это пламя сквозящее мимо пространств
заплывает зрачок и не видит другое
голос хора церковного жаром костра
опаляет всё нёбо сведённое горло
расписного собора, а пламя летит —
с фитилька в бесконечное странствие духа
и становится звуком вон там на пути
к тишине Его пламени ставшему слухом

Роюсь в словарях, наслаждаясь прелью
желтоватых листов в мелкой сыпи ятей.
Ничего не поделаешь: гены предков.
Книжный червь, точилище знаний, яблок,
от которых многие же печали…
Погружаюсь в буквы, что в черноземье,
это ход наружу, он — нескончаем,
потому что жить в словаре — блаженство.
Покрываюсь росписью и, запретно
табуретку томом увысив Даля,
превращаюсь в книгу и в самый крепкий
сон, мороз, маразм на лету впадаю.

Бог — категория состояния (при глаголе
бытия), исполненная любовью
и свободой. А кто говорит о Боге,
как об имени, знает, конечно, больше,
но вот чувствует хуже. Сижу на кухне,
чувствую себя плохо.

Сквозь опыт безвозвратности, когда
кричишь вдогонку, шаря по карманам,
но вор — сбежал, и кажется нормальным
закрыть глаза и отмотать назад
секунду за секундой, размещая
во времени события не так —
идти быстрее или вовсе встать,
чтоб отменить внезапное несчастье.
Но мир нелепо крутится, живёт,
смеётся, разговаривает, дышит,
идёт вперёд, как вор, и если слышит
твой крик — не обернётся на него.



Станислав Бельский

Флореаль

Стёртая Русь. Колокола висят яблоками.
Чёрствый хлеб из туч поливает святая вода.
Путник седой, проходя, мне мигнёт украдкой.
Я бы обнял тебя, Русь, но лучше лети сама.

Губы твои — дымная степь сонная,
Мёртвые глаза — раны на белом стволе.
Выйду в окно — разговор о любви между жёнами.
Чёрный мой плащ — твоё сношенное крыло.

Влажная Русь. В занавеси крест — свечкой,
Цвет на окнах, а на губах — игла.
Малый сверчок истончает мне ночь за печкой.
Кто мы? Откуда мы? Кто ты, моя беда?

Морочит души нам январская пурга.
В индийских зарослях заснеженной столицы
Мы бродим, потеряв любовь и имена,
В ладонях белых застываем, словно птицы.

Под мехом бурной, неусыпной мглы
Находим дом свой в дебрях белого пожара:
На окнах росчерк ледяной иглы,
Ветвями машет над трубой растенье пара.

Ложится густо на фонарный звукоряд
Фата случайного, стремительного пенья,
Смешно машины заметённые галдят,
И норовят за город вырваться строенья.

И вот подарен мне сентябрь —
Наивный, раненый, горчащий.
Швыряет в небо горстью пыль,
Звенит, как провод на ветру.

Глядят скупые небеса
На холода растрёпанную душу,
Раскрыв дырявый невод, ловят
Слова, дают прозрачность дням.

Податливее женщины, нежней
Их игры, тоньше расстоянья,
Надёжнее и мягче колдовство,
Забывчивее терпкая любовь.

Закатный город говорит
На каменном, беспамятном наречье,
Над нежностью сквозящей бродят
Бессильные, пугливые лучи.

Переверни страницу декабря.
Сквозь чистое, звенящее усилье
Проступит жар обветренных ладоней,
Пунцовая и снежная судьба.

В момент, когда светило запирает
Свою суконную лавчонку,
Над городом, как ломкий синий лёд,
Мерцает детская молитва.

Уж тащит с дуговой фонарной силой
По желобам свистящим Рождество
Расхристанных и вязнущих волхвов,
Зашторенных морщинистою вьюгой.

Меняю курс, как корабли меняют ветер,
Мечусь в волшебных, звонких фонарях,
В разломах сердца, как свеча в кларнете,
Витает ветра тёплый, пёстрый взмах.

Очарование бывает и безгрешным,
Сжигая воздух над холодной мостовой,
И осенью, как дождь костром мятежным,
Душа играет пряжей верстовой.

Я караулю свет, и глаз мой — окоём,
Язык ослаб и позабыл вкус речи,
Часы, разрезанные надвое, вдвоём
Секунд не мерят, ожидая встречи.

Завязь темноты
скрывает мою любовь.
На кустарнике плещутся серые
ленточки сентября.
Книжная ночь прошла.
Поцелуй поперечного неба
выхватил жёлтый плот
и развязанную тесьму.
Глаза любви моей,
тело любви моей,
следы любви моей
в ясеневой тюрьме.

Тутовый шелкопряд,
песчаный гнев.
Спи, колыбельная радость,
за сломанными дверьми.

Флореаль

Вырывает окна с мясом,
Брызжет через щели свет,
Заливает бочки квасом,
Золотит листки газет.

Резонирует упруго
По колено, от земли
Цвет весеннего испуга,
Взмах весёлой муравы.

Птах заглядывает в стёкла:
Через стёкла на паркет
Льётся густо, льётся мокро
Багрянистый, пышный свет.

Больше воздуха в деревьях,
Оперилися цветы,
Сердце в радуге, в волненьи,
Меньше ночи, слаще сны.

Диво откровенных красок —
Удивлённая земля,
В парке тесно от колясок,
Семена дырят поля,

А звенящие комахи,
Нас кусая, ночь стригут.
В кельях тихие монахи,
Улыбаяся, живут.

Через небо лихо птицы,
Угорелые, летят,
И прозрачною водицей
Реки синие блестят.

Пей, полётное веселье,
Пьяный воздух из цветка!
Пчёлам — радость, птице — пенье,
Нам — прозрачный день с лотка.

Яркий огнь на небе ясном,
И в руке моей куплет.
Разрывает окна с мясом,
Бьёт сквозь щели, пляшет свет.

В дождь лучше пишется — давно заметил:
Как в бочке прорывает дно,
И льётся стих, смеются дети,
И капает креплёное вино.

Вино стихов; стихи вина бодрее.
Игра и музыка в одной строке.
Огня и воздуха! Смелее!
Рисуй огнём на молоке!

Чаровница, лицедейка,
В небе медная копейка,
Золотая полушаль,
Тишина моя — печаль.

Ветер резкий и холодный,
Плеск мечты моей подлёдной,
Да обзор ночной реки —
Режут чёрный лёд коньки.

В море синем тонет кружка,
В автомате щёлкнет двушка —
Ой, ты, милая подружка,
Сердца тоненькая стружка!

Июль. Я стал тяжёл и зрел,
Как сочный плод на ветке груши.
Чернеют ночи каплей туши,
Ручьём холодным дни без дел
Неразличимы меж собою,
Текут водою ключевой,
Хрустят сосновою иглой,
Шьют серебром по голубой
Канве небес над головой,
И ткут смолистой дымкой хвои.

Салим Фатыхов
Нина Ягодинцева

Генетический код поэзии

Н.Я. Салим Галимович, в Вашем творческом багаже не только колоссальное культурологическое исследование «Мировая история женщины», но и поэзия, проза, переводы… Я сердечно поздравляю Вас с недавним событием в Нижневартовске, где на конференции АСПУР Вам была вручена медаль «За служение литературе», и Вы стали лауреатом премии «Урал промышленный — Урал полярный». Хотелось бы, чтобы наш диалог был посвящён глубинному, сущностному смыслу литературы, поэзии, жизни.

Мы с Вами земляки, оба родились в удивительном городе Магнитогорске. Это город-легенда, город, обладающий мощным духовным полем и — в противоположность ему — очень жёстким бытом: металлургия, работа, на которой люди горят. Город поэзии, космических энергий духа и материи…

С.Ф. Возможно, это сочетание несочетаемого и сделало Магнитогорск тем городом, который как в люльке лелеет и таланты, и характеры. Почему это произошло? Во-первых, его строили люди, несправедливо пострадавшие за то, что они родились с хозяйственной жилкой, с цельным взглядом на жизнь, и даже в условиях царской России и первых лет советской власти сумевшие адаптироваться к сущностным смыслам своего бытия… Именно по этой причине они и были использованы властью и сосланы на эту великую стройку.

А во-вторых, великая стройка, великая идея, которую культивировали большевики, как-то, видимо, совпали с извечной мечтой российского человека превратить свою страну в великую державу. И понимание, что надо уходить от лапотной России, уже пронизывало буквально умы — и грамотных, и неграмотных. То есть романтизировало быт Магнитки и породило столько восторженных воспоминаний, стихов и т. д., но, с другой стороны, и казарменно-комендантскую коммуналку, которая была почему-то воспринята эталоном советской жизни.

Была ли она таковой, не могу определённо сказать, но родился и жил я в бараке, он назывался «почтовым», и туда селили передовиков производства. Родители мои были репрессированы, этот же статус теперь у меня. Кроме барака, я помню комендатуру, помню кипятильник, но всё это, конечно же, не подавляло тех наивных восторженных впечатлений от великой стройки, которые, возможно, и у Вас были в детстве и остались. Ваши стихи именно эту глубину и проецируют. Одна гора чего стоит, одни дымы, которых мы наглотались в детстве, — всё это удивительно выплавилось в романтику жёсткого коммунального быта.

Все мы бываем счастливы в детстве… У нас напротив барака стояли каланча и пожарная контора. У входа простирался деревянный настил, там было чисто, мы там играли. Пожарники выезжали с бочками, машин тогда ещё не было. Кормили лошадей жмыхом, иногда, тайком от начальства, вываливали жмых для нас. Жмых — это отжимки подсолнечника, а мы набирали его и ели, грызли и приносили в свои жалкие комнатушки (про запас)…

Н.Я. То, что Вы говорите о Магнитогорске, очень точно совпадает с моим ощущением, хотя я родилась в 60-е годы, но ведь дух города остался, он есть и сейчас. Об этом Ваши стихи:

> Был в нашем бараке непуганый мрак…
> У нас за бараком стояла гора.
> Магнитная вся — от ребра до ребра…

Это и есть та самая ткань жизни, и всегда интересен момент, когда вспыхивает осознание какой-то безусловной необходимости обращения к слову. Думаю, Ваше обращение к литературе, к поэзии, совершенно не было случайным.

С.Ф. Видимо, да, атмосфера порождала некий идеализм, но что могло стать толчком? Помню смерть Сталина, гудки — и паровозные, и заводские. Я стоял у барака голодный, до вечера ждал маму, её всё не было и не было, и людей-то не было, и когда она пришла, заплаканная, я спросил: «Почему ты плачешь, мама?» — «Сталин умер, наш вождь великий», — «А почему он умер?» — «Отстань, сыночка, мне не до тебя»… Но я пристал: «Почему, почему?» — «Потому что он думал. Обо всех нас, о вас, о детях, о трудящихся…» — «А разве от этого умирают?»

Вопрос этот повис, вечером я лёг на свой сундучок и до утра не мог уснуть, я пытался остановить себя, но всё думал и думал (я потом написал об этом новеллу «Неизлечимый больной»). Мать встрепенулась, испугалась, к утру вызвала доктора Кузнецова. Он дворянин бывший, правда, доктор ветеринарных наук, но все обращались к нему. Мама его вызвала, он пришёл, температуру померил — у меня всё нормально. «Мальчик, что это с тобой?» Я говорю: «Я задумал…» — «Ну, — посмотрел он на меня. — Вы неизлечимый больной, эта болезнь неизлечима…»

Видимо, ситуация эта, наложенная на романтику барачного быта, действительно как-то подтолкнула к осмыслению жизни уже другими

смыслами, другим языком. Тогда же звучала в нашем сознании и поэзия этой великой стройки. Было радио, были бытовые агитки, жестокость комендантов, в непогоду выгонявших беременных женщин на разные работы, и прочее было. Но, начиная с первых ученических лет, мы уже знали стихи о Магнитке. Власть тогдашняя умела это делать, а иначе подвигнуть на такой подвиг полуграмотный народ было невозможно. Мы знаем произведения Ручьёва, Люгарина, Авдеенко, и даже фельетониста Нариньяни, который приезжал в Магнитку — да кто только не приезжал! Потрясающая была картина — как можно в степи построить великий город!

Но о таком степном конгломерате, видимо, давно мечтал человек евразийских просторов. Не только в двадцатом веке, а ещё, может быть, пять тысяч лет тому назад… Ведь гора-то необычная. На Магнитогорском пенеплене (понижении) эта пятиглавая вершина единственная, она была доминирующей, и руды были тяжёлые — уникальные камни, они бросались в глаза.

В прошлом году я побывал на Магнит-горе, но не на самой вершине Атача — там в детстве я почти еженедельно лазил и вспоминаю рассказы родственников — обходчиков железнодорожных о том, что когда-то на вершине были каменные блоки, плиты. Я, конечно, их не видел, я просто камушки собирал «золотые»: пирит, халькопирит, и это подвигло меня к геологии.

А в прошлом году я был на Берёзовой, на соседней вершине, буквально в пятистах метрах от Атача. Я увидел там остатки — возможно, храмовые, называются они «зиарат аулиё» — «аулиё» — «святой», «зиарат» — зиккурат шумерский, но в нашем обыденном исламском разговорном поле это называется «могила», а так — зиккурат. Рядом я ещё глазом полевика увидел небольшой жертвенник. Конечно, там нужно делать раскопки…

Я ведь дал в своей книге расшифровку этого названия «Атач». Романтики-журналисты 30-х годов говорили: якобы, приехали первостроители, спросили у башкирского всадника, что это такое, он не понял, ответил, что «ат ач» — лошадь голодная, степь голодная, так и назвали гору. Другие говорят, что это «петух» с тюркского. На самом деле это Аташ.

С древнеперсидского, авестийского языка «аташ» — это «огонь». Главная вершина Магнитной горы представлялась человеку ранней бронзы мифической горой Меру-Сумеру, то есть Мировой горой, они уже тогда присматривались к этим рудам. Для той части протоарийских, индоиранских, индоевропейских племён, которая кочевала по Южному Уралу, а после максимума Стоунбриджа, то есть после резкой аридизации климата — начала откочёвывать в Западную Европу и на полуостров Индостан, это был сакральный ландшафтный комплекс!

Наша с вами гора, где мы воспитали свой романтический характер, не одного, возможно, будоражила поэта, там, после принятия выжитой эфедры, возжигая огонь на Аташе, где, может быть, был и алтарь бога Агни, или на соседней Берёзовой горе (вспомните авестийскую Хара Березайте!), пять тысяч лет назад пели авестийско-ригведийские гимны гениальные поэты-риши. Пока никто не привязывает Авесту к конкретной географии, а почему бы, почему не предположить, что её древнейшие, дозороастрийские гимны слагались на Южном Урале?

В Авесте скалькированы чуть ли не буквально топонимы, гидронимы, оронимы нашего края. Пересеките степи на запад от Магнитной горы — и по двухсоткилометровому абрису вы встретите «уйму» авестийских названий. Сатка — небесное созвездие, благоволящее ариям, Аша — авестийская богиня Благой Истины, Иремель (Ирий) — мифическая гора в заоблачном море, где обитают ушедшие, хребет Аджигардак (Ажи-Дахак — авестийский Змей Горыныч), озеро Кундравы (Кундрав, Гандарва — кривой змей, казначей Ажи-Дахака). На юге от Магнитной горы открыто протоарийское городище Синташта, а в авестийском и североиндийском пантеоне есть Сантоши-ма, богиня Мать Умиротворения.

Степь магнитогорская, Уральские горы, а они — это единственная меридианная преграда на всем евразийском пространстве, по которому кочевали предки всех европейцев, генетически воспроизводят порывы смыслотворения, я это чувствую. Ландшафтная генетика Урала, а Магнитки — в особенности, — вот она, тайна, которой обязаны мы.

Н.Я. Да, Магнитка удивительным образом сочетает поэтический магнит духа и мелкую пыль быта, в которой многие задыхаются, и это не только метафора — она и страшная реальность. Вы пишете:

Отец лежит под камнем серым.
Повинны силикоз и сера,
А в нём жила такая вера
В бессмертие своё!

С одной стороны, быт поглощает силы, с другой — постоянно провоцирует на поэтические, научные открытия. Наверное, эта двойственность характерна для энциклопедистов, ищущих объяснения глубокой взаимосвязи вещей бытовых и внебытовых.

С.Ф. Философски подходя к быту, мы видим, что изначального человека провоцировал на объективацию сам окружающий мир, сама бóжеская природа. Именно благодаря тому, что человек начал смыслотворение, он естественно начал рефлексировать — до тех пор, пока практически не уничтожил этот божеский мир вокруг себя. И теперь мы видим, что, в отличие от нас, первобытный человек с помощью мифологии ощущал мир гораздо глубже, он всё наделял смыслом, он матрицировал мир именами-метками.

Для нас природой стала культура, а культура наиболее мощно проявляется в жизненных технологиях, созданных самим человеком. Ведь это не обязательно шедевр какой-то, картина, стих — а всё, что нас окружает, тот же бетон, который мы изобрели, та же панель, которую мы выстрогали, кресло, телевизор…

Но этот чрезмерный предметный быт отчуждает и осуждает, сегодня он нас подавляет и душит.

Мы пытаемся говорить с этим новым миром-бытом сердечно, или пытаемся от него отвязаться, даже умоляем его оставить нас наедине с природой, с бóжеским бытом — ничего не получается и уже не получится.

Нам никогда не отречься от того, что мы создали сами, начиная с пещерной дикости, начиная с тех ниш в глубине пещер, где женщины-матери пеленали своих детей, — кончая современными дворцами и Интернетом… А тем более добровольно не отречься от сегодняшнего быта нынешним олигархам. Всё ведь у них воплощено в быте…

Н.Я. Но обыденная жизнь и провоцирует на выход из обыденности, и где они — точки выхода в открытое пространство духа? Очень многим людям не удаётся найти их, эти точки выхода, и их сущностные, природные способности остаются нераскрытыми…

С.Ф. Их очень много, этих точек, и в то же время их трудно обнаружить. Это как Фридмановы трубы: переход от макромира к микромиру и обратно. Их надо уметь видеть. Но часто такой поиск кончается трагически для ищущего, и вы в своей монографии «Принципы безопасности творческого развития» говорите об этом и предупреждаете… Ведь если человек попадает не в тот коммуникативный канал, он погибает…

В моей судьбе, думаю, роль сыграла генетика, во-первых: у меня мама писала стихи. Во-вторых, это среда, в том числе и географическая, та же Магнитка. И ответственность за окружающих, за близких. Ведь надо не просто ходить в потёртых пиджаках с замусоленной тетрадкой, бить себя в грудь и говорить, что я гений, поэт, и меня никто не понимает… Надо и просто жить, потому что ведь Богом-то единожды даётся нам жизнь, мы выбраны из миллионов и миллионов случаев, и как можно так просто этой жизнью разбрасываться?

Н.Я. В словаре поэтических образов, составленном челябинским исследователем В. Б. Феркелем, приводится анализ образной системы русской поэзии двадцатого века. Образы предметного мира, созданного человеком, занимают в этой диаграмме 72%, образы различных форм диалога с природой — 17%, а формы и способы самоуничтожения (оружие и пр.) — 11%. Запас прочности современной культуры, судя по этому анализу, не более 6%. Что сегодня в этой ситуации, в этой системе вещей литература, наука, искусство?

С.Ф. Это один из немногих коммуникативных каналов, который позволяет вырваться из быта, из пучин его, и хоть немножко возвращаться — а куда? Я и сам не знаю, но куда-то возвращаться, куда мы стремимся — может быть, туда, где и творится субстанция разума, о которой думал Тейяр де Шарден. Он говорил, что если разум разлит — а он разлит в таких существах, как мы, люди, — то значит, кто-то там его разливает (я утрирую его слова)…

Плутарх, кстати, почти то же самое сказал. И, видимо, литература, искусство, особенно музыка помогают… Беда в том, что сегодня и этот канал разрушается, более того, он не то чтобы маргинализируется, но как-то брезгливо отодвигается современной культурой в сторону. Яркий пример — в ЕГЭ уже литературы не будет, не будет и других гуманитарных составляющих — они тем более не имеются в виду: живопись, музыка…

Мне кажется, технический прогресс, Интернет чрезмерно и уродливо виртуализируют наше сознание. Но ведь закон выворачивания вывернутого должен нас обеспокоить! Мы достигли высот науки, техники, и природа будет нам за это мстить, и она мстит, по крайней мере, уже ухватилась за это — в киберпространстве она будет растить юношей, которые, как бельгийский юноша, без повода, накачанный образами Бэтмана и прочими, пойдёт и начнёт убивать детишек в детском садике.

Ребята-то наши, подростки, молодёжь, они даже не понимают, что впереди стадии жизни — зрелость, старость, а потом смерть. Они не готовятся к смерти — а мы должны готовиться к смерти. Они думают, что уже бессмертны, эту иллюзию им даёт Интернет, виртуализирующий реальность, создающий какую-то суперреальность. Не сверхреальность — сверхреальность создал благодаря культуре сам человек. Но сегодня на его место встал Интернет, он создаёт супер-реальность. Это и есть действие закона выворачивания вывернутого, мы снова биологизируемся… Мы позабудем всё, мы превратимся в каких-то биокиберов, которые забудут и этот быт, и прочее — я не знаю, что произойдёт, но это будет месть природы за то, что мы чрезмерно преступаем божеские законы, и это страшно…

Н.Я. То есть проблема заключается не в том, что человек, обретая новые возможности, не изменяется внутренне, а в том, что новые технологии разрушают человека?

С.Ф. Да, ведь это действие второго закона термодинамики, только в гуманитарно-техническом воплощении. Мы всего лишь четыре поколения с небольшим, ну, пять поколений (если взять за поколение 25 лет), живём в условиях, например, электричества, окружающего нас. 100–125 последних лет электричество стало субстанцией, которая везде нас окружает, а какое влияние это оказывает на наш организм, на генетическую нашу составляющую? Ведь на уровне спины, позвоночника, у нас розетка, поля электрические, и что там происходит? Радио-телевидение-интернет — это непростая цепочка, и, возможно, не будет уже потомок древнеарийского риши слагать стихи и легенды в честь огня — божества Аташ — на склоне Магнитной горы. И может также случиться, нельзя этого исключать, погаснет потребность удивляться, любить и восхищаться…

Н.Я. Думаю, с точки зрения угроз человеческому существованию ситуация на протяжении всей

истории стабильно безнадёжна. Риски уничтожения и самоуничтожения присутствуют всегда — они только меняют свой характер, а в связи с этим, наверное, изменяется и сверхзадача художника, учёного? Ведь поэтический код сохранился, он прошёл через тысячелетия. Поэт в принципе ощущает себя частью мира как целого, Универсума, и, может быть, в этом и состоит его всемирная функция: осознание себя как частицы организованного максимально разумного целого. Изменилась ли сверхзадача художника? Каков, на Ваш взгляд, смысл в этой деятельности сегодня?

С.Ф. Если честно, уже почти никакого смысла и нет. Но если попытаться хотя бы что-то сделать, сверхзадачей художника, поэта, писателя мне кажется сегодня — крик! Надо кричать, мы же ведь уходим в свои пещеры, мы же рефлексируем сами для себя и пишем сами для себя. Посмотрите «Литературку»: какие прекрасные стихи! Но ничего не меняется, никто их никогда не услышит, умрут эти поэты, умрут эти писатели, умрёт эта газета, истлеет — ничего она никому не даёт, она только нас тревожит, память нашу и всех, кто когда-то был в этом поле. Но мы ворчим умиротворённо: ах, он ещё жив, он ещё печатается и даже издаётся, а за чей, интересно, счёт? И — даже безразлично печалимся, читая некрологи и соболезнования…

Мы умираем, мы все в потёртых пиджаках нашей литературы. На Западе это давно случилось, у нас — только что. Надо кричать, а не писать, надо снова восстанавливать площадку Политехнического, надо снова вирус поэтический, культурный, генетический внедрять в людскую среду, чтобы бегали не на поп-звёзд, а на поэтов и на прозаиков.

Вот сейчас, может быть, этот этап формируется. Наступает экономический кризис — может быть, что-то случится, придёт осознание, но я в этом не уверен, потому что Запад нам показал, что там, по крайней мере, это равнодушие сформировалось ещё в конце девятнадцатого века, и начала погибать литература, и был кризис культуры, и были всплески любимого кем-то декаданса, да ещё какие…

То есть сегодня надо кричать, или надеть боксёрские перчатки — разить, ведь это ситуация прямой открытой борьбы за выживание человека как существа духовного. Для этого у нас ещё почва осталась — потому что православие, по крайней мере, хранит это, не отчуждает душу. В какой-то мере восточные религии — тоже, но протестантизм — он уже покусился давно на дух наш…

Н.Я. Видимо, осмысление литературной работы как служения произошло в Ассоциации писателей Урала вполне закономерно. И ответственность писатель несёт не только перед читателем, но и перед языком, который в течение тысячелетий корнями врастал в наше сознание…

С.Ф. Для меня, выросшего в русской среде, одного родного языка быть не может. У меня татарский — родной на бытовом уровне, но и русский тоже родной. Как и все, может быть, взращённые другой языковой культурой, я испытываю какое-то чувство ущербности, оказавшись и в стихии родного языка татарского, и в стихии родного языка русского.

Но мы же не знаем, когда татарский язык стал татарским для волжских булгар — может быть, до этого мы говорили на другом языке? Меня тянет к санскриту, я узнаю знакомые корни, занимаясь этимологией.

Я узнаю татарские фонетические коленца в немецком языке, — я понимаю, что когда эти племена ариев возвращались в Европу, они обязательно прошли волжские просторы, переняли фонетические коленца…

Во мне это вызывает глубокий восторг узнавания! Я не считаю, что защита родной культуры, родного языка заключается в лубочном карнавале: надеть тюбетейку, взять гармошку и… «Бас, кызым, апи-пя»… Нет, всё это глубже…

Н.Я. Но для «двуязычного» поэта бесценно владение языковым контекстом, возможность услышать перекличку корней — ведь это колоссальное смысловое богатство! Те страницы в «Мировой истории женщины», где современное слово вдруг начинает «проваливаться» в вековую, тысячелетнюю глубину, завораживают…

С.Ф. Я понимаю тюркские языки, например, переводил Алишера Навои. Тюркские языки так же бездонны и метафоричны, как языки славянские. Я только что закончил читать «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева, и для меня каждый день был праздником: я утопал в этимологии, которую он даёт, пусть иногда и ошибочно, я невольно проецировал это на свой родной язык, на санскрит, искал и безумно блаженствовал…

Глубина тюркских и славянских языков заключается в том, что они сохранили свою первобытность. Ещё Алишер Навои в трактате об узбекском языке писал о тюркском, о его глубине, и приводил в пример новоперсидский, таджикский, которые уже утеряли всё это — там, как в английском, больше развита терминология, унификация смыслов, развиты сокращения и упрощения.

Кажется, Гомулка — чешский исследователь — приводил пример: он опросил только одного туземца, который жил в ареале 12 племён, — и составил словарь из нескольких тысяч наименований растений, сразу же! Человек-то начинался с того, что он, как я уже сказал, творил метки, поименовывал мир. Это поименование было бесконечным, и во многих языках всё ещё сохранилось. А в современном мире началась стремительная унификация, рафинирование смыслов…

Это опасный процесс. И великороссы начали его раньше, чем малороссы и белорусы. А как, например, прекрасно и глубоко звучит сербский, потому что он сохранился почти в первозданной оболочке славянских языков, в оболочке, очень и очень близкой к санскриту.

Н.Я. С 80-х–90-х унификация смыслов явно и ощутимо происходит в русском языке… К тому же

множество технологий в этот период пришло к нам, сразу оборудованное иностранной терминологией. И даже литературный язык, опосредованно связанный с новыми технологиями и терминами, в полной мере испытал на себе это разрушающее влияние. Но давайте вернёмся к Вашему литературному творчеству, к прозаическим произведениям.

С.Ф. Я написал несколько рассказов, новелл, но ведь проза — это колоссальный труд, а у меня не было на это времени. Произошло переслоение интересов, пришла наука — этнография, археология. Но напечатаны «Дедушка и Алим», «Красный Меджнун»… Несколько лет я собирал колоссальный материал для романа о тринадцатом веке, но так и не сел за него.

Я знал даже такие факты: в 1237 году селёдка в Европе подешевела настолько, что купцы не знали, что с ней делать, выбрасывали кучами, и она загнивала, а почему? Да потому, что с британских островов они боялись спускаться, там к Европе Батый шёл, он у Киева уже был, он Венгрии угрожал, и так далее, и так далее.

Я всё это знал и хотел написать роман, потому что тринадцатый век был поворотным для всей истории цивилизации… А сейчас я опять переписываю «Мировую историю женщины»… Материал бездонный, но он в большей степени лёг на страницы техническим массивом. Постоянно будоражат идеи: как с ним обращаться, что там ещё не хватает? Да, систематизирован, да, осмыслен, да, колоссальный поиск, труд до слёз, до беспамятства, до кровавого пота, но ведь надо сделать так, чтобы это было на долгие-долгие годы каким-то памятником для будущих рефлексий — научных, исторических, по истории человечества.

Не должно же быть простое перечисление, как у Момзена о Римской империи — колоссальная работа, но в ней не видно мира римского, и у меня ещё не видно мира — может, только в первой части матриархата. Для тех, кто хочет посмотреть, как протекает научный процесс, можно сравнить три вышедшие книги. Я продолжаю думать даже над иллюстрациями. Для чего я дал этих танцующих львят из ущелья Сармыш? Чтобы просто показать сакральность данного ландшафта. Я привязал это к тотемизму, ведь тотемизм — проекция матриархальности. Мать обезличена, мы все похожи друг на друга, и отсюда набор тотемов — представителей животного, растительного мира… А теперь я понял, что петроглиф отражает митраистскую седьмую степень посвящения, когда на семилетних ребят надевают львиные маски… Новые знания дают новое понимание своего проекта.

Вернёмся к нашим… нет, не к баранам, конечно, а к баракам, с которых начался разговор. Ведь их название также на пять тысяч лет проецируется! Слово «барак» имеет санскритские корни. У нас ведь есть разные культуры — катакомбная, ямная, срубная. На этапе срубной культуры возникли первые коммунальные жилища, прототипы которых мы видим на Аркаиме. По сути, Аркаим — это радиально размещённые бараки, окружённые рвом и оборонительной стеной.

На Аркаиме, который чуть южнее нашей с Вами Магнитки, доменные печки были почти в каждом бараке. 4 тысячи лет спустя Магнитка построила подобные же бараки, но доменные печи, только уже огромных размеров и несравнимые по мощности, вынесла за их пределы — вот и всё! И там, в Аркаиме, и здесь, в Магнитке, бараки означали практически все достижения коммунального быта.

Технология строительства барака проста, как ясный день: на метр-полтора снимается грунт, по периметру строятся узкие клети под шлаковую засыпку, ставятся брёвна-стояки, балки-распорки. Изначально барак — это засыпное помещение, при засыпке клетей шлак, песок или гравий шуршит: «шу-у-у». Потом этот звук фонетически изменяется на «пу», значит, пуршит — это ономатопоэтическое, то есть по природе своей звукоподражательное слово. Аркаим — это пур, засыпной укреплённый город, засыпная крепость. В Индии немало городов-пуров (например, Брахмапур). В древней Согдиане была Варахша («вар» от корня «пур», то есть Пурах-ша) — шахский город с засыпными стенами.

Этимологией слова «пур» занимались переводчик Ригведы Татьяна Елизаренкова и открыватель Аркаима Геннадий Зданович. Я беседовал с Геннадием Борисовичем, предложил свои этимологические трансформации корня «пур». От него и слова «пурга», «пуран-буран», от него и древнеперсидский «парадаг» — огороженный сад, и греческий «парадасис» — райский сад. От него «порт», и «портфель», древнеславянская Варна, авестийский Вар, Варок-варак, который построил Йима, чтобы спастись от потопа. А Варок, Варак со временем превратились в «барак».

Вот откуда наш магнитогорский барак. Его защитительный смысл, образ были намолены с эпохи бронзы, в условиях дикости они вдохновляли на гимны протоарийских поэтов-риши. И эта намоленность, эта поэтическая генетика впитана бараками Магнитки, не только матери, но и они рожали писателей и поэтов современной Магнитки, всех славных советских городов эпохи индустриализации. Такая метафизика получается, почему-то я верю в неё… Структура нашего мышления одинакова, мы же люди. Какие бы ни менялись культуры на данной земле, сохраняются особенности бытия, технологии быта, культурные артефакты, генетика образов и пространства. Нужно только присмотреться — в настоящем есть и прошлое, и будущее.

Н.Я. И ведь именно такой взгляд на мир делает человека более устойчивым, более жизнеспособным! Эта вертикаль памяти играет роль фундамента…

С.Ф. Это делает человека счастливым. У меня маленький домашний музей, я окружил себя артефактами: есть пальма окаменевшая из Кызылкумов, каменные топоры, скульптурка Анахиты,

кружечка той эпохи — я продлеваю этим свою жизнь, и у меня много в стихах об этом говорится.

Н.Я. Во мне ещё живут инстинкты диких джунглей,
Волнение морей, паренье странных птиц.
И тлеют по ночам сырых стоянок угли
И пробегают тени неповторимых лиц…

С.Ф. Начиная с австралопитека, я знаю каждый шаг человека, как он приручал речную гальку, что он делал, как он охотился…

Я знаю, когда человек сделал йеменский переход, какие генетические дрейфы были, как ветвились две главные генетические линии… Я переношусь туда, разговариваю с теми племенами, сидя у себя в кабинете. Да, я оттуда, моя материальная субстанция оттуда, и я-то сам живу столько, насколько знаю историю — а это сотни тысяч лет в прошлое…

Н.Я. Салим Галимович, позвольте завершить нашу беседу строками из Вашего стихотворения:

Я плакал у старинной сардобы.
Здесь нет воды. Зловоние и сырость.
Истории доверчивой на милость
Все титулы и почести сданы.
А жизнь была.
Пусть лет пятьсот назад.
Об купол бился ропот земледельца,
И кто-нибудь в восточные глаза
В часы любви не чаял наглядеться.
О, время, ты жестоко! Мы порой
Тебя неумно, суетливо тратим.
Остановилось посреди тетради
Моё неискушённое перо…
Уходит всё. А слёзы ни при чём —
Святая сила в этой светлой грусти.
О, сколько счастья нам ещё отпустит
То время, что когда-то утечёт!

Ульяна Лазаревская

Антигона

За всё, за всех, кого я так люблю…
а более — за тех, что ненавижу…
я вновь неуловимое ловлю
и будто бы невидимое вижу…
пусть небеса разверстые — шумят,
но мальчику да снидет с неба вёрстка…
тогда тебя развоплотивший яд
останется толчком в кору напёрстка!
не пей вина! и больше не вдыхай
чертополоха, ябеды и сплина!..
ты думал — воля?!! полно! вертухай —
как встарь — на вышке!… и цветёт малина…

На скрежещущем льду перегона,
На границах, объятых чумой, —
Я была бы тебе Антигона,
Брат, отец и возлюбленный мой…

Пусть напрасно пустые глазницы
В искупительную вышину
Запрокинуты — мира истица,
Я не зря твою руку тяну!

Но нездешней тоской озабочен
И постыдной мечтой увлечён,
Побираться у грязных обочин
Повелитель судеб обречён…

Он пугается визга и лая,
Озираясь на шорох и скрип,
Мудрый сын Иокасты и Лая,
Провокатор возмездья — Эдип.

И, в репьях заблудившись, как в звёздах,
Суковатою палкой слепца
Злобно хлещет невидимый воздух —
В бога-сына и бога-отца…

Направленье зачуяв по звуку,
Отрекается… кличет… клянёт…
Он отнимет у дочери руку —
И в смердящую бездну шагнёт…

Чтобы — вне бытия и закона —
На ветру леденящем — одна,
Вечно мстилась ему Антигона,
Дочь, подруга, сестра и жена…

Елена Донская

Свет и отсветы «Очага»

К школе, к проблемам образования имеет отношение — так или иначе — каждый из нас. Мы и сами учились когда-то (или продолжаем учиться), и дети наши учились-учатся, а кое-кто уже и с внуками заново входит в удивительную, вечно новую страну под названием Школа. Поэтому вопросы, которые мы задаём школе, — самые жгучие. Школьные беды и неприятности — вопиют. Радости — восхищают и вдохновляют. А произведения, которые создаются учителями и детьми как бы изнутри Школы и о ней, всегда находят благодарных читателей. В разные годы в нашем журнале появлялись эссе, статьи, документальные повести и даже фрагменты уроков, напрямую связанные с педагогическими инновациями. Одна из них — проект Школы диалога культур В. С. Библера. Сегодня, спустя почти тридцать лет с начала его теоретической разработки, последователи Библера подчёркивают, что ШДК не только не удалось реализовать в полном объёме ни в одном образовательном учреждении, но даже отдалённые подступы к ней оказались весьма и весьма сомнительными… что ж! такова, наверное, судьба большинства великих идей! Они светят мечтателям для того, чтобы жизнь не стояла не месте, а уж какие факты возникают там, куда падают — хотя бы косвенно — их живительные лучи, — дело интерпретаторов и суровых менеджеров.

Диалогическое образование, возникшее в перекрестье множества таких лучей, в том числе и библеровской ШДК, в последние десятилетия активно набирает обороты. Многие воспринимают его как альтернативу, с одной стороны, скучной казарменной авторитарной педагогике, которою воспитано в массе своей нынешнее старшее поколение, с другой, — общеобразовательным заведениям, ориентирующимся на американскую традицию, — минимум знаний, вообще — любого давления, максимум свободы для играющих детей. Можно ли найти золотую середину? Делается ли что-нибудь в этом направлении? Есть ли успехи? Вероятно, ответы на эти вопросы — в практике конкретных школ. Одну из них, харьковскую гимназию «Очаг», мы пригласили на страницы «Синей тетради».

Марина Саввиных

Ода «Очагу»

Ведь если вдуматься, то люди,
в сущности, тоже, может быть,
пожалуй, со всеми оговорками,
заслуживают тщательного ухода.

Евгений Шварц. «Дракон»

Очаг — известное слово в нашем городе. «Очаг» — это гимназия в Харькове.

Об «Очаге» можно столько разного услышать.

Выпускник наш рассказывает: «Преподаватель в институте на истории культуры говорит: было такое дело — Эдип. Все сразу: не, не знаем, не слышали. Я говорю: знаю. И потом с преподом о роке и судьбе спорили даже после пары, на улице, пили, курили и спорили».

Ну что ж, приятно: наши дети обучены о роке и судьбе поспорить.

Тётя в городском автобусе, проверяющая билеты: «Вы в «Очаге» работаете? Они у вас там все вундеркинды (с иронией)… Кто учиться не хочет, из всех школ повыгоняли, к вам идёт».

Ну что ж, обидно. Есть ли правда в её словах?

«Очаг», с одной стороны — аббревиатура, расшифровывается так: общеобразовательная частная гимназия. С другой стороны, важно прямое значение этого слова: тёплое и объединяющее, — и оно-то бросает отсвет на всё, чего ни есть в «Очаге».

Мастером такой игры: прямое значение, переносное, буквы, звуки, раскинутые для объятия руки… — был один из основателей гимназии детский поэт Вадим Александрович Левин. Но всё же название, наверное, основатели придумали вдвоём: Евгений Валентинович Медреш и Левин. Потом Левин уехал на житьё-бытьё в разные страны, а Медреш остался директором на долгие годы жизни «Очага», которых на сегодня 17. Медреш остался хранителем, а может, скорее, созидателем духа «Очага», и этот дух есть главное.

На одном из выпускных вечеров дети выходили по одному на сцену и говорили: «Очаг» — это…» Говорили что-то своё, неожиданное, не известное другим. Один мальчик (Русик Борисов) вышел и несколько раз прокричал: «Очаг» — это свобода! «Очаг» — это свобода!»

В выпускных альбомах дети пишут, что им запомнилось за годы ученья. Им обычно запоминаются походы, праздники, необычные гости в школе, песни, которые они пели или сочиняли сами, а также невероятные проказы… А я помню их сочинения, необычные мысли, дискуссии. И каждый

раз удивляюсь несовпадению наших воспоминаний. Я знаю, всё верно — они, дети, помнят в школе, грубо говоря, перемены; а я, учитель, люблю, грубо говоря, литературу; мне важны дети, литература и их встреча друг с другом. Вот эти встречи я и запоминаю.

А вот тут, когда Русик Борисов сказал, совпали моё и детское: да, «Очаг» — это свобода. Наверное, не случайно «Очаг» возник в 1992 году в свободной Украине.

Но важно разобраться, что за этим словом стоит. Как понимает эту свободу Русик, и как понимаю её, скажем, я.

У нас не принято орать на детей. Учителя, для которых это «не принято», неприемлемо, обычно в «Очаге» не задерживаются.

Но у нас не принято орать и на учителей. Ни директор, ни завучи орать не будут. Если у школы неприятности, совсем не обязательно, что их спустят по цепочке вниз, как это часто бывает в других заслуженных коллективах. Если учителю что-то нужно: какая-нибудь неведомая миру справка или невиданное одолжение — в «Очаге», скорее всего, администрация это сделает. И сама эта атмосфера: «можно всё, что возможно и не ущемляет других людей», — эта атмосфера часто идёт сверху вниз и доходит к детям.

Можно позвонить от секретаря? — Можно. У меня голова болит. Можно у вас в учительской чаю попить? — Можно. Можно пересдать эту контрольную? — Можно.

В редких случаях, когда я бываю в других школах, я удивляюсь сразу ощущению несвободы, «неочаговскости», униженности детей, родителей, учителей. Ждите за дверью, телефон не для детей, родителям до звонка быть на улице. Одни формы речи чего стоят!

Многие дети, прибитые в других школах учителями или жестокостью детей (с которой не могут справиться взрослые, или не хотят справляться), расцветают в «Очаге». Часто слышишь: я до «Очага» в три школы носа не показывал.

Бывает, что этот пьянящий воздух свободы, как профессору Плейшнеру из «Семнадцати мгновений весны», какому-то ребёнку не показан. Я-то думаю, что свобода хороша для человеческой особи в принципе, просто у этого ребёнка механизмы нарушены предыдущим дурным воспитанием.

А бывает, что механизмы нарушены у родителей. За последнее время я уже дважды видела, как родители забирают ребёнка из «Очага», приговаривая: «Слишком хорошо, слишком мягко, ему же потом жизнь жить у нас, в нашем мире».

Подразумевается: ребёнку-то жить в атмосфере житейского зла, несвободы, а вы его окружаете, грубо говоря, добром.

Я думаю: пока росток мал, его нужно поливать, беречь и окучивать, а уж окрепнув, став деревом, он сам выдержит засуху.

Не случайно, что в таком «Очаге» есть особый целостный гуманитарный курс, рассчитанный на несколько лет обучения. Это очень важная для меня составляющая жизни школы, о принципах курса и его воплощении — отдельно.

Сейчас вот о чём: мне кажется, что без этого курса на восемьдесят процентов «Очаг» был бы не собой, а уж на сто процентов этот курс может жить только в такой атмосфере, как воздух «Очага».

Недавно я была на курсах повышения квалификации учителей языка и литературы. Главное, на что жаловались учителя: дети не читают. А у нас читают. Не все и не всё, но главным образом — да, читают. И сочинения не качают из сети, а пишут сами.

Это достигается особыми педагогическими методами. И человеческими методами, которые тоже можно назвать педагогическими. В частности, заинтересованностью учителя и всего учебного сообщества детей в каждом ребёнке, в личностном, особенном, обоснованном, продуманном высказывании каждого ученика. В его особом собственном мнении. (Что ж, в этом тоже есть опасность. Учась в институте, наши дети часто жалуются: нас не слушают, никому не интересно, что мы думаем. А мы привыкли быть вам интересными).

Подростки, которым так важно засвидетельствовать своё присутствие в мире, могут высказать свои суждения о книгах, о героях (и, говоря о героях, косвенным образом — о себе), о жизни вообще, о стране своей, наконец.

Бывают «обломы» в нашей учительской жизни: не хватает педагогических средств, психологических знаний, иногда сил и времени, чтобы помочь ребёнку или просто-напросто справиться с ним. И если ребёнок мешает учиться и нормально жить в школе другим детям, мы его из «Очага» выгоняем. Но это бывает не так часто. Куда он пойдёт, горемыка?

Но я сейчас не об «обломах». Если бы их было слишком много, я бы в «Очаге» не работала. В конце концов, есть специальности и полегче. Я о радости.

Жил себе мальчик Вова в пятом классе. Ничего не мог сказать и написать. Отсутствовала речь — устная и письменная. Учителя знают: полстраницы пишутся одним предложением без знаков препинания, и мысль запутывается сама в себе и в своём синтаксисе.

Потихоньку у Вовы желание учиться появлялось, и книжки читать, и быть успешным. К десятому классу и речь письменная появилась. Честно говоря, такое бывает нечасто.

Мне нравится, что Вова надо мной подшучивает. Когда я ищу слова о произведении, Вова в паузе вставляет наше (Владимира Зиновьевича Осетинского и моё) выражение: «Как это сделано!» А я его называю «мой друг Вова».

Всё это возможно только при свободе учителя. Учитель готовит урок по своему плану и разумению, но очень чутко реагирует на высказывания детей и может свой план изменить на ходу. Для этого учитель должен сам не бояться того уровня свободы, который им же и задан, не бояться самых невероятных высказываний детей, а иметь собственное мнение о книге и, самое страшное, — о жизни.

К примеру, самые острые высказывания последних лет.

Вася Скакун. У Толстого гомосексуальные наклонности, а иначе, почему он пишет, что Николай Ростов в царя влюбился.

Сеня Дудинов. Достоевский — сопляк, не осмелился описать сцену изнасилования, и потому Свидригайлов отпустил Дуню.

Вова Виноградов. Как при Гоголе взяточничество было, так и сейчас есть, и нормально, все так живут, и только дети не понимают, что иначе нельзя.

Учитель не пугается, а выносит на обсуждение острые вопросы. В хорошо воспитанном учебном сообществе, привычном к чтению сложных книг, всегда найдутся интересные оппоненты.

Учитель обычной школы скажет: где я найду учебное время для этих ваших обсуждений? А я скажу: эти обсуждения важнее для понимания книг и желания детей читать книги, чем любое точное выполнение программы. И администрация «Очага» меня поймёт и не будет гнобить за нарушения.

Важно только, чтобы нарушения были не разгильдяйскими, а содержательными.

Для меня существенно то, что часто наши обсуждения книг касаются формы (как это сделано!) и не отделимого от неё смысла и часто выскакивают прямо в нынешнюю жизнь. «Наша страна — такая же, как при Гоголе, мы все отсюда уедем». «Никуда мы не уедем».

Но хочу ещё раз заметить: о жизни в связи с книгами говорят дети у любого хорошего учителя литературы, это множество раз проговорено, а у нас очень большое место дано обсуждению самого устройства литературного произведения, самой поэтики книги.

Недавно стояла в очереди в посольстве за Шенгенской визой. Люди стоят на улице, советуются, разговаривают. Один дядя сказал: «В нынешней Украине есть только олигархи и быдло, больше никого».

Себя он, естественно, причислил к быдлу, поскольку олигархи в очередях в посольства не стоят. (Во всяком случае, я ни одного не видела). Позиция удобная, ведь быдлу можно не задумываться, хорошо или плохо «оно» поступает.

Не знаю, станут ли наши ученики олигархами, но точно знаю, что они не станут считать себя быдлом.

Так что некто третий — не олигархи и не быдло — в нашей стране есть. Можно назвать его обычным человеком, можно — обычным интеллигентом. Именно его мы растим и воспитываем. И, как говорил Евгений Шварц, «ведь если вдуматься, люди заслуживают тщательного ухода». И наш ученик тоже заслуживает.

О гуманитарном образовании в «Очаге»

Очаговская свобода, как я уже говорила, распространяется и на учителей, и на детей. А для учителя-гуманитария особенно важно следовать своим предпочтениям, точнее даже сказать, пристрастиям, в литературе, истории или живописи. И потому «Очаг» особенно славится в нашем городе именно гуманитарным образованием: у многих учителей-гуманитариев в «Очаге» есть собственные, личностно выстроенные программы. По своей программе работает преподаватель литературы О. И. Нестерова, истории мировой культуры Н. Л. Перская, изобразительного искусства И. Л. Литовская и другие. Прочитать об их работе можно на сайте «Очага».

Но мне бы хотелось рассказать о нынешнем состоянии той части гуманитарного образования в «Очаге», которая задумывалась как попытка воплотить хотя бы частично Библеровский проект Школы диалога культур. Это происходит в тех классах, где мировую литературу преподаёт В. З. Осетинский, я преподаю русскую литературу, а И. М. Соломадин — историю и историю мировой культуры.

В. З. Осетинский так описывает ход нашей работы: «В конце 1980-х гг. С. Ю. Курганов и И. М. Соломадин познакомили Е. Г. Донскую и меня с поразительным педагогическим проектом В. С. Библера. Мы стали читать работы Библера, ездить на конференции ШДК и скоро увлеклись этим, пусть утопическим, но грандиозным проектом создания принципиально новой школы. В 1992 году открылся «Очаг», и мы совместно с И. Соломадиным, И. Романовым, О. Нестеровой, И. Литовской создали Лабораторию гуманитарного диалогического образования. Мы понимали, что реализовать здесь и сейчас проект ШДК, охватывающий все учебные предметы и все классы школы, нам не удастся. Но мы предположили, что способствовать развитию у учеников диалогического мышления, воспитанию «человека культуры» может особым образом построенный единый гуманитарный курс в средней и старшей школе. Этот курс должен быть рассчитан на 6 лет, на работу со школьниками 6–11 классов и включать ряд тесно связанных между собой учебных предметов (история, литература, философия, изобразительное искусство). Каждый год предметом понимания на всех уроках курса должна стать определённая историческая культура: первобытная культура и культура Древнего Востока в 6 классе, античная культура в 7 классе, культура средних веков в 8-ом, культура Возрождения в 9-ом, культура Нового времени в 10-ом и культура XX–XXI веков в 11 классе. Работа курса должна строиться на изучении произведений соответствующей культуры.

Речь шла не о «погружении» детей в исторические культуры, не об игре учеников в древних римлян или египтян. Целью такой работы должно было стать понимание современными детьми исторических культур как уникальных собеседников, обладающих собственным лицом и голосом, настрой на диалог с этими собеседниками, на мышление в диалоге с ними. Отсюда ориентация не на рассказ о культуре, а на работу с её произведением, понятым как форма, в которой историческая культура осознаёт, формирует и выражает своё видение мира и ценностный кругозор, и в то же время как «запечатлённая речь» культуры, её высказывание, которое нуждается в понимании и ответе.

Над воплощением (и развитием, уточнением, конкретизацией) этого замысла мы работаем уже почти 20 лет».

В этом замысле особую роль играет курс русской литературы. В программу курса входят главным образом те же произведения, что и в традиционную школьную программу. Но специфику очаговского

образования составляют те части программы курса, которые находятся в прямой связи с курсами мировой литературы и истории мировой культуры. Так, в начале 7 («античного») класса, когда школьники изучают эпосы Гомера и Гесиода на уроках мировой литературы и имк, на уроках русской литературы подростки читают стихи Пушкина, Тютчева, Мандельштама, Бродского, в которых звучат античные мотивы и образы. В 8 («средневековом») классе ученики одновременно встречаются с Евангелием от Матфея на уроках мировой литературы и со стихами Пастернака, посвящёнными евангельской тематике, на уроках русской литературы. Дети получают возможность увидеть неисчерпаемость произведения и реальность его долгой жизни. Вот Гомера читал Мандельштам, необыкновенный читатель, а вот только что читали Гомера мы, и сила, острота, свежесть наших собственных впечатлений придаёт для нас особый смысл чтению Мандельштама в его беседе с Гомером. И самого Мандельштама мы понимаем точнее и глубже.

Сопряжение курсов русской и мировой литературы происходит как на уровне предмета понимания, так и на уровнях осваиваемых школьниками методов работы учебного сообщества, способов понимания книг.

Основным методом учебной работы для нас оказывается учебный диалог — метод, некогда предложенный С. Ю. Кургановым. Ещё одна цитата из статьи В. З. Осетинского: «Мы предполагаем, что действительно глубоко понять книгу можно только в процессе диалога разных её читателей. Поэтому основой учебной деятельности в курсе становится не рассказ учителя о книге, не объяснение учителем книги, а совместная — учеников и учителя — работа над книгой, их диалог, направленный на понимание произведения. Учитель организует и ведёт диалог в классе. Он помогает каждому ученику осознать и удержать его собственные вопросы, мысли, делает высказывания детей предметом обсуждения в классе. Учитель — один из участников диалога и при этом ни в коем случае не должен вести учеников к заранее известным ему ответам: определённому прочтению книги, определённому решению проблемы. Учитель всегда должен быть готов к тому, что диалог в классе «взорвёт» намеченный им сценарий урока, что работа пойдёт по-другому, и ученики откроют в книге вовсе не то, что он предполагал. Такая работа ведёт не к получению «общего продукта», не к появлению единого, общего для всех прочтения книги, но к тому, что каждый из участников диалога углубит своё понимание».

В такой работе нет первых и последних, отличников и отстающих, голос каждого ценен, выслушан со вниманием и уважительно. Дети учатся размышлять над высказыванием другого, прояснять и углублять свою мысль в диалоге с ним.

Читателям журнала «ДиН» мне хотелось бы коротко рассказать о некоторых уроках русской литературы. Это работа с Евангельским циклом Б. Пастернака из «Стихотворений Юрия Живаго». Эти стихи обсуждаются в то время, когда на уроках мировой литературы идёт работа с Евангелием от Матфея. Эти уроки специфически очаговские, более того, связаны именно с программой моей и В. З. Осетинского. Мне кажется, не только учителю, но и вообще взрослому читателю стихов интересно, что в них открывают современные подростки. А для меня как учителя ещё важна попытка преодолеть вместе с ребёнком страх мыслить самостоятельно, а затем и говорить, и писать своими собственными словами. В подростковом возрасте дети теряют обычно смелость собственного высказывания. Когда я в десятом классе как-то посетовала своему любимому классу на то, что вот сейчас они всё больше молчат, а в пятом-шестом обижались, что очередь сказать не так быстро приходит, Антон Черных ответил мне: «Мы тогда морозили, что попало». Они и тогда не «морозили, что попало», но эта реплика Антона говорит мне, что сейчас им страшно «сморозить» что-нибудь, «потерять лицо».

Евангельский цикл

Этот цикл уроков начинался с моего рассказа о Б. Пастернаке, об истории написания и бурной жизни романа «Доктор Живаго», о самом герое Юрии Живаго, которому автор «отдал» свои лучшие стихи за 10 лет. Первым я предложила обсудить стихотворение «Рождественская звезда». Мы прочитали само стихотворение и те евангельские стихи, где говорится о рождественской звезде. Домашним заданием (дз) было найти метр и размер и странности в стихотворении.

Борис Пастернак

Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере.
Над яслями тёплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зёрнышек проса,
Смотрели с утёса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звёзд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой Вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочёта
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры.
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все ёлки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры…
…Всё злей и свирепей дул ветер из степи..
…Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнёзда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
— Пойдёмте со всеми, поклонимся чуду,—
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Всё время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звёзды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потёмках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Домашнее задание

Ксюша Утевская. Метр в стихотворении «Рождественская звезда» — амфибрахий, количество стоп колеблется от двух до четырёх. Странности в стихотворении:

1. непонятно, что случилось со временем, и странно, как могло появиться («виденьем») всё будущее, причиной которого стало Рождество;
2. как бестелесные ангелы могут оставлять отпечаток ног;
3. если уже рассвело, то, как может оставаться на месте Звезда;
4. как звезда могла отодвинуть рукой кого-то;
5. откуда взялась огромная толпа людей, ведь о рождении Христа знали только пастухи и волхвы;
6. интересно, что Пастернак сравнивает звезду с пожаром на гумне. В Евангелии Иисус говорит о том, что очистит гумно Своё, но непонятна связь между небесной звездой и таким земным гумном.

Обсуждение стихотворения в классе

Учитель. Давайте сначала обсудим наши ощущения от чтения этого стихотворения.

Андрей Хаит. С одной стороны, оно монотонное, длинное, но с другой — в нём есть «повороты», поэтому оно легко читается.

Учитель. Что такое «повороты»?

Андрей. Рассказывается о разном, и звучит как-то неодинаково.

Ксюша. Наверное, это связано с тем, что в строфах разный размер: амфибрахий то четырёхстопный, то двухстопный.

Учитель. Пастернак писал: «Я не добивался отчётливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. ◁…▷ …моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину». То есть вроде бы Пастернак говорит, что амфибрахий просто нейтральный метр, который не мешает проявляться содержанию. Мне кажется, что Пастернак не случайно избрал певучий амфибрахий, но тут очень важны изменения размера.

Серёжа Переверзев. И строфы устроены по-разному: в нескольких первая и четвёртая строки имеют четыре стопы, а в серединке по две. Это происходит вначале стихотворения, когда надо держать наше внимание. Разные построения строф вызывают разные настроения. Первые строфы спокойные, повествовательные, потом больше волнения.

Катя Крыжненко. У меня такое настроение: зима, ощущение холода, и островок тепла.

Ксюша. Всё стихотворение похоже не на Вифлеем, где жарко, а где-то возле нас, ближе к Украине. Пастернак создаёт такое ощущение близости к нашим местам. Где это происходит? Это близко к нам?

Катя Крыжненко. Ощущение такое, будто Пастернак писал это стихотворение возле костра или камина.

Руслан Борисов. Почему вдруг появляются галереи и музеи, почему в течение стихотворения такой перерыв, как бы пустые места? Почему появляется будущее?

Учитель. Я согласна с Русланом. Действительно, вдруг в последовательно выстраиваемой картине возникает перерыв после слов:

> За ними везли на верблюдах дары.
> И ослики в сбруе, один малорослей
> Другого, спускались с горы.

Мне почему-то особенно приятно слышать это слово «ослики». «Ослики», а не ослы. Речь от одного этого слова становится милой, намекает издали на что-то маленькое. И пауза после слова «малорослей», мы с вами встречались с таким приёмом, когда пауза стиховая прямо внутри словосочетания. Смысловой паузы тут не должно быть.

Ксюша. Это анжабеман, как у Бродского в «Одиссей — Телемаку».

Учитель. Мне кажется, этот анжабеман тут тоже, чтобы убрать монотонность. А дальше картина, которую не только мы, но и автор ощущает странностью:

> И странным виденьем грядущей поры
> Вставало вдали всё пришедшее после.

И тут автор сам себя перебивает:

> Всё великолепье цветной мишуры…
> — это в будущем.
> …Всё злей и свирепей дул ветер из степи…
> — это в настоящем, в день Рождества.
> …Все яблоки, все золотые шары
> — это снова в будущем.

А потом мы снова возвращаемся в «картину» Рождества.

> Часть пруда скрывали верхушки ольхи…

Эти «перескоки» временные, зрительные Автор обозначает многоточиями. Как вы думаете, что обозначает эта странность?

Катя Крыжненко. Почему именно ёлки во время разрыва, галереи?

Ксюша. Явно, что рождение Иисуса — это как ось (нам Владимир Зиновьевич рассказывал мысль философа Ясперса об осевом времени), всё последующее происходит из-за его рождения. До рождения Христа все стремились к его рождению, а после — к нему и к тому, чтобы всё было, как тогда.

Андрей. Пастернак перед написанием этого стихотворения перечитывает Библию и принимает всё происходящее где-то рядом. Это далеко, но «близко к сердцу».

Руслан. Понимаю. Рождение Христа — это как вспышка в истории. Благодаря которой происходит вся дальнейшая история.

Серёжа. Для Пастернака снег, метель — очень близкие и любимые, он очень любил снег и писал о нём. У него есть такое стихотворение: «Снег идёт, снег идёт». На него написана песня в «Иронии судьбы»

Учитель. А ещё есть «Мело, мело по всей земле».

Максим Кохановский. Главная мысль появляется постепенно. Постепенно мы видим, как Пастернак представляет себе Рождество. Но тогда что правда: то, что в Библии, или в стихотворении?

(Замечательный вопрос Максима. Мне жаль, что я не обратила на него внимание детей. Часто бывает, что в ситуации урока не все мысли детей удаётся по-настоящему услышать; только перечитывая записи, мы замечаем упущенные возможности интересно повернуть разговор. Поэтому очень важным и полезным бывает присутствие второго учителя на уроке-диалоге).

Алёна Клочко. Пастернак смотрит как бы со стороны, как бы сверху.

Учитель. Алёна поставила свой очень интересный вопрос. Алёна, когда Ксюша говорила, что автор ближе к Украине, это о том же?

Алёна. Нет, не где всё это вместе находится, а то, что автор не внутри, а смотрит со стороны, сверху. Из-за того что он смотрит сверху, ему видно всё происходящее, а из-за того что со стороны, он может представлять будущее.

Учитель. То есть Алёна сейчас спросила, где точка зрения повествователя.

Настя Герус. Здесь смешение пространства и времени, это рождественское чудо, смешение нашего пространства и еврейского.

Учитель. Вы говорите, что здесь смешение пространства и времени. Докажите это, рассматривая лексику стихотворения. Какие слова в стихотворении относятся к Вифлеему, какие — к родному месту? Какие к будущему?

Второй урок

Продолжается обсуждение стихотворения.

Учитель. Наша задача — понять стихотворение, разобраться в его смысле. Те странности, которые мы замечаем в тексте, часто помогают нам в нашем движении к смыслу произведения.

Например, в прошлый раз мы обнаружили смешение пространства и времени. Мы договорились, что дома вы продумаете это. Прочитайте, пожалуйста, дз.

Ксюша. К Вифлеему относятся слова: верблюд, кедр. К родной стороне: ольха, доха, оглобля, овчарка, ёлки, гнёзда грачей, слюда, сугроб, скирда. К будущему: музеи, галереи, феи, чародеи. Я пыталась разобраться, зачем Пастернаку нужна такая разная лексика. Благодаря тому, что Пастернак использует русскую лексику, здешнюю зиму, похожих простых людей, это стихотворение приближает к нам события Рождества. Пастернак рисует картинку, и мы всё видим взглядом человека, живущего в нашей стране. И от этого кажется, что это не где-то за тридевять земель, а это Рождество близко к нам. Пастернак изменяет пространство и две далёкие точки (Вифлеем

и нашу местность) соединяет в одну с помощью лексики и описания пейзажа.

Учитель. Если я правильно поняла Ксюшу, то Пастернак приближает к нам Рождество: оно оказывается значимым всегда и всюду.

Серёжа. Но стихотворение называется «Рождественская звезда», и примерно четверть текста описывает звезду. Непонятно: то она «застенчивей плошки», то «пламенела». Почему? Зачем?

Катя Крыжненко. Звезда как младенец. Она вроде бы мала, но очень важна.

Ксюша. Звезда как плошка. Христос имеет плоть — плошка, но имеет и дух — огромный огонь, который способен спасти человечество. Плоть его пока очень мала, как маленькая свечка — плошка.

Руслан. Описывается характер звезды. Она на небе очень маленькая, но очень яркая.

Учитель. Звезда не похожа на младенца внешне, она оказывается близкой к нему, здесь переносное значение не по сходству, а по близости, то есть не метафора — метонимия. Тут всюду метонимическое сближение.

Андрей. Звезда сначала смотрела застенчиво, а потом светила ярко. Она была яркой, как гостья. Что значит: смотрела, как гостья?

Руслан. Рассвет сметает все звёзды, кроме звезды рождества, а Мария приглашает из всех только волхвов, которые по этой звезде пришли, она их вела. Волхвы по этой звезде догадались, что младенец — необыкновенный.

Максим. Звезда вошла, как гостья, как приглашённая. Она имела на это право, потому что она привела всех, она званая.

Серёжа. Звезда рождества — олицетворение Иисуса. Как звезда осталась после рассвета, так и он останется.

Ксюша. Звезда превращается во что-то живое, она протягивает нить между младенцем и небом. Потому что она в небе и одновременно смотрит на Деву и младенца.

Борис Пастернак

Чудо

Он шёл из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мёртвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шёл с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чьё-то подворье,
Шёл в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли свои,
Что поле в унынье запахло полынью.
Всё стихло. Один Он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Всё перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоём столбняке?
Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

Мы прочитали это стихотворение, и я предложила ребятам дома сравнить стихотворение с отрывком из Евангелия от Марка (11:12–14), а также прокомментировать последние две строфы стихотворения.

Письменные работы детей

Ксюша Утевская. Что значит «по дереву дрожь осужденья прошла»?

Я думаю, в данном случае осуждение не от смоковницы к Иисусу, а наоборот, Иисус осуждает это дерево. В доказательство этому можно привести следующие две строки: «Как молнии искра по громоотводу. Смоковницу испепелило дотла». Молния появляется в громоотводе извне, так и осуждение появляется не в самой смоковнице, а извне, то есть от Иисуса. Ещё тут употреблён интересный приём: Пастернак сначала просто сравнивает осуждение с молнией, но потом это осуждение становится молнией и испепеляет смоковницу.

Ксюша Утевская.

Комментарий к последней строфе «Чуда».

В этой строфе неясно, что значит минута свободы. Но здесь открывается аллегория: в последних строках используется местоимение «мы». Это «мы» и есть смоковница, это дерево — весь суетный род человеческий. Ни люди, ни смоковница не ждали Христа. Он пришёл мгновенно, неожиданно. И поэтому в Евангелии Христос часто говорит о том, чтобы люди бодрствовали, ибо не знают, когда придёт Царство Небесное. А асчёт свободы и законов природы можно сказать, что у этой смоковницы уже не было выбора, она как на страшном суде предстала перед Богом, и у неё нет никакого выбора. Законы природы отошли, так как пришла пора не их управления, они уже потеряли силу, пришёл Бог.

Катя Свиридова. Комментарий к стихотворению Б. Пастернака «Чудо».

Сначала Иисус идёт в Иерусалим, но по пути натыкается на будто застывший город. (А в первой строчке сразу появляется <u>к</u>олючий <u>к</u>устарник на <u>к</u>руче — звук <u>к</u>, а потом вы<u>жж</u>ен, хи<u>ж</u>иной, бли<u>ж</u>ней, неподви<u>ж</u>ен, недви<u>ж</u>им. Тут как бы <u>ж</u>гучесть и <u>к</u>олкость).

В следующей строфе звук <u>о</u>, это какой-то очень сильный звук, как вскрик, жалоба, горе.

И в горечи, спорившей с горечью моря, он ше(о)л с небольшою толпой облаков. По пыльной дороге на чьё(о)-то подворье, ше(о)л в город на сборище учеников.

В этом стихотворении Автор показывает то же, что и в Евангелии от Марка, но он больше показывает, выделяет поведение Иисуса. Тут Он эгоист, как будто всё должно быть только для Него, для пользы Ему. И он уничтожает смоковницу, хотя потом, со временем, она могла бы расцвести, дать плоды. Дальше — опять звук о. По дереву дрожь осужденья прошла, как молнии искра по громоотводу.

Дальше прямо как в басне — мораль. И чудо он тут описывает не как что-то волшебное, доброе, нужное (как в нашем понимании), а как какое-то бремя, которое может настичь нас врасплох.

Катя Свиридова. Сравнение стихотворения «Чудо» с Евангелием от Марка. В Евангелии все действия Иисуса описаны как правильные, поучительные, примерные, а в стихотворении его действия описаны, какие (по мнению автора) они есть на самом деле: жестокие, злые, эгоистичные. Ведь Иисус мог бы благословить кустарник или просто проигнорировать его. Нет, Он его уничтожает.

Что значит «По дереву дрожь осужденья прошла…»

Я считаю, что это, как говорил, по-моему, Денис: человека можно даже убить словом. Иисус осудил деревце, сказал своё слово. И я ещё считаю, что дерево хиленькое показано как человек: деревцо от ветра дрожит, человек от осужденья тоже.

Комментирование последней строфы.

Я считаю, что это похоже на притчу о 10 девах (в Евангелии от Матфея). И в Евангелии подразумевается, что нужно быть готовым к чуду всегда, а тут Пастернак наверняка считает, что в принципе у каждого человека есть моменты, когда он не подготовлен.

Как тут чудо «нагрянуло» внезапно, именно тогда, когда смоковница была наименее к этому подготовлена. А «найдись у неё хоть минута свободы» — была б у неё хоть минутка свободы, времени, когда пришёл Иисус, остановилось бы хоть на минутку время — она бы «подготовилась».

Классная работа

Обсуждение стихотворения.

Денис Шаталюк. Вообще почему-то это стихотворение навеивает грусть. Оно очень нежное. В Библии и стихотворении описывается одно и то же. Но только автор стихотворения заранее подготавливает нас какой-то грустью и одиночеством. Потому что здесь Иисус один, а в Библии нет. Он с учениками.

Учитель. Я тоже, как и Денис, слышу прямо в стихотворении эту нежность и грусть. Прямо в звучании. Давайте вслушаемся, откуда она берётся.

Андрей. В первых двух строфах сплошные шипящие: колючий, круче, выжжен, хижиной, ближней, горяч, камыш, неподвижен, недвижим, горечи, спорившей, горечью, шёл, небольшою, чьё-то, сборище.

Учитель. Здорово, точно подмечено. Я слышу ещё, что очень многим шипящим предшествует и, ы (в произношении) или стоит после шипящего: колючий, на кручи, выжжин, хижиной, ближней, камыш, неподвижин, недвижим, горечи, споривший, горичью, сборищи.

Рита Иващенко. В третьей строфе я слышу много мягких и твёрдых н.

Ксюша. Эти два текста очень отличаются по стилю. В Евангелии события со смоковницей показаны кратко и предельно просто, а «Чудо» — это целое стихотворение с подробностями, эпитетами, сравнениями. «Чудо» — это художественное произведение в отличие от Евангелия. В Евангелии гораздо больше правдоподобности, благодаря простоте изложения, без излишеств, которые не мог знать автор. Стихотворение же нам рисует картинку, показывает всё в подробностях, чтобы мы оказались рядом со смоковницей, увидели всё, как было. Евангелие же хочет сказать человеку, чтобы он понял, почему вера так сильна. В стихотворении автор сам видит чудо, а Евангелие несёт весть человеку, чтобы он поверил.

Леся Завертанная. Что это за случай со смоковницей, он чему-то учит или не учит?

Аня Танец. Смоковница — это человек, не готовый к смерти.

Кирилл Касьяненко. Смоковница — это урок ученикам.

Вика Туник. Смоковница — это не урок ученикам, а несправедливость по отношению к смоковнице. Ведь у Пастернака, в отличие от Евангелия, никаких учеников рядом нет. Он хочет что-то другое сказать. В самом последнем четверостишии Пастернак сказал очень странную фразу:

> Найдись в это время минута свободы
> У листьев, ветвей, и корней, и ствола…

Что это за минута свободы? Что за законы природы? Что вообще это за чудо? Всё стихотворение вначале — это как бы пересказ Евангелия, а в конце это добавление Пастернака? Зачем это Пастернаку?

Катя Корягина. В Евангелии поучительный пример, а у Пастернака — пример жестокости, несправедливости.

Лена Губарева. Что значит: чудо застало врасплох? Я вообще не понимаю, что значит

> По дереву дрожь осужденья прошла,
> Как молнии искра по громоотводу.

Это смоковница осуждает Иисуса или он осуждает её?

Антон. Смоковница осуждает сама себя.

Ксюша. Осуждение от Иисуса к смоковнице, а не обратно, потому что молния в громоотводе — извне.

Когда приходит Бог, законы природы не действуют. Андрей. Иисус — жестокий и несправедливый, не хочет ждать.

Катя Корягина. Как смоковница может плодоносить, если ещё не время?

Ксюша. Когда приходит Бог, все должны быть готовы. Он пришёл, он приходит один раз в истории, вот он пришёл, у него нет других дней и другой встречи. Это как девы со светильниками. Они должны быть готовы всегда, и с тех пор человек должен быть готов всегда.

Андрей. Так он шёл один или с учениками? Потому что если они рядом — это действительно можно понять как урок ученикам, а если один — только жестокость.

Максим. Стихотворение — это вовсе не переложенный стихами отрывок из Евангелия. Смоковница — это переносное значение. Это верующий человек. А Иисус сравнивается с природой.

Рома Колёсников. Опять всё похоже на Россию. Анто н. Он (с маленькой буквы) — кто?

Рома. Тут Он вообще всё время с большой буквы, то есть это Иисус.

Ксюша. Тут не важно, где это: Россия — не Россия. Иисус пришёл к смоковнице — человечеству.

Учитель. Давайте прочитаем домашние работы.

Читаются работы Ксюши Утевской и Кати Свиридовой.

Учитель. Катя говорит, что в Евангелии все действия Иисуса описаны как правильные, поучительные, примерные, а в стихотворении его действия описаны, какие (по мнению автора) они есть на самом деле: жестокие, злые, эгоистичные. Я не вижу, чтобы Борис Пастернак именно так об этом говорил: жестокие, злые, эгоистичные. Действительно, самое главное отличие от Евангелия — в авторском комментарии последней строфы. Меня особенно удивляет разделение Бога и природы. Максим, тут Иисус не сравнивается с природой. Природа вообще нечто отдельное, мать этого дерева. Если бы была минута свободы, природы бы вступилась за своё создание, за свою часть, но тут, скорее, сожаление и смирение перед силой вещей, как говорил Пушкин. Вот это сожаление и смирение: «Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог». Может быть, здесь Бог — это Божья воля. Иисус объясняет, почему смоковница сейчас погибнет:

> Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
> И встреча с тобой безотрадней гранита.
> О, как ты обидна и недаровита!
> Останься такой до скончания лет.

Я слышу уже в самих словах и звуках предвестие её гибели: жажду и алчу, безотрадней гранита, недаровита. Повторяющееся а и ещё соединённое с р. И противопоставление, антитеза: я жажду и алчу, а ты пустоцвет.

А дальше мне кажется очень точным комментарий Ксюши, связанный с местоимением «мы». Это «мы» и есть смоковница, это дерево — весь суетный род человеческий.

Борис Пастернак. Гефсиманский сад

Мерцаньем звёзд далёких безразлично
Был поворот дороги озарён.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти чёрные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дрёмой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников Себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Пётр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсёк.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьму крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И, волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного её величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

Обычно мы читаем стихотворение и начинаем обсуждать его в классе. На этот раз я решила построить работу несколько иначе. Я попросила ребят, чтобы они дома — до совместного обсуждения — прокомментировали стихотворение.

Письменные работы детей Комментарий к стихотворению Бориса Пастернака «Гефсиманский сад»

Маша Рева. Это стихотворение про Иисуса. Автор описывает тот день, когда Иисуса должны распять. Автор пытается передать чувства Иисуса, и эти чувства тяжело описать. Иисус боится, не хочет умирать и в то же время не боится, так как Он посланник Божий и должен спасти души грешников. Автор описывает мир (в понимании христианина) в двух страницах, он переводит камеру от чего-то простого (нашего, земного) до бесконечного пространства вне Земли. И перед земным видом нам открывают большой, бесконечный, загадочный мир (космос), и мы видим этот Млечный путь, эту бесконечность. Камера движется от Иисуса к чему-то неограниченному (к космосу), автор показывает, как важен день распятия Христа, и как бы сравнивает это событие с великими, с великим космосом, с великой бесконечной вселенной. Автор показывает, как это важно, ведь, например, мелочь с космосом несравнима (например, если сравнивать космос с картошкой, — это будет смешно).

Ксюша Утевская. В этом стихотворении очень чётко показана разница между Иисусом и людьми. Когда спаситель смертельно томится, они спят, а когда приходят фарисеи, чтобы взять его, Христос спокоен, но люди пускают в ход железо. Тут показано, что даже под конец ученики не совсем поняли Христа. Они не понимают истинного значения событий и их важности. Всё время, все века, все жизни устремлены из тьмы в свет, из небытия к Богу. Время направлено к нему, и должное свершиться пусть свершится. Жизнь Христа как бы вне всего. Она рождена прежде всего, и в ней всё. Но в то же время Пастернак говорит: «И был теперь как смертные, как мы». Христос стал простым человеком, не употребил своих чудесных сил, отказавшись от них. Но смогли бы так сделать простые люди? Нет. В том, что Христос становится как человек, и есть нечто сверхчеловеческое, то, к чему можно только стремиться.

Катя Свиридова. В этом стихотворении рассказывается о том, как Христос добровольно сдался. Причём взгляд на жизнь у него чем-то смахивает и чем-то отличается от греческого. Он уже знал свою судьбу, но, в отличие от Эдипа или от Гектора, он специально хотел, чтобы всё было, как сказано в «книге жизни» — в книге всего времени, в книге, в которой записана вся история жизни всего живого. В начале стихотворении есть выражение «душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». То есть (я думаю) он явно хотел, чтобы они не уснули, а позже они уснули-таки. Я думаю, что здесь есть некое иносказание. Каждый человек непостоянен и меняется. Например, человек веровал в бога, но ведь он не абсолютно всегда будет ему верен. Ещё тут кажется, что Иисус боится смерти, и он именно знает, что так должно быть (как написано в книге жизни) и говорит Иуде, будто говорит сам себе, убеждает себя: «Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь». Он ведь мог ему ничего не говорить, а просто сдаться.

Денис Шаталюк. Автор зачем-то пять четверостиший описывает, где это происходит, и только потом пишет про действия, которые он хотел описать. Но я чувствую, что автор не зря описывает этот мир. Он не похож ни на что.

Это кусок земли, блуждающий в космосе. Это чем-то похоже на сон. Человек спит и видит, как он и какая-то (маленькая) часть земли вместе с ним улетает в космос. После чего человек просыпается и видит, что всё на месте, а он на Земле. Так и в стихотворении.

Но тут, в этом стихотворении, есть ещё один вопрос. Вроде бы стихотворение и «книга» закончены, даже сказано *аминь*. Зачем ещё вставлена речь Иисуса?

Обсуждение стихотворения в классе

Учитель читает стихотворение и спрашивает детей об их впечатлении и мыслях.

Ксюша. Стихотворение написано пятистопным ямбом, катренами, рифма перекрёстная, чередуется мужская и женская. Это ведь довольно обычно, как вы Пушкина цитировали: «Четырёхстопный ямб мне надоел». Только пятистопный ямб немножко более торжественный. Мне показалось даже, что в этом стихотворении Пастернак так специально делает: довольно обычный стих, чтобы как бы не отвлекать от событий.

Дети читают домашние комментарии к стихотворению.

Руслан. Денис говорит: пять четверостиший описывается, где это происходит. Ну, не пять, но всё равно долго и непонятно, где находится Гефсиманский сад? Почему «лужайка обрывалась с половины, и за нею начинался Млечный путь»?

Катя Корягина. Это не так было в действительности. Пастернаку не важно, где на самом деле был Гефсиманский сад.

Учитель. Катя говорит, что это не историческое пространство, а художественное. Мне тоже кажется очень важным, как описано само место, я согласна с Денисом. Сначала я представляла, что так бывает на высокой горе, даже не обычной горе на земле, а в переносном значении — горе как вершине жизни:

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

Но потом я подумала, что Денис ещё точнее сказал: это кусок земли, блуждающий в космосе.

Потому что в этот единственный, необыкновенный момент ничего нет важнее: Иисус и мир. Рядом Млечный путь, то есть само небо. Ещё меня поразила точность и неожиданность взгляда поэта: маслины действительно седые и серебристые.

Ксюша. В этот момент Он отказался от могущества и чудотворства и стал, как все люди. Он становится человеком, но одновременно и не человеком, а сверхчеловеком. Он идёт на крест как сверхчеловек. Обычный человек так бы не поступил.

Катя Корягина. Здесь, в слабости, особенно видна его человеческая природа.

Антон Черных. Если бы он не молился, не нашёл в молитве подкрепление и утешение, то не остановил бы Петра. Катя, ты пишешь, что он к Иуде обращается, а в стихотворении Иисус обращается к Петру.

Руслан. Я не согласен с Ксюшей. Те люди, что живут на свете, они грешны, они ниже человека, а Христос — это и есть эйдос человека, это настоящий человек, это человек и есть. И поступок его — и есть человеческий.

Ксюша. Я не согласна с Русланом. Христос не эйдос человека. Это античное понимание человека. А это высший человек, чем люди, сверхчеловек.

Руслан. Ксюша, почему ты думаешь, что люди так не поступают? А Ян Гус, который пошёл на костёр?

Ксюша. Ян Гус пошёл на костёр за свои убеждения. А Христос — без убеждений, просто потому, что так нужно было, чтобы спасти людей.

Рома. Почему теперь он стал как смертные? А раньше? Ведь он родился человеком.

Катя Корягина. Он отказался от могущества и чудотворства, которые у него есть от Отца-Бога, и в этот момент стал человеком.

Антон Черных. Время — река, души людей — плоты в этом стихотворении.

Руслан. Если нет копий Христа, то это не значит, что нет эйдоса.

Ксюша. Плоть Иисуса — это плоть только для того, чтобы он мог быть принесён в жертву ради спасения человечества. Но дух его — не человеческий.

Максим. Бог — не эйдос грешного человека. Душа человека — не образ и подобие Бога, а лишь тело.

Антон. Я не согласен с Максом. Когда Бог создаёт человека по образу и подобию своему, то не тело имеется в виду, а именно душа и свобода человека.

Дома я попросила ребят прокомментировать три последние строфы стихотворения и написать, что они думают о споре Руслана и Ксюши.

Домашние работы детей

Катя Корягина. Является ли Христос эйдосом души человека?

В этом вопросе я солидарна с Ксюшей, то есть против Руслана. Ксюша говорит, что между Ним и людьми есть различия. Он сверхчеловек, но парадоксально — идёт на крест за людей. Руслан же говорит, что Иисус и есть человек, эйдос человека. А я говорю, что Иисус — двойственное существо, поскольку его нельзя назвать человеком. Это не улучшенный человек. И это не божество в человеческом облике. Это золотая середина. И молит, чтобы не было неизбежности, которую сам прекрасно знает. Он борется с самим собой. Когда он молится, Он утихомиривает молитвой своё человеческое Я. Эйдос человека не должен воскрешать мёртвых и исцелять немощных, он не должен приносить ученье — это задача пророков.

Катя Корягина.
Комментарий к последним строфам.

> Но книга жизни подошла к странице,
> Которая дороже всех святынь.
> Сейчас должно написанное сбыться,
> Пускай же сбудется оно. Аминь.
>
> Ты видишь, ход веков подобен притче
> И может загореться на ходу.
> Во имя страшного её величья
> Я в добровольных муках в гроб сойду.
>
> Я в гроб сойду и в третий день восстану,
> И, как сплавляют по реке плоты,
> Ко Мне на суд, как баржи каравана,
> Столетья поплывут из темноты».

3-я с конца. Здесь говорится, что всё, что должно произойти, это описано задолго до этого в Священном писании. Тем самым подтверждая их события. И то, что сбудется, неизбежно.

2-я с конца. Всё это как притча, уже всеми знаемая, но не понятая до конца. Это страшное величье — смерть на кресте, которая спасёт жизнь миллионам грешников. Это величье, но очень страшное для человека и для человеческой половины Иисуса. И он в добровольных муках сходит в гроб.

1-я с конца. Иисус восстанет, воскреснет, и после этого наступает конец этой истории. Но все всё продолжают помнить, передавать из уст в уста и жить много столетий, присоединять к своей вере всё больше людей. И до сих пор это живёт. Это тайная религия, выплывет из этой темноты и откроется всему свету.

Ксюша Утевская. Спор Руслана и Ксюши (меня)

Руслан говорит, что живущие ныне люди ниже человека. Это странно, т. к. тогда неясно, а кто же такие тогда люди? Нужно учитывать, что Христос не только человеческой природы. Его поступки исходят не от человеческой сути, ведь он пришёл явить волю Отца. Он совершает не человеческий поступок, ибо его суть лежит не в человеке, но в Боге. Добровольная смерть — это спасение людей. Человеку людей не спасти, нужно иметь в себе нечто сверх этого.

Ксюша Утевская. Комментарий трёх последних строф. Эти три строфы самые загадочные во всём стихотворении. Они полны иносказаний, поэтому разбирать их я буду последовательно.

1. Страница, которая дороже всех святынь. Я думаю, тут имеется в виду последняя, итоговая страница жизни Христа. Именно к этому все

стремилось столько веков. Здесь самое главное — смерть и воскресение. Здесь всё предречённое.

2. Притча. В данном случае может быть два пути толкования: или существует притча, в которой описывается пожар, или любая притча кроет в себе искру истины, от которой пожар как свет. (Кстати, тут у Пастернака опять огонь). Вся история, весь мир — это притча, в которой описано будущее, и чтобы предречённое сбылось, Иисусу необходимо умереть. И это страшное величье, т. к. ужасны муки смерти.

3. Плоты. В последней строфе интересно изображено пространство и время. Они как бы соединяются в своём стремлении из темноты в свет, то есть к Христу. Столетья, то есть время (понятие абстрактное) становятся чем-то материальным и направленным.

Марина Светайло. Я считаю, что Иисус — сверхчеловек, только такой человек может отказаться от всемогущества и чудотворства. Человек всё время гонится за своими мечтами, и от таких сил он ни за что бы не отказался.

Комментарий последних строф.

1. По древним представлениям, вся жизнь — это книга, Иисус тоже записан в эту книгу. Время Иисуса часто называют осью человечества. И оно дороже всех святынь. Иисуса не забывают.

2. Чтобы понять мир теперешний, надо понять прошлое. Те притчи, которые рассказывал Иисус, можно растолковать в логике современного человека. «И может загореться на ходу». Миры трутся друг о друга: два камня, если чиркнуть один об другой, то появится искра, так и с мирами, с притчей.

3. Описан Страшный суд. Столетья и люди, которые проживали в них, предстанут перед Иисусом. То есть он знает, что Он Бог, раз Он будет судить людей и столетья на Страшном суде.

Руслан Борисов. Книга жизни — Библия, это жизнь, и она уже началась, и всё должно сбыться по Библии, и сейчас Христос должен быть распят по Библии. Книга жизни может загореться на ходу, может не произойти записанное в ней, если Иисус не выполнит предначертанное.

Маша Рева. Эйдос или нет? Я считаю, что это не совсем эйдос, т. к. эйдос никто не видел, мы можем только видеть и создавать подобие эйдоса. В данном случае путаем эйдос с человеческим идеалом. Эйдос и идеал очень похожи, и мы в этом запутались. Тем более, эйдос находится в мире эйдосов, а не в мире людей.

«Книга жизни подошла к странице…»

«Книга жизни» — это Библия, а подошла к странице — это значит приходит момент, когда распяли Иисуса. Бог, творец Библии, как бы знал, что будет, и знал, что будет распятие Иисуса. То есть мы уже видим, что по плану судьбы (в Библии) пришёл день распятия Иисуса. И Иисус знает, что восстанет, воскреснет. Это уже написано в его судьбе — в Библии.

Андрей Хаит. Я думаю, что плоты по реке — неизбежность. Потому что плот всё равно плывёт вниз по течению. Так и Иисус знает, что будет потом. Ксюша Утевская написала затем ещё одну итоговую работу, которая обсуждалась в классе. Это обсуждение я не привожу, так основные тезисы участвующих в нём детей есть в их коротких письменных работах.

Ксюша Утевская. Является ли Христос эйдосом человека? Мой спор с Русланом. Для начала я предлагаю разобраться, что такое эйдос. Эйдос — это идея предмета, его совершенный образ. Платон говорит, что всё в нашем мире — это копия соответствующего эйдоса, существующего в мире эйдосов. Наш мир состоит из бледных теней. Аристотель добавляет, что всё в нашем мире стремится стать как можно более похожим на свой эйдос. Теперь попробуем понять, подходит ли Христос под это понятие.

Прежде всего, Христос является личностью, индивидуальностью. В нём есть как человеческая, так и божественная природа. Его называют и Сын Человеческий, и Сын Божий. Христос явился на землю человеком, и страдал, как человек, и молитва о чаше была во многом со стороны человека. Христос неоднократно говорит, что пришёл исполнить волю Отца, что Он знает Отца, ведь Он Сын. Христос пришёл на землю не как идеал (идол), эйдос, а как Спаситель. Он спас человечество, в этом заключалась его миссия. Если Христа счесть за эйдос человека, то все остальные люди окажутся Его бледными копиями, какими-то безумными повторениями, не имеющими индивидуальности. Иисус говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (5:48 Мф), но это не значит, что человек должен стремиться к эйдосу совершенства, это значит, что Христос даёт человеку не веру предписаний, а веру, показывающую человеку предел, горизонт, стремление к которому — путь к спасению.

Стремление к эйдосу бессмысленно: достигнув идеи, мы теряем смысл. Стремление же к предельной вере несёт в себе смысл вечного поддержания в человеке истинной веры, вечного бодрствования в нём. Человек стремится к добру осознанно, каждый раз вкладывая в это смысл.

Напоследок, я думаю, стоит упомянуть о людях, так же совершивших подвиг ценою жизни (Ян Гус и т. д.) Эти люди погибли за свои убеждения, не желая отречься от них. Возможно, они следовали примеру Христа, но они не следовали идеалу. Они осознанно совершали свой поступок, не стремясь быть идеальными, но стремясь к истине. Если бы эти люди стремились бы таким образом к идеалу, то они бы не были личностями, и их поступок нёс бы лишь подражательный характер.

Стихи участников Красноярского регионального молодёжного литературного конкурса Памяти В. П. Астафьева «Чистая купель»

Дмитрий Беляков

г. Лесосибирск

Про медведя (8 лет)

Куда мне деть
Тот жар, тот пыл,
Который за зиму
В себе я накопил?!
Лежал всю зиму,
Как медведь…
Постойте! Я и есть медведь!
Сижу в своей лесной берлоге,
Не вижу под собой я ноги!
А вместо ног —
Медвежьи лапы.
Да и вообще я весь лохматый!

Дронты (11 лет)

Стоял на острове одном
Из пальм густой лесок.
Тянули пальмы листья вверх,
А корни под песок.

Но, кроме пальм, там жили и
Десяток дронтов-птиц.
И эти десять без труда б
На гору взобрались.

Они проплыли б сотню миль,
Прожили сотню дет,
Когда б пообещали им
Из червячков обед.

Дронт был упрямый, как осёл,
И сильный, и большой.
Он отличался и умом,
И клюва остротой.

Один изъян у дронта был:
Он прыгать мог, бежать,
Он плавать мог, он думать мог,
Но не умел летать.

И вот на остров дронтов встал
Убивец-человек.
По дронтам человек стрелял,
А дронт не мог лететь.

Уж время дронтов стёрло след,
И вымерли они.
Теперь на этом островке
Лишь пальмы короли.

Флаг (13 лет)

Три цвета, три жизни на флаге страны,
На флаге Отчизны, где мы рождены.
Страны величайшей прекрасное знамя
Не будет забыто и брошено нами.

Петром утверждённый, дошедший до нас
Флаг прост и понятен, и он без прикрас:
Цвет белый, цвет синий и третий цвет — алый —
Здесь есть все достоинства нашей державы!

Во славу героев и память побед
В основе его героический цвет!
Цвет алых закатов, кровавых ночей,
Цвет красных крестов у военных врачей…

А синий — природный, спокойный, мирской,
Цвет чистой воды — и речной, и морской,
Цвет неба и жизни простой и прекрасной…
Цвет мира — ведь это же синий, не красный!

И белый — вершина российского стяга.
Цвет чистого снега, религии, блага…
Не зря выше всех расположен сей цвет:
Он значит свободу. Ценней её нет.

Наш флаг — это символ российской державы.
Да будет сиять он в лучах её славы!

Владик Сигнатулин

5 класс, г. Лесосибирск

Ночная гроза

Темнота густая
Вороном спустилась.
И гроза ночная
В небе разрядилась.

Попрощаться можно
Со спокойным сном.
С неба льёт безбожно,
И грохочет гром.

Молнии ныряют
Змеями с небес.
Листья облетают
С крон берёз-невест.

Аделия Калинина

г. Красноярск

Верни моё сердце

Если хочешь, я продам тебе душу.
Если хочешь, я отдам тебе руки.
Хочешь — песню бери.
Хочешь — голос бери.
Забирай всё, что хочешь,
Только сердце верни!
Ведь зачем тебе оно,
Такое разбитое…

Ирина Тырышкина
5 класс, г. Лесосибирск

Весеннее плавание

Листок бумаги. А потом —
Кораблик с красненьким флажком.
Как настоящий! Я скорей
Бегу туда, где есть ручей.

Отправлюсь я сейчас в круиз
И… падаю с размаху вниз.
Но чудо! Мой корабль жив,
Он начинает свой заплыв.
Сначала медленно плывёт,
Затем быстрей. Меня не ждёт.
Бежит ручей, а я за ним
И за корабликом своим.
Кричу ему: «Остановись!
Вернись, пожалуйста, вернись!

Там, впереди, течёт река,
Она опасна, глубока.
Ты в речке можешь утонуть».
Но мне кораблик не вернуть.
Он с ветром песенку поёт
И в жизнь свободную плывёт.

О листике

Он так долго летал,
Что устал. И упал.
Но немножко ещё полежит
И опять высоко полетит.

Осень

Ветер лето с собою уносит.
Улетают сердитые птицы.
Наступает холодная осень,
И грубеют знакомые лица.

Дождик

Дождик, дождик, не стучи!
Ты немножко помолчи.
Я же знаю, что ты плачешь:
Ты не можешь жить иначе!
Но засмейся поскорей,
Позови к себе друзей!
Солнце, радуга-дуга,
Выходите все сюда!
Листья жёлтые, летите,
Друга-плаксу обнимите!
Но ведь спрятались друзья,
И осталась только я.
Дождик льёт, а я сижу
И о нём стихи пишу.

Сосулька-висюлька

Сосулька-висюлька
Поёт и хохочет,
По крышам хрустальным
Отправиться хочет.
Она всех длиннее.
Она всех умнее!
И смелая очень!
А значит — сумеет!
Ей стать королевой
Никто не мешает.
«Я буду звездой!» —
Сосулька решает.
Сосулька-висюлька
Ты много мечтаешь!
Но солнце пригреет,
Возьмёшь и растаешь.

Анастасия Переберина
9 класс, г. Красноярск

Видите — нам уже можно.
В коротких юбках, в застиранном топе.
То есть, нет! В джинсах с ремнём на попе.
Теперь это модно.

Ещё носочки такие… розовые.
И улыбка накрашенная. Звонкая.
Сигарета. Ментоловая. Тонкая.
Да, мы взрослые.

А они ещё не знают.
Не значат.
Жизнь сломает.
И вы думаете — они заплачут?
Что ж, наивно.
Нет, они скажут: «Мы взрослые».
И засмеются.
Надрывно.

Синяки. Синие. Красные.
Бывают жёлтые.
А мы — такие разные.
Руки мокрые.
Души мёртвые.

Да-да, мы улыбаемся.
Синяки теперь — под браслетами.
Часы встали. Каемся.
Весёлыми смешками, приветами.

Вверх по лестнице. Фиолетово.
А браслеты на стол с руки.
Вверх по лестнице — чёрной с просветами.
Вверх. Домой.
А там — синяки.

Антонов Алексей Васильевич (1952 г. р.) Окончил филфак ПГУ (1977), Высшую партийную школу в Москве (1986), аспирантуру по культурологии при ППИ, докторантуру на кафедре философии ПГУ. Кандидат философских наук. Работал на кафедре философии ПГУ. Живёт в Перми.

Астраханцев Александр Иванович (1938 г. р.) Закончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени Горького. Автор семи книг прозы. Публиковался в различных журналах и сборниках. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Живёт в Красноярске.

Беликов Юрий Александрович (1958 г. р.) Окончил Пермский университет (1980). Работал в газетах «Чусовской рабочий» (1980–81), «Молодая гвардия» (1981–92), был членом редколлегии журнала «Юность» (1992–95), собкором газеты «Комсомольская правда» по Пермской области (1995–98), собственным корреспондентом газеты «Трибуна» (с 1998). Печатается как поэт с 1975. Выпускал газету «Дети стронция» (1989–91). Автор нескольких книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк». Член СЖ СССР (1985), Союза российских писателей (1991). Областная премия им. А. Гайдара, Гран-при на 1-м Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» и звание «Махатма российских поэтов» (Бийск, 1989), премия журнала «Юность» (1991). Живёт в Перми.

Бельский Станислав (1976 г. р.) Работает программистом. Стихи появлялись в журналах «Воздух», «Дети Ра», «Зинзивер», «Волга», «Стых», в интернет-журналах «Топос», «Другое полушарие», «Сетевая словесность», «45-я параллель», «Точка зрения», «Пролог», «Новая литература» и др. Опубликовал книгу стихов «Рассеянный свет» (Днепропетровск, «Лира», 2008). Лауреат литературной премии им. Инзова (2009). Живёт в Днепропетровске.

Белодубровский Евгений Борисович (1941 г. р.) Библиограф, краевед, драматург, публицист, литературовед, преподаватель истории литературы СпбГА, штатный сотрудник издательства СпбГУ (бывш. им. Жданова). Окончил Литературный институт в Москве по специальности «Критика и публицистика». Автор публикаций и оригинальных статей в журналах и изданиях «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Вопросы Истории», «Русская литература», «Байкал», «Памятники культуры. Новые открытия», «Наука и религия», «Дантовские чтения», «Новый топонимический журнал», «Новый журнал» (США), «Антени», «Пламък», «Весни» (Болгария). «Tolstoy review» (США) и мн. др. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Координацинного Совета Петербургского Союза Учёных. Автор множества книг и статей по истории литературы и искусства. В 1997, 1999, 2002, 2003 и в 2006 году по приглашению Нобелевского Комитета присутствовал на Нобелевской церемонии в Стокгольме. В 1987–2006 гг. автор и ведущий литературно-мемуарной программы «Былое и думы» на «Радио России». Живёт в Санкт-Петербурге.

Богомолов Виталий Анатольевич (1948 г. р.) Окончил филфак ПГУ (1978). Работал в Пермском книжном издательстве, позже — во вневедомственной охране и грузчиком, корреспондентом газет «Сельское Прикамье», «Пермь православная». Публиковался в альманахах «Литературное Прикамье», «Лабиринт», коллективных сборниках, журнале «Российская провинция». Член СП с 1990. Автор книг «Глухариное утро» (М., 1987), «Дороже сказочных земель» (Пермь, 1989). Живёт в Перми.

Горбунов Вадим Вилорьевич (1964 г. р.) Родился в Северо-Курильске. После переезда семьи на Сахалин жил и учился в Александровске-Сахалинском. Работал кочегаром, плотником гидрометобсерватории. С 1982 по 1984 гг. служил в армии. После демобилизации начал сотрудничать с городской газетой «Красное Знамя», где прошёл путь от корреспондента до редактора газеты. С ноября 1997 года живёт в Южно-Сахалинске, работает корреспондентом областной газеты «Советский Сахалин». Член Союза журналистов СССР (России), лауреат ряда областных журналистских премий. Автор четырёх книг стихотворений. Член Союза писателей России.

Гофман Михель. Родился в Ленинграде. Образование: Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Специализация: история театра и кино. Работа: искусствовед в союзе художников РСФСР и экскурсовод в исторических музеях и музеях искусств Ленинграда. Рецензент театра и кино в ленинградской прессе. Эмигрировал в 1978 году в США. Образование: Колумбийский университет. Специализация — социальная культурология. Звания: M. A. in Cross-Cultural Studies, M. E. in Information Processing. Работа: директор программ «Cross-cultural understanding», взаимопонимание культур, для русских иммигрантов и американцев в течение 10 лет. Экскурсовод по США и Канаде в течении последних двадцати лет. Живёт в Нью-Йорке.

Григорьева Ольга Николаевна (1957 г. р.) Родилась в Новосибирске. С 1971 года живёт в Казахстане. Окончила факультет журналистики Государственного университета им. С. М. Кирова (Алма-Ата). Автор книг для детей, поэтических

сборников, очерков. Стихи и очерки печатались в журналах «Студенческий меридиан» (Москва), «Миша» (Москва), «Складчина» (Омск), «Омская муза» (Омск), «Нива» (Астана), «Простор» (Алма-Ата), альманахах «Южная звезда» и «Ковчег» (Ростов-на-Дону), в сборнике материалов международного конгресса «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, Фонд Достоевского, 2004), многих других научных сборниках. Стихотворения О. Григорьевой вошли в первый том 7-томной антологии «Современное русское зарубежье», вышедшей с предисловием Ю. Лужкова (Москва, «Серебряные нити», 2005). Работает обозревателем Павлодарской областной газеты «Звезда Прииртышья». Член Союза журналистов Казахстана. Член Союза российских писателей. Награждена почётным знаком «Деятель культуры». Лауреат Международной литературной премии им. Марины Цветаевой (2008). Живёт в Павлодаре.

Делаланд Надя. Окончила Ростовский университет, кандидат филологических наук Преподаёт в Южном федеральном университете латинский язык и языкознание. Автор нескольких книг стихов. Живёт в Ростове-на-Дону.

Донская Елена Григорьевна. Родилась в Харькове. Окончила механико-математический факультет Харьковского государственного университета и Литературный институт в Москве, отделение прозы. Работала программистом в детском туберкулёзном санатории, редактором детских передач на телевидении. Преподаёт русский язык и литературу в частной гимназии. Соавтор (с В. Осетинским, С. Кургановым) книги «Подростки и „Илиада“» («Лицейское и гимназическое образование», Москва, 2001). Публиковалась в журналах «©П», «Русский язык и литература» (Киев), «Женский журнал» (Киев), «День и Ночь» (Красноярск), «Харьков — что, где, когда». Живёт в Харькове.

Дроздов Геннадий Павлович (1947 г. р.) Родился на станции Колония Калачинского района Омской области в семье железнодорожников. В 1970 году окончил Новосибирский торговый институт, затем служба в армии, работа: в торговле, в проектном институте «Омскгражданпроект», преподавателем в училище, главным технологом «ОмсклесУРСа», начальником отдела ГлавАПУ г. Омска. С начала «перестройки» и до пенсии занимался предпринимательской и творческой деятельностью. Печатался в Омском литературно-художественном журнале «Преодоление». В 2009 году выпущен сборник «Соты» в издательстве «Вариант-Омск». Живёт в Омске.

Душка Николай Николаевич (1955 г. р.) Родился в Украине. Закончил физико-технический факультет Харьковского университета. Работает инженером-электроником на электрометаллургическом комбинате в городе Старый Оскол. Автор романов «Ограниченное пространство», «Причина ночи», повестей «Проигранное время», «Согрей безгрешных» и рассказов. Публиковался в России (Белгород, Воронеж, Красноярск) и в Германии (издательство OLMS). Живёт в г. Старый Оскол.

Козырев Андрей. Автор поэтического сборника «Небо над городом» (2008 г.) Имеет поэтические публикации в альманахе «Складчина», в журналах «Омская муза», «Пилигрим», «Виктория», газетах «Омский университет», «Вести Центрального округа», коллективных сборниках «Откровение» (Омск), «Загадки души» (Рязань), «Мой любимый город» (Москва). Научные публикации в сборниках «Шаги в науку», «По „каменистым тропам“ гуманитарной науки», «Достоевский и мировая культура». Двукратный лауреат литературного фестиваля «Откровение»» (2006 и 2008 г.). Лауреат всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске (2003 г.) За достижения в поэзии и научно-исследовательской деятельности был трижды награждён именными губернаторскими стипендиями (2002, 2007, 2008 г.). Живёт в Омске.

Кудрявская Галина Борисовна. Родилась в городе Исилькуль Омской области. Закончила Омский медицинский институт. Автор стихотворных сборников: «Чистый свет» (1987), «Терпение» (1991), «Предстояние» (1996), «Печаль моя, заступница…» (2004), «Свет осени» (2005); сборника стихов и прозы «Аз есмь» (2000) и двух прозаических книг: «Варварин дом» (2004) и «Сияние дня» (2007). Лауреат премии администрации Омской области им. Л. Н. Мартынова. Публиковалась в журналах и альманахах: «Арион» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Голоса Сибири» (Кемерово), «Земля Сибирь» (Новосибирск), «Литературный Омск» (Омск), «Москва» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Складчина» (Омск), «Семья и школа» (Москва), «Флорида» (США), «Хозяин» (Москва). В коллективных сборниках: «Паруса» (1986), «Омская зима» (1987), «Эхо войны» (2005), «Формула времени» (2005). В антологии Омских писателей «Сегодня и вчера» (2005). Член Союза российских писателей. Живёт в Омске.

Курганов Сергей Юрьевич (1954 г. р.) Родился в Харькове. В 1976 г. закончил физико-математический факультет Харьковского государственного педагогического института им. Г. С. Сковороды. Работает школьным учителем с 1975 года. Является одним из разработчиков программы по математике Развивающего обучения (научн. рук. В. В. Давыдов), программ и учебных пособий Школы диалога культур (научн. рук. В. С. Библер). Автор ряда книг и более 80 научных статей в области педагогики и педагогической психологии, изданных в Украине, России и США. Живёт в Харькове.

Лазаревская Ульяна Фёдоровна (1973 г.р.) Родилась в п. Медведь Дальне-Ингашского района Красноярского края. Закончив с золотой медалью среднюю школу и с отличием педагогическое училище, работала в библиотеке, в школе, в районной газете. Активно занималась самообразованием, в том числе и через Интернет. В 1998 году, выиграв грант, поступила в Университет Новой Англии (Армидал, Австралия), где

изучала философию, антропологию и богословие. Не пройдя полного курса обучения из-за финансовых проблем, в 2000-м году вернулась на родину. Автор стихов, прозы, философских и литературоведческих статей и эссе, печататься начала сравнительно поздно. Сборник стихов и рассказов «Врьхъ» (2002). Публикации в газетах «Звезда полей», «Очарованный странник», журналах «Уральский следопыт», «День и ночь». Живёт в Красноярске.

Ломтев Александр Алексеевич (1956 г. р.) Родился в селе Суворово (раньше село называлось Пузо) Нижегородской области. После окончания школы работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтёром. Закончил Арзамасский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). После Перестройки (в 1991 году) основал несколько собственных газет — «Саров», «Саровская пустынь», «Знай наших». Являясь их учредителем и главным редактором, как журналист, специализирующийся на «горячих точках», побывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Боснийской Сербии, Южной Осетии; во время кризиса был у стен Белого дома, позже освещал происшествие в «Норд-осте». Публиковался во многих федеральных СМИ России. В том числе в литературных журналах «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «Южная звезда», «Дальний Восток» и др. Автор книг «Путешествие с ангелом» (финалист Бунинской премии 2008 года в номинации «Открытие года»), «Ундервуд» (переводится на сербский язык), повесть «Ичкериада» стала победителем конкурса «Имперская культура» Союза писателей России. Лауреат нескольких журналистских и литературных премий. Избран Председателем общероссийской медийной организации Клуб главных редакторов региональных СМИ России. Член правления Нижегородского отделения Союза писателей России. Живёт в г. Саров.

Переверзин Иван Иванович (1952 г. р.) Член СП России с 1994 г. Лауреат премии журнала «Наш современник» и еженедельника «Литературная Россия» за 1994 г. Родился в пос. Жатай. С 1964 г. постоянно проживал в Ленском улусе. После окончания Нюйской средней школы, заочно учился в Хабаровском лесотехническом техникуме, затем в Братском технологическом институте. Трудовую деятельность начал в 1970 г. в совхозе «Ленский» в качестве рабочего. Там окончил курсы механизаторов. Работал трактористом, плотником, мастером по строительству, начальником лесоучастка, старшим прорабом, председателем улусного объединения «Сельхозхимия», директором совхоза «Нюйский», начальником сельхозуправления, заместителем главы администрации Ленского улуса, консультантом в аппарате Правительства РС(Я). Первые стихи опубликовал в 1968 г. в районной газете «Ленский коммунист». Одновременно писал статьи и заметки о жизни и проблемах среднеленских деревень, публикуя их в той же газете. Первый поэтический сборник «Откровение дней» издал в 1991 г. Стихи И. Переверзина печатались в республиканском журнале «Полярная звезда», в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Москва», «Смена» и других центральных изданиях. В настоящее время живёт и работает в г. Москве.

Сафонова Анна Алексеевна (1979 г. р.) После окончания гимназии имени А. С. Пушкина города Южно-Сахалинска в 1996 году поступила на славянское отделение института филологии СахГУ. В 1997 году стала одной из первых участниц областного литературного объединения «Лира». Работала методистом, помощником режиссёра в Сахалинском музыкальном обществе, корреспондентом областной газеты «Молодая гвардия», педагогом дополнительного образования в гимназии, специалистом информационно-методического центра по связям с общественностью, преподавателем русского языка и литературы в Южно-Сахалинском педагогическом колледже. В 2001 году закончила СахГУ. В настоящее время работает редактором Сахалинского книжного издательства. Публиковалась в журналах «Знамя», «День и ночь», в коллективных сборниках «Остров», «Сахалин», «Брусника с кока-колой», в других изданиях. Автор трёх поэтических книг, а также публикаций прозы и литературной критики. Член редколлегии журнала «День и ночь», стипендиат Сахалинского фонда культуры, участница II, III, IV Форумов молодых писателей России. Член Союза писателей России. Живёт в Южно-Сахалинске.

Солженицына Наталья Дмитриевна (1937 г. р.). Жена и ближайший помощник писателя Александра Исаевича Солженицына. Президент созданного в 1974 году в Цюрихе «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» (РОФ), более известный как Фонд Солженицына. В 1992 году фонд перенёс свою деятельность в Москву. Редактор-составитель вышедшего в 2007 году 30-томного собрания сочинений Солженицына. Живёт в Москве.

Теплицкий Виктор (1970 г. р.) Родился в г. Красноярске. После окончания школы поступил в Сибирский технологический институт (теперь Академия). После первого курса ушёл служить в советскую армию, войска ПВО (полгода в г. Кунгуре, потом в Германии). Отслужив год с небольшим, по приказу М. С. Горбачёва, был уволен в запас, как студент. После службы восстановился в институте, но не закончил — ушёл с пятого курса. Работал дворником, грузчиком. В октябре 1992 года женился, и в этом же году принял святое крещение. 19 декабря 1994 года был рукоположён в сан диакона в Свято-Никольском храме г. Красноярска. В 1995-м поступил на Высшие богословские пастырские курсы, которые закончил в 1999-м году. 3 сентября 1995-го — рукоположен в сан пресвитера. До сих пор — священник Свято-Никольского храма, а так же настоятель больничного храма Серафима Саровского при Городской клинической больнице им. Карповича (БСМП). С 2006 года студент заочного

отделения филологического факультета Красноярского Государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Дискография: «Осенняя свирель» (1999), «Прикосновенье к горизонту» (2001), «Дом на холме» (2005). Автор драмы «Королевское сердце» (2004), которая была поставлена на подмостках молодёжного театра в г. Лиссабоне в Португалии. Живёт в Красноярске.

Тягло Екатерина (1985 г. р.) Закончила социологический факультет Харьковского национального университета им. Каразина, аспирантка Института социологии Национальной академии наук Украины, бакалавр теологии. Автор стихов и лирической прозы на украинском и русском языках. Публиковалась в журнале «День и ночь» под псевдонимом Жанна Сартр. Живёт в Киеве.

Фатыхов Салим Галимович (1947 г. р.) Родился в Магнитогорске. Окончил отделение геофизики геологоразведочного техникума в Миассе, филологический факультет Магнитогорского педагогического института и факультет журналистики Ташкентской высшей партийной школы. Работал в гидрогеологических, геологических и геофизических экспедициях в Арктике, на Северном Урале, в Южном Казахстане, главным редактором городских и областной газет, заместителем главного редактора республиканской газеты «Рабочая трибуна», в аналитических подразделениях Навоийского обкома партии и ЦК Компартии Узбекистана. В течение многих лет изучал в Средней Азии наскальные изображения и реликтовые явления языческих верований. Член Союза писателей России, кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ, в 2007 г. награждён Российской академией естественных наук Почётной серебряной медалью Екатерины Дашковой. Автор масштабного культурологического труда «Мировая история женщины», двух сборников стихотворений, приключенческой повести, ряда научных публикаций.

Филатов Сергей Викторович (1961 г. р.) Окончил Алтайский политехнический институт (1985). Главный специалист по маркетингу ОАО «Иткульский спиртзавод» (с 1997). Печатается как поэт с 1986 г. Автор нескольких книг стихов и прозы. Публикации в журналах «Литературная учёба», «Дружба», «Барнаул», «Алтай», «Встреча», «Парус». Член СП России. Премии журнала «Алтай» (1992), Бийского отделения краевого Демидовского фонда (1999). Живёт в Бийске Алтайского края.

Чешева Марина (1985 г. р.) Родилась в г. Ревде Свердловской области. Закончила УрГУ им. Горького, факультет романо-германского языкознания. Печаталась в журналах «Дети Ра», «Урал», «Волга 21 век». Лауреат фестиваля «Глубина». Участник литературных школ «Капитан Лебядкинъ», «Северная зона». Живёт в г. Ревде.

Цыганков Александр Константинович (1959 г. р.) Родился в Комсомольске-на-Амуре. В 1961 году семья переехала в Кемерово. За год до призыва в армию успел поработать на секретном военном предприятии по специальности художник-оформитель. В 1978–80 годах служил в Заполярье, на полуострове Таймыр. К началу Московской Олимпиады демобилизовался и вернулся в Кемерово. Закончил Кемеровское художественное училище. В декабре 1995 года первая книга стихов вышла в Томске. В 1994 году картина Цыганкова «Оранжевый закат» побывала на международной выставке в Болгарии. В 1997 году в Томске прошла выставка акварелей «Горная тропа». В 1998 году стихи вошли в антологию «Сибирская поэзия», а в 2002 году в большой коллективный сборник духовной лирики «Собор стихов». Участвовал в городских выставках, последняя из них «Автопортрет в творчестве художника». Стихи и репродукции опубликованы в томских журналах «Сибирские Афины», «Томск magazine», «Каменный мост». Одновременно с книгами был издан цветной буклет «Живопись». Живёт в г. Томске.

Ягодинцева Нина Александровна. Выпускница Литературного института им. Горького, член Союза писателей России с 1994 года, кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор 7 поэтических книг, курсов лекций «Поэтика: модели образного мышления», «Поэтика: принципы безопасности творческого развития» и учебника точной речи «Поэтика: двенадцать тайн», монографии «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности», многочисленных поэтических, литературно-критических и научных публикаций в литературных и научных изданиях Челябинска, Москвы, Петербурга, Красноярска, Петрозаводска, Екатеринбурга, Ставрополя, Воронежа, Чебоксар, Омска, Оренбурга. Лауреат литературных премий им. П. Бажова (2001), им. К. Нефедьева (2002), им. Д. Мамина-Сибиряка (2008), лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга-2007». Автор переводов с азербайджанского и башкирского языков. Живёт в Челябинске.

Ямайкина Ирина Валентиновна (1953 г. р.) Родилась в Ленинграде. С 1954 живёт в Минске. Замужем, один сын и два внука. Образование высшее, физфак Белорусского госуниверситета закончила в 1976. Кандидат биологических наук — 1989. Специальность — биофизика крови. Работает ст. н. сотр. в Институте тепло- и массообмена НАН РБ. Стихи пишет с детства.

ооо «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» предлагает услуги по созданию, редактированию, рецензированию, допечатной подготовке, продвижению и реализации литературных произведений. В перечень предоставляемых услуг входят:

1. Литературная запись мемуаров, хроник, биографий и автобиографий, философских, нравственно-эстетических и научных размышлений. Профессиональные журналисты и писатели помогут вам превратить ваши мысли в пригодный для публикации текст.
2. Литературное редактирование текста.
3. Создание литературно-художественных, публицистических, литературоведческих и других текстов (книг, статей, альбомов, презентаций и буклетов об истории и сегодняшнем дне города, предприятия, фирмы, о знаменательном событии) по заказу физических и юридических лиц. Заказы выполняются профессиональными литераторами, членами Союза российских писателей и Союза писателей России.
4. Набор, сканирование и корректура текста.
5. Дизайн и художественное оформление книг, альманахов, коллективных сборников, альбомов, буклетов и визитных карточек.
6. Рецензирование, создание послесловий, предисловий, комментариев.
7. Составление, редактирование, оформление сборников.
8. Допечатная подготовка любых текстов.
9. Работа с типографиями и контроль качества печати (мы работаем с издательскими предприятиями «касс», «Красноярский писатель», «Офсет» и другими).
10. Презентация издания в электронных и бумажных сми.
11. Проведение презентационных мероприятий на популярных площадках г. Красноярска и Красноярского края.
12. Организация распространения книг.

Литературная школа при журнале «День и ночь» и Красноярский литературный лицей организуют постоянно действующий семинар для взрослых «Теория и практика стихосложения» (20-часовой курс в удобное для слушателей время).

В программе: лекции и практические занятия; создание и редактирование стихотворных сборников; литературоведческий анализ и рецензирование классических произведений и текстов участников семинара.

Каждый участник, представивший итоговую зачётную работу (готовый к печати сборник стихов или несколько развёрнутых рецензий на произведения современных поэтов) получает сертификат журнала «День и ночь» и Красноярского литературного лицея.

dinmarket@mail.ru
kras_spr@mail.ru
т. 8 (391) 2 43 06 38
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937

Редакционная подписка

Журнал выходит четыре раза в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. В 2009-м году вышел сдвоенный №1-2 (январь–май); №3 выходит в сентябре, №4 — в декабре. Полный комплект журнала за 2009 год стоит 560 рублей. Возможна подписка отдельно на третий и четвёртый номера. В этом случае стоимость подписки составляет 340 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки.

Подписка производится по России, странам Ближнего и Дальнего Зарубежья. Издания доставляются по почте. В Красноярске и ряде городов, где есть региональные представители, предоставляются услуги по курьерской доставке для юридических лиц и по получению издания в офисе. Стоимость курьерской доставки в регионах оговаривается непосредственно с представителем редакции.

Информация для бухгалтеров! С каждым номером выставляется счёт-фактура и товарная накладная. В случае утери/порчи документов обращайтесь в отдел маркетинга и распространения.

Чтобы оформить подписку, необходимо:

1. Написать Заявку, в которой указать, какие номера и в каком количестве экземпляров Вы хотите получить.
2. Заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».
3. Выслать (можно электронной почтой: копию квитанции в этом случае сканировать и выслать как изображение) в адрес ООО Редакция литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» Заявку и Копию квитанции об оплате с отметкой банка (66 00 28, Красноярск, а/я 11 937; dinmarket@mail.ru, kras_spr@mail.ru)
4. Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала; в этом случае документы оформляются на месте.

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения
„День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

Назначение платежа	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения
„День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

Назначение платежа	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика) ____________________ (дата платежа)

При поддержке автономной некоммерческой организации «Единство журналистики и культуры» (г. Москва) издание участвует в проекте «Русский язык в постсоветском мире: миссия человечности и добра».

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Желателен диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Для приобретения номера и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь в отдел маркетинга и распространения журнала «День и ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала www.krasdin.ru поддерживается ООО «КИТ»

Издатель
ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «ДиН»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Сдано в набор: 14.07.2009
Подписано к печати: 14.08.2009
Тираж: 1000 экз.

Отпечатано с готового оригинала в типографии ООО ИПЦ «КАСС»

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23